ДЕНЬ *и* НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

2008

№5 (69)

зима

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть.»

Е. А. Баратынский

Главный редактор
Марина Саввиных

Заместители главного редактора
Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Иван Клиновой
Елена Тимченко
Михаил Стрельцов

Секретарь
Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик
Олег Наумов

Редакционная коллегия
Николай Алешков
Набережные Челны
Алексей Бабий
Красноярск
Владимир Балашов
Саяногорск
Юрий Беликов
Пермь
Светлана Василенко
Москва
Михаил Гундарин
Барнаул
Андрей Иванов
Кемерово
Александр Колесов
Владивосток
Сергей Кузнечихин
Красноярск
Валентин Курбатов
Псков
Александр Лейфер
Омск
Евгений Мамонтов
Владивосток
Евгений Попов
Москва
Лев Роднов
Ижевск
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Александр Силаев
Красноярск
Михаил Успенский
Красноярск
Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Василий Фёдоров

Высокой дружбой похвалюсь…

В сентябре 2008 года в Кузбассе состоялся праздник поэзии, посвященный 90-летию выдающегося русского поэта Василия Фёдорова. Редколлегия журнала «День и Ночь» в лице Марины Савиных и Михаила Стрельцова приняла участие в Фёдоровских чтениях, собравших на родине Фёдорова — в Кемерово и в деревне Марьевке, где он жил, — писателей Урала и Сибири, многие из которых, между прочим, являются и авторами «ДиН». Кемеровчане отметили юбилей поэта выходом в свет монументальной антологии «Русская сибирская поэзия. XX век» и свежей тетрадки альманаха «День поэзии». Но самое главное — тем, что устроили *встречу* поэтов разных поколений и направлений, старых друзей и новых знакомых. На страницах «ДиН» сегодня — стихи Василия Фёдорова, стихи и воспоминания участников этой встречи.

В глазах твоих,
Чужих и злых,
В липучей тине дно,
Измена даже в помыслах
Измена всё равно!

Душа моя
Восстанет вся,
Восстанет — стает снег.
Неверная, расстанемся,
Наверное, навек.

С незажитыми ранами
Уеду, бредя елями,
Лечить себя буранами,
Целить себя метелями!

В небесах
Монотонные песни разлук…
От пустынных полей,
От холодной земли
Улетают на юг,
Улетают на юг,
Улетают на юг журавли.

Если сердце устанет
Стучать для людей,
Если страсти во мне откипят,
Призову лебедей,
Попрошу лебедей —
Пусть мне осень мою
Протрубят.

Чему сердце молилось,
Отошло навсегда.
Надо мною звезда закатилась,
Закатилась звезда.

И горела нежарко,
Не давала тепла,
И светила неярко,
Но всё же была.

Я стоял под звездою,
Дожидался зари.
А теперь только место пустое,
Смотри не смотри…

Высокой дружбой
Похвалюсь.
Мои друзья —
Поэты, зодчие,
Но всё сильнее
К вам тянусь,
Мои товарищи
Рабочие.
Хвалюсь, —
Добра моя строка!
Но мысль одна
Бросает в холод:
Не разучилась бы рука
Держать при этом
Серп и молот.

Где-то ходим,
Чем-то сердце студим,
Ищем сказку не в своей судьбе.
Лет с двенадцати пошёл по людям
И в конце концов
Пришёл к себе.

И всего на свете интересней
Стало то,
Что было от сохи…
Здравствуйте, покинутые песни!
Здравствуйте, забытые стихи!

Жизнь поэта
Не простая штука,
Если он страстями опалён,
Жизнь поэта,
Да не жизнь, а мука,
Если он влюблён, —
А он влюблён.

Пошутил
Весёлой эпиграммой,
Подмигнул звезде —
И мир разъят.
Вот уже ему
Семейной драмой,
Мировой трагедией
Грозят.

Милая моя,
Мы счастьем бредим
Большим,
Чем встречаем наяву.
В наших душах
Тысячи трагедий…
И ещё одну
Переживу.

Владимир Иванов

Вечно там пребудем

Встречи с Мастером

Осенью 1976 года на областной семинар молодых литераторов Кузбасса от Союза писателей России приехал наш куратор Андрей Максимович Дугинец. Обсуждалась тогда и моя рукопись. Уже второй раз на подобном семинаре. Стихи, в общем-то, были приняты неплохо и рекомендованы для издания Кемеровскому книжному издательству.

После семинара Андрей Максимович попросил нас передать по подборке стихов для публикации в журналах, а через месяц-другой ему позвонить. Оказался он человеком слова и кое-кому из ребят помог напечататься в столице.

Иная судьба была у моих стихов. В начале 1977 года звоню в Москву, а в ответ, — извини, мол, с журналами не вышло. Но показал твои стихи Василию Дмитриевичу Фёдорову. Он заинтересовался и сказал, чтобы я нынче летом приехал к нему в Марьевку с полной рукописью.

Вот какую весть я услышал из московского далека! А Марьевка — это родина выдающегося российского поэта Василия Фёдорова в Яйском районе Кемеровской области.

Наступил июль 1977 года. В Кемеровской писательской организации стало известно, что поэт у себя на родине. От посёлка Яя небольшой рейсовый автобус помчал до Марьевки.

По прибытии первый же встречный указал направление к дому поэта. До известной только ещё по фёдоровским стихам Назаркиной горы расстояние довольно приличное. Дом поэта стоит на самом высоком месте, чуть вдали от остальных. Он, наверное, первым в деревне встречает восход солнца и самыми последними его окон касаются заходящие лучи.

Во дворе, как оказалось, хлопочет сестра поэта.

— Здравствуйте! Я приехал к Василию Дмитриевичу.

— Отдыхает он, спит, — отзывается женщина, продолжая заниматься своими делами.

Стою, не зная, что и делать. То ли попросить, чтобы передала рукопись, когда хозяин проснётся, а самому поскорее уехать. То ли прийти попозже.

— А вы кто будете? Откуда?

После моих объяснений сестра уходит в дом.

Выходит хозяин. Ещё не отошедший ото сна, косматый, с недовольной миной на лице. Сухо отвечает на приветствие и сразу строгим тоном вопрос:

— Кто такой?

Отвечаю.

— Помню. Рукопись с собой?

— Да, с собой.

— Вот что, — говорит поэт, беря папку со стихами. — Полюбуйтесь пока нашими видами. Порыбачьте на Яе, — добавил он как о само собой разумеющемся. — Ночлег, я думаю, найдёте. А завтра, — взгляд на часы, — эдак часов в семь вечера приходите. Поговорим.

Назавтра к условленному часу я был на месте. Василий Дмитриевич пригласил в дом. Стены, обитые шелёвкой, диван, небольшой сейф, пишущая машинка, гора окурков в пепельнице, — вот что в первую очередь бросилось в глаза. Тут же на столе — моя зелёная папка и стихи, разложенные на три части. Но прежде чем начать разговор о стихах, Василий Дмитриевич стал расспрашивать про мою жизнь, про работу. Затем, перейдя к стихам, предложил исключить из будущей книги те стихотворения, где он не сделал никаких пометок. Отобранное с отметкой «плюс» можно без переделок включить в книгу. А вот над третьей кипой, где пометки и вопросы, — надо поработать. Дальше Мастер заметил, что у меня на ту или иную тему несколько стихов, которые, возможно, стоит объединить в циклы, поставив в центре самое характерное стихотворение. В беседе о стихах было высказано немало замечаний. Ведь большая часть стихов содержала карандашные пометки поэта. Навсегда запомнился и впоследствии не раз оказывал добрую услугу один его совет относительно моего творчества — уловив в стихотворении удачные строки, не стоит торопиться к столу, чтобы быстрее завершить стихи. От этого проглядывается деланность стихотворения. Надо ещё и ещё раз осмыслить строчки со всех сторон.

Василий Дмитриевич после доработки предложил вновь прислать ему рукопись в Москву ближе к концу года, когда он уж точно будет в столице.

Я поинтересовался, над чем сейчас работает сам Мастер. Василий Дмитриевич сказал, что заканчивает поэму «Женитьба Дон-Жуана» и что она будет опубликована в «Роман-газете». Когда я заметил, что критики в дискуссиях пророчат кризис поэмы как жанра, он категорически не согласился с этим. Видоизмениться — да, поэма может, но это совсем не кризис.

Перед уходом он поставил автограф на книге своих избранных стихотворений: «Володе Иванову с ожиданием его первой книги стихов. Вас. Фёдоров. Марьевка. Назаркина гора. 9.07.77».

Дома я, конечно, внимательно поработал над всеми замечаниями Василия Дмитриевича. Осенью отправил переработанную рукопись в Москву.

Мастер вернул мне стихи с подробными замечаниями и сопроводительным письмом.

«У меня сейчас нет возможности сравнить нынешнюю вашу рукопись с той, которую прошлым летом вы привозили в Марьевку. Кое-что, конечно, помнится. Тогда и сейчас мне понравились строчки:

Так нежно тоскую стихами,
Так грубо с тобой говорю.

Таких поэтических формул в рукописи стало больше. Как правило, они у вас падают на концовки стихов. «Не важно, о чём говорили, ведь главное — с кем говорил». Или: «Там, где волнуются травы, начнут волноваться умы». Всё это я сейчас принимаю, но для будущего хотел вас остеречь от однообразности приёма, от его привычности. Тогда в Марьевке, помнится, я порекомендовал вам серьёзно поработать над рукописью, над основой книги стихов. Естественно возникает вопрос: есть ли эта основа сейчас? Ведь после нашей марьевской встречи времени прошло не так уж много, тем более для молодого поэта, работающего над первой книгой стихов. Речь идёт не о книге, а о том, каким предстанет поэт в своей первой книге. Или это будет книга, от которой позднее поэт будет сам отмахиваться, или это будет книга, которая прочно войдёт в его творческий актив? Вот этого вопроса я пока что не могу решить. Не могу вам сказать и того, какой объём рукописи приемлем для издания первой книги. Это, видимо, решит издательство…»

Далее Василий Дмитриевич в этом письме подробно разбирает мою рукопись, даёт советы…

А заканчивалось письмо так:

«Книгу надо делать всё время, пока она не вышла. Работать над стихами надо до самого последнего момента, потому что потом бывает обидно, что чего-то недоглядел. Хорошо бы вам было подумать над стихами, которые бы выражали вашу главную жизненную идею, общественную мысль — без этого никак нельзя родиться настоящим поэтом. Но это — в порядке общего пожелания… Работа, работа и ещё раз работа! Желаю успеха! Вас. Фёдоров. 29.01.78»

Разговор с Мастером в Марьевке, дважды сделанные им пометки на полях рукописи, конечно, не прошли бесследно. С теплотой вспоминаю это пристальное внимание ко мне и участие в моей творческой судьбе со стороны великого поэта. Его советы мне были доброй помощью особенно при составлении первой книги. Но встречи с Мастером, беседы с ним, его участие в моей судьбе значили для меня много больше. Его добрые слова были незримой опорой для меня в ту пору глухого замалчивания в книжных издательствах. Они прибавили уверенности на творческом пути, были незримой поддержкой, поддерживали мой дух в трудные житейские дни. И самое важное — укрепили меня в моём внутреннем ощущении, для чего же я на этот свет призван, в чём главная суть моей жизни.

Следующая встреча состоялась в Москве а Центральном доме литератора, когда я учился в Литературном институте. Я со студентами и столичными литераторами сидел за столиком, когда заметил Василия Дмитриевича, проходящего в сторону выхода. Было далековато и он, видимо, не расслышал моего приветствия. Да и мало ли кто с ним здоровается!

— А ты его знаешь, а ты его знаешь? — всполошились за столом.

Когда узнали, что я с ним знаком, что к тому же он мой земляк, стали настаивать, чтобы я с ним познакомил. И тут я вспомнил про его давнее интервью «Литературной газете», где он прошёлся по назойливым литераторам, которые едва познакомившись требуют то отзыва, то предисловия; считают, что он обязан им помочь напечататься. Хорошо, думаю, что Василий Дмитриевич ушёл из ЦДЛ, и с меня взятки гладки. Где-то через час я вышел покурить. Гляжу, выходит из бильярдной Василий Дмитриевич. И смотрит на меня. Я опять поздоровался. Он ответил на приветствие, стал расспрашивать, какими судьбами в столице. Одобрил, что учусь в литинституте. Поинтересовался жизнью нашей писательской организации, — что нового, кого приняли в Союз писателей. Я сказал, что двоим нашим в приёмной комиссии для вступления в Союз не хватило голосов. Он ещё раз переспросил фамилии этих писателей и посокрушался, что об этом ему из Кемерова своевременно не сообщили. Потом он замолвил за них доброе слово, и наши земляки были приняты в члены Союза писателей.

В Кемерове в 1979 году вышла моя первая книга «Беседую с тобой», — после двух обсуждений на областном семинаре, двух рекомендаций этими семинарами для издательства и через пять лет после представления рукописи издательству. В 1982 году в Москве вышла другая — «Земной парус», в издательстве «Современник». Там рукопись пролежала шесть лет, пережила двух директоров, двух главных редакторов и трёх зав. отделом поэзии. Получила шесть положительных рецензий и рекомендаций к изданию (каждый зав. отделом поэзии отдавал двум рецензентам), причём на полгода она в издательстве была начисто потеряна. Словом, кругом одни рогатки. Но о том, что в Москве выходит моя книга, Василий Дмитриевич не знал. Выслал ему книгу. И в ответ получил другое письмо.

«Поздравляю с первой столичной книжкой, — писал он. — Получил, с интересом прочитал. По-моему, книга получилась. В ней уже заметно проглядывает лицо поэта, что в первых книгах случается не очень-то часто. Поначалу ощущал в стихах недостаток эмоциональной пульсации, обращал внимание на ровность чувств и мыслей, но потом это чувство подозрительности отошло. Видимо, это оттого, что стихи в их образах стали точнее, стало меньше случайных фраз и слов. Всё же иногда попадались досадные инородности. Стиль, который вы обнаружили в своих стихах, требует особой точности. К нарушению собственного стиля следует, к примеру, отнести конец стихотворения «Я думал: всё прошло…»

Себе не веря сам,
Брожу я в царстве снов,
Где ты пока живёшь
Ещё неясной тенью…
Но из таких глубоких
Жизненных основ?..

Последняя строчка после конкретных образов звучит абстрактно, чуждо стиху. Концовка напрашивается другая. Попробовал найти её. Перечитал стихотворение и в начале заметил строку: «Я позабыл слова…» Эта строка могла бы привести, например, к такой логической концовке:

Себе не веря сам,
Брожу я в царстве снов,
Где ты пока живёшь
Ещё неясной тенью…
Есть чувства для тебя,
Но нету слов!..

Вероятно, можно найти и что-нибудь другое. Речь идёт о принципе единства образов, их словесного выражения. Словом, хочу сказать, что у вас ещё есть резервы. Кроме того, не становитесь пленником собственного — даже собственного! — стиля. Не подгоняйте свои чувства к его рамкам. Тренируйте своё поэтическое дыхание!

Мне кажется, вам пора стучаться в Союз. Сожалею, что как секретарь правления, я не имею права давать рекомендации, потому как секретариат является последней инстанцией в приёмных делах. Присмотреть же за ходом дела я бы смог. Желаю успеха. Теперь, когда уже есть некий уровень, нужна работа и работа! Вас. Фёдоров. 2.04.82».

В конце лета 1982 года, вернувшись из отпуска, узнаю, что Василий Дмитриевич в Кузбассе, — после операции лежит в областной больнице. А жил я тогда уже в Кемерове — буквально через дорогу от этой больницы. Прихватив гостинцев, пошёл навестить Василия Дмитриевича. Он лежал в отдельной палате. Показался он мне сильно похудевшим. В палате полно дыма. Да и во время нашей встречи поэт, как всегда, часто курил. На тумбочке и подоконнике книги и гостинцы. Поинтересовался, как чувствует себя после операции. Он её исходом был доволен, сказал, что пошёл на поправку. Беспокоился, что его хотят направить после больницы в здешний санаторий-профилакторий «Сосновый Бор». Но там, говорят, проблема с отоплением, а он в последнее время почему-то зябнет. А ехать в Москву, в подмосковный санаторий, не хочется. Здесь врачи чуткие. В случае послеоперационных осложнений он будет за себя спокоен, а в столице ведь только одними анализами задёргают! Он внезапно прервал разговор на эту тему и стал интересоваться, как у меня идёт жизнь, как пишется, готовлю ли документы ко вступлению в Союз, есть ли рекомендации. Когда я сказал, что об этом ещё не думал, то заметил, что не стоит затягивать — уже пора.

В следующий мой приход в больницу Мастер снова тепло говорил о врачах, о том, что дела пошли на поправку. Когда разговор перешёл на стихи, он прочитал несколько последних стихотворений из блокнота. В его мудрых и прозрачных стихах неотступно присутствовала мысль о последних сроках, чего раньше в творчестве Мастера я не замечал.

Пронзительно запомнились слова:

— Да я уж долго прожить и не надеюсь. Хорошо, если успею выпустить ещё пару книг.

После слов об успешной поправке это было полной неожиданностью. Я как-то совсем по-другому, с грустью, более пристально, запоминающе посмотрел на Василия Дмитриевича.

В дверях ещё раз оглянулся на чуть печального, доброго, измождённого и одухотворённого Мастера.

Таким он и остался в памяти.

~

Вот и подступает расставанье,
Скатертью дорожка за порог…
Слишком сладким было обещанье,
Слишком горек жизненный итог.

Посулил… Да что златые горы —
Я тебе такого насулил!
Да крутые укатали горы —
Я врагу бы так не насолил.

~

Кто же это?.. Вошёл, как мальчишка…
Что он ходит к нам день ото дня?..
Что он с мамой беседует слишком?..
Что он маму крадёт у меня!

Что же, мама, стоишь ты смущённо?
Кто же это? Родня — не родня?
Кто же?..
Смотрит твой сын удивлённо
На такого чужого меня.

~

Поэты чем живут?
Минутой неминучею.
И озаренья ждут —
От случая до случая.

Берясь за всякий труд,
С надеждой не расстанутся:
Дела придут-пройдут,
Творения — останутся.

~

Вечно разделяют нас
Внешние отличья,
Жизни путь, различье рас,
Языков различье.

Мы различны… Но при том
Всюду на планете
Всем понятным языком
Плачут наши дети.

г. Кемерово

Сергей Филатов

Немосковское время

Бережёного Бог… И меня не сберёг.
Время лечит забвеньем, но память жива.
От российских дорог… до библейских дорог
у небес — синева, синева…

«Здесь течёт и не знает своих берегов
по бескрайним просторам отчизны своей»
немосковское время вселенских снегов
в вереницах полей…

Век ли долог… иль память жестока?
Ангел мой, я растратил слова, —
ветры с Запада, думы с Востока
и дурная молва,
как трава.

В сорном поле полынь да коровник,
в сердце холод да медь сентября,
жизнь моя, — твой забытый любовник, —
кровь моя, боль моя, жаль моя,

точно сборы в глухое зимовье
иль отчаянный выстрел в висок,
даль твоя — глубока и безмолвна,
свет твой хладен, высок и жесток…

Изморозь звёзд над юдолью земной
Да зачарованный звон тишины.
Длится и длится покой ледяной…
Господи! Сколь велики Твои сны!

Малой песчинкой ютилась в миру
Скорбная плоть. Да душа отошла.
Так неужели смиренный сей труд
Капли не стоит любви и тепла?..

Ночь безответна. Мерцают снега
Светом нездешним, печальным, иным.
Сколь эта мера безмерно долга:
Мера пути… Или мера вины?..

Картинки из детства

Под окнами водили в баню «химиков».
Ещё сирень под окнами цвела…

И мир казался до того бесхитростным,
сплошь сотворённым из добра и зла.

Страна жила. И будущее строила.
Далёкое, но светлое вполне…

Район наш в просторечье звался «стройкой» —
панельный, спальный, как по всей стране.

Ещё соседа помню алкоголика,
который спать ночами не давал —
жену гонял из дома полуголую,
потом полдома песней доставал…
И засыпал к приходу участкового.
Смирен и тих. Баян под головой…

А лет мне было…
я не помню сколько,
ещё отец был с нами…
и живой…

Перед грозой

Не скучно, не грустно… И сорок — не двадцать.
И душно. И давит. И в душу плюют.
В такую погоду не тянет стреляться,
Стреляться не тянет… А жить не дают.

В такую погоду на милой чужбине
На родине стылой в затворной глуши
Не встретишь желанной, не встретишь любимой
За просто, за так… за такие шиши.

И хочется рифмой постылой глагольной
Хоть где-то хоть как-то нарушить покой —
В такую погоду…
В такую погоду,
В таком измерении, в жизни такой.

г. Бийск

Марина Брюзгина

Музыка пчёл

Границы

Границы, границы, границы…
Вся жизнь состоит из границ.
И наши окрашены лица
Огнём непослушных зарниц.

Мне кто-то из предков оставил
Тревогу кочующих птиц.
Хочу исключений из правил,
Хочу нарушений границ.

Читаю себя постранично,
Смотрю полюбившийся сон.
Я с кем-то серьёзно граничу,
Но это до лучших времён.

Музыка пчёл

Жужжат деревенские пчёлы,
Но кажется, будто поют.
Хоть мир несуразностей полон,
Я верю в тепло и уют.

И бабушка рядом, и мама,
Лучами полит огород.
К ручьям и полянам упрямо
Меня это лето зовёт.

А дед поправляет ограду,
На ней одинокий котёл.
Не верите… Ну и не надо —
Я слушаю музыку пчёл!

Бесповоротно в меня влюблены
Берег песочный, четыре сосны.
Ветви колышет в зелёной тиши
Ветер, пробившийся сквозь камыши.

Шепчет мне что-то, листами шуршит
В этой знакомой до боли глуши,
А в вышине почему-то видны,
Как в отраженье, изгибы волны.

В том голубом океане небес
Прячет верхушки застенчиво лес.
Как ни посмотришь — везде глубина,
Облаком тихая заводь полна.

Берег песочный, седая волна,
Я, как ребёнок, в неё влюблена.
Нет на планете чудесней чудес,
Чем эти облако, озеро, лес…

Июньские бабочки

От того, что устала
Беспробуднее сны.
И не жду ни начала,
Ни ухода весны.

Средь земных пересудов
Вспомню зимней порой
Предзакатное чудо —
Синих бабочек рой.

Память в лето вернётся,
Станет грустно чуть-чуть…
Эту просинь на солнце
Не забыть, не вернуть.

Живу, подвешена на нитку,
И день сменяет день другой.
Ищу забытую калитку,
Чтоб, отворив, попасть домой.

Не знаю, чем он обернётся,
Мой день, что счастьем небогат.
Но я дышу, и сердце бьётся,
И нить похожа на канат.

Полумрак в автобусе,
Полумрак.
Едем мы по глобусу
Просто так.

И скользим по времени,
Как по льду,
Но пути отмерены,
На беду.

А ведь очень хочется
До краёв
Добежать и броситься
В смех ручьёв.

Звездопад заказывать
По полям,
Про себя рассказывать
Тополям.

И увидеть солнца круг
Над собой,
А потом очнуться вдруг…
И домой.

г. Кемерово

Марина Саввиных, Михаил Стрельцов

Держа и вздымая друг друга…

Красноярские делегаты Фёдоровских чтений, вернувшись к своим пенатам, поспешили обсудить друг с другом вопросы, навеянные впечатлениями этой встречи.

Саввиных Вы, Миша, начинали свой творческий путь в Кемерово, а затем перебрались в Красноярск, здесь стали активно печататься, вступили в Союз российских писателей, а недавно стали Председателем правления Красноярской ячейки СРП. Ощутима ли разница в деятельности писательских организаций Кузбасса и Красноярского края? Изменилась ли жизнь литераторов Кузбасса с тех пор, как Вы стали приезжать в Кемерово — гостем?

Стрельцов Хорошо там, где нас нет! Союз писателей Кузбасса, как бы кто меж собой ни ссорился, ни плёл интриги, ни братался, ни становился другом навеки, — мне всегда казался единым, монолитным, сплочённым и гостеприимным. Теперь, со стороны, это ощущение единого живого целого ещё более ощутимо. Я любил и люблю этих людей вместе и по отдельности (хотя, возможно, они так и не считают). Что же касается отношения власти к кемеровским писателям — положительная динамика очевидна. Если раньше они, чтобы выжить, сдавали в аренду кабинеты «Дома писателя», сами теснясь кое-как; если со скрипом выходили «Огни Кузбасса» — два номера в год, то теперь они полные хозяева отремонтированного роскошного помещения; журнал живёт и набирает силу — шесть номеров стабильно, и приложениями — книжки молодых поэтов. Премии и стипендии писателям — благое дело губернатора Тулеева. Мы, красноярцы, отчего-то любим пускать пыль в глаза, прихорашивая неприглядную действительность, кемеровчане и сложные периоды, и успехи принимают буднично, по-земному, без лишней суеты. И сам город хорошеет, безусловно. Хотя это общая тенденция в России.

Саввиных Согласна, что общим интересам красноярских писателей страшно вредит сохраняющаяся до сих пор граница между объединением членов СРП и региональным отделением Союза писателей России. Граница, по-моему, совершенно условная и фантасмагорическая. Но бережно лелеемая отдельными «товарищами по партии». Существование этой межи создаёт, кстати, крайнее неудобство в диалоге с краевой властью. Поэтому всё, что способствует взаимодействию, включая взаимопомощь и «взаимовыручку», уверена, должно всячески культивироваться. Что мы и пытаемся делать в «ДиН». И потом — нельзя сказать, что в Красноярске меньше, чем где-либо, делается для развития современной литературы. А Фонд Астафьева, поддерживающий молодых? А программа «Книжное Красноярье»? А Литературный лицей, который не выжил бы без постоянного участия города? Понимаете, Миша, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Возможно, кемеровчане действительно умеют поддерживать целостный привлекательный образ «писателя Кузбасса» в глазах Тулеева, а у нас пока — увы! — куча организаций, и каждая тянет одеяло на себя. Пока жив был Астафьев, он — даже просто силой своего авторитета — держал наше сообщество в необходимом «тонусе». Хотя в последние годы писательские распри прибавляли ему головной боли… до того, что он, в конце концов, все эти «организации» предал анафеме и с негодованием покинул. И всё же каждый из нас чувствовал в нём мощную нравственную и художественную инстанцию, к которой можно было обратиться в случае крайней нужды… Фёдоров такую же роль играл в Кузбассе?

Стрельцов Кемеровчане открыто всегда говорили, что Красноярск силён прозой, а Кемерово — поэзией. И сам собой напрашивается вывод — чья душа руководила становлением литературного пространства. Наши Чмыхало, Черкасов, Астафьев, или у них — Фёдоров, Буравлёв, Небогатов. Как каждый у нас — можно сказать — крестился у выдающихся прозаиков, то и каждый из них — у выдающихся поэтов, самым ярчайшим из которых был, безусловно, Василий Дмитриевич. Проведение фёдоровских чтений — поклон и дань мастеру — обогащает не только духовно. Вспоминается высказывание бабушки из Марьевки, мол, спасибо Васе, раньше по грязи ходили, а теперь асфальт положили. Прекрасно отремонтированный сельский клуб, празднование — воистину народная любовь к поэту. Как человек молодой, я не застал Фёдорова, но всё время чувствовал, как меня измеряют по тем, кто себя измеряет по Фёдорову. Теперь мне порой приходится подходить с этой же меркой, только уже в Красноярске.

Саввиных Ну, кто чем силён, тут я готова поспорить. Красноярская поэзия и сейчас сильна — во множестве своих ипостасей, от неореализма до постмодернизма, и истоки её — основательны. Зорий Яхнин, Вячеслав Назаров, Лира Абдулина, Роман Солнцев, Аида Фёдорова… У каждого — свои вершины, и свои пропасти, но созвездие-то — ярчайшее! Может, по-разному общественные акценты всегда расставлялись: кто более виден из центра — тот и создаёт вокруг себя водоворот… Поэтому в Кемерово — Фёдоров, в Красноярске — Астафьев. Хотя… любые сравнения — бессмысленны, как и «ранжирование» писателей,

всяческие «рейтинги» — по-моему, полная чушь! Каждый на своём месте, перед Богом, — в единственном числе! Как можно сравнивать? И всё же — кого из кемеровских прозаиков-поэтов Вы рекомендовали бы обязательно прочитать? «Кто меж нами, с кем велите знаться?»

Стрельцов Провокационный вопрос! Творческий человек, как правило, обидчив. Не упомянешь здесь кого, в Кемерово лучше не показываться. ◡̈ Если сравнить с тем, что сегодня на книжных прилавках — все гении. Согласен с изречением Сергея Донбая, что каждый значительный поэт, независимо от места проживания, уже сейчас пишет на уровне Пастернака! В юности я зачитывался прозой Мазаева и Куропатова, бесценен вклад в развитие литературной жизни Виктора Баянова и Валентина Махалова. Меня сшибали с ног инновации Куралова, Донбая, Колмогорова, Ибрагимова и Крекова, восторгался Владимиром Соколовым и Виктором Бокиным. Ранние произведения Юлии Лавряшиной какое-то время были эталоном моего движения в прозе. Порывистый и завораживающий Сергей Самойленко, экстравагантный лирик Дмитрий Мурзин, пронзительный эксцентрик Сергей Дьяков, умеющий ритмом остановить или пустить вскачь сердце Игорь Кузнецов, любознательно-откровенная Тамара Рубцова и многие-многие-многие, которые поймут, что эпитеты у меня заканчиваются. Пусть меня не простят, но рекомендую издавать и читать журналы, сборники и антологии, именно там можно найти своих авторов, чтобы затем искать их книги или захотеть помочь такие книги им издать.

Саввиных Да, это и для меня важнейшее впечатление от кемеровской встречи. Толстые литературные журналы с хорошей репутацией — сейчас единственная возможность «держать планку» высокого вкуса. Пусть их будет больше, этих журналов! Пусть они поддерживают — каждый своё направление! Пусть в бесконечном журнальном «самотёке» (а он год от году только нарастает: этакое словесное цунами!) обнаруживают подлинные жемчужины! Обмениваться авторами, текстами и таким образом расширять сферу собственного влияния — это вполне реально. Во всяком случае, общение с редколлегией «Огней Кузбасса» меня в этом убедило и вселило в мою скорбную душу некоторый оптимизм по поводу будущего российской словесности. «Держа и вздымая друг друга…». Наверное, только так и можно противостоять «попсе» и бескультурью. Мы договорились с Сергеем Донбаем и Дмитрием Мурзиным о взаимных анонсах, о публикациях творческих портретов авторов — красноярских и кемеровских… в общем, о дружбе и взаимопомощи! Интересные общие замыслы — и с альманахом «Бийский вестник», и с респектабельным, интеллигентным (несмотря на «глянец») журналом «Омская муза»… Кстати, Миша, нас, по-моему, очень радушно встретили на Фёдоровских чтениях.

Стрельцов А Вы заметили разницу между ними и Астафьевскими чтениями в Красноярске?

Саввиных Я участвую в «Литературных встречах в русской провинции», которые по привычке называют Астафьевскими чтениями, с 1996-го года. Они всегда были масштабны — и размахом, и представительством. Трёх-пятидневный марафон, охватывающий чуть ли не все близлежащие к центру районы края. Множество мероприятий, подключены университеты, библиотеки, издательства, книжная торговля — от Москвы до Владивостока. Я бы так сказала: Красноярский край активнее вкладывается в научно-просветительский и образовательный ресурс литературных встреч. Астафьевские чтения носят всё же более масштабный и «академический» характер. Фёдоровские — ориентированы на «творческую стихию». Если мне чего-то и не хватило за два дня в Марьевке и Кемерово, так это спокойного общения «на трезвую голову». ◡̈ Зато со столицей Кузбасса меня теперь связывает искренняя взаимная симпатия — я это почувствовала во время прогулок по городу, разговоров с поэтами в маленьком «подпольном» кабачке с интригующим прозвищем «Чрево Парижа», обмена улыбками и теплом с прохожими, собаками, кошками и деревьями, роняющими крупные листья на мокрую брусчатку тротуаров… Тротуары захваченного циклоном Кемерова напоминали чело благородного старца с тщательно промытыми морщинами. ◡̈ Надеюсь, это не последняя наша встреча!

г. Красноярск

Станислав Божков

По одной колее с народом

Поглощённый «красным квадратом»

«Опознан в Перми в бюро судебно-медицинской экспертизы методом фотосовмещения…» Так гласила строка одной из газетных хроник. Станислав Божков уже год как числился в розыске. В том смысле, что исчез. Было ему от роду 49 лет. А потом, в июне 1995-го, нашли обгорелое тело возле Березников — города уральских калийщиков. Материализовались его строчки: «Если скажут, что нет меня, — не печальтесь. Я просто вышел…»

До сих пор обстоятельства смерти Божкова, чьи стихи ценил такой признанный лирик, как Алексей Решетов, не выяснены. Известно лишь, что этот странный божий человек (видимо, тому способствовала и фамилия), работавший то слесарем, то пастухом, то пожарным, то даже фермером-арендатором, в основном, печатался в «Новом журнале» Нью-Йорка, в парижской «Русской мысли» и оксфордском издании «Ради перемен».

Известно и другое: на правах земляка первого президента России Бориса Ельцина (а последний закончил в Березниках среднюю школу №1 имени Пушкина) и по праву поэта, отвечающего за страну, Станислав Андреевич слал главе государства письма — наставлял-советовал, как этим государством управлять.

Известно и третье: Божков состоял в том самом «Демократическом союзе», который вместе с Валерией Новодворской доставлял власти много хлопот. Мало того, по признанию самой Валерии Ильиничны, одно из стихотворений Божкова — «единственного крестьянина в нашей плеяде» — можно было считать гимном «Демократического союза».

Вот что «огненная революционерка» сказала мне о Станиславе при встрече:

«У нас больше крестьян в «Демократическом союзе» нет, хотя это очень условный крестьянин. В такой же степени и Есенина можно было считать крестьянином, но Есенин жил своим поэтическим трудом, в конце концов, получал уже приличные гонорары, а Божкову, чтобы прокормиться, приходилось класть печи, выращивать гусей и поросят. Он, действительно, видел ту деревню, которую мы и отдалённо не видим. И то, что человек смог получить там такое образование и начал писать вполне приличные стихи, дорогого стоит. Его стихи выказывают глубокое знакомство с историей — стихотворение о маршале Нее, например (Валерия Ильинична цитирует всё наизусть — Ю. Б.):

Умирать мне пока не к спеху
За идею, как маршал Ней.
Двадцать девять оттенков смеха
Существует среди людей.
На державу надет ошейник,
Но хохочет она до слёз —
Только десять стволов ружейных
Принимают его всерьёз…

Это вообще для европейской антологии! — продолжает Новодворская. — И так полюбить свободу, чтобы вступить в «Демократический союз»?! Я о стихах Божкова высокого мнения. Это действительно — хорошие стихи. А вот строки, которые посвящены, по-моему, всем «дэзсовцам»:

Сдаваться нам нету резона,
Но важно погибнуть в борьбе.
Пусть каркает птица ворона
На самой высокой трубе,
Когда наши храбрые кости
Положат на вечный покой
На самом высоком погосте,
Над самой красивой рекой…

И я это везде читаю. Так что это стихотворение пустила в люди я. И смерть Божкова — очень большая потеря…»

Поэт как в воду глядел. В ту самую «красивую реку». Кто бывал в Березниках, знает, что это — Кама. И «храбрые кости», которые будут опознаны методом фотосовмещения, увы, тоже просматриваются в зеркале этой реки. На излёте жизни, в 1993-м, он выпустил единственную книжку — «Красный квадрат». Тем самым обозначил путь — от Малевича до Божкова. «Красный квадрат» его и поглотил.

Юрий Беликов

~

Рванёшься в мир, а выйдешь в сенцы,
Сопьёшься где-нибудь в глуши.
У нас провинция — Освенцим
Любой мятущейся души.

И не от зла, не от коварства,
А от ущербности своей,
Когда уйдёшь, ей оставаться
Среди собак и писарей.

~

Мне однажды получку на тридцать рублей,
Как Иуде, кассир отсчитала!
Я бутылку купил, с нею жить веселей,
Если в парке милиции мало!

Приложившись, наткнулся на синий погон,
И взялось за меня государство!
Двадцать пять на ладонь и полсотни — вдогон,
Остальное себе — на лекарство!

~

Какая скорбная минута!
Обидно стало мне до слёз:
Я Судный день с посудным спутал
И тару в магазин отнёс.

Я брёл, не думая о праве
юдолью шествовать земной.
Седые грешники в канаве,
И те смеялись надо мной.

Но вырос мальчик, как Спаситель.
Сказал с улыбкой в пол-лица:
«Не надо, дядя, не ходите,
Забрали черти продавца…»

Ночью

Молитесь вы Отцу и Сыну.
А я остался не у дел —
Мой ангел выпил керосину
И в Рай к себе утарахтел.
Но я, в беспамятстве, не струшу.
Погибну молча, как трава.
На очарованную душу
Уже не действуют слова!
И этой полночью лучистой
Ко мне садится на стакан
Сиятельный и серебристый
Инопланетный истукан.

~

Поэтов нет. Ушли от нас поэты.
Теперь вокруг одни авторитеты.
У них стихи блестят, как эполеты
В парадный день на воинском плацу.
Но есть вопрос ответчика к истцу:
«Зачем сия кровавая планета?»
В моих руках стакан и сигарета,
И лунный луч сползает по лицу,
Как покрывало с памятника павшим…

Мечта поэтов

В. Гусеву

Мы поедем в деревню с Володей,
В парнике разведём огурцы,
И составится мненье в народе
То, что оба мы с ним молодцы!
А подумав серьёзнее, к лету
Размахнёмся на двух поросят.
И кто скажет тогда, что поэты
У державы на шее сидят?

~

Могила женская под вечер.
И ледяная тишина.
Совсем не требуется речи —
Немного горя и вина.

Всё остальное там, с Землёю,
Которая летит в веках
С любовью, жизнью и листвою
На всех пяти материках.

~

Что осталось? Книги, мебель,
Крылья, звёзды да кровать…
Кроме Господа, на небе
Больше некого позвать.

О, Всевышний ходит быстро!
Только скажешь: «Подь сюды!»,
Он рванётся так, что искры
Полетят из бороды!

Призовёт меня к ответу,
Это вам не чепуха!
Что останется при этом,
Если весь я из греха?

Иуда

Вот и всё! Позади равнина
Без единого деревца,
А на этом краю осина —
Для величья и для конца!
В кошельке не осталось денег —
Деньги розданы для калек.
На короткий сучок наденет
Своё вервие человек.
Оттолкнётся ногой от тверди
И повиснет на том суку…
Дай мне, Господи, милосердья —
Я расплакаться не могу!

~

Умирает поэт. Усмехается хам.
Остаётся булыжник, заложенный в храм,
Чтобы в стенах его через тысячу лет
Появился другой гениальный поэт.
Но потом его тоже привяжут к столбу,
Чтобы видом своим он потешил толпу,
Забывая о том, что пока он живёт,
Даже эту толпу называют «народ».

~

Улететь бы, как Бог, в синеву,
А потом раствориться в тумане
И росою упасть на траву,
На которую женщина встанет.
И пройдёт два десятка шагов,
Отряхая меня на колени
С голубых, как глаза, васильков
И других незнакомых растений.
Мне никто и ничто не указ
Не мечтаю о крове и хлебе,
Ибо где-то уже через час
Я исчезну в безоблачном небе.

~

Вот и я не уехал в Париж,
Всё мечтал и мечтал о котором,
Что теперь мне останется? Лишь
Умереть под российским забором.
Как стремительно близится взрыв.
Это общество начало с марта
Испытанье своё на разрыв —
На разрыв моего миокарда!
Может, кто-то процедит едва:
«Этот парень сгорел не от страха…»
Но на Сент-Женевьев-де-Буа
Моему не поклонятся праху.

Встреча

В. Новодворской

Если чернь загрустит о царе,
Растерзает российское вече —
У тебя на высоком костре
Состоится служебная встреча.

Как «последний решительный бой»
На будильниках нищей державы,
Верноподданный вырвется вой
Из музейных отстойников славы.

Ничего не скажу я тогда,
Улыбнусь мимолётному счастью,
И последняя вспыхнет звезда
На закованных наших запястьях.

~ *Л. К.*

Облетят, словно листья, дожди.
Без цветов почернеет природа.
И останешься ты позади
Моего високосного года.
Я скажу, что спокойней — печаль
И разумней — душевные муки.
И засветится гордая даль
Необъятной, как море, разлуки.
Но когда в ней погаснут огни,
Словно искры божественной дани,
Полетят мои чёрные дни,
Как тяжёлые птицы в тумане.
И, наверное, это судьба —
Вспоминать на чужом карнавале
Только русую прядку у лба
И один поцелуй на вокзале.

~

Если скажут, что нет меня —
Не печальтесь. Я просто вышел.
Ненадолго. В поток огня.
И летаю над вашей крышей.
Неуклюжий тревожный дух,
В голубой вышине витает…
Над землёю я стою двух
Тех, которые не летают.
У народа свои дела,
Не пугайте его исходом.
Но повозка моя прошла
По одной колее с народом.

Поэзия

А. Решетову

Это странная ноша, поверьте!
И она не для всякой руки.
Состоянье клинической смерти
Начинается с пятой строки.
И в стране, где закон и порядок,
Ты опять наказуем, как враг,
Исключеньем из общего ряда,
Отлученьем от всяческих благ!
Но когда далеко до рассвета,
Когда некуда жить, наконец,
В миллионной когорте поэтов
Иногда возникает Творец!

Ночью

Я человеком быть устал.
Позволь мне, Господи, вернуться!
Разрушенным, как пьедестал,
Разбитым вдребезги, как блюдце.
Я не могу уже спасать
Разбойников с большой дороги
И в пьяном кабаке плясать
На чьих-то праздниках убогих.
Я сделал всё. Я был похож.
Меня своим они считали,
Как тёмной ночью ржавый нож
Себя считает братом стали,
Как два вколоченных гвоздя
Себя считают близнецами.
Но я-то знал, что жить нельзя
С двумя различными Отцами.
Пишу последнюю скрижаль
Строкой естественной и красной.
Вот только женщин их мне жаль:
Они, по-моему, прекрасны.
Но буря воет среди скал,
И мне уже не разогнуться.
Я человеком быть устал.
Позволь мне, Господи, вернуться!

г. Пермь

Владимир Любицкий

Пиршество скупых

журнальный вариант

Притворство — главный грех промеж людьми.
Презренней воровства,
Подлей прелюбодейства.
В нём — и шипы чарующей любви,
И семена грядущего злодейства.

От автора

Когда он последний раз лежал на земле? Пусть не лежал — хотя бы просто сидел… Так, чтобы вот она, под рукой: шершавая, упругая, живая — со всеми своими мурашами и травинками, тёплая от солнечных лучей или прохладная, как исходящая испариной человеческая кожа.

Когда? Разве что в детстве…

Бывало, отец брал его с собой за город, и сначала они шли пешком по долгой пыльной дороге, потом взбирались на пологий холм, окутанный коротко стриженой травой. Там, уже наверху, отец садился на какую-нибудь кочку, задорно торчащую над окрестным миром, сладко вытягивал ноги, курил папиросу, уютно пахнущую домашней печкой, после чего с явным удовольствием опрокидывался навзничь и, щурясь от небесной синевы, жадно вглядывался в торопливые облачка.

Когда это было? В ту пору, когда Валерий ещё не понимал, что хорошего находил отец в таком времяпрепровождении. Себя помнил только унылым мальчишкой, уставшим от зноя, и от скучной безлесой горы, и от тупого сиденья на жёсткой земле, с которой в его сандалии, надетые на босу ногу, наползали головастые кусачие муравьи. «Пап, ну пойдём!» — попробовал он как-то раз изменить ситуацию, но, схлопотав по шее, умолк. Спустя тягостно длинные минуты, предусмотрительно отодвинувшись, снова затянул: «Па-ап!». На этот раз отец даже не повернул к нему головы. Раскинув руки, он лежал с закрытыми глазами, и на лице была такая нега, а веки так неподвижны, что, могло показаться, он спит — если бы не колыхался в губах длинный упругий стебелёк. «Ну, па-ап! Мне скучно…».

— Эгоист! — стегнул его непонятным словом отец и резко сел.

Позже он разузнал, что значит «эгоист», и когда вырос, а отца давно уже не было на свете, слово это стало для него едва ли не главным критерием в оценке окружающих. При том, что в новые времена люди даже не заметили, как обожание «себя любимого» перестало быть предосудительным. «Надо любить себя!» — утверждали телезвёзды. «Вы этого достойны!» — вещала реклама. «Кто не умеет любить себя, не сможет полюбить никого», — декларировали «лидеры мнений». Себя, себе, собою, о себе — к этому сводилась теперь жизненная грамматика. И люди, в среде которых он работал, без раздумий существовали по таким правилам. Словно бы они, даже если были его ровесниками, росли в каких-то других краях, читали другие книжки, смотрели не те фильмы…

— Здравствуйте, Валерий Сергеевич! — раздался за его спиной голос Наташи, секретаря вице-президента банка Сурикова. — А где остальные?

По утрам Наташа проверяла явку личного состава, чтобы к приходу шефа представить ему рапортичку — официально оформленный донос. Это считалось борьбой за укрепление трудовой дисциплины. Во всяком случае, при необходимости — если не было других поводов — шеф использовал рапортички, чтобы лишить кого-нибудь премии по итогам месяца. При этом в течение дня каждый всё равно жил по собственному распорядку: кто убегал на деловую встречу, кто по невесть какому «заданию», кто «на переговоры» — лишь бы с глаз долой. А уж отчитаться «о проделанной работе» оставалось делом техники.

Суриков, впрочем, был не дурак и цену кадрам знал. Ближе к обеду он забредал иногда в их комнату, садился за соседний стол с чашкой кофе, которую вслед ему приносила Наташа («Вам тоже кофе, Валерий Сергеевич?» — «Спасибо, нет!»), и, начав с какой-нибудь политической новости, неизменно заканчивал поношением контингента: «Господи, с кем приходится работать!». Поскольку говорилось это независимо от того, кто в данную минуту был на рабочем месте, то народ не заблуждался насчёт собственной оценки в глазах шефа и не особенно переживал по этому поводу. Только двоих Суриков, пожалуй, выделял среди подчинённых: его, Валерия Моисеева, которого сам сравнительно недавно пригласил на работу, и Степана Власьевича Мокрушина — тот слыл человеком Самого, то есть президента банка Лебедянского.

Мокрушин много курил. Позволялось это лишь на лестничной площадке, и, отправляясь туда, он скуки ради звал с собой некурящего Валерия. Выяснилось, что в недавние времена Мокрушин служил птицей высокого полёта — замом генерального прокурора. И хотя на особо дотошные расспросы отвечал заученной шуткой «заяц трепаться не любит!», всё же открывал любопытствующему собеседнику некоторые жизненные эпизоды, потаённые от глаз обывателя. В свою очередь Валерий, поощряя его к большей откровенности, рассказывал о себе — главным образом, о своей газетной работе, в которой для непосвящённого тоже было немало увлекательного. Иной раз обсуждали они и политические новости, и свои нынешние занятия. Правда, постепенно круг тем сузился, взаимная откровенность достигла некоего условного предела, после чего Валерий почувствовал, что хождения «на лестницу», как и сам Мокрушин, стали его утомлять. К тому же,

Суриков, осведомлённый об этих перекурах, иронизировал:

— Опять на сходку, Валерий Сергеевич? Что-то вы лицом стали желтеть — никак, решили себя мумифицировать?

Наташа иронию шефа перетолковала на свой лад:

— У вас, Валерий Сергеевич, столько бумаг на исполнении, а вы полдня на лестнице проводите…

— Мы работаем не с бумагами, а с людьми! — парировал Валерий, понимая, впрочем, что количественные наблюдения секретарши могут рано или поздно перейти в качественные выводы шефа.

Познакомились они в ресторане «Метрополь» на торжествах по случаю юбилея самого ресторана: завладев этим респектабельным заведением в самом сердце Москвы и порешив вписать своё лыко в чужую строку, новые хозяева насчитали аж сто десять лет со дня его основания. Валерий заранее ощущал себя там свиным рылом в калашном ряду. Но, будучи зван бывшим однокурсником, сменившим серые будни «газетной крысы» на карнавальную жизнь рыцаря «паблик рилейшн», как он представился при встрече, — не отказался.

— Во-первых, — несколько рисовался Аркадий (Валерий с трудом припомнил тогда имя однокурсника), — увидишь самых ярких людей: бизнесмены, артисты, политики, и прочая, и прочая… Во-вторых, можно поесть на халяву — фуршет будет классный! (Валерию показалось, что при этих словах Аркадий даже подобрал слюну.) А потом, я слышал, ты затеял журнал выпускать. Чем чёрт не шутит — может, кого-нибудь на бабки разведёшь?..

На курсе они с Аркадием друзьями отнюдь не были — просто сосуществовали. В какой-то момент их было сблизила университетская многотиражка, в которой оба охотно сотрудничали. Правда, Аркадий сильно комплексовал из-за своей фамилии — Пестун, поэтому свои материалы подписывал, как ему казалось, более звучно — Перовский. Однажды на встречу со студентами пришла группа журналистов «Комсомолки» — по случаю какого-то юбилея газеты. Встреча была интересной, Валерия особенно увлекли история борьбы против всесильного капитана китобойной флотилии «Слава» и рассказ редактора отдела сельской молодёжи о том, как газета разоблачала афёру академика Лысенко с кустистой пшеницей. И вдруг Аркадий поднялся с вопросом: «А какая у корреспондентов зарплата?» Повисла неловкая пауза, даже ведущий вечера нашёлся не сразу: «Вас это в каком смысле интересует?» — «В самом прямом», — не смутился Аркадий, хотя окружающие — кто насмешливо, кто возмущённо — уже стали на него оглядываться. Тогда главный редактор газеты, тоже сидевший на сцене, всех успокоил: «Что ж, вполне житейский вопрос. Наверное, коллега — человек семейный…». И назвал какие-то цифры. Аркадий, сидя рядом с Валерием, шепнул ему: «Уважаю!» — «Кого?» — не понял тот. Он подумал, что речь идёт о главном редакторе — отличном журналисте и действительно мужественном человеке. Но Аркадий доверительно сказал другое: «Уважаю, кто много получает!» С той минуты Валерий понял, что они разного поля ягоды.

Сейчас он вряд ли соблазнился бы приглашением на «халявный» фуршет, если бы не намёк на возможность встретить там будущего спонсора для журнала. Эта призрачная надежда плюс профессиональное любопытство побудили Валерия подыграть тщеславию бывшего коллеги.

Аркадий с ещё двумя неразличимо похожими субъектами встречал гостей при входе в ресторан. Радушно приобняв Валерия, он показал ему, где гардероб, после чего широким жестом как бы распахнул пространство зала:

— Тусуйся!..

Публика, постепенно наполнявшая пространство, будто сходила с телеэкрана — настолько узнаваемыми были лица. От телевизионных прототипов их отличала разве только пышность нарядов.

— Известных много — знакомых нет, — констатировал про себя Валерий. И с кем же в таком случае тусоваться?

Интерьер — со всеми его витражами, гобеленами, мрамором лестниц — публике соответствовал. Или это она подстраивалась под него? Любопытно: когда Врубель безумствовал над росписью своего знаменитого фасада, представлял ли он себе хоть на мгновенье эти пьющие, жующие, суетливые и жеманные людские скопища? Впрочем, жизнь есть жизнь, и люди есть люди. Сегодня туристы млеют у стен Колизея — а предки вспарывали там друг другу животы. Турист-провинциал благоговейно ступает по брусчатке Красной площади — а там, не исключено, повесили безвестного основателя его рода за участие в стрелецком бунте. Вот и здесь, в «Метрополе», бывало всякое: отбивались юнкера от революционной толпы, потом жили семьями первые советские бюрократы, затем промышляли гостиничные проститутки «первого в мире социалистического государства», теперь вот тусуется бомонд нового призыва…

…На небольшой эстраде появились музыканты и модный эстрадный певец — длинноволосый, с неопрятно кустящейся бородкой и шкодливо-застенчивой улыбкой. Публика приветствовала его аплодисментами и восторженными кликами.

— Я не ангел, я не бес… — загнусавил он под новый взрыв ликования. После признаний, что он просто усталый странник, пошли отнюдь не мужественные стенания: дай мне напиться! дай мне, дай! спать уложи рядом с собою!..

— Кто ему сказал, что он — певец?! — вырвалось вслух у Валерия.

— Попса — не профессия, а форма существования, — услышал он в ответ.

И обнаружил рядом невысокого, коротко стриженого молодого человека, одетого без вызова, но стильно: в чёрном костюме, сияюще белой рубашке с модным, чуть скруглённым воротничком и галстуком типа «авторитет».

— Мы с вами тоже ведь пришли не Бетховена слушать, — улыбаясь, предположил незнакомец.

— Да уж! — хмыкнул Валерий. — Но зачем именно пришли мы с вами? — акцентировал он последние слова.

— Может быть, чтобы познакомиться? — простодушно отвечал сосед и с той же улыбкой протянул руку: — Суриков. Руслан Юрьевич.

Валерий рукопожатие принял, а сосед продолжал:

— В конце концов, каждый пришёл с какой-то целью, совмещая, так сказать, приятное с полезным. Одни, быть может, с расчётом на деловую встречу, другие — в поисках полезного знакомства, третьи — чтобы присмотреть состоятельного жениха или любовника, а кто и престижа ради… Вот вы, — Суриков с интересом посмотрел Валерию в глаза, — вы наверняка здесь не из простого любопытства?

— Ну почему же? — Валерий не стал спешить с откровениями, но принял слегка насмешливый тон собеседника. — У меня к любому зверинцу профессиональный интерес.

— Зверинцу? — рассмеялся тот.

— Конечно — если верить Дарвину!

— Валерий Сергеевич, и вы здесь? Рад видеть! — широколицый великан почти сграбастал его со спины, и Валерий не без усилия вывернулся из этих дружеских объятий. — Должен сказать вам спасибо. Резонанс огромный! Думаю, мы своего добьёмся.

— Очень рад, — ответил Валерий, не покривив душой. — Но, думаю, к теме надо будет вернуться…

— Какой вопрос! Всегда готов. Я вам позвоню!.. Извините, — поклонился великан в сторону Сурикова и поспешил за своей не менее грациозной спутницей.

— Вы что, близко его знаете? — спросил Суриков.

— Ну, как близко… Раза два брал интервью…

— Не познакомите меня?

— Сейчас?

— А что, неудобно?

— Не знаю. Просто… как я вас представлю?

— Хотите сказать, что и сами меня не знаете? — снова улыбнулся собеседник. — Вы правы. Я президент… хотя нет, проще… руководитель пиар-агентства.

«Уж не начальник ли Аркадия?» — подумал Валерий.

— А зачем, простите, руководителю пиар-агентства знакомство с замминистра оборонного ведомства?

— Ну, вы-то, я понял, журналист? Вот сходим к нему вместе — всё и поймёте.

…Так началось их знакомство. А спустя полгода после удачной, по заключению Сурикова, встречи у заместителя министра он позвонил Валерию, сообщил, что занимается связями с общественностью теперь уже в качестве вице-президента банка, и предложил поработать вместе.

— Я журналист… — напомнил Валерий.

— Вы-то мне и нужны.

— …и у меня другие жизненные планы.

— Обсудим!

При встрече Суриков сразу же выдал ему пятьсот долларов — «за интервью в министерстве», как он объяснил.

— Но я ничего не писал! — попытался Валерий отречься от незаработанных, хотя и далеко не лишних денег.

— Для вас интервью — это жанр, а для меня — встреча. Так что, всё правильно, — успокоил его Руслан Юрьевич. — Кстати, о каких своих планах вы упомянули?

И Валерий рассказал ему, что был в 20-е годы в Париже замечательный журнал, издаваемый писателями-эмигрантами первой волны и посвящённый России. Сейчас, когда в России и за её пределами — как ближними, так и дальними, — люди потеряли ясное представление о своей родине, о том, что же она есть — надежда человечества, как пели в недавних песнях, или его чёрная дыра, — такой журнал мог бы помочь возрождению национального самосознания…

По мере того, как Валерий всё больше возбуждался, горячился, переходил на возвышенные тона, лицо Сурикова тускнело, грустнело, покрывалось прозрачным облаком озабоченности.

— Идея хорошая, — вздохнул он, когда Валерий остановился. И даже подстегнул себя: — Отличная идея! Попробую закинуть её наверх: недавно шёл разговор о том, что банку не мешало бы обзавестись каким-нибудь представительским изданием. Чем чёрт не шутит, да?! Но…

Он помолчал, потом искоса посмотрел на Валерия:

— Вас ведь никто, кроме меня, здесь не знает. Кто доверит деньги «гомо инкогнито»? Не поработаете пока у меня?

Так Валерий оказался в одной стае («в команде» — как предпочитали величать себя новые коллеги) с бывшим заместителем генпрокурора, и с тем же Аркадием, и с розовощёким самоуверенным телеведущим Леонидом Изяславским — тоже бывшим, которого с творческой стези, по его собственному выражению, увлекла стезя коммерческая, и с двумя белокурыми кофеманками, которых Валерий постоянно путал — кто из них Маша, а кто Даша. На планёрках, проходивших по понедельникам, Суриков с каждым говорил о чём-то неизвестном для остальных, намёками и полунамёками, говорил то ласково, то зло или иронично, и это напоминало очередь гномов за поцелуем Белоснежки. В такие минуты Валерия охватывала жгучая тоска по прежней, газетной жизни. По горячим летучкам, где все говорили на одном, общепонятном языке. И коллективным, до полуночи дежурствам по газетному номеру. И по командировкам, когда он чувствовал себя послом — полномочным, а бывало, и чрезвычайным. И даже по столовке на двенадцатом этаже редакционного здания, где за обедом обсуждались новости, свежие анекдоты, статьи — написанные или только ещё замышленные, и другая всячина.

Его попытки напомнить о журнале Суриков воспринимал вроде бы с пониманием, но пока отшучивался:

— Будет вам и белка, будет и свисток!

— Это когда рак на горе свистнет? — грустно усмехался Валерий.

— Вале-ерий Сер-гее-вич, — нараспев укорял Суриков, — ну откуда такой пессимизм? Придёт время — не только журнал будете издавать, откроете настоящее своё дело!

— Наверное, мы с вами по-разному понимаем «своё дело». Для меня это — работа, которой занимаешься профессионально и с удовольствием. А для вас — синоним бизнеса.

— Думаете, бизнес не требует профессионализма? У вас, кажется, чисто советское представление: бизнесмен — значит эксплуататор и бездельник. Это пройдёт! Вот станете хозяином журнала — и пройдёт…

Какая-то правота — не буквальная, но всё же неприятная для Валерия — была в этом умозаключении. Пытаясь иногда представить себя в роли хозяина журнала, он, конечно, сознавал, что придётся научиться считать деньги, даже скопидомничать, чтобы дело не заглохло, быть может, и обижать кого-то при этом… Но пусть бы, наконец, случилось, началось, получилось! Только бы уже заниматься тем, к чему лежит душа! Вот тот далёкий, пока недосягаемый миг он и предощущал как сопряжение с чем-то прочным, надёжным. Как прикосновение к земле.

Поперёк Халатного переулка, по обе стороны которого банк занимал два одинаковых старинных особняка, висела растяжка с вызывающим слоганом: «Свободу тебе принесут не танки, а деньги, растущие в нашем банке!» В первый же день, когда Валерий, обживаясь на новом месте, разглядывал его из окна кабинета, Аркадий горделиво кивнул:

— Моя работа!

— А музыка чья? — не удержался Валерий.

— Три тыщи баксов — разве не музыка? Считай, по триста за каждое слово…

— Волшебная сила искусства!

Аркадий принял комплимент всерьёз:

— А что? Человек прочтёт, посмеётся, а после задумается — и положит к нам денежки. Что и требовалось доказать!

Валерию немного понадобилось времени, чтобы понять: Аркадий не слишком обрадовался его появлению в «стае». То ли ревновал, то ли опасался чего… Тогда, в университете, они жили разными, но параллельными, не пересекающимися жизнями. Валерий учился увлечённо, легко, находя время и на походы в театр, и на участие в капустниках, и на выпуск факультетской видеогазеты, в то время как Аркадию приходилось натужно просиживать штаны над курсовыми, готовить километры шпаргалок к зачётам и экзаменам, то и дело пересдавать по причине мученического страха перед таинствами наук и их оракулами в облике преподавателей. Теперь же бывший страдалец словно брал реванш за прошлое, не упуская возможности показать своё превосходство — деловое и, соответственно, материальное. Или просто так казалось?

Здесь, в банке, каждый хоть в чём-нибудь — в одежде, которую менял ежедневно, или в упоминании ресторана, где ужинал накануне, или в престижности курорта, куда летал в отпуск, — каждый хоть в малости старался казаться круче, значительнее, удачливее окружающих. И как ни противился Валерий, он чувствовал, что противоборство тщеславий невольно втягивает и его. Однажды во время «командного» застолья по поводу дня рождения Леонида Изяславского стали перемывать косточки бывшему коллеге, который, уволившись, исхитрился стать чуть ли не газетным магнатом. Аркадий поддел Валерия:

— Видишь, как умные люди живут? А мы так и зачахнем в безвестности. Ни сказок о нас не расскажут, ни песен о нас не споют…

— Ну, Пастернак считал по-другому: позорно, ничего не значa, быть притчей на устах у всех.

Аркадий рассмеялся:

— Пастернака не читал, но я его осуждаю. Вместе со всем прогрессивным человечеством! Если ты чего в жизни добился — ты уже что-то значишь!

— А почему это нужно кому-то доказывать?

— Да потому что ещё классики учили: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя! Ты вот сдал эти прописи — и забыл, а я их усвоил. На всю оставшуюся жизнь! И пусть неудачник плачет!

— Хватит, хватит! — Маша с Дашей, не выдержав интеллектуального накала, в один голос потребовали танцев. Раунд остался за Аркадием.

Особенно охотно он давал Валерию советы. Советовать вообще было его хобби.

— Ты не жди, что кто-то будет тебя опекать. Это раньше к новичкам на производстве прикрепляли наставников. Теперь карьера начинающих — дело самих начинающих!

— Но ведь банк заинтересован, чтобы сотрудники быстрее становились профессионалами?

— «Ап-политично рассуждаешь, чесс-слово!» — цитировал Аркадий товарища Саахова. Он вообще ужасно любил цитаты — считал это доказательством своей эрудиции. — Конечно, банк заинтересован в профессионалах, но тратиться на их подготовку — извини! Здесь нужен не человек, а функция. Или ты работаешь на профессиональном уровне, или — гуд бай, на твоё место придут другие.

Ещё одним признаком превосходства Аркадий, вероятно, считал свою осведомлённость об амурных тайнах сослуживцев. Этим он делился особенно охотно.

— Думаешь, зачем Наташка засиживается в конторе за полночь? Трудоголик? Или за день не управляется? Да просто она с Русланом…

— Брось, слушать противно!

— А ты слушай, слушай! Он её потом домой подвозит. И она, дура, надеется, что замуж возьмёт.

— Так ведь он женат, кажется…

— Ну и что? Кого это сегодня смущает? У кого больше козырей, тот и выиграл. А Руслан хоть и не туз пока, но уже козырный!

— Он же тебе доверяет, а ты про него…

— Ну, доверяет, да! Так это опять же моя заслуга. Завтра проколюсь на чём-нибудь — куда всё доверие денется! А у меня на тот случай свои козыри есть… Кто владеет информацией — владеет миром!

— Ну, а если до него дойдёт, что ты о нём сплетничаешь?

— Ты, что ли, расскажешь? Сам же в дураках останешься. Помнишь анекдот: «Товарищ капитан, вас рядовой Сукин нехорошим словом обозвал» — «Каким словом?» — «Стыдно повторять, товарищ капитан». — «Стыдно? Три наряда вне очереди!»

Но излюбленной темой Аркадия были деньги — впрочем, как и для всех в офисе. Нет, личные доходы здесь не обсуждались («говорить о

зарплате в Европе считается неприличным!»), тем более что официально зарплаты были довольно скромными — основной заработок выдавался в конвертах, вес которых был установлен для каждого особо. Но разговорами о деньгах день начинался, ими же и заканчивался. С утра Мокрушин вылавливал в интернете курс доллара, и это надолго становилось темой номер один. Потом начинались звонки клиентов и партнёров — в эти часы кабинет, словно хрустящими купюрами, был набит словами «платёжка», «счёт», «депозит», «процент», «акция», «траст», «лизинг», «франчайзинг», «дивиденд» — и не было им конца. В обеденный перерыв Маша с Дашей умудрялись обежать окрестные бутики, после чего в комнате разворачивались дебаты о ценах, модах, брэндах — с участием всех присутствующих, включая мужчин. А часа за два до исхода рабочего дня, за расслабляющим файв-о-клок, обсуждались планы на вечер: предстоящие встречи, знакомства, прочие светские радости — и тоже с непременным финансовым эквивалентом.

Суриков редко принимал участие в этом почти плотоядном смаковании денежной «гастрономии» — был занят бесконечными переговорами и заседаниями. Но как-то под вечер он позвал Валерия и доверительным тоном поинтересовался:

— Ну как, вливаетесь в ряды?

— Вливаюсь…

— Что ж так невесело?

— Да не умею, наверное, веселиться среди калькуляторов. Это скорее фильм ужасов — в духе Хичкока. Только и слышишь: деньги, деньги…

— Что ж тут удивительного? Нормальные профессиональные разговоры! О чём чаще всего говорят на космодроме? Думаю, о ракетах. А у мартена? Наверное, о стали. А на свиноферме? Скорее всего, про опоросы. Банк — тоже производство…

— Ну, уж и производство!

— А вы как думали! Не склад денег, а именно предприятие по их производству. Уверяю вас, это очень увлекательный процесс, причём — сугубо творческий! Вы просто не успели его прочувствовать. Между прочим, у вас есть всё, чтобы заработать быстро и много.

Валерий намёка не понял. Подсказал Мокрушин:

— Ты думаешь, наша банковская молодёжь на зарплату живёт? Не-а! И даже не конвертами, как может показаться… Главное — деньги в банк приносить. От них и тебе перепадёт.

— Не понял!

— Красавчик Лёнечка Изяславский любит перефразировать Маяковского: «У нас и домик будет, у нас и саду цвесть, когда такие деньги в стране советской есть!» А серьёзные деньги в стране советской есть только в одном месте — в государственном бюджете. Но бюджет у кого? У министерств. Спрашивается: как их оттуда заполучить? Ответ: убедить министра или его зама, что именно в нашем банке деньги будут не только целее, но и прибыльнее, поскольку лягут на счета под солидный процент.

Схема оказалась прозрачной, как мыльный пузырь. Казённые деньги банк пускал в оборот, они давали прибыль, которая становилась уже достоянием банка, из неё оплачивалась и энергия менеджера Сурикова, и работа подручных — вроде него, Валерия, и, без сомнения, услуги заместителя министра, которому должностной оклад тоже, скорее всего, был узковат в плечах. И всё законно: государство не в обиде, никто ни у кого не украл…

Стало понятно, что имел в виду Суриков, когда намекал на возможности Валерия повысить своё благосостояние. Выходит, только и требуется, что использовать свои журналистские связи в министерствах? Но как только Валерий пытался представить себя в роли коммивояжёра («Переведите деньги вашего министерства в наш банк — а мы вам за это…»), — его обдавало волной стыда и гадливости. Его, журналиста, всегда интересовал сам человек. А теперь, значит, надо говорить с людьми, просчитывая в уме возможные дивиденды? Станешь выспрашивать, что у человека болит, — а сам прикидывать свою маржу? Он доверит тебе свои тревоги и заботы, но ты в нетерпении побежишь не в редакцию, чтобы ударить в набат, а в банк — получать причитающийся куш?..

Из рефлексии его вернул к жизни телефонный звонок.

— Валерий Сергеевич, — услышал он голос Наташи, — зайдите, пожалуйста, к Руслану Юрьевичу.

У Сурикова сидел человек, которого Валерий видел лишь однажды — когда поступал на работу: была у президента банка Матвея Абрамовича Лебедянского такая блажь — со всеми новичками знакомиться лично. При этом он запоминал сотрудника не только в лицо и по имени-отчеству, но иной раз даже по характерным эпизодам биографии.

— Не заскучали по газете? — спросил он после обмена приветствиями.

— Есть маленько, — признался Валерий.

— А я тебе что говорил! — Лебедянский так победно обернулся к хозяину кабинета, будто выиграл нешуточное пари. Но тут же продолжил разговор с Валерием:

— Читали?

Он протянул недавний номер «Деловой недели» со статьёй, обличавшей банк в махинациях с акциями недавно купленных предприятий. Валерий кивнул.

— Автора знаете? Этого… Юрия… Сли-вочки-на, — банкир произнёс фамилию по слогам, будто превозмогая зубную боль.

Валерий снова кивнул. Он помнил этого парня ещё по молодёжной газете, где они оба раньше работали. Сливочкин в ту пору занимался страничкой для пионеров, вёл её остроумно, изобретательно, однако на ниве высокой публицистики замечен не был. Когда же в воздухе запахло переменами, он вдруг замелькал в газетах и на телевидении с уголовными расследованиями, придавая им политический подтекст, ввёл в обиход шокирующий для страны термин «мафия» и всем этим быстро обрёл популярность.

— Как вы думаете, сколько он стоит? — спросил Лебедянский.

— Что? — не понял Валерий.

— Я спрашиваю, сколько стоит этот… Сливочкин.

— Не знаю! — сообразив, о чём речь, почти огрызнулся Валерий.
— А вы сами? — нахмурился президент. И опять обернулся к Сурикову: — Во что он нам обходится?
— Не беспокойтесь, Матвей Абрамович, — примиряюще произнёс Суриков, — думаю, мы договоримся…
— Да?.. Ну ладно, — Лебедянский встал. — Два дня!
Когда он вышел из кабинета, Суриков, помолчав, нажал кнопку телефона:
— Наташа, два кофе сделай, пожалуйста… Вас коробит наша лексика? — обратился он к помрачневшему Валерию. — Напрасно. Давайте-ка переведём её на привычный язык…

Отступление 2-е

…Небольшой городок совсем недавно стал центром молодой, только что образованной области, но в нём уже бросались в глаза приметы административного возвышения. Посреди обширной площади, где ещё года три назад по выходным разворачивались шумные торжища, теперь выросло внушительное здание, где заседало областное начальство. Хаотично, но, явно подчиняясь продуманному плану, вставали меж низкорослых садов и усадеб солидные многоэтажки. От вокзала по центральной улице пошли троллейбусы. В киосках люди первым делом спрашивали уже не центральные, а областные газеты: местные новости больше касались их житейских забот и перспектив.

Молодой журналист Валерий Моисеев, приехав сюда после университета, испытывал непреходящий телячий восторг: это же надо, как повезло — расти вместе с городом! Областное начальство тоже было молодым и весёлым, редактор — молодым и смелым, коллеги — молодыми и дерзкими. И всё вокруг дышало молодостью, свежестью, здоровьем, отчего хотелось петь, работать, потрясать умы и жечь глаголом сердца. Но если с глаголами у него было вполне прилично (всё же красный диплом ему дали не за красивые глаза!), то жечь и потрясать удавалось, честно говоря, слабовато.

Однажды за день до выпуска очередного номера (молодёжная газета выходила три раза в неделю) ответственный секретарь Генка Сапрыкин вдруг вспомнил:

— Братцы, послезавтра же День лесника! А у нас ни строки… Кто выручит?

Ни у кого не было ни знакомого лесника, ни даже лирического возбуждения по поводу такого всенародного праздника.

— Моисеев, может, смотаешься в Шарыкинское лесничество?.. Туда на рейсовом автобусе часа полтора, не больше… А утречком принесёшь зарисовку о леснике. Строк на двести, а?..

— Я уже заголовок придумал! — подбодрил кто-то из коллег: — «А лес такой загадочный…»

— «А слез такой задумчивый…», — подхватил другой.

— Задумаешься тут! — не принял скабрёзности Валерий.

Вместо полутора часов дорога до лесничества заняла все три: автобус выбился из расписания, вдобавок километра четыре пришлось добираться до места пешком, а потом и ожидать, пока из обхода вернётся лесничий (так, оказывается, правильно именовалась должность). Боясь опоздать на последний обратный рейс, Валерий расспрашивал собеседника наспех, без особого интереса, заботясь лишь о том, чтобы в блокнот попало самое необходимое для праздничной зарисовки. Пробежал глазами записи: с биографией всё ясно, об успехах — есть, о проблемах — тоже, семья, награды, увлечения, браконьеры… Подвигов за собой его герой не числил, что и к лучшему: получался образ рядового, неприметного труженика русского леса, не за корысть, а за совесть делающего своё дело.

Утром, к великой радости Генки Сапрыкина, зарисовка лежала у него на столе.

— Гвозди бы делать из этих людей! — публично похвалил он автора, прочтя материал.

— Исчез бы тогда дефицит гвоздей! — охотно согласились коллеги, которых творческий подвиг новичка избавил от малоприятных хлопот.

Сам Валерий, не переоценивая сделанного, всё же ощущал удовлетворение от того, что выручил редакцию. Однако к вечеру понедельника ему довелось испытать совсем другие чувства. На редакционный огонёк забрёл пенсионер — бывший фронтовой корреспондент, инвалид по ранению Андрей Филиппович Зайцев. Вошёл, побалагурил, как обычно, с девчонками-машинистками, собрался было уходить, потом будто невзначай спросил:

— А кто писал о леснике?

— Вот он, герой дня! — указали ему на Валерия.

Зайцев вгляделся в него с другого конца комнаты, надел картуз, потом, опираясь на палку, подступил вплотную и, наклонившись к самому уху, не произнёс, а выдохнул:

— Никогда не халтурь, сынок! Привыкнешь — не излечишься…

У Валерия будто загорелась кожа — вся, от ушей до пят. Он задохнулся от обиды и злости, пытался найти, чем ответить. Зайцев тем временем ушёл, но слова его, вроде бы ласковые и от того ещё более жгучие, мучительно всплывали в сознании даже много лет спустя — всякий раз, когда Валерий брался за очередной материал.

Вскоре после того случая и произошло одно из отступлений в его профессиональной жизни — маленькое, совсем будничное. И хотя были потом немалые творческие удачи, были прорывы к серьёзным темам, и высокие премии за эти победы, но запомнилось почему-то отступление — мелкое, никчёмное, если разобраться. Запомнилось так же, как и первая халтура, в которой уличил его старый фронтовой корреспондент.

Ничего серьёзного, в общем, не произошло. Он шёл по улице, когда мимо проезжал автобус. Старенький такой автобус, переоборудованный в передвижную агитмашину областной автоинспекции. Молодой областной центр автомобилями наполнялся быстро, и начальство, видно, решило для воспитания населения, привыкшего к провинциальной беспечности, применить новые пропагандистские технологии. Из проезжающего громкоговорителя неслось:

— Будьте бдительны на дорогах! Соблюдайте правила…

Но улица — не кабинет, она неожиданно стала вносить свои коррективы в тщательно выверенный канцелярский текст. Поэтому дальше началась форменная буза. Рычащий поблизости самосвал заглушил несколько слов, и агитмашина произнесла:

— …оставляйте детей на проезжей части без присмотра…

Порыв ветра прервал душераздирающий призыв, после чего из громкоговорителя послышалось:

— …сигналы светофора… к вам спиной… не следует… выполнять указания милиционера…

По пути в редакцию Валерий забежал в ГАИ, попросил копию лекции, которую только слышал, и тут же написал уморительный фельетон о формалистах. Редактор, Василий Николаевич Игарков, получив материал, хохотал больше всех, потом в присутствии Валерия прочёл его кому-то по телефону, то и дело восклицая:

— Лихо он вас, Николай Иванович!.. Нет, ты дальше послушай!..

«Зачем?» — только подумал Валерий. Он понял, что слушатель — не кто иной как начальник областного ГАИ, по слухам — давний друг редактора. Удовольствие от сделанного стало затухать, сменяясь недобрым предчувствием. И, оказалось, не зря. Закончив читать и утерев глаза, шеф произнёс:

— От Николая Ивановича тебе спасибо. Он сегодня же прекратит эту нелепую затею. И вправду: заставь нашего дурака богу молиться — он лоб набьёт… Ну, а фельетон, как ты понимаешь, теперь нет смысла печатать.

Валерий с трудом проглотил сгусток слюны.

— Как? А зачем же…

— Да ты не расстраивайся… Гонорар мы тебе выпишем!

— Не в гонораре…

— Вот и договорились.

И Валерий ушёл, совершив одно из отступлений в своей жизни. Впрочем, что это именно отступление и что оно, увы, не первое для него и не последнее, он осознал много позже. А в ту пору просто был огорчён, что хороший материал не увидел света. Даже черновика не осталось.

После разговора с Лебедянским Валерий решил было: всё, с него хватит! Он, журналист с именем, вчера ещё — член редколлегии крупнейшей газеты страны, чуть не оказался в роли жалкого, склизкого шпика, мелкого лотошника, скупающего своих же коллег, которые профессионально, быть может — даже с риском для себя, делают своё дело. А его в банке попросту держат на крючке: пообещав деньги для журнала, на самом деле купили с потрохами для гнусной филёрской работёнки. Как он раньше-то не догадался?

Впрочем, Суриков, когда они остались вдвоём, начал не с этого.

— Вы детективы любите?.. Выпейте кофе — успокаивает!

— Руслан Юрьевич, я не ребёнок. Так что не стоит искать «подходец»…

— Боюсь, вы неправильно поняли Матвея Абрамовича. Просто он человек деловой и говорит… как бы поточнее выразиться… Короче, у вас — одна профессия, у него другая. И выражается он по-своему профессионально. Вы думаете, статья этого Сливочкина — борьба за идею? Или за народные интересы? Увы! Банальная, пошлая, примитивная война за деньги. Да! — именно за противные вашему сердцу деньги. И Лебедянский — как человек, болеющий не за себя, а за судьбу дела, за людей, которое оно кормит, если хотите — за сектор экономики, который находится под опекой нашего банка, наконец, говоря высоким штилем, за страну, для которой этот сектор жизненно важен… Как может он допустить, чтобы такое дело рухнуло — в силу наивности или, ещё хуже, ангажированности какого-то журналюги? Ну, представьте, погибнет наш банк, обанкротится или лишится лицензии. Кто выиграет? У государства-то нет денег, чтобы закрыть такую финансовую пробоину. А свято место пусто не бывает. И что это значит? А то, о чём сказал замечательный советский поэт Василий Фёдоров: места, не занятые нами, не мешкая займёт наш враг!

— Сердца…

— Что?

— У Фёдорова — сердца, не занятые нами…

— Извините, увлёкся. Но вы же меня поняли, Валерий Сергеевич? Кофе-то пейте — остынет…

— А всё же детективы тут при чём? Хотите привлечь меня к финансовому шпионажу? Всю жизнь мечтал!

— Зря вы так! Инженеру человеческих душ не стоило бы пренебрегать психологическими загадками.

— Тоже мне загадки! У Конан Дойля следишь за ходом мысли, за борьбой интеллектов, а у нынешних — только за пакостями да интригами. Придумает автор негодяя — и вот себе изощряется в мерзостях! Одна другой гнуснее. Не книга, а учебник подлости!.. Знаете, в юности я восхищался тем, что гениальным писателям некоторые сюжеты приходили во сне. Похоже, нынешним снятся только кровавые кошмары. Ведь давно замечено: сон разума рождает чудовищ!

— Ладно, вернёмся к нашим баранам…

— Не вернёмся! — бесповоротно решил Валерий.

Но Суриков пропустил его тон мимо ушей.

— Никто не заставляет вас торговать совестью. Наоборот — разоблачите тех, кто её продал. Или хотя бы узнайте, кто и зачем её купил. Неужели вам самому это не интересно?

— Мне — не интересно! И потом… Вы на самом деле считаете, что журналист не может провести расследование по собственному побуждению?

— Ну почему же? Может. Но в данном-то случае никакого расследования не было! Ну, сами подумайте… Расследование — от какого слова? След! То есть, человек идёт по следу, но при этом и сам невольно оставляет следы. А Юрий ваш Сливочкин никаких следов не оставил: в наши службы не обращался, документов не запрашивал, с людьми не встречался. Что это значит? Значит, получил всё в готовом, специально подобранном виде. И называется это на современном языке — «слив». У него и фамилия подходящая — Сливочкин! Ему

слили компромат — и наняли, чтобы этот компромат опубликовать. Его или главного редактора, пока не ясно. Но кому ж это легче разведать, как не вам, журналисту?!

— Не приучен! — Валерий понемногу успокаивался, но не отступал.

— Воспринимайте это как игру, наконец! — воскликнул Суриков. — Понимаю, ничем подобным вам заниматься не приходилось. Но ведь и журнал раньше не доводилось выпускать, правда? И чем ещё вам придётся заниматься в жизни, даже в недалёком будущем — хотя бы в роли главного редактора, — вы тоже не можете предвидеть. Как говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся…

— А вы меня к чему готовите — к суме или к тюрьме? — мрачно поинтересовался Валерий.

— Вижу, лёд тронулся! — обрадовался Суриков, расслышав в его интонации хоть и чёрный, но юмор.

И вот теперь Моисеев входил в редакцию «Деловой недели» по сияющим плитам, в которых ослепительно отражалось солнце. Жмурясь в этих вторичных лучах, Валерий вспомнил: таким же блеском всегда бросаются в глаза туфли Сурикова. Начищенные до зеркальной глади, они при любой погоде выглядят как лакированные и поражают безупречной чистотой. Суриков настолько гордился их всепоражающим эффектом, что не упускал случая сообщить: свою обувь он чистит сам. Увы, ботинки Валерия, ступавшие сейчас по редакционному еврокрыльцу, подобным щегольством не отличались. Оставляя на солнечных бликах оскорбительно-матовые следы, они даже своему хозяину казались неуклюжими и неуместными.

Обмундированный охранник при входе, окинув Валерия цепким взглядом, молча подождал его чистосердечного признания:

— Я Моисеев… к Славину, Алексею Ивановичу…

Охранник вручил ему листок с фамилией, буркнул «не забудьте отметить!» и проводил всё тем же бдительным взором.

«Человек проходит как хозяин!» — где-то под черепной коробкой ни к селу, ни к городу пропел у Валерия внутренний голос. Казалось бы, что особенного: пропускная система давно перестала быть исключительной принадлежностью режимных объектов. Пора было бы привыкнуть к повсеместному, всеохватному «фейс-контролю», но всякий раз, обдаваемый взглядами новоявленных привратников, Валерий чувствовал себя неоправданно виноватым. Вот и сейчас, лишь добравшись до кабинета давнего своего коллеги-газетчика, он вздохнул вольнее — будто стряхнул обременительную ношу.

Впрочем, помещение вряд ли можно было назвать кабинетом: Лёшку Славина Валерий не без труда отыскал в лабиринте полупрозрачных перегородок, преобразивших обширный зал в подобие ячеистой рамки улья.

— Ну, тебя и замуровали! — обнимаясь с приятелем, сказал Валерий.

— Европа! — с гордостью произнёс Лёшка. Но тут же поднёс палец к губам, давая понять, что громкие эмоции здесь неуместны.

— Враг подслушивает? — усмехнулся Валерий.

— Ладно, ладно, — урезонил Славин. — Тебе чай, кофе?

— С коньяком? — Валерий вынул принесённую бутылку.

— О, за встречу! — Славин достал из стола рюмки. — Помнишь, раньше мы даже пива боялись на работе выпить…

— Так уж и боялись!

— А что? Я помню, какая-то комиссия цк запретила продавать его в редакционном буфете. Спросить бы сейчас: какого чёрта?! Неужто из-за пива идея не стала бы материальной силой?

После рюмки трёп пошёл веселее. Валерию приятно было видеть давнего товарища, с которым не раз доводилось ездить в командировки, участвовать в рейдах, спорить о вечном и бренном.

— Неплохую газетку делаете… — подпустил он небрежный, но безотказный комплимент. — А работать интересно?

— Как тебе сказать… — Лёшка и без того слыл парнем непосредственным и открытым, а вторая рюмка под шоколадку ещё больше согрела его добрую душу. — Платят неплохо. Но чтобы интересно… Ты обратил внимание: не стало имён?

— В каком смысле?

— Раньше в каждой газете свои имена были: в одной — Аграновский, Стуруа, Друзенко, в другой — Песков, Руденко, Голованов, в третьей — Орлов, Ткаченко, Новоплянский, в четвёртой — Лиходеев, Веселовский… И что ни публикация, то событие. Ради них и газету в киосках брали. Как в театре: люди ходили не просто на спектакль — на актёра! А теперь?

Лёшка понемногу хмелел:

— Кто ты, что ты — неважно. Главное — новость, а лучше — скандал. Подпись роли не играет. Можно вообще без подписей газету делать. Одна в конце и большими буквами — главный редактор…

— Ну, кого-то всё же замечают. Тебя вот я как нашёл? Как говорится, по нескольким строчкам в газете! И у Юрки Сливочкина на днях крутой материал был. Шуму наделал…

— Был, был, — без энтузиазма кивнул Славин и снова потянулся к бутылке. — Кстати, сам ты где сейчас обретаешься? Я слыхал…

— Да что обо мне! — не дал Валерий сойти с главной тропы. — Ищу пока точку приложения… Между прочим, ребята говорили, будто Юркина статья — заказуха. Или врут?

— А чёрт его… — поморщился Лёшка. — Тут никто ничего не знает. Как бабло выдают в конвертах — каждому своё, так и работа — у каждого своя. А что ты делаешь, как ты делаешь — один шеф знает. Летучки там, творческие отчёты — вся эта фигня ни-ко-го теперь не колышет.

— Но молодёжь-то на чём учить?

— Учить?! — Лёшка засмеялся. — Тут, старичок, не гимназия. Можешь — твори, нет — подноси снаряды. Или, как раньше говорили, — переклави… перекваци… Тьфу, — Лёшка с трудом обрёл контроль над заплетающимся языком: — переквалифицируйся в управдомы!

— А Юрка — он тут кто? — подыгрывая хмельному приятелю, гнул своё Валерий.

— Какой Юрка? А, Сливочкин… Не Юрка, между прочим, а Юрий Савельевич! И попрошу учесть — публицист по особо важным делам.

— Как следователь-важняк? Что за дела такие?

— Старик! — Лёшка попытался приложить палец к губам, потом поднял его выше макушки. — У него все темы — оттуда…

— С неба, что ли?

— М-м-м… Бери выше!

— Куда уж выше!

— Ты думаешь, выше гор могут быть только воры? Нет, не так… Только горы? Ошибаешься! Выше гор могут быть… Короче, задания у него — только от папы!

— От главного редактора?

— Ну, ты тупой! — весело изумился Лёшка. — Я ж тебе говорю: от папы! Папа — и никого кроме папы! Темы, фактура, жанры, бабки — всё оттуда. И книжку за папу пишет. Сам Юрка где? Тю-тю! Был журналист — и нет журналиста! Зато бабки у Юрки — есть! Квартиру недавно купил на Рублёвке, дачу в Серебряном бору… Понял?!

— Завидуешь?

— Как тебе сказать… — Лёшка посерьёзнел. — Деньги, конечно, мне не помешали бы. Но… он же теперь как государственный преступник — ни шагу без охраны. Пожизненное заключение! Одной надеждой живёт — что долго мучиться не придётся.

— Почему?

— А на него уже два покушения было… Красиво жить не запретишь, но умереть красиво — тоже!

— Алексей Иванович, — раздался женский голос из невидимого динамика, — вы послали в корректуру репортаж с аукциона?

Лёшка подобрался:

— Извини, старичок, у меня целевая полоса в номере. Может, как-нибудь на воле сойдёмся?

…По пути в банковский офис Валерий размышлял, о чём будет докладывать Сурикову. То, что Сливочкин работал по наводке, было ясно и без него. Кто такой «папа», тоже ни для кого не тайна: газета принадлежала железорудному олигарху Адаму Шерстенникову. А вот зачем Адаму понадобилось наезжать на успешный банк и, главное, сколько стоит «публицист по особо важным делам» — так и осталось неизвестным.

Суриков, против ожидания, встретил сообщение весело.

— А вы что — Юлий Цезарь? Вени, види, вици? Пришёл, увидел, победил? Увы, должен сообщить вам, дорогой Валерий Сергеевич, что Римская империя таки пала, варвары с тех пор успели поумнеть, и наука побеждать значительно усложнилась. Так что, не переживайте, на первом этапе вы своё дело сделали… Но сойтись со Славиным на воле, как он намекнул, не помешает. Для этого, — Суриков достал из сейфа несколько долларовых сотенных, — вам понадобятся представительские.

— Руслан Юрьевич! — Валерия даже передёрнуло. — Я же не для того…

— Опять за своё! — укоризненно сказал Суриков. — В конце концов, сказка про белого бычка — не из моих любимых произведений…

Вернувшись к себе, Валерий ощутил новый приступ гадливости. Уткнувшись в монитор, он мучился поистине гамлетовским вопросом: быть иль не быть? Что достойнее: подчиниться судьбе, плыть, куда кривая вывезет — или надо оказать сопротивленье, отказавшись пресмыкаться, угождать, идти на эти болезненные нравственные компромиссы? Но разве создание журнала, который может — он был уверен: может! — стать событием, даже войти в историю — разве такая цель не заслуживает того, чтобы перетерпеть, превозмочь, перешагнуть своё временное унижение?

Но сколько вокруг людей, которым так и не удалось подняться, вернуть себе не только доброе имя — даже самоуважение?! Вот так продашь душу дьяволу ради манящей удачи — да и не заметишь, как цена выкупа станет запредельно высока, и уже не хватит ни сил, ни жизненных сроков, чтобы вернуть её из адского ломбарда.

А с другой стороны… Где мера мужества и стойкости, с которыми надо нести свой крест, чтобы не смалодушничать, не предать благое дело? В конце концов, бывают же обстоятельства сильнее человека. Да, все эти лебедянские, суриковы, сливочкины пока сильнее и выше него на житейской лестнице. Но разве он уже стар и немощен? Или профессионализм и воля так-таки ничего не значат?

Отступление 1-е

Сколько ему было тогда — лет девять, десять? Впрочем, неважно. Суть в том, что вечером отец с матерью ушли в гости, и он допоздна остался в доме один. Жили они в одноэтажном бараке на городской окраине, за окном — ни светящихся окон, ни реклам, о телевизорах в те годы и слыхом было не слыхать, в доме — лишь чёрный круг репродуктора, который выдыхал почти бесформенные звуки, пойманные в необъятном эфире. На кухне что-то поскрипывало, под полом повизгивало, за стенкой у соседей было безжизненно тихо, и Валерке казалось, что бросили его одного во всём мире в жертву наползающему из ночи ужасу.

Забравшись на кровать, он съёжился в колобок, до слезы в глазах пытался хоть что-нибудь разглядеть в кромешной мгле и на малейшее движение незримых теней готов был ответить неистовым криком. Но тут радио принесло из эфира голос. Он рассказывал о каком-то мальчишке-детдомовце: о его голодном детстве, о хулиганских проделках вплоть до воровства, о побоях, которые ему приходилось терпеть от более сильных ровесников, и о том, как, сцепив зубы, он приучал себя не бояться драки, отвечать ударом на удар. Мальчишку звали Сашкой. И однажды страна узнала его полное имя — Александр. В бою за какую-то деревню, истратив все гранаты, он бросился на амбразуру и заставил замолчать фашистский пулемёт…

— Мы вели передачу «Театр у микрофона», — сказал диктор. — Свои отзывы и пожелания присылайте нам по адресу…

Театр? Так это просто театр? А как же мальчишка-детдомовец? А смертоносный пулемёт? Нет, всё правда! В школе им уже рассказывали об этом. И мальчишка на самом деле был!

Валерка вылез из невидимого своего кокона, встал, выпрямился и, глядя в непроницаемую темноту, поднял руку наискосок:

— Клянусь, — сказал он сам себе, дрожа от волнения и собственного голоса, — клянусь быть смелым и сильным, как Александр…

В эту секунду зажёгся свет. И хотя клясться вслух невесть перед кем было действительно похоже на театр, Валерка всё же договорил то, что хотел, и это больше походило уже на молитву — молитву о том, чтобы Он, невидимый, научил его, как в этом мире жить, чтобы не бояться.

Родители так и не узнали о клятве: вернувшись, они застали его уже спящим, а утром Валерка, конечно, не стал ничего рассказывать — иначе пришлось бы признаться и в собственной трусости. Но сам он долго гордился собой и в трудные минуты подстёгивал себя своим ночным торжественным обещанием. Гордился до того момента, пока и сам он, и его клятва не оказались в буквальном смысле брошены в грязь. И случилось это спустя каких-нибудь два года. Да не ночью, а самым что ни на есть ясным, солнечным днём.

…На второе мая в школе был назначен пионерский сбор — встреча с танкистом, героем войны. По городу хлопотали на ветру праздничные флаги, улицы, разомлевшие в тёплой ночи, ещё катили вдоль тротуаров следы вчерашних гуляний — конфетные обёртки, лепестки гвоздик и первой сирени, а поверх всего волнами налетали откуда-то песенные звуки. Город пробуждался радостно и бодро, и Валерке так же радостно шагалось навстречу свежему утреннему ветерку.

Внезапно (этот миг вспоминался ему потом как помрачение света!) он увидел, как из покосившихся ворот ближайшего дома вышли трое мальчишек. Не просто вышли — они встали поперёк тротуара непроходимой стеной, и Валерка, не успев даже ни о чём подумать, провалился в леденящую полынью страха. Ноги сами собой ещё продолжали движение, но глаза заволокло каким-то сетчатым маревом, и солнечный город вдруг исчез — видны были только три мерзких, бесформенных фигуры. Душонка Валеркина, жалко трепыхавшаяся где-то пониже пупка, пыталась подсказать ему пути спасения: то ли метнуться с тротуара к дороге, или хоть взглядом ухватиться бы за какого-нибудь солидного прохожего, или вообще кинуться наутёк — пропади он пропадом, этот пионерский сбор с героем вместе… Но, обездвиженный и оглушённый вдруг нахлынувшим ужасом, он тонул в какой-то роковой полынье, приближаясь и приближаясь к неотвратимому исходу.

Старший из троих, в кепке, надвинутой по самые брови, встал на его пути и что-то произнёс. Валерка не разобрал, но, не переспрашивая, залепетал неожиданно для самого себя:

— Не бейте!.. Я вам деньги… Вот… У меня больше нет…

И протянул на потной ладони несколько монеток. В этот миг помрачённое сознание напомнило ему, что в поясном кармашке осталась сложенная на случай пятёрка, и его буквально затрясло: что, если начнут обыскивать и найдут?!

— Пионер?! — презрительно ухмыльнулся атаман троицы и, лениво вытянув пальцы, потянул концы наглаженного Валеркиного галстука. Валерка чуть было не застучал зубами, ожидая удара. Показалось, что адъютанты верзилы подступили в готовности.

Меж тем атаман снисходительно и неторопливо собрал с его руки липкие монеты, после чего стена перед Валеркой расступилась, открывая путь к спасению. И едва он свернул за угол, как, дрожа и оглядываясь, стянул с себя галстук, скомкал и стал засовывать в карман, откуда гладкий шёлк всё выскальзывал и выскальзывал, словно прилипая к ладони и не желая прятать упрямые, вертлявые хвосты.

…Господи, сколько же лет после этого он презирал себя! Сперва, чуть только память безжалостно возвращала его в то жуткое утро, он опять и опять холодел от страха и омерзения. Даже выходя из дому в обычный ясный день, он съёживался как обнажённый на людях — солнечные лучи будто жгли его позором пережитого унижения. Больше года он вообще не решался ходить по *той* стороне улицы. А уж признаться кому-нибудь в случившемся было смерти подобно. Впервые он подумал тогда: хорошо, что уже нет на свете отца — тот наверняка догадался бы о чём-то и… умер бы снова от горя и стыда за своего сына-хлюпика.

Позже, когда острота гадливости притупилась, он продолжал пытать себя вопросом: что это было? Чего он испугался? Ведь никто ему ничего не сказал, ничем не грозил, ничего не требовал. Он не знал даже, зачем те трое встали на его пути. Да и встали ли? Может, просто выступили из ворот на тротуар, собираясь по своим делам, а он…

Отец ничего не успел рассказать ему о войне, о своей жизни на фронте, но там был огонь, там убивали, забирали в плен, пытали — и те, кто трусил, не выдерживал, становились людьми презренными. Так о них говорил отец. А здесь? Его не то что не пытали — даже не били, никто и не замахнулся. Что же с ним случилось? И чего тогда стоит клятва, которую он геройски давал себе в темноте, как перед иконой? Чего вообще тогда стоят все людские клятвы, если человек не может знать, как он поведёт себя через минуту?

Проходя по улицам, Валерка то и дело вглядывался в лица встречных: неужто каждый из них несёт в себе такую же маленькую позорную тайну? И как живут они с этими тайнами? И как говорят высокие слова — о чести, честности, героизме, любви? Или они — другие, а он один такой — слизняк и трус?

Валерка думал об этом днём, мучался ночами, искал ответы в книжках, глотая подряд страницы о Суворове и Чапаеве, о Стеньке Разине и даже о Тёме с его спасённой Жучкой. Пока однажды его вдруг не осенила мысль, которая оказалась не просто спасительной — она открыла ему, как жить дальше.

И вот в чём состояла эта незатейливая мысль: страх и трусость — оказывается, не одно и то же. Страх — это свойство, присущее всякому человеку, вообще любому существу. Страх — рефлекс на любую опасность. Это он заставляет нас вздрагивать от неожиданности, замирать при виде

дикого зверя, на фронте — бросаться наземь при взрыве. Страх — бессознательная самозащита всего живого. И хотя человек не властен над своими рефлексами, ему нет нужды их стыдиться: не страх побуждает его к подлости. А вот трусость…

Трусость — другое. Совсем другое! Это осознанный выбор поведения. И способность к такому выбору дана лишь одному существу — человеку. Трусость бывает продиктована только одним — корыстным, расчётливым стремлением спастись, выгадать, перехитрить.

Страх и трусость так же разнятся между собой, как храбрость и мужество. Если храбрость — это порыв, вызов, наплевательское отношение к опасности, то мужество — прежде всего сознательное умение противостоять опасности, собрать в кулак волю, нервы, мысль, подчинить борьбе себя, а иногда и всех, кто рядом. А если так, значит, мужеству можно учиться. Учиться побеждать себя.

На следующий день банковский особняк облетела новость: исчез вице-президент Алексей Шлыгин. Впрочем, облетела — сильно сказано. Такого рода известия здесь не летали, а бесшумно, словно крадучись, проникали в коридоры и кабинеты, заполняли пространство мутной взвесью слухов и домыслов, отравляя нарочито бодрую атмосферу прелым запахом тревоги.

Шлыгин отвечал в банке за инвестиционные проекты, о сути которых знали только самые посвящённые. Он и сам слыл в коллективе чуть ли не загадочным графом Монтекристо. Поэтому мало кто лично опечалился исчезновением вице-президента: что в командировку, что в отпуск, что в небытие — какая разница? Но таинственность происшедшего, особенно на фоне повального увлечения детективными сериалами, да ещё в свете участившихся разбоев в банковской сфере, наполняла трепетные сердца служащих повышенными дозами адреналина. Кто говорил, будто Шлыгина давно шантажировали, добиваясь, чтобы банк вложил деньги в какой-то сомнительный проект. Кто уверял, что он уже в «Матросской тишине», и вот-вот — как следствие злополучной статьи в «Деловой неделе» — разразится крупный финансовый скандал. Наиболее романтичные натуры рисовали впечатляющие картины мести за совращение чьей-то красавицы-жены…

Шлыгина он узнал раньше, чем Сурикова. В пору всеобщего смятения умов, когда вожди призвали народ «туда — не знаю куда, искать то — не знаю что», в Доме учёных на Пречистенке проходила некая вольная дискуссия, где Валерий оказался в числе прочих журналистов, призванных «освещать». В числе главных полемистов значились и недавние диссиденты, обретшие新омодный статус «лидеров мнений», и признанные доктора дозволенных наук, внезапно легализовавшиеся как убеждённые сторонники долгожданного прогресса, и многочисленные деятели неведомых фондов, союзов, платформ… На этом фоне Алексей Шлыгин, завотделом рабочей молодёжи ЦК комсомола, выглядел мальчиком для битья. Он и в президиуме сидел как-то на особицу, изредка взмахивал длинной каштановой гривой, вслушиваясь и вглядываясь в очередного оратора, после чего снова опускал голову и что-то писал в толстом блокноте. Получив слово, он пошёл к трибуне как на жертвенник — понуро и нервно.

— Товарищи! — хрипло начал он.

В зале засмеялись.

— Господа! — поспешил он поправиться, после чего добавил: — И дамы!

В зале засмеялись дружнее. Шлыгин откашлялся.

— Поколение, о котором так долго говорили большевики…

Зал от неожиданности притих.

— …и которое уже должно было жить при коммунизме…

С каждым словом в голосе выступавшего прибавлялось вызывающей твёрдости:

— …это поколение фактически находится на грани вымирания!

Чувствовалось, что говорил оратор не экспромтом — фраза явно была подготовлена заранее с расчётом на эффект именно в этой аудитории. И аудитория не обманула ожиданий — зааплодировала. Посланник рабочей молодёжи вдохновился:

— История не раз доказывала, что любая, даже самая красивая утопия кончается трагедией. Нам с детских лет внушали: учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Вы только вслушайтесь: всесильно — потому что верно! Ведь явная чушь! И на деле эта формула обернулась ровно наизнанку: было верно — пока было всесильно! Другими словами, всесильная партократия насаждала свою тотальную веру…

Зал, не ожидавший подобных эскапад от комсомольского функционера, теперь уже просто взорвался овацией. И Шлыгин, ещё раз картинно встряхнув шевелюрой, заговорил без бумажки:

— Когда-то поэт сказал: честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой… Нет! — Шлыгин чуть не взвизгнул: — Не честь, а позор этому безумцу! Вечный позор! Молодёжи, вопреки христианскому учению, нужны кумиры. Но пусть это будут именно её кумиры, а не ложные, навязанные силком — как портреты на демонстрациях. Её кумиры — это люди честные, мужественные, самостоятельно мыслящие. Её кумиры — вы, дорогие товарищи!

От такой лести зал просто не смог усидеть. Никто уже не смеялся привычной классовой оговорке оратора: с трибуны его провожали стоя, а поверх рукоплесканий летели восторженные возгласы. Не дожидаясь, пока уляжется общий восторг, Валерий встал и направился на сцену. Когда он подошёл к трибуне, зал уже начал стихать. Ведущий — лысенький господин в очках — заглянул в список, лежавший перед ним, и с недоумением поднял голову:

— Вы записаны на выступление? Представьтесь, пожалуйста…

Валерий усмехнулся и наклонился к микрофону:

— Конечно, конечно… У нас ведь демократическое собрание, не так ли? Значит, одно единомыслие не должно смениться другим единомыслием — иначе, как говорится, за что боролись?

Вот я и хочу спросить у предыдущего оратора: вы коммунист?

Из зала донёсся недовольный ропот, а Шлыгин, пожав плечами, произнёс:

— Я как раз выхожу из партии. Но в чём, собственно, дело?

— А-а, процесс, стало быть, пошёл… И правильно! — Валерию пришлось было усилить голос, чтобы перекрыть нарастающий шум, но зал сам собою стих, не понимая, к чему он клонит. — Правильно! Потому что, как сказал упомянутый вами утопист, коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

Присутствующие засмеялись.

— Вы скажете: ещё одна утопия… Конечно! Даже безумие! Кому ж это под силу — вместить все богатства разума в одну человеческую память? Но это означает лишь то, что коммунистов-то на земле по сути и не было — были только приверженцы идеи!

Зал опять недовольно зароптал.

— Хватит! Наслушались проповедей!

— Господа, — укоризненно сказал Валерий, — будьте толерантны! Иначе ведь и в существовании демократов придётся усомниться. Я просто хочу напомнить хрестоматийные вещи и сказать, что не так уж они утопичны. Ну, к примеру… «Коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны» — помните? Но что мы видим? Власть обюрократилась, выродилась, оторвалась от своего народа, а электрификация… Иногда кажется, что она вся ушла на иллюминацию к праздникам — настолько мы отстали от современных мировых технологий.

Такие речи присутствующим были уже по сердцу, поэтому слушали его внимательно.

— Ещё одна цитатка, — продолжал Валерий, — о том, что производительность труда есть в конечном счёте самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. И что же здесь неверно? Мы ведь явно отстали в этом деле! Вот и победа оказалась пирровой.

— Вы что, ликбез нам решили преподать? — раздался из президиума досадливый голос.

— Заканчиваю! — пообещал Валерий. — Напоследок ещё один глоток из того же источника: партия, которая зазналась, — погибла! Не правда ли, как в воду глядел отец-основатель! И зазналась — понадеявшись, что учение всесильно. И обленилась — в лести и барстве! И погрязла в невежестве, расплодив в своих впш «коммунистов на час», готовых не только творить себе кумиров, но и менять их, что называется, по велению времени…

Последние слова Валерий уже почти выкрикивал, пытаясь перекрыть возмущение зала и гневный треск колокольчика из президиума. Сходя с трибуны, он встретился глазами со Шлыгиным. Тот снова встряхнул гривой и отвернулся.

…В банке Шлыгин уже ничем не напоминал пылкого обличителя социальной несправедливости. Лицо его, будто обветрившись в бурях перемен, отяжелело и посуровело, и походку он обрёл человека усталого, озабоченного множеством неподъёмных проблем. Впрочем, на нём действительно лежали самые рискованные, хотя и самые многообещающие финансовые операции банка. Неудивительно поэтому, что при встрече он не то что не узнал Валерия — даже не дрогнул веком. Просто скользнул взглядом. Как по стенке. Между тем, выпуск журнала, ради которого Валерий и находился в этих стенах, тоже был одним из вероятных инвестиционных проектов, за которые отвечал Шлыгин. И на пути к цели его было не обойти.

А теперь вот Шлыгин исчез.

Пока по этажам обсуждали мыслимые и немыслимые версии происшедшего, служба безопасности, обычно самая незаметная в банке, с азартом принялась демонстрировать свою неоценимую роль и историческое предназначение. Во-первых, была удвоена охрана руководства, олицетворением чего стал круглосуточный страж и у приёмной Сурикова. Сменявшийся каждые четыре часа, он, казалось, оставался всегда один — прямоугольный, как панельный дом, и злобный, как евнух. По распоряжению Лебедянского такую же охрану приставили к членам семей всех вице-президентов, членов правления и начальников департаментов. При входе в банк теперь спрашивали пароль — каждый день новый, как на стратегическом объекте. Во всех компьютерах, кроме особо указанных, был заблокирован выход в интернет. Но апофеозом бдительности стали вечерние дежурства сотрудников по подразделениям. И Валерий, конечно же, угодил на такое дежурство первым в своём отделе.

Сурикова в тот вечер не было, так что отбывать повинность ему пришлось наедине с Наташей, которая по обыкновению оставалась на работе до полуночи.

— Кофе? — привычно предложила она, но сразу дала понять, что развлекательных разговоров не ждёт. Положив перед собой раскрытую книжку, Наташа достала тюбик из ящика стола и принялась умащивать руки каким-то кремом. Она долго оглаживала пальцы одной руки, потом другой, потом запястья, нежно ласкала их, поворачивала так и эдак, любовно оглядывала, сжимала и расправляла кулачки, наслаждаясь упругой игрой кожи. Тем временем воздух комнаты сочно пропитывался смешанными ароматами цветов, конфет и каких-то немыслимых парфюмов. Валерий наблюдал это священнодействие, не отрываясь. Поймав его взгляд, Наташа удовлетворённо усмехнулась:

— Себя не любишь — кто тебя полюбит?

— Уютная формула.

— Что значит — уютная?

— Как персональная баня.

— А чем плохо, если персональная?

— Спинку потереть некому.

— У вас, по-моему, слишком развитое воображение. И не исключено — болезненное!

Покончив с руками, она убрала крем и сосредоточилась на книге. Валерий принялся листать газеты, приготовленные для Сурикова. Несвежие новости, озвученные уже по всем телеканалам, реклама — прямая и «косая», анекдоты, списанные из интернета, заголовки по новой моде — сексуальные с политическими намёками и наоборот… Читать было решительно нечего. «И ведь кто-то оплачивает всю эту муру! — с тоской подумал

Валерий. — А на журнал, который служил бы уму и сердцу, денег нет».

Он поднялся и стал ходить по комнате. Поперёк, от стенки до стенки — восемь шагов. По диагонали от угла до угла — десять. И обратно: десять, потом восемь…

— Не маячьте! — приказала Наташа, не отрываясь от книги.

Валерий выглянул в коридор. В трёхместном кресле угнездился евнух и тупо смотрел куда-то вниз по лестнице. Там было темно и тихо.

«Зачем при таком цербере ещё и дежурный? — всплыл в голове у Валерия риторический вопрос. — Разве что в зачёт службе безопасности? Наверное, это у нас в крови: не знаешь, что делать — просто маши руками, начальство оценит».

Прикрыв дверь, он посмотрел на часы. Прошло полчаса из пяти назначенных. В памяти возник полюбившийся с юности немудрёный стишок:

…Чем сидеть, уподобясь полену,
Или по залу в тоске бродить, —
Может быть, огненную поэму
Мне удастся сейчас родить.
Вон гражданка сидит с корзиной,
Из-под шапки — русая прядь.
Я назову её, скажем, Зиной
И заставлю любить и страдать.
Да, страдать, на акацию глядя,
Довольно душистую, к тому ж.
А вон тот свирепый усатый дядя
И будет её злополучный муж…

— Извините, Наташа, вы замужем? — вдруг полюбопытствовал он.

Наташа удивлённо подняла голову, и он впервые обратил внимание на классический овал её лица, солнечного блеска волосы и тёмно-серые глаза, смотревшие грустновато таинственно. На вопрос она отреагировала насмешливо:

— Никак, клеиться решили со скуки?

— Ну что вы! Служебный роман — это, простите… — Валерий было осёкся, вспомнив сплетню Аркадия, но вмиг нашёлся: — Несовременно!

— Да? А мне казалось, очень даже современно.

— В Штатах за это вообще можно в тюрьму угодить.

— Надо же! А что ж мы твердим, будто американцы нас развращают?

Читать ей явно не хотелось. И Валерий в который раз вспомнил уроки своего наставника в журналистике, редактора областной молодёжки: «Хочешь, чтоб человек тебе открылся — говори о том, что интересно ему, а не тебе».

— Но вы ушли от моего вопроса…

— Да замужем я, замужем! В смысле — живу за-мужа.

— Не понял?!

— Вот скажите мне, — Наташа резко отодвинула книгу и утвердила на её месте локти. — Зачем человек на свете живёт?

— Ого! — Валерий немного смутился. — Не думал, что мой невинный вопрос навеет на вас высокую философию.

— А вы не смейтесь!

— Да ну, как я могу…

— Он, между прочим, талантливый человек. В институте никого веселей не было. И капустники, и походы, и кавээны… Но теперь будто подменили: унылый, грубый, ленивый… Недавно завод у них акционировался. Купи, говорю, акций побольше. «Зачем?» И не стал покупать. А что в итоге? Как только этот ящик обанкротился, в смысле — завод, моего по первому же списку уволили. И полгода без работы сидел, ныл — пока я же его не устроила. Теперь ему, видите ли, опять нехорошо: глупостями, говорит, занимаюсь, чужие проекты перечерчиваю. Ну, если ты мужик — занимайся умностями! Только занимайся, а не скрипи на моих нервах!

Наташа перевела дух и заговорила спокойнее, хотя с той же досадой:

— Весь в мамочку свою…

Чуть опешив от её бурной откровенности, Валерий не сразу решил, продолжать ли расспросы. Но собеседница сама уже не могла остановиться — так, прорвавшись, бил из-под земли свежий, ещё не обузданный нефтяной фонтан, который ему довелось наблюдать в давней сибирской командировке.

— Представляете, говорит мне…

— Муж?

— Да нет, мамочка его… Говорит: зачем ты зимой клубнику покупаешь, да ещё в «Седьмом континенте»? Отвечаю: захотелось! В конце концов, деньги-то мои, слава богу! А она: «Взяла бы варенья клубничного — для кого я всё лето ягоду на даче выращиваю?!» Представляете? Да мне её дача вместе с клубникой — вот где!

Наташа взметнула холёную руку с остро заточенными ногтями и чуть не вонзила себе в горло.

— Я ей говорю: вы бы ещё картошку на своей даче выращивали! А что, отвечает, неужели лучше, когда Люсик её с базара таскает?.. Люсик — это Колюсик, муж мой, сынок её ненаглядный… Во-первых, говорю, сколько можно повторять: не базар, а рынок — пора отвыкнуть от своих провинциальных словечек. И во-вторых, вся Европа картофель покупает, а не горбатится на каких-то несчастных сотках… Но разве ей втолкуешь? Типичный совок! У меня, говорит, на этих сотках душа отдыхает… Душа-то, может, отдыхает, а сама приедет с дачи — два дня охает: то ноги судорогой сводит, то спину не разогнёт. А мне за ней ухаживать? Нет уж, говорю, Колюсик: твоя мамуля — ты её и ублажай!

— Ну и что муж? — Валерий представил себе эту семейную идиллию. А ещё утверждают, будто нет в наше время шекспировских страстей! — Раньше-то вы, наверное, любили его?

— Господи, и вы туда же — «любила»! Сегодня у людей совсем другие отношения… — она лениво вздохнула. — С чем её едят, любовь эту? Вы хоть сами знаете?

— Случалось… — не скрыл Валерий иронии.

Однако Наташа отреагировала в тон:

— Вот видите — «случались»! Тут вы правду сказали. Случка — и вся любовь! А отношения… они всегда кому-то зачем-то нужны. То есть, в основе — расчёт. Но люди набрасывают сверху беленькие кружева — как фату на голову невесты. Красиво!

А все вокруг знают, что это игра, девочке просто ужасно хочется замуж, а жениху своё подавай…

— Но книжка-то у вас о чём? Не иначе — о любви…

— Я что, у мамы дурочка? — скривилась в гримасе Наташа. — Или из тех сексуально озабоченных мадам, которые слюнявят в метро женские романчики? Да ещё в газетку обёртывают, чтоб никто не догадался…

— Как вы их сурово! — восхитился Валерий. И продолжил «угадайку»: — Тогда боевичок? Или фантастика?

Тут Наташа, видно, решила, что настала её очередь иронизировать.

— Какой-то банальный у вас ассортимент. Примитивненький… Может, сами из этого круга не выходите? Или просто демонстрируете мужской шовинизм: дескать, что ещё может читать эта кукла? А у меня, между прочим…

И она показала обложку книжки, на которой значилось: «Правила дорожного движения».

— О-о, серьёзная штука. Да я и не хотел вас обидеть…

Наташа между тем вдохновилась:

— Спросите первого встречного — он скажет, что о нём можно книжку писать: такая у него богатая жизнь, полная душещипательных переживаний. Про меня уж точно можно! — проговорила она, поднявшись с кресла. — Возьмётесь? — И, включая кипятильник, добавила: — Чаю хотите? Или кофе?..

— Нет, не возьмусь, — жестом отказываясь сразу от того и другого.

— Почему? — искренне удивилась Наташа. — Вдруг это будет бестселлер, который вас прославит?

— Слава — это суета…

— А вы что, баптист? Слава вам не нужна, деньги не нужны…

— У-у, деньги ещё как нужны!

— Не похоже. Руслан Юрьевич считает, что при желании вы могли бы у нас быстро сделать карьеру. Он говорит, что вы талантливый, но…

— Какое «но»?

— С одним недостатком, — Наташа сделала паузу, будто старалась вспомнить определение Сурикова дословно, и, лишь утвердившись в точности слов, произнесла:

— У вас есть принципы!

— Да? — улыбнулся Валерий. — Но раньше считалось, что иметь принципы — хорошо. Даже в характеристиках писали: принципиален, политически грамотен, морально устойчив…

— Ну, это всем без разбору писали — мода такая была. А потом «политически грамотный» оказывался диссидентом, «морально устойчивый» — многоженцем, который даже алименты не платит… Просто между людьми игра такая — в слова.

Говоря это, Наташа приготовила чашки, сахар, печенье, после чего позвала к столу охранника. И разговор прервался. Но последствия он принёс самые неожиданные.

«У вас есть принципы!»… А откуда они взялись? Откуда вообще у человека появляются какие-то принципы? И зачем они ему? Почему у одного они есть, а другой знать не знает, думать не думает о таких эфемерах — живёт себе припеваючи, губы в масле и нос в табаке?

Валерий нередко вспоминал, как однажды на флотской службе, в учебном отряде, довелось отбывать черёд в патруле на железнодорожном вокзале. Коренастый мичман, назначенный возглавлять патруль, на кораблях не служил, но перед ними, тремя салагами, отряженными под его начало, пытался выглядеть эдаким морским волком — бывалым, строгим, но добродушным. Дежурство было суточным, потому мичман то и дело приговаривал: «Нам бы день простоять да ночь продержаться». Сначала это звучало ободряюще, поскольку Валерка, как и его напарники, испытывал лёгкое волнение перед первой в жизни реальной воинской миссией — даже патрульную повязку на рукаве нёс как некий знак чести, славы, доблести и геройства. Но, прослонявшись до заката по перрону и вокзальным задворкам, они подрастеряли свои романтические пёрышки. Люди, суетливо копошащиеся вокруг сумок и чемоданов, перестали вызывать интерес. Электрички, то и дело рассыпавшие из вагонов огромные пригоршни говорливо-трескучего народишку, стали раздражать. А кучи мусора и объедков, привлекая ненасытных ворон и бомжей не только в пристанционные закоулки, но и на дальние подступы к платформам, распространяли вокруг мертвецкую вонь и тоску.

И неизвестно, как бы дострадали-домучили они урочную свою повинность, если бы с прибытием очередного поезда дальнего следования не выпрыгнул из плацкартного вагона разудалый матросик-отпускник. Выпрыгнул как выпорхнул: полы бушлата вразлёт, форменный воротник — наружу и кокетливо, на манер шейного платка, и заспешил к ближайшему ларьку с пивным ассортиментом, то и дело посылая через плечо нетрезвые улыбочки глядящим вослед двум смазливым попутчицам. Мичман, словно сеттер на охоте, сделал стойку. И как только счастливчик принял от продавщицы пакет с бутылками и победно вскинул его, салютуя своим лучезарным подружкам, патруль подступил вплотную:

— Старшина, ваши документы!

Морячок опешил:

— Чё-о?

— Почему нарушаете форму одежды? — добавил пару мичман.

— Да ты чё? — повторил застигнутый врасплох отпускник. — Я ж это… в отпуску… Это же… какая форма?!

— Почему говорите «ты» старшему по званию? — не давая опомниться, мичман нагнетал ситуацию.

— Товарищ мичман… документы в вагоне… я щас…

— Почему пьяны? — вколотил мичман решающий гвоздь в крышку гроба, в котором, как начинал понимать морячок, сейчас будет похоронена не только его репутация у наблюдавших всё это девчонок, но и сладкая, до дрожи близкая уже мечта о желанном отпуске. Он диковато взглянул на мичмана, потом на Валерия, который стоял к нему ближе всех, сунул ему зачем-то нелепый

теперь пакет с пивом и дрожащими руками стал приводить себя в порядок.

— Так как насчёт документов? — напомнил мичман.

«До отправления поезда номер 23 Владивосток — Москва осталось пять минут. Просьба к провожающим выйти из вагонов», — разнеслось по перрону. В глазах моряка блеснула надежда.

— Товарищ мичман, я… простите… честное слово… виноват…

— Придётся задержаться! — погасил надежду мичман. — Матрос Моисеев, поднимитесь в вагон, возьмите вещи старшины. У вас какое место? — обратился он к морячку.

Тот затравленно огляделся, медленно наклонился, вроде бы пытаясь завязать шнурок на ботинке, вдруг рванулся вбок и сразу — вперёд, вдоль поезда. Но мичман оказался готов к такому манёвру. Он в два прыжка догнал беглеца и резко выбросил ногу вперёд. Морячок всем телом рухнул на асфальт.

— Ой, помогите! — заверещали девицы с подножки вагона. Вокзальная публика тоже было всполошилась, но, услышав команду мичмана «Патруль, взять его!» и увидев повязки на рукавах, расступилась, опасаясь помешать стражам порядка.

Морячка подняли и, не давая шелохнуться, завели руки за спину. Лицо его, измазанное пылью и кровью, которая сочилась из рассечённого лба, наливалось серой, тяжёлой злобой.

— С-сука ты, мичман! — шипел он. — И вы, гады, с-суки!

Встретившись с ним глазами, Валерий испытал искреннее сочувствие: надо же так по-глупому залететь! И мичман тоже хорош — нашёл, чем перед начальством прогнуться! Видно же, не бандит перед ним, не пьяница запойный. Ну, расслабился парень на радостях, вскружила голову близкая воля — можно бы простить, ограничиться замечанием. Тогда и морячок, наверное, не стал бы лезть в бутылку…

Медленно, почти беззвучно мимо поплыл поезд. Старшина, будто стреноженный, встрепенулся, вскинулся всем телом.

— Держать! — скомандовал мичман. И с торжеством победителя посмотрел морячку в глаза.

Тогда пленный, искажённый гримасой невыразимого отчаяния, собрал откуда-то с глубин своего нутра большой, клейкий сгусток и смачно, как из пушки, влепил его прямо мичману в лицо. И засмеялся — но как-то припадочно, почти навзрыд.

Мичман побелел. Медленно, путаясь пальцами в одежде, достал из кармана платок, встряхнул его, так же неторопливо, тщательно утёр плевок, всё это время не сводя глаз с противника. Оправившись, коротко приказал:

— Вперёд — марш!

Они повели матросика в сторону комендатуры. «Ты кнехт, мичман, — ты не моряк! Своих сдаёшь, падло!» — обречённо бормотал арестованный. Патруль шёл молча.

Сразу за зданием вокзала стояли в ряд три больших контейнера — то ли брошенных до времени, то ли приспособленных под хранилища. Поросший сорняками и недоступный для света станционных фонарей, закоулок этот давно превратился в отхожее место. Проходя мимо, мичман глухо проговорил: «Стой!» Валерий подумал, что напряжение борьбы побудило и его воспользоваться темнотой. Но мичман подошёл к пленному.

— Кнехт, говоришь?

Резко, без размаха он всадил кулак прямо матросику в лицо. От удара тот вскинул голову, но, удерживаемый патрулём, устоял. И тут же получил новый удар, ещё более мощный — в живот.

— С-стоять! — приказал мичман не то согнувшейся жертве, не то державшим её подчинённым. Взмах ноги — и слышно было, как его форменный ботинок сокрушил уже подбородок старшины.

Тяжело дыша, мичман отошёл на шаг, потом, сверкнув в полутьме сатанинским взглядом, снова метнулся к пленному.

— Пошли! — сказал мичман, утолив ярость. В комендатуре, сдавая избитого арестанта, объяснил просто: «При задержании оказал сопротивление».

После бойни патруль ещё около часу угрюмо обходил предписанное ему вокзальное пространство. Настроение у всех было подавленным, ноги гудели, голод тоже давал себя знать. Да и мичман, по всему видно, не испытывал победной радости, тем более, что салаги были свидетелями его унижения. Он долго шёл молча, даже не отдавая честь козырявшим ему встречным рядовым, небрежно отвечая лишь на приветствия офицеров. Наконец, придя, видимо, в себя, он круто повернул прочь от вокзала, в темноту, иссечённую поблёскивающими рельсами. Вслед за ним, оскальзываясь на шпалах, патруль пересёк несколько путей, потом долго шагал вдоль тёмных, необитаемых составов, пока вдруг не вышел к двум вагонам, от которых пахнуло тёплым дымком. Дождавшись, пока подтянется весь подчинённый ему понурый люд, мичман по-хозяйски постучал в окно. Девушка, открывшая дверь, вгляделась во мрак и обрадованно закричала внутрь вагона:

— Вот и гостеньки дорогие! Встречайте, девочки!

Купейный вагон распахнулся им навстречу светом, теплом и женскими голосами. Называлось это царство зоной отдыха проводников, где мичман, судя по всему, был гостем не редким и желанным. И сам он, и прибывший с ним молодняк — все поголовно попали в кольцо шумной и добросердой опеки. Как только смогли уместиться на утлых вагонных столиках выставленные для них бесчисленные, полузабытые домашние яства: парящая отварная картошечка, хрустящие маринованные огурчики, и пирожки — с капустой, с мясом, с яйцом и зелёным луком, и ватрушки, и чуть поджаренные пельмени, и налитые мочёные яблочки… Была тут и заветная бутылочка, да не одна, но мичман, налив себе половину гранёного стакана, решительно отказал в этом подчинённым, да и сам, опустошив его по-сибирски, одним глотком, повторное предложение отверг. Хозяйки, однако, продолжили. И скоро, с умилением глядя на объедавшихся мальчишек, приговаривали не то с материнской, не то с чисто женской грустью: «Ешьте, защитнички наши! Ешьте, мальчики…»

— Товарищ мичман! — вскочила вдруг кудрявая черноглазая девчонка и набекрень водрузила на голову форменную фуражку. — Мне идёт?

— Шикарно! — раскинул руки мичман, пытаясь её облапить.

— Нет-нет, — чудом увернулась она в узком купе. — Оставайтесь-ка ночевать у нас!

— Райка, ну как не стыдно — ребята ведь на службе… — взялись её усовещивать товарки.

— И что? Но если уж никак нельзя… — она игриво взглянула на Валерия, — оставь мне хоть вот этого красавчика. А? Ну, пожалуйста…

Валерий почувствовал, что заливается горячим потом. Компания между тем восприняла идею горячо:

— Во, Райка даёт!

— А что? Молодец!

— Давай, мичман, покажи свои кадры в деле!

Мичман, смеясь, махнул рукой и выбрался в тамбур покурить. Райка, схватив Валерия за рукав, тоже потащила его по коридору — только в противоположную сторону. Последнее, что он увидел, оглянувшись, были взгляды товарищей по патрулю — не то укоризненные, не то завистливые. В последнем купе, куда Райка втянула его за собой, было прохладно и темно. Он потянулся было к выключателю, но девушка наугад поймала его руку и тихо спросила:

— У тебя девушка есть?

— Есть, — не стал он врать.

— Поцелуй меня! — попросила она. Опустив голову ему на грудь, она вдруг шумно, полной грудью потянула в себя его запах. Потом, не дождавшись движения навстречу, сама приподнялась на цыпочки и жадными, широко раскрытыми губами нашла его безвольный рот.

— Ты что? Зачем? — ему пришлось напрячь силы, чтобы отстранить от себя девушку.

— Думаешь, я плохая? Бесстыжая?

— Н-нет…

— Дурачок! Просто ты мне сразу понравился. Но сейчас ты уйдёшь, и мы можем не встретиться, а я не хочу… Понимаешь, не хочу! Я чувствую: ты — моя половинка. Знаешь, как в книжках пишут… У тебя такие глаза!.. Я чистая, ты не бойся… — горячо шептала Райка и скользила, скользила пылающими губами по его щеке, за ухом, по шее, проникая ещё ниже, под тельняшку…

Даже не притронувшись к водке, Валерий почувствовал себя захмелевшим. Темнота, уже ставшая привычной, кружила голову смутным девичьим силуэтом, путала мысли. «Какая, к чёрту, половинка? — говорил ему трезвый голос. — Шальная какая-то! Или психическая? А может, и вправду понравился я ей? Ведь бывает…»

Его плоть, долго сдерживаемая казарменным аскетизмом, тоже проснулась от дурманящего аромата Райкиных волос, от её настойчивых губ и рук. Повинуясь природе, он уже сам обнимал девушку, целовал её ладони, глаза, уголки губ, гладил напрягшиеся под блузкой подушечки грудей. И всё готово было свершиться, как вдруг в сумеси её горячечного шёпота ему не то послышалось, не то почудилось:

— Ты ведь вернёшься ко мне, правда?

Эти слова стегнули его будто кнутом.

— Нет! — отстранив Райку, в голос произнёс он. А в голове застучало: «Вот артистка! Проводница… Да у неё на каждом перегоне новый жених — ещё и со спасибочком! А я-то!..»

— Ну ладно, ладно… — она сделала новую попытку прижаться, но он уже протрезвел.

— Извини!

Валерий щёлкнул выключателем и в тускло-жёлтом мареве будто впервые увидел её. Девушка даже при этом освещении выглядела красивой, хоть и не такой юной, как накануне. Причёска растрепалась, блузка скошена куда-то вбок, глаза жалобно-виноватые…

— Извини, — повторил он не так жёстко и отвёл взгляд. — Ты, наверное, человечек славный. И, думаю, всё у тебя будет хорошо. Так что, не стоит врать друг другу. Я ведь, знаешь… я вправду люблю свою девушку…

— Такой ты… принципиальный?

Ему почудилась насмешка в её голосе, но нет, глаза по-прежнему были грустными и жалкими.

— Ну что ты… — теперь ему захотелось обнять её, чтобы утешить, но, опасаясь, что всё начнётся сызнова, он только улыбнулся. И вышел.

Много позже, когда ему вспоминался тот день, он поражался, как в одном коротком отрезке времени уместилось столько человеческих судеб и событий. И морячок, которому одна минута, одна нелепая случайность сломала не только отпуск, но и, скорее всего, безупречную до поры службу, а там, кто знает — быть может, всю дальнейшую жизнь. И мичман с его неразгаданными комплексами, из-за которых мелкое, по сути, замечание обернулось свирепой бойней. Что пробудило в нём приступ почти животного бешенства? Служебное рвение, не получавшее выхода в монотонности серых будней? Оскорблённое самолюбие? Или садистское, сладострастное упоение властью над беззащитным и бесправным существом?

А Райка — она разве не такой же путаный, загадочный клубок страстей? Что она видела, что понимала в окружающей жизни — невежественное дитя какого-то пристанционного посёлка, выброшенное на белый свет бедолагой-матерью, замороченное смесью прописных школьных истин и примитивно-циничного мудрствования более опытных подружек, постоянно притворяющееся перед встречным-поперечным в своей жадной тоске по чужому и отчего-то недоступному ей счастью?

И сам он, Валерий, — такой, оказывается, принципиальный… По малодушию или брезгливости отказаться от того, что плохо лежит, — это ли значит иметь принципы? А ведь он был на шаг… да на полшага!.. от того, чтобы раствориться в том общем потоке, который несёт неведомо куда все эти жизни, всех людей, которым лишь кажется, будто они сами распоряжаются своими судьбами, а на деле, как правило, почти сплошь подчиняются неписаным законам, общепризнанным химерам, страхам и мифам. Или оставаться самим собой, слушать собственное «я», не идти против совести — это и означает принципы?

Много позже, когда напарники по патрулю всё же допытались у него, «ну, что, что было у вас в купе?», и он признался, что ничего «такого»

не случилось, да ещё по его собственной воле, — Витька Шкреба, кубанский казак, разочарованно протянул: «Не по-онял…». А Генка Домников, недоучившийся уральский студент, тот даже сплюнул с досады: «Ну и дурак!». Валерий умолчал, что в тамбуре, когда патруль отправлялся продолжать вахту, Райка, такая же развесёлая, как накануне, едва заметно прижалась к нему и горячо поцеловала в самое ухо: «Спасибо тебе!»

А за что спасибо — оставила ему на разгадку.

«Континент-банк» набирал обороты не по дням, а по часам. И безграничная пронырливость Аркадия Перовского (пользуясь вольницей новых времён, он узаконил в качестве фамилии студенческий псевдоним), и салонная обходительность бывшей телезвезды Лёнечки Изяславского, и степенная оканистость Мокрушина — все личные качества «птенцов гнезда Русланова», помноженные на стратегическое мастерство самого Сурикова, делали своё дело. Точнее — дело Матвея Абрамовича Лебедянского (или просто Моти, как за глаза называли своего президента сотрудники).

Однажды утром Валерий увидел на своём рабочем столе свежий номер «Деловой недели». С первой полосы смотрел огромный портрет Лебедянского, сопровождаемый таким же внушительным заголовком — «Континент» работает на Россию». Интервью, начинаясь под портретом, продолжалось и на второй, и на третьей странице. В конце публикации значилось: «Беседу вёл Юрий Сливочкин».

«Оп-па! — восхитился Валерий. — Вот тебе и публицист по особо важным делам!» Со смешанным чувством брезгливости и любопытства стал читать — и с первых же абзацев пришлось признать, что материал написан умело. Факт недавней публикации того же Сливочкина, в которой банк обвинялся в махинациях с акциями, не замалчивался, а наоборот, стал отправной точкой беседы. Это сразу вызывало доверие читателя и к дальнейшему разговору, тем более, что Матвей Абрамович от острых вопросов не уклонялся, а с подкупающей искренностью рассказал, почему банку пришлось пойти на некоторые нарушения. Главная проблема, оказывается, была в несовершенстве законодательства. Да, признавал Лебедянский, некоторые сотрудники превысили свои полномочия, за что уже понесли заслуженные наказания, но в целом, и в этом убеждают данные всей молодой банковской системы страны, фирма действовала исключительно в интересах отечественной экономики — это признали и депутаты Государственной думы (следовали вполне авторитетные фамилии), которые готовят серьёзные поправки к закону.

Последующие вопросы журналиста тоже были не формальными: в меру задушевными, местами — ироничными, кое-где — даже дерзкими. Иногда они касались политических симпатий преуспевающего банкира, его личной жизни. И нигде собеседник газеты откровенно не сфальшивил, исповедуясь подчас в такой степени, что, казалось, он открывает читателю не только святая святых своего ремесла, но и тайные пружины власти.

Одно лишь оставалось скрытым от любознательной публики — сама цель публикации. Даже посвящённые вряд ли могли прочитать между строк больше, чем стремление банкира отмыться от недавней скандальной критики в той же газете. Хотя они-то понимали, что такая примитивная задача вряд ли вдохновила бы Лебедянского на серьёзные траты. А в том, что за интервью «Континент-банк» щедро расплатился и с редакцией, и с автором, Валерий не сомневался — в ушах до сих пор стоял густой барский голос Моти, прозвучавший в кабинете Сурикова: «Сколько он стоит, этот Сливочкин?»

— Ну как, ознакомился? — раздался за спиной голос Аркадия. — Это я тебе подложил! Согласись, мудёр таки наш Руслан! Не зря его Мотя ценит.

— Ну, что мудёр — в этих стенах и спору нет, — повторил Валерий. — Это у него, кажется, от Архимеда: дайте мне точку материальной опоры — и я переверну мир.

— Примитивно рассуждаешь! — Аркадий с удовольствием в очередной раз вошёл в роль банковского гуру. — Мыслишь в стиле позднего социализма: ты мне, я — тебе. Нет ещё в тебе стратегического мышления.

— И в чём же тут стратегия? — насмешливо подогрел его амбиции Валерий.

— А в том, — внушал Аркадий, — что Руслан прекрасно понимал: Адама Шерстенникова за наличные не купишь…

— Адам — это владелец «Деловой недели»?

— Ну да! Тот самый, железорудный олигарх… Как только «Континент» перехватил у него обогатительный комбинат в Старом Осколе, тут же появилась статейка, из-за которой ты ездил в редакцию. Руслан всё понял и рассудил: платить придётся по-крупному. Уступать комбинат, конечно, глупо — не за то боролись. А вот если предложить Адаму мощное лобби за выгодные изменения в законодательстве — от этого он, не будь дурак, не откажется… На том и сошлись.

«И этот стратег с кругозором мелкого лавочника уверен в гениальности своего ловкача-босса!» — думал Валерий, не отводя глаз от вдохновенного лица Аркадия. Тот истолковал его взгляд по-своему:

— Учись, пока я жив!

«Я-то чем лучше? — досадливо спохватился Валерий, и настроение у него окончательно испортилось. — По крайней мере, он искренне счастлив в своём лакейском призвании. А я? Застрял тут, как… — не сразу найдя подходящее сравнение, он выбрал из пришедших на ум самое грубое: — …как глист в заднице! Ни тебе уюта в дерьме, ни геройской смерти под солнцем…».

— Чему учиться? У кого учиться?

Это Мокрушин, который к началу рабочего дня, по обыкновению, опоздал, пользуясь своим привилегированным статусом, отозвался на последнюю реплику Аркадия.

— У жизни, Степан Власьевич, у жизни, — вздохнул Валерий.

— Золотые слова! — поддержал отставной прокурор. — Тогда пойдём покурим. Угощаю…

— С удовольствием! — Валерий поднялся с кресла.

— Говорят, в помещении банка скоро вообще курить запретят, — заметил Аркадий, сожалея, что не удастся продолжить нравоучительную лекцию.

— «Говорят», дорогой Аркадий Алексеевич, — не та категория, которая годится для правоприменительной практики, — заметил Мокрушин. — Так что, уж позвольте пока законно наслаждаться скудным административным вакуумом.

На лестничной площадке после первых затяжек он спросил у Валерия:

— Что вас так расстроило?.. — и, не дожидаясь ответа, поспешил с утешением: — Не переживайте! У наших оренбургских степняков есть поговорка: буран пройдёт — песок на место ляжет…

— Это вы к чему? — удивился Валерий.

— Ну, ваш товарищ, наверное, уже передал вам сплетню?

— Какую?! — Валерий почуял, что каким-то образом сплетня касается его.

— Извините, я думал… — понимая, что невольным сплетником оказался он сам, Мокрушин, не докурив сигарету, неловко полез за другой. — В общем… говорят, у вас с Наташей… ну, вы понимаете…

— Что?! — Валерий даже закашлялся, проглотив порцию дыма. — Что за х… — но, спохватившись, закончил эвфемизмом: — Что за х-хор, когда в горле сухо?!

— Вы же понимаете, я только вам… Да вы зря волнуетесь, здесь романы в порядке вещей. Народ молодой, дело житейское…

«Подлец Аркашка! — приходил в себя Валерий. — Наверняка, его молотилка сработала…».

У него зазвонил мобильник.

— Валерий Сергеевич, — услыхал он голос Наташи, — вы где? Зайдите, пожалуйста, к Руслану Юрьевичу.

«Не хватало ещё сцены ревности! — припомнились ему намёки Аркадия на особые отношения Сурикова со своей секретаршей. — Но шеф-то не дурак — понимать должен…»

К счастью, ожидания не оправдались. Суриков был в кабинете не один. Представив гостю Валерия как «лучшего нашего спич-райтера» («а я, оказывается, успел продвинуться!» — усмехнулся про себя Валерий), он сказал:

— Думаю, Валерий Сергеевич не откажется нам помочь.

Потом объяснил Валерию:

— Игорь Михайлович — президент группы «ШАГ» и наш деловой партнёр. Ему нужно составить один документ… непростой, но весьма конфиденциальный. Не откажетесь?

Валерий пожал плечами: в его ли положении отказываться? Гость понял это по-своему.

— Литманович, — запоздало представился он и, не вставая с дивана, протянул руку. — Естественно, услуга будет оплачена.

Валерий руку подал, но опять пожал плечами — теперь от неведения, что принято говорить в таких случаях.

— Может, прямо сейчас и поедем? — Литманович сказал это уже не ему, а о нём. «Как о вещи!» — отметил Валерий.

Фамилия этого человека была в Москве на слуху. Поговаривали, будто успехом своего бизнеса он обязан покровительству мэра столицы, благодаря которому получал от городских властей подряды на ремонт старого элитного жилья в центральных районах. После ремонта половину обновлённых квартир он возвращал городу, другую получал в собственность и продавал — причём, по таким ценам, о которых в недавние времена тут слыхом не слыхивали.

…Ехали молча и довольно долго. Офис Литмановича, в отличие от «Континент-банка», размещался почти на окраине, у метро «Беляево», в неказистой пристройке к какому-то заводоуправлению — правда, отделённой от остального двора решётчатым металлическим забором. Пройдя два поста охраны, оборудованных видеокамерами и металлоискателями, они оказались в помещении уже с претензией на деловой шик: паркет, зеркала, компьютеры, глянцевые издания на журнальном столике в приёмной… «Стандарт номер один, — отметил про себя Валерий. — Сейчас последует «Чай? Кофе? Может, с коньячком?»…

Но хозяин сразу заговорил о деле:

— Я наводил о вас справки не только у Сурикова. Квалификация и порядочность сомнений у меня не вызывают, политические взгляды к делу не относятся, сексуальная ориентация — тем более…

Литманович дал понять, что шутит, и улыбка у него оказалась неожиданно располагающей, почти дружеской.

— Проблема в том, — продолжил он уже серьёзно, — что мне предстоит поездка в Давос, на международный экономический форум. Конечно, из России будет целая делегация, но мне, в частности, предложили выступить. А сами понимаете, опыта по этой части у меня… да что говорить — ни у кого из нас!.. никакого… Мне сказали, вы и английским владеете? — неожиданно нарушил он исповедальную интонацию.

— В какой-то степени, — не стал Валерий давать слишком щедрые авансы.

— Конечно, переводчик у меня найдётся, и довольно квалифицированный — бывшая преподавательница из мида. Но чем позже мы обратимся к её услугам, тем меньше… — Литманович понизил голос, — тем меньше опасность преждевременной утечки информации. А речь… речь должна быть краткой, энергичной и конструктивной. Такой, чтобы у нас появились в мире не просто партнёры, а союзники. Понимаете?

Валерий кивнул.

— Да, я не сказал главного: времени у нас в обрез! Вылетать через неделю, но уже послезавтра я должен согласовать текст… ну, будем говорить, с коллегами, — Литманович поднял ладонь и неопределённо покрутил ею в воздухе. — То есть, работать придётся допоздна. Еда, напитки, справочная литература, машина — всё в вашем распоряжении, Зина — тоже… В хорошем смысле! — улыбнулся Литманович, поняв двусмысленность последних слов. — Ещё вопросы?

Отступление 3-е

— Еда, напитки, машина — всё в вашем распоряжении…

Без малого двадцать лет прошло, страна распалась, строй жизни изменился, а слова — слова

те же самые! Правда, тогда дело было не в Москве, а в маленьком районном центре на берегу реки Оскол, и говорил их не президент коммерческой группы «ШАГ», а первый секретарь райкома партии Павел Валерьевич Голубев — круглоликий, лоснящийся, источавший изо всех пор, не говоря уж о глазах, медовое чувство любви не только к нему, Валерию, но и в его лице — ко всему журналистскому сообществу.

— Как это ловко у вас получается! — восхищался сладкоголосый Павел Валерьевич. — Слово к слову — и готова речь! Причём, на любую тему! Но ведь вы не можете быть специалистом во всех областях… Ведь не можете? — настаивал он.

— Нет, конечно, — соглашался Валерий.

— Вот! А речь или статью — запросто! — Павел Валерьевич вскидывал ладошки и восхищённым хлопком соединял их перед собой. — Вот я почвовед… По образованию! — торопливо уточнял он, чтобы не уронить свой теперешний партийный статус. И застенчиво хихикал: — В вашем журналистском деле не смыслю ни-че-го! А вы… вы всё можете!

Валерий понимал, что в другой ситуации подобных восторгов ему бы услышать не довелось, но доля правды в этих словах для него была, и потому казались они вполне искренними. По просьбе своего бывшего редактора Василия Николаевича Игаркова, теперь уже — секретаря обкома, он утром приехал из областного центра, чтобы для очередного номера газеты подготовить статью этого самого Голубева — как раз к областной отчётно-выборной партконференции. Времени было в обрез, назавтра после полудня статья должна была стоять в полосе, поэтому у Валерия по пути созрел революционный план. По его просьбе Голубев собрал членов бюро райкома, раздал им задания по сбору примеров и фактов, которые, как считал Валерий, придадут статье необходимую степень глубины и убедительности, и определил срок — до 23 часов вечера. Когда члены бюро послушно, как школяры, отправились выполнять поручения заезжего щелкопёра (в иной раз они его и на порог не сразу допустили бы!), Голубев удивлённо спросил:

— А писать-то вам когда?..

Услышав: «Ночью!», он и произнёс ту самую восторженную тираду. Но, похоже, поверил не совсем. Потому что далеко за полночь, едва у Валерия из разрозненных фактов и цифр сложился план статьи, он сам приехал в райком — правда, не с пустыми руками, а с большущим картонным ящиком, из которого на стол были выставлены блюда с цыплятами табака, розоватым на срезе салом, крутобокими маринованными помидорами, полупрозрачными мочёными яблоками, а, кроме того — миски с орехами, изюмом и черносливом, бутылки с квасом и ещё бог весть что, чего хватило бы целой бригаде не только до утра — до следующего вечера.

— Вот, Валерий Сергеевич, не побрезгуйте — всё из своего погребка. Пища для ума, так сказать! — отдышавшись, сказал Павел Валерьевич.

Утром, опять же по предложению Валерия, члены бюро в полном составе собрались снова — чтобы, выслушав текст, внести необходимые, на их взгляд, поправки. После этого статью продиктовали стенографисткам в редакцию, а Валерий, приняв очередную порцию комплиментов, в сладкой дрёме исполненного долга отбыл на райкомовской машине восвояси.

На конференции Голубева избрали членом бюро обкома и заведующим отделом. Ко всеобщему удивлению, отдел ему достался не аграрный, как можно было ожидать, а пропаганды и агитации. «Я знаю силу слов, я знаю слов набат!..» — декламировал Валерий в коридорах редакции горлана-поэта. Но через пару недель шутки кончились. К вечеру, когда очередной номер газеты был почти готов, телетайп передал сообщение ТАСС об очередном пленуме Центрального Комитета КПСС. Валерию, как ответственному секретарю, надо было принять решение: перевёрстывать ради этого две первых полосы, что при тогдашней полиграфии заняло бы часа три, или поставить сообщение на видное место, ограничившись снятием лишь одного небольшого материала. Поскольку пленум, как следовало из лаконичного сообщения, судьбоносных вопросов не решал, Валерий принял решение в пользу второго варианта. А на следующий день…

На следующий день в его кабинете раздался телефонный звонок. В трубке, не здороваясь, загремел Голубев:

— Вы что там, совсем ох…ели?! Ни хрена в газетном деле не понимаете?!

— Что случилось, Павел Валерьевич?

Куда делись недавний пиетет перед журналистами, признания в собственной некомпетентности! И это тот самый человек, который ещё вчера униженно благодарил его, Валерия, за услугу?.. А голос в трубке продолжал разнос — за то, как выяснилось, что сообщение о пленуме ЦК было поставлено с нарушением принятого партийно-газетного этикета…

Славка Луков, который в один год с Валерием пришёл в эту редакцию (Игарков приметил его из числа рабкоров и всякий раз с гордостью подчёркивал: мол, вчерашний столяр мебельной фабрики, а сегодня — заместитель главного редактора областной партийной газеты), когда Валерий рассказал ему о разносе, философски заметил:

— А ты чего ждал? Думаешь, статью написал — и стал для него личным другом? Так наше место ещё Хрущёв определил: мы с тобой — подручные партии!

Валерий взвился:

— Подручные партии — но не лакеи Голубева! Я, между прочим, такой же коммунист, как и он. И заявление писал не о том, чтоб меня приняли в его дворню! Так что выслушивать его хамские эскапады не намерен!

— А что ты сделаешь? Вызовешь на дуэль? Или потребуешь объявить ему выговор?

Ни того, ни другого Валерий, конечно, не сделал. Но, оказавшись вскоре в обкомовском кабинете Игаркова, высказал своему бывшему наставнику запёкшуюся обиду. Тот поначалу вроде бы тоже возмутился. Но, прошагав раз пять до двери и обратно, вдруг остановился перед Валерием и с укором сказал:

— Какой ты всё же заносчивый парень!

— Я?!

— Именно ты! Ведь Голубев — член бюро обкома. Он мог бы тебя официально вызвать и не просто отчитать, а серьёзно наказать за политическую незрелость. Вместо этого он тебе по-дружески позвонил и просто, по-мужски упрекнул за то, что ты его подставил.

— Подставил?

— Конечно! Ведь газету получают и в цк. Увидят эту, прости, затычку, которую ты сотворил, и скажут: видно, новый завотделом пропаганды чего-то недопонимает… Разве не так?.. Я думаю, ты должен пойти к нему извиниться!

Валерий онемел. Извиняться — ему?

— Вот теперь я понял, — произнёс он, едва сдерживая дрожь в голосе. — В следующий раз буду знать, что матерят меня здесь исключительно по-дружески — и буду посылать туда же. Тоже по-дружески!

Он выскочил из кабинета, так хлопнув дверью, что секретарша выронила на стол папку с документами. Последствия не заставили себя ждать: спустя полгода, когда редактора областной газеты проводили на пенсию, новым главным был назначен не он, Валерий, который по сути давно уже вёл газету, а Славка Луков. И все поняли: не за таланты — за «управляемость». Опять же, и рабочую биографию зачли… Единственное, чего добился Валерий: ни разу после того случая Голубев, быстро прослывший на всю область записным хамом, по отношению к нему не позволял себе не то что грубого — даже фамильярного тона. И это вполне устраивало Валерия, который в ответ на сочувственные расспросы с удовольствием цитировал классическое: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!»

К вечеру Литманович зашёл справиться, как идёт работа.

— О чём задумались? — полюбопытствовал он, застав Валерия над чистым листом.

— О том, чем Давос удивлять, — задумчиво проговорил Валерий.

— Не перемудрить бы! Времени-то — всего ничего…

— Завтра в шестнадцать прочту вам первый вариант.

— Да?! — в голосе Литмановича смешались недоверие и восторг.

Но когда на следующий день Валерий стал читать ему подготовленный текст, лицо его с первых слов стало вытягиваться от изумления.

«Уважаемые дамы и господа! — начал Валерий. — Сейчас в мире принято сочувствовать России по поводу того, какое тяжёлое наследство досталось ей от недавнего коммунистического прошлого. В связи с этим по пути сюда я припомнил французскую сказку, которую мне в детстве читала мама…»

— Валерий Сергеевич! — воскликнул Литманович. — Мне там всего-то пятнадцать минут предоставят. Может, не стоит им сказочки рассказывать?

Валерий пропустил реплику мимо ушей и продолжал:

«…Сказку о том, как три брата, Пьер, Жан и Жак, не получили от бедного отца ничего путного — только петуха, кота да ещё старый серп. Чего, казалось бы, с таким наследством добьёшься в жизни? Но Пьер попал в страну, где люди страдали от нашествия мышей, — и с помощью кота стал королевским зятем. Жителей другой страны Жан со своим петухом научил ускорять наступление дня — и тоже женился на дочери короля. А Жак, умело орудуя серпом, принёс богатство всему населению третьей страны, которое единодушно избрало его своим королём. Сказка эта, старая как мир, учит тому, что даже самым скупым наследством важно умело распорядиться. А в России, как вы знаете, остались далеко не только коты или петухи…»

Литманович слушал не перебивая. Человек неглупый, он уже понял все преимущества такого зачина. Тут был и тонкий комплимент западным партнёрам, и эрудиция выступающего, и деликатный юмор, и намёк на богатые экономические возможности его страны, и ненавязчивое предложение использовать эти возможности совместно… Остальной текст был выдержан в более серьёзных тонах, но воспринимался так же легко, живо и должен был с гарантией укрепить возникавшие с первых слов симпатию и доверие зала.

— Отлично! — не сдерживая эмоций, вскочил он, когда Валерий закончил чтение.

Позже, за чашкой кофе с коньяком, вручив Валерию не только оговорённую сумму, но и весомо сверх того, Литманович полюбопытствовал:

— А что вы делаете у Сурикова?

— Жду, — невесело усмехнулся Валерий.

— Не понял…

Неожиданно для себя Валерий стал рассказывать о будущем журнале, о том, насколько привлекательным он стал бы для мировой русской диаспоры, помнившей ещё те, старые «Лики России», которые издавали в Париже эмигранты первой волны, и о том, как новая концепция издания могла бы работать на деловой имидж современной России.

— Знаете что… — Литманович посмотрел на него как-то загадочно. — Мне эта идея нравится. Суриков её финансирует?

— Пока нет, — признался Валерий. — Говорит, рыночная конъюнктура не благоприятствует.

— Тут он прав, — согласился Литманович, но, помолчав, повторил: — А всё же идея заманчива… Жаль потерять!.. Вы ещё кому-нибудь говорили о ней?

— В подробностях — нет. Хотя, не скрою, деньги найти пытался.

— Давайте-ка сделаем вот что… — лицо Литмановича опять затуманилось только ему известной тайной. — Вы переходите работать ко мне, а я… Я берусь финансировать этот проект!

— Перехожу? В каком качестве?

— Разве я не сказал?.. Руководителем пресс-службы!

— А журнал? Насколько это совместимо?

— Журнал-то выпускать мы начнём не завтра!

Валерий задумался.

— Давайте договоримся так, — словно прочтя его сомнения, заключил Литманович. — Я лечу в Давос, а недельки через две… нет, через три!.. вы мне позвоните. Идёт?

— Я делю журналистов на три категории!..

Застолье продолжалось уже часа два, и, хотя кондиционеры державного здания в Охотном ряду работали со всей возложенной на них высокой ответственностью, воздух в кабинете председателя комитета по законодательству состоял уже, кажется, из одних коньячных паров и сигарного дыма. Хозяин во главе стола держал речь:

— Какие это категории? Вы не знаете! — он пренебрежительно вскинул ладошку, как бы отвергая возможные предположения присутствующих. — Вы, Валерий Сергеич, тоже не знаете?

Валерий, который осушил до дна лишь по первому кругу, а потом делал вид, что пьёт, подыграл:

— Да откуда? Лицом к лицу лица не увидать…

— Вот! Не увидать! А я… я вижу! И для меня журналисты делятся на три категории. Первые интересны тем, что они пишут! — он сделал сильное ударение на слове «что». — Они всё знают… ладно, пусть не всё — но многое… и по их статьям можно оре… орин… орин-ти-ро-вы-ваться, — выбрался наконец оратор из фонетического тупика. — Это — личности, я бы сказал — катализаторы мнений…

— Вторые… — произнёс он, прожевав кружок лимона, — этих читаешь — и получаешь удовольствие от того, как они пишут…

Теперь ударение пришлось на слово «как».

— Это мастера! Художники слова!

— А третья категория, Веньямин? — иронически пробасил сосед оратора, который накануне был представлен Валерию как «хозяин заводов, газет, пароходов».

— Третьих… — улыбнулся председатель комитета, — третьих надо читать только для того, чтобы понять, зачем они свою хрень написали. То есть, с какой целью? И для кого? Это труженики не пера, а пиара!..

Дождавшись кульминации речи, Валерий поднялся было, чтобы размяться, но его движение было истолковано иначе:

— Вы куда, Валерий Сергеич? К вам это не относится!

— Я у окна… покурю…

Он сознательно вышел из поля зрения хмельного круга. Собственно, на сегодня дело сделано, и со спокойной совестью можно было уйти вообще. Но интуиция подсказывала, что надо нести крест до конца — иначе работа нескольких дней насмарку.

Работу, как всегда, придумал Суриков. И как всегда, идея была гениальной.

— Все вокруг твердят о кризисе, так? — говорил он, пригласив в кабинет трёх своих сотрудников и двух журналистов со стороны («прикормленных», — охарактеризовал их Аркадий). — Кризис политический, экономический, финансовый, социальный, нравственный… Правительство в кризисе, Дума — в кризисе… Вот и давайте поможем людям! Отныне вы все — Институт кризисов. У вас есть квалифицированные эксперты (а они есть!), консультанты (сколько угодно!). Вы можете помочь в налаживании деловых контактов, в том числе международных, в организации встреч, конференций, пиар-акций. Вы готовы оказывать услуги банкам и компаниям, включая зарубежные, которые хотят работать на российском рынке. Вы способны помогать депутатским фракциям, лоббировать одни законопроекты и блокировать другие. И всё это — не открывая лица. Институт кризисов — вот отныне ваше имя!

Суриков обвёл «институт» с нескрываемым ожиданием восторгов. Народ безмолвствовал.

— Ваши рабочие места теперь — Дума, Совет Федерации, Белый дом. Вас должны знать, вам должны доверять, с вами должны советоваться. Надо бывать на парламентских слушаниях, знакомиться с влиятельными людьми, помогать им выходить на телеэкран, в газеты… Словом, везде надо стать своими.

— А деньги? — Аркадий был начеку.

— Денег это сначала не потребует. Офис уже арендован — это номер-люкс гостиницы «Москва», поближе к Думе. Аккредитация на каждого оформлена. Ну, а понадобятся деньги, скажем, на лоббирование — их дадут заинтересованные фирмы. Ещё вопросы?

— Кто у нас директор? — полюбопытствовала тощая девица из числа «прикормленных».

— По ней видно, что кризис неизлечим! — не удержавшись, шепнул Аркадию Валерий.

— Ты что! Это же Ксюша Венская, ведущий обозреватель «Предпринимателя»! — отверг его скепсис Аркадий.

— У вас предложения по кандидатуре директора? — ехидно полюбопытствовал Суриков. И объявил: — Командовать парадом буду я. Ну, а заместители… С моими заместителями вы знакомы — Аркадий Алексеевич и Валерий Сергеевич. Контакты через них…

С того дня жизнь для Валерия пошла веселее. Это было в чем-то сродни его прежней работе — возможность встречаться с разными людьми, наблюдать их, узнавать жизнь в её новых обличьях и на всех этажах, а, узнавая, понимать её водовороты. Именно за это он любил свою профессию. А теперь втайне преследовал и личную цель — присматривал возможных авторов и героев для будущего журнала.

Впрочем, хозяина нынешнего застолья Антона Шипунова присмотрел сам Суриков:

— Подружитесь с ним, Валерий Сергеевич. Вы у нас интеллектуал, а он, говорят, у себя в Перми был завсегдатаем оперы и балета. Говорят, даже стишки писал тамошним мамзелям-жизелям… Чином, правда, не вышел -только заведовал юридической консультацией, но на митингах время зря не тратил — выбился в депутаты, теперь вот — и в председатели комитета… Латынь знает!.. Всё же в советские времена юристов учили неплохо — не то что нынче…

— Ну, а сверхзадача какая? — поинтересовался Валерий. — Не могу же я сказать: разрешите познакомиться, Антон…

— Фёдорович!

— …вам, Антон Фёдорович, мамзель Жизель привет передавала!

— Сверхзадача — после! Действовать будем стэп-бай-стэп, как говорят англичане. Сначала — подружиться. Двух недель хватит?

Спустя полмесяца, когда «отношения утеплились» (так оценил работу Суриков), была поставлена и сверхзадача — добиться, чтобы комитет, возглавляемый Шипуновым, проголосовал против повышения отчислений в дорожный фонд.

— Взятку давать?! — вскинулся Валерий. — Извините, не обучен!

— Валерий Сергеевич! — укоризненно протянул Руслан. — Вы где работаете?

— В Институте кризисов!

— Ну вот! И, представьте, у каждого человека есть свой маленький кризис. Вы всё к деньгам сводите, а ему, может, квартира нужна… Или дочку в университет пристроить… Или здоровье жены пошатнулось — и надо бы её в заграничную клинику отправить… C'est la vie, как говорят в деревне Гадюкино!

Идея Института кризисов оказывалась не просто гениальной, а гениальной до омерзения — поскольку суть оставалась прежней. Но трудно было поверить, что так вот просто, примитивно решаются вовсе не пустяковые вопросы государственной экономики, инфляции, в конце концов — судьбы страны.

— Ну, а если человек не покупается?

— Купить можно кого угодно — вопрос только в цене! — убеждённо подключился Аркадий.

Но Суриков зашёл с другой стороны:

— Почему же именно «купить»? Просто услуга за услугу. Ведь каждый в чём-нибудь нуждается, так? Вот и облегчите ему решение проблемы!

Помолчав, он добавил:

— Знаете, почему народ отвернулся от коммунистической идеологии, которую в начале века принял так восторженно? Да потому что рассчитана она на идеальных, я бы сказал — дистиллированных, особей. А в реальной жизни таких нет. Разве единицы… Возьмите церковь. Ведь она проповедует, по сути, те же ценности, однако народ от неё не отрекается — несмотря на гонения, атеистическую пропаганду, научные открытия… Почему? Да потому что она поступает гораздо мудрее — принимает людей такими, как есть. Прощает им грехи, учит терпимости к ближним, не отвергает ни вора, ни нищего, а если кого отлучает — то лишь отступника, который сам от неё уже отрёкся. И заметьте: церковь не заявляет никаких сроков окончательной победы высокой нравственности. Наоборот, она внушает, что человек по природе своей несовершенен. Подозреваю, её даже устраивает такое положение вещей: ей ведь спешить некуда, она вечна!

— Звучит цинично, — заметил Валерий.

— Но прагматично! — подхватил Суриков. — Оглянитесь вокруг, и вы поймёте, что в жизни наиболее удачливы не романтики, а именно расчётливые, трезвые прагматики.

И Валерий решил пройти путь до конца. Оказавшись в очередной раз в кабинете Шипунова, он спросил:

— Повестка следующего пленарного заседания обсуждалась?

Антон Фёдорович многозначительно обвёл рукой пространство над собой, а вслух произнёс:

— Окончательно пока не договорились.

Валерий жест понял и, написав на листке бумаги «Дорожный фонд?», подвинул его собеседнику со словами:

— Наших экспертов очень волнует кризис в отношениях со странами Балтии…

Шипунов игру принял.

— Вы знаете, — продолжил он тему, — мы считаем, не стоит бежать впереди паровоза…

Листок вернулся к Валерию со словами: «Цена вопроса?»

— …Конечно, судьба русскоязычных граждан в этих странах волнует всех, — продолжал Шипунов, пока Валерий писал ответ, — но правовых оснований для вмешательства…

Прочтя на возвращённом послании «Назовите сами», он было запнулся, но тут же выровнял интонацию:

— …да, правовых оснований для нашего вмешательства пока нет.

Перевернув листок, депутат стал писать, не переставая рассуждать о балтийской проблеме. Спустя несколько минут Валерий прочёл: «Варианты (в зависимости от ваших возможностей): 1. Должность генерального прокурора. 2. Квартира в центре (5 комн.). 3. Мерседес-600. 4. Вилла на Кипре».

Он поднял глаза на председателя комитета: издевается, что ли? Но тот, вышагивая по кабинету, вполне серьёзно продолжал свою декламацию. И Валерий прозрел: да ведь этот фрукт давно всё понял — и что у них за институт, и кто его «крышует», и что Валерий — никакой не пышный «замдиректора», как значится на визитке, а просто карта в краплёной колоде…

И так ему захотелось встать, грохнуть, по старой памяти, дверью этого салонного кабинета — да посильней, чтобы секретарша вскочила и штукатурка со стен посыпалась. А потом листочек этот писаный, с почерком главного думского законодателя — в газетку, на солнышко, на публичный скандал… Вы коррупцию ищете? Так нате вам коррупцию, ешьте её с маслом! Со сгущёнкой! А хотите — с дерьмом!..

Но не зря говорится, что у человека всегда есть выбор. Валерий представил себе результат. Да, секретарша вскочит. И штукатурка, наверное, посыплется — хотя дверь тяжеловата, размах может оказаться не тот. А вот ухватится ли какая газета за этот материал — вопрос. Если с первого захода не угадаешь, сенсация уже не состоится — пойдут слухи. Да и самому открываться придётся: ведь не за красивые глазки депутат таких гонораров потребовал. Значит, и Сурикова надо будет сдать — со всеми его институтами. Но где, спросят, доказательства? Может, ты на кого-то из конкурентов «Континент-банка» работаешь, и попытка дать взятку от его имени — просто грязная провокация? Тогда уж самому дай бог отмыться! У Сурикова «прикормленных» журналюг хватит. А вечером, глядишь, и покалечат задёшево. Но главное — прощай, журнал! Какой потенциальный спонсор захочет иметь дело с «принципиальным» стукачом?

…Валерий не спеша сложил вчетверо листок с «вариантами», утопил его во внутренний карман пиджака и встал:

— Ваши доводы серьёзны и убедительны. Мы подумаем!

— Отлично! — осклабился Шипунов. — Кстати, сегодня… часам, скажем, к семнадцати… приходите-ка сюда. Ничего особенного, просто вечер в узком кругу. Посидим, поокаем… А?

— Спасибо.

— «Спасибо, да» или «спасибо, нет»?

— Есть небольшая закавыка, — Валерий решил оставить себе лазейку, — но я постараюсь.

…Теперь, стоя у окна, он оглядывал застольное сообщество. Кураж нарастал с каждым тостом, и надо признать — эта публика пить умела. Никому не грозило упасть мордой в салат, никто спьяну не лапал соседку. Разве что анекдоты стали мельчать да выстреливать матерком, но даже дамы принимали это без жеманного смущения. Главное, что выдавало повышение градуса, — всё более откровенное самодовольство.

— У меня тост! — поднялся высокий худощавый депутат, вернувшийся накануне из дальневосточной командировки. — Заметьте, у нас на столе — красная рыба…

— Лосось! — уточнил кто-то, цепляя вилкой жирный бок распластанной рыбы.

— Верно, — не дал себя сбить тостующий. — А знаете, почему эта рыба красная?

— Неужели коммунистка? — сострил сосед.

— Нет! Она покраснела от стыда! От стыда за нас с вами. За то, насколько бездарно мы распоряжаемся богатствами океана. Россия — великая морская держава, так?

Присутствующие не возражали.

— И великая лесная держава! — вставил слово сосед.

— …Но Мировой океан — не только рыба. Это неисчерпаемая кладовая! И пока мы, русские, копошимся лишь на пороге кладовой, другие — выступающий предостерегающе возвысил голос, — другие проникают в самые потайные и богатые её схроны. Власть не способна проложить нам путь — это всем ясно. Только такие люди, как Антон Фёдорович…

Шипунов было застенчиво поднял руку, но заговорить ему не дали.

— …только такие: деловые, талантливые, авторитетные люди смогут повести нас к цели. За вас, дорогой Антон Фёдорович! И знайте: мы всегда с вами!

Шипунов, опрокинув «за сказанное», взял ответное слово, а Валерию вдруг припомнилось: «Уж не хочет быть она царицей — хочет быть владычицей морскою…» Как ни мерзко становилось от происходящего, но подтверждалась базарная арифметика Аркадия: вопрос только в цене. И кажется, не в одном, отдельно взятом комитете. От сознания этого пафос задуманного журнала готов был померкнуть.

Это ему было хорошо знакомо. Вдруг наваливалась такая мутная, непроницаемо-глухая тоска, что закладывало уши. Пожалуй, это могло служить пыткой в каком-нибудь изуверском застенке: поместить человека в комнату, где есть всё: воздух, свет, пища, вода — нет только звуков. Делаешь шаг — но не слышишь, стучишь по столу — не слышишь, кашлянешь — как в подушку. Даже если щёлкнешь пальцами у себя над ухом — и то беззвучно.

Наверное, для людей, глухих от рождения, мир без звуков и есть нормальный мир. Те, кто оглох от беды или по болезни, сознают это состояние и со временем свыкаются с ним, учатся жить заново. Но если внезапно в обеззвученное, мёртвое пространство окунуть здорового человека — это так же мучительно, как перекрыть ему дыхательные пути.

Тоска…

Теперь говорят — «депрессия». Женщинам в таком состоянии советуют что-то изменить в себе или вокруг себя: купить новую блузку, сумочку, сделать необычную причёску или макияж, завести любовника… А что мужчине? Первое, что приходит ему на ум, — выпить. Кому-то помогает. Валерий к такому способу не прибегал. Конечно, расслабиться в хорошей компании он был тоже не прочь — но в другом, прямо противоположном настроении. От тоски рюмка его не спасала. Во-первых, пить много не позволял организм, а во-вторых, того хмельного одурения, ради которого только и стоило напиваться, — именно такого мутного сознания он не любил. В юности спасался другим: уходил бродить по городу, ещё лучше — за город, в какую-нибудь чащобу или во широко поле, где дышалось полной грудью, а мир вокруг наполнялся такими звуками, которые растворяли, растапливали в нём отупляющую, мглистую глухотень. Теперь это почти недоступно: Москва слишком уж велика — поди, выберись за её жилые пределы! Пока дойдёшь до метро, доедешь до конечной, потом ещё протрясешься в автобусе, выйдешь — а на горизонте уже новые коробки человеческих обиталищ…

Оставалось одно средство — работа. Валерий смутно помнил деда, старого сельского учителя, который до последних дней так нежно любил бабушку, что в редкие их размолвки ни разу не сказал ей грубого или хотя бы раздражённого слова. Он просто уходил в сарай, брал в руки один из липовых чурбачков, которые подбирал в парке во время осенней обрезки деревьев, доставал истёртый чемоданчик с инструментами и мастерил какую-нибудь, по его словам, «ложку-плошку-детскую бомбошку». У Валерия такого скита-сарая не было, дедова мастерства, как ни старался, он тоже не перенял, и потому, пока была дача, отводил душу тем, что колол дрова. Один за другим тяжёлые берёзовые катыши выставлял на широкую дубовую колоду, вздымал над собой массивный колун и с шумным выдохом как бы ронял его в паутину неровных годовых колец, таивших в себе целую жизнь величавого когда-то дерева. Жена протестовала: чем пупок надрывать — заплатил бы соседу-пьянице, он бы наколол дров на весь сезон. Но Валерию эта работа не только доставляла мышечную радость — с каждым выдохом он будто исторгал из себя сумеречную, невесть на чём настоянную хандру.

После переговоров с Шипуновым у Валерия, казалось, не было поводов для пессимизма. Условия, которые выдвинул председатель думского комитета, у Сурикова отрицательных эмоций не вызвали — скорее, наоборот, обнадёжили в успехе голосования по дорожному фонду. И когда голосование действительно прошло так, как «заказывал» Континент-банк, Суриков вручил ему плотный конверт и сказал:

— С почином, Валерий Сергеевич!

Наверное, он ожидал в ответ радостной улыбки или хотя бы благодарных слов. Но Валерий, принимая гонорар, мрачно произнёс:

— Надеетесь таки сделать из меня пиарщика? Я…

— Знаю: жур-на-лист! — улыбнулся Суриков.

Улыбка у него была редкая для его возраста — мягкая, детская и настолько доверчивая, что не позволяла даже заподозрить какую-то двусмысленность. Только подбородок был странноватый — острый, длинный, так что даже при улыбке оставалось в лице что-то мефистофельское. К тому же, за время их знакомства Валерий успел понять, что не зря Руслан отучился три курса в театральном институте: свою мимику он успел отрепетировать на все случаи жизни и знал, какое выражение лица и в каких ситуациях использовать лучше всего.

— И здесь вы потому, — сквозь улыбчивый прищур в глазах Сурикова блеснул металлический холодок, — что нужны мне именно как журналист! А потом: неужели вы до сих пор не поняли, что это и в ваших интересах?

Суриков перевёл дух и устало произнёс:

— Впрочем, что я вас уламываю как девку красную? Хотите уйти — воля ваша…

Вернувшись в кабинет, Валерий механически по привычке включил компьютер. «Похоже, я становлюсь типичным неудачником», — мелькнуло в голове.

— Вот-вот! — услышал он как наяву голос тестя, Никиты Петровича, обращённый к дочери. — Он у тебя вроде Емели-дурачка: только и делал бы, что сидел на печи да творил чудеса по щучьему веленью! Одна беда: на Руси столько Емель расплодилось — скоро ни одной щуки не останется…

Этот жестяной голос звучал для Валерия как ножом по стеклу. Тренированный на стройках, он победительно громко гремел везде — на кухне и на улице, в туалете и в спальне, в магазине или в театре. При этом, вне зависимости от ситуации или присутствия посторонних, он не знал полутонов и модуляций. Жестяным, непререкаемо властным голосом тесть судил и о политике, и о школьных делах внука, и о последней телепередаче.

Считалось, у него большой организаторский талант, что подтверждалось карьерой: прораб, начальник главка на всесоюзной стройке, секретарь обкома по строительству, аппаратный работник Совмина… Но со временем Валерий утвердился в том, что главным талантом тестя было умение пить не пьянея. Никита Петрович не знал, что такое похмелье и, сколько б ни выпил накануне, спозаранок был на работе как огурчик — в ясном уме и твёрдой памяти. Увы, на этой почве Валерий не смог составить ему компанию. И тесть с первого дня не скрывал разочарования.

— Ты, Лидок, — укорял он дочь, — не мужа себе выбрала, а комнатную собачонку. Всегда будет дома, всегда при тебе, но ни охотничьих трофеев, ни бойцовых медалей от него не жди!

— Не обижайся на него, Валерик, — оправдывалась за мужа тёща, Елизавета Васильевна. — Он сам по земле волком рыщет — думает, и все так должны. А вы своим умом, своим укладом живите!

Сначала Никита Петрович против зятя вроде бы не возражал: журналист в его представлении был лицом представительным, вхожим в любые кабинеты и потому влиятельным. Силу печатного слова он в бытность свою на стройке испытал на себе, статьи Валерия читал и потом с особым пристрастием следил за сообщениями «Меры приняты». Если меры казались ему недостаточными, он требовал от Валерия повторного выступления и не принимал ссылок на волю редактора или загруженность новыми заданиями.

— Тоже мне, боец невидимого фронта! Он, видишь ли, пописывает — а ты, читатель, почитывай! Ну и что толку? Нет, ты добейся, чтоб сняли подлеца! И чтоб дело шло как следует!

— Но журналист не должен учить министров работать! — пытался возражать Валерий. — Наше дело — поднять проблему…

— Поднять и дурак сумеет! — негодовал тесть. — Тем более, когда её уже партия вскрыла. А ты решить помоги!

— Послушай, — предложил он ещё на первом году их с Лидой семейной жизни, — а бросай-ка ты свою газету и переходи на партийную работу. Что скажешь? Больших чинов не обещаю, но рекомендовать тебя инструктором горкома я бы мог. Хочешь — в орготдел, хочешь — в промышленный, на худой конец — в пропаганду… А? Это тебе не слова складывать! Жизнь с другого конца понюхаешь, нового опыту поднаберёшься…

Валерий обещал подумать. Но стоило ему представить себя в роли инструктора, ощутить на себе взгляды рабочих, инженеров, даже директоров, которыми они обменивались за спиной таких вот вожачков-контролёров, приходивших, чтобы «проводить линию партии», как воротило с души. Он не смог бы уже запросто толковать с ними и выслушивать откровенные рассказы о житье-бытье, о том, чем на деле оборачиваются правильные пункты партийных постановлений.

— Нет, я газету люблю, — ответил он тестю, напомнившему вскоре о своём предложении.

— Да люби на здоровье! — Никита Петрович искренне не видел в этом никакого резону. — Через пару лет перейдёшь в обком, а там и в газету вернёшься — но уже не корреспондентом, а главным редактором! Ты что, не понимаешь?

— Нет, Никита Петрович. Извините — не могу…

Тесть пристально посмотрел ему в глаза.

— Да ты, я смотрю, просто незрелый! Зелёный совсем, да? Или высокомерный по отношению к партии? Лида, ты разберись, кто с тобой в постели лежит!

Несколько недель после этого тесть не видел Валерия в упор. Но когда досада его стала за давностью утихать, Валерий выступил со статьёй «Устав от устава» — о том, что на крупном уральском заводе на комсомольцев буквально устраивают

облавы, загоняя их на собрания. Смысл статьи был простым и понятным: такие собрания нужны активистам только для галочки — положено по уставу собираться раз в месяц, вот и всё. Люди не хотят тратить время на пустую говорильню, а то, что их действительно волнует, на обсуждение не выносится.

В редакции статью отметили как лучший материал месяца, но тесть пришёл в бешенство.

— Ты что написал?! — орал он во всю глотку. — Ты со мной посоветовался?

— А вы тут при чём?

— Да при том, что все знают: ты — мой зять, чёрт бы тебя побрал! Люди спрашивают: он что у вас, диссидент?

Но вскоре в стране подули новые ветры, в чиновные кабинеты пришли новые люди. Потеряв прежний статус, Никита Петрович поник, ссутулился, даже говорить научился вполголоса. Когда Елизавета Васильевна ставила ему к обеду привычные сто пятьдесят, тесть опорожнял стакан молча, без традиционного «Будем жить!», безвкусно выхлёбывал свой любимый зелёный борщ и, не дожидаясь второго, уходил на лоджию, где с тяжёлым храпом засыпал до захода солнца, а потом делил ночную бессонницу с телевизором и смотрел всё подряд — от политических дебатов до эротических фильмов.

Так продолжалось месяц-полтора. Потом молчавший сутками телефон ожил: стали возвращаться из такого же столбняка его друзья-коллеги. Оказалось, в Совмине Никита Петрович собирал партийные взносы, поэтому знал всех и вся. И когда то один, то другой из бывших функционеров находил себе место в новой жизни, они, как правило, вспоминали своего деловитого собутыльника. Прилепившись к какой-то новорождённой фирме по торговле лесом, тесть воспрял духом и стал опять набирать силу.

Уход Валерия из газеты он поначалу одобрил. Но идею журнала не поддержал: «Коммерчески пустое предприятие!»

— Иди ко мне! — стал он прессовать зятя, когда обрёл прежний командный голос. — Подучишься, приглядишься — сделаю тебя представителем в Европе. Они там на каждое деревце молятся, наш товар нарасхват идёт. Олигарха из тебя сделаю!

Однако и в олигархи Валерий идти отказался. Никита Петрович, припомнив заодно былую обиду, махнул на него рукой окончательно:

— Да ты просто обозник! Вечный неудачник!

И это клеймо, плевком брошенное бывшим тестем, всё чаще всплывало теперь в его памяти. Правда, с женой их развело совсем другое…

— А ведь я вас вспомнил!

Литманович плеснул в рюмки коньяк и взглянул на Валерия эдаким хитрованом-дознавателем, которому удалось выведать тайну своего подследственного. Выпив без тоста, он продолжил:

— Ведь это вы тогда в Доме учёных припечатали Шлыгина?

— Ну, не то чтобы припечатал…

— Неважно! Но — вы, я не ошибся?

— Со Шлыгиным я действительно спорил…

— Вот! А я даже в Давосе мучился: где я мог вас раньше видеть?!. Честно говоря, тогда я был не на вашей стороне, но не мог не восхититься: в том зале, в таком окружении открыто заявить свою позицию!.. Я вас зауважал!

— На то и дискуссия…

— Не скажите! Что вам стоило отмолчаться, оставшись при своём мнении — кто бы вас осудил? Когда страна рушится и неизвестно, чья возьмёт, мудрее всего отсидеться в окопе. Кто бы ни победил — ты невредим, да ещё, гляди, за героя сойдёшь. А вы…

Литманович восхищённо качнул пышноволосой головой и без церемоний, пальцами ухватил с тарелки лимонный кружок. Шевелюра у него была уникальным произведением не то природы, не то искусства: чёрные волосы, пронизанные серебристыми нитями, шаровидным облаком парили вокруг лица — будто стрелы, готовые разлететься во все стороны. Это рождало у собеседника двоякое чувство: то казалось, что перед тобой очаровательный, добродушный щенок, которого хотелось приласкать, погладить, то вдруг облако ощетинивалось жёсткими, негнущимися шипами, а щенок злобно скалился из-под них безо всяких скидок на знакомство и симпатию.

— А знаете, где теперь ваш оппонент? — продолжал Литманович.

— Пропал куда-то…

— Я тоже так думал. И вдруг встречаю его в Давосе! Представляется: советник американской компании «PIC» — «Petroleum Independent Company».

— Эмигрировал, что ли?

— Говорит, просто двухгодичная стажировка. Зачем ваш Лебедянский разыграл этот детектив — «тайна сия велика есть». Как бы то ни было, г-н Шлыгин постигает, так сказать, рыночную науку побеждать. Это я к тому, Валерий Сергеевич, что мы нашим западным партнёрам сказочки рассказываем, а они…

— Считаете, ваше выступление было неудачным?

— Ну почему? Я-то, собственно, о чём хотел сказать… В Давосе вашу сказку выслушали, поаплодировали, но эти интеллектуальные приёмчики там не в ходу. И свои деловые задачи мне пришлось потом решать с нуля.

— Выходит, не оправдал доверия? И какова неустойка?

— Валерий Сергеевич! — Литманович укоризненно наклонил свой грибовидный шар. — Поссориться хотите? Не выйдет! Тем более, что я приготовил вам… что-то вроде подарка. Смотрите!

Он встал и раскатал на письменном столе какой-то чертёж.

— Это Тверской бульвар. Вот театр Пушкина, МХАТ, памятник Есенину — видите? А вот настоящий особняк: с широкими лестницами, высокими потолками, огромными окнами. Здесь и будет редакция вашего журнала. Третий этаж подойдёт?

От неожиданности Валерий издал нечленораздельный, почти неприличный возглас.

— Или вы против? — хозяин кабинета смотрел на него улыбаясь.

— Игорь Михайлович! — Валерий наконец стряхнул немоту. — Вы шутите?!

— Таким не шутят! — с пафосным акцентом произнёс Литманович. И тут же заговорил серьёзно: — Мы подали в мэрию заявку на капитальный ремонт, после чего половину площадей получим в своё распоряжение. Отказа я не жду — предварительная договорённость есть. Работы, по нашим расчётам, займут месяцев восемь-девять — иначе прогорим…

— А жильцов там нет?

— Есть. Но мы-то взамен предоставляем им новые квартиры -комфортабельные, той же площади… Половина, по нашим опросам, согласна. Большинство там — старики, им такое жильё в центре города оплачивать уже не по карману.

— Не знаю даже, что сказать…

— А ничего! Даже «спасибо» пока рано.

— Но девять месяцев…

— Что ж вы хотите? За девять месяцев ребёнок рождается, а тут — журнал! Пока вы его зарегистрируете, разработаете макет, пока подберёте кадры, купите компьютеры, то-сё…

На следующее утро, не стерпев, Валерий поехал на Тверской. Дом был осанистый, усталый. Местами по коричневым стенам тянулись белесые морщины. Переплёты больших, каких-то добродушных окон тоже были облуплены, будто покрыты старческими пигментными пятнами. Когда Валерий благоговейно потянул на себя тяжёлую входную дверь, на её скрип откуда-то из глубины парадного раздался тяжкий протяжный вздох. Пол в холле оказался выстлан узорчатой керамической плиткой — и, что удивительно, почти без выбоин. Но главным чудом была, конечно, лестница. В отличие от современных домов, она шла полого, с мягким изгибом на марше, располагая не к согбенному одышливому подъёму, а к свободному, неспешному восхождению на этажи. Конечно, именно в таком здании и должна располагаться редакция журнала, который был бы достоин своего исторического предшественника.

Эту пафосную фразу, адресованную Литмановичу, Валерий чуть было не произнёс вслух. Но тут этажом выше хлопнула дверь, и на лестнице послышались неровные, чуть шаркающие шаги. Спустя минуту над площадкой вырос высокий сухопарый старик с зажатой в кулаке матерчатой сумкой. Он вгляделся в Валерия и участливо спросил:

— Вы к кому, молодой человек?

— Ну, не то чтобы молодой! — глуповато отшутился Валерий. — Просто зашёл…

— А вот это напрасно! — не одобрил старик. — Вас как зовут?

— Валерий, — привычно произнёс он. Однако ожидающий взгляд благородного старца заставил назваться полностью: — …Сергеевич!

— Я — Габуния. Ираклий Георгиевич. Впрочем, важно не это. А то, что, если вы хотите здесь купить или снять квартиру, — зря надеетесь. Нас выселяют. Представляете? Я, потомок древнего рода, буду заканчивать жизненный путь где-то в конуре, а дом, который я спасал от фашистских зажигалок и собственными руками ремонтировал после бомбёжек, дом, куда привёз из роддома своего Сандро, а через двадцать лет рыдал здесь над его телом, изъеденным метастазами, — этот дом станет для меня чужим! Хотел бы я увидеть человека… хотя, какой он человек?! — убийцу, посмевшего поднять руку на это гнездо человеческое!

Ошеломлённый, Валерий смотрел на старца во все глаза.

— Я зна-аю! — протянул Габуния с болезненной гримасой. — Вы полагаете, что столкнулись с умалишённым… Да, это действительно выглядит мерзко: старый пень на пути прогресса. Но мне-то что делать? Я живу теперь как на собственных похоронах. А вот мой сосед, бывший историк… Хм, бывший историк — неплохо сказано, да? Как вы думаете, могут быть историки бывшими?.. Так вот, он приводит в пример петровские времена. Мол, и бояр заставляли бороды брить, и крестьян в болотах морили, и даже колокола переплавляли на корабельные пушки — ничего не щадили ради процветания отечества. Не то что я, мухомор, — собственную конуру ставлю поперёк прогресса. Извольте признаться, вы так же считаете?

Валерию стал чем-то симпатичен этот величавый потомок неизвестного рода, седина которого сияла короной, сочетаясь с гордой осанкой джигита.

— Товарищ Сталин тоже с Москвой не церемонился, — заметил он, поддразнивая старика. — Иначе не было бы ни проспектов, ни метро, а в Кремле до сих пор теснились бы церквушки…

— Молодой человек, если вы не очень торопитесь, проводите меня, пожалуйста, до булочной… Отлично!.. Так вот, — продолжал старец, когда они вышли на улицу, — товарищ Сталин понимал, что столица великой индустриальной страны не может оставаться патриархальной окраиной мира. Но как можно было строить новую Москву, не задевая старой? Конечно, люди, привыкшие к родным пенатам, страдали — но даже они понимали: городу тесно в старых стенах. А теперь? Кто поверит, что мы в этом дворянском особняке стали мешать прогрессу? Бизнесу мы стали мешать — в это я поверю! Кто-то… как сейчас говорится?.. положил глаз — и всё, убирайтесь вон, господа? Но что, если завтра кто-то другой тоже положит глаз? Так и будем — око за око — ломать да перестраивать? Но ведь это Москва! Как можно с ней обходиться, словно с гулящей девкой?

…Потом, много дней спустя, Валерий испытал странное чувство: ему казалось, что встреча эта, прежде чем произойти, сначала привиделась ему во сне. Уже проснувшись следующим утром, он спохватился, что ни телефона, ни номера квартиры родовитого своего собеседника, ни даже имени-отчества сказать не смог бы. В памяти застряла только фамилия — Габуния, а где-то в мозгу — укоризна, что так или иначе он сам причастен к тому, что старик, по его словам, живёт как на собственных похоронах.

— Ну и что? — убеждал он себя. — Всякому овощу своё время. Когда множество москвичей ютилось в коммуналках, много переживал за них этот потомок древности? Может, и юный Гарик Литманович бродил в те дни по Тверскому, с завистью заглядываясь на окна: какие же счастливые

люди живут за их ажурными занавесками! Едят, беседуют, слушают музыку… Может, в этом старом особняке — вся его стреноженная когда-то мечта? И теперь, готовясь заработать на его реконструкции, он лишь избавляется от комплекса неполноценности.

А ему-то, Валерию, как быть? Звонить Литмановичу, увещевать, отказываться от предложенных апартаментов? Ничего глупее не придумать. Оставить всё как есть? «Если не уверен в победе — не ввязывайся!» — наставляла его когда-то бабушка по линии отца. Войдя в отроческий возраст, он запальчиво спорил: это значит, пройди мимо тонущего? Отвернись, когда бьют женщину? Не заметь вора? Спрячься, бросив в беде товарища?

«Не ввязывайся!»… Пожалуй, внук и усвоил бы этот удобный для жизни завет, не выбери он для себя журналистскую профессию, в которой очень скоро понял, что «не ввязывайся!» равнозначно «не живи!».

Как-то в редакцию — вскоре после памятного материала о леснике — пришло письмо из самого дальнего района. То боязливо, то отчаянно, переходя с газетных клише на безыскусную исповедь и обратно, сельский мальчишка писал: «Дарогая редакция, я мечтаю стать лётчиком. Хочу как мой родной дятька каторого я ни кагда не видил так-как погиб на фронте вайны, береч голубое небо нашей великой Родины от подлого заклятаго врага. Но как ето сделать дарагая моя редакция, если в нашей школе нет учителей. Один Иван Петрович ведёт и русский, и математику, и труд. А английских уроков уже больше года нету вовсе. И так получатся: кто в армии служить не хочет, тот конечно палучит образование, а всё равно будет где ни то на папашкином горбу сидеть. А я могу стать настояшшим патриотом, но председатель наш Макар Лукич Петренко приневоливаеть таскать коровам лантухи с жмыхом. Говорит, будет и на нашей улице празник. А сельсовету запрещает паспорт мне выдавать, штоб не сбежал в город самоволкой. Одна надежда на вас дорагая редакция. Потому как уже нету такого закону штоб человек человеку, который друг, товарищ и брат, шёл поперёк мечты. С приветом к вам Задирака Василий Игнатович».

«Жаль парня, — прокомментировал Славка Луков, — но какой из него лётчик: «никогда» с тремя ошибками пишет!». Письмо отправили в архив. Но Валерий выпросил его у шефа для командировки. Правда, Игарков сначала посомневался:

— Вообще-то, наш Первый из того же района…

— Ну и что?

— А то! Напишешь бог знает что — а мне расхлёбывать?

— Не понял… А Второй из какого района?

— Демагог ты, Моисеев! С тобой по-человечески, а ты… Ладно, езжай. Но имей в виду: сработаешь на корзину — командировку не оплатим!

Село и вправду оказалось глухой окраиной. Автобусы не ходили, и Валерий добрался до места уже в сумерках. Правление колхоза было заперто, окна домов тускло светились по одному, редко по два — судя по всему, не было и электричества. Валерий пошёл на звук наибольшего оживления — и не ошибся: у клуба толпилась молодёжь.

— Васёк! Задирака! С вещами на выход! — дружно взялись помочь гостю подвыпившие парни. В полутьме все были на одно лицо, точнее — вовсе без лиц. Казалось, по крыльцу и около, в каком-то неровном мареве плавают матово-серые блюдца — булькающие или плюющие, чавкающие или дымящие. И если бы не членораздельные человечьи звуки, которыми перекликались эти блюдца, Валерий легко мог бы представить себя персонажем фантасмагорического фильма, попавшим в неведомый запредельный мир.

Васёк проявился в этом мареве длинной сутуловатой фигурой, обнимающей за плечи существо иного пола, едва досягавшее его подмышки.

— Чего надо? — беззлобно спросил он.

— Вы писали в редакцию?

— Я?.. А-а, ну да… Писал… Наверно…

— Наверно — или писали?

— Писал… — Васёк освободился от спутницы и, вглядываясь в Валерия, протянул ему руку: — А ты… вы… что, из редакции?

— Ну да! Чего ж ты удивляешься? Ты писал — я и приехал!

— Так я думал… Ну чего ржёте? — прикрикнул он на своих друганов, гоготом сопровождавших этот обмен любезностями.

— Ты, Вась, теперь как Иван Бровкин — на всю область прославишься!

— Завтра святой Макарий ему свою славу выдаст: пышки с маком да кочерыжки раком!

— Пошли отсюда, — с досадой проговорил Васёк под новый взрыв смеха. — Я, правда, не думал, что кто-то приедет, — продолжил он, когда, едва разбирая тропу, Валерий выбрался за ним на широкий просёлок. — Думал, может, позвонят нашему председателю, чтоб паспорт не запрещал выдавать… Это ж не по закону, так? Недавно и по радио говорили…

— А мы куда идём? — спросил Валерий.

— Дак до моей хаты и йдем, куды ж ешшо!

Васёк обернулся, и глаза Валерия, уже привыкшие к темноте, разглядели улыбку на его лице.

— Щас на сеновал заберёмся, я с погреба молочка принесу… Ты молоко уважаешь?

— Ещё как! — Валерию вдруг стало весело. Всё вокруг: и это село без света, и мгла, напоённая остывающими ароматами дня, и мохнатые тени деревьев на сочном небесном полотне — всё рождало ощущение, будто мир, только что им покинутый, остался где-то очень далеко и живёт совершенно другой, непостижимо чужой для этих мест жизнью.

…А потом было утро, до которого ещё была ночь. Васёк оказался вполне рассудительным малым.

— Конечно, сразу мне в лётное не попасть. Я узнавал: там и экзамены, и медкомиссия, и собеседование… Я думаю, в городе на завод пойду, в вечернюю школу запишусь, по выходным в секцию гимнастики… За пару лет, думаю, подготовлюсь. Ты как считаешь, смогу?

— Трудно будет…

— Сказал тоже! Конеш-ш, трудно… А тут… тут совсем пропаду. Сопьюсь, а не то — за скотиной

и сам скотом обернёсся… Ты вот посуди… Мне учитель… ну, Иван Петрович, про которого я писал… он говорит: мол, где родился, там и пригодился. Мол, такова народная мудрость… А как же Покрышкин? Маресьев? Жуков? Они ж все — крестьянские дети! И что, если б сидели сиднями там, где родились?..

— Ну, Жуков-то не лётчик…

— Так разве ж в том дело: лётчик — не-лётчик?! Я так думаю: мудрость народ по-другому мыслил. Пригодился — значит, не в своём корыте, а для всей страны. Потому что никто своего таланту не знает, пока не испытает. Так ведь?

Председатель колхоза Петренко о прибытии областного корреспондента уже, конечно, знал. «Макар Лукич просил подождать», — сказала Валерию дородная труженица правления — из тех, которые везде с одинаково гордой обидой блюдут достоинство и волю непосредственного начальства перед любым покушением извне. К беседе она была категорически не склонна и на расспросы, шутки, анекдоты отвечала только шуршанием бумаг и сосредоточенным накручиванием арифмометра.

Макар Лукич появился к исходу обеденного времени, но поесть не предложил. Выслушав, что привело Валерия в «эту благословенную епархию», он вывел его за порог, уселся за руль старенького мотоцикла и распахнул перед Валерием полог пыльной коляски: «Поехали!» Тряслись они по дороге больше получаса и остановились на краю крутого берега неширокой, но резвой реки. Разминая тело, Валерий невольно раскинул руки… и услышал:

— Что, тоже полететь захотелось?

Встретив его удивлённый взгляд, председатель сказал:

— У меня, как попадаю сюда, у самого душа не на месте. Может, мы все раньше птицами были, а?

Тут только Валерий заметил, что Петренко — человек далеко не старый, от силы лет сорока пяти. Если что и прибавляло ему возраста, так это густая щетина на тёмно-коричневом лице да глаза — усталые, притопленные в больших, налитых тяжестью мешках. «Видно, почки сдают», — подумал Валерий.

— Вот здесь, — председатель опустился на землю и махнул в сторону реки, — будет огромный животноводческий комплекс. Самый большой и самый современный в области. Почему здесь? А потому что у нас — отличный чернозём, и значит, кормов в избытке. Это раз. Во-вторых, здесь отличная вода. Плюс — за рекой уже соседняя область и железнодорожная станция, что облегчит реализацию продукции. Это уже три. И наконец, в этих местах ещё сохранились рабочие руки, не успевшие разбежаться по городам. Те самые Васьки да Гераськи, которые пишут вам письма. А на них тут вся надежда. Ясно?

Он вздохнул и лёг на спину — совсем как Валеркин отец тогда, в его послевоенном детстве.

— У вас дети есть, Макар Лукич?

— А какое это имеет значение? Допустим, есть… Вы хотите спросить, останутся ли они в колхозе? Не знаю. Я одного хочу… Пока растут — пусть научатся понимать: летать — не значит крыльями махать. Люди всё ж таки не птицы. И в любом деле можно быть асом, а можно — пидарасом. Простите…

Он помолчал, потом заговорил снова:

— Ну какой из Васька лётчик? Их с матерью отец бросил — такой шалопут, прости господи… Тоже где-то летуном заделался, а тут… двое на печи, третий в люльке кричи… Васёк, понятное дело, заскучал, кино насмотрелся — вот и удумал: вырвусь в город, там жизнь, там сияние… Он же, дурак, сам себя ещё понять не может! А ну как за ним другие навострятся?

Валерий смотрел на него, слушал, понимая, что у этого человека своя правда, потому что высота, которая ему предстоит, — тяжкая, почти неприступная, а ему, быть может, и непосильная. Но Ваську-то каково? Ведь не откажется он, не отступит. А и отступит — то когда-нибудь, может, сядет на своём свинокомплексе, крупнейшем в области, и станет хмельно сокрушаться о загубленной своей мечте. Ну, а если не суждено ему стать лётчиком? Если и там придётся сожалеть да попрекать взрослых, что не вразумили, не уберегли от роковой ошибки? Так ведь ошибка-то своя — кого винить?! Почему людское общество так устроилось, что на одну судьбу чужие воли ложатся? А не приди в чью-то вышестоящую голову строить комплекс именно в этом селе — легче было бы Ваську Задираке встать на крыло?

— Макар Лукич, вы рассказывали ребятам о перспективах развития села, колхоза?

— А как же!.. То есть, собирался. Вот только окончательно утвердят проект комплекса — обязательно расскажу. И не только ребятам! Ведь у нас, знаете, что намечается?! Тут и новая школа будет, и техникум, и больница, и стадион… Дороги проложим во все стороны! Дворец молодёжи с залом на тысячу мест, с бассейном! Два детских сада!..

…Вечером для завсегдатаев замызганного клуба Валерий попытался создать из этих миражей картинку реального будущего.

— Это святой Макарий вам наговорил? — засмеялся мальчишка, одетый в истёртую замшевую куртку, увешанную аляповатыми значками. — А с матерного на русский вам кто переводил?

— Почему с матерного?

— А с нами он иначе, как по матушке, разговаривать не может! — пояснил кто-то из темноты.

Васёк, сидевший рядом, промолчал.

…Через неделю в газете появилась статья «Право на взлёт» — о том, что никакое величие планов не может требовать человеческих жертв, что, если и приносят люди такие жертвы, то происходить это может исключительно осознанно и добровольно, а главное — что никто никого не вправе лишать свободы выбора. Статья вышла в отсутствие главного редактора — Игарков вдруг и срочно уехал в командировку. Сначала Валерий не придал этому значения, потом даже обрадовался, помня редакторские опасения насчёт обкома. А из колхоза в обком пришло письмо. Да не просто письмо, а решение открытого партийного собрания, обсудившего статью. «Корреспондент, — говорилось в документе, — проявил политическую незрелость. Вместо того, чтобы мобилизовать молодёжь на реализацию величественных

планов партии по возрождению деревни, он пошёл на поводу обывательских настроений отсталой части колхозников. В. Моисеев ратует не за взлёт, а за вылет из колхоза. Мы считаем, у такого журналиста надо отобрать не только партбилет, но и блокнот, чтобы лишить его возможности разлагающе влиять на молодое поколение».

Игарков возбудился.

— Ну что, допрыгался? Я тебя предупреждал? И чёрт меня дёрнул в этот момент уехать! Ни на кого положиться нельзя, — при этих словах он прямо-таки со сладостной укоризной посмотрел на своего зама Петьку Сиротенко. Тот сидел понурившись, сознавая, кто именно назначен, в случае чего, быть козлом отпущения.

Но дело повернулось иначе. В обкоме неожиданно поддержали выступление газеты и даже приняли постановление, обязавшее «руководителей колхозов и совхозов, сельские партийные и комсомольские организации повести широкую воспитательную работу с различными категориями населения, в первую очередь — с молодёжью, мобилизуя на…».

Игарков пришёл с бюро сияющий, объявил Моисеева вперёдсмотрящим, передал от Первого призыв «смелее вторгаться и вскрывать», на что Славка Луков с пафосом продекламировал: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Валерий, не показывая виду, похвалил себя за профессиональную интуицию и проявленный характер. Правда, в глубине души что-то ворочалось, саднило, не давало покоя. Прошло, наверное, года два, прежде чем он увидел свою статью совсем в другом свете. В бесконечном круговороте областных мероприятий нос к носу он случайно столкнулся со Святым Макарием. Петренко не отвёл глаз, но и не поздоровался — просто шагнул мимо. Валерий, правда, успел заметить тусклую серость в волосах, усталую горечь, запёкшуюся в уголках рта. Из слов докладчика следовало, что дела в колхозе Макара Лукича шли ни шатко ни валко, строительство комплекса отставало от графика, и Валерию вдруг подумалось, что его статья получилась тогда односторонней. Ведь и у этого человека была, наверное, своя мечта, своя взлётная полоса. Скорее всего, не многие из его институтских ровесников отправились с дипломом в сельскую глубинку, взвалили на себя поклажу отсталых, безнадёжно запущенных хозяйств. И пусть не хватало Святому Макарию педагогического дара — но ведь не сдался, не сбежал он, несёт свой неблагодарный председательский крест. А семья? Дети? Валерия обожгла мысль, что он тогда даже не расспросил Петренко о его личной жизни — отнёсся к нему будто к роботу… А где сейчас тот Васёк? Сложилась ли его городская одиссея, нашёл ли путь в небо? Валерий едва не впервые ощутил: то, что для него — журналистская удача, для кого-то может оказаться изломом судьбы. Как жить с этим сознанием? Правда, на всех твоих героев никакого сердца не хватит. И всё же…

А как работать в апартаментах на Тверском, зная, что из них только что под зад коленкой выставили заслуженных стариков? Говорить о духовных ценностях с трибуны, установленной на погосте?

Надо бы познакомиться с этим Габуния поближе — похоже, интересная личность. А ещё Валерий решил, что при ближайшей встрече с Литмановичем попытается обговорить варианты. Может, другого помещения и не придётся ждать девять месяцев?

В свой день рождения Мокрушин решил устроить party. Затягиваясь дымком на лестничной площадке, Степан Власьевич рассуждал перед Валерием:

— Мы ведь в советские времена как привыкли? В ресторан звать гостей — дороговато, да и слишком официально, не расслабишься… Приглашать к себе в дом — тесновато и скудно. Ведь не то что деликатесы — обычную селёдку приходилось доставать через «задинее кырлицо»! Да и жена, пока всего наготовит, в семи потах вымокнет… Потому и наловчились любые даты отмечать на работе: выпили, закусили, побазарили, разбежались. Так и стало с годами пропадать знаменитое русское хлебосольство… Теперь проще: на каждой улочке — кафе или ресторанчик. И удобно, что рядом с офисом: никому не приходится добираться в другой конец города. Правда, появилась новая проблема: почти все — «за рулём», выпить хочется, а руль не даёт. Но ведь градус от расстояния не зависит, правда? Главное — общение…

Дата у Мокрушина была не круглая, однако народу на пати сошлось немало. Кроме банковских, он пригласил и прокурорских своих сослуживцев, и друзей по оренбургскому землячеству, которое, как и другие подобные союзы, объединяло провинциалов по территориальному признаку, помогая утвердиться в непростых столичных реалиях. Были здесь и новообращённые Мокрушиным партнёры Континент-банка — они выделялись на общем фоне особо искательными, подобострастными взглядами, пытаясь, впрочем, сохранять некое подобие достоинства.

Роль тамады была поручена Лёнечке Изяславскому: все сочли, что опыт бывшего телеведущего вполне сродни этой «головящей горове». И действительно, начал он пышно:

— Хотел бы, дорогие гости, обратить ваше внимание на одно удивительное обстоятельство. Дело в том, что Халатный переулок, а именно — то коротенькое пространство, где находится офис нашего Континент-банка и где мы собрались сегодня в этом уютном ресторанном заведении, вмещает в себя всю гамму человеческих страстей. Возьмите хотя бы упомянутый офис. Бывший особняк княгини Малышкиной, вынужденной спасаться бегством от революционной толпы, был реквизирован под штаб рабочих дружин Центрального района. Это были наши деды. Потом наследство приняли отцы-комсомольцы, а последним секретарём райкома здесь работал наш уважаемый Матвей Абрамович Лебедянский…

Аплодисменты, которыми собравшиеся встретили это напоминание, превратились в овацию, когда тамада поклонился в сторону двери и все увидели вошедшего главу банка.

— …Сегодня здесь работаем мы, — вдохновенно продолжил Лёнечка, — работаем, чтобы возродить экономику страны. Но история нас не отпускает! — нащупал он наконец лейтмотив речи. — Рядом — здание, где по сей день расположены службы Комитета госбезопасности. Это бодрит, не правда ли?.. Дальше — стены Свято-Николиного монастыря, где спасали свою веру и душу страстотерпцы советского лихолетья. Это — вдохновляет! А ещё дальше — кладбище. Пусть на нём давно нет свежих захоронений, но сознание близости этой юдоли даёт нам успокоение. Как в старой комсомольской песне: ничто на земле не проходит бесследно…

Быть может, говорящий не скоро вспомнил бы о цели высокого собрания, но Мотя, по-хозяйски взошедший на оркестровую площадку, побудил краснобая закруглиться. В зале враз умолкли. Глава банка слегка кашлянул, зачем-то всмотрелся в ладонь своей левой руки, которую, отставив в сторону большой палец, почесал согнутыми остальными, потом вскинул голову и приподнял перед собой наполненный бокал.

— Степан Власьевич! — обратился он к виновнику торжества, который стоял рядом. — Так получилось, что твой день рождения — это мой последний день в банке…

Собравшиеся вздрогнули и ошеломлённо загудели.

— Да! — чуть прибавил голосу оратор. — С завтрашнего дня я приступаю к обязанностям…

Последовала пауза.

— …заместителя министра топлива и энергетики!

Зал, ещё не вполне осознав сказанное, одномоментно взорвался аплодисментами.

— Спасибо, друзья! — Лебедянский наклонил голову в подобии поклона. — Всем известно, что наше государство больно непрофессионализмом. Экономика России остро нуждается в интеллектуальном ресурсе. А где сегодня сосредоточен этот ресурс, если не в банках?! Вот почему, получив от президента страны почётное и ответственное предложение, я, естественно, отказаться не мог.

Аплодисменты снова обратились в бурную овацию. Мокрушин стоял растерянный, держа в одной руке вроде бы неуместную сейчас рюмку, а другой пытаясь включиться в общий ритм хлопков. Лебедянский с улыбкой пришёл на помощь.

— Я ухожу… — его голос враз угомонил страсти, — но я, конечно, с вами! И если здесь остаются такие люди, как Степан Мокрушин, я за наше дело спокоен!

Восторг публики достиг апогея. Шеф выпил с именинником на брудершафт, после чего повелительно постучал пальцем по микрофону:

— Кто-то из мудрецов сказал: чтобы чего-то добиться, в России надо жить долго. Этого, Степан Власьич, я тебе и желаю!

Когда начальство удалилось, микрофоном снова завладел Лёнечка Изяславский. Напрочь, кажется, забыв о виновнике торжества, он напомнил высокому собранию о главной сенсации дня:

— А сейчас — песня в тему! — провозгласил он, приобняв появившуюся рядом девушку. — Очаровательная Элизабет Карибская… Что, что? — тамада наклонился к ней и, выслушав, снова заорал в сетчатую грушу: — Прошу пардону! Не Элизабет, а просто Лизочка… исполнит романс, будто специально написанный к прозвучавшему тут сообщению.

И с оркестрового помоста полилось что-то чистое и неуместно трогательное:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собо-ой —
там в краю далёком
стану тебе женой…

Публика, продолжая жевать и буйствовать, даже не сразу сообразила, откуда и что это затрепетало в дымно-хмельном мареве зала.

Милая моя,
Взял бы я тебя-я,
Но там, в краю далёком,
есть у меня жена.

После того, как последние строки прозвучали вторично, зал отозвался могучим, почти животным сполохом смеха. Но мелодия не сорвалась, не уступила:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собо-ой!
Там, в краю далёком,
Буду тебе сестрой…

Новая мольба развеселила зал ещё больше. И, конечно, вполне ожидаемый ответ вызвал не менее ожидаемые реплики:

— Зря просишь — сестрёнка у него тоже есть!

— Разве что молочной, ха-ха-ха…

Но душа песни, бившаяся в неистовом своём страдании, меж тем увещевала, орошала всех вокруг всплесками рвущейся изнутри надежды:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собо-ой —
Там, в краю далёко-ом,
Стану тебе чужой…

Некоторые лица посерьёзнели, кое-кто даже смутился, соображая сквозь нетрезвый кураж что-то неладное, горькое. И когда после безысходного «чужая — ты мне не нужна» вырвалось вдруг отчаянное как стон — «возьми!..», это прозвучало уже в полной тишине воплем загнанного, обессилевшего зверя.

С минуту все молчали, потом, спохватившись, поаплодировали исполнительнице, пока Маша с Дашей, не поддавшиеся песенной тоске, в один голос не потребовали танцев.

— А знаете, о чём эта песня? — не то спросил, не то взялся сообщить Валерий подошедшему Сурикову.

Последнее время они встречались разве что на планёрках: Суриков был весь в проектах и встречах, Валерий тоже не маялся, как бывало, от безделья, а навязываться на более тесные отношения было в его положении странно.

— О любви, конечно! — беззаботно ответил шеф, отхлебнув из бокала.

— Думаю, нет! — Валерий даже прищёлкнул языком и ещё подпустил туману: — Совсем даже наоборот…

— Интересно! — усмехнулся Суриков. — Тогда о чём же?

— По-моему, песня про то… — враздум протянул Валерий, пока наконец не произнёс раздельно, по словам: — про то, что здесь! — никто! — никому! — не нужен!

Суриков, снова собравшийся было отпить, опустил бокал и взглянул на него исподлобья.

— Послушайте, Валерий Сергеевич… Вы не боитесь выжечь себя изнутри, а? Я могу понять сарказм… даже цинизм! Время такое — можно сказать, располагает… Но ведь вы… вы на глазах превращаетесь в какого-то мизантропа, ей-богу. Это опасно!

— Мизантроп не опасней вороны — до тех пор, пока не нападает на тех, кого ненавидит.

— Да нет! Опасно прежде всего для вас! Ненависть испепеляет сердце, мозг, нервы… И главное — непонятно, с чего вы взъелись на человечество. Ну, пусть вы сейчас не на коне… Так ведь не вы один! Да и временно всё это. В конце концов, надо уметь держать удар. Жизнь полосатая, не так ли?

— Руслан Юрьевич, вы прямо как батюшка в сельском приходе.

— Да, если хотите! Уныние, говорят, самый тяжкий грех.

— А с чего вы взяли… Нет, я не то… Вы как человек, увлекающийся философией, знаете, что все философы — народ печальный. И не потому, что они меланхолики или мизантропы. Просто они прозревают человеческие несовершенства — и не видят им конца. Ни в пространстве, ни, увы, во времени!

— Но мы-то с вами не философы! У нас есть профессии, семьи, есть настоящее и будущее… более или менее прозрачное… У вас, мне кажется, тоже горизонты стали посветлей…

— Кто же спорит?! Но оглянитесь, Руслан Юрьевич!

Это прозвучало почти заклинанием, и Суриков непроизвольно выполнил его.

— Вот-вот! — не дал ему опомниться Валерий. — Глядя на всё это, я и сказал то, что сказал: здесь! Никто! Никому! Не нужен!.. Каждый — сам по себе…

— Ну конечно! — в голосе Сурикова появились саркастические тона. — А ещё недавно человечество представлялось вам единым взаимолюбивым братством… Уж извините, но честное равнодушие, по мне, лучше фарисейской любви.

— Выходит, равнодушие — норма? Тогда с чем вы спорите? Я ведь только это и констатировал: никто! никому!..

Суриков рассмеялся:

— Я смотрю, софисты мы оба никудышные…

По правде говоря, оснований любить человечество у Валерия в последнее время едва ли могло прибавиться. Все попытки поговорить с Литмановичем, ещё недавно легко доступным, стали вдруг разбиваться о неприступную секретаршу Зиночку. «Игорь Михайлович вышел… У Игоря Михайловича переговоры… Уехал…» — все эти клише были Валерию хорошо знакомы: «шефозащитные» приёмы Наташи, секретаря Сурикова, тоже особым разнообразием не отличались.

И всё же на днях трубку почему-то взял сам глава группы «ШАГ».

— О, Валерий Сергеевич! Наконец-то! Куда же вы запропали? — голос Литмановича выражал такое неподдельное ликование, что обижать его правдой было бы преступлением.

— Наши дела? — на пафосе этого ликования вопрос Валерия нисколько не отразился. — Дела прекрасны и удивительны… Приходите, приходите!.. Да хоть завтра!.. Впрочем, нет — послезавтра!.. Или вот что — в четверг! Часикам к двенадцати! Добро? Так, кажется, говорят у вас во флоте… Да, да — конечно — на флоте!..

Неожиданно замявшись, Литманович прибавил:

— Тут такое дело… Вы, наверное, вправе обидеться… Ну, помните, я предлагал вам перейти на работу в «ШАГ»?

Валерий кивнул.

— Вот… Вы молчите, а дело не терпит. Одним словом, нам пришлось взять другого человека…

Валерий попытался ответить, но Литманович истолковал это по-своему:

— Нет-нет, от идеи журнала я не отказываюсь — наши договорённости остаются в силе, но поймите и вы меня…

— Я понимаю, Игорь Михайлович. Да и вряд ли я…

— Вот и отлично! — видно было, что Литмановичу неприятно продолжать тему. — Приходите, вам надо бы познакомиться с этим человеком. Зовут его Грушин, Олег Кириллович. Не приводилось встречаться?

Услыхав это имя, Валерий испытал знакомый приступ обессиливающей тоски, сознавая, что мечта о журнале снова помахала ему крылом.

Отступление 4-е

Жена всегда ставила ему Грушина в пример — начиная с того дня, когда он познакомил их во время редакционной экскурсии в Калугу, на родину Циолковского, и вплоть до последней семейной сцены, когда, в очередной раз выслушав невыгодное для себя сопоставление, Валерий устало констатировал:

— Запад есть Запад, Восток есть Восток — и вместе им не сойтись!

Это были слова не о Грушине. Это о них с Лидией. Грушин, по большому счёту, вообще был ни при чём. Жена (Валерий был уверен) не изменяла ему с Олегом, даже встречались они сравнительно редко — на каких-нибудь коллективных мероприятиях и почти всегда в присутствии Валерия. Но со временем у Лидии сложился некий символ, который воплотился в словосочетании «Олег Грушин» — и удручающе разошёлся с живым, примелькавшимся образом собственного мужа.

Тогда, во время экскурсии в Калугу, Грушин подкупил её прежде всего своей галантностью. Выйдя из автобуса, он встал у двери и терпеливо

подавал руку каждой даме, пока не вышли все. В доме-музее Циолковского он со всеми вместе слушал экскурсовода, но в промежутках вполголоса сообщал такие подробности, от которых иной экспонат вдруг обретал плоть и голос, наполнялся сердцебиением людей, для которых когда-то был не экспонатом вовсе, а предметом жизни и смерти.

— Откуда вы знаете? — не удержалась Лидия.

Грушин великодушно улыбнулся:

— Работа такая…

И протянул руку, представляясь:

— Грушин. Олег.

— Моисеева, — назвалась Лидия.

— Об этом я, кажется, догадался, — продолжал улыбаться Грушин, взглянув на Валерия.

«Опять она за своё!» — подосадовал тот. Это был её коронный номер с юности — «прикол», как она теперь его называла. Когда-то Валерий испытал его на себе. Не называя при знакомстве своего имени, она игриво предложила: «Отгадайте!» И дала наводку: «Оно — как вино!»

В первый раз Валерию показалось это милым и трогательным. С возрастом, всякий раз повторяясь, стало отдавать неуместным кокетством. А однажды, не рассчитав интеллектуального уровня компании, Лидия в ответ услыхала:

— Неужто портвейн?

— Ага! — раздалось рядом утробное ржание: — 777!

Дома оскорблённая Лидия рыдала: «Скоты! Козлы! Подонки!»

— Просто они плохо разбираются в винах. Им доступнее другие напитки…

— Ты хочешь сказать, что меня сочли доступной женщиной?!

На время «приколы» прекратились. Но Грушин, видно, пробудил щекочущие воспоминания. Тем более, что, не выпуская пальцы Лидии, охотно включился в игру:

— Изабелла… Марго…

— Нет такого вина! — хохотала Лидия, не отнимая ладонь.

— Надежда… Нет?.. Может, Земфира?.. Эммануэль… Это молдавские… Лирия… Моника… Это — Сардиния. Нет? Тогда, может быть, Алиса? Изаура? Кларет? Рузанна? Мелория?

И Олег проявил такую недюжинную эрудицию, что, когда загаданное имя в конце концов прозвучало, в глазах Лидии это было сродни олимпийскому триумфу.

Потом Олег в числе других редакционных коллег оказался у них на новоселье. В ту пору он переживал развод с женой, которую застал дома с каким-то богемным типом, и оттого смотрелся то обиженным дитём, то загадочным Печориным. Пил он деликатно, по глотку смакуя коньяк, шутил без скабрёзностей. Под гитару спел Окуджаву — про Смоленскую дорогу и про то, что «будь понадёжнее рук твоих кольцо — покороче б дорога мне легла». Получилось очень душевно и к месту.

«Ему, наверное, одиноко сейчас, — шепнула Валерию жена, слушая песню. — Пусть хотя бы к нам приходит, хорошо?»

И Олег стал бывать у них почти каждую неделю. Часто они ходили вместе в театры, на выставки. Выяснилось, что у них довольно много общего во взглядах и пристрастиях. Валерий даже удивлялся:

— Я думал, что между взрослыми, сложившимися людьми такого единства не бывает — только в детстве и юности.

Особенно часто они рассуждали о человечестве.

— Беда в том, Лидочка, — начинал, бывало, Олег, — что и вы, и мы с Валеркой занимаемся абсолютно бессмысленным делом — пытаемся, согласно решениям партии, воспитать нового человека. Этот Сизифов труд не просто тяжёлый и тупой. Он обессмысливает нашу собственную жизнь.

Валерий, как правило, начинал возражать:

— При чём здесь решения партии? Вот я на прошлой неделе был в Бессоновке — это село в Белгородской области. Там толковый председатель, дважды герой, люди живут — дай бог нам с тобой, за пьянство карают вплоть до исключения из колхоза…

— А, выпить новому человеку всё же охота?

— Подожди, не в том суть… Школа там — не просто общеобразовательная, а ещё и музыкальная, и художественная, и спортивная, и профессиональная… А молодёжный фольклорный ансамбль получил гран-при на международном фестивале. И я уверен: ребята, которые получают такое образование, — это именно новые, другие люди!

— И сколько в стране таких колхозов?

— Не много, но есть! А соседи видят и думают: чем мы хуже? Хороший пример тоже заразителен — не только дурной!

— Лида, вы тоже верите, что можно воспитать нового человека в одном, отдельно взятом колхозе?

— Нет, но… Кто это из великих сказал: несущий в руке цветы не потянется за ножом?

— Прекрасно! — Олег снисходительно улыбнулся. Лицо у него было удивительно некрасивым: широкие скулы, почти плоский короткий нос и массивный подбородок вместе с бугристой кожей сероватого оттенка делали его похожим на тротуарную плитку. Но, привыкая, люди переставали это замечать, а улыбка в умных серых глазах действовала очень располагающе.

— Прекрасно! — включал Грушин лучи этого обаяния. — Но скажите мне, дорогие романтики, эти замечательные питомцы Бессоновки будут вечно жить в своей райской резервации? Или рано ли, поздно поедут всё же по другим городам и весям: в техникумы, институты, на заводы, в армию служить, наконец… Девчонки, глядишь, и замуж выйдут на стороне… А?

— Ну и что? — хмыкнул Валерий.

— Да то! Жизнь, отец мой, очень скоро снимет, даже сдерёт с них пелену умиления. А кое-кому — прости, господи, — чтобы выжить, придётся бросить увядшие цветы и взять-таки нож!

— Чудак-человек! — заводился Валерий. — Никто не говорит, что в первом же поколении там вырастут ангелы! Но ты же начал с чего? С того, будто наша работа бессмысленна! А мне радостно писать об этом селе, об этих ребятах, об этом председателе, который именно в них находит смысл собственной жизни…

— Человеческие пороки неискоренимы! — восклицал Олег. — И не потому, что человек от рождения порочен, вовсе нет. Я, как и вы, как и все остальные люди, предпочёл бы верить в лучшие человеческие качества. Но однажды задумался: почему же церковь так настаивает на изначальной греховности человека?

— А и правда — почему? — Лида упёрлась подбородком в кулачки и засмотрелась на гостя.

— У церкви своя логика: безгрешен только Бог! Но я о другом подумал. Вот растёт маленький человечек. Растёт-растёт — и однажды вдруг осознаёт, что он смертен. «Жизнь — одна, и другой не будет!» Эта обессиливающая мысль однажды пронзает сознание и до конца дней уже не даёт покоя. И чем старше человек, тем страшнее для него лишиться бесценного, невозвратимого дара — жизни. Опасение не успеть, не познать, не насладиться всеми радостями бытия питает жадность, зависть, карьеризм, подлость и жестокость, измены и воровство, трусость и предательство…

— По-моему, ты упрощаешь, — Валерий решительно прервал этот упоённый монолог. — Выходит, все люди — сволочи? Ведь если каждый понимает, что его жизнь рано или поздно закончится, значит, все без исключения должны жить по звериным инстинктам?

— Ну почему же? — ничуть не смутился Грушин. — Чтобы укротить в себе это звериное и, в конечном счёте, стадно выжить, люди и сотворили Бога, придумали нравственные заповеди. Многие даже искренне пытаются жить вопреки своему естеству — по неким моральным или, как у нас, политическим установкам. Но ведь не получается… Только не надо приводить мне примеры! — воскликнул Олег, заметив, что Валерий хочет возразить.

— Да я о другом! Ты вот требуешь нового человека в одном, отдельно взятом колхозе, а христианским заповедям уже две тысячи лет — и то ещё люди не научились по ним жить. Но ведь это не отменяет самих заповедей!

— Чайку добавить? — попыталась Лида приземлить спорщиков.

— Нет, спасибо… — отозвался Олег. — Когда-то я был в Зальцбурге, на родине Моцарта, и в одном из парков меня поразила скульптура женщины. Оказалось, это памятник… кому б вы думали?.. любовнице архиепископа! Жениться ему не позволялось по статусу, но и с греховными чувствами он совладать не мог. О тайной любовнице знал весь город, она родила ему пятнадцать детей. Правда, почему-то одних девочек. И хотя люди обожали своего пастыря, по округе поползли страшные подозрения — будто мальчиков, как потенциальных наследников, раздавали в окрестные села, а то и умерщвляли ещё младенцами…

— Ну, и о чём это говорит?

— Богословы всех времён и народов, — философствовал Грушин, — были издревле мудры. Озаботясь нравственным выживанием человечества, они в основу своих проповедей положили главное средство против пороков — укрощение желаний. На том стояла вся инквизиция. Но… жизнь, развиваясь, мощно и насмешливо демонстрировала тщету этих усилий. А уж в наши дни…

— Что — в наши дни? — Валерий, горячась, не мог сдержать темперамент и нередко повышал голос. — Когда в наши дни говорят о конце света, за этим чаще всего не нравственные соображения, а корысть: кому-то выгодно…

— Хорошо, только не кричите — соседи прибегут, — напоминала Лида. Подчиняясь увещеванию хозяйки, Олег брал гитару и с тихим бренчанием гасил диспут немудрёной песенкой:

Ах, что я делаю? Зачем я мучаю
Больной и маленький свой организм?
Ах, по какому же такому случаю
Все люди борются за коммунизм?..

После его ухода Лида впервые высказала Валерию сравнение не в его пользу:

— Не умеешь ты спорить: горячишься, кричишь… И так всегда! А Грушин интеллигентно и спокойно излагает аргументы. Учись!

Свою работу в отделе древних рукописей Центральной государственной библиотеки Лида любила. Но, проводя целые дни среди молчащих манускриптов, она по вечерам рвалась на люди, к свету и шуму.

— В четверг в филармонии концерт Михаила Плетнёва, — сообщала она Валерию. — У Женьки на работе свободный абонемент есть. Пойдём?

— Лидусь, ты же знаешь — мне в пятницу, кровь из носу, материал надо сдать…

— У меня твоя кровь из носу уже знаешь где?! — взрывалась Лидия.

— Ну, сходи с Женькой!

Иногда жена брала с собой Тимурку, сына, но с каждым годом, взрослея, он всё больше смущался маминой компании и рвался к ровесникам. В то же время отказываться «от общества», как выражалась Лидия, она не собиралась. А поскольку Валерий после шумного редакционного дня хотел уединения, тихих раздумий над книгой или медленных прогулок на соседнем бульваре, то пути их по вечерам всё чаще расходились, пока однажды не разбежались совсем. Лида с Олегом, по её словам, остались друзьями, а Валерий, уйдя из дому, со временем и из редакции, что называется, отбился от стаи.

Теперь, после сообщения Литмановича, тень прошлого снова легла на его пути.

‘A young lady entered a crowded car with a pair of skates slung over her arm. An elderly gentleman arose to give her his seat.

“Thank you very much, sir,” she said, “but I’ve been skating all afternoon, and I’m tired of sitting down.”’

Валерий впервые слышал такое бормотание за дверью суриковского кабинета, хотя в офисе давно гуляли слухи, что шеф изучает английский язык, да ещё нанял за счёт банка преподавательницу из мида, которая приходит к нему по утрам, за час до начала рабочего дня. Валерий тогда восхитился Суриковым: студент-недоучка, сначала бросивший институт стали, потом ушедший с третьего курса вгика, теперь лихорадочно навёрстывал пробелы в образовании: много читал — и сам пробовал писать рассказы в стиле Борхеса, регулярно ходил в консерваторию — и тут же брался

сочинять собственные композиции для фортепиано, изучал финансовое дело — и вскоре уже говорил с чиновниками из министерств на одном языке. Теперь вот осваивает английский…

— Вызывали, Руслан Юрьевич? — заглянул Валерий в кабинет.

— А, Валерий Сергеевич! Входите, входите… Я тут спешил… как это у Некрасова?.. «дожать скорей урочный сноп свой до бурмистра»… Помню, в классе доставал учительницу: что значит «урочный сноп» и особенно — «до бурмистра»? Она, бедняжка, только после института, да и училась, наверное, в перерывах между дискотеками… В общем, ничего так и не объяснила. Пришлось самому докапываться в библиотеке. Спросить бы теперь: оно мне надо было?!..

Суриков, как всегда, сиял белоснежной сорочкой под слепяще-чёрным костюмом, в безупречно блестевших туфлях, которые смотрелись как лаковые. С модной щетинкой на тонком подбородке он выглядел щёголем века. Слегка возбуждённое настроение подсказывало: у него родилась идея.

— Как вы относитесь к мифам, Валерий Сергеевич?

Это Суриков любил — начинать разговор с интригующей завязки, чтобы сразу встрепенуть, активизировать собеседника. Валерий откликнулся нарочито вяло, чтобы позволить шефу развить сюжет:

— Про золотое руно, что ли? Неужто банк готовит экспедицию в Колхиду?

Суриков рассмеялся:

— Вот они, стереотипы мышления! Раз мифы — значит, непременно древняя Греция… А других не знаете?

— Ну, разве что миф о непобедимости вермахта, который был развеян доблестной Красной армией в битве под Москвой…

— Та-ак, уже ближе. А ещё?

Валерий пожал плечами:

— Напрашивается только миф о скором построении коммунизма.

Суриков развеселился окончательно:

— Вопросов больше нет! Зато есть предложение, — Суриков сделал паузу, после которой выдал: — Давайте-ка с вами напишем книгу, а?

И, глядя в раскрывшиеся глаза Валерия, продолжал:

— Конечно, писать вам, я буду… как бы размышлять вслух, на ваш диктофон… Но чур, тема моя — о мифах!

Валерий усмехнулся, не пытаясь скрыть проснувшегося любопытства. А Суриков продолжал:

— Что вы знаете о рекламе? Что вообще советский народ — во всей своей исторической общности — знал о рекламе?

— Ну… по-моему, немало. С детства помню: «На сигареты я не сетую: сам курю — и вам советую!» Потом… «Накопил — машину купил» — такой плакат висел во всю стену соседнего дома. Дальше… «Храните деньги в сберегательной кассе!» Мама очень злилась: рассказали бы ещё, где их взять, эти деньги? Ну и, конечно, — «Летайте самолётами Аэрофлота!» Самая действенная реклама, поскольку других авиакомпаний мы тогда не знали.

— Да вы просто эрудит, Валерий Сергеевич! С вами приятно иметь дело! — Суриков даже хлопнул в ладоши. — Теперь вы легко поймёте, что каждый из приведённых вами слоганов — не что иное, как миф!

— В своём роде — конечно…

— И не только в своём роде! Любая реклама — это, по сути, миф.

— Ну почему? — не согласился Валерий. — Есть ведь и правдивая реклама…

— А кто говорит о лжи? Миф в данном случае — не сказка, не обман, а… что-то вроде легенды для разведчика. То есть, развёрнутая, абсолютно достоверная версия, цель которой — утвердить окружающих в том или ином мнении. Если говорить о рекламе, это могут быть и просто слоганы, которые вы привели, и целые кампании по раскрутке какой-нибудь фирмы, товаров, услуг… Понимаете?

— Реклама — двигатель прогресса? — припомнил Валерий ещё один популярный афоризм.

— Вот именно! — обрадовался Суриков.

— А книга-то при чём?

— Да ведь она и будет о том, что такое реклама! Скажем… «Сотворение мифов» — чем плохое название?

Отныне Валерий стал приезжать на работу к семи — поскольку остальное время дня было расписано у Сурикова чуть не поминутно: встречи, переговоры, совещания, визиты, фуршеты… Зато утром, наговаривая на диктофон своё «былое и думы», Суриков словно заряжался энергией до вечера. В размышления о рекламе он как-то неожиданно, но вполне естественно вплетал эпизоды собственной биографии, жизненные впечатления — а Валерий на всём своём журналистском пути давно заметил, что человек больше всего становится самим собой, когда говорит о себе любимом. И поскольку процесс рождения книги приобретал от этого оттенок исповедальности, то становился для Валерия по-настоящему интересным.

Оказалось, учёба в институтах — что в техническом, что в гуманитарном — наводила на Сурикова тоску неизбывным школярством. Да, он пел с однокурсниками песенки о студенческой вольнице, куражился на вечеринках, гулял с девчонками, но сознавал: всё это — просто времяпрепровождение. Что же касалось будущей профессии — тут всё представлялось ему пресным, угнетало заданностью, сулило в перспективе лишь долгое прозябание за спинами всемогущих мэтров. А в нём клокотал азарт, он спешил жить и чувствовал себя к этому готовым. Конечно, на диктофон Суриков не говорил об этом, да ещё подобными словами. Но Валерий ясно улавливал в рассказе скрытую жажду действия, которая, он знал, просыпалась в те годы не в нём одном — новое поколение острее старших мучилось от мертвящей заплесневелости привычного бытия.

И вдруг — луч света в тёмном царстве! Вышел закон о кооперации — и Суриков ощутил это как шанс. Вместе со своим дружком, таким же нищим студентом, сибаритом и ловеласом Валькой Лировицким он зарегистрировал кооператив под загадочным названием «ОВЕ». В своих рекламных листовках, размноженных на подслеповатой

машинке, они загадку раскрыли: ОВЕ — значило «Окно в Европу». А рекламировали новоявленные партнёры то, что во фрондирующей студенческой среде гарантировало спрос — портреты идолов двадцатого века. Портреты раскупались, как в середине дня сосиски в институтской столовой — оптом и в розницу. От этого у новоявленных бизнесменов сладко холодело под ложечкой, тем более что портреты были сделаны мастерски, со смелыми характерными акцентами: Ленин, Сталин, Гитлер… И покупатели — не только знакомые, но и пришлые, чужие — оглядываясь, восхищённо выпытывали: откуда? А друзья, ещё больше напуская туману, отчего товар только возрастал в цене, оставаясь вдвоём, хохотали, радуясь своей предприимчивости: портреты были фрагментами картины Ильи Глазунова «Мистерии XX века», размноженными на цветном принтере, который они на недельку арендовали в издательстве, где работала очередная Валькина подружка. И уже спустя месяц Суриков смог осуществить свою, в прямом смысле слова, голубую мечту — купил настоящие джинсы «Wrangler»! Миф стал приносить доход…

По вечерам Валерий расшифровывал то, что записывал утром на диктофон, потом редактировал — выправлял стилистику, выстраивал сюжет, менял местами абзацы, стараясь при этом не вторгаться в лексику и не терять интонации рассказчика. Книжка обещала быть не только забавной…

…Однажды, будучи собкором «Комсомолки», он получил командировку в Тольятти. Позже, годы спустя, довелось побывать почти на всех автозаводах страны — и в Москве, и в Минске, и в уральском Миассе, и на КамАзе, и в Кременчуге… А тогда, в Тольятти, он впервые увидел гигантский конвейер, на котором в неукротимом, беспощадно заданном ритме рождалось то, без чего в наши дни невозможно представить себе жизнь — рождался автомобиль. Возникая из ничего, слепленная заученными движениями сотен пар рук, сверкающая лаком машина с элитарной тогда заграничной родословной юрко сбегала в конце конвейера куда-то в окружающее пространство, обретая собственную, уже непредсказуемую судьбу. Был в этом машинотворном процессе некий символ века — восторженно завораживающий своей чёткостью и в то же время ужасающе равнодушный по отношению к человеку. Вся жизнь вокруг представала отсюда машинизированной, запрограммированной, не подвластной ничьим страстям и порывам. И от этих впечатлений Валерий впал бы, наверное, в одинокую запойную тоску, если бы не был приглашён в тот же вечер к одному из заводских комсомольских вожаков на день рождения.

Двухкомнатная квартирёнка стандартной пятиэтажки оказалась битком набитой весёлым молодым народом. Собрался он тут без различия чинов: и отцы города, и заводские инженеры, и прорабы бесконечных строек, и учителя — хлопотливые наставницы отпрысков почти всех присутствующих. Объединяло их чувство первородства: все ещё недавно были строителями завода, равными по духу и званиям, и они любили этот свой дух, любили друг друга, некоторые на этой благодатной почве уже слились в семьи, да и все вместе они казались неразделимой, нежной, непобедимо гордой и радостной семьёй. Они подшучивали друг над другом, перебрасывались репликами, подчас малопонятными постороннему человеку, но Валерию с первых же минут не дали почувствовать себя посторонним, потому что… Потому что он был из «Комсомолки», с которой они здесь жили, работали, спорили, любили, пели. Да как пели! Никто, как и в застолье, не пытался при этом возвыситься — ни чином, ни талантом, все голоса звучали вровень, по-родственному, и хотя сами песни были беспокойные, тревожащие, но сердечность, которую они дарили друг другу — глазами, пожатьями рук, всем существом, обещала каждому верность и надежду. Они пели про снег и ветер, и звёзд ночной полёт. Про удивительных елей ресницы над голубыми глазами озёр. И про то, что глобус крутится-вертится, а где и когда им доведётся встретиться — не угадать. Они пели, и им казалось: они все здесь — одно целое, гранит-монолит, крепче которого не было меж людьми до них, как не будет и после.

Но почему теперь, осмысливая препарированные Суриковым мифы, Валерий вдруг вспомнил тот чарующий вечер?

Воистину: нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся…

Тот же Мотя Лебедянский… Каких-нибудь пять-семь лет назад был секретарём комсомольского райкома и вручал путёвки на ударные стройки таким же поющим романтикам, и, наверное, с ними вместе задушевно пел, провожая в поездах до места назначения. Игорь Литманович, тот сам, по слухам, был начальником штаба на подобной стройке — стало быть, помнит, как «наша мечта на плакат из палаток взята»… А вот Алексей Шлыгин — другого поля ягода: дитя НТТМ! Это было уже в иную пору, когда геронтократия спохватилась: не удержать энергию нового поколения в рамках песенной романтики, надо бы посулить ему не только вечное — но и вещное, материальное. И прозвучали дозволенные речи: эН-Тэ-Тэ-эМ — научно-техническое творчество молодёжи! Творите — и зарабатывайте! В меру, конечно… Но творцам только дай — быстро почувствовали вкус делового пирога. Вот и оказались к приходу нового строя «всегда готовы». Что называется, в нужное время — в нужном месте. Банкиры, управляющие, председатели советов директоров, президенты — одно слово, олигархи!

А как другие — из тех, что вместе пели?

Да уж как смогли-развернулись!

Кто-то и на месте успел сориентироваться — это те, кого новая лексика (акция, лизинг, толинг) врасплох не застала. Ну, а кто благодушествовал, всерьёз уверовав в «команду молодости нашей», тому осталось лишь вспоминать песни отцов на оппозиционных митингах — о том, что веют над нами вихри враждебные. Кое-кто и вовсе в бомжи подался: тоже как в песне — «старость меня дома не застанет»… Вот тебе и мифы! Не так уж они безобидны, если вдуматься… Эти мысли нашли неожиданное продолжение в доме на Тверском, куда Валерий пришёл, напросившись в гости к недавнему своему знакомому.

…Он стоял перед огромным, почти в человеческий рост портретом. Женщина на нём улыбалась. Она была молода, безмятежна, и серые глаза, кисти рук, спадавшие с подлокотников кресла, даже волосы, в которых, казалось, заплутал мягкий свет, — всё излучало нерушимый покой, которому могло быть лишь одно имя: счастье.

— Знаете, чем восхищают старые портреты? — заметил хозяин квартиры интерес Валерия. — Ещё в юности я, помню, застывал в музеях перед мадоннами Рафаэля, дамами Ренуара, парижанками Мане… Святые и грешницы, аристократки или простолюдинки — все они несут себя с достоинством. От них проистекает какая-то удивительная вера в человека, в конечную справедливость мироустройства. А мужчины?! Даже закованные в латы или страдающие от кровавых ран, нигде на старых картинах они не теряют самообладания и человеческого облика. В Вене, в музее Лихтенштейн, я был потрясён картиной Рафаэля, которую нигде раньше не видел. Она огромна и находится в огромном зале — «Проповедь Игнацио Лойолы». Этот человек, яростно беспощадный к грешникам, поражает страстно горящим взором. И люди, собравшиеся на его исповедь, даже самые благочестивые, поневоле впадают в состояние вины — кажется, даже за то, что живут. Но вместе с тем, сквозь муку раскаяния проповедник иссекает из души каждого что-то такое, что уже не позволит им опуститься на дно жизни. Поверьте, это очень важно — ни при каких обстоятельствах не опуститься на дно!

— Ну, а если нечего есть, некуда голову приклонить, и уже никаких надежд? Поневоле пойдёшь на помойку — выковыривать из вонючих контейнеров заплесневелые куски…

Габуния вскинул на Валерия ястребиный взор, потом медленно опустился на оттоманку у стены.

— Помойка, говорите?..

Он помолчал — причём, так долго, что Валерий забеспокоился, не сказал ли чего-то обидного для старика. Но тот, будто решившись, заговорил:

— Вам не доводилось в своих журналистских скитаниях бывать в Советской Гавани? Нет? А есть, есть такой населённый пункт… на очень дальнем, так сказать, нашенском востоке…

Он опять примолк, посидел, раскачиваясь взад-вперёд, потом продолжил:

— Ни село, ни город — так, несколько посёлков, будто высыпанных из горсти на берега извилистой бухты. Я оказался там… ну, скажем, проездом… Времена были хрущёвские — не знаю, что вам скажет такое определение, у каждого оно своё… Словом, представьте: зима, вода в бухте — от самого берега — под толстым, зеленоватым льдом. Во льду впаяны корабли — крейсер, эсминцы… И в обеденные часы с кораблей выносят вёдра с помоями. Выносят — и сваливают в бочки на колёсах, стоящие на льду поодаль, потом их вывозят, куда — не знаю… И вот… Матросики эти помои выносят, а возле бочки люди с саночками стоят. Мужчины, женщины, дети лет по 12–15… И все в каких-то затрапезных стёганках, бушлатах заношенных… Стоят — и стараются матросиков перехватить, свалить содержимое их вёдер к себе на саночки — в баки, корыта… что у кого есть… А помои эти парят, запах издают такой, что всё окрест пропахло кислым духом — мясным, капустным, рыбным… Уж на что я только что из тюрьмы…

— Из тюрьмы?!

— Да-да, оттуда… Это отдельная история… Так вот, даже я, человек с баланды, и то ужаснулся: до чего люди опустились! Мы там, конечно, слышали, что на воле несытно жилось, но чтобы вот так!..

Ираклий Георгиевич перевёл дух.

— Потом, в поезде по пути домой, разговорился я с одним… Знаете, после сроков не с каждым разговоришься… Боязно, конечно, но и молчать невмоготу — намолчался за эти-то годы! Да… Но тут порядочный оказался человек, железнодорожник из-под Читы… Ну, я ему про помои, про человеческое достоинство, а он — он мне просто объяснил: люди, чтобы прокормиться, свиней дома держат, вот и приходят за даровым кормом для скотины. И ничего тут позорного нет. А хоть бы и было — разве достоинство тем меряют, что человек ест и во что одет? Очень уж мы привыкли опасаться, кто да как на нас поглядит, как оценит. Слов нет, не в пустыне — среди людей живём, считаться приходится. Но ведь не по-хорошему мил, а по милу — хорош! Стало быть, не особо и оглядывайся. Главное, кем ты сам себя ощущаешь — скотом или человеком вольным…

— Знаете, Валерий Сергеевич, — проговорил Габуния после очередной паузы, — я после того разговора и на себя по-другому взглянул. Ведь от самых ворот тюрьмы каждой пары глаз боялся — казалось, всякий встречный от меня шарахается. А тут подумал: люди, я ничего у вас не украл, никого не убил, и я — свободен. Как и все вы — свободен! И я перестал дрожать, перестал горбиться…

Валерий вспомнил, каким Габуния предстал перед ним на лестнице. Высокий, сухопарый, с гордо посажёной седой головой, он даже отдалённо не мог вызвать ассоциации с бывшим зэком.

— Мужчины! — раздался с кухни призывный голос хозяйки. — Нужна ваша помощь.

— Иду, моя царица! — вскочил с места Ираклий Георгиевич.

Но помощь мужчин ограничилась лишь открыванием высоких двустворчатых дверей, откуда вслед за двухэтажным сервировочным столиком вплыла, будто на колеснице, стройная красавица в чёрном платье, с седыми, чуть подсинёнными волосами, схваченными на затылке в тугой аккуратный рулон. В ней легко было угадать ту самую женщину с портрета — такие же лучисто серые глаза, те же изящные кисти рук, не тронутых увяданием, и то же воистину царственное добросердечие на лице.

— Познакомься, царица моя — это и есть Валерий Сергеевич, журналист, о котором я тебе говорил. А вас, Валерий Сергеевич, прошу любить и жаловать — моя Кира Максимовна. Между прочим, Кира — по-гречески госпожа.

Валерий не любил манерного целования рук, ставшего модным вместе с пришествием в страну других «буржуазистых» галантностей. Но сейчас поклон величественной хозяйке оказался для него таким необходимым, а для неё — таким естественным, что не вызвал ни малейшей неловкости.

— Очень рада, — сказала она глубоким, мелодичным голосом. — Но греческий тут совершенно ни при чём, — ласково попеняла мужу и снова обратилась к гостю. — Просто, если мужчина видит в женщине царицу, она себя царицей и чувствует.

Сервировочный столик оказался неожиданно вместительным: то, что перекочевало с него на круглый обеденный стол, заняло всю его площадь. Разговор за едой был непринуждённым, без церемоний, и Валерию казалось, он знает этих людей не первый день, даже не первый год. Правда, слова о тюрьме не выходили у него из головы: какая тайна скрыта за ними? И удобно ли о ней расспрашивать?

Впрочем, когда Кира Максимовна собрала со стола и мужчины снова остались одни, Ираклий Георгиевич сам вернулся к этой теме.

— Вас наверняка удивили мои воспоминания о Совгавани, — он полувопросительно взглянул на Валерия. — Это история долгая… Знаете, молодым я стараюсь об этом не рассказывать — уж слишком размашисто они обо всём судят. Дескать, культ личности — позор страны, коммунизм — сродни фашизму, а среди нас, стариков, одни — дураки и жертвы, другие — подлецы, кто в жизни преуспел… Всё-то для них просто: какая ж, мол, это несгибаемая гвардия, если она ломалась на допросах? И как это одни признавали себя врагами народа, а другие сдавали товарищей по партии? И как уважать народ, который вчера молился на портреты своих кумиров, а завтра кричал о них: «Собакам — собачья смерть!»?.. Нет, спорить об этом уже надоело. А истина… Когда-то, может, пробьётся, — вздохнул Ираклий Георгиевич и прибавил: — Говорят, человечество смеясь расстаётся со своим прошлым… Смеясь — наверное. Но если издеваясь — это страшно. Даже звери не гадят над умершими предками…

Вечер затянулся глубоко за полночь, так что Кира Максимовна категорически запретила Валерию ехать домой. И он, пришедший, по чести говоря, из любопытства — понять, так ли уж коварен Литманович, положивший глаз на этот старинный особняк, выслушал к утру историю Ираклия Габунии — чудовищную в своей обыденности и вместе с тем нелепую, если повернётся язык назвать нелепой саму человеческую жизнь. С бульвара сквозь неплотные шторы пробивалось фонарное марево, то и дело доносились тяжёлые вздохи троллейбусов от соседней остановки, чередовались разнотонные голоса автомобилей — то чванливо басовые, то суетливо заискивающие, выдавая не только собственный ранг в дорожной иерархии, но и статус своих хозяев, а Ираклий Георгиевич, предупредив гостя, что все старики болтливы и он не исключение, неспешно начал свой рассказ.

За три года до войны он, лейтенант Габуния, был командиром артиллерийского взвода. Служил легко, в охотку, командиры ему благоволили — насколько это можно представить при тогдашней армейской субординации. Времени хватало и на танцы в соседней деревне Борисовка, и на книги, по которым он готовился на истфак университета: учебные стрельбы на полигонах увлекали его куда меньше, чем стратегические головоломки былых сражений. Иной раз он пописывал в окружную газетку — о ратных успехах однополчан, что тоже весьма поощрялось начальством. Знать бы тогда, к чему это приведёт!

— Однажды вызывает меня полковой комиссар. «Габуния, — говорит. — Просьба к тебе. Нашему комдиву ко Дню Красной армии приказано выступить в «Красной Звезде». Оттуда, конечно, прислали корреспондента, да он, к несчастью, заболел, в санчасти лежит с температурой. А время, сам понимаешь, не ждёт. Придётся тебе статью писать» Я было замялся — не мастер статьи писать, да ещё за генералов, а он: это приказ! Ну, делать нечего. Сочинил я что сумел, отдал комиссару. В редакции, конечно, произведение причесали, выгладили, да и напечатали. На том бы делу конец…

Голос Габунии звучал в темноте непривычно — будто не от соседней стены, а откуда-то сверху, из неоглядного пространства, что придавало ему почти эпическую силу.

— …На том бы и конец, да генерал оказался порядочный. Вызвал меня примерно через месяц и говорит: «Лейтенант, тут вам деньги из газеты пришли» — «Какие деньги, товарищ генерал?» — «Гонорар… или как он там называется… За статью, одним словом». — «Никак нет, товарищ генерал, это гонорар ваш». — «Я, что ли, статью писал? Фамилия моя там по должности стоит, а труд твой. Не хватало ещё мне, крестьянскому сыну, на чужом горбу в рай въезжать. Забирай деньги — и шагом марш!» Что мне было делать? Вернулся к своим, позвал сослуживцев в ресторан. Славно посидели… А через полгода меня к особисту: брал деньги от врага народа? Оказалось, генерал уже не генерал, а я — вражеский пособник. И понеслась судьба по закоулочкам: семь лет, потом ещё три, да ещё добавочка…

Ираклий Георгиевич надолго замолк, и Валерию показалось даже, что уснул. Но потом в тишине он расслышал подавленный вздох.

— Знаете, что в лагере ломает людей больше всего? — тихо спросил Габуния. — Сначала ты испытываешь острое чувство несправедливости и ждёшь: ну не может этого быть, должны же разобраться! Следом, почти одновременно, мучаешься от униженности: вчера ещё свободный и независимый, сегодня ты — раб. «Лицом к стене! Наклониться! Раздвинуть ягодицы! Отвечать только на вопросы!» Ужасно… Потом начинает душить отчаянье: ведь уходят дни, годы, жизнь, и ничто невозвратимо, а твои планы, таланты, мечты — всё прахом. И наконец — равнодушие. Тупое, глухое, непробиваемое безразличие ко всему и ко всем. И когда ты вдруг осознаёшь это своё состояние — то понимаешь: всё, тебе уже не подняться! Одни от этого сходят с ума, другие бросаются под выстрел, третьи звереют…

— Но вы же уцелели!

— Не я один…

— И простили…

— Что значит — простил?

— Даже защищаете культ личности…

— Глупости! — Габуния сел в своей постели и выглядел как скелет в балахоне: ни дать ни взять,

привидение. — История вообще не нуждается в оправданиях — она уже состоялась. Такая как есть! Можно до заикания повторять, что победителей не судят — это ложь! Сначала — да, конечно, поскольку сами победители и становятся судьями. Но потом, в истории, именно победителей и судят! Побеждённые-то — где они? Ау-у! Даже имён почти не осталось. Они без того жертвы — за что их судить? Зато победители — на виду. И начинается: тираны! палачи!.. А знаете, в чём главная вина Сталина? ГУЛАГ, расстрелы — это, конечно, ужасно. Но что здесь нового? Инквизиторы, викинги, римские цезари и восточные деспоты, японские самураи и русские князья — они что, чурались массовых убийств? Люди никогда не были разборчивы в средствах ради своих целей. Да и сейчас не церемонятся — что у нас, что на Западе…

Теперь уже и Валерий поднялся с подушки, чувствуя, как заражается энергией старика. А тот встал и шагал от окна к двери, не в силах, видно, сдержать давно выношенное, выстраданное.

— Главное обвинение Сталину — не мёртвые, а живые! Когда нынешние коммунисты пытаются объяснить и даже оправдать культ личности, они твердят о великих стройках, о победе над Гитлером, о космических полётах… Но ведь Сталин именно это и уничтожил! Да-да, не удивляйтесь! — вскипел Габуния, хотя Валерий не издал ни звука. — Ведь это бред, будто социализм построен руками заключённых! То, чем страна восхитила мир за десять-пятнадцать довоенных лет — плотины, гигантские заводы, полярные станции, — разве по силам это рабам, пусть даже миллионам?! Нет, это сделано целым поколением! Я бы сказал — восторженным поколением! «Нам нет преград ни в море, ни на суше!» — вот во что верили и чем жили. Казалось, впервые в истории у всех была одна цель, одна вера…

Габуния устало присел на постель и тихо прибавил:

— Вот это всё и убил Сталин… Даже от тех, кто оказался в лагерях, я ни разу не слышал, будто сидят они «ни за что». Боялись? Конечно. Но и верили! Верили, что страдают ради высокой цели. А сегодня сам вопрос «ради чего ты живёшь?» звучит как бред сумасшедшего. Нонсенс! Анахронизм! И, боюсь, никогда уже человечество не откажется от нынешнего девиза «люби себя!» Помните, у Горького: сердце Данко так и осталось догорать в пыли, забытое людьми… Приметлив был буревестник революции!..

Неожиданно позвонила Лидия.

— У меня для тебя подарок. Точнее — сюрприз.

— Да? Неужто замуж выходишь?

— Ну тебя к чёрту! На колу мочало — начинай сначала! Ты сперва разведись со мной, потом уж замуж выдавай…

— Ладно, ладно, извини… Так какой же сюрприз?

— Слушай! Я тут разбирала новые поступления в библиотеку и обнаружила посылку… знаешь, с чем?

— Никак с дневниками Тутанхамона?

— Дурак! С полной подшивкой журнала «Лики России»! Того самого, парижского…

— Шутишь?!

— Опять дурак! Разве такими вещами шутят? Одна английская компания выкупила его на аукционе Сотбис и вот подарила нашей библиотеке.

— Теперь это называется «подарила»?

— Конечно, у неё в России свой интерес. Но тебе-то какая разница? Приходи, пользуйся! Или тебе это уже не нужно? Тогда извини, что побеспокоила.

— Ли-и-и-да, Лидуся… — запел Валерий. — Это же просто чудо!

— Да, я — чудо! А ты чурбан и подхалим. То хамишь, а то сразу «Лиду-у-ся»…

Новость и вправду была ошеломляющей. До сих пор в архиве Фонда культуры ему довелось видеть лишь несколько номеров старого парижского издания. Теперь открывалась возможность вчитаться, всмотреться, вдуматься не только в материалы и картинки эмигрантского журнала, но и окунуться в атмосферу былой жизни, подышать воздухом истории — той, которая до сих пор оставалась сокрытой под тяжким пологом классовой ненависти и заученных мифов.

«Опять мифы!» — мелькнуло в голове.

Конечно, в банке заметили, что у Сурикова с Валерием появилась общая тайна. В попытках её постичь Аркадий не раз подкатывался и к соратнику по перу, как он, по обыкновению, витиевато выражался, и к Наташе. Но та, по утрам поставлявшая теперь в кабинет шефа кофе и печенье на двоих, тоже не до конца понимала, что происходит. Аркадий же, в один из дней, когда остальные «птенцы гнезда Русланова» разлетелись по Москве в поисках очередной добычи, он решил показать Валерию свою проницательность.

— А ты молодец! — услышал Валерий сквозь наушники, расшифровывая очередной текст с диктофона.

— Думаешь? — откликнулся он рассеянно.

— Классная комбинация! Я-то в простоте не понял, решил, что ты в натуре на Наташку стойку сделал. А ты, выходит, через неё — к шефу… Блеск! Верной дорогой идёте, товарищ!

Валерий остановил диктофон, снял наушники. Аркадий, стоя рядом, смотрел на него сверху вниз, самодовольно ухмыляясь.

— Коллега, — едва сдерживаясь, проговорил Валерий, — вам давно не били морду?

— Вопрос, конечно, интересный! — Аркадий настолько привык говорить расхожими цитатами, что порой даже не сознавал этого. — Боюсь только, банковское сообщество не оценит вашего благород…

Договорить он не успел. Резко выступив из-за стола, Валерий всем телом подался к нему и…

Отступление 2-е

Такое с ним уже бывало. Первый раз — в раннем школьном детстве, когда он слыл в классе чуть ли не маменькиным сынком: никогда не дрался, уклонялся от силовых состязаний на задворках, не играл с пацанами ни в футбол, ни даже в «лянгу», когда надо было вывернутой ступнёй как можно

дольше подбрасывать свинцовый слиток с приклеенным кусочком меха. Всем этим развлечениям он предпочитал книгу. И класс, надо сказать, уважал в нём эту страсть, тем более что Валерка никогда не чванился эрудицией — наоборот, интересно пересказывал прочитанное, охотно подсказывал всем во время изложений и диктантов. Но однажды в классе появился Севка Щёкин — приезжий мальчишка из Севастополя. Старше всех года на два, Севка покорил их ещё и морским шиком — особой походкой подстать бывалому матросу, бескозыркой с якорями на гвардейских ленточках, лихими словечками, которыми он густо сыпал, рассказывая о кораблях черноморской славы. После уроков за длинным сараем, замыкавшим школьный двор, Севка приобщал класс к папиросам «норд», мастерски выпуская изо рта колечки дыма. Валерка тоже поддался было пиратскому очарованию новичка, но первая же затяжка вызвала у него мучительный приступ кашля, и Севка презрительно махнул рукой: «Размазня!» И класс, который вчера ещё числил Валерку авторитетом во всех спорах и конфликтах, насмешливо подхватил это мерзкое словцо. Оно стало прозвищем. И кто знает, сколько бы это продолжалось, но однажды на уроке Севка, который сидел прямо перед Валерием, стал его дразнить: швырял через плечо скомканную бумагу, не оборачиваясь, стаскивал с парты тетради и учебники, а дождавшись, когда учитель отвернётся к доске, вдруг приподнимался и вонзал в Валеркину тетрадь перочинный нож… Класс покатывался со смеху, отчего Севка всё более изощрялся в издёвках. И в какой-то момент с Валерием что-то произошло. Он взвился над Севкой и принялся что было сил молотить его — по голове, по спине, по рукам, которыми тот безуспешно пытался закрыться, по каждому, кто пытался его сдержать, и даже по очкам учителя, который вдруг вырос перед ним с удивлёнными, во всю оправу глазами.

Опомнившись, Валерий выскочил из класса и, умчавшись за сарай, разревелся. Что теперь будет? Его наверняка исключат из школы, а если и не исключат, Севка совсем не даст проходу, да ещё изобьёт после уроков в каком-нибудь глухом месте. А что скажет отец? И главное, Валерий сам себя испугался: что это с ним было? Откуда нашло такое затмение, что он позабыл, где он и как себя ведёт?

Но странное дело: назавтра никто, включая учителя, даже не вспомнил о случившемся. Будто ничего не было! Изменилось одно: никто ни разу не назвал его размазнёй. Севка целую неделю даже не смотрел в его сторону, а потом, когда они столкнулись в коридоре, спросил вдруг: «Ты решил домашнюю задачку? Дай списать!» И Валерка понял: не окружающие переменились — это в нём самом родился новый, незнакомый ему человек…

Много позже, спустя лет десять, этот человек проявил себя опять — хотя и по-другому. В ту пору Валерий уже служил матросом на крейсере «Адмирал Лазарев». Командиром корабля был капитан первого ранга Корнилин. Недавний старпом, он на новой должности тем более не терпел расхлябанности. «Море шуток не любит!» — часто повторял он, и горе было тому, у кого командир замечал грязь в кубрике, плохо закреплённый шланг на боевом посту или просто нечищеные пуговицы на бушлате. Ничто не сходило с рук даже офицерам, а для особо нерадивых матросов на верхней палубе был оборудован карцер. Но беда была в другом: требовательность начальства кое-кто научился использовать в своих интересах.

Как-то во время приборки Валерий оказался возле карцера и обнаружил там Сеньку Байлова — своего одногодка из боцманской команды. Оказалось, Сенька попадает сюда в четвёртый раз. И всё потому, что он в команде единственный салага, «деды» его гоняют как зайца, а при малейшей попытке постоять за себя отправляют сюда, в железный ящик на солнцепёке…

Через неделю на берегу, в офицерском клубе, проходила комсомольская конференция базы, делегатом которой был избран и Валерий. Сначала всё шло по заведённому порядку: бодрые песни из громкоговорителя, выборы президиума, куда, конечно, попал и командир крейсера, доклад, прения по списку… Какая муха укусила Валерия, он и сам не понял. Только вдруг, как тогда в классе, на него накатила такая же тёмная, мутная волна, лишая рассудка, страха, элементарной оглядки. «Прошу слова!» — написал он в президиум. Там записку прочли с восторгом: в кои веки рядовой матрос сам, не по разнарядке захотел выступить! И без промедлений пригласили его на трибуну.

Он заговорил без бумажки, горячо, и зал сразу выделил его из ряда прежних выступающих — слушал внимательно и сочувственно. Когда Валерий стал рассказывать о карцере, кто-то в президиуме негромко предостерёг: «Приказы командира не обсуждаются!» Валерий отреагировал в зал: «Речь не о приказе! От нас требуют выполнения устава, так? Но каким уставом предусмотрен этот карцер? Выходит, для одних устав — закон, а для других — так, бумажка? Насколько правомерен приказ, если «деды» используют его именно для нарушения устава? Мы на корабле — одна семья, нам вместе идти в бой. Но скажите: станет матрос завтра спасать в бою старшину или офицера, который над ним издевался?..»

Валерий не помнил, как возвращался на место, а зал навстречу ему гремел аплодисментами. Откуда-то взялся корреспондент гарнизонной газеты, стал просить статью в ближайший номер, кто-то пожимал ему руки, обнимал, сверкал вспышками фотоаппарата. А во время перерыва к нему подошёл ординарец Корнилина: «Командир на катере отбывает на корабль. Приказал передать: после окончания конференции, когда бы вы ни прибыли, он ждёт вас в своей каюте!».

Валерий ступил на палубу крейсера в третьем часу ночи — затянулся подсчёт голосов после тайного голосования, потом — кино… Иллюминаторы командирской каюты, как всегда, светились — на корабле вообще никто не понимал, когда Корнилин спит. Командир что-то писал и сказал, не поднимая головы:

— Садитесь… Курите? Прошу! — и пододвинул ему пачку «казбека», что после матросского «дымка» было роскошью. Валерий внутренне усмехнулся: последняя затяжка перед каз-

нью. Но странное дело: страха по-прежнему не было — настолько он чувствовал себя правым.

Закончив писать, Корнилин выпрямился за столом, и Валерий увидел перед собой грустные, усталые, внимательные глаза.

Помолчав, Корнилин спросил:

— Что же ты ко мне раньше не пришёл?

— Так ведь по уставу не положено. Сначала спроси разрешения у командира отделения, потом — у старшины команды, у командира группы, у комдива, у командира БЧ… Кто б меня до вас допустил?

— И то правда, — согласился Корнилин. И неожиданно произнёс: — Хочу, Моисеев, сказать тебе спасибо…

Валерий не смог скрыть удивления. Корнилин заметил, усмехнулся:

— Слишком мало людей, способных говорить правду в глаза. Даже среди офицеров. А без правды — как на них положиться?.. Ты откуда родом? Кто отец, мать?

И Валерий впервые с детских лет стал пересказывать незнакомому человеку не только события своей, в общем-то, куцей жизни, но и затаённые, казалось, даже самим не осознанные мысли. Корнилин то слушал его не прерывая, то приводил к месту собственные воспоминания, то согласно кивал или покачивал головой — не то сомневаясь, не то возражая. Когда командир приподнялся в кресле, чтобы выключить настольную лампу, Валерий заметил, что чёрный круг иллюминатора стал бледно-голубым.

— Ну ладно, пора. Иди отдыхай. Хотя… — Корнилин встал и посмотрел на часы. — До подъёма уже не выспишься, а? — Он засмеялся и крепко пожал матросу руку: — Оставайся, парень, таким, как есть. Удачи тебе!

Больше у них подобных разговоров не случалось — никакого амикошонства в отношениях с подчинёнными командир не допускал. Спустя полгода Корнилина перевели на Балтику, пришли другие командиры, а после дембеля у Валерия началась совсем другая жизнь, научившая быть разумнее, осмотрительней в словах и поступках. И всё же корнилинское напутствие он помнил, невольно сверяясь по нему всякий раз, когда оказывался перед серьёзным выбором. Однажды даже написал об этом стихотворение.

Безрассудство — порок известный,
Но… нечастый теперь порок!
Кто рискует уютным местом,
Перейдя возрастной порог?
Кто способен жертвовать славой,
Оставаясь самим собой?
Кто готов прислуживать слабым,
Не лакействуя перед судьбой?

Безрассудство — теперь диагноз:
Неприлично себя ронять.
Кто горяч, того водят за нос.
Толерантность — вот лозунг дня.

Торжествуют, множась с годами,
И во власти, и меж попсы
Рассудительные негодяи
И расчётливые подлецы.

…Впрочем, не читать же подлецу нравоучительные стихи!

— Раньше за такие намёки били по морде, — только и повторил Валерий, как бы не заметив, что в ответ на его резкое движение Аркадий инстинктивно отшатнулся. Хорошо бы, конечно, врезать по этой гнусной физиономии! Жаловаться он вряд ли побежит — не захочет быть замешанным в скандале. Кто потом станет разбираться — он ударил или его ударили. Но если вдуматься — зачем? Что Аркадий пошляк, он знал и раньше. Что дурак — это как посмотреть. Умом вроде не блещет, но собственную выгоду чует за версту — есть такая порода людей. А вот он, Валерий, ради минутного морального удовлетворения поставил бы крест на призрачном, но всё-таки шансе сделать журнал. И кто в этой ситуации был бы настоящим дураком?

— Нет, морда — это понятие первобытное, — заметил Аркадий. — Так и до кровной мести недалеко! Благородные люди вызывали за оскорбление на дуэль, но сегодня и дуэль выглядит дикостью.

— Вот-вот… И остаётся подлость безнаказанной!

— Ну почему? — Аркадий окончательно успокоился и принялся рассуждать философически: — Есть суд…

— Для суда требуется состав преступления. Правда, подлость, я считаю, — всегда преступление, но подлецы, — Валерий выразительно посмотрел на собеседника, — настолько изощрённы, что никаким законодателям не предусмотреть!

— Значит, нечем крыть, — удовлетворённо заключил Аркадий вслед выходящему Валерию.

А, в самом деле, чем сегодня можно ответить на мерзость? Получается, что, декларируя свободу личности, общество практически обезоружило человека перед посягательством на его честь и достоинство. Свободной в своих действиях стала только сильная личность — то ли богатая, то ли не скованная моральными условностями. И что ей противопоставить? Ждать, пока её мерзость станет для окружающим очевидной? Так ведь её успех работает как раз на утверждение её правоты, побуждает ей подражать!

Валерию вспомнилась цитата, засевшая в голове со студенческих лет: идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. Нет, всё-таки гениален был дедушка Ленин! Одного лишь мы в своей зубрёжке не сознавали — того, что этот постулат относится не к одной лишь той идее, какой ему хотелось. Как только массами овладела идея «обогащайтесь!» — она и стала силой. Причём, не только материальной…

Размышляя так, Валерий поднялся по знакомой лестнице дома на Тверском.

Когда Валерий закончил статью, на часах было 4:22. Если минутами пренебречь, получалось, что писал он уже трое суток и всё время в одном промежутке — с полуночи до четырёх утра. В принципе к такому режиму ему было не привыкать: почти всё, что выходило в газете за его подписью, написано ночами. Лидия с Тимуркой в это время спали, телевизионных соблазнов не было, телефон молчал, а главное — никаких тебе гранок,

планёрок и прочей суеты, которая досаждала днём в редакции. Единственное, что могло отвлечь его в такие часы от писания, — зверский аппетит, но и о нём Валерий вспоминал обычно тогда, когда мысль вдруг начинала буксовать, и, чтобы подтолкнуть её, требовалось привести в действие «резерв главного командования» — из холодильника. Теперь, когда жена с сыном жили отдельно, на территории тестя Никиты Петровича, можно было сесть к столу и вечером, сразу после работы, но уже, наверное, срабатывала физиология. Валерий считал себя «жаворонком», потому что, на его памяти, после заката ни одной путной мысли ему в голову никогда не пришло.

Прежде чем вывести статью на принтер, он ещё раз перечитал её и набрал давно придуманный заголовок: «*Дом, который присвоил мэр*». Звучало жёстко и привлекательно, к тому же вполне отвечало содержанию. Вопрос лишь, какая газета могла опубликовать материал. Валерий хорошо помнил, чем закончилась публикация Юрки Сливочкина в «Деловой неделе» против Моти Лебедянского. Понятно, что хозяин «дн» Адам Шерстенников, даром что железорудный магнат, вряд ли захочет конфликтовать с властью. Другое дело, если он, как в случае с «Континент-банком», увидит и свой интерес — допустим, захочет насолить Литмановичу, о строительной афёре которого шла речь в статье. Но даже в этом случае заголовок вряд ли сохранится. Да ладно бы только заголовок…

Предстояло ещё решить, как статью подписать. Валерий вполне отдавал себе отчёт в том, что собственными руками готовится убить хоть и призрачную, но ещё тёпленькую надежду на то, что, памятуя его услугу, богатенький Игорь Михайлович возьмётся таки финансировать журнал. За псевдонимом не скрыться, это ясно: службе безопасности группы «шаг», да ещё при квалифицированном усердии Олега Грушина, раскрыть его не составит труда. Только ухмылки вызовешь в журналистском сообществе: дескать, отважные пошли нынче рыцари пера — не с открытым забралом, а с фигой в кармане. Значит, ставить свою фамилию? Но Суриков назвал Литмановича «нашим партнёром» — значит, статья аукнется и в «Континент-банке». А уж Мотя Лебедянский церемониться не станет. Он, хоть и подался в министерские палестины, бразды правления в своей вотчине не потерял. Словом, куда ни кинь, всюду клин.

«А ты что хотел! — обозлился на себя Валерий. — В дерьмо влезть да не замараться?!»

Сам по себе вопрос — влезать или не влезать — теперь уже не стоял. Чем ближе он узнавал Габунию, тем яснее становилось, что делать гуманитарный журнал в доме, где попран сам гуманизм, уж слишком цинично. Проще всего, конечно, было бы найти предлог и попроситься у Литмановича под другую крышу. Тем более, что в разговорах с ним ни деликатнейший Ираклий Георгиевич, ни величавая Кира Максимовна не возвращались к угрозе своего отселения. Но сами эти разговоры…

…Вернувшись из лагерей, Габуния стал решать, чем ему заниматься. Самым доступным оказался экономический факультет, на котором в те поры мужиков можно было на пальцах пересчитать — почти сплошь увечные или убогие. Устроился он в областной потребсоюз счетоводом, а учиться стал на заочном отделении университета. И так, видно, изголодался по книгам, по науке, что уже спустя три года защитил диплом, ещё через год — кандидатскую диссертацию, следом докторскую… А потом грянул скандал.

Его докторская называлась «Госплан и соревнование» — плюс что-то ещё там в подзаголовке. Казалось бы, ничего криминального — оба термина вполне в духе окружающей действительности. Однако диссертация доказывала их полнейшую несовместимость. В жизни получалось одно из двух: либо госплановские разнарядки не допускали никакого «творчества масс», как именовали соревнование в газетах, либо энергия самого этого «творчества» выплёскивалась из плановых рамок. И тогда на складах оседали километры никому не нужных тканей, миллионы пар обуви, чаще всего — плохой или устаревших моделей, в закромах родины гнили тонны зерна, свёклы, картофеля, для которых не были подготовлены хранилища, — и сверхплановая продукция, за которую раздавались премии, звания и ордена, оборачивалась для страны огромными потерями сырья, денег и человеческого труда.

Пока эти откровения оставались достоянием лишь учёной среды, всё шло нормально. Но каким-то образом диссертация попала на Запад, там её издали отдельной книгой — и пошлопоехало! Габуния получил сполна — и печатной брани, и политических ярлыков, и профессиональных пинков. «Недобитый враг» было самым нежным определением, которое клеили ему те, кто вчера ещё восхищался смелостью и глубиной его научного анализа. Работал он к тому времени, естественно, уже не счетоводом потребсоюза, и ему было что терять. Но вместо того, чтобы, следуя советам доброжелателей, затихнуть и покорно каяться в грехах, Габуния стал выдавать штуки одна другой забористей. Теперь он сознательно отправлял на Запад статьи о противоречиях в мировой экономике. Нет, он не восхвалял преимущества капитализма перед социализмом и не ёрничал, уличая во лжи декоративно-парадную отечественную статистику. Он, по большому счёту, вообще не записывался в диссиденты — просто старался быть честным учёным и пытался всерьёз, без политических шор размышлять о путях развития мирового хозяйства. Вот и в новые времена, когда, казалось бы, пробил час, и даже недавние охранители устоев принялись на все лады выставлять себя борцами с неопасным теперь режимом, он не пытался взгромоздиться на вакантные пьедесталы. Рассказывая Валерию о тех днях, Габуния с усталой иронией припомнил давние, полузабытые, наверное, самим автором строки Евтушенко:

И лезут в соколы ужи,
сменив, с учётом современности,
приспособленчество ко лжи
приспособленчеством ко смелости…

Сам Ираклий Георгиевич — вместо того, чтобы, следуя репутации, вступить в хор новообращённых рыночников или, на худой конец, повинуясь

возрасту, уйти в тень — вдруг резко и доказательно выступил против экономической эвтаназии, которой оборачивалась для страны так называемая шоковая терапия. И опять на него ополчились вчерашние критики — не сменив даже лексики. Теперь Габуния только смеялся. «Спорить с конъюнктурщиками, — объяснял он Валерию, — всё равно что изгонять крыс, бросая в них кусками сыра. А у меня не так много сил и времени, чтобы кормить крыс». Только предстоящее переселение лишало его сна и покоя…

И тогда Валерий спросил себя: можно ли, оставаясь журналистом, безучастно наблюдать, как вершится несправедливость по отношению к этому человеку? Если уж не остановить её (Литманович, помнится, говорил о реконструкции дома как о деле решённом), то хотя бы разобраться, нет ли способа сохранить за стариком право вернуться в обновлённый дом. Знать бы заранее, какие тайны ему откроются!

Чтобы не насторожить своего вероятного издателя, Валерий решил не соваться к нему с наивными просьбами. Он придумал вполне респектабельную тему — о перспективах развития столицы после многолетнего застоя — и, вооружившись удостоверением мифического Института кризисов, отправился «по инстанциям». Суриков не возражал, полагая, что его полномочный представитель ведёт разведку в интересах банка. А Валерий тем временем постигал нравы новой популяции чиновников.

Сколько он помнил себя на газетном поприще, столько и не переставал изумляться этому вездесущему и всемогущему племени. В ответ на телефонную просьбу соединить с начальником чаще всего слышалось: «А по какому вопросу?» Вроде бы логично — как иначе объяснить руководителю, о чём будет говорить с ним невидимый, а то и незнакомый собеседник. Да и самого собеседника избавить от напрасной траты времени, если он по незнанию обратился не по адресу… Но Валерий уже постиг непреложную закономерность: стоило начать объяснять цель своего звонка, как секретарши (или иные охранители начальственного покоя) решали вопрос по собственному разумению. Крепость становилась неприступной навсегда. В следующий раз достаточно было представиться, чтобы ответы следовали уже автоматически: нет, не знаю, звоните…

По логике вещей, новые времена должны были сделать власть более доступной и общительной. Но нет, митинговые декларации никто даже не пытался вживить в практику будней. Напротив, поскольку в просителях теперь оказались те, кто ещё недавно был в силе, новые столоначальники как бы мстили им за вчерашнее. А новые лакеи не только усвоили, но и усовершенствовали науку «угадать и угодить» — тем, что при этом свято блюли собственный интерес. А что? Неровен час, времена снова переменятся — стало быть, успевай, не зевай!

Особенно запомнился Валерию «привратник» у кабинета одного из префектов. В отличие от многих своих однорядцев, он почти никому не отказывал в пропусках, но, кажется, затем лишь, чтобы уморить многочасовым, но бесцельным просиживанием в приёмной своего шефа. Напуская туману, время от времени он требовал принести ему свежие газеты — и деловито, наискосок просматривал их. А то, наливаясь важностью, звонил в нижестоящий департамент и, выговаривая за упущения, произносил напоследок что-нибудь эпохальное, вроде: «Имейте в виду: экономика нуждается в интеллектуальном потенциале!». Или: «В сфере предпринимательства нет понятия «воровство» — важно, эффективно или неэффективно вложены наши средства!»

Однажды он намекнул Валерию:

— Между прочим, копию документа, который вам нужен, я бы мог предоставить…

И, заметив вопросительный взгляд собеседника, глухо, в стол добавил:

— …Но всякой бумаге — своя цена.

Он явно не боялся огласки, закона, народного гнева, не опасался хозяина, поскольку верно оберегал самое святое — его уютное существование. Но главное, холуй знал, что сам он — клон, копия, слепок хозяина, который, у кого надо, такой же холуй, а тот — у своего хозяина, тот — у своего… И горе было живому, добросовестному человеку, которого бы волею судеб невзначай занесло в эту служебную иерархию: его быстренько обтёсывали по своему подобию либо гнали со двора взашей.

И всё же для Валерия многолетний опыт обращения в чиновных кругах не пропал даром: на руках у Валерия оказались документы, подтверждающие, что городские власти не имели права распоряжаться домом, где жил Габуния. Да, на ремонт и даже реконструкцию старого особняка они могли замахнуться. Но как Ираклию Георгиевичу с его соседями эта площадь не принадлежала, так и город не обладал на неё узаконенным правом собственности. Значит, своевольно отдавать даже часть дома Литмановичу на распродажу было не чем иным как преступлением. А статья утверждала, что метастазы этого преступления опутали не только самые лакомые жилые дома, но даже многие памятники истории и культуры.

Оставалось найти, кто это мог напечатать. Вот был бы уже свой журнал!..

— Валя-а-а! — Голос Лидии в телефонной трубке бился, рвался в рыдании: — Тимка-а… Наш Тимка…

— Что? Говори же!

— Ножо-ом!..

— Что?! Где он?

— В Склифе-е…

Услыхав разговор, Суриков всё понял и тут же дал Валерию свою машину.

По пути в больницу, нервничая в пробках и пытаясь гнать из головы самое страшное, Валерий вспоминал вечер двухнедельной давности.

Вот уж не думал он не гадал, что окажется с тестем по одну сторону баррикад против собственного сына.

— Дайте вы человеку хоть поесть спокойно! А то насели, как… — Елизавета Васильевна на миг запнулась, сгоряча не находя убедительного сравнения: — …как медведи на теремок!

Тимка, понуро ковырявший вилкой в тарелке, прыснул — видимо, представив себя теремком.

— Вот! — взорвался Никита Петрович. — Смешно ему! Сидит, балбес лысый, и издевается над нами!
— Погодите… — пытался унять тестя Валерий.
— И годить нечего! Он, видите ли, нам гадит, а мы ему — годить?
Разгорелся сыр-бор из-за того, что Тимка постригся наголо — потому и был произведён в «лысые балбесы». Да ладно бы, только постригся по этой новой моде — но тесть в тот же день увидал его в компании таких же стриженых подростков, которые слыли в микрорайоне скинхедами и были замешаны в драках с мигрантами из Средней Азии.
— Не хватало мне ещё в тюрьму передачи носить — внучонку любимому! — не унимался Никита Петрович.
— Тимур, — тон разговора Валерию не нравился, и он решительно потянул одеяло на себя. — Ты, конечно, достаточно взрослый, чтобы самому выбирать себе причёски и друзей. Но ведь и нам, согласись, не всё равно, кого или что ты выбираешь. Мы хотим понять… Ты ешь, ешь! — прервал он себя на полуслове, уловив выразительный взгляд тёщи. — Хотим понять… Эти ребята… Ты действительно с ними дружишь?
— А что? — Тимка с вызовом поднял голову — как тогда, в лесу. — Нормальные пацаны…
— Я-то их не знаю, тебе видней… Выходит, дед напрасно волнуется?
— А чё волноваться?
— Ну, как они живут, чем интересуются?
— Нормально живут…
— Тимошенька, — вступила в разговор Лидия, — ты помнишь пословицу: с кем поведёшься, от того и наберёшься?
— А чё наберёшься? Ну, врезали они пару раз этим нерусским — ну и что? Пускай не наглеют!
— Что значит — нерусским?
— Ну, азерам всяким, чукчам азиатским…
— Нет, ты понял?! — не выдержал Никита Петрович. — Вы поняли? Фашист в нашей семье вырос!
— Прекрати, пень старый! — возмутилась Елизавета Васильевна. — Совсем разум потерял — словами такими кидаться! Человеку тверди «свинья, свинья» — он и вправду захрюкает… Ты, Тимурка, ешь и не слушай никого. Потом разберётесь!
Никита Петрович в сердцах махнул рукой и выскочил на лоджию курить. Валерий после ужина пришёл к Тимуру в комнату.
— Можно?
Не дождавшись ответа, он подсел к постели, на которой, отвернувшись к стене, лежал сын, и спросил:
— Объясни мне, если можешь, чем он виноват — тот, кто родился не русским, а грузином, узбеком, молдаванином? Что в этом преступного или постыдного? И разве в том, что ты родился русским, есть какая-то особая доблесть? Или твоя личная заслуга?
— А я горжусь тем, что русский! — отозвался Тимур.
— Хорошо. Я тоже этим горжусь. Но почему? Потому что это право мне завещали Суворов, Жуков, Чехов, Толстой, академики Павлов и Королёв… А после нас? Чем будут гордиться наши потомки, если мы, русские, опозорим это слово подлостью?
— Да?! — сын резко поднялся в постели. — Что вы мне нотации читаете? А когда чучмеки Ванькину девушку изнасиловали — это не подлость? У Петькиного отца машину угнали — не подлость? По всей Москве у них рынки, магазины, парикмахерские, аптеки, ночные клубы… На русской земле уже они хозяева, а не мы! Скажешь, Суворов за это воевал?!
Стараясь сохранять спокойствие, Валерий не отступал:
— Но есть закон — для всех наций равнозначный. Кулаками ничего не докажешь.
— А кто тебе сказал, что я — кулаками?
— Но если ты с теми, кто хочет решить проблему силой…
— Твой Суворов тоже побеждал силой!
— Нет, мой Суворов, — Валерий нажал на слово «мой», — побеждал, как ты помнишь, не силой, а умением.
— Всё равно! Врагов он бил!
— Правильно — врагов! Того же Емельку Пугачёва он считал врагом — и отправился его бить, хотя тот был русским. И сегодня… Воевать надо с преступниками, а не с нациями!
— Да что ты его уговариваешь?! — ворвался в комнату Никита Петрович. — Думаешь, в споре рождается истина? Он же упрямый как баран! По нему уже тюрьма плачет. А мне позор на голову…
Валерий буквально выдавил тестя из комнаты и прикрыл за собой дверь, оставив сына наедине.
— Никита Петрович, — сказал он, — в споре действительно рождается истина, но это не значит, что мы можем и должны присутствовать при родах. И Тимур вовсе не обязан немедленно каяться в своей неправоте. Он мальчишка, и то, что нам с вами кажется понятным, для него только-только открывается. Ну так дайте ему разобраться! Что толку, если он станет нам бездумно поддакивать? А завтра будет так же поддакивать своим приятелям… Вы этого хотите?
— Я ничего уже не хочу — только оставьте меня в покое!
— Ну вот! А я — хочу. Разговор с ним закончится, но осколки наших доводов наверняка застрянут в его голове. Он будет мучиться этим, думать, продолжать спорить — и в конце концов придёт к чему-то своему.
— К тюрьме он придёт, вот к чему!
— Заладила сорока Якова! — рассердилась Елизавета Васильевна. — Лидуся, скажи хоть ты ему, чтоб не каркал!
— А я просто боюсь за Тимурку, — промолвила Лидия. — Боюсь — и всё… Может, останешься, поговоришь с ним ещё? — предложила она мужу.
— В другой раз. Пусть успокоится, отдохнёт… Не волнуйся!
Уходя, он договорился с сыном, что на днях они встретятся снова — чтобы поговорить где-нибудь вне дома. Не успел…

Добравшись до клиники на Садовом кольце, он не сразу нашёл вход. Уже который год пышный особняк был не то на ремонте, не то на

реставрации, помещения за шереметевской колоннадой с их ободранными стенами и взорванным паркетом казались заброшенными руинами. Правда, лечебные палаты каким-то чудом содержались в приличествующем виде. Пожилой врач, не склонный к сантиментам, тем не менее терпеливо объяснил Валерию и Лидии, что Тимур потерял много крови, но сама рана не опасна, операция прошла успешно, и главное сейчас — дать парню прийти в себя, отлежаться, оправиться от потрясения. Следователя, который рвался опросить раненого («Допросить?» — хмуро уточнил врач. «Нет, именно опросить!» — настаивал посланец закона), к Тимурке допущен тоже не был, хотя разговор с раненым был для следствия единственной надеждой избежать очередного «висяка».

Просидев часа два у двери реанимационной и убедившись, что попытки жены взглянуть на сына «хоть одним глазком» категорически пресекаются персоналом, Валерий уговорил Лидию вернуться домой — до утра. Старики ждали их подавленные и молчаливые — даже всегда громогласный тесть. Елизавета Васильевна, устало выставив на стол подогретый ужин, только попросила Валерия не оставлять их в такую ночь и ушла к себе, прихватив из аптечки капли Вотчела.

Валерию постелили в комнате Тимура. Тёща попыталась, правда, восстановить естественный порядок вещей, но Валерий мягко намекнул, что им с Лидией неуместно по случаю несчастья с сыном вдруг оказаться в общей постели.

Оставшись один, он долго оглядывал комнату, рассматривал вещи Тимура, книги, безделушки — «фенечки», как их называла молодёжь. Ничего, что предвещало бы опасность. Но Валерий всё не мог уснуть: строил догадки о случившемся, корил себя, Лидию, Никиту Петровича, провожал по потолку хвостатые сполохи от автомобильных фар — и вспоминал, вспоминал…

Почему-то в памяти возник давно забытый персонаж из детства — Яша Гойхман. Правда, в классе его называли не иначе как Шунька — странное и непонятное прозвище. Время было послевоенное, не у всех ещё вернулись домой отцы. И Шунька, живший с матерью и младшей сестрёнкой, весь учебный год ходил в одних и тех же латаных штанах, в тяжёлых кирзовых ботинках, которыми одарил его родительский комитет, и с вечно чёрствой горбушкой в кармане. Он грыз её исключительно на уроках, за что учитель Абрам Михайлович Шлайн гневно выставлял Яшку на обозрение всего класса:

— Товарищ Гойхман боится, что на переменке кто-то позарится на его деликатесы? Ну, ешь, ешь — мы подождём!

Этим словам, рассчитанным, вероятно, на моральную реакцию коллектива, никто в классе не смеялся. Все смотрели на Шуньку сочувственно, а с учителем старались взглядами не встречаться. Чем была вызвана такая его язвительность, Валерий не мог понять даже много лет спустя. Разве тем, что Шунька роковым образом снижал классу показатели и Абрам просто пытался его выжить? Когда по итогам четверти заполнялись табели успеваемости, Шунька свой документ матери не носил — расписывался в нём сам, заведомо зная, чем обернулась бы его честность. Однажды после уроков, посланный проведать заболевшего Шуньку, чтобы сообщить ему домашние задания, Валерий оказался у Яшки дома — и ужаснулся. Ступив с порога в крошечную, уставленную всяческой рухлядью прихожую, он вдруг разглядел за этой кучей Шуньку, лежащего под замызганным, драным одеялом — и понял, что никакая это не прихожая, а именно комната. Единственная! На подоконнике шипел примус, у стенки на половинках кирпичей стоял шкафчик, накрытый тем, что когда-то было клеёнкой, а по бокам к нему были приставлены два колченогих стула. Мать Яшки, криво улыбаясь перевязанной щекой («Флюс!» — виновато объяснила она), кормила коричневой кашицей девчонку лет пяти — Яшкину сестру, догадался Валерий. При виде его Шунька сел на своём лежбище, придвинул к себе перевёрнутое вверх дном цинковое ведро и принялся на нём переписывать в тетрадку домашние задания. Валерка, с опаской сидя на одном из стульев, терпеливо ждал. Неожиданно девчонка отвернулась от очередной ложки и громко потребовала: «Какать!» Мать заволновалась, попробовала отложить процесс, но зов природы было не унять: «Какать!» — звучало всё более угрожающе. Тогда Шунька убрал тетрадь на колени, а мать, перевернув ведро, отошла с ним и с виновницей переполоха в угол — чтобы не смущать гостя.

Валерку до самого дома преследовал какой-то прогорклый запах, который исходил от парившего на примусе варева. Его семью тоже нельзя было назвать зажиточной, но чтоб такое!..

С разрешения матери Валерий стал приводить Шуньку к себе — чтобы помогать ему делать уроки, а заодно немного подкармливать. Так продолжалось месяца два, в течение которых Шунька выкарабкался из двоек и вроде бы даже просветлел лицом. А по весне в классе произошло ужасное.

Утром того дня Валерка проснулся от маминого вскрика. Из чёрного диска на стене до него донёсся голос диктора: «…после тяжёлой продолжительной болезни… великий вождь советского народа… Сталин…».

У Валерки словно застряла в ушах мыльная пробка. Слёз не было, просто навалился страх: как же это? А главное — что будет? «Что теперь будет?!» — причитала мама. Отец, пренебрегши запретами врачей, мрачно курил у порога. В школе Валерка застал всех с понуренными головами. Сидели молча, не глядя друг на друга. Время шло, урок не начинался — учителя никак не расходились из кабинета директора. Вдруг дверь класса распахнулась, и на пороге возник непривычно радостный, в новом пальтеце Шунька. «Привет, зубрилы! — весело провозгласил он, не замечая общего настроения. — А я проспал сегодня, боялся — опоздаю…».

Договорить ему не дали.

— Ах ты сволочь! — раздались голоса. — Ты чему радуешься? Что Сталин умер?! Смешно тебе, гад?!..

Оглушённый и оторопевший не только от страшной вести, но и от своей непоправимой вины, Шунька добирался до парты как под свист шпицрутенов. Бормотал только: «Я не знал…

У нас радио нет…» Но никто, даже Валерка, не вступился за него: что такое был этот заморыш на фоне всенародной утраты?

Потом пришёл учитель, что-то говорил. Потом в узком школьном коридорчике состоялась траурная линейка. А когда ученикам было сказано, что уроков не будет, класс повёл Шуньку в городской сад — на правёж. Яшку заставили снять его новенькое пальтецо, поставили в центр круга, ощетинившегося злыми глазами, и стали сходиться. Валерка не заметил, кто ударил Шуньку первым. Сам он вообще надеялся, что до битья не дойдёт. Но класс, ещё недавно сопереживавший за Шуньку, сострадавший его праву на честь и достоинство, вмиг превратился в какую-то осатанелую стаю. Удары, крики, выплески грязных ругательств — всё это клубилось тут, в глухом углу сада, яростным косматым вихрем, из-под которого неведомо как вынырнул ощипанный почти до белья Шунька и стремглав понёсся по аллее. Толпа кинулась вдогонку. Беглец промчался сквозь парк, класс за ним. Выскочив на улицу, Яшка продолжал лететь со всех ног, не разбирая пути. Преследователи — по пятам. Неизвестно, когда и чем это могло бы кончиться, но, заподозрив неладное, несколько прохожих враз сгрудились на тротуаре и преградили стае путь: «В чём дело? Что происходит?» Запыхавшиеся воители, сами толком не знавшие, зачем бегут, сбились с темпа и, удовлетворив, наверное, стадный инстинкт, победоносно зашагали обратно…

Несколько дней Шуньки в школе не было. Потом он появился, с опаской переступил порог. Но не то, пережив нервический припадок, класс успел уже прийти в чувство, то ли, разойдясь, по одиночке устыдились неравной схватки, — как бы то ни было, никто даже не вспомнил, не заговорил о случившемся.

Один Шунька, как выяснилось, ничего не забыл. Недели через три, выйдя после сеанса на задворки кинотеатра (почему-то все выходы из зала вели в эти мрачные, поросшие бурьяном задворки), Валерий попал в кольцо незнакомых пацанов. В первую минуту он даже не понял, что окружили именно его — попытался пройти сквозь круг. Но тут перед ним возник Шунька. Валерка обрадовался:

— Привет! Ты тоже из кино? Клёвый фильм, да?

Но Шунька явно не собирался делиться впечатлениями.

— Так, говоришь, я — жид? — нервно кривя рот, спросил он.

Тут только Валерка заметил, что все собравшиеся были, что называется, одной крови. Он не испугался, нет. Но его потрясло, что Шунька — тот самый, которому он искренне, всей душой помогал в учёбе, которого так радушно принимали и подкармливали в их доме, — этот Шунька собрал свою шайку с явным намерением его побить. И за что?

— Я не понял, — произнёс он.

— Кто — жид? — подступил к нему самый рослый из шайки.

Валерка пожал плечами.

— Не понимаешь? — спросил Шунька. — А в парке — помнишь? — кто кричал «жид»?

— Я не… — начал было Валерка, но тут же представил, как унизительно и трусливо прозвучит сейчас любое оправдание. — Ты меня знаешь! — закончил он твёрдо, про себя решив: будь что будет!

И Шунька, помедлив, сплюнул под ноги, потом кивнул своим сателлитам, чтобы расступились:

— Иди!

Валерка не побежал, не оглянулся. Но, пока он дошёл до дома, успел представить и прочувствовать то состояние загнанного зверя, которое, как он понял, испытал Шунька в злополучный день всенародного траура. А когда в ушах снова и снова звучало «говоришь, я — жид?», он вдруг физически ощущал, что в таком состоянии Шунька, как, наверное, и его спутники, живёт, считай, с самого рождения. Внутренне содрогнувшись, Валерка простил ему даже чёрную неблагодарность за кормёжку и помощь в учёбе, которой он гордился как своим высоким благодеянием. Ненависть — вот что увидел он там, на задворках, в колючих глазах Яшки Гойхмана…

А почему это вспомнилось именно сейчас? Может быть, случившееся с Тимуром как-то связано с его новыми дружбанами? Страшно подумать: веками, сколько живёт человечество, длится и длится повсеместно этот яростный, звериный, кровавый гон — то на одних, то на других сынов рода земного. Тираны умирают, вожди становятся дипломатами, пастыри твердят о толерантности — но инерция злобы живёт в веках, неукротимая как смерть и неистребимая как чумная бацилла. И не видно людей, которые бы сгрудились, преградили путь стае: «В чём дело? Что происходит?»

Уснуть в эту ночь Валерий так и не смог…

Тимур быстро шёл на поправку. Уже через два дня после операции он смог говорить со следователем: сказал, что не знает, кто его пырнул, но не скрыл, что дрались с «нерусскими».

— Так и запишем: на почве межнациональной неприязни… — бормотал следователь над протоколом.

В коридоре он внушал Валерию:

— Врёт, конечно, — знает прекрасно, кто его ударил. А признаться, паразит, боится!

Валерий, ободрённый разговором с врачом, напомнил, что «паразит» — как никак, его сын.

— Простите! — спохватился следователь. — С ними скоро совсем ум за разум зайдёт… Кстати! Может, он вам признается?

— Не думаю… Вряд ли!

— Не хотите помочь, — с укором констатировал следователь. — В ваших же интересах…

— Я понимаю, — в тон ему подытожил Валерий.

Тимур и вправду ничего больше не рассказал, если не считать одной из бесед.

— Знаешь, пап, когда я отказался участвовать в акции…

— В акции?

— Ну да… Короче, решили идти к общежитию университета, где иностранцы живут… Я говорю: а что они нам сделали? Думал — может, обидели кого, или что украли, или, там, девушку увели… А Синяк… ты его знаешь — парень из соседнего двора, кличка у него такая, потому что пол-лица синяя… родимое пятно, что ли… В общем, Синяк

говорит: не они нам — это мы их сделаем!.. Я говорю: а за что? Они же к нам только учиться приехали… А Синяк: уже нюни распустил? Может, ты сам нерусский?..

— Ну-ну…

— Только ты не думай — меня не Синяк ударил…

— Ладно, дальше-то что?

— Ну, что-то я ему ответил… Слово за слово… Не помню, когда бить стали…

— Откуда ж ты знаешь, что не Синяк?

— А потому что он кричал «не надо!»

— Значит, Синяк знает, кто бил?

— Пап!

— Не бойся — выяснять не пойду. Но кто ударил вчера, может ударить и завтра, как ты считаешь?

Теперь Валерий оказался заложником своего слова. Что было делать? Сказать следователю, за какую ниточку тянуть? Но кто поручится, что тот действительно сумеет раскрыть дело, а не просто озлобит против Тимурки его тайных недругов?

Добавлял сомнений и мудрый Мокрушин:

— Не встревайте, Валерий Сергеевич! Поверьте моему криминальному опыту. Кому из нас по молодости не били морду? У родительского страха всегда глаза велики. Ну да, нож… Бывает! Сами подрались — сами и помирятся. А то ведь начнётся: око за око, кровь за кровь…

Но Валерий знал за собой досадную черту: он физически не переносил бездействия, когда кому-то из близких было плохо. Стоило Лидии пожаловаться на головную боль или температуру, он мог в полночь-за полночь мчаться на край света в дежурную аптеку. Если же лекарства в доме были, а больная их не принимала, он буквально приходил в бешенство, на что Лидия обижалась:

— Вам, мужчинам, жена только здоровая нужна!

От такого вопиющего непонимания Валерий вскипал ещё больше, и дело, случалось, переходило в нешуточную ссору.

Однажды, когда Тимурке едва исполнилось семь, кто-то из великовозрастных пацанов засадил ему клюшкой под глаз. Сын прибежал домой с рёвом, с огромным кровавым фингалом, и Валерий выскочил из дому как был — в тельняшке и тапочках на босу ногу. Во дворе только выкрикнул: «кто?» — и, перехватив взгляды оторопевших мальчишек, подскочил к виновнику. Позже изумлялся собственной глупости: ну что он собирался сделать с этим долговязым, растерянным ребёнком? Не убивать же его за неловкий взмах клюшкой! Но тогда, в злобном самозабвенье, так тряс его за грудки и звериным рыком орал такие немыслимые угрозы, что часа два потом не мог унять внутреннюю дрожь и долго ещё отводил глаза при встречах с малолетними свидетелями своего нервного срыва.

Точно так же, до отвращения, он не терпел и бесплодного сочувствия окружающих — тех, что охотно суесловили, прослышав о постигшем кого-нибудь несчастье: «Как же вы теперь?! Держитесь, держитесь — надо держаться!.. Всё проходит, проходит… Выглядите вы молодцом, молодцом…» Такие бесполезные пришепётывания он впервые услышал в детстве, в дни похорон отца — с ними приходили к матери досужие соседки и сослуживицы. Мама, одеревеневшая от горя, лишь кивала невпопад неожиданно кукольной своей головкой, и Валерка, молча рыдая от бессильного желания заслонить, отогреть её, принять на себя непосильную для неё ношу, враз возненавидел этих, казалось ему, фальшивых подруг. Он ещё больше укрепился в своём почти брезгливом чувстве, когда через месяц-другой они, за малым исключением, напрочь позабыли дорогу к их дому.

Быть может, он до конца дней перестал бы верить в искренность человеческих отношений, если бы не случилась беда с ним самим. Было это на третьем курсе техникума, ранней весной. Сдавая вместе с однокурсниками зачёт по лыжному кроссу, он в азарте гонки не заметил, как выпросталась из-под ремня рубашка, и его, потного, прохватило свежим морозным ветерком. Через неделю он оказался в больнице с таким диагнозом, который грозил, по словам врачей, пожизненной инвалидностью. Правда, организм молодой, успокаивали они маму, авось справится. Но от своего курса он, скорее всего, отстанет — лечиться придётся долго, до самых экзаменов…

То, что произошло потом, Валерий не мог вспоминать без комка в горле. Когда однокурсники узнали о приговоре врачей, они стали каждый день приходить к нему в больницу. Да не просто приходить! Каждый вёл для него конспект по одному из предметов и, навещая, растолковывал то, о чём шла речь на лекциях и в учебниках. Три месяца за него боролись медики — и три месяца, изо дня в день, за него боролись друзья. Валерий не мог, просто не имел права их подвести: он не только выздоровел, но и сдал сессию наравне со всей группой.

С той поры он пожизненно уверовал: если человеку плохо, бездействие — преступление. Помочь немедля — это стало его инстинктом. Но сейчас…

Больше всего он боялся, что, вмешавшись, потеряет доверие сына. Чёртова привычка всё происходящее с Тимуркой обращать на себя, поверять опытом собственной юности, привычка, которую он считал благотворной, помогавшей лучше понимать мысли и душу взрослеющего мальчишки, — на этот раз сковывала его, мешала предпринять решительные действия.

— Ах, какие мы деликатные! — громогласно негодовал Никита Петрович. — Доверие, видишь ли, боимся потерять! А сына потерять не боимся? Дай-ка, Лидок, мне телефон этого следователя.

— Зачем, пап?

— А я скажу ему, что зятёк мой стал пособником хулиганов и убийц, укрывает их от законной кары.

— И что дальше? — Валерий смотрел на него с иронией, по опыту угадывая продолжение.

— А дальше тебя вызовут куда следует — и расколешься как миленький!

— Как у вас всё просто, прямолинейно… Рельсы, уж на что чугунные — и те более гибко ложатся!

— Вот, вот! Из-за таких гибких великую страну потеряли! Заводы стоят, культура гниёт, народ паршивеет… И всё почему? Потому что гибкими хотели быть! А я в самом начале говорил: как только сепаратисты в Прибалтике стали голос подавать, надо было сразу применять закон.

Каждого — к стенке! Весь род! До последнего колена!

— И в Молдавии, да? И в Армении? И на Урале?

— Везде!

— Но страна-то большая…

— Ничего! В каждой области по одной семье взяли бы — остальные поняли бы, что с ними не шутят. Мигом бы присмирели! Зато сегодня спасибо сказали бы…

— Ой, вряд ли… Хотя…допустим. Но ведь сегодня — поздно?

— Порядок навести никогда не поздно — была бы воля!

— Да вы зайдите в магазины, посчитайте иномарки на улицах, коттеджи за городом… Людям уже есть что терять, они своего просто так не отдадут. Выходит — война?

— Ну и что? Война — это нормально. А когда твоего сына среди белого дня убивают — это что, не война?

— Да вы сами уже к новой жизни приспособились. На чьей стороне будете воевать?

— Мне уже воевать не придётся — к сожалению!..

— А кому, простите? Мне? Или Тимурке?

— Ну ты дема-го-ог!

— Да, демагог, — согласился Валерий. — На этой высокой ноте и предлагаю нашу дискуссию закончить.

А в банке Валерий застал всеобщее ликование. Причину объяснила Наташа:

— Матвей Абрамович провёл в Думе свой законопроект об инвестициях!

— Да? — Валерий почувствовал себя в обозе жизни и попытался скрыть свою вопиющую неосведомлённость: — Закон, по которому счастье приходит? Закон, по которому степь плодородит? Закон, по которому солнце встаёт?

Наташа было покачала укоризненно головой, но ответить не успела: в динамике раздался голос Руслана Юрьевича:

— Наташа, срочно всех ко мне!

Вид у Сурикова был необычайно мажорный:

— Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить… дальше, к счастью, не по классику… очень приятное, но строго конфиденциальное известие: Закон о привлечении инвестиций, за который «Континент-банк» боролся последние три года, прошёл наконец первое чтение в Государственной думе!

— Ура! — победоносно возгласил Аркадий.

Суриков посмотрел на него одобрительно, однако от делового тона не отступил:

— Лебедянский своё дело сделал — теперь очередь за нами. Надо организовать новому законопроекту мощную информационную поддержку — и в газетах (взгляд на Валерия), и особенно на телевидении… Леонид Яковлевич, я к вам обращаюсь! — прервал он шушуканье Лёнечки Изяславского с Машей и Дашей.

— Каковы наши аргументы? Первый: государство оказалось на грани банкротства, и коммерческие банки — в первую очередь такие крупные как «Континент» — готовы помочь ему своими деньгами. При этом важно подчеркнуть: банкротство страны — результат коммунистического тоталитарного управления экономикой, в то время как коммерческие банки — детища новой, либеральной экономической политики. Аргумент второй: банки ассигнуют свои средства не просто в общую кубышку, где их могут растащить алчные чиновники, — речь идёт о спасении крупнейших, стратегически важных предприятий, куда деньги пойдут целевым назначением. Таким образом, коммерческие структуры, которых только ленивый не обвиняет сегодня в ограблении народа, на самом деле спасают гордость отечественной экономики и сохраняют тысячи рабочих мест. И наконец, довод третий. Наши оппоненты твердят, будто мы хотим присвоить себе эти важнейшие для страны предприятия, когда государство не сможет рассчитаться по нашим инвестиционным кредитам. Но это не что иное, как злобный навет. Во-первых, мы верим, что деньги банков смогут поработать эффективно, а во-вторых, даже если кредитуемые предприятия действительно перейдут в собственность банков — разве это хуже, чем если их захватят иностранные компании?!

С пафосом поставив точку в своей речи, Суриков сбавил тон:

— Вопросы есть?

— Конкретно — в чём наша задача?

— Вопрос по существу, — признал шеф. — Завтра-послезавтра во всех газетах должны появиться интервью, статьи, комментарии экономистов, политиков, экспертов в поддержку нашей позиции. Надо убедить общественное мнение, что новый законопроект — единственно разумный и самый выгодный не только для государства, но и для всего населения. И главный для нас козырь — время.

— Но люди вряд ли поверят в бескорыстие банков, — заметил Валерий.

— А кто говорит о бескорыстии? — вскинулся Суриков и обвёл взглядом присутствующих: — Надеюсь, никто не вздумает убеждать людей в благотворительности предпринимательского сообщества?! Да, у банков в этом проекте коммерческий интерес, и народ это поймёт. Любой кредит выдаётся под проценты. Но лучше государство заплатит проценты, тем более — своим же деловым людям, чем пойдёт с молотка каким-нибудь немецким фирмам или арабским шейхам.

— А у кого брать интервью и комментарии? И насколько уместно цитировать иные мнения?

Этот вопрос Сурикову откровенно не понравился — он дал понять, что пора приступать к делу:

— Используйте все свои наработанные связи — и в депутатском корпусе, и в деловом мире, и в журналистском сообществе. Но дискуссии нам ни к чему — не волнуйтесь, у оппонентов и своих ресурсов хватит. Короче, по коням!

Через полчаса в офисе практически никого не осталось — народ, как добрая охотничья стая, был натренирован хватать поноску на бегу. Валерий тоже было направился в Думу, но лишь за тем, чтобы прочесть и самому разобраться в законопроекте, который родил замминистра Матвей Лебедянский. Слабо верилось, чтобы человек, рублём оценивающий человека, государство измерял по шкале патриотических ценностей.

зпи — эта аббревиатура буквально за неделю стала для всей страны такой же узнаваемой и родной, как гум, оон или — прости, господи! — кгб. В телешоу на всех каналах «говорящие головы» обсуждали неисчислимые выгоды принятия такого закона. Газеты наперегонки печатали умствования партийных вождей, экспертов-экономистов, действительных членов недействительных академий и особенно много — людей странной, малопонятной специализации «политологов», т. е. тех, которые гадают на кофейной гуще, делая вид, будто знают больше остальных. Непримиримые по многим другим вопросам, здесь они проявляли поразительное единство, восхваляя великодушие отечественного банковского сообщества по отношению к родному государству и, главное, к сирым, обездоленным его гражданам. И всё это — благодаря дружной работе «птенцов гнезда Русланова».

Валерий в этом хоре не преуспел. «Наработанных связей», о которых говорил Суриков, у него набралось не так уж много, да и те, что есть, оказались в нетях. Но больше всего ему мешали собственные сомнения. Чтобы развеять их или подтвердить, он, по заведённой уже привычке, побрёл на Тверской, к Габунии. В свете простых, непритязательных размышлений этого человека самые плоские, бесформенные фигуры бытия вдруг становились трёхмерными, обретая плоть и живые тени.

В знакомой квартире пахло лекарством — нездоровилось Кире Максимовне. Валерий сразу от порога засобирался было восвояси, но Ираклий Георгиевич не отпустил:

— Царица моя вздремнула, ей мы не помешаем. А мне будет с кем душу отвести…

За чаем он первым делом расспросил о Тимуре, о том, как идёт лечение.

— Давайте-ка после выписки отправим его в Кармадон, а? Не приходилось бывать? У меня там родственники… Чудные места: горы, воздух, фрукты… А вода какая! Между прочим, «дон» по-осетински и значит «вода». Любую рану лечит — и тела, и души! Давайте, а?

Постепенно дошли в беседе до нового законопроекта. Габунию вопрос ничуть не озадачил:

— А что тут неясного? Типичная афера!

— Но…

— Валерий Сергеевич, вы-то, надеюсь, не верите всем этим кликушам с телеэкрана? Я вот слушаю их и удивляюсь: неужели никто не задаст им вопрос… Хотя, наверное, задают — просто никто не озвучивает… А вопрос, надо сказать, простой: откуда у этих банков-благодетелей деньги, чтобы кредитовать государство? Структуры молодые, собственным жирком обрасти не успели… Вот ваш «Континент-банк» чем промышляет? Ладно, не говорите — коммерческая тайна…

— Да не в этом дело!..

— Я сам скажу. Это, как теперь выражаются, ёжику понятно. Деньги у наших банков исключительно бюджетные, взяты у министерств — значит, у того же правительства. Но деньги — субстанция ненадёжная. Сегодня они есть — завтра их нет. Другое дело — недвижимость: месторождения, заводы, причём, самые мощные, брэндовые. А как их заполучить? И тут в чью-то неглупую голову приходит идея: ссудить деньги государству под залог этих объектов и на самый короткий срок — скажем, на годик. А поскольку государство за это время наварить ничего не успеет и деньги, стало быть, не вернёт, то можно будет, как бы в уплату долга, прикарманить лакомые куски. Заметьте: по бросовой цене!

Наверное, Моте Лебедянскому в этот момент икнулось — так явственно увиделось Валерию его высокомерно-брезгливое лицо с этим вечным вопросом: «Сколько стоит?»

— Но, Ираклий Георгиевич, казна-то у государства действительно пуста! И чем отдавать стратегические объекты в концессию иностранцам, может, лучше поддержать именно наш бизнес? Как говаривал вождь пролетариата, пусть мерзавцы — но ведь свои!

— Знаете, — Габуния угнездился в кресле поглубже и сложил ладони замком. — Сейчас я скажу вам нечто несусветное… Да-да! Объявись я с этим на людях, меня скорее всего объявят сумасшедшим. Слава Богу, сегодня это не грозит смирительной рубашкой. И тем не менее… А хотите — считайте это шуткой юродивого…

Он испытующе посмотрел на Валерия, как бы решая, делать ли его свидетелем, а то и соучастником своего помешательства.

— Современный бизнес… — Габуния снова помедлил, потом, решившись, выговорил до конца: — Современный бизнес — прямой путь к деградации человечества!

Валерий не удержался от улыбки:

— Вот тебе раз! Лучшие умы страны годами ратовали за рыночную экономику и свободную конкуренцию, да вы сами пострадали за подобное вольнодумство — и вдруг на тебе! Не успел наш младенческий бизнес встать на ноги, мы тут же объявляем его врагом человечества? Вы просто царь Ирод какой-то!

— Конечно, конечно… — Габуния, произнеся главное, даже выпрямился в кресле, будто сбросил тяжкую ношу.

— В деловых кругах, — Валерий заговорил словно их полномочный представитель, — утверждают совершенно обратное. А именно: что государство наше больно непрофессионализмом, что главный интеллект нации сосредоточен сегодня в предпринимательском сообществе, что только оно способно дать импульс экономике и вернуть стране репутацию великой державы… А вы говорите — деградация?!

— Вы, как и все вокруг, видите то, что лежит на поверхности. Аз, грешный, сам приложил руку к тому, чтобы утвердить в умах эти очевидности. Но кто сказал, что бизнес — панацея от всех болезней? Нельзя молиться золотому тельцу. Не подменяйте Бога — не обрящете потом!

— Согласен. Но при чём тут деградация?

— Что же тут непонятного! — Габуния даже расстроился. — Куда сегодня валом валят абитуриенты и кого готовят самые престижные вузы? Менеджеров, программистов, креативщиков, в худшем случае — юристов, промоутеров, экспертов… Я готов понять: всем хочется больших денег — и сразу! Но эти люди могут лишь

эксплуатировать или развивать то, что создано до них. А что завтра? Кто будет создавать и двигать новые производства? Где те, кто не входит в бизнес-элиту: инженеры, технологи, конструкторы, химики и физики, агрономы и зоотехники? Поголовное увлечение бизнесом попросту обрекает на смерть профессии, которые не сулят быстрых капиталов. Но кто сказал, что человечеству такие специалисты не нужны? Вот вам первое свидетельство вырождения…

— Не согласен! Это лишь обычная неравномерность развития. Придёт нужда — спрос сам собой выправится.

— Да? Но за это время прервутся династии, потеряются опыт, навыки — всё придётся начинать сначала…

— Ну и что? Давно утрачена тайна древнего булата — но разве взамен не возникли новые сплавы, даже более прочные? А египетские пирамиды — зачем нам сегодня опыт их строителей?

— Стихийный вы человек! — с иронической укоризной прищурился Габуния. — Давно ли в своих газетных писаниях вы сами утверждали, что прогрессом надо управлять? А теперь, не истоптав даже пары башмаков, легко разбрасываетесь опытом предков…

— Просто я за справедливость. У разных профессий — разный престиж, так было во все времена.

— Конечно! При коммунистах, к примеру, было очевидным другое извращение: помнится, все подались «за туманом и за запахом тайги» — в журналисты, лётчики, геологи, архитекторы… С трибун возглашали «хвалу рукам, что пахнут хлебом» — а в сёлах растить хлеб становилось некому… Впрочем, я отвлёкся.

Габуния с видимым наслаждением вытянул ноги и продолжил:

— Представьте, что молодой человек не чувствует в себе призвания к бизнесу. Его влечёт, к примеру, термоядерная физика… или история древних цивилизаций… или однажды он увидел себя нейрохирургом… А все вокруг шипят: бизнес, бизнес, бизнес… И родители давят, и учителя плечами пожимают, и любимая девушка поглядывает в сторону более практичного соперника. Кто-то один, может, и устоит в таком противостоянии, но десять наверняка отступят, перешагнут через своё призвание — тем более, что ещё и неизвестно, призвание ли это. Бизнес нивелирует личность — и это второй довод за то, что он ведёт к деградации человечества.

— Но тот один, кто устоял… Может, человечеству и не требуется больше?

— Не факт, что и он достигнет высокой цели. Бизнес ведь как рассуждает: пусть он интеллектуал, но кто сказал, что я должен кормить этого интеллектуала?.. Вот и исчезнут интеллектуалы как вид.

— Не исчезнут! Кто, например, кормил Гомера? Однако ведь был!

— Ну, Валерий Сергеевич, — разочарованно протянул Габуния, — не впадайте в банальности. Вспомните ещё Баха, Моцарта… Да, все интеллектуалы прошлого кормились у стола властителей! А кому не известно, что Пушкин был первым, кто стал на Руси зарабатывать литературным трудом! Я говорю о другом. Вы не задумывались, почему на Западе так развиты сегодня всяческие противовесы, социальные институты? Думаете, это плоды революционного и рабочего движения? Не смешите кур! Просто в один прекрасный момент люди поняли: бизнес — это молох, способный умертвить науку, искусство, философию, всякую прочую «абстракцию». И стали искать способы спасения.

— Значит, для нас главное — дожить до такого же светлого часа? — Валерий внутренне давно понял логику собеседника, но хотел вызнать ход его мыслей до конца.

— Конечно — если мы готовы терпеть беспризорников и нищих, мириться с утечкой мозгов и банкротством лучших предприятий. И если мы благословим закон… вы только вдумайтесь: закон! — по которому у государства за бесценок отберут самое дорогое, что создано человеческим трудом… — что же тогда называть беззаконием? Да ещё как цинично звучит: закон о привлечении инвестиций… То есть, вас грабят, но шепчут на ухо, что хотят вам добра. Кто поверит, если не совсем пьян?

Валерий решил больше не дразнить Габунию:

— Очень интересно! Но почему бы вам не написать об этом в газету, пока идёт дискуссия?

— Да кто напечатает?! Вы лучше меня знаете: в прессе ничто не обсуждается просто так, любая дискуссия — это пиар-кампания. Разве что в оппозиционных изданиях…Но там на статью никто даже внимания не обратит: на то она и оппозиция, чтобы идти не в ногу.

— А знаете, — у Валерия мелькнула шальная мысль, — я берусь опубликовать!

— Где?

— Неважно… В любой газете!

Габуния посмотрел на него с укоризной:

— Вы меня извините, Валерий Сергеевич, но одну попытку мы с вами недавно уже пытались…

Валерий намёк понял:

— Но вы же сами говорили: делай что должен — и будь что будет!

— Допустим, первым сказал не я. Но… верно — я с этим согласен!

Ночью над Москвой разыгрался шторм.

Валерий проснулся от могучего громового раската и вскочил, чтобы закрыть окно, от которого уже растеклась по полу тёмная лужа. Дождь бился прямо в стекло, от чего оно, казалось, прогибается и, того гляди, лопнет. Внизу у детской площадки ветер неистово терзал тополя и липы, их ветви то хлестали причудливыми космами, то срывались со стволов и падали, как срубленные, наземь. Город, накануне заносчиво сиявший пышными огнями, теперь лишь пугливо мигал глазёнками уличных фонарей, вздрагивая при очередных сполохах молний. Стихия, как всегда, властно напоминала человеку его место на земле.

Впервые Валерий испытал это на себе в одной из зарубежных командировок. Сан-Марино, небольшой городок-государство в центре Италии, напомнил ему Ласточкино гнездо в Крыму — чуть не весь уместился на проплешине гигантской

скалы, парусом стоявшей посреди окрестной равнины. А гостиничка, в которой поселился Валерий, каким-то чудом зацепилась за самый краешек этой проплешины.

Журналисты местной газеты, которые и пригласили московского коллегу на свой праздник, по окончании торжеств предложили поездку по окрестностям. Валерий признался, что интересуется архитектурой современных костёлов — вернее, тем, что помогает церкви сохранять влияние в сегодняшнем своенравном мире. В попутчики ему дали человека преклонных лет, но довольно бодрого и весёлого. «Коммунист-католик» — представили его Валерию. Правда, кроме итальянского, тот знал лишь десяток слов на испанском, а гость, кроме русского, мог с трудом промычать что-то по-английски, но это не помешало поездке быть увлекательной и приятной. Костёлы, где удалось побывать, поражали модернистской смелостью. Куда девалась былая готическая строгость, аскетическая устремлённость к небесам, мрачная надменность сводов! Многие Христовы храмы почти не выделялись из ряда обычных строений: те же соразмерные человеку габариты, такие же стены пастельных тонов. Если бы не кресты над ними — прошёл бы, не заметив, мимо. А уж внутри!.. Один из храмов выглядел, ни дать ни взять, концертным залом. Кресла в нём уходили вверх широким, просторным амфитеатром, вместо алтаря был невысокий подиум, на котором возвышалась кафедра, а в глубине стоял рояль, который, наверное, заменял традиционный орган, будучи современнее и, главное, дешевле. Ощущение демонстративного модерна довершил пастор, предложивший по стакану вина, изготовленного прихожанами из даров окрестных виноградников.

И ничем бы не омрачились, наверное, благостные впечатления дня, если бы «коммунист-католик», выбрав момент, когда пастор отлучился за вторым графином, не сорвал со стены янтарные чётки — из тех, что были предназначены к продаже. Он протянул их Валерию, но, увидев в его руках кошелёк, категорически замотал головой: дескать, дарю! Зачем подарок тайком сдирать со стены, было непонятно, но тут вернулся хозяин, последовал новый тост — и лишь на обратном пути Валерий понял, что за чётки «коммунист-католик» так и не заплатил.

Возмездие пришло ночью. Такой бури, что разразилась над скалой Сан-Марино, Валерий не видел даже в годы своей морской службы. Громы и молнии бушевали, не зная роздыху. Порывы ветра, злобно раскачивая утлую гостиничку, грозились вот-вот сбросить её в пропасть. Окрестности, тонувшие в беспросветных дождевых потоках, казались бездной ада. «Прости, Господи!» — поневоле шептал Валерий, сознавая некую свою причастность к воровству из храма. Только утром, шагнув после беспамятной ночи в лучезарный, свежевымытый мир, он вздохнул с облегчением.

Теперь, при виде московского буйства природы, напрашивался вопрос: может, виной всему его новый грех?

Впрочем, не будь в столице и других грешников, над ответом долго гадать он бы не стал. Не далее как накануне ему позвонил Олег Грушин и поинтересовался:

— Не пойму, ты предатель или просто дурак?

Валерий был готов и к звонку, и к такой постановке вопроса.

— А тебя лично какая формулировка больше устраивает?

— Ты хоть понимаешь, что сжигаешь за собой мосты?

— Да? Мостов я что-то не заметил… Так, жёрдочки…

— Стало быть, ты всё сделал сознательно? Тогда это подлое предательство — и никак иначе!

— Батюшки, какой пафос! Оказывается, и в ваших эмпиреях людям не чужды высокие страсти…

Олег бросил трубку.

Валерий, как ни пытался, не мог заглушить в себе авторского тщеславия: выходит, задел своей статьёй за живое, достал до печёнок! Уж если лакей злобствует, значит, и барина по нервам ударило.

Впрочем, Валерий был готов и к тому, что никакой реакции на статью не последует. Нынче это в порядке вещей: не заметить — и всё. Если что и вызывало редкие публичные скандалы, то лишь скабрёзные подробности политической или светской жизни. Но и эстрадные дивы, и высоко ранжированные чиновники научились любой скандал обращать на пользу своему имиджу — тем более, что подыскать на общественных помойках борзописцев, готовых чем угодно прикормиться, не составляло труда. Быстро поняв это, те же дивы и чиновники считали теперь хорошим тоном выражать презрение к прессе, именуя её не иначе как «жёлтой». И никто не задумывался над тем, не слишком ли дорого обходится обществу этот массовый дальтонизм…

Валерий, с недавних пор отдалившийся было от профессиональной работы, многое испытал на себе, когда готовил статью «Дом, который присвоил мэр». Ещё сложнее было опубликовать статью. Ходить по редакциям с разоблачительным материалом о корыстной сделке главы группы «ШАГ» Игоря Литмановича и городских властей, жертвой которой грозило стать старику с Тверского бульвара, значило не только выставить себя на посмешище коллегам, но и погубить всё дело. Информация мигом дошла бы в оба конца, а уж тем, как перекрыть кислород дотошному поборнику справедливости, никто бы не затруднился. Но…

Есть, есть-таки свои прелести в балаганной ярмарочной суете — как есть свои преимущества в буйстве полевого разноцветья перед унылой заданностью садовых газонов. На прилавке одного из газетных киосков Валерию бросилось в глаза полемически-дерзкое название — «Честная газета». Надо же, поддавшись на провокацию, подумал он, — остальные, дескать, нечестные? Тут же газету купил — и понял: эврика! Каждый материал, даже на самую банальную тему, был подан и озаглавлен так, что не прочесть невозможно. И в каждом, признаться, была изюминка, которая подтверждала: эта газета знает больше других. Заглянув по привычке в выходные данные, Вале-

рий прочёл: главный редактор Галина Зарницкая. Неужели та самая?

Девушку с таким именем он помнил корректором областной газеты. Заметки, которые она пробовала писать, были профессионально беспомощны, но что у них было не отнять, так это до смешного обострённое чувство справедливости. Редактор Василий Игарков, отправляя очередной опус в корзину, приговаривал: «Нам только экстремизма не хватало!». Позже, будучи уже в Москве, Валерий узнал, что Галина стала депутатом местного законодательного собрания, где вскоре же вступила в битву с губернатором. Был суд, который она, естественно, проиграла. Не успокоившись, примчалась в столицу, обзавелась единомышленниками, опубликовала несколько скандальных разоблачений о губернских злоупотреблениях, снова был суд — и опять не в её пользу. А теперь, поди ж ты, — главный редактор… Но, может, не она? И кто её финансирует, такую «Честную»?

В редакцию он всё же позвонил — так, интереса ради. Оказалось, не зря. Зарницкая явно обрадовалась ему. Встретились неподалёку от Халатного переулка. Не потому, что для Валерия это было удобнее, и не потому, что он собирался похвастать, где работает, — просто, сам определяя место, он испытал подзабытое ощущение некоей галантности. А, увидав Галину, понял, что она уже далеко не тот воробышек-корректор, которого шпыняли за пропущенные запятые. В твидовом полупальто с тёмно-зелёным шёлковым платком на шее, в пышном облаке медных волос и крупных дымчатых очках, она с порога заставила всех присутствующих в кафе признать в ней хозяйку жизни. Валерия она уверенно повела к самому уютному столику, официанту ласково предоставила возможность самому выбрать для неё десерт к кофе, после чего сняла наконец очки и обернулась той искренней простушкой, которую он помнил по своему провинциальному далёку. Статью она прочла тут же и сразу согласилась печатать. Никаких «что» да «как» относительно своей нынешней жизни обсуждать не стала, и Валерий, будучи намного старше, почувствовал себя мальчишкой — так ребята-одноклассники однажды замечают, что их ровесницы-девчонки как будто взрослее и умнее их. Глядя на эту изменившуюся, уверенную в себе женщину, он даже по-новому подумал о Лидии: может, живя рядом, он и в ней проглядел такой же процесс преображения?

Когда статья вышла, сначала вроде бы ничего не произошло — так, некоторое «шелестение» внизу: звонки знакомых, коллег, потерявших его из виду… В банке и вовсе никому было невдомёк — там читали исключительно респектабельные, деловые издания, чтобы знать всё о курсах валют и ситуации на фондовых рынках.

Но звонок Грушина опять напомнил Валерию историю со статьёй Юрия Сливочкина: бизнесмены — быть может, единственные, в ком сохранялась ещё чувствительность к публичным ударам. А «низовой» ветерок оказался предвестником настоящей бури. Статью цитировали в прессе, обсуждали по телевидению, публичные политики требовали расследований того, как используется в городе государственная и муниципальная собственность, как распределяются заказы на строительство. В ведомстве Литмановича прокуратура произвела выемку документов и компьютеров…

Лидия, когда они встретились по случаю выписки Тимура из больницы, огорчённо сказала:

— Какой ты всё же непрактичный мужик! Олег считает, ты не их — ты себя предал. Ну подумаешь, старичка переселили бы… Да ему же лучше — к свежему воздуху ближе! А ты опять без журнала остался… Всю жизнь донкихотствуешь — дон Кихотом и помрёшь! Но тот хоть никого не предавал…

Опять и опять Валерий слышал это словцо — «предатель». Странно, что люди, позволяя себе воровать, грабить, изобретая всё новые способы «кидать», «обувать», «нагревать» ближнего и дальнего, остались болезненно восприимчивы в вопросах личной преданности. И ладно бы, речь шла о жизни и смерти!

Он часто вспоминал рассказы мамы о том, как она прятала отца, бежавшего из немецкого плена. Взяли его на поле боя, раненого, в беспамятстве, отправили в ближайший лагерь для таких же бедолаг.

Отец хорошо знал немецкий — в школе и университете язык давался ему легко. К тому же, у него был красивый почерк. Прознав об этом, немцы поручили ему выписывать пропуска: они решили отпустить несколько пленных, чтобы продемонстрировать населению свой гуманизм. И конечно, отец этим воспользовался — выправил документы для себя и ещё одного товарища по несчастью.

Бежали ночью. Под утро услыхали лай собак — погоня! Спасло богом посланное болото: забыв про раны, обдирая в клочья одежду, они нырнули в мутную холодную слизь, успев только обломать трубчатые камышинки — чтобы дышать…

Глинистая пещера, вырытая матерью в холме на окраине города, надёжно прятала их месяца полтора. А когда со дня на день должны были прийти наши, мама, принеся затворникам еду, услыхала визгливый оклик соседки: «Партизан прячешь? Хочешь, чтобы нас всех перевешали?!»…

В их семье никогда не вспоминали эту историю — слово «плен» вообще было табу для фронтовиков. Лишь спустя годы Валерий узнал, какой ценой отцу пришлось доказывать, что он не предатель. Зато предательница-соседка, по словам мамы, жила припеваючи, успев в своё время запастись добром эвакуированных знакомых.

Был ли сейчас он сам предателем по отношению к Литмановичу? С одной стороны, Литманович проявил к нему некоторое участие, готовность помочь в издании журнала, а он, Валерий, вынес на всеобщее обозрение то, что стало ему известно именно в силу этого участия. Конечно, явно нарушил корпоративную этику. Но если корпоративная этика оборачивается круговой порукой, скрывающей преступление, — как тогда быть с профессиональной этикой журналиста? И потом: предательство всегда подразумевает корысть. А какую же корысть можно усмотреть в его статье? Кто же ты есть, если на каждом шагу пытаешься угадать, как выглядишь и кому нравишься? Быть самим

собой, следовать собственным, а не внушённым понятиям и чувствам — это ли значит быть предателем? Другое дело, что люди привыкли скрывать от окружающих свои чувства и понятия до поры, до удобного момента, — тогда и возникает ощущение обмана, предательства…

…Нет, защищая Габунию, он, если и заботился о корысти, то лишь об одной — чтобы не было стыдно перед самим собой за то, что в погоне за собственным успехом перешагнул через человека

Очередное совещание у Сурикова было по обыкновению суровым и деловым. Правда, Валерий с началом работы над книгой не подвергался «допросам с пристрастием», как остальные, — когда шеф, выбрав жертву, принимался выматывать из неё душу, требуя подробнейшего отчёта за неделю и ядовито комментируя малейшие промахи. После такого публичного поношения человек начинал думать, что не только работать в банке — и жить-то ему осталось недолго. Но Суриков бывал и милостив. Он мог тут же после совещания оставить «казнённого» в кабинете, предложить кофе с лимоном и, как ни в чём не бывало, повести речь о каком-нибудь новом проекте, которых у него наготовлено, казалось, на годы вперёд. Окрылённый доверием, человек после этого готов был и горы сворачивать, и вообще идти за шефом «хоть на край земли, хоть за край».

На этот раз, думал Валерий, объектом разноса неминуемо станет он — за грех по отношению к дружественной группе «ШАГ». Но ничего подобного не случилось. Жертвой на этот раз был избран Лёнечка Изяславский, а остальным Суриков поставил новую задачу: за одну-две недели склонить как можно больше партнёров к созданию РАР — Российской ассоциации рекламодателей. Идея, как всегда, выглядела привлекательно: в рамках ассоциации представители бизнеса могли бы вырабатывать единую пиар-политику, не мешая друг другу, а главное — сдерживая хищные цены на рекламном рынке. Но подоплёка новой инициативы была ясна: во-первых, вовремя узнавать, что у конкурентов на уме, а во-вторых, связать их своеобразной круговой порукой под эгидой «Континент-банка».

После совещания, перед выходом на люди, команда как всегда заряжалась кофе. Над столиком, где стояли приборы, красовалась фирменная надпись: «*Запрещается:* 1. Курить дешёвые сигареты. 2. Пить дешёвый кофе. 3. Рассказывать дешёвые анекдоты». Сигареты каждый выбирал себе сам, качество кофе обеспечивала Наташа — «за счёт фирмы», ну, а по третьему пункту вердикты выносило само «высокое собрание».

— Слыхали новый анекдот? — Аркадий, отхлебнув первый глоток, направился к своему месту. — На улице к курящему прохожему подходит корреспондент Валерий Моисеев и спрашивает: «Сколько сигарет вы выкуриваете за день?» — «Пачки 2–3» — «И давно?» — «Лет 30». Моисеев что-то подсчитывает, потом говорит: «Если бы вы не курили, то на эти деньги могли купить вон тот небоскрёб». «А вы курите?» — интересуется прохожий. «Нет» — «А небоскрёб у вас есть?» — «Нет» — «А я курю. И небоскрёб — мой!».

Вместе со всеми Валерий рассмеялся. Но Аркадий не был настроен на благодушие:

— На переговоры к Литмановичу ты, конечно, не пойдёшь?

— Боюсь, не тот будет результат.

— А кому прикажешь за тобой подтирать? Мне? Лёнечке? Или, может, Степану Власьевичу?

Поименованные персонажи всем видом дали понять, что на подобную миссию не согласны. И Аркадий продолжал:

— Наташа говорит: наш Валера — это большой ребёнок. Скажи, родной: ты действительно хорошо сохранился или просто не лечишься? Который месяц здесь работаешь, а до сих пор не усвоил элементарных вещей… Ты же как паршивая овца — всё стадо портишь!

Валерий понимал: его ответа ждёт не только Аркадий. Но, чтобы не ввязываться в бессмысленную, заведомо проигрышную для него перебранке, решил со словами не торопиться. Мокрушин попытался умиротворить бывших приятелей:

— Аркадий Алексеевич, вы-то у нас максималист — и тоже не по годам. В вашем возрасте надо бы признавать за человеком право на ошибку.

Но Аркадия словно с цепи спустили:

— При чём тут максимализм! Мы все — люди команды: пашем, деньги приносим… Он с этих денег кормится — и нам же гадит! А Руслан молчит. Потому что, видите ли, Моисеев у нас ребёнок… Вот пусть он сам идёт к Литмановичу и кается: виноват, мол, больше не буду!

Мокрушин поймал взгляд Валерия и кивком позвал: покурим? Прокурор, которому по жизни чаще доводилось карать, чем оправдывать, он теперь старался войти в положение:

— Вы и вправду больше журналист, чем бизнесмен…

— А что, порядочность — черта профессиональная? Бизнесменам не свойственная?

— Как вам сказать… Припоминаю любимого вами Ленина. Ведь это он утверждал: нравственно то, что полезно для революции. Вот и бизнесмен рассуждает: порядочно то, что выгодно для бизнеса. Чему же удивляться? Конечно, Руслан Юрьевич к вам хорошо относится, но…

— А мне Руслан Юрьевич не судья!

— Но, простите, — Мокрушин иронически улыбнулся, — деньги-то вы пока получаете у него…

— Вот именно: пока! Выходит, завтра, начни я работать у другого, должен буду присягнуть уже другим понятиям о нравственности? Так скоро и сам перестанешь понимать, кто ты есть!

— Ну ладно, — Мокрушин был настроен более миролюбиво, чем Аркадий. — Не сердитесь на меня, старика. Просто вы мне симпатичны, смолоду я тоже был таким… Кажется! — прибавил он, чуть запнувшись. — Куда только всё девается: наши принципы, идеалы?.. Кажется, это Гоголь сказал: выходя из юности, забирайте с собою всё лучшее в себе — не поднимете потом… Мудрый был мужик — даром что до сорока пяти не дожил! Мне кажется, его до сих пор по-настоящему не оценили. Сейчас и вовсе читать перестали. А со мной, признаюсь вам, странные вещи происходят…

Мокрушин помолчал, близко-близко заглянул Валерию в глаза, словно угадывая его возможную реакцию, и, решившись, договорил:

— Мне, когда Гоголя перечитываю, стыдно становится. Представляете? Стыдно — и страшно! Что же мы делаем, думаю?! Он ведь о нас писал, о сегодняшних! Как будто провидел лучше всякого Нострадамуса… Не события, не войны, не революции — нет! Пропасть человеческую — вот что он видел. А мы идём к ней, идём — и ведь остановиться не можем, вот в чём беда!

Валерий смотрел на собеседника удивлённо. Надо же — и в нём, оказывается, идёт какая-то трудная, неприметная снаружи работа. Конечно, и не в нём одном — просто люди сегодня редко говорят об этом друг с другом. Недосуг? Или боятся быть непонятыми, смешными? А кто-то и подавляет, гонит от себя такие мысли — чтоб не мешали жить…

Мокрушин между тем продолжал:

— Я ведь давно вижу, что вам здесь душно, Валерий Сергеевич, — он даже помахал рукой, разгоняя дым — будто пытаясь добавить на лестничной площадке свежего воздуха. — У меня тут один знакомый объявился… Ничего особенного: адвокат, работали вместе в Оренбурге… Оказалось, он теперь человек богатый, своё дело завёл.

— Старой школы, значит? — Валерий не понимал, с чего вдруг Мокрушин перешёл к воспоминаниям. — Нынче-то адвокаты скороспелые: курсы закончат или даже купят диплом — и всё, за любое дело берутся, лишь бы бабки…

— Нет, это человек основательный, серьёзной квалификации. И на днях он обмолвился, что собирается издавать журнал. Может, вас познакомить?

— Неожиданная идея! — засмеялся Валерий. — Спасибо, конечно, но я в юриспруденции не силён.

— Жаль! А то, смотришь, и мне, старику, копеечка перепала бы!

— Не понял… Тоже ушли бы в журнал?

— Не-ет, — отмахнулся Мокрушин. — Просто… долларов по сто в месяц… ну, за эту услугу! — мне бы и хватило…

«Вот так финт! — изумился Валерий. — Не брезглив товарищ прокурор — не гнушается и мелочишкой».

Мокрушин меж тем смотрел на него простодушно и ласково — ни дать ни взять, добрый доктор Айболит. Скажи ему сейчас то, что просится на язык — как ребёнка обидишь. А не скажи — мерзость на душе останется. Ведь он и не смущается — даром что ещё недавно клеймил с трибун взяточников и стяжателей. Да и чего смущаться? И перед кем, если он убеждён, что сегодня все так живут? Время, говорят, такое. Но время для всех одно. А люди в нём — всё-таки разные. И каждый сделал выбор задолго-задолго до этого времени…

Отступление 5-е

Всех нас так или иначе учили (или приучали?) играть в поддавки. С Валерием это произошло во время службы на флоте.

Был он тогда уже старшиной команды и секретарём комсомольской организации дивизиона живучести. Дело шло к тому, чтобы получить от командования направление на подготовительные курсы в университет, а там — гражданка, студенчество, вольница… Команда у него числилась отличной, а в комсомольской жизни он пытался всеми силами преодолеть казённую, мёртвую показуху и формализм. Выпускал с друзьями яркую, смешную стенгазету, которую сбегались читать со всего корабля; собирал сослуживцев на встречи с теми, кто возвращался из отпусков — чтобы обсудить их впечатления о жизни дома; проводил турниры смекалистых и сильных…

На беду, прислали в ту пору на корабль нового замполита. Майор Урусов, мало того, что не понимал особенностей флотской службы, оказался ещё и педантичным уставником. Вызывая в каюту членов комсомольского бюро, он знакомился с ними как на допросе: «Фамилия? Имя? Отчество? Род занятий родителей?.». Дивизионную стенгазету он упразднил: «Не положено! Хватит корабельной многотиражки». Встречи с отпускниками тоже отменил: «Мало ли что они там наговорят?!» Попытки Валерия поговорить о психологической разрядке пресёк на корню: «Устав этого не предусматривает!». Температура взаимонепонимания накалялась.

Нарыв лопнул во время очередного выхода в море. Поход выдался тяжёлый: людей на корабле не хватало, вахту приходилось стоять каждые четыре часа, к тому же две недели нещадно штормило, плюс учебные тревоги, выпадавшие, как назло, на короткие часы отдыха… Словом, к моменту возвращения все были измотаны до предела. И за полночь, когда Валерий, сдав вахту, надеялся хоть немного поспать, его растолкал вестовой: «К Урусову!». Валерий догадывался, зачем он понадобился замполиту ночью — чтобы к приходу на базу был выпущен боевой листок. Неужто ради этого вставать, перебивать сон? Дело-то пустячное… «Скажи, что ты меня не нашёл» — ответил он вестовому. Благо, на крейсере больше восьмисот помещений, и завалиться спать он мог где угодно. Вестовой с пониманием ушёл. Но едва Валерий увидел первый сон — явился снова: «Майор приказал найти во что бы то ни стало!» Спросонок Валерия понесло: «Не пойду!» — «Я вам что, мальчик, — туда-сюда бегать?!» — «Не пойду!» Минут через десять вестовой опять возник в сумерках кубрика: «Замполит приказал взять двух матросов и привести тебя силой!»

Дело принимало нешуточный оборот, и сна, по правде говоря, не было уже ни в одном глазу. Но когда Урусов увидел перед собой Валерия, то, наверное, понял, что он на грани срыва. И тихо сказал: «К приходу в базу должен быть боевой листок». Валерий ответил «есть»…

Но вместе с боевым листком появился ещё один — объявление о том, что вечером состоится партсобрание с повесткой дня «Персональное дело кандидата в члены кпсс В. С. Моисеева (попытка невыполнения приказания)».

Кандидатского стажа Валерия к тому времени оставалось всего два месяца. Ребята над ним подтрунивали: «Думаешь, с корочками карьера быстрей пойдёт?» Он отшучивался стихами Евтушенко: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю её!»

Сенька Байлов из боцманской команды, с момента встречи в корабельном карцере — дружок закадычный, тот прямо спросил: «Как же ты можешь вступать в партию, в которой *все эти?*» — «Потому и вступаю, что снаружи их не достать и не выковырять — надо попробовать изнутри!»

И вот теперь, когда до рубежа оставалось всего-ничего… А ведь ещё и по самому больному ударят — не дадут «добро» на подготовительные курсы. Значит, целый год для учёбы терять?!

…Собрание прошло точно по сценарию: и сообщение Урусова прозвучало как сообщение ТАСС о поимке шпиона, и товарищи по партии не жалели гневных слов, и приговор был единогласным: исключить! В конце замполит спохватился: как доверять такому комсомольскую ячейку? Освободили и от обязанностей секретаря…

Но чем хороша бюрократия — она сама себя страхует. Решение собрания должны были поочерёдно утвердить партбюро дивизиона, партсобрание корабля, партком корабля, наконец — парткомиссия базы. И с каждой ступенькой ущерб обороноспособности страны, нанесённый строптивым старшиной команды, по-видимому, терял в весе. Исключение сначала заменили строгим выговором с занесением в учётную карточку, потом — строгим без занесения, в конце концов — просто выговором, который, хоть и не подарок для кандидата, всё же оставлял шанс. Чтобы его реализовать, Валерий попросил дать ему какое-нибудь общественное поручение — взамен секретарских обязанностей. «А что тебе поручить?» — пожали плечами товарищи по партии. «Могу быть агитатором», — подсказал Валерий.

В корабельной лавке он купил общую тетрадь в ледериновой обложке, расчертил на столбцы и графы и вывел на первой странице: «Дневник агитатора». Утром следующего дня в тетради появились первые записи:

«16 сентября, 6:10. Беседа с матросом Коркиным о пользе личной гигиены.

6:30. Беседа с матросом Гобызовым о влиянии физической зарядки на моральное здоровье личности.

6:45. Беседа с коллективом 3-го отделения 1-й команды о качестве приборки в кубрике и на боевых постах.

…22:40. Беседа с матросами 2-го отделения трюмной команды о роли вечерних тренировок для изучения материальной части и отработки навыков управления механизмами корабля в условиях, приближённых к боевым».

Изо дня в день в течение двух месяцев он без устали заполнял тетрадь подобной чушью, оберегая записи от посторонних глаз. Наконец пришёл день, когда товарищи по партии собрались, чтобы решить судьбоносный вопрос: снять с него взыскание и принять в члены — или отказать как не оправдавшему доверия. Урусов, уверенный в исходе, сидел в углу как на троне. Когда Валерию предоставили слово, он рассказал, как идёт служба, признал факт своего грехопадения, потом, отчитываясь о выполнении общественного поручения, раскрыл тетрадь и начал читать…

Сперва окружающие слушали его с недоумением. Потом стали смотреть с сочувствием: не иначе, свихнулся парень от строгого взыскания. Спустя минут пять в кубрике раздались смешки. А вскоре уже всё собрание хохотало, заглушая порой исповедь кандидата. Урусов, посиневший от злости, вскочил с трона:

— Чему смеётесь? Ведь он издевается над нами!

Но кто-то из офицеров, успевших и на себе испытать службистское усердие замполита, вполголоса заметил:

— Почему же над нами? Это он над вами издевается…

Триумф был полный. Валерия приняли в партию, отпустили на курсы и в университет, майора перевели в какую-то береговую часть. И всё, казалось бы, хорошо. Но чем дальше в прошлое уходила эта история, тем отчётливее Валерий сознавал: фактически победил Урусов. Он, этот раб буквы, вынудил и его действовать по своим правилам. Не только Валерию — всем, кто был участником или свидетелем конфликта, он показал, что истинные мысли и чувства человека не значат ровно ничего, всё решают слова и фразы, сказанные нужным тоном, в нужное время и в нужном месте. Замполит, этот инженер человеческих душ, заставил его сыграть в поддавки, уступить лицемерию, заронив ядовитую веру в то, что в жизни так и надо: ловчить, притворяться, приспосабливаться — иначе ничего не добиться.

Не только участники того собрания — целое поколение усвоило уроки урусовщины. Разве тесть его, Никита Петрович — не тот же Урусов, когда приходит в ярость, если статьи и поступки Валерия не соответствуют «требованиям момента»? А Суриков с его победительной способностью управлять людьми — банкирами, министрами, журналистами, опираясь на их готовность следовать общепринятым условностям, политической моде или корысти? А Мокрушин, прикрывающий прокурорскими связями свою угодливость перед Мотей Лебедянским и стыдливо вымогающий «откат» за одно лишь обещание помочь ближнему? А Юрка Сливочкин, этот наёмник пера с репутацией рыцаря справедливости?

Вообще вся эта политкорректная лексика последних десятилетий: «несуны» вместо «воры», «коррупционеры» вместо «взяточники», «конформизм» вместо «предательство» — разве не свидетельства конечного торжества урусовщины?

Валерию вспомнилась недавняя телепередача о конфликте двух титанов космической эры — Королёва и Глушко. Королёв настаивал на кислородном двигателе для ракет, Глушко считал его опасным и потому непригодным. Что ему было делать? Уступить авторитету Королёва, что было, конечно, проще и уютнее? Но он пошёл на конфликт. В конце концов его принципиальность стоила Королёву жизни, а стране — потери приоритета в космосе. Ну, а если бы наоборот? Или Глушко должен был уступить, даже считая себя правым? Мог ли он уважать себя после этого? И чего бы стоила правота, основанная на такой уступчивости?..

Нет, ничто не просто в этом сложнейшем из миров! А конформизм, замешанный на лицеме-

рии, — крепчайший, почти нерушимый сплав. Но неужели вечный?

От Халатного переулка до Тверского бульвара пути всего ничего — два пролёта на метро. Но Валерий шёл пешком. Предстояло осознать себя в новом качестве — «безработный», привыкнуть к нему как к рубищу, клейму, которое, казалось, бросается в глаза каждому встречному-поперечному и от которого чуть не за версту разит прелью, плесенью. Он понимал, что ничего такого ещё нет: и одет он нормально, и выбрит, и даже туфли начищены «по Сурикову». Но как сам он, по журналистскому наитию, с первых минут даже в незнакомом собеседнике угадывал внутренний разлад, неуверенность, тревогу, так и в нём сейчас, наверное, кто-то читает почти панический страх, ощущение неотвратимого краха. В мозгу вертелась строчка детского стишка: «Где работать мне тогда? Чем заниматься?»

На углу Кузнецкого моста и Неглинки от этих раздумий Валерия отвлекли нелепо-весёлые повизгивания. У крыльца дурно пахнущей на всю округу пельменной он увидел точильщика, из-под рук которого исторгались салютные залпы искр. Приблизившись, Валерий стал наблюдать эти яркие, победительные фейерверки, не подвластные ни мороси, ни ветру. Заметив его, точильщик подмигнул:

— Привет!

— Привет, — вяло улыбнулся Валерий. — Я уж думал, никогда больше не увижу такое чудо. И почём оружие для пролетариата?

— Эт смотря какое… Нож — за 250, ножницы — за 500, они тонкости требуют. Ну, а, скажем, полный приклад к мясорубке — «штука»!

— Не поняла я, — остановилась рядом старушонка, — какая штука?

— Ты, мать, не волнуйся — с пенсионеров денег не берём, — успокоил мастер. — Коли надо, приноси свои железки. Я, кроме выходных, всегда на месте. А если что — заходи в пельменную, спросишь Александр-Сергеича.

— Надо же — прямо Пушкин!

— А я и есть Пушкин!

— Да ладно…

— Не веришь? Пушкин, тебе говорят! И живу в Пушкине, на Пушкинской горке… Всё одно к одному.

— Не бывает таких совпадений!

— Не бывает, что медведь летает, а ведь на московской Олимпиаде и такое случилось. В жизни оно что хошь бывает! Я с детства Пушкин, с тринадцати лет. Мужики из села на фронт ушли, в кузне работать некому, вот меня и приставили на выучку к деду Захару. Сначала все Санькой звали — по привычке, но через полгода — Александр-Сергеичем, и только. А уж после — Пушкин да Пушкин. Даже когда инженером стал, лазерщиком. Вот и свыкся. Хотя по чести сказать — из Бураковых я. А семья наша — из-под Костромы, Сусанинского району. Слыхал?

Попрощавшись, Валерий двинулся дальше и поймал себя на том, что идёт улыбаясь. Всю неделю он просидел в библиотеке у Лидии, где открыли наконец доступ к подшивке старого парижского журнала «Лики России». Первые номера открывал как волшебную дверь в каморке Папы Карло — под звон в ушах и с дрожью в пальцах. Увиденное потрясло его. Люди, низвергнутые с высот благоденствия в пыль и грязь чужбины, враз обнищавшие, бесприютные изгнанники родины, — как сумели они под коростой обид и ненависти сохранить не только нежную, даже деятельную любовь к отечеству, но и спасительное достоинство в быту? Пусть не все и не везде. Но журнал, издаваемый усилиями кумиров публики — Буниным, Куприным, Зайцевым, Алдановым, — вот он, насквозь пропитанный их любовью и достоинством. В каждом номере — сообщения со всех концов Европы, Азии, Америки, отовсюду, куда занесла нелёгкая беглецов из России: как живут, что делают, чем душу спасают. И, наверное, эмигрант, готовый было с отчаяния хоть в петлю, вдруг чувствовал: он не один, не одинок, есть общность судеб и веры, сила слабых — в единении, действии, духостоянии…

В Париже — конкурс красоты? С ума, что ли, сошли от горя? Не иначе, пир во время чумы. Но не похоже! Вот она, первая красавица эмиграции — Марина Шаляпина, дочь великого певца. И сколько рядом таких же чудных девушек, не растерявших в скитаниях волшебной русской красы! А где-то в провинциальных городках Франции, Германии, Швейцарии — тысячи других, печалующихся о своей судьбе: годы уходят, и где найти-подобрать то единственное, без чего она не мила и не нужна вовсе — счастье женское?! Конкурс парижский — это для них. Надежда, свет, опора… Но тут же, на соседней странице — боль, вырвавшаяся не то в стон, не то в крик:

Мы последние в нашей касте
И жить нам недолгий срок.
Мы коробейники счастья,
Кустари задушевных строк!
Скоро вытекут на смену оравы
Не знающих сгустков в крови,
Машинисты железной славы
И ремесленники любви.
И в жизни оставят место
Свободным от машин и основ:
Семь минут для ласки невесты,
Три секунды в день для стихов…

В следующем номере — сообщения с родины. На Украине голод, есть случаи каннибализма. И где — на хлебной Украине, кормившей всю страну?! Страшно… А в Москве сносят храмы. Беспризорных с улиц забирают в чк. Как, детей? Их-то за что? Страшно… Листаешь страницы — и вот фотография: в Риме прошёл всемирный конгресс русских эмигрантских организаций. Всемирный — а народу на снимке от силы человек пятьдесят. Может, всё же найдут выход, соберут силы? Надежда, свет, опора… Но тут же — стихи, от которых и свет гаснет, и опора слабеет:

Мы судим, говорим порою так прекрасно,
И мнится — силы нам великие даны,
Мы проповедуем, собой упоены,
И всех зовём к себе решительно и властно.
Увы нам: мы идём дорогою опасной.

Пред скорбию чужой молчать обречены, —
Мы так беспомощны, так жалки и смешны,
Когда помочь другим пытаемся напрасно.
Утешит в горести, поможет только тот,
Кто радостен и прост и верит неизменно…
……………………………………………
Пред силой истинной склоняюсь я смиренно:
Не мы спасаем мир: любовь его спасёт.

Страницы журнала, кажется, сочатся болью, но — не жалобами. Наоборот, дышат гордостью за страну, которая, верилось им, очнётся, поправится, воспрянет. Недаром, что ни номер, то рассказы о русском чуде: о каслинском литье, дымковской игрушке, жостовских росписях, вологодских кружевах… даже о нежинских огурчиках! Да как написано!

Тимурка (в один из вечеров Валерий позвал его с собой) изумился:

— Пап, смотри — здесь и о нашем Хотькове есть!..

Во всю страницу красовался резной ковш, изготовленный умельцами подмосковного села ещё в середине XIX века. Теперь, едучи мимо Хотькова на дачу, они видели только унылых старух, торгующих при дороге домашней снедью, полуразрушенные склады пиломатериалов, облепленные спившимися, бесформенными личностями, да старый женский монастырь, обособленный от окрестного мира гордыней своих высоких стен.

— А как же умельцы? Куда подевались их внуки-правнуки?

— Начнём свой журнал издавать — узнаем… Но ты видишь, какая на ковше резьба? Такой узор в суете не вырезать, тут не только мастерство — душевный искус нужен был!

— Искус?

— Именно! Искус, искусство… Чувствуешь, где корень? Страсть, мечта, воля…

На них зашикали соседи («В библиотеке находитесь!»), и разговор прервался. Но как же нестерпимо захотелось Валерию взяться наконец за осуществление своей мечты!

Особенно потрясали лица. В одном из номеров журнала попалась подборка цветных снимков. Цветные — в 1931-м году? Валерий вчитался в статью. И узнал новое для себя имя — Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Из дворян, закончил Технологический институт в столице, стажировался в Берлине и Париже. Там увлёкся фотографией и уже на парижской выставке в 1900-м предстал настоящим мастером. Потом объездил всю страну, снимал и пейзажи, и портреты, в Сибири сфотографировал даже солнечное затмение. Будучи химиком, изобрёл собственный способ цветной фотографии, благодаря которому получил приглашение сделать портрет Льва Толстого в Ясной Поляне. А какой поэзией исполнены остальные снимки! И чарующе-праздничный Никольский собор в Можайске. И мост через Волгу во Ржеве — не надменно-покоряющий, будто оседлавший величавую реку, но уважительный и деловито-надёжный — под стать ей самой. И здание Пермской биржи — не агрессивно-торгашеское, как можно бы предположить по нынешним биржам, а радушное, будто пряничное, всем видом располагающее к дружелюбному общению.

Но самое удивительное — лица. Один из снимков называется просто — «Крестьяне слушают балалайку». Под окном бревенчатой избы — стол с самоваром, за столом на лавках — мужики, бабы, ребятня, в резном окне под соломенной стрехой — лицо совсем старушечье: видать, не под силу уже выйти хозяйке на люди. Но так ладно да весело играет под окном балалаечник, что не улежишь, не утерпишь, порадуешься вместе со всеми. И такая на лицах благодать, такой покой и благородство, какое и счастьем-то назвать — мало будет. Ведь счастье — это что? Довольство. А довольство рождает опаску, смятение, боязнь утраты. И вот уже нет счастья, беспокойство одно. А на этих лицах — уверенность в себе, в окружающих людях, в незыблемости всего сущего на земле. Их ли вина, что их жизнью распорядилась чужая воля?! Теперь таких лиц вокруг и не увидишь. О них только и скажешь: лики…

Невольно вспомнилась собственная командировка в Испанию, в Барселону, выпавшая ему незадолго до ухода из газеты. Там из протокольного официоза удалось выкроить пару часов, чтобы просто побродить по городу. Он безмятежно гулял по живописным улицам, любовался дерзновенной пластикой гениального Гауди, замирал у двустрельчатой громады собора Заграда Фамилия, нечеловеческую завершённость которого людям до сей поры не удаётся воплотить во всем величии замысла. И вдруг…

Он поймал на себе удивлённый, даже встревоженный взгляд. Затем другой, третий… Оглядел себя, проверяя, всё ли в порядке в одежде, в причёске. Подошёл к ближайшей витрине — нет, отражение не давало поводов для беспокойства. Но взгляды продолжались — насторожённо вспархивали навстречу, сопровождали несколько шагов, давили в затылок. Недоумевая, Валерий почти лихорадочно стал сравнивать себя с окружающими — и наконец понял: у него было другое лицо! Посреди беззаботных, уверенных, жизнерадостных лиц оно было чересчур озабоченным, словно помечено знаком беды. На фоне окружающих это выглядело почти неприлично. И люди реагировали на эту скрытую беду — она их тревожила, волновала, будто несла им самим какую-то несознаваемую опасность. Вероятно, Валерий с его напряжённым лицом смотрелся чуть не террористом, замыслившим свой зловещий акт. Предположив это, он усмехнулся, сделал глубокий выдох и постарался расслабиться. Взгляды прекратились. Теперь, рассматривая журнал, Валерий подумал, что и в той, старой русской деревне, его, нынешнего, тоже встретили бы насторожённо. И значит, другие лики у сегодняшней России, другие! А потому возрождённый журнал не просто должен — вынужден будет отразить эти перемены.

«Возрождённый!» — мысленно передразнил себя Валерий. — Тут бы самому хоть как-то возродиться…».

Утром в кабинет прибежала Наташа:

— Моисеев, к Руслану Юрьевичу!

Суриков против обыкновения не встал навстречу, не протянул руку, не пригласил сеть.

— Ну, что будем делать, Валерий Сергеевич?

Валерий пожал плечами.

— Вы же умный человек… — Суриков поднял на него глаза, будто ожидая согласия или возражений. — Умный человек, а поступаете как… Вы, что же, полагали, что вас никто не вычислит?

Этот вопрос прояснил ситуацию. Несколько дней назад в «Честной газете» была опубликована статья Габунии против законопроекта о привлечении инвестиций. Статья получилась острая, злая, но на фоне массовой пиар-кампании в пользу зпи она вряд ли хоть в малой степени нарушила бы политический штиль, если бы не два обстоятельства. Во-первых, в ней приводились конкретные расчёты, выкладки, примеры из зарубежной практики, а во-вторых, она подгадала в аккурат к обсуждению закона в Совете Федерации и …отлично помогла оппозиции. Законопроект был провален.

— «Честная газета» — это что? Вы у них в штате или как? Сначала ваш собственный опус о доме, который якобы присвоил мэр… Я промолчал, хотя нашим партнёрским отношениям вы, мягко говоря, не помогли. Думал: случайность, бес попутал, решил человек напомнить профессиональному сообществу, что есть у него ещё порох в пороховницах. Теперь вот статья вашего подзащитного непосредственно против экономических интересов Континент- банка… В той же газете — и наверняка при вашем содействии, верно? Тогда как это называется, Ваша Высокопринципиальность? Что, «Честная» неплохо платит?

Услышав последние слова, Валерий сразу успокоился.

— Руслан Юрьевич, не сбивайтесь на пошлости. Вы-то знаете, что деньги тут ни при чём. Но у человека есть мнение, а высказать его негде. Нигде и никому оно не нужно — «неформат». А у него душа болит: слишком дорого может обойтись стране ошибка. И как ему жить, зная, что мог упредить, помешать — но не сделал этого? Чем этот монетарный тоталитаризм лучше прежнего, идеологического?

Суриков устало опустил голову.

— Вы садитесь, садитесь, — почти примирительно бросил он. И, тяжело вздохнув, продолжил: — Видит Бог, Валерий Сергеевич, я надеялся помочь вам пережить эти непростые времена. У вас нелады с женой, проблемы с сыном, вы не востребованы в профессии — и я хотел вывести вас из тупика…

— На большую дорогу? — перебил Валерий.

— Если хотите — да, на большую дорогу, — не смутился Суриков грубым намёком. — Я понимаю: мораль Аркаши Перовского вы не разделяете, стиль Матвея Абрамовича Лебедянского вас шокирует… Всё так! Но ведь вы не можете не признать, что работа в стенах Госдумы, в Институте кризисов, в нашем рекламном бизнесе дала вам какой-никакой новый опыт, помогла осмыслить новые реалии, приобщиться к самому, быть может, важному сегодня — выработке новых законов…

— Да уж, за это особое спасибо!

— А что вы иронизируете? Говоря высоким штилем, создаётся правовая основа нового государства.

— Да нет, ничего… Просто я постиг, что законы пишутся людьми. И если законы не исполняются…

— То..?

— То, значит, они лицемерны — ровно настолько, насколько лицемерны люди!

— Хорошо сказано… Но, знаете, Валерий Сергеевич, меня стали утомлять наши постоянные дебаты. Понимаете?

— Конечно.

— Вот и чудесно. Надеюсь, вы не заставите меня искать формулировку для приказа?

Проснувшись, Валерий не сразу осознал себя в пространстве. Окно туманно бледнело, предвещая близость рассвета, где-то за пределами квартиры — не то под полом, не то над потолком — звучали возбуждённые голоса, сливаясь в неразборчивую, раздражающую смесь, а рядом… Рядом на подушке жарко спала женщина.

И тогда он вспомнил…

Сначала был телефонный звонок.

— Ну что, допрыгался?

За последние дни он уже вторично слышал этот вопрос. Первым задал его многоуважаемый тесть — правда, в более непринуждённой редакции:

— Довыёживался, публицист?

На этот раз звонила Зарницкая.

— Ты-то чему радуешься? — хмуро отозвался Валерий.

— Да как не радоваться, родимый?! Поди, не каждый день удаётся сломать кайф нашим депутатикам! К тому же, рейтинг «Честной газеты» растёт, от рекламы отбою нет. Так что, твой гражданский подвиг будет отмечен повышенным гонораром.

— Выше пособия по безработице?

— Мои-сее-ев! — укоризненно протянула Галина. — Князь Гвидон, как ты помнишь, не жалел о своём благородном поступке. Ему Царевна Лебедь что сказала? «Не тужи, что за меня есть не будешь ты три дня». Ты мог бы не есть три дня? И, заметь, безо всяких гарантий на будущее! А чем дело кончилось?

— Сказка — ложь…

— …Но в ней намёк! Короче — собирайся! Тебе надо встретиться с одним человеком. Может, это судьба!

— Батюшки, уж не собираешься ли ты меня сватать?

— А что? Сам не можешь — значит, нужна сваха… В общем, дорогу теперь знаешь, так что к шести часам жду в редакции!

Редакцией Зарницкая называла три небольшие комнатки в трёхэтажном здании заводоуправления бывшего почтового ящика. Ещё недавно «ящик» был сверхсекретным — выпускал не то самолёты, не то вертолёты. Но теперь, не получая заказов даже на скороварки, доставшиеся ему по планам конверсии, пытался выжить тем, что оптом и в розницу сдавал в аренду единственное своё достояние — служебные помещения. Галка, с её природной хваткой, сумела заполучить апартаменты бывшего отдела кадров, что означало вход с улицы без обременительной волокиты с

пропусками. Сначала, правда, были проблемы с графиком работы: заводская охрана по привычке требовала с окончанием рабочего дня закрывать помещения и сдавать на вахту ключи. Но Галка быстро доказала отставным воякам, что у газеты своё поле брани, а потому живёт она по своему уставу, и жить иначе для неё смерти подобно. Вот и сейчас, несмотря на конец рабочего дня, в окнах редакции горел свет. Вахтёр у проходной проводил Валерия вдоль здания бдительным взглядом, фиксируя посетителя лучше любой видеокамеры.

— Наконец-то! — воскликнула Зарницкая, поднявшись навстречу. — Полчаса опоздания, конечно, не назовёшь вежливостью королей, но… не будем рабами времени! Знакомьтесь! — повелительно предложила она.

— Павел, — назвал себя её гость, успев перед этим отхлебнуть глоток кофе.

Заметно моложе Валерия, одетый по моде, но не вызывающе, он, похоже, не чужд был военной выправки, поскольку, прежде чем протянуть руку, непроизвольно вскинул её к виску, как бы отдавая честь. «Где-то я его видел», — мелькнуло в голове у Валерия. Едва мужчины обменялись парой фраз (Валерий — с облегчением, поскольку понял, что «сватанье» не потребует от него развлекательного фиглярства), Галина прервала обмен любезностями:

— Всё, всё! Едем ко мне! А то я знаю: на пустой желудок — и разговор пустой!

Жила она возле ВДНХ, в панельном доме, куда когда-то получали ордера многие комсомольские аппаратчики и журналисты. Квартира была двухкомнатная, уютная, без рюшечек-побрякушечек, которые можно было ожидать увидеть в женском гнёздышке. И пока хозяйка хлопотала между кухней и гостиной, мужчины, выйдя на балкон, не торопясь, что называется — ощупью, наводили меж собой мосты. Впрочем, наводил больше Валерий — Павел, похоже, что хотел, о нём уже знал. О себе он сообщил, что ещё недавно действительно служил в морской авиации, но, когда жизнь армейская стала замирать, служба потеряла смысл и перспективу. Уволившись, он занялся бизнесом, оказался, в отличие от многих бывших сослуживцев, вполне удачлив. И теперь, когда стал зарабатывать, как он выразился, не только на сухую корочку, но и на хлебный мякиш, ищет надёжных партнёров.

— Торговля? — полюбопытствовал Валерий, не очень понимая, зачем Галка устроила эту встречу.

— Не только, — уклонился от прямого ответа Павел, воспользовавшись тем, что хозяйка позвала к столу.

После двух-трёх рюмок марочного французского коньяка беседа пошла живее.

— И какого рода партнёры вам нужны? — вернулся к теме Валерий, предположив, что от него ждут посредничества с банком.

— Понимаете… — начал было Павел, но Галина решительно перебила:

— Мужики! Вы будто девочку на первый секс разводите — всё вокруг да около! Журнал он хочет издавать, Валера, — понимаешь, фирменный представительский журнал.

— Да, это правда, — улыбнулся Павел.

И вместе с улыбкой на его лице, угловатом и бугристом, будто наспех вырубленном из морёного дерева, появились, как у ребёнка, две ямочки. Это было так неожиданно, что и Валерий не смог удержаться от улыбки. Правда, нить разговора не потерял:

— Но вы представляете, во что сегодня обходится издание журнала?

Павел нахмурился.

— Поверьте, Валерий Сергеевич, у меня нет охоты к праздным разговорам. Когда я задумал журнал и стал искать квалифицированного партнёра, мне попалась в руки ваша статья. Она мне понравилась, и я позвонил Галине Васильевне. Вот почему я здесь. Смысл нашей встречи в одном — решить, можем ли мы работать вместе.

От властного тона и резких слов собеседника Валерий внутренне взорвался, и детонация от этого взрыва могла бы убить всё дело в зародыше. Но Галка была начеку:

— Валера, у Пал Палыча через несколько часов самолёт, так что не будем отвлекаться…

— Я не знаю, чем могу быть полезен при издании представительского журнала! — едва подавил Валерий вспышку самолюбия.

— А что вас смущает? — Павел и не думал смягчать тон. — Я же не диктую вам содержание или направление издания — по той простой причине, что ничего в этом не смыслю. Я не требую также, чтобы журнал печатал мои портреты и речи, хвалил мою фирму и стиль работы, — подобная трепотня способна только отвратить настоящих деловых людей.

— Но тогда в чём состоит представительский характер журнала?

— Только в одном: там должно быть внятно сказано, что издаёт журнал моя фирма и что её приоритеты — исключительно интересы России… «Лики России» — так, кажется, называлось парижское издание? Вот это и есть главное. Вот почему на этом месте мне нужен не раб, а партнёр. Не захотите — сделаем без вас, — закончил Павел в том же стиле.

Последние слова прозвучали почти как ультиматум, но Валерий не подал виду, что сердце у него застучало с перебоями.

— Раб или партнёр… В чём разница, если у одного в руках деньги, а у другого — только сами руки?

— Где партнёр поможет, там раб предаст! — убеждённо проговорил Павел. — Да, в отличие от партнёра, он всегда повинуется твоему сценарию, но это вовсе не значит, что он по твоему сценарию живёт.

— То есть, вы требуете в залог не только тело, но и душу?

— Я не люблю разговоров о душе. Знаете, почему в России есть феноменальные достижения, но нет общего феноменального прогресса? Некоторые объясняют просто: мол, слишком большая страна. А дело-то в другом. Если, к примеру, немцы, заметив успех соседа, следуют его примеру, то мы его оспариваем, осмеиваем, ставим палки в колёса, даже вредим. Или другой пример: мы постоянно твердим, что американцы чванливы. Но они-то безо всякого гонора собирают и

внедряют технические новинки со всего мира, а мы даже из-за электролампочки затеяли вселенский спор — кто её первым придумал, Эдисон или Яблочков! В этом, что ли, чёрт возьми, национальная гордость?! Сегодняшнему пареньку из-под Козельска плевать, что компьютерные программы делает Билл Гейтс — ему важнее, что, освоив эти программы, он не только найдёт хорошую работу, но и сможет сделать что-то полезное для страны, а смотришь — и для всего мира. Если хотите, в каждом нормальном человеке живёт патриот, только не заставляйте его клясться в этом на страницах школьных прописей.

Валерий не заметил, как его горделивый внутренний пыл постепенно стал угасать, уступая симпатии к этому бескомпромиссному, убеждённому человеку.

— А вы знаете что-нибудь о журнале, который я хочу возродить?

— Достаточно того, что вы это знаете. У меня другой бизнес. Не думаю, что люди, покидавшие Россию вынужденно, могли плевать в сторону родины. Это нынче, чуть за бугор, человек начинает подличать: мол, и вода у вас слаще, и хлёбово — сытнее, а у нас от веку — сплошь дураки да плохие дороги… И невдомёк ему, убогому, что Россию-то унизить ему не под силу, а вот сам — будто опарыш на старой ране, одна мерзость от него… Помню, во время антиалкогольной кампании случилось мне отдыхать в Варне. И я наблюдал, как известный наш тележурналист, академик, уж так изгалялся публично над этой нашей бедой, что я с тех пор видеть его не могу — всё время кажется, что он каждым своим словом лизоблюдствует на публике. Вот этого уж точно не должно быть в нашем журнале!

— А чего сейчас вы ждёте от меня? — спросил Валерий, заметив, что Павел посмотрел на часы.

— Давайте договоримся, — собеседник встал и по строевой привычке оправил рубашку под ремнём. — Подготовьте, пожалуйста, концепцию журнала — такую, какой считаете нужной. Недели хватит? Отлично! Потом встречаемся и обсуждаем. Договоримся — начнём работать, нет — стало быть, не судьба. А сейчас мне пора — лечу в Саратов. Простите, коли чем обидел…

— Мы вас проводим, — встрепенулась Галина.

— Спасибо, я уже вызвал машину. Корчагина, десять, подъезд второй — верно?

Он ткнулся губами в Галкино запястье, улыбнулся при рукопожатии Валерию, снова удивив своими неуставными ямочками, и ушёл вниз по лестнице, не дожидаясь лифта.

Валерий сидел ошеломлённый. Не верилось, что вот так вдруг начинается то, чего он ждал все последние годы.

— Так не бывает, — проговорил он, когда Галина вернулась от двери. — Откуда ты его выкопала?

— Ниоткуда. Сама второй раз вижу.

— И уже пригласила домой?

— На афериста вроде не похож… Он и вправду объявился после твоей статьи. Позвонил, пришёл… Боишься?

— Да нет… В конце концов, что я теряю?

— Вот именно! И за это стоит выпить…

— А сам-то он чем занимается? — спросил Валерий после рюмки. — Опять же нефтью? Или алюминием?

— Ты знаешь — нет! Я вот так же спросила, он даже посмеялся. Не для того, говорит, я родине служил, чтобы из неё кровушку высасывать. Красиво сказал!

— Даже слишком. Но из ничего денег не сделаешь…

— Всего я пока не знаю. Но главный его бизнес, как ни странно, — перерабатывающая промышленность. Где-то в Черноземье — не то в Белгороде, не то в Курске — купил сначала один сахарный завод, потом второй, третий… Если помнишь, недавно они вообще на боку лежали: сырья нет, сахар в магазинах не то кубинский, не то украинский… А он в это дело вложился, стал на рынке цены сбивать. Я слыхала, на него даже покушения были — сначала на автотрассе, потом в подъезде… Но вывернулся мужик! Теперь и за мукомольные заводы взялся. А недавно выступил на парламентских чтениях и предложил целевую программу «Малые города». Деревню, говорит, мы уже потеряли — и былого не вернуть, в столичных небоскрёбах производителей не вырастишь — на асфальте не растёт ничего, только горы окурков и пивных банок. Сила России, говорит, будет прирастать малыми городами: там и земля под ногами, и человек на виду. Нужно, мол, всего-ничего: дать ему работу и устроить жизнь по-человечески. Как в Европе!.. По-моему, в этом что-то есть, а?

— Любопытно… — тут Валерий невзначай глянул на часы. — Ничего себе, мы гульнули! Хоть просись у тебя переночевать… Шучу, шучу! — поспешил он с оправданием.

— А чего ты засуетился? Оставайся, — отозвалась Галина, направляясь в кухню с остатками ужина. — Я в спальне, ты — на диване в гостиной. А хочешь — наоборот…

Валерий промолчал, но когда Галина вернулась, поднялся и направился к двери. Она подошла и, заглянув в глаза, взялась за лацканы пиджака.

— Оставайся, а? Я девушка свободная, можно сказать — невеста… А, перефразируя кавказскую народную мудрость, кто мужчину ужинает, тот его и танцует.

— Галка, ты вправду чудесная девушка, но…

— О-о-о, сейчас ты похож на Зою Космодемьянскую: ни одного поцелуя без любви! Да не заставлю я тебя жениться, не боись! Проспишься — и катись…

Она пошла в гостиную и велела уже оттуда:

— Ну-ка, помоги стол отодвинуть!

Потом, уже в темноте, Валерий послал ей в спальню бестактный вопрос:

— Галка, извини, конечно… У тебя что, никого нет?

— В смысле — любовника? Да целый взвод, только свистни! — а, помолчав, добавила совсем другим тоном: — Есть с кем спать, да просыпаться не с кем…

Через минуту, закутанная в простыню, она вдруг выросла у изголовья:

— Ну-ка, подвинься, каменный гость!

И, по-хозяйски умостившись рядом, обхватила его за шею.

— Гала…

— Молчи! — шепнула она из губ в губы.

Этот шёпот, да ещё выпитое, да ещё головокружение от неправдоподобно близкой мечты вконец обезоружило Валерия. К тому же, он знал за собой давнюю, с годами лишь укоренявшуюся слабость — до сердечной боли ему было жаль всех женщин. Он помнил и жалел проводницу Райку с тем неразгаданным прощальным поцелуем, жалел свою взбалмошную Лидку с её замурованной в казематах библиотеки тягой к высшему обществу, жалел и секретаршу Наташку, увядающую в унылых семейных сварах, теперь вот Галку — такую успешную, победительную, но и такую слабую сейчас. Он просто не знал, как себя вести. А она — знала…

Позже, отдышавшись, он, в досаде на свою податливость, отомстил ей:

— Знаешь, на что это похоже? На плату за услугу.

Она отпрянула, потом сползла мимо него с постели и встала белесым призраком в черничном проёме балкона.

— Пошёл вон! — прозвучало оттуда.

— Не понял… — сказал он. Хотя, что было не понять?

— Пошёл вон! — тихо, но отчётливо повторила она.

Валерий поднялся и молча стал натягивать брюки.

Одевшись, подошёл к ней и вымолвил:

— Прости, пожалуйста. Я — дурак.

— Дурак! — почти радостно выговорила она и, повернувшись, уткнулась ему в грудь: — Самый настоящий, самый дурной дурак!

Он гладил её по волосам и повторял:

— Но я же не люблю тебя, понимаешь? Не люблю… Ну, что тут поделаешь?!

— А кто сказал, что я тебя люблю?

— Но тогда… извини, опять обидишься… тогда что это? Просто случка?

— Мне холодно, — пожаловалась она, и Валерий уложил её под одеяло.

— А ты не заметил, — заговорила она, угревшись, — что все теперь не живут, а притворяются? Бездарности притворяются талантами, невежды — эрудитами. Трусы хотят выглядеть крутыми, чиновники — бедными. Эстрадные звёзды фигуряют на льду или лезут под купол цирка, фигуристы упражняются в вокале… Каждый словно боится показаться скучным. В политике, в творчестве, даже в любви… Быть самим собой — скучно! И уже никто никому не верит. Ни во что и ничему… Ни-че-му!

— Но нам-то зачем притворяться? Чтоб быть как все? Моя бабушка…

— Господи, только не надо про бабушку!

— Напрасно. Она всегда говорила…

— Ты так и будешь сидеть одетый?

И Валерий снова уступил. В постели, обняв её, он признался:

— Понимаешь, мне почему-то всегда жаль женщин…

— Мужской шовинизм?

— Не думаю. Мне кажется, сегодня, как никогда раньше, женщина чувствует себя товаром.

— А человек — вообще товар! Разве нет? Политики и журналисты, менеджеры и чиновники, артисты и режиссёры, учителя и врачи — все имеют свою цену. И когда говорят «рынок труда» — на самом деле имеют в виду рынок человеческий!

— Когда-то говорили — невольничий…

— Теперь считается — свободный, — в азарте Галина поднялась на локте и возвышалась над Валерием как на трибуне. — Ни один строй не смог отменить главного — продажи человека человеку. Утопия о безденежном обществе на деле только обесценила человека. А при демократии весь вопрос лишь в том, чтобы ты сам определял себе цену — ты, а не кто-то, кто хотел бы на тебе нажиться…

Галина опустила глаза и разглядела в сумраке его улыбку.

— Господи, — спохватилась она и упала навзничь на подушку. — Услышал бы кто, о чём говорят в постели мужчина и женщина, — сказал бы: дурдом!

…Теперь она утомлённо спала, а Валерий, вспоминая ночной разговор, думал, как всё же много и беспорядочно намешано в человеческой жизни. Высокое и низменное, подлость и благородство, чистота и грязь — всё вместе, рядом, порой — одно и то же, лишь с какой стороны смотреть. И кому судить, кто за что ответит?..

Стараясь не разбудить Галину, Валерий оделся, подошёл к двери. Потом вернулся и, вырвав лист из блокнота, написал: «Прости!» За что он просил прощения — за ложь в постели или за тайный уход? Наверное, за всё сразу.

В квартире Габунии Валерий застал какой-то сиротливый неуют. Посреди гостиной, напоминая чудовище со вспоротой утробой, стоял огромный чемодан. Рядом — на кресле, на диване, прямо на ковре — лежали вещи. Кира Максимовна то потерянно укладывала их в утробу чемодана, то вынимала и возвращала уже в другом порядке. Ираклий Георгиевич, без видимого смысла передвигаясь следом, приговаривал: «Царица моя, ну зачем ты это затеяла? В конце концов, на улицу-то нас не выбросят!»

Приходу гостя оба обрадовались как избавлению.

— Вот, — уселся хозяин в кресло, прямо на груду одежды. — Перед вами, Валерий Сергеевич, плоды незрелой отечественной демократии.

Кира Максимовна протянула Валерию листок, в котором значилось: «Департамент… правительства г. Москвы, рассмотрев статью… «Дом, который присвоил мэр»… сообщает… Критика признана справедливой… Договор с компанией «шаг» расторгнут…»

— Прекрасно! С чего же аврал? — Валерий поднял глаза на Ираклия Георгиевича.

— Читайте, читайте…

Дальше шло: «В целях исключения подобных нарушений и сохранения дома… как памятника истории и архитектуры… провести капитальный ремонт с отселением жильцов… и передать ответственному арендатору… под административно-деловой центр».

— Ловко! — не удержался Валерий. — Нэ вмэр Данило — болячка задавыла!
— Что? — переспросил Габуния.
— Это поговорка украинская. В смысле: не мытьём, так катаньем.
— А, ну да…
— По существу, издевательство!
— Люди во власти — они, дорогой мой, искушённее нас. Знаете, какой строй сейчас в России? Я бы назвал его диктатурой чиновничества. Вот вы радуетесь: не сегодня-завтра начнёте выпускать журнал. А вы уверены, что тот же мэр, вице или какой-нибудь зиц-мэр пустит вас на порог? Он что, обязан с вами разговаривать? Перед вами отчитываться? Он избран народом или, на худой конец, назначен тем, кто избран народом. А вы кто? Самозванец? Так почему он должен видеть в вас глашатая народных масс? Или хотя бы полномочного представителя части этих масс? Нет такого закона! А без информации из первых рук журнал ваш быстренько выродится в компилятивное, развлекательное издание, каких и сейчас пруд пруди. А в худшем случае…
— Худшего не будет! Во всяком случае, делать его буду не я! — резко отреагировал Валерий.
— Простите, не хотел вас обидеть, — смягчился Ираклий Георгиевич.
— Обидно другое: жизнь одна, а растрачиваешь её на всю эту чиновничью шелупонь! Как подумаешь, сколько талантливых, умнейших людей мучались, изнемогали, даже гибли в такой борьбе…
— Жизнь одна, говорите? Оч-чень двусмысленная фразочка!
Валерий удивлённо поднял брови. Габуния заметил это и добавил:
— Я бы даже сказал — опасная фразочка! На ней ой как много человеков сломалось!
— Да что в ней опасного?! — Валерий любил минуты, когда старик загорался какой-то мыслью и азартно, с упоением разворачивал, распластывал её перед собеседником, открывая в ней потаённые, подчас самые причудливые извивы. Сейчас Валерий надеялся этой немудрёной хитростью ещё и вывести его из состояния тревоги. И Габуния завёлся.
— «Другой жизни не будет!»… С той минуты, как человек вдруг осознаёт это (в юности ли, в зрелом возрасте — это у всех по-разному), с этой минуты он неуловимо, но и неотвратимо меняется. Для одних это звучит как беспощадный приговор. «Как?! Значит, смерть неизбежна? И, что бы я ни делал, спасенья нет?!» И они, пришибленные этой неотвратимостью, можно сказать, душевно уже скончались — съёжились, согнулись, свернулись, смолкли. Их земное бытие становится просто муравьиным копошением — в грядках, тряпках, копейках… Мелкие радости, мелкие обиды, мелкие страсти измельчают их самих, сужают горизонт до ближайшего окоёма и сводят весь смысл их существования к воспроизводству некоего количества биомассы…
Ираклий Георгиевич, возбудившись, встал из-за стола и увидел, что Валерий держит на коленях диктофон.
— Это зачем?
— Может пригодиться для журнала…
— Вы думаете? А впрочем… — и он продолжил: — Для других факт одноразового своего явления на свет звучит как призывный боевой клич. «Ах, другой жизни не будет? Стало быть, бери от неё всё, что хочешь и можешь». Всё испытать, всё вкусить, всё на себя примерить!.. Из таких рыцарей действия часто выходят авантюристы, герои, первооткрыватели — дерзкие, безудержные, неустрашимые. Но — осторожно: страх лишиться бесценного, невозвратимого дара жизни способен породить и трусость, подтолкнуть к предательству. Как часто именно опасением не успеть насладиться радостями земного бытия питаются жадность и зависть, подлость и карьеризм, жестокость и воровство!
— Ираклий Георгиевич, но ведь ещё недавно мы учили наизусть совсем другие постулаты. До сих пор помню: «Жизнь даётся человеку один раз, и прожить её нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» Так, кажется?
— У вас неплохая память… Но чем заканчивается эта заповедь Корчагина, помните? «Вся жизнь, все силы были отданы… борьбе за освобождение человечества».
— Я вижу, вы тоже забывчивостью не страдаете.
— Заметьте: вся жизнь! А кто-нибудь спросил у человечества — нужна ли ему такая жертва?.. Да, во время войны заповедь работала, придавала сил и мужества, побуждала к подвигам. А в мирное время? Что конкретно от меня, рядового обывателя, требуется в мирной повседневности для освобождения человечества?.. Молчите? Не знаете? Вот и наши бывшие идеологи не знали, почему и придумывали всяческие лозунги, почины. И получилось: как только померкла конечная цель, всяк по-своему стал толковать «бесцельно прожитые годы».
— Минутку, минутку! — перебил Валерий монолог хозяина. — А как же свобода?
— Вы правы. Пожалуй, из всех абстракций только свобода сохраняет ценность для человека и человечества. Но потому лишь, что она, по сути, — ключ ко всем житейским благам. Реальную свободу дают и обеспечивают нынче сугубо прозаичные средства: деньги, образование, карьера. Поэтому и к ней дорога вымощена, увы, подчас самыми низменными пороками.
— Не ожидал, Ираклий Георгиевич! Вы — и вдруг такой беспросвет…
— Почему беспросвет? Я ещё не закончил. Есть и другие категории людей. Скажем, жизнелюбы. Эти не бросаются в авантюры, не преступают закон. Они просто могут себе позволить жить в своё удовольствие, с размахом. Для них — все земные краски и радости: моря и острова, еда и напитки, рассветы и закаты, яхты и рестораны, женщины и собаки, слуги и партнёры, политики и актёры… Всё для них, всё — досыта, взахлёб. Но если вдуматься, их бытие — всё та же муравьиная бессмыслица. И тот же итог: некое количество биомассы.
Габуния замолчал, подошёл к окну и распахнул створку. Увлёкшись, мужчины не заметили, как стемнело, а Кира Максимовна, убрав со стола, ушла отдыхать. С бульвара сквозь рокот

автомобильного потока изредка прорывались выкрики подростков, всплески женского смеха. Окрестный сумрак то и дело взрывался троллейбусными сполохами, вдали на небосвод проецировалось зарево от фонарей Манежной площади и Александровского сада. Люди за окном жили своими радостями и заботами, им по-разному было в этот вечер — весело, тоскливо, тревожно или празднично. И всё это было жизнью — во всём её многообразии, во всей её суетности и упоительной бессмыслице.

— Хотите посмотреть? — спросил, не оборачиваясь, Габуния.

Валерий подошёл и выглянул в окно. Глаза медленно привыкали к темноте бульвара.

— Видите? Вон, у дорожки, чуть правее фонарного столба…

На скамье под фонарём располагалась шумная ватага молодёжи. А в двух-трёх шагах от неё — видимо, из той же компании — присели под деревом две девицы. Зачем присели — догадаться не составляло труда. Но в голове это не укладывалось: девушки! на бульваре! прилюдно!

— Нет слов! — только и прокомментировал Валерий.

— А что удивительного? — усмехнулся Габуния. — Накачались пивом — вот организм и требует. Куда деваться? Тут вечерами не то ещё бывает!.. Не правда ли, красноречивая картинка на фоне памятника истории и архитектуры?

Он грустно вздохнул и, притворив окно, вернулся к столу.

— Они молоды, — продолжил он, — и они теперь не зубрят откровения о том, что жизнь даётся человеку один раз…

— Ну, рано или поздно сами до этого дойдут!

— Разумеется… Если только к тому моменту вообще не потеряют способность думать… Впрочем, я хотел бы договорить. Так вот, по моей классификации, есть ещё одна человеческая порода. Эти, не в силах поверить в конечность живого мира — такого прекрасного, одухотворённого, исполненного высокого смысла, убеждены во втором и навечном своём пришествии сюда. И потому нынешнее своё пребывание на свете считают лишь предуготовлением к последующему, настоящему. Это, безусловно, помогает им переносить тяготы и лишения. Там, куда меня заносила судьба, такие люди были самыми стойкими, воистину несгибаемыми. Но здесь, на воле, их пример мало кого вдохновляет. И не потому только, что никто ещё не представил доказательств второй или третьей жизни. Просто они, эти стоики, уповая на потустороннюю, истинную, как им кажется, жизнь, откладывают на потом все радости своего пребывания на земле, а по сути — отрекаются от него. Навсегда!

— По-вашему, значит, выхода нет?

Габуния, похоже, и не расслышал вопрос.

— Богословы всех времён и народов, — продолжал он, видно, давно и трудно выношенную мысль, — были издревле мудры. Озаботясь нравственным выживанием человечества, они в основу всех своих проповедей положили главное средство против пороков — укрощение желаний. Но жизнь, развиваясь, насмешливо демонстрирует тщету этих усилий. И тем самым рождает опасение, что вырождение человечества неотвратимо!

Произнеся это, Ираклий Георгиевич прошёл к плите и снова включил конфорку под чайником.

— Сегодня вы явно в меланхолии, — резюмировал Валерий, выключая диктофон.

— Это всё, что вы можете сказать? — почти обиделся Габуния.

— Почему же? Я окончательно убедился, что здесь, — Валерий постучал пальцем по диктофону, — крепкая основа для интересной журнальной дискуссии. Если не возражаете, мы начнём её в первом же номере. Правда…

— Что правда?

— Мне кажется, в наше время мало охотников задумываться о смысле жизни. Так что, придётся полемику подогревать из редакции.

— Не думать о смысле жизни — значит, обессмысливать саму жизнь!

Валерий обрадованно заключил:

— Вот это мы и сделаем девизом дискуссии!

«Мы живём, под собою не чуя страны…»

В какую озарённую минуту выхватил поэт из потока сознания эту Богом продиктованную строку, в каждом слове которой — свой, отдельный смысл, а в их сплаве — ещё один, общий, непоправимо трагический?! Даже безликое «под» звучит как обвинение: своё «мы», оказывается, для нас «над» и превыше всего, а страна — она где-то «под», после…

Обдумывая концепцию журнала, Валерий нежданно подцепил на задворках памяти давно знакомую строчку и теперь безуспешно пытался выбросить из головы. И по улице шёл — будто маршировал под неё, и спать ложился — не мог отделаться. Строка была как наваждение: он с нею спорил, соглашался, бунтовал — и вынужденно покорялся её беспощадному приговору.

«Мы живём, под собою не чуя страны…» А ведь те, что издавали журнал в изгнании, за тридевять земель, — они всё же чувствовали за собой страну. Именно «за», а не «под»! А мы? Что мы, шаркающие по столичному асфальту, знаем о том, как живёт чернозёмная, уральская или сибирская тьмутаракань?

Снова и снова приходил Валерий в библиотеку к Лидии, всматривался в старые, прежние «Лики России», пытаясь понять, что помогло непритязательному, даже невзрачному на вид изданию стать одним из самых востребованных и авторитетных в те страдные годы. И однажды ему пришло слово: миссия!

Когда тысячи русских людей бесприютно мыкались по свету, когда на родине бушевали невиданные, непонятные, пугающие перемены, и всюду невесть по чьей воле гибли и гибли соплеменники — друзья и враги, знакомые и незнакомые, старики и младенцы, — для тех, кто уцелел, тоненькая журнальная книжица была ниточкой, соединявшей их друг с другом в долгом, беспросветном лабиринте общей судьбы. Это и была миссия — миссия спасения.

А сегодня? Успешные, как Лебедянский и Суриков, или выпавшие за борт — как

точильщик-лазерщик из Пушкина; беззащитные, как та старушка в пригородной электричке, — или молодые и наглые её вагонные спутники; мудрый и неукротимый ратоборец Габуния — или бывший комсомольский таракан Шлыгин, решивший переждать тревоги где-то в хлебном далеке… Все разные, они, каждый по-своему, тоже хотят выжить, найти себя в новом времени и пространстве. Как им дать понять, насколько они зависят друг от друга, открыть, что, какие пути ни суждены каждому, выход из лабиринта всё равно один? И если ковчег затонет, то погибнут все — чистые и нечистые, а если выплывет — то и жить-существовать останутся они же?

…Валерий готовил кучу аргументов, чтобы отстаивать продуманную концепцию журнала. Но Батыршин Павел Павлович (так значился в визитке его новый патрон) с предложенным вариантом согласился не споря. А вот вопросом своим сильно удивил:

— Как полагаете, когда мы сможем провести презентацию?

Валерий не сдержал изумления:

— Да вы представляете себе объём работы?!

— Достаточно, что вы это представляете, — сухо отозвался Батыршин. — Я же не тороплю — просто спрашиваю: когда?

— Ну, не знаю… Сначала надо журнал зарегистрировать, разработать макет, собрать и отредактировать материалы… Думаю, полгода уйдёт, не меньше…

— На всё — три месяца, — отрубил Батыршин. — Вы же профессионал!

— Но я — газетчик!

— А я — заводчик! И моё дело не ждёт. Три месяца! Не справитесь — считайте, что я в вас ошибся.

«Чёрт возьми! — подумал тогда Валерий. — Ты-то можешь сказать: ошибся. А у меня на ошибку ни прав, ни времени!» И он сам не заметил, как в его действиях, поступках, даже интонациях стал проявляться тот же стиль — наступательный и жёсткий.

— Ты изменился, — заметила при встрече Лидия.

— Изменишься тут! — не то подтвердил, не то пожаловался он. — Кажется, чего проще — зарегистрировать журнал? По закону как: подай заявку, представь документы учредителя — и дело с концом. Так нет, месяц в министерстве волынили: бумажки не так оформлены, сотрудник болен, бланков нет, всякая другая чушь… Потом намекнули: нужен «откат»! Какой откат, спрашиваю. «Договоримся. Главное, скажите — вы согласны?» — «Но деньги-то не мои! Да и как это оформлять?» — «Ну, схемы могут быть разные…» Представляешь, у них уже целые «схемы» отработаны! И куда денешься, где что докажешь?

— А типография! — возмущался он через неделю. — Такую цену заломили, что даже у Батыршина челюсть выпала. Я навёл справки: оказалось, печатать у финнов вдвое дешевле — при том, что и сроки короче, и качество печати на высоте, и вообще для меня никакой головной боли: ни бумагу закупать, ни склад арендовать. Сдал макет — через две недели готово. Я опять в типографию, говорю: «Вы же просто выталкиваете нас за границу! Сами-то как жить собираетесь?» Не понимают! Им сейчас деньги подавай, да побольше…

— Ну, а коллектив складывается? — угадала Лидия самую больную проблему.

Начав набирать кадры, Валерий будто заново узнавал тех, с кем бок о бок работал добрый десяток лет. Лёшка Славин, который совсем недавно помогал ему разобраться с публикацией в «Деловой газете» и которого он готов был пригласить к себе замом, первым делом спросил: «Платить сколько будешь?» Услыхав, что этот вопрос с издателем «пока не обсуждался, но будет решён на уровне», Лёшка рассмеялся: «Старичок, ты думаешь, я брошу насиженное место «ради нескольких строчек в журнале»? Наивняк! Сумма прописью и контракт с гарантиями — вот о чём ты должен договориться с самого начала!»

Валерий, как ни противилась душа, признал Лёшкину правоту и заговорил об этом с Батыршиным. Тот воспринял всё по-деловому и действительно назначил вполне привлекательные условия. Но приглашать Славина Валерию почему-то расхотелось.

Среди прежних коллег желающие прийти в журнал нашлись. Но с чем прийти? Бывший ведущий критик газеты стал настойчиво предлагать давние свои публикации на исторические темы. Попытки Валерия убедить его, что каждый материал журнала, даже исторический, должен отвечать на сегодняшние, самые больные вопросы, вызвали взрыв амбиций:

— Мальчишка! Мне даже в ЦК не делали подобных внушений!

Другие с первого дня явно «отбывали номер»: нарушали договорённости по срокам, по темам, словом — халтурили, относясь к журналу с равнодушием временщиков, в то время как Валерий искал в них единомышленников. Он горячился, с жаром объяснял свои замыслы, в нарушение всех правил приносил из библиотеки номера старого журнала, пытаясь увлечь примером литературных кумиров — всё напрасно. Глаза не загорались.

Третьих вроде бы зажигать и не требовалось — они сами готовы были на труд и на подвиг. Но этих обуревала классовая патетика.

— Ты что?! — возмущался бывший редактор партотдела. — Хочешь, чтобы я обслуживал олигархов? Живоглотов, обокравших народ и страну? Надо сделать журнал трибуной борьбы! Из него должны сочиться боль и кровь!

И как ни старался Валерий объяснить, что ни болью, ни кровью сегодня никого не проймёшь: люди столько испытали и насмотрелись за двадцатый век, что важнее вернуть им радость сожительства, способность в самих себе находить и ценить талант жить, — разговоры кончались ярлыками:

— Да ты просто предатель! Ренегат!

Расставаться с давними коллегами, которых он уважал и за профессионализм, и за человеческие качества, было горько. Но Валерий всё отчётливее сознавал: поступаться нельзя. Надо искать не тех, с кем знаком, а тех, кто хочет и может работать. А боль, которая якобы должна сочиться со страниц, — она неизбежно напомнит о себе сама.

В один из дней он отправился в церковь. Точнее даже, не в церковь, а к её настоятелю — отцу Михаилу Орлову, который был известен в Москве как богослов и публицист, нередко печатался в газетах, выступал по телевидению, и Валерий надеялся привлечь его к сотрудничеству в журнале. Служил отец Михаил в Храме Всех Скорбящих Радости, недавно восстановленному. В своё время его разрушили — под тем предлогом, что при социализме не может быть и не будет скорбящих, а уж коли такое случится, то радости надо ждать никак не от храма, а исключительно из рядов пролетарской солидарности. Разрушителям, видно, не приходила в голову мысль о том, что иной раз человека утешить нечем, да и невозможно — ему необходимо просто помолчать наедине или замолить, заговорить боль утраты. И тогда нет для него ничего важнее, чем такое место на земле, где его молитва-исповедь естественна и желанна.

Сам Валерий был в детстве крещён, всегда в командировках заходил в церкви, костёлы или мечети, любуясь искусством старых мастеров, создавших эти хранилища человеческих дум и чувствований. Но, когда доводилось присутствовать на службе, он испытывал некоторую неловкость — словно подглядывал из-за угла или в замочную скважину за кем-то, кто, не подозревая о посторонних, доверчиво открывался миру всем своим естеством.

— Помнишь, — рассказывал он Лидии, — мы ходили с тобой в рождественский сочельник ко всенощной в храм Живоначальной Троицы в Останкине? Проповедь нам понравилась, голоса певчих тоже, но в церкви было многолюдно, душно, под тяжестью дублёнки у меня затекли плечи, и я с трудом дождался, когда пришло время встать под благословение. Поцеловав икону, я наклонился тогда к руке батюшки, как вдруг губы ожёг электрический разряд. Помнишь?

Лидия неуверенно пожала плечами.

— Ну, я рассказывал — ты просто забыла… Так вот, священник тоже почувствовал это и отдёрнул руку. И хотя всё объяснялось статическим электричеством, скопившимся в шерсти злополучной дублёнки, в душе тогда остался тяжёлый осадок. Я даже подумал: может, сам дьявол помешал мне получить божественное напутствие?

— Мистика! — отмахнулась Лидия.

— Скорее всего, да. Мистика! Но я не забыл ещё и ту страшную грозовую ночь в Сан-Марино… Короче говоря, на встречу с отцом Михаилом я шёл с немалым волнением. Но он оказался моложе, тщедушнее, чем на телеэкране. И я подумал: надо говорить прямо, без церемоний. Сказал, что журнал будет светским, но хотелось бы видеть в каждом номере своего рода просветительскую рубрику, в которой…

— Просветительскую? — уточнил отец Михаил. — Но в таком случае, зачем вам я? С этим справится любой, мало-мальски толковый преподаватель университета.

— И ты знаешь, он довольно быстро убедил меня, что ради просветительства не стоит затевать журнал. Сегодня, когда миру явлены миллионы тайн, когда написаны миллионы книг, а на любой вопрос есть сотни ответов в интернете — причём, всесторонних, в самых разных вариантах… Нет, просвещение в наши дни, говорил он, это лишь дело ума и воли каждого, если хотите — зеркало его потребности. Спору нет, такую потребность надо в человеке воспитать, в чём и состоит обязанность родителей, роль учителей. Но сама-то потребность, по его словам, может быть только личной!

— И что, вы так ни до чего и не договорились?

— Погоди… Он согласился, взялся вести в журнале рубрику. Но при этом помог мне найти ключ…

— Ключ?

— Вот именно!.. Понимаешь, когда я открыл ему, как понимаю миссию, которую выполнял старый журнал, он в ответ рассказал о потрясающей встрече. Как-то на исповедь к нему пришёл необычный человек: старик не старик, бомж не бомж, юродивый не юродивый… Ну, долг священника велит выслушать любого. Отец Михаил и стал слушать. А тот говорит, что, мол, он бывший офицер и что в августе 91-го он из танка стрелял по Белому дому. Представляешь? Я, говорит, своей рукой наводил пушку на Дом правительства, сам стрелял и видел, как после выстрела повалил дым из окон.

— Но он выполнял приказ…

— Правильно! Отец Михаил так ему и сказал. Но танкист не успокоился. Он даже закричал: «О чём ты говоришь, отец?! Я, внук и сын русских офицеров, стрелял по русским — это как?! Они что, враги? Я же присягал не командирам и начальникам — я людям присягал! Я ведь жить теперь не могу!»…

— Ну, и что ему сказал священник?

— Не знаю… Думаю, нашёл какие-то нужные слова. Но мне он открыл то, над чем я бился все последние дни. Я понял: миссия сегодняшнего журнала — врачевание души… Постой, ты не поняла! — заспешил Валерий с объяснением, заметив на лице Лидии скептическую гримасу. — Врачевание не проповедью (пусть этим занимается церковь!), не митингами и речами — это дело политических кликуш… Нет! Мы постараемся вернуть людям историю страны, их родовую честь и национальную гордость… Вернуть сознание того, что все мы и каждый, кто рядом, — это и есть народ. Тот самый, которому принадлежат и эта страна, и власть, и всё, что рядом или вдали, и то, что происходит с нами сегодня, что станет завтра. Тот танкист — он ведь живёт на разрыве души. Как и все мы! Каждый из нас! Просто его больше нашего обожгло порохом — вот ему и больнее. А если вдуматься, мы все — обожжённые, понимаешь?

Он видел: Лидия понимает. Как ни странно, никто и никогда не понимал его так, как она. Может, потому и не смог никто до сих пор заменить её в его жизни. А то, что люди они оказались разные, — так ведь это не их вина. Вот только Тимурка… Его-то душу чем врачевать?

— Что ты слушаешь? — поинтересовался он как-то у сына, застав его с наушниками и плеером. — Опять свой балдёжный рэп?!

Сказал мимоходом, не придавая словам никакого особого смысла. Но Тимур взвился:

— Ты же ничего в этом не понимаешь! Ты уже просто старик, понял?! Тебе только классику подавай, занудство всякое: романсы, арии… Да если хочешь знать… — Тимурка весь дрожал в крике, на который в панике примчались и Лидия, и Елизавета Васильевна. Хорошо, Никиты Петровича не было дома — только его бы не хватало в этой внезапной истерической сцене.

Лидия решительно заняла сторону сына:

— Нам в своё время джаз запрещали — а теперь ты хочешь запретить им рэп и рок?

Валерий промолчал — только чтобы погасить истерику. Но после ужина, перед тем как уходить, не смог удержаться:

— Понимаешь, сын, в чём штука… Человеку свойственны самые разные состояния: он может радоваться, грустить, тосковать, торжествовать, благоговеть, восхищаться, огорчаться, злиться — как вот ты час назад… Он способен любить, робеть, унывать, горевать, злобствовать, завидовать, страдать, нежиться, печалиться, умиляться… А если ты все свои эмоции сводишь к одному состоянию — «балдеть», — ты уже неполный человек. Стало быть, неполноценный, ограниченный… Вот и думай, кто из нас прав!

Лидия, которая, конечно, всё понимала, тем не менее, прощаясь, покрутила пальцем у виска.

«Вчера около половины двенадцатого ночи в подъезде своего дома убит известный журналист, обозреватель «Деловой газеты» Юрий Сливочкин…».

Сообщение прозвучало по телевизору в тот момент, когда Валерий готовил себе завтрак. Он остолбенело уставился на экран, чтобы узнать подробности, позабыв, что держит ручку горячей сковородки. Она, конечно, тут же напомнила о себе. И, с грохотом выронив сковородку на пол, Валерий не расслышал ничего, кроме привычного «задержать преступников по горячим следам не удалось». Лёшка Славин, которому он кинулся звонить, тоже мало что знал.

— Версии разные. Кто говорит, убийство с целью ограбления. Денег при нём действительно не оказалось. Но часы «ролекс» остались на руке. Другие намекают, что пришили его из ревности — была у него тут… дама сердца, жена одного…

— Олигарха?

— Скорее, богатого отморозка… Третьи вычисляют, кому он насолил своими статьями. Я ведь говорил тебе, что он публицист по особо важным делам. Опять же — собирался баллотироваться в депутаты… Но милиция всё же склоняется к другому.

— К чему?

— По некоторым признакам, это дело рук скинхедов.

— А при чём тут… Он ведь не еврей! Юрий Савельевич Сливочкин — никакого следа, по крайней мере, в ближайшем колене…

— Ну, во-первых, по слухам, не Савельевич, а Соломонович. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А во-вторых, перефразируя советскую народную песню, «когда страна быть прикажет евреем — у нас евреем становится любой!». Одних евреями «назначают», другие сами записываются… Мой бывший сосед по дому, уж на что чистокровный осетин, но и тот нашёл у себя какую-то прабабушку с каплей еврейской крови — только чтобы уехать на пмж в Израиль. Пишет теперь, что работает по специальности, стоматологом, купил дом, дочку отправил учиться в Сорбонну…

— Ладно, про Сорбонну потом расскажешь. Почему ты решил, что тут скинхеды?

— Да потому что рядом на асфальте крест со стрелами нарисован, а на груди у Юрки книжонку такую бросили, и вообще…

— Но, может, кто-то намеренно под них поработал? Чтобы со следа сбить?

— Я ж тебе толкую: это одна из версий… В редакции все на ушах стоят.

— Встанешь тут! Я к нему, мягко говоря, любовью не страдал, но одно дело — когда это происходит где-то и с кем-то, а когда с человеком, которого хорошо знал… Как говорится, снаряды падают всё ближе!

— Да, не слабый подарочек к твоей презентации! Кстати, когда она?

— Через неделю. Ты будешь?

— Вопрос! Пожрать на халяву — это ж моё хобби! Я ни одних поминок не пропускаю…

— Циник чёртов! — только и сказал Валерий. — Имей в виду: я тебя на свои похороны не приглашу…

А презентацию Батыршин затеял пышную. Не по коню попона, как считал Валерий. Тем более, что убийство Сливочкина враз и надолго захватило умы, прессу и всё политическое пространство. Но предложение отложить торжество Пал Палыч отверг в своём стиле:

— Наш творец траура не знает — иначе бы жизнь остановилась!

И оркестр, как говорится, грянул…

По настоянию Батыршина список «допущенных к столу» оказался внушительным. В числе vip-персон явился в сопровождении двух спутников («неужто телохранители?» — предположил Валерий) Шипунов. С той поры, как он опасливо торговался в кабинете о цене своего депутатского голоса, Вениамин Александрович стал заметно осанистей и глаже. Карьера его шла в гору, он часто представительствовал на международных форумах, после чего авторитетно комментировал с телеэкрана позицию России в свете международного права. Удивившись было его приходу, Валерий вдруг сообразил, где он впервые увидел Батыршина: ведь это его тогда, на пьянке в думском кабинете Шипунова, представили как «владельца заводов, газет, пароходов»! Воистину узок мир человеческий…

Почти следом в ресторан вошёл, почти вбежал приземистый господин — такой низенький, что лакеи у входа, приветствуя его, склонились чуть не до полу. «Адам Шерстенников, железорудный магнат, — догадался Валерий, вспомнив имя хозяина «Деловой газеты». — Надо же, потерял своего лучшего журналиста, а вот аппетит не утратил. Неужто Батыршину такой закадычный друг?!»

Явлению Литмановича, Лебедянского, других, ему неведомых, но, по всему, не менее именитых

персон Валерий уже не удивлялся. Подумал только, что ту короткую, душевную речь, которую он собирался произнести на церемонии, надо выбросить из головы к чертям собачьим: она прозвучала бы здесь как реквием на карнавале. Сказать что-нибудь дежурное — да и дело с концом…

— Что ж ты сбежал, друг сердечный? — услыхал он за спиной знакомый голос.

В его список Галина не входила — значит, Батыршин сам её пригласил?

— Да вот сижу… вдали от шума городского… — слукавил Валерий, понимая, что упрёк был совсем не за то.

— Все вы, мужики, трусы! — констатировала Галина, при этом обнимая его. — Ладно, побегу смотреть твоё детище. Кажется, его уже принесли.

Действительно, в центре зала появились мальчишки с пачками журналов, возглашая:

— Покупайте «Лики России»! Новый журнал с давними традициями! Первый номер!

Народ хлынул на крики, и Валерий оценил этот простенький, но остроумный ход Батыршина.

Неожиданно, откуда-то из-под пальмы возник Аркадий Пестун, он же Перовский.

— Сколько лет, сколько зим! — с жаром протянул он обе ладони, зажав подмышкой экземпляр журнала.

— А ты здесь откуда? — чуть помедлив, Валерий всё же ответил пожатием.

— Уважаю! — продолжал Аркадий трясти его руку. — Ув-важаю!

В мозгу Валерия тут же возникло знакомое продолжение: «… у кого денег много!»

— Тусуйся! — вспомнил он напутствие Аркадия на банкете, где случилась первая встреча с Суриковым. Кстати, лёгкий на помине, Суриков тут же появился в его поле зрения.

— Здравствуйте, Валерий Сергеевич! Вижу, принимаете поздравления?

Аркадий испарился, оставив их вдвоём.

— Я полистал ваш продукт, — сказал Суриков. — На мой вкус, немного скучновато, но в целом — журнал вполне стильный. Даже классный! Надеюсь, на меня вы не в обиде?

— Да вроде бы не за что…

В этот момент по залу разлились мягкие, мелодичные позывные, приглашая к началу церемонии.

Извинившись, Валерий направился к подиуму, где перед микрофоном уже стоял Батыршин. Оглядывая зал, он не нашёл Габунии — не иначе, совсем расхворался старик. Не было пока и Лидии с Тимуркой. Может, застряли в пробке? Жаль! Накануне вечером получился с сыном душевный разговор — впервые за долгое время. Говоря о предстоящей презентации, он рассказал Тимуру про дерево в Кара-Кумах.

— Представляешь, под ногами у тебя — жёлто-серая глина. Сухая, как… ну, как асфальт… только весь в трещинах. И вокруг, во все концы до горизонта, такая же гладь: ни горбинки, ни травинки, ни кустика. «Тандыр» называется… Оглянешься — и кажется, что ты вообще один на земле.

— Жутковато!

— Не то слово… И, представь, далеко впереди ты вдруг видишь дерево. Зелёное, с пышной кроной! Откуда оно здесь, как выросло на этой раскалённой сковородке?

— Мираж?

— Да нет, настоящее дерево.

— Тогда оазис?

— Но почему дерево одно? Загадка!.. Мой спутник, из местных, только посмеивался. А когда подъехали, оказалось, что дерево искусственное. Ствол, листочки — всё как живое, но синтетическое. Спутник объяснил: здесь снимался какой-то фильм, и киношники, уезжая, оставили дерево посреди пустыни. Ради смеха.

— Ничего себе смех! Человек понадеется, что отдохнёт, спасётся от жары, а там обман. Издевательство!

— С одной стороны, ты прав. Но понимаешь… мне всё же кажется, что дерево оставили люди добрые. На той голой земле, куда бы ты ни ехал, оно то и дело притягивает взгляд. Волей-неволей! И пока ты видишь его, у тебя есть ориентир. Ты не собьёшься с пути, не потеряешься — потому что есть точка отсчёта, место, откуда всегда можно начать путь сначала… И знаешь, когда я мечтал о журнале, мне частенько виделось это дерево.

Тимур посмотрел на него каким-то новым взглядом и сказал только:

— Интересно…

И в этом коротком слове Валерию услышалось многое…

— А теперь, — услышал он голос Батыршина, — разрешите представить вам главного редактора журнала, человека, талантом и трудом которого рождался наш первый номер. Приветствуйте — Валерий Моисеев!

С последним шагом к микрофону Валерий решил наконец, о чём будет говорить. Что бы там ни было и кто бы тут ни стоял — эти люди пришли. Пришли на твой праздник. С этого дня они твои читатели. Значит, ты работаешь и для них. И кто сказал, что с первого слова тебя поймут, поверят, станут твоими единомышленниками? Если бы всё было так просто — стоило ли высокопарно говорить о какой-то миссии?

— Коллеги! — начал он вместо привычного «господа». — Наши предшественники, основатели журнала, на мой взгляд, нашли для него очень хорошее название — «Лики России». Открыв первый номер нового журнала, вы увидите, что он густо населён, — как и наш город, страна… Хочу пожелать вам: читая, всмотритесь в лица наших героев. Всмотритесь в окружающих. Всмотритесь в себя. Если делать это искренне и постоянно, думаю, многое в жизни увидится по-другому. Сама жизнь станет интересней и лучше. Для всех! И тогда мы сможем сказать себе, что делаем журнал не напрасно.

Ему слегка поаплодировали. И тусовка пошла своим порядком: еда, разговоры — в каждом круге о чём-то своём. Нормальное, в общем, дело. Но Валерию вдруг показалось, будто что-то произошло. Не в зале, не в городе — в нём самом. И люди вокруг предстали перед ним совершенно иначе.

Он увидел перед собой, где-то далеко внизу, гигантскую, медленно вращающуюся сцену, на которой миллионы актёров — талантливых и бездарных. Испокон времён играется на Земле

какой-то грандиозный спектакль. Гремят войны и совершаются подвиги, кипят страсти и происходят убийства, змеится зависть и вершится возмездие… Текут и текут жизни — в суете, в лабиринтах городов и паутине дорог, в гнездовьях жилищ и муравейниках континентов. И люди — миллиарды людей! — куда-то стремятся, волнуются, лицедействуют друг перед другом, изнемогая в этой бесконечной игре. Они сами сочиняют для себя житейскую пьесу — то комедию, то драму, они смеются и рыдают одновременно по одному и тому же поводу — поскольку то, что для одних счастье, для других — крушение, катастрофа. И нет у них режиссёра, который бы собрал, выстроил, упорядочил эту фантасмагорию — одновременно величественную и чудовищную. Но люди чаще всего того не сознают — они надеются, что режиссёр всё-таки есть, что он управляет этим видимым хаосом, верят, что благодаря ему их жизнь исполнена смысла, подчинена какой-то высшей, пусть непостижимой для них цели. Лишь иногда, оказываясь на краю, как бы внезапно прозревают и, не находя опоры ни под, ни перед собой, они в ужасе отшатываются от бездны — будто заглянули в чёрное, бездонное зеркало. И тогда они клянут режиссёра, забыв, что пьесу бытия сотворили сами, — но тут же, не в силах ничего в ней исправить, переписать набело, переиграть сначала, исступлённо взывают к этому невидимому творцу, умоляя хотя бы изменить конец — безвестный, но всегда устрашающий. Смеясь или грустя, ликуя или страдая, они спешат жить, спешат и верят, что однажды конец окажется-таки счастливым — и всякий раз, на протяжении вот уже десятков веков, убеждаются, что исход предопределён.

…И как же ему захотелось оказаться сейчас на том пологом холме, где он сидел рядом с отцом на коротко стриженой траве! Опрокинуться, как отец, навзничь, смотреть на торопливые облачка в небе и чувствовать под рукой живую землю — упругую, тёплую от солнечных лучей или прохладную, как исходящая испариной человеческая кожа. Теперь он понимал, чем отец так наслаждался в ту минуту. Покоем! Покоем на земле, которая ещё недавно вздрагивала под ним в окопах. Покоем в душе, которая позволяла ему стать наконец самим собой: не солдатом, не мстителем, а человеком — во всей щедрости этого чувства…

Казалось бы, давно закончилась война, но люди каждый день, с утра до вечера и с вечера до утра, бесконечно воюют друг с другом. Ради чего? Может, потому и остаются для них скупыми их собственные души? Что ж, надо так же повседневно и спокойно пытаться достучаться до них.

«Но не будет ли это такой же суетой? — спрашивал он себя. — Не означает ли это — смириться, жить как все?» И отвечал: «Может быть. В конце концов, разве я — не один из них? Но точнее всё же иначе: делать своё дело — и делать как можно лучше. Время рассудит…».

г. Москва

ДиН память

Николай Асеев

Песнь о Гарсиа Лорке

Почему ж ты, Испания,
в небо смотрела,
когда Гарсиа Лорку
увели для расстрела?
Андалузия знала
и Валенсия знала,—
Что ж земля
под ногами убийц не стонала?!
Что ж вы руки скрестили
и губы вы сжали,
когда песню родную
на смерть провожали?!
Увели не к стене его,
не на площадь,—
увели, обманув,
к апельсиновой роще.
Шёл он гордо,
срывая в пути апельсины
и бросая с размаху
в пруды и трясины;
те плоды
под луною
в воде золотели
и на дно не спускались,
и тонуть не хотели.
Будто с неба срывал
и кидал он планеты,—
так всегда перед смертью
поступают поэты.
Но пруды высыхали,
и плоды увядали,
и следы от походки его
пропадали.
А жандармы сидели,
лимонад попивая
и слова его песен
про себя напевая.

Сергей Кузичкин

Четвёртая встреча

Вечером шестого он звонит ей после девяти. В десять она заканчивает свои дела в салоне, и они договариваются встретиться через час на станции метро.

— Где тебе удобнее? На Калужской или на Проспекте Вернадского? — спрашивает она.

— Всё равно, — отвечает он, а она решает, что лучше на Калужской.

Надев тёмно-синий пуловер на выстиранную вчера рубашку, освежив лицо тройным одеколоном и положив в сумку бутылку красного вина, он выбегает в мартовскую темень. Бежит вдоль плохо освещённой улицы имени грузинского поэта Шота Руставели. Скользко, ветрено и совсем не чувствуется, что зима закончилась. В прошлом году в это время по столице уже во всю гуляла весна, а нынче где-то задерживается. Зябнут руки, и он на ходу надевает перчатки, поправляет на плече ремешок сумки, посильнее натягивает на лоб фуражку. В принципе, бежать ему не так далеко: до метро три троллейбусных остановки. Для бывшего спортсмена и репортёра, привыкшего к сибирскому размаху, это не расстояние. Вот уже и станция. Успешно миновав турникет и дежурного милиционера, он сбегает вниз по движущемуся эскалатору, и с ходу успевает юркнуть в вагон, прежде чем за спиной закрывается автоматическая дверь электропоезда. Поехал. На Менделеевской переход на Новослободскую, дальше по Кольцевой: можно до Проспекта Мира или до Октябрьской. Он едет до Октябрьской. Там снова переход, новая линия, новая электричка, расстояние в пять станций — и только тогда он на месте свидания.

В одном из переходов несколько женщин продают цветы: розы, тюльпанчики, мимозы. Он покупает мимозы. Жёлтенькие, весенние цветы, с кружащим голову запахом. Как раз, что надо. Небольшой недорогой букетик. Конечно, приличия ради, можно купить в подарок какую-нибудь безделушку: всё-таки канун 8-го марта. На женский праздник, международный в мировом масштабе, государственный и повально народный для Державы, принято что-нибудь дарить женщинам.

«Ладно, — успокаивает он себя, — и так уже далеко зашёл, пора остановиться. Она и без цветов меня встретит и хорошо приветит».

Последний отрезок пути кажется непосильно долгим, и он, то и дело, поглядывает на часы, понимая, что за час не укладывается. «Ничего подождёт», — думает он, не сомневаясь, что так и будет, хотя неловкость за опоздание на свидание с женщиной всё же тяготит. Наконец Калужская. Он хочет быть спокойным, но не получается. Нетерпеливо вглядывается в мелькающие лица, стоящих на платформе людей. По времени она должна уже быть. Он специально сел в первый вагон, чтобы проехать от начала до конца платформы. Её не видно. Может, сменила наряд? Решила удивить его? Вполне возможно, хотя вряд ли… Зачем? Его уже давно мало что удивляет. Ей тоже нет смысла сегодня производить на него впечатление. Это в салоне ей надо быть привлекательной, а он и так знает, что она хороша. В любой одежде и даже без неё. Красивые стройные ножки, изящная фигурка, чуть смугловатые щёчки, тоненькие губки, серо-зелёно-грустные глаза. По глазам тогда он и выбрал её. Хотя и по фигурке тоже, и по росту. Но глаза решили всё. С красивой фигуркой, в его вкусе, там были ещё две-три девчушки, но такого взгляда не было ни у кого. Взглянув ей в глаза с расстояния двух метров, он увидел…

На условленном месте он её не видит.

«Ничего, подожду, — успокаивает он себя, — Наверное, застряла в переходах метро». Но червячок сомнения уже шевелится, выползает из глубин души и медленно, просверливая сердце, ползёт к сознанию. «А может специально не торопится: хочет, что бы я хоть немного понервничал. Нет! Это на неё не похоже… И, что мне нервничать? Кто она мне? Не расстроюсь, если совсем не придёт. А чтобы не пропал вечер поеду на Коломенскую, к двум надёжным подругам, всегда готовым принять одинокого, исстрадавшегося без любви мужчину…».

Он уже нескрываемо нервно смотрит на часы. Они должны были встретиться полчаса назад. Но её нет, а он опоздал минут на двадцать. А что если она уже была здесь? Подождала с четверть часа и ушла, как раз перед его приходом? Решила, что у него поменялись планы. Левая рука его по привычке тянется к мобильному телефону. Может позвонить или послать сообщение? Указательный палец правой руки набирает привычные цифры. Но… Мощности его «Моторолы» не хватает, чтобы держать связь с внешним миром из подземелья. Остаётся ждать, прогуливаться по вестибюлю станции и всматриваться в лица девушек спешащих к эскалатору из прибывающих уже не так часто электропоездов.

На часах 23:40.

«Жду десять минут, и ухожу, — говорит он себе решительно, но тут же даёт отступного. — А может подняться наверх и всё-таки позвонить? Нет, нет! Это уже не в какие рамки… Уйду в 23:50. Или на пять минут позже. Это уже не важно. Через час в метро никого не останется, поезда перестанут ходить уже минут через сорок…».

Он начинает жалеть, что потратился на мимозы, что таскается с ними, как провинциальный лох. «Хорошо, хоть догадался взять с собой пакет — есть куда букет убрать. Со стороны не сразу понятно, что там — в лёгкой сумочке».

В 23:47 он решается в очередной раз пройтись туда и обратно, а потом уехать. Хватит ждать.

Сделав два шага от центра в левом направлении, он вдруг останавливается и, неожиданно для самого себя, развернувшись, решительно направляется к подошедшей электричке.

— Привет! Давно ждёшь?

Она появляется неожиданно. Который уже раз для него неожиданно. Как будто, специально где-то стояла и ждала — «до последнего»: когда он потеряет терпение, и только заметив, что он действительно уходит, вышла из укрытия. Но ведь он хорошо видел эту небольшую группу людей идущих от правого спуска в метро, а вот, что среди них была она, не разглядел. Почему он не узнал её?

Да это она. Галя. Галина. Галочка. Через месяц ей будет двадцать четыре. Сегодня она, как и в прошлый раз: в чёрной кожаной курточке, вязаной шапочке, джинсах. «Почему не заметил?»

— Привет… — отвечает он, после небольшой паузы. — Да, нет, жду недолго, минут десять, а может семь…

Растерянность скрыть не удаётся, но она будто не замечает его смущения.

— Я была здесь полчаса назад… — говорит она спокойно. — Тебя не было… Подождала немного, поняла, что задерживаешься, решила домой ненадолго съездить, подготовить кое-что к встрече. Знала, что поймёшь, подождёшь и не обидишься.

— А что мне обижаться…

— Вот и я так думаю,… Ты ведь у меня хороший…

Они поднимаются по эскалатору вверх, он пробует улыбаться.

Он у неё…

Вот как уже. Всё просто.

А она у него…

Ещё три месяца назад они не знали друг о друге, а теперь…

А что собственно теперь?..

~

«А что теперь-то будет, Алёшенька?», — спрашивает она. Он молчит. Она встаёт с постели, надевает сначала юбку, потом блузку, садится за стол у окна. Руки её быстро заплетают волосы в косу.

— Три месяца уже как я голову с тобой потеряла. Встречаемся тихонько… Думаешь, никто не замечает. Зажжённую свечу не спрячешь — огонёк далеко видно. И про нас тоже догадываются, только молчат пока. Года ведь не прошло, как я мужа схоронила, а как забрюхатю, что тогда? Срам какой… С мужем не родила, а тут от работника своего принесла… Невенчанная…

Завязав ленточку бантиком на кончике косы, она закрывает лицо платком. Он не поймёт: плачет она или нет.

— А какой срам? — говорит он, тоже поднявшись и застёгивая ворот рубашки. — Никакого срама нет. Уйдём в Суетиху жить. Там у отца с матерью домик есть… Там дорогу строить будут, говорят каку-то железную, по которой паровая машина ходит. Я на стройку пойду… И повенчаемся… Нам можно: ты вдова, я не был женатый…

«А родня? Моя? Его? Разве они дадут? Разве можно без благословения? — она открывает лицо, в глазах слёзы. — И зачем я тебя тогда не прогнала? Зачем поддалась? Стыд потеряла…»

Он хочет найти хорошие слова, сказать ей, хочет ободрить, успокоить, но, глядя на её крепкую фигуру, на тугую толстую косу, сползшую по плечу на крепкую грудь и колышущуюся в такт её частому дыханию, не находит, что сказать. Нет, он никому не отдаст её. Она его. Она должна быть его.

Он решил так, когда увидел её в первый раз. Увидел молодую жену богатого человека, к которому пришёл наниматься на работу и понял, что больше не может без неё. И она смотрела на него не так, как на остальных лесорубов, живших у них во дворе, ночующих и харчевавшихся во флигеле. Однажды, встретившись наедине, они заговорили друг с другом просто, без смущения, о каких-то пустяках и почувствовали взаимную симпатию. Потом они встречались ещё несколько раз, когда он уже с бригадой жил в лесу, на деляне. Встречались вроде случайно, кивали и улыбались друг другу. Потом появились причины. Он стал вести учёт заготовленного леса и не один раз приходил в дом, отчитываться перед хозяином.

Потом…

Потом его хозяин и её муж погиб. Случилось это на спиле. Хозяин приехал к заготовщикам: ходил возле стеллажей готового леса, осматривал новую деляну, и, зачем-то один, без приказчика, пошёл смотреть, как пилят лес. И угодил под падающую сосну. Приехавший из города следователь допросил всех работников, но виновных не нашёл. Определил происшествие несчастным случаем. После похорон хозяина, бригада лесозаготовителей получила расчёт и разошлась: кто домой, кто искать другую работу, а он остался. Остался по её просьбе — помочь ей по учёту. Жил некоторое время во флигеле, а после, по её совету, перебрался в домик на лесоучастке. Она приезжала несколько раз туда с подводами, за лесом и он помогал ей заниматься сбытом. Однажды, скорее нечаянно, чем нарочно, он коснулся её талии и не смог убрать руку. Она не отстранилась и не отвернулась от поцелуя.

Он встаёт, подходит, берёт за руку, горячую, гладкую, нежную и смотрит в глаза. Даже через слёзы, он видит искристый свет её души. За эти глаза он отдаст всё на свете, только не её. Ни эти светлые глаза. Ни эту горячую, согревающую его жизнь руку, ни эту косу волос, пахнущих свежим хлебом, ни жаркое её дыхание, ни вкус её поцелуя. Никого ему больше не надо. Ни отца с матерью, ни сестёр. Только её. Он, торопясь, целует ей руки, щёки, глаза… Нет ничего слаще горьковатых её слезинок.

Он не хочет, чтобы свидание их заканчивалось, не хочет, чтобы утро переросло в день, не хочет, чтобы их встреча сменилась разлукой. Он не хочет, чтобы она уходила. Она тоже не хочет уходить. То он, то она с тревогой поглядывают на

висевшие над кроватью ходики, стрелки которых не двигаются как обычно, а бегут.

«Что будет? Что с нами будет?..» — шепчет она, отвечая ему, горячим дыханием своих губ.

— Всё будет хорошо, всё будет, Наденька, хорошо… Всё у нас будет… — говорит он тихо.

— А что здесь будет, девушка? — спрашивает он симпатичную девчушку небольшого роста с вьющимися из-под пилотки до плеч волосами, отмечая про себя, как идёт ей военная форма: гимнастёрка, юбочка, даже кирзовые сапоги хочется назвать сапожками.

— Военная тайна, — отвечает она, улыбнувшись.

Он видит её впервые. Она стоит у дороги, а за её спиной суета: девчонки в военной форме под командованием мужчин-офицеров разгружают с полуторок вещмешки, ящики, брезентовые свёртки, ставят палатки. Она смотрит на него, опирающегося на самодельную трость — обыкновенную берёзовую палку… Правая нога у него без сапога, перевязана. Сам простоволосый, но побритый и с медалью «За отвагу» на гимнастёрке. Их взгляды встречаются, пересекаются, и время останавливается. Ничего нет в мире сейчас, ничего не было до этой встречи, ничего не будет потом. Есть только два мгновения, два человека, два взгляда. Две души истомившиеся в долгом поиске друг друга по Вселенной, наконец, встретившиеся и замершие от ожидаемой, но нечаянной встречи.

Он смотрит ей в глаза с расстояния в полтора шага: искристые, живые, весёлые. Вглядывается в них с наслаждением, проваливается в их глубину и видит там, глубоко, Великую, и не понятно почему, знакомую ему, Вечную печаль. Его сердце бьётся: быстрее, быстрее, быстрее… Лицо покрывается красными пятнами, дыхание прерывается.

Она…

Она.

Она!

Кричит душа его, стучится настойчиво в сердце: сильнее, сильнее, сильнее… Рвётся из тесной грудной клетки…

«Она! Она-а-а!!!»

Он смущённо перекладывает трость в левую руку, а рукавом правой потирает медаль.

— А мы с вами раньше не встречались? — произносит он, глотая слюну, банальнейшие слова.

Она продолжает смотреть в его глаза, глаза ещё минуту назад незнакомого человека, светло-зелёные, с тёмными точечками запёкшейся крови на зрачке, и видит давно знакомый свет. Он, невидимый для других, лучится в его взгляде, и в нём тонет яркий солнечный день, дорога, поляна, деревья, люди, нежный, тёплый свет, освещающий и освящающий их. Время останавливается, и она понимает: ради этой встречи.

Она хочет глотнуть воздуха, но не может, боится спугнуть остановленное мгновение.

— Не думаю… — тихо произносит она, после длившейся тысячу лет паузы, и время, отдохнув, снова начинает свой ход, постепенно увеличивая разбег, сжимая тысячелетие до прожитого мига, — Я из Рязанской области…»

— А я сибиряк… Правда, мои предки из-под Калуги вышли: дед Транссибирскую магистраль строил и семью в Сибирь привёз, — справившись с волнением, говорит он, — Жаль, что не встречались… Вы так на одну девушку похожи..

— Невесту вашу? — спрашивает она, сама, удивляясь своей смелости и заданному вопросу.

— Да нет. Невесты у меня пока никакой нет, — говорит он, смутившись, словно извиняясь. — Девушка одна мне часто во сне снится… Вы на неё похожи.

— Может, это я и есть? Та девушка, что вам снилась! — она смеётся, громко, легко, естественно и снова удивляется самой себе, что ведёт себя так с незнакомым вроде бы ей человеком. Но ей так приятно быть с ним. Ей хочется быть с ним. И даже неважно как его зовут. «Наверное, Сергей», — думает она.

— Меня зовут Сергей, — говорит он. — А Вас?

Ему хочется, чтобы её звали Лена. Так, как его младшую сестру.

— Лена, — говорит она.

Он готов к тому, что она назовёт это имя, но всё равно вздрагивает, когда она произносит ожидаемое им слово. «Лена. Ле-на…», — повторяет он про себя. Ему хочется, чтобы время снова остановило свой ход. Чтобы замерла минута их знакомства и растянулась до размеров Вечности. Чтобы исчезло всё, кроме неё. И война, и суета, и люди… Нет, люди могут остаться. Они им не мешают. Ему хочется, чтобы она стояла вот так перед ним долго-долго, всегда, а он говорил бы и говорил… Неважно что. Слова неважны. Важно то, что они встретились. И время, внимая его мольбе, вновь замедляет ход. На этот раз лишь слегка остановившись. Только на столетие замирают на лету птицы, оставаясь висеть в небе, ветер стихает, спрятавшись в листве деревьев, травы, вытянувшись в полный рост, стоят не шелохнувшись, замолкает мотор у машины-полуторки, появившейся из-за поворота, обрываются голоса людей, и люди останавливают движения на целых сто лет… Но он не замечает промчавшегося подаренного им столетия, и невидимое и всесильное время, встрепенув планету, снова входит в привычное русло.

Она вздрагивает, когда он произносит своё имя, тревога и сомнение, что его зовут как-то по-другому, уходят и тёплая волна накрывает сердце, вызывая добрую улыбку. Скрыв тревогу улыбкой, она в ответ называет своё имя. Ей хочется, чтобы он вот так смотрел на неё, бесконечно долго, здесь на этой зелёной солнечной полянке, у лесной дороги, а эта минута их знакомства всё длилась, длилась и длилась. Ей мало столетия и тысячелетия. Она не хочет с ним расставаться, не хочет уходить. «Зачем уходить? — спрашивает она себя. — Куда?» И сама же отвечает: «На войну, разгружать машину, ставить палатку, ухаживать за ранеными. Война идёт». Она чувствует, что ещё минута — и они расстанутся, что сейчас её окликнут, позовут, и она уйдёт, а он не сможет её удержать.

— Я не должен расставаться с Леной, — думает он. — Не должен и не расстанусь. Пусть война, пусть. Она ведь кончится… Мы должны быть вместе. Везде. Всегда… Только бы она не уходила!

— Лена! — кричат ей девчонки, из кузова только что подъехавшей автомашины, — Иди ящики разгружать. Ну, нельзя человека оставить ни на минуту. Оставили её вещи охранять, а она себе на посту жениха нашла.

Дружный девичий хохот возвращает их из Вечности в реальность проходящей жизни.

— Мне надо идти, мы тут летний госпиталь размещаем. Раненых много с передовой поступает, — говорит она.

— Мы ещё увидимся, — кивает он, понимая, что ей действительно надо идти А наш госпиталь вот, рядом. Я буду приходить…

— До встречи, — говорит она, и, повернувшись, идёт к машине.

«Я с нетерпением буду ждать встречи…», — думает он.

~

— А я с нетерпением ждал нашей встречи, — говорит он, когда они выходят из метро и направляются к остановке маршрутного такси.

Она молчит. При неярком свете фонарей ему не видно её реакции, но он уверен, что произнесённые им слова ей по душе, хотя могла бы что-то и сказать…

— А ты скучала? Или на работе не до того? — спрашивает он, понимая, что нервозность скрыть не удаётся.

— Ты можешь мне не верить, но я скучала, — говорит она, не останавливаясь. — Более того, несколько раз открывала твою книгу, перечитывала понравившиеся места. Вчера так увлеклась в метро, что не заметила: как у меня кошелёк вытащили.

— Да-а… Действительно, увлеклась… Придётся с гонорара возместить убыток, — реагирует на её слова он, томясь в догадке: шутит она или говорит правду?

В маршрутке полно народу, но два места для них есть.

— Сойдём возле супермаркета, — говорит она. — Надо что-нибудь взять перекусить. Ночь длинная… А у тебя в пакете и сумке, как я понимаю, не еда.

— Вино и мимозы, — его голос звучит неуверенно. — Хотел тебе там, в метро ещё цветочки вручить, но потом подумал…

— Правильно подумал: дома подаришь, — обрывает она его. — У меня тут на каждом углу полно знакомых, могут это истолковать не так как надо.

Они выходят, не доезжая одной остановки до её дома. Она заходит в супермаркет, оставляя его на крыльце. Возвращается минут через пятнадцать.

— Взяла колбасы и белого хлеба. Будем пить вино, закусывать бутербродами и смотреть на мимозы.

Похоже, ей нравится оставлять его в самых различных местах, а самой уходить ненадолго, по каким-то срочным делам. За их короткое знакомство, она несколько раз делала так. В первый раз, это случилась, когда они пришли к ней на квартиру, второй у подруги, третий возле Третьяковки…

Они переходят улицу у светофора и направляются к кирпичной пятиэтажке под номером двадцать два. Первый подъезд её. Он замедляет шаг и отстаёт. Она решительно подходит к двери, набирает код на цифровом щитке, открывает дверь и заходит. Он ждёт десять минут, успевая за это время прогуляться за угол дома и обратно. Смотрит на часы, затем по сторонам и, убедившись, что во дворе никого, идёт в подъезд. Дверь её квартиры на третьем этаже приоткрыта.

— Ну, здравствуйте этому дому, — говорит он тихо, переступив порог.

~

— Здравствуйте этому дому, — говорит она, переступая порог его родительского крова, небольшой избушки, с низким потолком.

— Здравствуйте, — отвечает отец, плотный, среднего роста с сединой в бороде пятидесятилетний мужик, приподнимаясь из-за стола и теребя пуговицу косоворотки.

— Здравствуйте, — тихо вторит ему мать, ещё не утратившая красоты женщина, в светлой кофте и повязанном цветастом платке. — Проходите.

— А сёстры где? — спрашивает он.

— На заимке, у тётки Валентины. Сенокос сейчас в разгаре, — говорит отец, снова садясь за стол. Мать присаживается рядом.

Он подаёт ей руку, ведёт к столу. Они садятся напротив родителей.

— Вот, невестку вам привёл, — говорит он, глядя на отца и мать. — Надеждой зовут.

— Знаем, сынок. Слух впереди тебя идёт, — говорит отец спокойно. — Знаем, что увёл ты вдову из дому, где работником у её мужа был. Без благословенья и разрешения её родителей. Теперь братья её ищут тебя, — отец кивает в сторону Надежды, — объявили вором. Говорят, что силой её взял, силком увёл. Грозятся тебя в тюрьму посадить. К нам позавчера урядник приходил, спрашивал, когда ты объявишься. А как придёшь так, чтобы к нему ехал, не то тебя под арест возьмут и силком увезут, с охраной, в каталажку.

Она вздрагивает, он снова берёт её за руку.

— Наговор это! Как силком, когда вместе мы собрались и ушли? Что им надо? Что им за дело до неё? Она сама теперь знает, как ей жить! Вдова уже — не девка. Самостоятельная! — возмущается он, крепче сжимая ей руку.

— Ой, Алёша! Говорила же я не надо нам торопиться! — вырывается у неё.

— Как не торопиться! Ждать когда брюхо расти будет? — говорит он, оправдывая их побег из села.

— Господи! Грех, какой! Грех! — мать поднимается из-за стола, прижав ладони к груди.

— Успокойтесь, хоть вы, мама! — говорит он и тоже встаёт. — Мы в городе были, с попом разговаривали. На следующей неделе повенчаемся. Всё будет по закону. И благословения попросим и у вас, и к её родным поедем.

— А что сразу-то не пошли к её родителям? — спрашивает отец. Он один невозмутимо сидит, сложив руки на стол.

— Хотели, чтобы они смирились сначала…

— Как бы хуже не было, — говорит отец, поднимаясь. — Ладно, мать, хватит причитать. Подавай на стол. Что уж теперь? Что будет, то будет… Теперь не наша воля…

— Что будет, Серёжа, то и будет. Будет, как судьбе угодно. Пока война идёт, не наша воля, — говорит она, прижавшись к нему, легонько теребя за чуб.

Они стоят у окна, в палате госпиталя: бывшем коридоре, где рядами несколько кроватей с тяжелоранеными. Она в белом халате, он в гимнастёрке

— Я думаю, что судьбе угодно, чтобы мы были вместе. Ведь не зря же встретились… — говорит он.

— Нас собираются отправить дальше в тыл. И вас, я слышала, тоже. Говорят, что немцы готовят прорыв. У нас объявили повышенную боеготовность. В любую минуту могут дать приказ. Вот я, тут написала адрес моих родителей. На всякий случай, если разлучимся. Напиши, они сообщат, где я, — она подаёт ему сложенный вчетверо тетрадный листок. — И ты напиши мне свой адрес.

Он расстёгивает карман гимнастёрки и достаёт конверт.

— Вот, это письмо от матери, я письмо возьму, а на конверте адрес.

Она торопливо прячет конверт в карман своей гимнастёрки.

— Ты торопишься? — спрашивает он.

— Нет, не очень. У нас пока ещё есть время…

— У нас есть время: уйма времени! Целая ночь! — восклицает она. — Ты пока выпей чаю, прими ванную, а я к соседке забегу на минутку.

— Ну, это уже несерьёзно, Галя, — говорит он, чуть раздражённо. — Снова какие-то уходы-приходы. Каждый раз. Давай сегодня без этого.

— Не получится, Андрюшенька, милый. Мне надо. Не скучай… Чайник где, знаешь, ванная тоже.

Он, сняв в прихожей куртку и фуражку, покорно идёт на кухню. Слышно, как за ней закрывается дверь, защёлкивается замок. Знакомый стол, стулья, чайник, электропечь. Вот и фотоальбом. Раз уже пять-семь им перелистанный и пересмотренный. Там она на фото, начиная с полуторагодовалого возраста, детских яслей и заканчивая недавно сделанной фотографией. Эффектная причёска, голливудская улыбка, неприкрытая грудь. На многих фото стоит дата и указан возраст. «Галя первоклассница. 7 лет», «Галя в пятом классе. 11 лет», «Галя перешла в десятый класс. 16 лет». Он смотрит на даты и думает, что по сравнению с датами его школьных лет, её — были, чуть ли не вчера. Она родилась через год после того, как он отслужил в армии. Её отец всего на два года старше его. «А мать, наверное, младше» — думает он, глядя на фото крашенной моложавой блондинки.

Вот также три месяца назад Галина впервые привела его сюда и оставила одного.

…Декабрьская хандра повела его от литературного института на Тверскую, а оттуда к Триумфальной площади. Второй год учёбы на Высших литературных курсах подходил к середине, до наступления Нового выпускного года оставалось десять дней. Припорошенный снегом поэт Маяковский стоял на постаменте. Стоял так же, как и сорок лет назад, когда у памятника собирались и читали свои стихи молодые полные амбиций люди, и сотни их поклонников восторженно приветствовали каждое сказанное ими слово, а с крыш окружающих высотных домов плакатные надписи беззвучно, но зримо славили народ и партию. Четыре десятка лет спустя поэта окружали те же высотки, но теперь их крыши латинскими буквами призывали покупать товары зарубежных фирм.

Сорокапятилетний слушатель литературных курсов с писательским билетом в кармане, написавший уже немало, но известный пока небольшому кругу читателей, и имеющий с десяток поклонников своего таланта, шёл и думал о том, что его земляк Валентин Распутин, в его годы, уже миновал пик литературной славы, но зато другой писатель-сибиряк Виктор Астафьев, до зенита в его возрасте ещё не доходил. Кружил лёгкий мелкий снежок, куда-то спешили люди, торопились машины, а он стоял у памятника и думал о судьбе поэтов двадцатых годов, увы, уже оставшегося в прошлом двадцатого века, думал о громких стихах шестидесятников и тихой лирике Николая Рубцова, чью книгу стихов «Подорожники» он юношей купил в газетном киоске родного сибирского городка в середине семидесятых. Купил, прочёл и сделал открытие: после Есенина на Руси тоже были хорошие поэты. Потом ему вспомнились Достоевский и Бунин, затем Маркес и статья Астафьева в одной красноярской газете: «Маркес, не умирай!». Больной Маркес пока не умер, а вот Виктор Петрович три года, как почил. Он вспомнил холодный день декабря в начале нового тысячелетия, сплошной туман над незамерзающим в сорокаградусный мороз Енисеем и большую очередь людей, тянувшуюся от городской администрации вниз по каменной лестнице к краеведческому музею, где стоял гроб русского писателя-патриарха. Ему повезло: долго мёрзнуть не пришлось, он спустился вниз по лестнице, пристроился к группе репортёров и быстро оказался в здании музея. Народ шёл медленно, как в мавзолее, входя в одну дверь и выходя в другую. В колонне он прошёл на приличном расстоянии от гроба, но лицо человека, ему хорошо знакомого, было видно отчётливо. Он видел вблизи его не единожды, но не был лично знаком. Он знал многих начинающих литераторов, которые отправляли свои рукописи Астафьеву по почте или, набравшись смелости, отдавали в руки при мимолётной встрече. И Виктор Петрович добросовестно читал каждую из них и многим отвечал письменно, некоторых даже приглашал к себе на чай в деревенский дом или городскую квартиру. Он не решился беспокоить классика, не смотря на то, что некоторые известные люди, ценившие его литературные опыты, советовали непременно показать Петровичу рассказы. Может, он зря пренебрёг их советом? Проститься с Астафьевым приехал тогда и губернатор края Александр Лебедь. С генералом он общался несколько раз, вёл спортивную страницу и публиковал рассказы в его газете «Честь и Родина», несколько раз мог бы обратиться к нему с просьбами личного характера, как это делали некоторые другие журналисты, но не обратился. Прошло совсем немного времени после похорон Виктора Петровича, и солнечным весенним

деньком город на Енисее прощался уже с Александром Ивановичем. В упавшем губернаторском вертолёте тогда погибли шесть человек, и снова по городу на несколько сот метров тянулась траурная очередь, теперь уже к Большому концертному залу краевой филармонии …

Он стоял у памятника ушедшего молодым поэта и думал о Судьбе и Вечности. Над Москвой уже смеркалось, снежок осторожно, но плотно ложился на площадь, улицы, дома, на одежду. Он вздохнул глубоко и, как это часто делал, тяжело выдохнул, морозный воздух тут же превратился в лёгкую дымку и закружил клубком у лица.

— Вы помните какие-нибудь его стихи? — неожиданно спросила стоявшая рядом молодая дама, и взлетевшие в небеса его мысли вернулись на землю.

Он не сразу понял, что вопрос задан ему. Девушка была в спортивной куртке, джинсах, вязанной белой шапочке. Кудряшки тёмных длинных волос её касались плеч, а мелкие снежинки на них были похожи на жемчуг. Она не смотрела на него: лицо её было обращено к памятнику, но вопрос к нему.

— «Светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!» — произнёс он негромко, но с пафосом пришедшие в его голову слова поэта, думая о том, что не обратил внимания: стояла ли эта дамочка у памятника до него или подошла позже.

Девушка повернулась к нему.

— «Крошка сын к отцу пришёл. И спросила кроха: «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? — процитировала она строки из другого стихотворения Владимира Владимировича. — Я почему-то только это со школы запомнила. А ещё видела на одном медицинском плакате: «Фрукты и овощи перед едой — мойте горячей водой!». Под этим тоже подпись «В. Маяковский» была.

Девушка засмеялась, потом спросила:

— А вы, наверное, поэт?

— Не знаю, к сожалению ли, к счастью ли, но я уже давненько слова в рифму не складываю, — сказал он честно, тут же пожалел, подумав, что может показаться неинтересным незнакомке, и быстро добавил: — Занят другим, неприбыльным сегодня делом: пишу бытовую прозу.

С минуту они молчали, разглядывая друг друга. Он силился понять: имеет ли эта дамочка отношение к литературе, и почему она заговорила с ним.

Незнакомка тут же дала ответ:

— Я тоже в восьмом классе стихи сочиняла, в тетрадку записывала, а потом поняла: ерунда получается, бросила. А сегодня иду по Тверской от Белорусского вокзала, тоскливо на душе, вдруг вас увидела и почему-то подумала: вот поэт стоит…

— Ну, не совсем поэт… — смутился он.

— А что такое бытовая проза? — спросила она, заметив, видимо его смущение.

— Бытовуха… Чаще это про жизнь человека обыкновенного. Не олигарха, не сыщика, не героя-любовника. Погони, стрельба, и убийства там редко случаются…, — начал объяснять он, чувствуя возрастающую к ней симпатию.

— А я Шукшина люблю читать. Рассказы у него прикольные. И в кино он хорошо играл, — сказала девушка.

Они снова помолчали. Он прикидывал: стоит ли её пригласить в какое-нибудь недорогое кафе или попрощаться, сославшись на занятость.

Но девушка, не дав ему времени на долгое обдумывание, неожиданно предложила:

— А давайте прогуляемся немного по Большой Садовой.

— Давайте, — согласился он.

Они шли неспешно по правой стороне улицы, говорили о чём-то незначительном, он отвечал рассеянно, больше спрашивая себя: надо ли продолжать общение. За длительные расставания с ожидающей его в Сибири супругой у него было несколько предпосылок завести любовные романы, но он не делал этого. В былые годы легко влюбчивый, он избегал теперь близких длительных знакомств, тем более с дамами из числа поэтесс, критикесс и пишущих прозу, по опыту зная, что они, как правило, хозяйки никудышные, а как бабы — просто вздорные, способные уморить до смерти любого мужика. Довольно насмотревшись в жизни, он теперь полагал, что женщина преданней и лучше, чем его проверенная временем жёнка, привыкшая ко всем его выходкам, ему вряд ли встретится. Да и откровенно говоря, уже не хотел, чтобы встретилась, поэтому ограничивался кратким общением с дамами, не претендующими на вечную любовь и больше ценящими в мужчинах способность произвести сиюминутную оплату за развитие интереса к ним. Интерес к дамам, не мучающих себя вопросами нравственности, у него был ещё и по творческой линии. Года два назад он закончил написание цикла историй из жизни людей, прочно связанных с употреблением крепких спиртосодержащих напитков. Несколько лет до этого, изучая вопрос «пить или не пить?», он так глубоко влез в тему, что не единожды терял ориентиры, не редко начиная питие с первым встречным и, бывало, обнаруживая себя среди ночи то в кочегарках, то в сторожках на стройке, то на совхозных мехтоках, то в квартирах малознакомых ему людей. В конце концов, практическое раскрытие алкогольной темы закончилось для него серьёзным подрывом здоровья и борьбой за продолжение жизни в реанимационном блоке краевого наркологического диспансера. Написав книжку про пьяниц и пьянство, он взялся за изучение более тонкого, по его мнению, вопроса: близкого отношения мужчины и женщины посредством денежных знаков. И если характер пьянства он исследовал в большей степени по глубинкам, то проникновение в новую тему получило неожиданное продолжение на столичном уровне. В Москве недостатка в интересующих его дамочках не было. И если бы в его карманах постоянно находилась подходящая сумма денег, то душевные разговоры в сочетании с практическими занятиями могли происходить каждый день и даже по несколько раз на дню в любом районе столицы. Но нужные суммы у слушателя высших литературных курсов водились не часто, а потому исповеди девушек по вызову или работающих в специальных

салонах он слушал время от времени. Почти ежедневно гуляя по улицам стольного города, он сделал неожиданное открытие.

Как в былые времена, изучая тему пьянства, иногда сам того не желая, он почему-то часто оказывался в местах бойкой продажи пива, вина и водки и быстро попадал в поле зрения любителей выпить, так и теперь, по какому-то, только ведомому им определению, дамы, ищущие заработка и удовольствия, всё чаще угадывали в нём интересного для них мужчину. Да и он за полтора года, прожитые в столице, почти безошибочно научился определять склонных на любовь за деньги дамочек возрастом от семнадцати до тридцати, в какие бы они одежды ни одевались и как бы высокомерно, на первый взгляд, себя ни вели. И, теперь прогуливаясь по Большой Садовой, он подумал, что, может быть…

Догадка стала разгадкой через несколько шагов. Не прошло и половины часа с начала общения с незнакомой дамой, как она, не спросив его имени и не называя своего, на подходе к Садово-Кудринской, спросила:

— А вы не хотели бы пообщаться с молодой приятной девушкой в более близких условиях?

Он не удивился — не ошибся и в этот раз, и, не замедляя шага, задал встречный вопрос:

— Какая сумма нужна для этого?

— Пустяки, — негромко засмеялась она. — Символическая. Специально для вас — тысяча двести.

Он вздохнул, и, по привычке сделав глубокий выдох, сквозь вьющийся у лица морозный воздух, произнёс:

— Я согласен. Куда пойдём?

— Тут не далеко салон, — дамочка показала за угол. — Вы постойте возле магазина спорттоваров, минут через десять к вам подойдут.

— Хорошо, — он остановился под вывеской магазина, — Тут?

— Да, — сказала она. — Как ваше имя?

— Андрей.

— Хорошо, Андрей. Подождите недолго.

Дамочка, махнув ручкой в перчаточке, нырнула за угол, а он остался ждать кого-то того, кто приведёт его в салон, как было обещано, к молодой и интересной, и он оставит там тысяча двести рублей. Конечно же, он, взрослый мужчина не мог не думать о том: надо ли ему это? Что такого необычного и непривычного для него он сможет увидеть в салоне? Какие новые ощущения сможет пережить там с дамочкой, которая думает о нём лишь как об источнике заработка и ждёт — не дождётся, когда выйдет определённое время? Поверхностные поцелуйчики, отточено-стандартные движения разыгрывающей чувства красавицы, на час ставшей твоей, могут взволновать разве что юнца или доставить короткую радость уже давно потерявшему силы старикашке. Близкое общение за деньги в течение определённого времени, что спринтерский забег за собственный счёт зрелого спортсмена-любителя в компании чемпионов. Чувствуешь себя в роли статиста — победа тебе не светит, а затрат физических, моральных, материальных немало. Он заранее простился с названной суммой, прикидывая: в какой области жизнедеятельности нужно будет опять ограничить себя на ближайшее время. Ничего хорошего это не сулило. В пору было плюнуть и уйти. Но он не уходил. «Раз судьба привела сегодня сюда и поставила у крыльца магазина спорттоваров, кого-то ждать и что-то ожидать, то это неизбежно», — полагал он.

А сумерки уже сгустились над зимней столицей. По Садовому кольцу мчались автомобили с зажжёнными фарами, на другой стороне улицы за садом «Аквариум» светились огни над театром сатиры и концертным залом филармонии, а снежок продолжал кружить в свете электрических фонарей и падал и падал под ноги.

Как и сказала дамочка, за ним пришли через десять минут. Высокий парень в спортивной куртке, без головного убора, вышел из того же переулка, куда свернула дамочка.

— Вы Андрей? — спросил парень и в ответ на его кивок, предложил: — Пошли?

Они свернули в переулок, перешли на другую сторону, вошли под арку, оказавшись во дворе высотного дома, подошли к первому подъезду. Парень набрал код, открыл дверь. Высоко подниматься по старой лестнице в обшарпанном подъезде не пришлось. Они остановились на втором этаже, парень ключом открыл дверь квартиры. Симпатичная высокая женщина, лет примерно тридцати, с улыбкой во всё лицо, в мини-юбке встречала у порога. Широкая прихожая, мягкая тёмно-синяя дорожка под ногами, яркий свет над головой. Всё, как и в других подобных заведениях. Из комнаты на кухню пробежали две девчушки в купальниках, улыбнувшись зашедшему на их огонёк новому клиенту.

— Проходите, проходите! У нас можно чувствовать себя, как дома, — высокая мадам пригласила его в небольшую, уютную комнату.

Широкая кровать, объёмные подушки, яркое цветное покрывало. В углу у кресла торшер с мягким, приглушённым светом лампочек. На тумбочке музыкальный центр с бегущими по дисплею зелёными квадратными и прямоугольными огоньками. Комнату наполняют негромкие музыкальные переливы, льющиеся из небольших колонок.

— Раздевайтесь, присаживайтесь, — предлагает мадам. Сейчас придут девочки. Выбор за вами. У нас самые лучшие в городе девушки. Вам какие больше нравятся: полненькие, стройненькие, блондинки, брюнетки?

— Мне ласковые нравятся, — говорит он, устраивая верхнюю одежду на вешалку у дверей.

— Вы пришли по адресу, — мадам прибавляет блеска в глазах. — У нас все, до единой, ласковые. Других просто нет.

Мадам, ещё раз улыбнувшись, удаляется, а он приводит причёску в порядок и присаживается в кресло.

Девушек восемь. Они несмело заходят в комнату, выстраиваются вдоль стены. Одна крашеная блондинка, другая каштанка, третья с фиолетовым волосом. Остальные вроде бы более естественны. Одни в купальниках, другие в коротких халатиках. Весь товар на показ: у всех грудь наполовину открыта, ножки ровные, фигурки аппетитные.

Его знакомой среди них нет. Он уже понял: у неё другие обязанности. Ходит по Тверской и

Садовому и ловит на крючок, таких, как он — непонятно что потерявших и что ищущих, готовых клюнуть на новую приманку, и затягивает в салон. Вот и он попался.

— Ну, что теперь, раз попался? — смиряется он и уже с вожделением глядит на предлагаемый ему, за его деньги, товар. Теперь надо не продешевить. Выбрать — не ошибиться, чтобы потом меньше разочаровываться.

Девчонки стоят и смотрят на него. От его выбора зависит, кто из них станет сейчас немного богаче, поэтому все улыбаются. А он смотрит вначале на длинную шатенку, думая, что если разложить её на этой кровати, то вся она не войдёт: ноги наверняка будут торчать ещё сантиметров на десять и получить удовлетворение, неспешно проглаживая дылду ладонью от щиколоток до пупка, будет непросто. Потом переводит взгляд на пышненькую каштаночку с круглыми бёдрами, по опыту зная, что мягкие толстушки добры по натуре и, если их немного приласкать, то они становятся такими женственными, сердечными, любвеобильными… Хоть женись. Пышечка улыбается добродушнее других, и он уже собирается показать на неё и даже поднимает руку… Но тут замечает *её*. Вернее, её глаза. Серо-зелёно-грустные. Она стоит между похожих на неё ростом и фигуркой двух девушек, ничем, на первый взгляд, не отличаясь от них, — стройненькая, в чёрных шёлковых чулочках, в наброшенном на плечи лёгком халатике, с распущенным волосом чуть ниже плеч и тоже, улыбаясь, ждёт его решения. Он ловит её взгляд, нет, скорее, она притягивает его, и душа его, вырвавшись из-под сердца, уже летит в открытое пространство её глаз и растворяется в серо-зелёно-прозрачной грусти.

— Вас как звать?.. — не говорит, шепчет он, глядя ей в глаза, не замечая как остальные семь девушек, молча, идут к выходу, оставляя их вдвоём.

— Галя…

Потом они делают то, что обычно делают в таких салонах. Он обнимает её, она прижимается к нему. Они сидят и лежат, разговаривают полушёпотом о вещах обыденных. А время идёт, и он и с каждой уходящей минутой чувствует и понимает, что физическое удовлетворение не причина прихода его сюда, что его выбор Гали не случаен, что вот это время, этот час их свидания, давно предрешён, он пришёл сюда, потому, что не мог не прийти, и не уйдёт отсюда просто так. Но, самое интересное то, что эта обыкновенная, в общем, девушка, чистосердечно рассказывающая о себе и своих поклонниках — посетителях заведения, ему почему-то близка и знакома, и она сама понимает и чувствует это.

— Нам надо встретиться ещё раз, — говорит он, когда час свидания истекает.

— Непременно, — соглашается она. — Можно у меня дома…

Она записывает на листочке блокнота номер своего телефона и протягивает ему:

— Соскучишься, позвони, договоримся.

Он кивает и уходит, поцеловав её в губы, что не принято в салонах любви, и она не уклоняется от поцелуя.

Он долго не может заснуть, его переполняют нахлынувшие вдруг волнения, а когда удаётся задремать, видит её: то в длинном платье начала прошлого века, то в военной форме второй мировой войны. Утром он звонит ей, и едва объяснив, причину звонка, слышит:

— А вы мне во сне приснились…

От этих простых слов, он едва не теряет сознание и торопливо, сбивчиво прощается.

А через пять дней он звонит ей снова, и они договариваются о встрече. Она назначает ему свидание в метро на Калужской, встречает и приводит к себе домой. Он впервые попадает в её квартиру, и едва они заходят за порог, она вдруг вспоминает, что забыла купить продуктов, оставляет его одного на кухне, с фотоальбомом. Он спокоен, хотя на дальнем плане сознания, крутится мысль о том что, возможно, он оказался в ловушке и сейчас может произойти всё, что угодно: войдут милиционеры и спросят: что он тут делает, и как попал в квартиру? Ворвётся настоящий или мнимый муж и предъявит свой счёт…

В общем, есть варианты, и есть риск. Без риска он не может, риск допускает, но предчувствие подсказывает: всё будет, как нужно. Он несколько раз перелистывает альбом, смотрит в окно. Наконец щёлкает замок и входит она:

— Правда, я не долго?

— Не долго…

— Ну и вот, хорошо, а я колбасы взяла, масла. Бутерброды делать будем.

Он любуется её ладной фигуркой, лёжа на диване: стройной талией, волосами, спадающими на небольшую, но красивую обнажённую грудь. Она раздевается перед ним, без стеснения, и уходит в ванную. Пока шуршит вода и играет негромко магнитола, мысли его летают в облаках, и он весь в предчувствии того, что сейчас, ещё немного, и произойдёт событие, меняющее его дальнейшую жизнь. Может быть, самое главное. Она приносит горячего чаю и ложится рядом: влажная, упругая, живая… Он касается губами её левой руки, правой она гладит его по волосам.

— А ты мне приснился солдатом. Будто идёт война, а ты раненый в госпитале… Ходишь с палочкой, хромаешь…

Он замирает.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— А в том сне ты была медсестрой?

— Да! — удивляется она.

— А мы с тобой там встретились?

— Встретились. Где-то в лесу, у дороги, на какой-то яркой солнечной полянке…

Он вскакивает и говорит возбуждённо:

— Я почему-то так и подумал!

— Я почему-то так и подумал, — говорит он. — Подумал сегодня утром, что ты придёшь, что дадут нам свидеться.

— Но ведь неправильный суд, неправильный, Алёшенька, — плачет она. — Свидетели эти дали ложные показания. Не было ведь тебя тогда на свале, и не мог ты быть зачинщиком убийства.

Не было никакого убийства, а несчастный случай это был…

В маленькой комнате свидания, при каталажке, в полицейском участке уездного городка, они сидят друг напротив друга, разделённые широким столом. Кроме них, в комнате ещё надзирающий за ними полицейский. Он стоит у двери, покашливает в кулак и делает вид, что не слушает, о чём говорят осуждённый и дамочка на сносях.

— Я буду писать, я подам прошение в губернский суд, на имя губернатора, в Петербург…— причитает она.

— Ничего нам не поможет уже, Наденька,— говорит он обречённо.— Всё они решили, всё они рассчитали. Мы с тобой были, по-ихнему, полюбовники, и твоего Василия сговорились убить. Хорошо, хоть тебя оставили в покое…

— Всё это братья мои! Всё они!— она продолжает всхлипывать, прикладывая носовой платочек к глазам.— Зачем они всё это делают? Захотели разлучить нас и разлучили. И свидетелей ложных нашли, и судье посулили, видать…

— Свидание заканчивается. Больше не положено. Прощайтесь,— говорит надзиратель. В дверях появляется конвоир.

— Я буду ждать тебя, Алёшенька! Буду ждать! И ты помни… Помни, что у нас ребёнок. Мы будем ждать!— она встаёт и наклоняется к нему через стол.

— Нельзя, барышня! Нельзя близко к осуждённому,— говорит подошедший к ней надзирающий.— Вы ему не супруга законная. Нельзя!

— Береги себя и ребёнка,— говорит он негромко, поднимаясь.

— Я жена тебе, жена! Запомни и верь!— кричит она.

— Пойдёмте, барышня, пойдёмте,— тянет её за рукав пальто надзиратель.— Свидание короткое, потому и закончено уже.

Его подталкивает конвойный.

— Береги себя!— на этот раз он кричит ей вслед, и она оборачивается в дверях и смотрит на него: ещё близкая, но уже безвозвратно далёкая. Он предчувствует безвозвратность, предчувствует, что видит её в последний раз. И смотрит, смотрит, смотрит…

— Береги себя…— срывается уже шёпотом с его губ.

~

— Береги себя! Береги, Леночка!— кричит он, уже забравшись в кузов отходящей полуторки.— Мы ещё встретимся с тобой. Обязательно встретимся!

— До свидания, Серёжа! Я буду ждать тебя!

— Лена-а-а-а…

Полуторка набирает ход, она бежит за машиной, потом останавливается, делает ещё несколько шагов и машет, машет, машет…

Его уже не видно. Он где-то там, среди десятка раненых сидит в кузове грузовика. Ещё мгновение-другое и он скроется из виду, исчезнет из её жизни, растворится среди других и будет далеко-далеко. Ещё мгновение и…

И, может, она больше не увидит его никогда? Может… Нет, не может! Иначе, она уверена: время бы снова остановилось. Но оно шло, шло, ей казалось, быстрее, чем прежде— бежало, подгоняя людей и принуждая их быстро думать, торопливее делать свои дела.

Вслед за первой машиной, мимо неё проходит вторая, потом третья, четвёртая. Госпиталь один и второй срочно эвакуируют, подходят всё новые и новые машины— грузят и увозят оборудование, медикаменты, медицинский персонал. А фронт уже рядом: слышно как рвутся снаряды. Ближе, ближе, ближе…

«По машинам!»— это кричат уже медперсоналу. Это кричат ей.

«Неужели мы больше не увидимся?»

~

— Неужели они больше не увиделись?— спрашивает она, прижимая к нему своё молодое желанное тело.

— Увиделись, в начале будущего века,— говорит он, поглаживая её ещё невысохшие волосы.

— Ты говоришь о нас. А те?

— А те? Я думаю, что тот невольник выжил и в тюрьме, и на каторге. После революции, в гражданскую воевал за красных. Вернулся в родное село, но не нашёл ни её, ни ребёнка… Нет, он её не нашёл, хотя искал… Как думаешь: почему не нашёл?

— Потому, что её уже не было. Она тяжело переносила разлуку. За зиму много болела, исхудала, постарела, ребёнка не выносла, а весной она сорвалась в реку…

— Случайно?

— Может, случайно. Но жить она без него уже не хотела… Тогда нередко девушки из-за несчастной любви в реку бросались… А он, мне кажется, жил долго…

— Да, он жил долго. Вначале горевал, но потом женился на молоденькой девушке. Работал на железной дороге. Прожил лет восемьдесят. Дождался внуков и даже правнуков. Они и сейчас живут там, в Сибири, его внуки и правнуки.

— А медсестра с солдатом тоже ведь не встретились,— она прижимается к нему ещё теснее, а он обнимает её и прячет лицо в её волосах.

— Не прошло и часа после их расставания, как машина с ранеными попала под авианалёт. Всё кончилось печально.

— А она прошла всю войну. После разыскала его мать. Потом вернулась в Рязанскую область. Всю жизнь прожила одна. Семейная жизнь не сложилась, детей не было. Как многие одинокие женщины-фронтовички, потерявшие суженых на войне, с возрастом от одиночества стала пить. Умерла в конце семидесятых в больнице.

— Слушай,— говорит он, подняв голову и глядя ей в глаза.— Как это всё трагично.

— Не всё трагично. Мы ведь— это они. Мы живём, и мы вместе… Мы любим друг друга…

Она обнимает его двумя руками за шею.

— Мы должны любить друг друга за них и стараться быть вместе всю жизнь.

— Но мы не можем побыть вместе даже один день, одни сутки!— пытается возмутиться он, но она гасит его возмущение поцелуем.

— Пока не можем, пока, Андрюшенька… — шепчет она. — Но обязательно наступит наше время. Если не сейчас, то в следующий раз…

Как и в ту, первую их ночь, ей несколько раз настойчиво звонят то на мобильный, то на стационарный телефоны, и она, уходя на кухню, по полчаса с кем-то объясняется. С кем, он не спрашивает. Он лежит спокойно, иногда вставая, чтобы попить чаю или сходить в ванную. Вся суета для них кажется теперь мелочью. Они вместе. Хотя он знает, что и в этой жизни им не придётся быть мужем и женой. Во всяком случае, в ближайшее время. В ближайшие годы. У него в Сибири есть преданная ему жена, которую он не вправе оставить. У неё есть ребёнок — пятилетний мальчик и, как он догадывается, близкий молодой человек. Возможно, даже — муж и, возможно, даже — отец её ребёнка. Он иногда допускает мысль, что занимается она столь рисковой работой с ведома этого человека. Понять нравы двадцатилетних столичных жителей всю жизнь проживший в провинции сорокапятилетний человек ещё — или уже — не может. Они не говорят на эти темы и вряд ли когда заговорят. Он уж точно не спросит.

Каждый раз в шесть часов утра кто-то настойчиво звонит в дверь. В первый раз это его напугало, сейчас уже привык и понимает, что работа у неё действительно рискованная, и её проверяет то ли сутенёр, то ли тот самый близкий человек: хочет убедиться, что всё в порядке. Она подходит к двери, переговаривается с человеком, и тот уходит. А он понимает, что ему дают знак: пора.

Он встаёт, смотрит в окно. Со второго этажа в незамёрзшее стекло видно, как во дворе метёт позёмка. Надо идти. Он собирается, а она в это время отвечает на очередной телефонный звонок. Он проходит в прихожую, надевает куртку, натягивает фуражку, берёт сумку. Потом возвращается на кухню. На столе в стеклянном кувшине стоят его мимозы, подаренные вчера. Она продолжает говорить по телефону, кивая на чайник, он отрицательно мотает головой, оставляет на столе три тысячных бумажки, целует её в щёчку, говорит «пока» и уходит. Он уже не видит, но чувствует, как она, не отрываясь от телефона, машет ему вслед. Жизнь продолжается.

А на улице метёт по-зимнему. Сегодня суббота, дворники не спешат выходить во дворы и пешеходных дорожек почти не видно. Он идёт прямо от её дома. Редкие машинёшки пробегают по пустынной улице, пешеходов вообще не видать. Он жмётся от холода, то и дело протирает уши и пальцы рук. Пройдя несколько кварталов, он выходит на улицу Удальцова и, прибавив шагу, торопиться к проспекту Вернадского. Здесь уже попадаются навстречу люди и метель, кажется, потише. Наконец, станция метро: турникет, эскалатор, поезд. В вагоне человек пять. Он садится поудобнее. Можно теперь отогреться, подумать о предстоящих занятиях на курсах, о недописанном романе. Двери закрываются, электропоезд срывается с места и, гулко набирая обороты, ныряет в темноту проёма.

«Кто же всё-таки Галочке звонит? — неожиданно спрашивает он себя мысленно и тут же успокаивает — А не всё ли равно?» У неё своя жизнь, у него своя. Да, скоро у неё день рождения. Надо не забыть, поздравить и, наверное, купить подарок.

«Не наверное, а точно: купить», — решает он улыбнувшись, уже зная, что именно купит.

Валерия Шейн

Ночь пронеслась по городу,
как стая чёрных кошек по тёмным дворам..
она заходила к каждому,
не то, чтобы не стучась…
а как бы шарахаясь от холода,
убегая от разноцветных окошек,
кидаясь от одного к другому,
всё время ослепляясь и падая…
она очнулась.
Город погас.
Глаза фонарей закрылись на пару часов,
и ночь, учуяв пасхальный запах,
зависла в разомлевшем воздухе.
Пятый час.
Солнце выбило стекла
и разлилось стройным хором людских голосов

Валентина Лукашук

А цветы мои истоптали звери,
изорвали в подарки своим любимым —
не беда… не так велика потеря.
Я же верю, что это необходимо…

И не будет больше ни стихов, ни песен
(да и то — зачем бы плодить уродов?)
и в крови моей не огонь, но плесень…
и какое тут, к чёрту, продолженье рода?

…ну, а что тебе я ещё открою?
Впереди всё дивней-чудесатей-страньше,
но не вырастет здесь ни цветка из крови
потому что они умирают раньше.

Анна Радышевская

Совершенно неожиданно

Два молчания

23.04

Стояли молча. Не курили — надоело. Пять, семь минут.

— Курить будешь?

— Ээ…

— Понятно.

Сели в троллейбус. Ехали минут сорок, стоя на задней площадке. Смотрели в окно. Молчали.

— Как?

— Ну…

— А, ясно. Примерно так я себе это и представляла.

— Ну, не то чтобы… Но, вообще-то, ничего так.

Вышли из троллейбуса. Пошли по улице. Фонари, магазины, люди. Парочки в обнимку — весна. Молчали, молчали…

— Завтра дождь передавали…

— Завтра у меня операция…

— Не получится?

— Скорее всего.

— Жалко…

Улица кончилась.

— Лавка?..

— Мост.

Сняла куртку, ботинки, убрала в пакет. Посмотрел, забрал, улыбка.

— Холодно.

— Да.

Вздох.

Шли по мосту, шли долго. Молчали и шли. Смотрели.

— А…

— Не знаю.

Дошли до другого берега. Сыро, безлюдно, серо. Любовались, дышали, шли. Молчали.

Два часа, два с половиной.

— Домой?

— Наверное.

— Мне завтра?..

— Нет. Я сама.

Шли на остановку. Молчали. Прощались — не обнимались, не говорили. Прощались.

24.04

Сидел, ждал. Брал трубку, молчал. Стоял долго, слушал гудки, смотрел на воздух. Шёл на остановку, ехал, искал мост. Дошёл до другого берега. Сыро, безлюдно, серо. Падал. Кричал.

Собака

Идёшь-идёшь по улице, а потом — собака. Ну, вот стоишь и думаешь, что с ней делать. И пока не придумаешь, дальше идти нельзя. А как же по-другому? Она ведь не просто так попалась тебе на пути, эта собака. Вот и не двигайся с места, пока не поможешь ей. Или пока она тебе не поможет. Можно, конечно, пойти дальше, но всё равно потом опять её увидишь, будешь встречать, встречать её снова… так-то.

Ну, вот придумаешь что-нибудь. Но это тоже ещё не всё. Если плохо придумаешь — получай опять собаку. А то, вообще, корову. Или скунса. Это уж как придумал.

Можешь убежать или уплыть, а потом жить спокойно какое-то время, забыв о собаке. Можешь себе крыску завести, или там червяка какого домашнего, ручного. Кормить его периодически, шерсть вычёсывать, даже разговаривать с ним о жизни…

Всё равно червяк этот либо издохнет, либо будет жить. Но это без разницы.

Так вот живёшь себе, но через некоторое время опять — собака. Это ещё ладно, если ты дома или в себе, а то совсем — труба.

Вообще-то собака ненавязчивая и тихая, спокойная такая. Но пока ты не решил ничего, она будет с тобой везде. Ну, сидишь ты вот в театре, или там в кино. А она или рядом, или прямо на тебя сядет. И кино не в радость.

Можешь убить её легко — если сам себя убьёшь. Хотя тоже не факт, что она от тебя уйдёт. Так что тут как повезёт. Кому-то, правда, совсем легко — они если и встретят собаку, то какую-нибудь карманную. Кладут её в карман, а потом вообще про неё забывают. Проблема решена. Но это не всем дано.

Так что смотри. Внимательно смотри. А то за некоторыми целые зоопарки ходят, а они все прыгают, не замечают ничего, а потом издыхают. Совсем.

Дрозд

Дрозд прилетел совершенно неожиданно именно на это небольшое дерево. Сел на ветку, она покачнулась под его весом. Не обратив на это внимания, он стал методично стучать клювом по тонкому стволу. Долбил и долбил, пока в коре не образовалось отверстие, из которого совершенно неожиданно полезли всевозможные букашки и червяки. Дрозд был очень рад, его план воплотился в жизнь. Но жители дерева были неприятно

удивлены таким поворотом событий, потому что птица начала их кушать. Совершенно неожиданно.

Он ел и ел. Ошмётки червяков и букашек падали на землю под деревом, а Дрозд не поднимал их, ведь насекомые толпами лезли из отверстия в стволе, они хотели увидеть свет и подышать свежим воздухом, но только делали вдох, как их совершенно неожиданно хватал Дрозд и разрывал на кусочки или глотал целиком. Это безобразие продолжалось около часа, и уже казалось, что не может столько обитателей древесных недр помещаться в таком маленьком стволе. Тут они и начали иссякать. Дрозд уже кушал лениво, пропускал многих насекомых живыми. Он разбух от еды, добытой не силой, а хитростью. А дерево всё никак не могло взять в толк, за что ему нанёс рану безобидный, как казалось раньше, лесной житель.

Наконец букашки и червяки кончились. Немногие спаслись от страшного клюва. Потяжелевший, с отупевшим взглядом, Дрозд попытался взлететь. Но, совершенно неожиданно, осознал, что не может, как раньше, с лёгкостью вспорхнуть с ветки. А бедняжка пригнулась, она уже не могла держать на себе этого убийцу. Запаниковав, он попробовал ещё раз и ещё, но всё было тщетно. Тогда Дрозд, гордясь своей смекалкой, стал цепляться лапками за ствол, и таким образом продвигаться к другой, более прочной ветке.

Спустя тридцать с небольшим минут он оказался у цели и расслабился. Хотя понимал, что проблема не решена. Но зато, по крайней мере, его жизни не грозила опасность прямо сейчас. И Дрозд решил поспать. Ведь и процесс пищеварения проходит успешней, если присутствует здоровый сон. Да и время было уже позднее.

В эту пору букашки и червячки, те немногие, что выжили в этой чудовищной мясорубке, вернулись в свой родной дом — внутрь ствола дерева, и начали готовиться ко сну.

Дерево же не могло уснуть, его беспокоила нестерпимая боль. Она разрывала на части, мешала успокоиться. Но ничего нельзя было сделать. Эта совершенно неожиданно свалившаяся на него беда выбила из колеи. И никаких решений не приходило.

Наконец, и оно заснуло тревожным сном, сопровождаемым болью.

На следующий день первым проснулось дерево. Боль ещё больше, чем вчера, мучила его. Но всё так же не было никакого решения, никакого ответа.

Дрозд, проснувшись, снова попытался взлететь, но у него так ничего и не получалось. Тогда совершенно неожиданно пришло решение, и он начал долбить ствол там, где ещё этого не делал.

В это время проснулись букашки и червячки, чувствующие себя последними из могикан. Они сделали все свои утренние дела и стали потихоньку выползать на прогулку. Но насекомые не так глупы, как кажется, — они запомнили, что та щель, которая вчера была использована ими в качестве выхода, оказалась роковой для многих их сородичей. Поэтому они решили поступить мудро — воспользоваться новой щелью, что появилась, совершенно неожиданно, этим утром чуть выше прежней.

Что ж, дрозд был просто на седьмом небе от счастья, когда понял, что его гениальный план вновь сработал. Он стал с жадностью набивать своё и без того внушительных размеров брюшко букашками и червяками, с умным видом выползающими из новой щели.

И вдруг, совершенно неожиданно, дерево вытащило корни из земли, что было сил встряхнуло ветвями, отчего все участники драмы полетели в разные стороны, и зашагало к реке.

Рустам Карапетьян

Случается так — накроет
Весь мир — кувырком, вверх дном!
И — к стенам цветущей Трои,
И — за золотым руном.
Ведь, как ни уютна заводь,
А всё-таки жизнь — поток.
С востока летишь — на запад,
А с запада — на восток.
Захлёбываясь в погоне,
В попытке сорвать звезду,
А жизнь по твоей ладони
Протачивает борозду.

Екатерина Карепова

Между нами сигареты,
Стены, пыль и две дороги.
Между нами нет союза,
Нет предлога, нет романа.
Мир сегодня был жестоким.
Забинтовываю раны.
И, зашит суровой ниткой,
Шрам мешает сердцу биться.
Шоколад за плиткой плитку
Ем и ем. Боюсь влюбиться.

Елена Сорокина

Луна цвета Ю в небе цвета В

Явление синестезии в русской прозе первой половины XX века

Явление синестезии (от греч. συναίσθησις — «соощущение») можно без сомнения назвать одним из самых интересных феноменов человеческого сознания. Так вышло, что этой темой я заинтересовалась тогда, когда училась в Литературном лицее. И причиной послужила статья Булата Галеева «Цветной слух» — химера или чудо поэтического мышления?», опубликованная в журнале «День и Ночь» в 1999 году. Позже я узнала, что именно этот казанский учёный является автором единственной крупной работы на русском языке, полностью посвящённой проблеме синестезии.

Моему же интересу пришлось дремать на протяжении первых курсов университета, чтобы, когда пришло время, вылиться в курсовую, а потом — и дипломную работу под научным и неизменно чутким руководством профессора Галины Максимовны Шлёнской.

Синестезия является объектом сразу ряда наук: психологии, физиологии, эстетики, искусствоведения, лингвистики, литературоведения… Соответственно, существует множество её определений, данных с точки зрения разных наук. Приведём только одно из них, психологическое: «Синестезия — это феномен восприятия, состоящий в том, что впечатление, соответствующее данному раздражителю и специфичное для данного органа чувств, сопровождается другим, дополнительным ощущением или образом, при этом часто таким, которое характерно для другой модальности»[1]

Причины и механизмы возникновения синестетического мирочувствования как качества, присущего некоторым людям, до сих пор остаются неразгаданными. Существует множество концепций синестезии: «мистическая», «психиатрическая», «анатомическая», эмоциональная, «метафорическая» и другие. Несмотря на их количество, последняя строчка статьи о синестезии в Большой советской энциклопедии совершенно справедливо гласит: «Удовлетворительной теории синестезии не существует».

Однако меня, как литературоведа, в первую очередь интересует другое — случаи отражения синестетического мироощущения в художественном тексте, их функции, связь с художественными задачами, жанром и образом автора.

Сейчас главная проблема в изучении синестезии — это неясность и слишком широкое понимание самого термина. Поэтому я предлагаю различать синестетическое мирочувствование, или собственно «синестезию», и результаты отражения этого мирочувствования в различных видах искусства. Синестетическое мирочувствование, в свою очередь, делится на так называемую клиническую (патологическую) синестезию — аномальные навязчивые соощущения, предмет исследования психиатра, и так называемую «нормальную» синестезию, в той или иной мере свойственную каждому человеку, предмет исследования психолога. Результаты отражения синестетического мирочувствования могут принимать форму синтеза различных родов искусств, форму создания нового, синтетического искусства (например, светомузыки) и, наконец, форму отражения в отдельно взятом виде искусства, что возможно только в литературе.

Последнее, то есть отражение синестезии в литературных произведениях, конкретно — в русской прозе первой половины XX века, и побудило меня «взяться за перо».

Проблема отражения синестетического мирочувствования в прозе не была ещё рассмотрена литературоведением в сколько-нибудь значительной степени. В том числе не были дифференцированы различные формы этого отражения и не было предложено ни одной их классификации. При этом формы эти, несомненно, различны и требуют разного подхода к своему изучению.

Стержнем моего исследования синестезии как раз является попытка создания одной из возможных классификаций. Я выделяю три формы отражения синестезии в художественном тексте:

1 «рефлексия синестезии»;
2 синестетический троп;
3 «структурообразующая синестезия».

Первая форма отражения, за неимением в литературоведении термина названная мною «*рефлексией синестезии*», наиболее очевидна. Это прямое признание субъекта в особенностях своего восприятия мира. Причём это может быть как просто рассказ о возникающих в сознании соощущениях, так и попытки проследить причины их возникновения.

Примеры такой формы отражения синестезии мы можем найти в очерке М. Цветаевой «Мать и музыка» и в романе В. Набокова «Другие берега».

М. Цветаева пишет об окрашивании у неё в сознании нот («Взятые же отдельно: до — явно белое, пустое, *до* всего, ре — голубое, ми — жёлтое… фа — коричневое… — и так далее, и все эти „далее“ — есть, я только не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои, на них, резоны»); о своих соощущениях при звучании музыкальных терминов («И слово любила „бемоль“, такое лиловое и прохладное и немножко гранёное, как Валерины флаконы, и рифмовавшее

1 Большая советская энциклопедия. М., 1976. т. 23. с. 491.

во мне с жёлтофиоль… La bémol же было для меня пределом лиловизны…») и т. д.

В. Набоков в автобиографическом романе «Другие берега» пишет: «Кроме всего я наделён в редкой мере так называемой audition colorée — цветным слухом. ‹…› Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о „слухе“: цветное ощущение создаётся, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым чутьём». Далее на протяжении страницы повествователь рассказывает о цвете своих букв. Эта «исповедь синестета», которую мы, к сожалению, не можем привести здесь в полном объёме, позволяет Набокову через несколько глав использовать необычный синестетический троп: «Молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В».

Особенностью синестезии в «Других берегах» Набокова является её соединение с памятью. Как утверждают исследователи творчества писателя, категория памяти является одной из важнейших в его поэтике и, несомненно, самой важной для поэтики этого произведения. «Другие берега» нельзя признать классической автобиографией, это скорее попытка творческим усилием воссоздать утраченное и таким образом подарить ему бессмертие. В этом процессе «поиска утраченного времени» важнейшую роль у Набокова играет способность к ассоциациям разного рода, среди которых важное место занимают и межчувственные ассоциации. Соединения ощущений разных модальностей помогает повествователю вспомнить моменты давнего прошлого. Например: «а вот, кстати, слово „корм“, „кормить“ вызывает у меня во рту ощущение какой-то тёплой, сладкой кашицы — должно быть, совсем древнее, русское няньковское воспоминание». Само текущее время описывается с помощью синестетических тропов: оно имеет для Набокова цвет: «в его [времени] сизую стихию» — и свет: «я почувствовал себя погружённым в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени». Повествователь в детстве способен «впрок» сопрягать «звуковые узоры со зрительными».

Наконец, прямо говоря об особенностях Мнемозины, он пользуется образом, позволяющим заподозрить его синестетическое происхождение: «мастерство Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям на черновой партитуре былого».

В. Е. Александров в работе «Набоков и потусторонность» высказывает точку зрения, что движущей силой, основой набоковского творчества является вера «в вероятное существование трансцендентального, нематериального, вневременного, благорасположенного, упорядоченного и привносящего порядок бытийного пространства, каковое, судя по всему, обеспечивает личное бессмертие и оказывает универсальное воздействие на посюсторонний мир».[2]

Придерживаясь концепции Александрова, можно сказать, что синестезия как разновидность ассоциации в творчестве Набокова является одной из возможностей прозреть те самые «трансцендентальные измерения бытия».

Существование цвета у букв Набоков не склонен рассматривать как свою фантазию или как некое отклонение. Скорее, для него это некое откровение из пределов истинного, гармоничного мира, где всё взаимосвязано.

Я считаю возможным говорить о синестезии у Набокова, пользуясь понятием «епифания» — прозрение (термин, более традиционно относимый к поэтике Джойса). Сам Набоков в одной из лекций по литературе говорит, что, по его мнению, термин «епифания» может быть отнесён к знаменитому эпизоду из эпопеи «В поисках утраченного времени» М. Пруста, где вкус пирожного порождает у героя поток ассоциаций. Другими словами, писатель считает момент, в который происходит ассоциация (причём синестетического рода), моментом прозрения.

Как мы видим, очерк М. Цветаевой и роман В. Набокова являются произведениями автобиографическими, написанными от первого лица. Появление одной из форм отражения синестезии в текстах такого рода не является случайным. Несомненно, именно в автобиографических произведениях автор всегда чрезвычайно субъективен. Он хочет наиболее точно передать свою индивидуальность, показать внешний мир через свой внутренний, погрузить читателя в свои переживания и воспоминания. «Рефлексия синестезии», появляющаяся в этих произведениях, помогает показать в полной мере авторскую откровенность с читателем, перенести его в свой мир и пригласить к сотворчеству (вспомним: «я не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои… резоны»).

Не менее интересно то, что «рефлексия синестезии» появляется и у Цветаевой, и у Набокова в произведениях, посвящённых детству.

И это, как нам кажется, тоже имеет важное значение. Как отмечают многие исследователи, детство для Набокова является неким образом потерянного рая, периодом жизни, когда человек ещё наиболее легко может достигать епифаний, прозрений, связывающих его с высшим, нематериальным, вневременным миром. У Цветаевой «рефлексия синестезии» в описании детства возникает как часть его поэтической, творческой атмосферы.

Появление формы отражения синестезии в произведениях данных писателей в связи с воспоминаниями о детстве вполне согласуется с выводами, сделанными психологами. А именно с тем, что синестетическое мирочувствование более свойственно детям, чем взрослым. «Рефлексия синестезии» помогает авторам с большей полнотой показать восприятие мира ребёнком, которое является как бы нерасчлененным, синтетичным, схожим с восприятием первых людей (многие исследователи пишут о том, что синестезия играла большую роль именно на самых древних этапах развития человека).

На другом уровне текста (собственно языковом) отражение синестетического мирочувствования происходит в форме, которую, пользуясь термином Галеева, можно назвать *синестетическим тропом*. Под синестетическим тропом понимается такой стилистический троп, который является результатом межчувственного переноса. Это

2 Александров В. Е. Набоков и потусторонность. Спб., 1999. с. 10.

прежде всего ассоциация, но ассоциация сложная, когда сопряжению подвергаются ощущения, полученные с помощью разных органов чувств.

В основном, функция синестетических тропов соответствует функциям стилистических тропов в целом. Однако есть черта, характерная только для них: они помогают передать синестетическое мирочувствование автора, повествователя или героя.

Синестетические тропы можно классифицировать по нескольким основаниям. С одной стороны, выделяются синестетические метафоры («псевдоним, окрашенный в цветочные тона её настоящего имени»)[3] в том числе синестетические метафоры, образованные при помощи глагола («лилась… музыка»; «*жужжит*[4] в пальцах *огонь* от отклонённого удара»); синестетические эпитеты («иволги… издают свой *золотой… крик*»), «синестетические сравнения» («музыкальные *ноты* были для неё как *жёлтые, красные, лиловые стёклышки*») и синестетические сложные прилагательные («тяжелозвонном»; «*музыкально-смугло рычал*»).

С другой стороны, можно разделить синстетические тропы по их «новизне». Существуют новые, авторские (окказиональные) синестетические тропы (например, «с овальным звуком» у Набокова, «кислоглазый китаец» у Бунина и т. д.). Именно они воспринимаются в тексте как нечто непривычное и оригинальное, иногда — даже экстравагантное. С другой стороны, как существуют «стёртые» (риторические) метафоры, так можно говорить и о существовании «стёртых» синестетических тропов. Они встречаются не только в литературных текстах, но и в обыденной речи: например, «тёплый оттенок», «чистый звук» и т. д.

Я наблюдала действие синестетических тропов в рассказах И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и «Сны Чанга». У Бунина, в отличие от, например, Набокова и Цветаевой, преобладают не авторские, а «стёртые» синестетические тропы: «тонкий аромат», «сладкая… тоска», «мягко освещённую» и т. д. Вероятно, это нужно связывать с реалистической манерой писателя. Как пишет А. Н. Архангельский, «бунинский художественный строй не был призван разрушить традицию или развить её; он был призван её завершить»[5]

Рассказ «Антоновские яблоки» написан от первого лица и содержит элементы автобиографизма. Весь он посвящён воспоминаниям, даже первое его слово — «вспоминается». Часто в рассказе употребляется и слово «помню»: «Помню раннее, свежее, тихое утро…», «Помню я и старуху его» и т. д. Возраст повествователя ни разу не назван, однако из контекста и по нескольким брошенным фразам можно понять, что повествователь вспоминает вначале свои детские или отроческие годы, а потом — годы своей юности. Таким образом, видно, что такая форма отражения синестезии, как синестетический троп, также связана с категорией памяти. Можно сказать, что некоторой неявной синестезийностью обладает и сам лейтмотив запаха антоновских яблок. Именно он является для повествователя путеводной нитью по пространству воспоминаний, он ассоциируется с прошлым и вызывает воспроизведение картин этого прошлого в памяти. Кроме того, синестетические тропы появляются в этом рассказе при описании мирочувствования, свойственного ребёнку и юноше.

Обратимся теперь к рассказу «Сны Чанга», главным героем которого является пёс. Большая часть рассказа представляет собой его воспоминания, которые «не то снятся, не то думаются ему». Таким образом, здесь перед Буниным стояла художественная задача показать все, происходящее в рассказе, с точки зрения собаки, точно отразив особенности её восприятия мира (что само по себе, конечно, было средством для решения более крупной задачи: того, что Шкловский назвал бы остранением). Восприятие мира у животных является более синкретичным, нерасчлененным, слитым, чем у людей. «Синестетические тропы», вплетённые в ткань этого рассказа, помогли Бунину убедительно передать специфику мирочувствования животного.

С одной стороны, Бунин подчёркивает животные, природные черты мировосприятия Чанга. С другой стороны, он наделяет его чертами, свойственными человеку. Чанг — существо мыслящее, мало того, он своеобразный философ. По мысли Бунина, собака, наряду с человеком, а может быть, даже в большей мере, чем человек, способна проникнуть в «правду жизни», понять и почувствовать бессмертие и великую гармонию миропорядка: «Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, ещё с ним капитан; в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти».

Поэтому этот герой также не чужд «интуитивных прозрений трансцендентальных измерений бытия». И они происходят у него именно в те моменты, когда совершается сопряжение ощущений, принадлежащих к разным модальностям, что описывается с помощью «синестетических тропов».

После того как Чанг видит, заглядывая в кают-компанию, что «там, в сумраке, *мягко светилось* что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное», а «по низкому потолку *струились, текли и не утекали* извилистые *зеркальные ручьи*», с ним случается то, что «не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая… Но о другой Чанг не успел додумать».

В финале рассказа Чанг становится случайным наблюдателем отпевания своего умершего хозяина: «И вдруг распахивается дверь костёла — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, *вся звучащая и поющая картина…* И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим *звучащим видением*». И «всё существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет,

3 Здесь и далее цитаты в скобках взяты из романа В. Набокова «Другие берега».

4 Здесь и далее выделено нами — Е. С.

5 Архангельский А. Н. Последний классик. Бунин И. А. Избранная проза. М., 1996. с. 6.

нет — есть на земле ещё какая-то, мне неведомая, третья правда!»

Моменты, в которых происходит поочерёдное постижение всё новых и новых «правд» о жизни, несомненно, являются моментами прозрения трансцендентального.

Итак, в рассказе «Сны Чанга», подобно тому, как это происходит в романе «Другие берега» Набокова, формы отражения синестетического мирочувствования связаны с прорывом в трансцендентальное. Видимо, согласно мировоззрению этих писателей, те моменты жизни, когда человек (или любое мыслящее существо) воспринимает мир в его гармонии, в его взаимосвязях, в его цельности, совпадают с осознанием чего-то нового и глубинного о мире и о жизни, а может быть, даже являются причиной такого осознания.

Переходя на другой уровень текста, рассматривая его как некую целостность, можно обнаружить третью форму отражения синестезии в произведениях, которую мы назвали *«структурообразующей синестезией»*. Мы встречаем её в таких произведениях, как повесть Л. Андреева «Красный смех», рассказ М. Горького «Голубая жизнь», рассказ Б. Зайцева «Белый свет» из сборника (который рассматривают также как повесть) «Голубая звезда».

Как мы видим, в двух из трёх случаях заглавием произведения является синестетический троп. Однако здесь он призван выполнять несколько иную функцию, чем те тропы, которые рассматривались выше. Это, выражаясь словами Л. А. Иезуитовой, «многоосмысленный символический словесный образ»,[6] который пронизывает всю ткань произведения, повторяясь целиком и разрозненно, и помогает в построении его композиции.

Так, например, в «Красном смехе» само это словосочетание встречается 18 раз, кроме того более 25 раз употребляется слово «красный», не считая слов, так или иначе включающих в себя данную семантику: «красноватый», «кровавый», «кровь», «багровый», «огненный», «пожар» и т. д. Слово «смех» употребляется более 3 раз, а кроме того, неоднократно встречаются лексемы «смеяться», «хохотать», «хихикать».

Таким образом, происходит как бы двойная синестезия. Словообраз, сам по себе являющийся синестетическим тропом, в соотнесении с семантикой рассказа оказывается чем-то большим: он начинает «синестезироваться» с другими образами и сплетает их воедино.

«Красный смех» в целом является метафорой войны, но, кроме этого, воплощает различные её грани: искорёженные тела, безумие, а в финале он становится персонифицированным воплощением смерти и зла, схожим с дьяволом.

В рассказе М. Горького «Голубая жизнь» центральный словообраз связан с такими образами, как «голубой город», «голубая музыка», «голубые мысли и слова», «голубой дом» и т. д. Он воплощает в себе внутренний мир главного героя, Константина Миронова.

В рассказе Б. Зайцева белый цвет ассоциируется с бессмысленностью, безнадёжностью, со скукой существования и внутренним опустошением.

Выше говорилось о том, что формы отражения синестезии нельзя отождествлять с явлением цветосимволизма. Однако нужно сделать оговорку, что именно данная форма отражения синестезии имеет точки пересечения с этим явлением. Сам механизм образования такого словообраза и соотнесения его с различными другими явлениями своими истоками имеет синестетическое мирочувствование.

Итак, как можно увидеть, появление таких форм отражения, как синестетический троп и «рефлексия синестезии», в произведениях связано с категорией памяти. Кроме того, оно находится в зависимости от такой художественной задачи, как отражение мирочувствования, свойственного ребёнку или животному. Наконец, появление этих форм отражения синестезии в тексте связано с «интуитивными прозрениями трансцендентных измерений бытия», которые происходят с героем. «Структурообразующая» форма отражения синестезии имеет и композиционное значение.

Изучение синестезии в качестве характерной особенности русской прозы XX века, на мой взгляд, важно для более глубокого понимания и особенностей литературы этой эпохи в целом, и творчества отдельных авторов — в частности. Так что можно утверждать, что тема связи синестезии и литературы способна поставить перед своим исследователем ещё множество новых и интересных задач.

6 Иезуитова Л. А. Творчество Леонида Андреева (1892–1906). Л., 1976. с. 173.

Евгения Казионова

Остановка

Раз-два-три

Раз Детство со Временем «на ты»… Мир — одна большая необоснованность, обосновывать которую уж никак не хочется, ведь всегда можно спросить у взрослых. Но ты их чаще всего не слушаешь, а пытаешься выдумать что-то своё, особенное. Уж слишком серо всё объясняют взрослые. Потом ты начинаешь взрослеть… и Время, с которым раньше ты так спокойно играл, перестаёт говорить на понятном тебе языке. Вы, как в детстве, продолжаете играть в догонялки, только теперь гонишься ты, и если спотыкаешься и падаешь, оно уже не подаст тебе руку. И куда сложнее становится его найти во время игры в прятки… ты учишься… заполняешь мозг определённым количеством хлама, необходимого только для утяжеления массы, но уж никак не пригождающегося тебе в жизни. Дальше начинаешь делить вещи на полезные и бесполезные для тебя. Научившись врать, начинаешь приукрашать действительность не только в глазах других, но и своих собственных. Обмануть себя легче, чем других…

Два Иногда сидишь на балконе…за окнами дождь и серое небо. Время стоит рядом, и ты его ненавидишь — за то, что его слишком много в этот дождливый день. Рваное… рван-н-ное небо…

Три Старые игрушки обычно хранят на чердаках. Пауки плетут паутину воспоминаний, время, проходя мимо, покрывает все слоем пыли… вещи, возможно, отражение нас самих. Старые вещи — отражение того, какими мы были. У сестры кукла была… тряпочная, с широко раскрытыми глазами, милая… мальчишки не играют в куклы. Но применение можно найти всему. Очень ловко сделать из неё игольницу.

…Подруга детства, вместе в школу, институт, жена… способ сорвать дневное напряжение. Ведь слова острее иголок…

Четыре У каждого свои критерии ошибки. То, что казалось идеалом, оказалось обычной рядовой последовательностью… некого обвинять в собственной ничтожности. И ты, кажущийся непоколебимым, волевым и сильным человеком, плачешь, как ребёнок, на балконе. Ты не веришь в Бога, но ненавидишь людей, утверждающих Его существование. Ты настолько противен себе, что не хочешь, чтобы кто-то знал о тебе больше, чем ты сам. Это видит время, ты ненавидишь его не меньше, но оно рядом с рождения, и ты привык к его дыханию за своей спиной. Ты его молишь уйти, пройти, не видеть, но оно лишь критически качает головой… а завтра… ты опять будешь врать, смеяться, оскорблять и даже не вспомнишь о своих вчерашних мыслях. И только встретив взгляд времени, быстро отвернёшься…

Пять Ход твоих мыслей заканчивается на листках ежедневника. Это не обязательно принимать во внимание, если оно не является частью бизнесплана. Философия — свод домыслов, а важны лишь факты. Литература — бессмысленная трата времени, ведь как можно много сделать за время чтения хотя бы одной книги! Люди забивают голову глупыми размышлениями, когда ты балансируешь между налоговыми отчётами и еженедельными планёрками…

Каждый сам себе строит тюрьму, стенами которой являются предрассудки, страхи, мысли, даже цели запирают и ограждают человека. Собственные законы выносят тебе смертный приговор…

Шесть Новые книги пахнут детством… чем-то лёгким, молодым и далёким. Далёким настолько, что принимает оттенок сакральности. Новые книги, как молодые люди, а люди — это книги. Обычно мы не помним содержание, а впечатления и чувства остаются навсегда. Есть книги на множестве не известных нам языков, но они всегда несут смысл. Ты почему-то ненавидишь книжные магазины и библиотеки… чувствуешь себя тонущим во время шторма кораблём… ведь для тебя люди — это просто люди.

Восемь Вся жизнь. Время было с тобой, а после оно уже с другими людьми и их Временем. А иногда оно просто фиксирует факт твоего существования…

Что-то вроде эпилога Он слышит звук, доносящийся из другого конца коридора… он привык к тишине. Худой, скользкой, давящей тишине, изредка нарушаемой руганью надзирателей, из-за которых по тишине стрелками разбегаются трещины… именно в такую трещину сейчас и просочился звук… звук течёт по коридору, смешивается со звуками дождя снаружи и становится громче.. это стихи. Обычные детские стихи… человек нервно дёргается, накрывает голову подушкой и отворачивается к стенке… мёртвые не слышат музыки.

Остановка

Время стекает каплями со стрелок часов… ты подставляешь руку, и у тебя в ладони замирает на мгновенье вечность, исчезая сквозь пальцы… на земле, сливаясь с каплями дождя, бегущим сначала по стеклу автобусной остановки, а затем змейками по чёрному асфальту, утекает в канализационный

люк. Мимо шипят машины…от этого звука ёжится серое, замёрзшее без солнца небо, сворачивается комками кислого молока… мелькают Тени. А ты просто сидишь.… Есть такая потребность — знать, что дальше что-то будет. Не важно, хорошее или плохое, просто будет…и ты ждёшь, как ребёнок Нового года.

Здесь каждый ждёт своего автобуса. Многим по пути, но в то же время у каждого — своя дорога. Ты сожалеешь о том, что не существует маршрута *всё равно*. Рядом садится Тень. Её тяжёлый взгляд толкает тебя в плечо. Ты озябло поворачиваешься в её сторону. Эта тень совсем не такая, как другие: тусклая, рваная…в некоторых местах — сквозные дыры, через которые виднеется стекло остановки, небо…

— Ждёшь… ты — Ждущий… — начинает она разговор.

Ты чувствуешь себя разбитой об пол тарелкой, звон ещё стоит в ушах. Говорить нельзя

— Все мы ждали и выбирали ехать. Выбирали оставаться Тенями, принимать законы и следовать им, кто-то шёл иначе… — она вздыхает… и ты понимаешь, что перед тобой совсем не Тень…

— Я шёл… давно,— перехватывает твою догадку Идущий, — а сейчас я просто тень, как и все остальные… просто знаю больше остальных…

— Ты знаешь?! — вырывается у тебя. И воздух загорается яркими искрами, пришлось зажмуриться… Идущий улыбается.

— Ты совершил преступление, нарушил молчание — о том, что жизнь есть тонкое пересечение граней стакана… Ты можешь идти вперёд или назад, можешь оступиться — утонуть или же просто выпасть за рамки реальности, можешь переступить или перепрыгнуть на другую грань, можешь идти по кругу, а можешь оказаться на дне. Все грани одинаковы, просто видим мы их по-разному. Чаще всего понятия «хорошо» или «плохо» существуют в рамках определённой грани. Одна грань — одни понятия и представления, другая — всё абсолютно другое, иногда с точностью до наоборот. Всё определено только по отношению к тебе. В мире, живущем по чьим- то заданным параметрам, от нас остаются лишь тени… тени наших желаний, истинных возможностей, потребностей. А если в тебе появляется свет — на тебя смотрят с презрением, если начинает разгораться — топят. Если даже в нас есть свет, мы сами не позволяем разгореться ему настолько, чтобы стёрлись грани…чаще мы сгораем сами. Об этом теперь знаешь и ты.

Идущий встал, ещё раз улыбнулся и скрылся за углом.

Невозможно понять, кто из нас двоих… танец на клавишах рояля — я, белые капли краски от покрашенного бордюра на чёрном асфальте — ты; комок мыслей посреди горла, повисший в воздухе взгляд — я; красивый эпилог к бессмысленной книге — ты, чёрно-белое кино с цветными эмоциями — я; слетевшая игла проигрывателя — ты… а разве мы не вместе?

Игорь Носков

Хорошо бы…

Хорошо бы взять струну — и играть,
Словно Паганини — на одной струне.
Только где же мне струну эту взять?
Да и та же, будь она, — не по мне.

Хорошо бы взять — и в осень рвануть
И купаться в ней, как будто в реке.
Укажите мне до осени путь —
Я сорвусь туда, как есть, налегке.

Хорошо бы убежать от судьбы.
Но при этом — по щеке чтоб слеза.
Невозможно…ведь при этом мне вы,
Презирая, поглядите в глаза.

Хорошо бы взять — и в небо взлететь.
Где же крылья мне для этого взять?
И послушать бы и посмотреть,
Что же там, внизу, творят-говорят…

Хорошо бы мне уйти, но друзья
За черту шагнуть никак не дадут.
Хорошо бы? Нет, ребята, нельзя —
Меня дома с нетерпением ждут.

Татьяна Хармац

Da chi mi fido mi guardi Dio,
Da chi non mi fido, mi guarderò io.

Молитва

Когда в душе темно, и мир безмолвно-серый,
Я в тишине шепчу молитву небесам:
«Храни меня Господь от тех, кому я верю,
Кому не верю, тех остерегусь я сам».

Живя в своих мирах, я верю очень многим,
За каждого из них взойду на эшафот.
Земной мой тяжек путь, и на моей дороге
От горькой тишины храни меня Господь…

Нет, далеко не всё диктуется любовью,
А прошлых дней следы теряются во мгле.
Храни меня Господь от лжи и сквернословья,
Ведь их теперь, увы, так много на земле…

Почти что каждый взлёт сменяется паденьем,
Но всякий раз с камней мне удаётся встать.
Храни меня Господь от горечи сомненья,
Чтоб я свободно мог и падать, и взлетать…

Не разгадать любви и дружбы не измерить,
И я шепчу свою молитву в тишине:
Храни меня Господь от всех, кому я верю,
И Боже сохрани всех тех, кто верит мне…

Сказки разбуженной души

Михаил Дементьев

Одинокая Роза

Милый мой Друг!

Зачерпнув ладонями прохлады из-под крана, ты сотворяешь капельки дождя. Кажется, нечто оживает от прикосновения рук твоих и яркими жемчужинками устремляется в свет. Переливаясь всеми цветами радуги, как бы красуясь, друг перед другом, капельки опадают мелкой сетью на бутон прекрасного, источающего аромат создания. Придуманный тобою дождь (эдакий шумный, озорной народец), едва прикоснувшись к нежной лепестковой кожице, заворожённый застывает в немом почтении…

— Что это?

А в ответ — тишина…

— Что это?

И в упоении замолкают звуки…

Мелкая пыльца дождинок, переливаясь миллионами звёздочек, нежится в ласке тёплых солнечных лучиков.

— Как прекрасен Мир в отблесках твоего присутствия, о великолепнейший из цветов!

Капельки придуманного дождя неслышно собираются в маленькое море, впитывая чудесный аромат (дурманящий, ласковый, завораживающий).

— Что Вы, я — всего-лишь Роза…таких — тысячи…

Лепестки, слегка вздрогнув, чуть раскрылись навстречу долгожданной влаге.

— Да и, к тому же, я… совсем одинока… и… никому не нужна…

Капелька за капелькой влага, ещё совсем недавно касавшаяся рук твоих, медленно просачивается внутрь бутона, внося в Мир иной частичку Души твоей.

Тебе хорошо и спокойно. Самым краешком сердца своего ты вдруг осознаёшь, что эти лепесточки, эти ладошками листики, наконец, эти тоненькие иголочки тянутся к тебе. Дело рук твоих не прошло незамечено. Тепло Души твоей, обогрев сердце маленького существа, возвращается к тебе ароматом, пьянящим Душу.

Ты чувствуешь, как одинокая Роза распускается в твоих глазах в прекрасное, сказочное существо, как ты растворяешься в ней.

Пусть будет так.

Береги это чувство.

Будь самим собой.

С праздником!

Милый мой Друг!

Оглянись вокруг. Сегодня вновь надуманный праздник.

С утра весёлая кутерьма заставляет дышать в предвкушении. Кухня шкворчит всякими вкусностями, мерно побулькивая и позвякивая. Полы надраены, костюм выглажен в стрелочку, да и ты весь — полная боеготовность. И серые тучки вокруг не такие уж серые. И работа вроде не в тягость (скорей бы… скорее…). И вновь Душа твоя стремится самовыразиться, раскрыться лепесточками столегкокрылого бутона. Ты летишь, несёшься навстречу празднику, спешишь заглянуть внутрь самого себя и (отбросив условности) обмакиваешь внутренности свои в привычное сорокаградусное буйство.

Глоток, другой, третий… и жилы, натянутые в струночку, запели скрипкой на все лады, издавая нотки той, спрятанной в глубоких катакомбах жизненных напрессовок личины, которую никому и ни при каких обстоятельствах…

Глоток, другой, третий… и по венам полилась горячим потоком музыка. Музыка сказочно прекрасна. Она чарует, затягивая в странный мир, где ты всё можешь, где тебе всё по плечу. Но хоть на миг прислушайся… — то плач Души твоей по уходящему прочь от тебя…

Глоток, другой… и буйное воображение дорисовывает штришки “недостающие” в картине окружающего тебя мироздания…

Глоток… и праздник закончился…. Закончился беспамятно, неказисто и совершенно как-то по-людски. Незаметно перевалив через кошмар будунизма в суетность покорения будней.

Неужели в этом твой праздник?

Береги себя, мой Друг!

Будь самим собой.

Маленький Ручеёк

Милый мой Друг!

Сегодняшний вечер удался на славу, не правда ли? Ты стоишь и любуешься великолепной сказкой танцующих снежинок, мягким прикосновением ласкающих нежную кожу твоих щёк. Кажется, лишь миг — и Душа твоя закружится в лёгком ритме. Ты слегка оттолкнёшься холодными ладошками и заскользишь по бриллиантинам чистого морозного чуда. Хоровод снежинок, белыми листьями опадая к твоим ногам, как будто, пытается поведать тебе о чём-то. Прекрасные белые феи шепчут что-то завораживающее, пытаясь хоть на миг зацепиться за тепло твоей Души.

Прислушайся, попытайся понять их тихую, тихую сказку. Слышишь?..

Жил-был Маленький Ручеёк.

Да, да, все его так и звали — Маленький Ручеёк.

И, хотя для многих своих друзей он был не таким уж и маленьким (некоторым он даже казался бесконечным и бурным), в лесу всё равно его звали просто: Маленький Ручеёк.

Часто, заслышав неугомонное журчание, жители леса улыбались: «Здравствуй, Маленький Ручеёк! Здравствуй!»

В ответ колокольчиком звенел его весёлый смех. Казалось, весь лес вдруг оживал великолепным разноголосьем.

Его папа — Таёжный Родник — был весьма уважаем в лесу. К нему часто приходили за советом, просили о помощи, искали сочувствия.

«Сядь путник, дай ногам своим отдохнуть. Ты испей моей прохлады и подумай о случившемся. Всё будет хорошо», — он говорил так каждому, тихо, почти совсем неслышно. Но умеющие слушать вдруг понимали мудрость его слов и находили ответы на многие собственные вопросы. Вот так-то.

Однажды Маленький Ручеёк нежился в тёплых солнечных лучиках, пофыркивая от удовольствия, перекатывал мелкие камушки с места на место. Он — то собирал их в кучки, то распихивал, протискиваясь между ними, то дурачился, обрызгивая пролетающих мимо стрекоз. Его звонкий смех разносился далеко вокруг, наполняя музыку Жизни нотками радости и веселья.

Отец слушал эти нестройные песни, и сердце его замирало от гордости: «Это мой Сын! — хотелось крикнуть ему. — Это моя частичка». Но он всё больше молчал. Ибо не придумано слов таких, которыми можно было бы выразить всю полноту переполняющих его чувств.

«Это мой Сын!»

Из озорства Маленький Ручеёк подхватил муравьишку и стал кружить, не давая ему выбраться на берег.

— Стой, лоботряс, стой, — муравьишка зацепился за травинку, вскарабкался на стебелёк и, улыбнувшись, добавил. — Лучше б делом занялся, в Мире столько всего…

Схватив семечко, он отправился по своим муравьиным делам.

— Мир? — удивился Маленький Ручеёк, — что такое Мир, а, пап?

— Мир, сынок, это то, что окружает тебя.

— Скажи, а насколько велико то, что окружает меня?

— Это, смотря какими глазами смотреть. Всё зависит от твоего мировосприятия.

— А он повсюду так же красив? — сын заёрзал от нетерпения.

— Мир прекрасен для познающего его, сынок.

Маленький Ручеёк оглянулся вокруг. Как много он раньше не замечал, не придавал значения. А ведь всё вокруг незнакомое и такое интересное.

Так прошло всё лето. Маленький Ручеёк окреп, возмужал. Каждый день его был насыщен маленькими историями, полными открытий и приключений. Шаг за шагом, познавая Мир, наблюдая за Жизнью, снующей вокруг, он становился мудрее и спокойнее. И песенка его изменилась. Она стала протяжнее, мелодичнее. В её нотках звучали тысячи почему: «А почему Солнышко так высоко?» «А почему у муравьишек всегда столько работы?» «А почему?..»

Задавая сам себе очередной вопрос, он заметил нечто необычное. Кто-то сидел у его берега и бесцельно кидал в него камушки. Нет, ему было совсем не больно. Но зачем?..

Он оглядел пришельца с ног до головы.

Существо сидело на камушке, подтянув к подбородку коленки, и напевало какую-то незнакомую, но сказочно прекрасную мелодию. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три…

Волны тепла и счастья тихо касались его волн и от этого ему, почему-то стало очень-очень хорошо. Хотелось ещё и ещё раз прикоснуться, дотронуться, дотянуться.

— Папа, кто это?

— Человек. Точнее сказать — девушка.

— Девушка,… — Маленький Ручеёк даже вспенился от удовольствия. — Как это звучит… мягко, тепло и красиво. Девушка!..

Девушка склонилась над ручейком, и её прекрасное личико отразилось в самой душе маленького озорника. Он вгляделся в её, наполненные радостью, глаза и ему вдруг захотелось раствориться в них, утонуть и, воскреснув где-нибудь в самой глубине её души, слиться с её песней навсегда.

Девушка слегка коснувшись волн ладошкой, казалось, погладила его, ставшего вдруг таким робким и несмелым. Маленький Ручеёк застонал от блаженства. Душа его зазвенела тысячей ноток. И лес тут же откликнулся разноголосьем, вторя своему любимцу. Всё вокруг по-особому засветилось. Мир неуловимо изменился.

— Как хорошо здесь! — пропела маленькая фея, вставая с камня. — Очень жаль, но мне пора.… Как тут всё чудесно!

И девушка ушла.

Первое время Маленький Ручеёк терпеливо ждал, когда же она вновь придёт, эта прекрасная Девушка. Он рисовал себе картинки их будущей встречи, представляя её лёгкую походку. Её глаза, казалось, навек поселились в его душе.

Но терпения хватило ненадолго. Не дождавшись, он стал лихорадочно, порою выходя из берегов, искать её повсюду, спрашивая всех встречных:

— Вам не встречалась?.. Ах, не видали…

— А может быть… да, да, я понимаю…

«Ах, милая обладательница прекрасных глаз, где же ты?..»

Бесплодность поисков день за днём теребила Душу, терзая сердце сомнениями. Маленький Ручеёк загрустил. И весь лес как-то сразу поскучнел опавшими листьями. Птицы стали потихоньку разлетаться. Насекомые попрятались кто куда. Дело близилось к зиме.

От тоски Маленький Ручеёк высох весь. Превратившись в пар, он понёсся к небесам.

— Да, да, оттуда всё видно… Может быть…

Он нашёл её в скверике большого, шумного города. Она сидела на скамейке, и с какой-то печалинкой в глазах мечтательно наблюдала за проплывающими вдаль облаками.

Маленький Ручеёк, рассыпавшись тысячей снежинок, восторженно закружился над миром.

Он танцевал незабываемо прекрасный вальс своей безумной любви.

Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три…

Едва касаясь прекрасных щёк, он капельками сползал на мохнатые лапки ресничек и вновь любовался этими прекрасными глазами.

Раз-два-три, раз-два-три…

Он мягким прикосновением обнимал её за плечи, пытаясь, подхватив её, закружить в сладострастном танце.

Девушка счастливо улыбнулась. В её Душе вновь зазвучала забытая с лета мелодия. Почему-то вспомнилась полянка одетого в осенние цвета, леса и маленький журчащий ручеёк, так забавно щекотавший её ладошку. Этот сказочный первый снег, казалось, звал её кружиться в немом танце, забыв обо всём вокруг. И она закружилась, напевая чудесным голоском прекрасную мелодию: раз-два-три, раз-два-три…. А со стороны казалось, что кто-то невидимый ведёт её в этом прекрасном вальсе.

Не бойся чарующих звуков Души своей. Не бойся быть непонятым.

Будь самим собой.

Стенка

Милый мой Друг!

Не правда ли, как часто окружающий тебя Мир поражает своей противоречивостью? Порою, ты пытаешься осознать лишь малый кусочек бытия, но натыкаешься на безумное количество попутных вопросиков, недомолвок и каверзных тупичков. Окончательно путаешься и (подчас) к концу пути движешься совершенно в другом направлении или же, что, поверь мне, случается гораздо чаще, стоишь, уткнувшись в собственно тобою выращенную стенку невосприятия, нежелания понять окружающее.

Жила была стенка.

Отроду ей было совсем немного. Да и кирпичиков, поддерживающих её тонкий стан, только-только хватало, чтобы не упасть. Часто прогибаясь под ветром перемен, она дивилась тому, насколько прочно складывают её нежные людские души.

Стенка обожала Мир Окружающий за его неповторимое великолепие. Каждое утро её навещало доброе Солнышко, согревая своими тёплыми прикосновениями. Вокруг цвели сады и нежными голосками пели птички. Каждый день она с наслаждением впитывала в себя ароматы настоящей жизни. Ей казалось, что весь мир создан вокруг неё, что она — Стенка — лучшее и красивейшее изобретение людское. «Я ваше детище! Любуйтесь же своим шедевром!»

Но, повзрослев и окрепнув, Стенка вдруг поняла, что люди совсем ею не восхищаются, а просто не замечают очевидного. Чистосердечно радуясь каждому привнесённому в неё кирпичику, она ужасалась, с каким постоянством эти странные существа бьются головами, стараясь сдвинуть с места каменный монолит.

«Странные эти люди, — мысли навязчивым роем кружились, не давая ей покоя. — Неужели они не видят, что, по разные стороны меня они лишь противоборствуют друг другу? Странные они — эти люди…»

Всё более не понимая людей, Стенка с каждым днём становилась мрачнее и мрачнее.

— Эй, Люди, я же Ваше создание! Почему Вы меня не замечаете?

И вдруг однажды вечером, отдыхая от дневной жары, Стенка ощутила на себе прикосновение чьих-то рук. Да, да, это были именно руки — не хвосты, не лапы, не перья, а тёплые, нежные человеческие руки. Они скребли по холодному камню, стремясь отыскать выход.

— Кто ты? — Стенка замерла в надежде, что её услышат.

— Я?.. Поэт! — руки прекратили свою работу.

— Зачем тебе это? — Стенка взглянула в печальное лицо прекрасного юноши.

— По ту сторону тебя затерялась Звезда моего сердца. Нежный мой цветочек. Моя прекрасная любовь. Я пытался подарить ей весь мой Мир, сочиняя песни и стихи. Я пытался понять её настолько, насколько возможно мужчине понять женщину, но ты, Стенка, слишком высока.

От этого странного человека исходило что-то особенное. В нём чувствовалось и неистовство жаркого пламени, и холодная сырость плачущего дождя. Тепло и радость, касаясь кирпичиков, метр за метром согревали Мир общения.

— Чем помочь тебе, Поэт? — Стенка сама удивилась словам, вырвавшимся, казалось из самой души.

— Чем ты можешь помочь? В Любви помощников не ищут… — парень печально опустил руки свои на выступающие уголки кирпичиков. — Спасибо тебе!

Из его ладоней полилось лучистое пламя, стремясь обогреть кого-то, находящегося, быть может, близко, а может за многие-многие пространства, но пламя не сжигающее, как пожар (пожаров Стенка панически боялась), а согревающее, ласкающее светом, зажигающее Жизнью.

— А она…

— Кто — она? — паренёк встрепенулся.

— Звезда… м-м… твоего сердца… Она любит тебя?

— О, ты не знаешь, какая она! Она — мой Бог, моё вдохновение… Она — Роза, украсившая сад Души моей! Она… она не может не любить!

Что такое Роза, Стенка знала не понаслышке.

«Это прекрасно, это прекрасно… — думала Стенка, по кирпичику выбрасывая из себя родные камешки. — Если это — Любовь, то Она прекрасна!»

Через несколько мгновений маленькая калитка была готова, но Поэт (казалось) не замечал её, погруженный в свои мечты.

— Розы…. Здесь должны расти Розы… — бормотала Стенка, концентрируя тепло влюблённой Души на маленькой задачке.

— Розы… Любовь — это прекрасно…

Когда паренёк очнулся, всё было готово. Ветерок, взъерошив кучерявый чуб юноши, слегка погладил каменные бока. Быстро оглядев содеянную работу, он рванул в поднебесье разгонять застоявшиеся тучки. Вынырнув в открывшееся межтучье красавица Луна ярко осветила

маленькую аллейку роз, уходящую куда-то сквозь Стенку — на ту сторону. Светлячки миллионами звёздочек вспыхнули, возвещая миру о свершившемся чуде.

Всё вокруг цвело и благоухало.

— Розы?.. Калитка!.. Спасибо… ты… ты… ты сама не знаешь, какая ты!..

Паренёк влетел в аллейку. Слезинка, скатившись по камешкам, упала в тёплую Землю. Сейчас он был похож на танцующего под облаками голубя.

— Это она, слышишь, это — Она…

Юноша взорвался тысячей маленьких искорок. Каждая бусинка света казалась маленькой звёздочкой, напевающей странные песни. Песни Любви и счастья.

Два любящих сердца наконец-то соединились и, растаяв друг в друге, взлетели на недосягаемые высоты блаженства. Они были вместе. Они понимали друг друга с полуслова. Они слились в единое целое, явив миру чудо гармонии. И выстроенная кем-то Стенка не имела для них теперь никакого значения, для них, имеющих собственную аллейку Любви.

Очень скоро выглянувшее Солнышко возвестило о том, что жизнь продолжается. Тёплыми ладошками, разогнав прохладу ночного волшебного сна, оно разлило по листикам норму утренней росы и размеренно поплыло навстречу звёздам.

Заворожено любуясь влюблёнными, Стенка чему-то внутренне радовалась.

«Эти цветы…. Эта аллейка…»

Ей казалось, что наделай она тысячи, миллионы таких аллеек, и Мир преобразится к лучшему, засверкает несчётным количеством зажжённых факелков Любви. И люди наконец-то перестанут больно колотиться своими головами в её уставшие бока.

Влюблённые нехотя встрепенулись. Посмотрев на часы, они нежно друг друга обняли, пытаясь ещё хоть на миг удержать прекрасное мгновение. Секунды неумолимо уносились в прошлое. Наконец, разжав руки, они устремились каждый в свою сторону, унося с собою жажду будущей встречи.

Стенка в мечтах и волнении провела весь день, с нетерпением ожидая их возвращения.

«Ну почему же эти милые существа не остались в моей аллейке?.. — непрестанно думала она, нежась в тёплых лучиках солнышка. — Ведь им же было так хорошо…»

Первым на крыльях любви прилетел парнишка.

— Эй, Поэт, здравствуй! Ты чем это так озабочен?

Вопрос повис в воздухе. Казалось, парень не замечал её и совершенно перестал слышать.

Чуть погодя пришла его спутница. Они нежно обнялись, распространяя вокруг тепло своих сердец. Им сейчас казалось, что весь Мир вокруг перестал существовать. Только Он и Она. И бесконечный танец Любви — прекрасный, лёгкий и спокойный.

Но ни Он, ни Она не заметили того, что увидела вдруг Стенка: влюблённые принесли в свою цветущую аллейку по маленькому кирпичику и, бережно уложив их на старые места, вновь отправились каждый по своим делам.

— Люди, очнитесь… — только и успела воскликнуть Стенка им вослед.

«Нет! Этого не может быть….Ведь они же любят друг друга….А, значит, пройдёт день-два и, поняв свою оплошность, они придут и уберут эти маленькие кирпичики. Да, да, так и будет!..»

Но день за днём, по инерции приходя в свою аллейку, эти странные существа старательно залечивали рану в Стенке, незаметно для себя выкладывая из мелких камней преткновения целую баррикаду, пока вновь не оказались по разные стороны оной.

Боль едкой горечью разлилась по всей натруженной спине Стенки. Ветерок, печально прошелестев листиками, затих. Солнышко, присев на корточки, спряталось за горизонт. Всё вокруг замерло. Стенка тихо заплакала.

Она плакала совсем не оттого, что Поэт стал (как и все) с разбегу биться головой о собственную баррикаду, отдавая дань суетности нашей жизни. И не оттого, что услаждавшие её взор Розы погибли, став никому не нужными. Она плакала по потерянной мечте в лучшее будущее. Она плакала о тех людях (этих странных, непонятных существах), которые не смогли оценить её подарок, не смогли сберечь это прекрасное чувство — Любовь.

Мой милый друг, не бейся головой о неразрешимость задачи. Отойди немного назад. Взгляни на построенную тобой Стенку. Может, ты найдёшь в ней свою калитку, усыпанную кустами Роз. Поверь — она ждёт тебя. Только не исколи душу, пытаясь понять окружающих.

Пойми сначала самого себя, а, поняв, сбереги это в сердце своём.

Будь самим собой.

Семя

Милый мой Друг!

Вот и посадил ты своё деревце.

Вроде бы всё просто: бросил семя в тёплую, ухоженную плоть, утолил жажду питательностью влаги всепонимания, нарёк имя содеянному. Теперь жди с нетерпением, верь всенепременно, что пробьётся оно росточком сквозь темень мягкой землицы. Выглянет, к солнышку потянется, вздохнёт всеми фибрами Души своей чистой, заглянет в глаза твои.

И поймёшь вдруг, что частичка Души твоей в нём, что знает оно о тебе, о твоей Жизни всё, что готово помочь тебе на твоём нелёгком пути к очищению.

Мало ещё, говоришь?! Что ты, мой милый Друг, что ты! Оно велико уже тем, что Оно полноправная частичка твоего существования. Оно велико уже тем, что ты подарил ему Жизнь.

Спустись же к нему с высот своего миропонимания. Попробуй же подняться, дотянуться, хотя бы дотронуться до его чистоты и постарайся не запачкать его своим присутствием.

Помни всегда — это твоё детище, это твоя мука, это твоё очищение!

Люби его так, как окружающее вокруг любит тебя.

Будь самим собой.

Письмо в никуда

Он долго сидел у растопыренного окна, смачно пережёвывая остатки импортной бумаги. Его интеллигентное, слегка усато-бородатое лицо было переполнено какой-то потусторонней опустошённостью. Задумчивость неторопливыми оползнями медленно опадала под натиском непрошенных, по-настоящему мужских слезинок, скупо орошавших его потную тельняшку.

Конечно же, он вспомнил всё. Окуная взор свой в прекраснейшую чистоту божественного напитка, имя которому…(собственно сие не столь важно), он вытаскивал из пустоты окружающего пространства странные картинки. Тут же забывал их, отыскивая новые. Конечно же, он помнил всё.

Его шикарные апартаменты на миг потеряли чёткость феерического рисунка (трещинки, облупившаяся штукатурка, да тёмными точками — гвоздичные шляпки). И вот он уже в щемящей сердце и душу комнатке с балконом (в ящике которого так и не зацвели, посаженные тремя парами рук, чудесные цветы). Всё до странности устрашающе прекрасно, полно каких-то намёков и недовысказанностей. На стене приколочен ромбовидный отрезок основательно потрёпанного паласа. Некий необитаемый остров, скромно развалившийся, весь такой из себя огромный центр малюсенькой вселенной. Заботливой рукой некоего Робинзона тут и там шиворот на выворот приколочены, вклеены, проштопаны разные финтифлюшки, где-то с потолка змеёй свисает водопроводный кран, соединённый гофрированной трубой с телефонным аппаратом. В углу педальный автомобиль, изо всех своих педальных сил ухватился за потолок, то ли унося куда-то в поднебесье, то ли просто пытаясь потихоньку сползти вниз. Огромные цифры 6, 6, 6; надорванные жизнью карты; алыми пятнами краска; занесённый над плахой топор… тапки… тапки… тапки…

Картины сменяют друг друга с молниеносной быстротой: фейерверк… Новый год… извечная бутылочка винца во внутреннем кармане…

Он привычно приподнял стакан с играющей на свету жидкостью.

Конечно же, он помнил всё.

Кажется, только вчера самолёт уносил куда-то в никуда столь бесшабашно проведённое время. И было как-то по-хорошему грустно не оттого, что всё закончилось.… Нет! В этой жизни (увы) хорошее всегда очень быстро уходит в историю. Душа плакала по тому будущему, которое так и не состоялось…

И весь Мир пришлось выдумывать заново!

Он медленно взял ручку и каким-то магически неуловимым жестом вывел слова:

«Прометей не пролитей».

Тысячи слов, повисших где-то в воздухе, зашуршали особенным осенним шёпотом. Огонёк оплавленной свечи вдруг закружился по комнате в волшебном танце радужных теней. Вокруг тихо оживала сказка.

Он устало провёл по воздуху рукой. Ему стало хорошо и уютно, как будто он вновь очутился рядом со своими друзьями и то огромное пространство, та бездна состоявшихся событий вдруг превратились ни во что. Да что там, в конце то концов какие-то тысячи километров и разноязыковость взглядов, когда Души, воспарив друг к другу, восклицают в немом восхищении: «Вливайся!»

И вливаются.

И уже никакими чиновничьими препонами, никакими злобными наговорами их не удержать, не свалить, не затоптать. Им теперь верится лишь в то, что сказка ещё не закончена, что она-то как раз только-только начинается. А впереди столько неразведанного, непознанного, недопитого.

Запустив в свою буйную шевелюру пятерню, он с ожесточением почесал голову, выуживая за кончики остатки мыслей, летающих уже где-то вокруг всего тела. Обрубки мыслей, путаясь, брыкались, пытались ускользнуть, исчезнуть, испариться. Но он не давал им даже шанса, выуживая, выскребая по сусекам. Он подкидывал их и на лету выстраивал в чёткую последовательность закорючек, завитушек. Эти самые завитушки, закорючки, прибамбасики, падая на девственность листа, несли в себе информацию в дальние дали о том, что у него всё (можно сказать) о'кэй!

Сибирь-Матушка! Прекрасный город! Замечательные люди (вперемешку с не очень…). Здоровье (тьфу-тьфу) на уровне. В общем-то, неплохая работа. Электрик!.. Это о чём-то должно было напомнить.… Но вот о чём?.. Он не знал.

Нет! Не женат…

Нет! И не пытался…

Нет! И не стремлюсь…

Хотя, чем чёрт не шутит?..

А чёрт сегодня не шутил томным голоском где-то за дверями огромной общаги, настойчиво звал в темноту, обещая целое море обжигающей ласки.

А нужно ли?..

А сегодня ли?..

Он взял себя в руки, встряхнул, приосанил и аккуратно опустил к растопыренному окну.

Женщина!

Не есть ли сие самая великая награда израненной, вечно мечущейся в поисках границ самопознания Душе?

Он глянул в ярко-звёздное межтучье. Далёкое извечное величие миллионом огоньков на миг заглянуло в его нутро, мельчайшими отражениями вырисовывая ночной пейзаж. Кажется прямо за окном (даже не за окном, а прямо здесь — под ногами), опадая с величественного обрыва на бреющем полёте, взору предстаёт завораживающая картина Енисейской поймы. Картина слегка затуманенная, но сказочно прекрасная, одетая (кажется) в легчайший саван из миллионов разноцветных огоньков, каждый из которых дышит, мечтает, живёт своей неповторимой Жизнью.

Женщина!!

Не есть ли сие величайшее из наказаний? Наказание, подчас самое жестокое в своей нежности и незащищённости, жалящее даже не просто в самое сердце, а переворачивающее всю твою Жизнь, за доли секунд выворачивающее Душу наизнанку и разрывающее её в мельчайшие клочки.

Холодный осенний ветерок рысцой пронёсся по его разгорячённому телу. Забравшись под

тельняшку, он попытался согреться но, не отыскав уютного местечка, вырвался наружу. Пришлось закрыть окно, спасая себя от Матушки-природы ещё одной, придуманной человеческим гением преградой.

Женщина!!!

Не есть ли она?.. хотя, почему не ест?.. Ещё как порою ест и пьёт.... И куда только девается их патологическая тяга к диетомании?

Крошки, сметённые со стола, нестройными стайками взмыли вверх, отдавая последнюю дань своего недолгого существования. Их нестройное хрипловатое пение-хрипение возвестило о том, что очередная порция жизненно важной энергии сожжена ради Его Величества Человека.

И всё-таки — Женщина!!!

Он вновь оглядел свою обшарпанную комнатушку.

«Как же ты ещё далёк от того, к чему стремишься» — он вытянул вперёд свои трудовые ладони, ухватился за воздух.

«Вот он — твой Мир — вокруг тебя. Ухвати покрепче и подтягивай осторожно, будто рыбку о золотых плавниках, которая трепыхается где-то на самом кончике лески. Она сопротивляется, ходит влево-вправо, запутывая тебя окончательно. А ты не спеши, не подгоняй себя, но и удочки ни на миг не отпускай. Ах, как хочется всего и непременно сразу. Рванул посноровистее, и вот оно — блюдечко с голубой каёмочкой».

Он махнул воображаемым удилищем, покачнулся, рухнул куда-то (как ему показалось) в объятия ласковых волн, при этом опрокинув стул и чудом избежав столкновения с острым углом столешницы. Огромный мир, полный приключений и рассеявшихся иллюзий, превратился в скомканное пространство, ограждённое четырьмя колоннами, увенчанными незамысловатой кровлей.

А завтра…

Что ж, завтра вновь на работу.

Завтра — целая куча встреч, знакомств и просто секундных «здравствуй-как дела-до свиданьев».

Завтра вновь начнётся обыденное сегодня.

Мысль тяжёлым молотом расколола голову и, не спеша, товарным поездом, прогромыхала сквозь весь организм.

«…завтра …зайти, …но куда? …что-то …где-то …спросить адрес?! …чей?»

Мысль, окончательно запутавшись, чуть подрагивая, опустилась в район живота.

«Пора в путь дорогу». Он заставил себя улыбнуться в неизвестность и подумать о чём-нибудь приятном.

Это уже потом, стоя в отвратно пахнущем помещении и самозабвенно радуясь всему этому прекрасному Миру, он с наслаждением думал, что, конечно же, его далёкий друг прав, полностью и безоговорочно, что очень скоро им предстоит встреча, да ещё какая. И сколько будет вокруг замечательного: и воспоминания прошлого, и возжелания будущего, и дегустация настоящего.

Сколько ещё впереди самого, что ни на есть главного.

И самое главное — не упустить рвущуюся с крючка рыбку.

Слегка подправив свою перекошенную физиономию, он в который раз бодро сказал себе:

— Ну, что ж, Демаргарины?! Вперёд!

И уверенно зашагал в неизвестность одной из тысячи дорог.

Мария Воногова

И стыдно, и страшно, и больно, и дико…
Я не была ребёнком индиго.
Мне б иногда хоть немного удачи,
Чтоб не реветь по ночам.
Это моя ненадёжная мантра.
Мне б иногда хоть немного азарта,
Чтобы потребовать губ твоих завтра —
И спокойно спать по ночам.

Василина Степанова

Пахнет скошенным небом,
Веет скошенной грустью.
Обожжённую нежность
Осторожно отпустим.
И — сплетая ладони-
Сердце в сердце опустим.

Екатерина Волкова

Получила я то, что хотела,
Что искала — о чудо! — нашла.
Новизна, словно пудра, слетела,
Словно пёстрое лето, прошла.

Приключение стало рутиной
И внезапно открылись глаза;
Я отнюдь не достигла вершины,
Здесь вершины достигнуть нельзя.

Я хочу и менять, и меняться.
Я терять ничего не хочу.
Я забыла, что мне только двадцать.
Я над миром уже не лечу.

Вот бы чудо какое случилось…
Бросить всё и, как прежде, летать…
Только то, чего в жизни добилась,
Очень страшно теперь потерять

Юрий Беликов

Голос шаровой молнии

или история одного снимка

Никогда не страдал манией фотографироваться с «великими». Хотя мне могут тут же возразить с расплывшейся улыбкой посвящённых: «Страдал-страдал! Раз написал, что «не страдал», значит, страдал — по Фрейду.

Жалко мне Зигмунда. Вот с ним-то как раз норовят «увековечиться» все, кому не лень. Читали они Фрейда или не читали.

А эпитет «великими» я намеренно взял в кавычки, потому что только Время, уползающее в Вечность, всё расставит по своим местам, и тут уж кавычки либо прирастут к «постаменту», — ломом не сколотишь, либо отпадут, как у ящерки хвост. За ненадобностью.

Оправдание фотовспышки

И меня всегда почему-то коробило, когда кто-нибудь говорил: «С вами хотят сфотографироваться». Причём ладно, если речь шла о знакомых, которым, впрочем, зачем воздвигать это желание в задачу? Нет, как правило, телодвижения засняться выказывали какие-то совершенно случайные личности, быть может, увидевшие и услышавшие тебя полчаса назад. Чёрт знает что!..

Одно время я жил напротив дома Окуджавы в Переделкине — сердобольные друзья сдавали мне, бесквартирному, на зиму дачу. Иногда я видел Булата Шалвовича — в телогреечке, круглой грузинской шапочке. Можно было, конечно, познакомиться. Но, с другой стороны, почему я должен навязывать человеку собственное существование? Он живёт, и я живу. У меня — свои друзья, у него — свои. Окуджава сам же по этому поводу поиронизировал: «На фоне Пушкина снимается семейство…»

Но когда я рассказал одному из знакомых, что обитал-поживал напротив дачи Окуджавы, он посмотрел на меня восхищённо-одурманенным взором: «Повезло тебе!» Я пожал плечами: не теряя внутреннего уважения к Булату Шалвовичу, я, к примеру, ставил своих друзей не ниже. И этого мне было достаточно.

Напротив, всегда внутренне недоумевал, когда кто-то из моих литсобратьев норовил «прислониться» к заезжему «монументу». Я этих «монументов», мнимых и сложившихся, видел воочию столько, что, ежели их перечислять, это отняло бы заметный кусок печатной площади. Что, со всеми фотографироваться?..

Правда, существует, снимок, где Евгений Евтушенко пытается душить вашего покорного слугу портьерой пермского драматического театра. Однако тут уж Евгений Александрович сам пожелал со мной засняться, очевидно, вживаясь в роль Сальери. Но вот единственный порыв, который

автор этих строк в себе не погасил, — фото, запечатлевшее нас с Андреем Вознесенским в мае 2007-го года.

Я давно не видел Андрея Андреевича, к тому же у меня после долгого перерыва вышла книга избранных стихотворений «Не такой» — был повод встретиться. Мы договорились пересечься в кафе столичной гостиницы «Рэдисон-Славянская», что поблизости от Киевского вокзала. Я и раньше знал, что Вознесенскому не здоровится, что он в прямом смысле потерял голос, о чём написано в его стихотворении, где рефреном — «…я голос теряю…». Но когда я это услышал-не услышал сам, ледяная иголка кольнула моё сердце, и несколько кадров, обмирая от сопереживания, запросил мой фотоаппарат. Почти тут же во мне запульсировало:

> Вознесенский говорит голосом пришельца.
> Так общаются сущности горние —
> при помощи ультразвукового шелеста —
> в «Пермском треугольнике».
> Человецы больше его не слышат.
> Как не слышат меня. Мы — ампулы.
> Но зато летучие нас пеленгуют мыши,
> дельфины, ангелы…

Забегая вперёд, скажу, что, будучи в Переделкине в сентябре 2008-го года, это стихотворение, опубликованное в журнале «День и Ночь», я прочитал Андрею Андреевичу целиком в саду его дачи. Заканчивается оно так:

Мне пора. Голос мой не дождался парома,
чтоб явить невесомое в поступи,
но на просьбу чужую: «…пошли мне,
Господь, второго…»,
ты послал мне второго, Господи.
Куда первый не вышел, откуда второго невзгода
удалила, тошнее которому, —
там однажды сколотят высокий ковчег перевода
в нашу утлую сторону.

В ответ лицо Вознесенского, которое нынче многие сравнивают с маской, солнечно просияло, он пожал мне руку и подарил свой, только что вышедший сборник «Стихи о любви».

Я вспомнил время, когда во второй половине 90-х автор «Треугольной груши» и «Антимиров» приезжал в Пермь, ныне усилиями фанатичного университетского филолога Владимира Абашева почти что переименованную в живаговский Юрятин. Накануне я был в Москве, где в нижнем буфете Це Де эЛа случайно встретился с Андреем Андреевичем.

— Меня приглашает в Пермь фонд «Юрятин»…

— Да, это я дал номер вашего телефона…

— Ехать?.., — испытующе посмотрел он на меня.

— Конечно!

Машины у меня нет — позвонил «доктору Живаго» (сейчас в Перми многие так кличут Володю Абашева) — он собирался встречать Вознесенского в аэропорту. Говорю:

— Я тоже хотел бы встретить Андрея Андреевича…

— А ты знаешь: мест в машине уже нет! — невозмутимо ответствовал «доктор Живаго».

Забавно, что, входя в Органный зал филармонии вместе с доставленным гостем, Володя ласково укорит:

— Первое, что он спросил: «А где же Юра?»

В Органном зале при солидном скоплении слушателей Вознесенский читал стихи, сочетая чтение с показом слайдов своих видеом, при этом раза три-четыре огласил со сцены моё имя («Я называл вас больше, чем Пастернака!» — улыбчиво скажет он мне немного погодя); осведомлённая часть зрителей оборачивалась в мою сторону, а я не знал, куда себя деть. Потом Андрей Андреевич знакомился с «пермскими богами» художественной галереи (позднее в его эссеистике «На виртуальном ветру» появится возможный только для Вознесенского образ: одного из деревянных Иисусов, поднёсших длань к уху, он уподобил говорящему с Богом по мобильнику). И вот тут-то, после визита в галерею, с «именитым московским гостем» начали фотографироваться «сопровождающие лица». Это походило на пенящуюся разноцветную гирлянду воздушных шаров, сопровождаемую слоганом «Мы открылись!»

Нам с поэтом Славой Дрожащих стало не то что бы неловко, а (есть такое древнерусское выражение) невместно, и поэтому мы стояли в сторонке, терпеливо дожидаясь, когда же иссякнут распущенные фотографические слюнки этих самых «сопровождающих лиц». «Умойтесь! Туалет — налево», — как сказал герой моих заметок в «Прощании с Политехническим».

Ну что, атомщики?!

Первое моё знакомство с Вознесенским приходится на апрель 1976-го. Мне 17, я живу в Чусовом, о котором Виктор Астафьев, чей богатырский дар пробудился именно в этой дымно-еловой ямине, как-то сказал: «Видно, здесь писатели в саже заводятся!». Живу и всем своим видом материализую песенный выдох Градского: «…в красной рубашоночке, хорошенький такой». Да, тогда я был именно такой — до «Не такого» оставалось три десятилетия, когда вслед за Ходасевичем я уже мог укорить себя строчкой: «Разве мама любила такого?»

Мы с моим чусовским другом, ныне трагически прервавшим своё, уже московское бытие поэтом Анатолием Култышевым, решили завоевать Первопрестольную. Он ехал показать текст рок-оперы тому же Александру Градскому, я — стихи Андрею Вознесенскому. Это были времена, когда ещё никто не скрывал своих адресов, их спокойно можно было узнать в горсправке, да и просто-напросто прочитав поэтический сборник, где, к примеру, значилось, что человек, сравнивший чайку с плавками Бога (кто не помнит, это уподобление принадлежит молодому и дерзновенному Вознесенскому) живёт в таком-то доме на Котельнической набережной столицы.

Входим в подъезд сталинской высотки. А Вознесенский, как и положено кумиру, поселился по-олимпийски высоко — условно говоря, где-то на 28-м этаже. (Может, я, сейчас загнул, но так мне тогда казалось). И мы с Толиком, ходоки из уральской чумазой глубинки, где по тем временам самый верхний — пятый этаж в хрущёвке, впервые увидели лифт. Лифт для нас был, как сегодня компьютер, допустим, для Андрея Битова: кнопку нажать страшно. Я предложил своему другу не искушать НТР, а следовать к мастеру проверенным в провинции пёхом. Поднялись. Юные — не запыхались. Звоним в двери. Отзывается женский голос (как я сейчас понимаю, знаменитой Озы — музы и спутницы жизни поэта Зои Богуславской). Мямлим: «Вот-де, мы ребята с Урала, приехали свои стихи показать!» В ответ слышим: «Вознесенский здесь не живёт!» (Простительно: обнародовав домашний адрес, мэтр стал заложником поэтических паломников). Опешили: как же? В стихотворении-то указано! Но делать нечего — отсчитываем несколько этажей вниз и присаживаемся на подоконник лестничной площадки, чтобы обмозговать ситуацию. Минут через пять-семь (о чудо!), вслед за нами — явление очередных «детей лейтенанта Шмидта»: по лестнице спускаются пермские поэты… Владислав Дрожащих и Виталий Кальпиди! Иными словами, не сговариваясь, в одно и то же время четверо мальчиков из провинции прибыли в столицу, дабы получить поэтическое благословение одного и того же человека — Андрея Вознесенского. Однако заход Дрожащих с Кальпиди, да ещё после нас, был,

разумеется, неудачным. Дверь-Оза им не отозвалась.

Наши «конкуренты» двинулись своим курсом, а мы с Култышевым решили задержаться у «парадного подъезда». В отличие от Дрожащих с Кальпиди мы были более дремучими провинциалами: «В стихотворении-то написано… Нас не собьёшь». И оказались правы. Из подъезда — собственной персоной, небесный шарфик вокруг горлышка — вышел Андрей Андреевич. Вот тут-то я его и окликнул!

Он сел в такси, пригласил нас с собой — ему нужно было добраться до касс Аэрофлота. И, пока мы ехали на Калининский, на переднем сидении рядом с водителем читал мои рукописные «отроческие листы». Ногтем подчеркнул строчку об ощенившейся бездомной собаке: «И тут загорятся у суки сосцы, / как лампочки на новогодней ёлке!» Я это стихотворение никогда не публиковал, рукописный его вариант утерян, но в памяти сохранилась приведённая строчка, потому что под ней шёл «реактивный» след от ногтя Вознесенского…

Вполоборота мастер привёл формулу: «Сейчас в поэзии нужна атомная бомба!» (Очевидно, имел в виду: нужна, чтобы прорваться в печать). Спорное, как я потом понял, утверждение. Кто ж прорвался в 70–80-е? Высоцкий? Только магнитофонными записями. Как обмолвился тогда Пётр Вегин: «Годы стоят густые. Соловьи крепостные». Через эти самые годы Россия выяснила (выяснила ли окончательно?), что, оказывается, «в ту пору чудесную» жили-творили-ушли десятки прекрасных поэтов.

— Ну что, атомщики?! — «выдал» нам удостоверения Андрей Андреевич, вернувшийся из касс Аэрофлота.

Кошка на сосне

В начале 90-х, когда я состоял в редколлегии журнала «Юность» и в очередной раз прибыл из Перми в Москву, как только переступил порог редакции, сразу услышал:

— Ты давно на деревья не лазил?

— А что?.., — ожидая искромётного подвоха, глянул я на спросившего меня Александра Ткаченко, тогдашнего редактора отдела поэзии и будущего (теперь уже легендарного) генерального директора и вице-президента Русского ПЕН-центра.

— Да вот, понимаешь…, — Саша выдержал паузу, — только что звонил Вознесенский — у него кошка забралась на сосну и не слезает. Он сказал: «Найди Юру. Юра же с Урала…»

Я представил: приезжаю в Переделкино, взбираюсь на сосну и снимаю кошку. Завтра вся Москва говорит о том, что поэт Юрий Беликов знаменит тем, что снял с сосны кошку Вознесенского. При всей любви и уважении к Андрею Андреевичу это нам, уральцам, не подходило. Однако чувство солидарности с кошкой, вообразившей себя «Выпустиптицей!», и поэтом, написавшим «мой кот, как радиоприёмник, зелёным глазом ловит мир», подвигло на сочувственный звонок.

— Тут нужны «афганцы», — заметил на том конце провода мэтр. — Впрочем, долго разговаривать не могу — над кошкой летают вороны, я пошёл отгонять! Позвоните вечером.

Звоню вечером. Андрей Андреевич рассказывает историю:

— Приехала бригада лесников. Пьяные. Попытались залезть на сосну — она качается и они — тоже. Тогда лесники эту сосну спилили! Кошка прыгнула на соседнюю. Они спилили вторую сосну! Кошка прыгнула на третью. Тут вышла Зоя, позвала её: «Кыс-кыс-кыс», кошка и спустилась…

Изящная, не правда ли, миниатюра? С элементами чёрного юмора, если учесть, что Переделкино — заповедное место. Сдаётся, что Вознесенский, как натура фантастически художественная, в некотором роде эту историю придумал. На одну-две сосны.

Стук по дереву

«Не моя чашка чаю», — обронил он однажды о Бродском. И не моя. Быстро подкатывает чувство оскомины. Давайте прикинем: кого родил Иосиф? Гигантское количество унылых бродскофилов. Исключением, быть может, 19-летний и в том же возрасте ушедший москвич Илья Тюрин, преодолевший Бродского прививкою традиции русской философской лирики.

Теперь давайте загибать пальцы, кого родил Андрей? Петра Вегина, Романа Солнцева, Леонида Губанова, Алексея Парщикова, Юрия Арабова, Алексея Прийму, Александра Ткаченко, Бориса Викторова, Константина Кедрова, Нину Искренко, Владислава Дрожащих, Алину Витухновскую, да и вашего покорного слугу. Это — только навскидку. Если заняться вычислением, список будет очень внушительным.

Конечно, тут возникнет немало протестных «но», оговорок, поправок (и они будут справедливы), однако неизбежно признание: поэзия Вознесенского, как бы её н уценивали и прежде, и сейчас, сообщила русскому языку такой дрожжевой градус, что последующую брагу, подчас не ведая о её происхождении, черпают ныне и попивают многие жаждолюбцы стиха. Ветвь Вознесенского плодоносит. «…намокшая воробышком сиреневая ветвь». И процитированный здесь Пастернак эту ветвь только поддерживает всем своим мощным стволом.

Стихи Андрея Андреевича давно стали позывными русского бытия — из второй, словесной реальности воротились в первую — в круговорот обыденной жизни: «Тишины хочу, тишины!..», «Благодарю, что не умер вчера…», «Ты молилась ли на ночь, берёза?», «Не трожьте музыку руками!», «Не возвращайтесь к былым возлюбленным…», «Небом единым жив человек», «Человека создал соблазн», «Начните с бесславья, с безденежья…», «Думайте поступками». Уж не говорю про «Миллион, миллион алых роз».

Я нарочно не снимал с книжной полки знакомый том. Если молевой сплав памяти легко выносит названные строки, не верный ли это признак животворящего обменного круговорота сознания и материи? А ведь приведённые позывные — заветы, слеги, брошенные через болото, зарубки! И эти заветы выстраданы, подтверждены собственным примером.

Возьмём последнее: «Думайте поступками». Не забуду, как после августовского путча 1991-го ко мне, ещё не остывшему от баррикад у Белого дома, он подошёл в ЦДЛ, где начинался первый учредительный съезд Союза российских писателей:

— Юра, напишите, кого, по вашему мнению, надо было бы принять в Союз из пермяков.

Я вписал фамилии Дрожащих, Асланьяна, Горлановой, Марины Крашенинниковой… И вот выходит на трибуну Вознесенский:

— За бортом нашего творческого Союза остаётся много достойных писателей, живущих либо в эмиграции, как Аксёнов, либо — в провинции, как… (дальше он привёл фамилии из «пермского списка»).

Так мы были приняты в Союз.

Новейший пример «думания поступками». Раннеутренний звонок. Снимаю трубку. Ничего не слышно. Ну, мало ли, кто захотел безмолвно подышать на том конце провода?.. И вдруг меня осеняет: «Андрей Андреевич?» Напрягая слух, распознаю: он! Только что прочитал моего «Не такого» и решил продиктовать свой отзыв.

Кажется, я предсказал потерю его физического голоса. Помню, в начале 90-х позвонил ему из Перми в Переделкино.

— Откуда вы звоните? — почему-то (как я потом понял, обескуражено) переспросил он.

— Из Перми…

И вдруг — в ответ удивлённо-ужаснувшееся:

— Откуда? Из тюрьмы?!

Ослышка была гениальной, если учесть, что Пермь и прежде, да и теперь — средоточие всякого рода колючих периметров — от вчерашних политзон, до особого «Белого лебедя» и лагерей общего режима… Места-то ещё со времён Бориса Годунова ссыльные.

Вообще, Вознесенский полон ясновидческих вспышек. В те же 90-е он решил испытать строчку из своего нового стихотворения на моём «аборигенском» слухе:

— Юра, как лучше: «Когда Урал, как будто нос, провалится», или «Когда Урал, как страшный нос, провалится?»

— «Как страшный…», — уточнил я.

Теперь у этого стихотворения — «страшный нос». Но именно Он, точно доживший до теперешних дней и перебежавший из прозы Гоголя в поэзию Вознесенского нос майора Ковалева, учуял то, что творится на наших глазах: уральский город Березники, родина юности президента Ельцина проседает в подземные пустоты, оставшиеся после соляных шахтных выработок. Посему березниковцев сейчас спешно переселяют. Уфф! Даже этого провала «страшного носа» достаточно.

Но я отвлёкся. Незадолго до нашего телефонного разговора Андрей Андреевич опубликовал в «Огоньке» эссе «Музы и ведьмы века» о магической силе женщин, сопровождающих поэтов. С удивлением я обнаружил, что там абзац и про меня: «Хлопнула дверь… Пришёл Юра Беликов, лидер пермских «Детей стронция». Они с юной спутницей, несмотря на мои протесты, разувают сапоги. Наверное, в сапогах тяжело летать. Он читает при ней, своей музе и мучительнице, посвящённый ей цикл. Садистка слушает…»

К тому времени я уже расстался с обозначенной «садисткой», но боль от разрыва была ещё свежа, и, очевидно, он уловил это, потому что в конце разговора вдруг молвил:

— Я постучу за вас по сосне!

Кстати, после памятного для многих пермяков своего выступления в Органном зале здешней филармонии, увидев подошедшего меня, Андрей Андреевич заговорщически, с особым акцентом на первом слове, спросит:

— Она была?

— Была, — отзывом на пароль отвечу я.

На его братский стук по переделкинской сосне я откликнулся стихотворением:

Постучит по переделкинской сосне —
словно будит сердце тяжкое во мне.
И к другой сосне приникнув, слышу стук
я — барчук прикамский, я — барсук…

А дальше — уже про него:

Он повяжет горло шёлковым платком
посреди академической жары.
«Клоун!», — скажут с хохотком, а это — ком
и надежда — на условные шары.

Под «условными шарами» я подразумевал те самые «летающие апельсины», с которыми когда-то «познакомился» в упомянутом выше «Пермском треугольнике», инопланетному шелесту которого уподобил нынешний голос Вознесенского. А «шёлковый платок», согласитесь, кому-то тогда казавшийся стильным, а кому-то пижонским и клоунским, как выясняется, скрывал этот самый «ком». Незадолго до своей кончины Саша Ткаченко сказал мне о том, что «проблемы с голосом у Андрея», возможно, исходят из того общеизвестного хрущёвского разноса в зале Кремля, когда потрясающий кулаком генсек орал: «Господин Вознесенский, вон из нашей страны, вон!» Саша намекнул, что на опального поэта «было спланированное воздействие, отразившееся впоследствии на его голосе…»

Между тем:

Это высшее искусство — сознавать,
что сорвёшь однажды голос шаровой,
и сорвать его, и всё же не соврать —
петь на сорванном, соря им над толпой!

Андрей Вознесенский, действительно, сегодня поёт «на сорванном» («Ржёт вся страна, потеряв всю страну, я ж — только голос…»), но — поразительное дело! — данный свыше абсолютный слух не позволяет ему сбиваться на фальшь — музыкальную, зрительную, метафизическую и общественную, и я уже не раз становился свидетелем оценки его новых творений людьми полярными и даже при встрече бы завраждовавшими, однако солидарными в одном: «А Вознесенский-то стал писать ещё лучше!»

В прозе поэта «Голубой зал Кремля» мы читаем о том, как после хрущёвского «унитазного» взмаха кулаком (через годы возникнет видеома — кулак рядом с унитазной ручкой!) на плечо опального

автора «положил лапищу» Владимир Солоухин, который увлёк собрата к себе домой, где, «наливая стопки, приговаривал»: «Ведь это вся мощь страны стояла за ним — все ракеты, космос, армия. Всё это на тебя обрушилось. А ты, былиночка, выстоял…»

У человека и поэта Андрея Вознесенского есть одно редкое свойство — всё, что «обрушивается на былиночку», он превращает в материю преодоления и предмет поэзии. В подаренной мне книжке «Стихи о любви» я обнаружил недавнюю и фантасмагорическую «Оду моей левой руке»:

Рука, спасибо за науку!
Став мне рукой,
ты, точно сука, одноуха,
болтаешься вниз головой…
………………………………
Мне снится сон: пустыня Гоби.
на перевязи, на весу,
как бы возлюбленную в гробе,
я руку мёртвую несу.
………………………………
Прощаюсь с преданною жизнью.
Рука ж вполне
здоровая — на ней повисну,
как тощий плащ или кашне.

Не горний ли дух вселился в него, перешагнувшего в 2008-м году рубеж 75-летия? Тот дух, который позволял пушкинскому юродивому пророчески указать: «Нельзя молиться за царя Ирода! Богородица не велит». Подозреваю, какую физическую боль днём и нощно он преодолевает («Дай секунду мне без обезболивающего!»). И слышу, как метафизический, а значит, не утерянный голос Вознесенского бьёт оголённым нервом русского причета, став видеомой шаровой молнии:

Боль — остра, боль — страна разорённая.
Соль Звезды Рождества растворённая.
Соль — кристалл, боль — Христа —
карамболь бытия.
Боль — жена, боль — сестра,
боль — возлюбленная!

Москва — Пермь

ДиН память

Владимир Луговской

Мальчики играют на горе

Мальчики заводят на горе
Древние мальчишеские игры.
В лебеде, в полынном серебре
Блещут зноем маленькие икры.

От заката, моря и весны
Золотой туман ползёт по склонам.
Опустись, туман, приляг, усни
На холме широком и зелёном.

Белым, розовым цветут сады,
Ходят птицы с чёрными носами.
От великой штилевой воды
Пахнет холодком и парусами.

Всюду ровный, непонятный свет.
Облака спустились и застыли.
Стало сниться мне, что смерти нет —
Умерла она, лежит в могиле,

И по всей земле идёт весна,
Охватив моря, сдвигая горы,
И теперь вселенная полна
Мужества и ясного простора.

Мальчики играют на горе
Чистою весеннею порою,
И над ними,
в облаках,
в заре
Кружится орёл —
собрат героя.

Мальчики играют в лёгкой мгле.
Сотни тысяч лет они играют.
Умирают царства на земле —
Детство никогда не умирает.

Александр Силаев

Нечаянная антропология

Самое глупое стремление

Кто-то сказал, что самое глупое стремление — показаться умным, самое подлое — казаться порядочным, самое слабое — казаться сильным. Хрен знает, может, я сам сказал. Иногда мне кажется, что во фразе — какое-то скрытое противоречие… А иногда не кажется…

Масштаб и сволочь

В больших подонках как-то завораживает масштаб. А вот кому хочется устроить персональный ГУЛАГ и Освенцим — так это гадящим по мелочи, ворующим по копейке, глумящимся с разрешения, «критически настроенным» дуракам.

Три стадии падения

Сия антропология рождена за пять лет преподавательства (на материале студенчества). Но могла быть рождена, где угодно. На материале, например, политиков.

Первая стадия — дурак. Дурак, в отличие от профана, от незнающего, может чего-то знать, может быть в «курсе» и в «материале». Дурак — не знающий пределов своего знания. Несущий себя за предел своей компетенции. Дурак может быть очень логичен. Чем дурак логичнее, а также чем информированнее — тем опаснее. Техника усиливает вектор. Всё равно, что пьяный с машиной опаснее пьяного с самокатом.

Вторая стадия — хам. Дурак может быть вполне замечательным человеком. Иногда студенты подходили перед семестром: «Ну, Вы же понимаете, что мы тупые?». Не судите, мол… В таком случае они, правда, уже не совсем тупые… Хам — дурак, настаивающий на своей глупости и социальном утверждении с ней. А поскольку в нормальной конкуренции ему сложно, он торжествует путём разрушения чужой сложности.

Третья — подонок. Хам — рискует. Обычно он идёт один на один, или в ситуации группа на группу с неявным исходом. Может, и получит своё. А может, и огребёт. Подонок — не рискует. Всё различие. А так он то же самое.

Злобный автор

Чего я такой злобный? Когда пишу? Меня спрашивали…

В более оптимистичной ситуации мыслить и писать было бы попросту незачем.

Живи себе и радуйся.

Вообще, вымутить содержательный текст из зла — много проще, чем из добра. Эту мысль любят долдонить сторонники «позитивной журналистики». И они её подтверждают. Ибо, как правило, пишут лживо и просто плохо.

Хотим, чтобы нас хотели

У Жака Лакана: «Желание есть не стремление к удовлетворению и не требование любви, а вычитание первого из второго…». С некоторой потерей смысла, но в простоте: мы хотим, чтобы нас хотели. И это, если ботать по дискурсу, называется желанием.

Кризис — наше всё

Выход из кризиса путём создания предпосылок для кризиса более острого не есть ли столбовой путь человечества? Да и отдельных людей? Но кризис — в значении, отличном от бытового? То есть не когда «хана» и «болит», а когда по старому жить нельзя, а по-новому непонятно?

Более того — не бывает ли всё хорошее лишь в критической окрестности? Такое хорошее, о котором хорошо вспомнить? Тогда лучшее, что можно пожелать человеку: перманентного кризиса.

Навеяло

Фраза, которую я на занятиях приписывал не то Марселю Прусту, не то Мерабу Мамардашвили: «Всё время, когда мы не рисковали, не волновались и не мыслили, можно считать потерянным». Они, насколько знаю, такой фразы не говорили. Но я оговаривался вполне бессознательно. Навеяло.

Я — тёмный

Александр Пятигорский как-то пояснял, в каком смысле Россия — *закультуреннная страна.* На простом примере. В России интеллигентный человек не имеет права не читать… положим, Достоевского. Скажет — не читал. Ему быстро — давай, беги, читай. А английский интеллектуал запросто признается, что не читал Диккенса или Джойса. Ну, не читал и не читал — его личное дело. Никто его никуда не гонит.

Пятигорский далее говорит, что Россия — самая культурная страна в мире, но не факт, что это её счастье. Где-то, может, и счастье, а где-то наоборот. Общество можно замесить не только на культуре. *Рефлексия*, например — это не культура. И *низовые цивилизационные нормы* — тоже не культура.

В этом смысле я некультурный (хотя мне нравится считать себя очень русским). Я не разбираюсь в кино, музыке, живописи. Хожу в театр раз в пять лет. Терпеть не могу Тарковского и многую другую «духовность». Для пишущего человека — довольно мало читаю. И то в основном не прозу: философию, публицистику, какие-то сайты.

Я этим не горжусь. Но ведь и не стыжусь абсолютно.

Гигиена вкуса

Часто ли доводилось говорить «это хорошая штука, но мне это противно»? Или: «мерзотина полная, но мне нравится»?

Мне вот нравятся люди, которые — хотя бы гипотетически — могли бы так изъясняться.

И как-то противны те, кого даже нельзя вообразить в таком жанре.

Продать душу богу

Иногда стать бойцом идеи, фанатиком незримого, агрессивным «идеалистом» — самый прагматичный выход. Когда требуется некий источник энергии, а все натуральные источники кончились… Тогда выходишь в чисто поле Вселенной и совершаешь — как бы это назвать? — акт самотрансцендентации.

Душу продаёшь. Но явно не дьяволу. Ибо когда торгуешься с дьяволом, там наоборот: хочешь заставить служить себе некие отчуждённые силы взамен на кусочек своего «идеального». «Напишу вам неправду — но только по тройному тарифу, не такое я чмо, чтобы писать без коэффициента». А здесь наоборот: наращиваешь идеальное, по видимости теряя «в материи». Этого теперь не моги, того не хоти… Но это по видимости.

Кажется, у Сергея Чернышева такая байка о силе. Частицы движутся, как положено, броуновским движением. Сталкиваются. И та, которая больше, меняет траекторию маленькой, а сама тоже меняет, но чуть-чуть. Но вот создали поле, одни частицы заряжены — и движутся направленно, а другие нет. Сталкиваются и разлетаются, как раньше. Но теперь маленькая заряженная частица имеет более чёткий вектор, чем большая, но не заряженная, т. е. «мощнее движется к цели». Вот вам и идеология, трансцендентация и т. п. Очень прагматичная штука.

«Продать душу богу» — как средство разгонять мелких бесов или хотя бы им не завидовать.

Когда же настаёт полный карачун, самотрансцендентация иногда — единственное, что тебя поднимает. Не хочется жить, но… «знающий зачем — преодолеет любое как» (Ф. В. Ницше). Пытаюсь её себе прописывать. Как микстуру.

Вера и творчество

Хочется иногда «отдаться служению идеалу», т. е. с шашкой наголо на врага… что тормозит? Просто помнишь, что некогда у тебя был другой «идеал», другие «враги» и ровно те же основания вынуть «шашку». Просто знаешь, что на сегодня твоё «теоретическое развитие» не закончилось. Просто подозреваешь, что завтра будут чуть другие теории, и надо бы — погодить с шашкой, посидеть на пеньке, покумекать, а потом уже в лобовую и штыковую (тот же Лимонов бегал с «калашом» не с силы, а со слабости — кумекать ему тяжелее).

Так беда: лобовая и штыковая никогда не начнётся. Мы ведь не опустимся до того, что припишем себе Абсолютное Знание познанным сегодня в 12.30? А коли тем временем — спалят родную хату? Будем кумекать? А её, при любом содержании твоей головы, так или иначе «палят» каждый день.

Но… либо «работать с идеями», либо «служить идеям».

Вера-служение и творчество-поиск: либо — либо?

Как возможный выход: строить работу с идеями так, что это и будет достаточная «борьба за них». При этом хорошо бы иметь схему на манер диалектический логики про то, как новые идеи вытекают из твоих старых, т. е. нет точки разрыва, нет «зряшности». Новая беда в том, что само представление о подобной «логике» и «диалектике» — принадлежность способа мышления: одного из возможных.

Холера-сансара

«О горе: сын родился у меня — оковы скованы для меня», — восклицал индийский принц, за большие заслуги прозванный Буддой. Понятно, что по буддизму нельзя привязываться к вещам. Тем более нельзя привязываться к людям. 100 рублей и 100 друзей — единая холера-сансара.

Это понятно. А привязываться к какой-то деятельности — можно?

Кому умирать

Фраза, кажется, Джойса: «Почему я должен умирать за свою страну? Пусть моя страна умирает за меня».

С равным успехом фразу можно считать:

1. Декларацией невиданного достоинства человеческой личности;
2. Декларацией вполне подоночного инстинкта.

Решает контекст, в котором она говорится. И то, чем она достроится в голове: рецепция тут важнее интенции.

Конформизм от безысходности

Подчас «творчески настроенные молодые люди» (гнусное на вкус словосочетание) годам к 30 ударяются в «карьеризм» вместо «нонконформизма» лишь оттого, что реальность, создаваемая имманентным циркулированием желания, уже не канает. Водка не вставляет, как раньше, книжки скучно читать, все места уже знакомы, в Шамбалу не берут, а куда берут — везде насмотрелся: скучные люди по сотому разу гоняют одно и то же… И чего делать? От безысходности начинаешь «заниматься делом».

«Говорить ни о чём»

Если «нечего сказать», просто проблематизируешь ситуацию, в которой это «нечего» возможно — делаешь содержанием высказывания рефлексию условий его невозможности: и говорить можно бесконечно. При условии, что тебе в принципе — может нравиться мышление как процесс…

«Ставить на поле смерти»

Кажется, у Сунь Цзы: хочешь, чтобы твои воины побеждали — ставь их на поле смерти. Хочешь, чтобы проиграли — укажи им дорогу к жизни.

Это мне цитировал человек, входивший в 2002 году в избирательный штаб Хлопонина. Отвечавший за щекотливые места кампании, скажем

так. По всем цифрам за 3 месяца до выборов Хлопонин не мог стать губернатором края. У него был рейтинг 4 процента, а у главного соперника Усса — 36. «Им было куда отступать, — пояснил технолог. — А нам некуда». Либо на капитанский мостик — либо за борт. Выиграли.

Если можешь — жги корабли. Почему продувает сборная РФ по футболу? Потому что все ковыляют дорогой жизни… Надо как? Чтобы подписались: продул, и — …

Не вышла твоя команда из отборочной группы, и нет тебя в спорте (технические детали, как это оформить, обсуждаемы). Чтобы чемпионат был тебе всем. В СССР спортсмену не было больших денег, не было заграничных клубов. С точки зрения успеха сборной — лучшая ситуация.

«Звёзды» на такое не пойдут? Провал не входит в их коммерческий план? Гнать на хрен. Играет тот, кто играет ва-банк.

В политике — так же. А что? Предвыборная кампания по правилам преферанса. Сначала торговля. «Я гарантирую ВВП в 3 процента». — «Я гарантирую ВВП в 5 процентов». — «Пас». Пост тому, чья заявка больше. Недобрал — каюк. Не плохо правил, а именно «недобрал». Обещал нам равенство? Децильный коэффициент, равный пяти? А он у нас двадцать пять? Как минимум — отставка с пожизненным запретом на руководство. Как минимум.

Нельзя представить? Почему? Подобное мог бы проделывать Сталин касательно своих бояр. Верхушка политического класса знала, почём фунт лиха…

Думайте о плохом

Рецепт: сознавая своё состояние сознания, перестаёшь в нём находиться. Если тебе плохо, просто подумай об этом.

Матерно о высоком

Матерные слова в художественном описании не смущали, кажется, никогда. Ни Пушкина, ни других. А вот мат в теоретическом дискурсе?

Легко себе представляю авторов, матерно излагающих, что угодно, до онтологии сознания включительно. Но это современные авторы. Какой-нибудь Пятигорский.

Но ведь это — явление историческое? Русские гегельянцы 19 века вполне себе могли думать матом, но не в теории же. И в двадцатом веке не особо могли.

Насколько понимаю, дело не в социальном статусе философии — но в социальном статусе мата.

Или я чего-то не знаю?

Пошлая борьба

Борьба с пошлостью рискует оказаться довольно-таки пошлым занятием. Ну, в самом деле: сколько можно про то, что Петросян — это бяка, и т. п. Всё это немногим увлекательнее самого Петросяна.

Персонология на коленке

Психология, если верить дословно, «научный дискурс о душе». Уже немного настораживает.

Что такое наука? «Научность» определяется через «методичность», с которой берётся предметность. Методичность стоит на декартовском разделении субстанций. Познаётся та, которая протяжённая.

Что такое душа? А кто её знает… Но вот такое определение: указание не столько на предметность, сколько на отсутствие возможности предметного указателя, но присутствия чего-то, о чём не молчат. Например, фраза «душа болит». Что-то явно болит, но не ясно, что.

И как такую «предметность» — прикажете брать?

Но это так, к слову. Просто придирка к словам, хилый закос под Хайдеггера.

Так вот: листал книжку по «персонологии двадцатого века». Либо какая-то очень плохая книжка, либо очень плохой я, либо на самом деле — типовая «персонологическая теория» пишется на коленке за пару дней. Это если суть её. Ну, ещё пару месяцев — выкладывается в книгу. Ещё пара лет — подгоняется эмпирия. И пошли по лесам-полям-кафедрам.

Допустим, я говорю: люди делятся на восемь типов. И ещё семь стадий взросления. Пять ценностных ориентиров. Два главных типа проблем. Усё. Матрица заполняется.

Почему, блин, типов восемь, а не двенадцать? А стадий семь, а не пять? А что — изволите двенадцать и пять? Пусть будет двенадцать и пять. Двенадцать — это три, умноженное на четыре. Чего бы такое с чем перемножить?

Можно выпускать пособие «сделай сам». Про то, как перемножать. И самое забавное — нет теории, которая бы не «работала». Говорят тебе, что люди делятся на шестнадцать групп, и ты раскладываешь по ним округу… Ловко так получается… Округе тоже нравится: вроде как забава в «овнов-тельцов-близнецов». Кому с кем совокупляться в знаке Сатурна? А если по-научному — ещё прикольнее.

…Первым человеком, посвятившим меня в учение «соционики», была девочка двенадцати лет (очень смышлёная дочь одного писателя). Как водится, прошли тест. Интраверсия — экстраверсия. Интуиция — сенсорика. Логика — этика. Иррациональное — рациональное. Выяснилось: я «Робеспьер», мой друг «Гамлет», и наша подруга «Габен».

С тех пор проходил эту приколюху — тесты то есть — ещё раза три. И каждый раз «Робеспьер». Хотя сам себе кажусь «Бальзаком». Перепроверял. Долго думал на эту тему.

Видите, как затягивает.

Злоба как ресурс

Кто сказал, что наши пороки — злоба, раздражение и т. п. — делают нас предвзятыми, не объективными, глупыми? Сами по себе, автоматически? Глупыми нас делает неумение их использовать.

Болит у тебя, положим, нога. Сильно болит. «Во Путин гад, страну-то довёл». Нормальный образ мыслей. Анекдотический.

Но представим себе, что «нога» действительно поднимает некое раздражение. Тебе хочется чего-то разоблачить. Если тебе присуща интеллектуальная честность, если ты не профан — может получиться качественная критика. А если бы не

«нога», хрен бы она получилась. Стимула бы не хватило.

Злоба — нормальный ресурс. Бороться лучше всего на ней.

Точно так же как существует ресурс любви. Это когда нога не болит. На этом ресурсе, ясное дело, надо любить.

Лицензия на слова

Я бы запрещал изъясняться матерно всем, кто не умеет, при том, изъясняться сложно. То есть когда образованный матерится, он использует инструмент. Он именно «выражается», вносит дополнительную артикуляцию — на фоне нормально усвоенной нормы.

А когда это делает, кто попало, тем паче подросток — он же не умеет по-другому. Скучно это и страшно. Агрессивная манифестация пустоты. «Меня нет, — сообщает пустота, — и вас сейчас тоже не будет».

Я бы лицензию выдавал. На мат. Только вместо пакета справок надо было бы сдать сочинение.

Я бы и пить всем запрещал, кто вежливо не умеет.

Называется: пошла мечтать русская интеллигенция о тысячелетнем царстве добра…

Классика рулит

В «конфликте разума и чувства», как ведомо из классических трагедий, должен побеждать долг. Оглядываюсь окрест: классика рулит. Процентах в 70, где такой конфликт оформлен, так или иначе побеждает «долг». Мужик терзается между женой и любовницей, человек терзается между «продаться» и «не продаться» — два к одному на то, что терзания приведут к «долгу». Такая вот моя эмпирия.

На самом деле, боюсь, чаще-то побеждает «чувство». Просто там, где оно побеждает, нет никаких «сомнений», нет «дискурса классического конфликта».

Отсюда рекомендация: если уж дошёл до такого дискурса в собственной несчастной голове — сразу выбирай «долг». Всё равно, скорее всего его выберешь, только пострадаешь сильнее. Ага. *Если бы тебе следовало выбирать «чувство», у тебя просто не возникло бы такого вопроса…*

Моральная проповедь

Прежде чем поделиться на красных и белых, люди делятся на диких и образованных, перед тем — на умных и глупых, ещё перед тем — на плохих и хороших.

«Ага, — скажут мне, — а кто же такие хорошие»? А это которые, как всегда. «Поступай, чтобы максима твоих поступков…». Может логика твоих поступков быть логикой всего общества?

В этом смысле «радикальный исламист» — человек хороший. Мне, положим, по шариату противно, но общество по шариату — бывает. Инквизитор — хороший. Либерал — хороший. А кто плохой? «Пацан по понятиям». Мира, состоящего *только* из пацанов, не бывает.

Мама ума

Основания, по которым выбираешь себе рациональность как ориентир, сами по себе внерациональны. Лучше сказать — дорациональны. Свобода (способность быть творящей причиной самого себя) предшествует разуму. Мы разумны, потому что свободны, и ни в коей мере не наоборот. Так что когда свобода одёргивает разум — это, как правило, в его интересах. «Мать сыну плохого не пожелает». Лишь изредка бывают совсем уж чумные матери…

Разум: обходные манёвры

Когда впадал в инфантилизм, говорил: «Вот сойду с ума — и будет мне хорошо, а вы — как хотите». То есть?

1. Решение сойти с ума как вполне разумное (должно быть, с чего сходят, и его «санкция» на то).
2. Решение это — эгоистичное (сойду с ума в своих интересах, прежде всего — в интересах своего кайфа).
3. И всё это — инфантилизм. Ибо, прежде всего, бессознательная безответственность.

Апология неудачника

Люблю неудачников. В точном смысле этого слова: люди, которым просто не повезло, которые достойны большего. Они избыточны — там, где они есть. Большая их часть не влезает в функцию. Они таскают за собой лишние компетенции и качества — как большой неуклюжий хвост… Он им не помогает… Он — мешает проходить в двери.

В моменты гордыни считаю себя, конечно же, таким неудачником.

Но я себе льщу.

Все люди в этом смысле — неудачники.

Коктейль революции

Какое человеческое содержание говорит: «*Ненавижу эту власть»?* Или как вариант: «этих чиновников», «этих буржуев», «эту элиту». Негласно принято считать, что вопиет либо жажда социальной справедливости, либо зависть, либо некая их пропорция. Либо хотят стать «властью», и серчают, что там «менее достойные». Либо серчают, что властвуют «не по-людски».

А может быть что-то третье?

Как я могу завидовать? Как я могу завидовать чиновнику, укравшему десять миллионов долларов — если я в принципе не вижу себя чиновником? Я могу завидовать только своим, другой форме жизни — не могу (как я могу завидовать бабе, которую трахает здоровенный негр — если я не баба?).

Приписывать себе повышенный инстинкт справедливости? Полноте… Не выше, чем у других. Спокойно на всё смотрящих.

Ни первое, ни второе, ни их пропорция. Иногда мне кажется — это чистая злоба, которую вырабатывает какая-то железа. Но злобу ведь надо канализировать. Не могу же я обратить её на хороших людей… Как-то не логично… И безответственно…

Коктейль «революционное состояние»: чистая злоба + чистая логика + чистая ответственность. У большинства «революционеров», я так

понимаю, коктейли совсем иные… Более душевные… С них — больше трещит наутро башка.

Впрочем, возможно ещё одно объяснение — перечёркивающее всё остальное. *Классовое чувство.* Это ни в коем случае не зависть и не желание справедливости. Это именно активная не любовь живого к живому, но с условием, что видишь и себя, и объект — *персонификацией некоторой абстракции*.

Но тогда — какого я *класса*?

Классики его толком не описали.

Пыточная машина

— Что общего у твоих любимых Пелевина и Гарроса-Евдокимова?

— Ну, — говорю, — ненависть к окружающей действительности…

— Получается, ко мне тоже?

— Ты что — окружающая действительность? Кого ты окружаешь-то?

— А что такое — «окружающая действительность»?

— То, отчего мы страдаем.

— А конкретно?

— Ну, — впадаю в пелевинщину, — всяк индивид — сам себе пыточная машина. Большая часть в нём — это пыточный механизм. И в обществе. Чего там любить? Любить можно то хиленькое, что в нём пытается.

— Почему хиленькое?

— А будь оно сильное — кто бы его посмел?

— А как его именно?

Тут я чувствую кризис и посылаю. К первоисточнику.

Менее решительные самоубийцы

В каждом убийстве мерцает элемент самоубийства.

И *онтологически*: сознание дано в единственном экземпляре, но не может существовать на единичном носителе и уничтожение иного носителя — покушение на себя.

И *экзистенциально*: уничтожить мир, или уничтожить себя, или уничтожить часть мира — проявление схожего: порвать договор о существовании тебя с миром.

И *социально*: убийц было принято убивать.

В некоем смысле убийцы — *менее решительные* самоубийцы.

Одно и то же «*порядочный*» может решить убиением себя, «*живучий*» — своего ближнего, а «*последовательный*» — грохнет массу народа, и себя под конец: например, Гитлер.

Обыкновенное чудо

Довелось мне как-то увидеть чудо. Девочкам и мальчикам возраста младших классов надевали чёрную повязку на глаза. Давали случайную книжку, открытую на случайной странице, и дети читали. С той же скоростью, что обычно. Складывали пазлы. Рисовали. Повязка была честной, я проверял.

Меня заверили, что по той же методе — видят внутренние органы, видят на расстоянии. Мысли вот только не читают.

В том месте, где это делали, сие звалось — «открытие биокомпьютера». Слышал, что схожие штуки делали военные медики, звалось это по-другому и было засекречено. А там, где я был — заходи, кто хочешь, смотри: наши весёлые будни.

Посмотрел я чудо — и что?

И ничего.

Жить мне по-другому не сталось. А ведь была, наверное, точка бифуркации — можно было увлечься. Начать чего-то копать в себе и выкопать. Примерить чёрную повязку со временем, щеголять. Стать этаким *недосверхчеловеком*.

При одном условии: если увлечься. А я вот не увлёкся.

Группа риска

Удивляюсь, как выжили мои друзья и подруги.

Один — с заморочек «личной жизни» — маялся такой логикой: жить я всё равно не хочу — работать сейчас не могу — сделаю доброе дело: перебью окрестную гопоту. Ходил с ножом, но гопоту в тот день не нашёл. Ещё хотел купить пистолет, чтобы стрельнуть какого-то совсем омерзительного чиновника (с ножом на властную вертикаль — не солидно). Санитар российского леса закончил тем, что его подобрали санитары — с микроинфарктом. Не пьющий человек, он влил в себя десяток бутылок водки… Дней пять вливал…

Девушка кончала с жизнью. Раза четыре, по-разному. Как-то раз взяла и съела стакан. К ней приходят — «Не мешайте, я умираю». Мало того, что выжила — съеденный стакан вообще никак не отразился на самочувствии. «Фу ты, какую ерунду стали делать». А чего стакан ела? Видимых причин не было. С общего состояния мироздания, скажем так.

У другого товарища было по расписанию: три раза в неделю — бухаем, один раз — драка, раз в месяц — очень серьёзная драка. Мастеру единоборств, ему было скучно: ну филфак, ну газетки, ну водочка-селёдочка… Хотя водочка-селёдочка — уже лучше.

Помню, как-то спарринговались: я — лох, и он — мастер. У меня была метровая палка, и условие было — я выиграю, если дотронусь до него. Фигли. Не дотронулся. А палка сломалась. И носились мы в подвальной комнате, где на потолке — были его следы. Ну, мастер. Тем хуже! При таком расписании, построенном на уверенности, его риск больше, чем у меня, у обывателя, у любого.

Что ещё? С кем-то судился мэр города. За кем-то гонялись бандиты. Кто-то уехал в Москву, имея в кармане 100 рублей и не имея планов — вообще. Кто-то голым гулял по зимнему московскому лесу. Кто-то бухал до чертей, заранее планируя их совокупно с капельницей… Одну девушку чуть не продали уголовнику… Кто-то дрался с ОМОНом на митинге — не ради «идейности», просто прикол… Кто-то вызывал демонов, демон зашёл, и они пообщались… Кто-то спал в подъездах… Кто-то сходил с ума так, что пересказывать я не буду: страшно.

Удивляюсь, что не помер вообще ни один. Пока ещё. И на первый взгляд — какие-то очень нормальные люди. Сейчас вот они, спустя чуток времени… Пресс-секретарь администрации. Владелец адвокатской конторы. Доцент кафедры

философии. Прямо-таки «средний класс» на марше: топ-топ, шлёп-шлёп. Но это, товарищи, не «средние» и вообще не «класс». Это, я понимаю, русская интеллигенция, тщательно замаскированная. Какой такой средний класс — голым по лесу побежит?

Ну, а если бы они башкой так в стену не бились — хрен бы знает, что вообще было бы… Может — ничего бы не было.

Творчество возможно лишь в критической окрестности, писал ещё один замечательный мой знакомый. Тоже выжил.

Диктатор по нужде

У интеллигента больше вероятности быть диктатором, чем принято думать. Лидерство — оно как? Или ты ловишь настроения окружения, чувствуешь в унисон. Куда чувствуешь — туда и ведёшь. Все довольны. Про это ещё у Толстого в «Войне и мире»: *баран, идущий впереди стада.*

А интеллигент-то оторван. С кем у него унисон? С «управленческими элитами»? С «народными массами»? Будет пытаться сойти за своего, угадать — всё равно не получится. Лучше сразу верить себе и только. Плевать на то, чего от тебя хотят. Вести корабль на свой огонёк.

А это и есть диктатура.

В этом смысле Ленин и Сталин были интеллигенты; следующие, конечно, нет.

Купить себе время

Самое простое, что можно дать — это деньги. И самое ценное, что можно получить — они же. С первым ещё согласятся.

Но второе — это как? Мы же знаем наши поговорки. «Любовь за деньги не купишь», «ум не купишь», «здоровье не купишь» и т. д. На самом деле — купишь. Только не напрямую. Напрямую их хочет купить идиот, и вместо любви найдёт себе проститутку, вместо здоровья — таблетку, и т. п.

Всё это покупается в три хода. За деньги покупается свободное время. За время покупается свободное развитие и свободное действие. А уже с ними — обретается, что угодно. Но чтобы процесс пошёл, тебе нужно время, а время покупается за деньги… Почему мы живём убого? Не на что купить время, отсюда и вся беда.

Аристократия держалась на том, что *имела время.*

Главнее денег

«Деньги правят миром». Неправда. Миром правит ресурс, дающий доступ, в том числе и к деньгам. В каждой цивилизации он свой.

Бытовая онтология

Бытовые кантианцы считают, что всё решает личный выбор по совести, а *бытовые гегельянцы* — что всё решается институционально.

Как, например, улучшить существующий строй? Первые скажут: делать свою работу, не врать, не воровать, обустраивать ближайшее. «Поступай так, чтобы…». Вторые скажут: играть по сегодняшним правилам на их снятие. В пределе — менять строй.

Первые бредят конкретикой, вторые абстракцией.

Первые, я так полагаю, приятнее в общении, с ними лучше иметь дело. Вторые могут оказаться подонками.

Но я боюсь, что правы вторые.

Скажем так: первые делают *терпимым настоящее*, а вторые — *возможным будущее*.

Циники и чёрт знает кто

Когда мейнстрим определяют подонки… Нет, скажем корректнее: когда мейнстрим благоприятен подонкам, что тогда? Тогда честным людям надо стать *циниками*.

Потому что иначе они тоже будут *подонками*. Или *дураками*. Три варианта. И всё.

Опыт отсутствия

Отсутствие каких-то событий тоже может быть опытом. Главное, чтобы оно выделяло. Чтобы *эксклюзивность*. Допустим, дожить до сорока лет и быть девственником. Это же более интересный опыт — чем им не быть? Интересный — хотя бы с точки зрения стороннего наблюдателя? Или ни разу не выпить — в стране бухих? В принципе, любая девиация — это опыт… Любое воздержания — тоже опыт… Опыт отсутствия.

Его тоже можно набирать и копить. Может ли он тягаться с «опытом присутствия» в ценности? А это зависит не от самого «опыта». А от того, как с ним обращаются. Куда его положили. Что про него подумали.

Опыт отсутствия — вовсе не отсутствие опыта. Строго говоря, отсутствие — *лишь дверь, открывающая нас к иному* присутствию. *Что-то начинает происходить, мало возможное в социально общепринятой событийности. Оно-то и интересно.*

Кажется, что *подлинность* такой иной событийности будет выше.

Или только кажется?

Застольный социализм

Страты перемешаны, к тому же российские люди — выше страт. Пил-закусывал с людьми и богаче себя, и беднее. Какое-то негласное правило: обычно рассчитывался тот, у кого выше доход (а мы, конечно, знали, у кого какой доход). Если встречались совсем уж братья по классу — скидывались. Если считать, то я вкусил примерно столько халявы, сколько обеспечил сам. И это гармония. Особливо гармония, что обе стороны никогда не смущались. В обоих случаях.

Воля как разум и представление

«Сильная воля», «волевой человек» — чего это и откуда? Модель воли: сказал — сделал. По сути, это сводится к диктатуре Эго и Супер Эго, совместно плющащих Ид. Называется — ответственный человек. И наоборот: господство фрейдовского Оно как синоним вызывающего безволия. Ибо тогда «слова расходятся с делом», интересы налево, хотелка направо, и забить на всё ржавый болт. На интересы, прежде всего.

Чем обеспечивается «воля»? Не хитрыми ли манёврами вокруг принципа удовольствия?

Диктатура Супер Эго должна быть более-менее по кайфу. Ну, например: чтобы перестать быть наркоманом — нужно знать, *ради чего тебе перестать*. То есть должен быть более-менее интересный способ существования, представленный в твоём «удовольствии». Не какой-то смысл, долг и т. п., а скорее ценность и интересность. Тогда есть шанс. Должно сооружать территорию некоего удовольствия, пропуском куда будет смирение твоего бессознательного. То есть это вопрос, прежде всего, разумной стратегии, *хитрости практического разума*. Окружающие будут звать это волей.

Помнить Бодрийяра

Мало сочетаемое и по жизни, и по уму — *принимать подарки* и *принимать решения*. Проститутки в этом смысле последовательны. Феминистки тоже последовательны. Нормальные женщины — не всегда.

По Жану Бодрийяру, рабов вообще создала *халява*. Первый раб не тот, кому пригрозили смертью, и он подчинился. А тот, которому *подарили жизнь — и он не нашёлся, чем отплатить*. Потлач, символический обмен. Ты мне корову, я тебе корову, потом ты мне три коровы, а я тебе — ничего; и дальше я конкретно-исторический лох со всеми вытекающими следствиями. Проигравший — бессрочная жертва негасимого долга. Это *идеальная модель рабства*. Преступники, военнопленные, должники — все они *политические нелюди* с отсроченным приговором.

Время не отменяет «символический обмен». Потлач продолжается. Если тебе дарят, даришь взамен, или теряешь политические права. Требовать подарков и одновременно требовать прав — идти от каких-то глубинных законов. Претенциозно. Некрасиво. К тому же — вряд ли что-то получится.

Выбери своё, успокойся на этом.

Кто тебя ужинает, тот тебя и танцует. Всё правильно. Не так танцует — ужинай сам.

Помни про потлач, откупоривая халяву…

«Думай так, чтобы…»

«Думать лишь о том, что подразумевало бы *действие, следующее из мышления*». Услышал это в жанре правила.

А это даже не правило, которому надо следовать. Это констатация. Оно *уже так*.

Люди думают — почему?

Не знают, как им жить дальше. Вообще не знают, как жить. Только дураки знают — раз и навсегда.

Излом судьбы

Наркоманов, педофилов, воров, бандитов, маньяков — всех могу как-то понять. Не простить-полюбить, сугубо понять: как дошли до жизни такой. Не могу понять — любителей писать sms. Самый неэкономичный, самый дурацкий способ общения — за всю историю цивилизации (понятно, что сейчас утрирую, но всё-таки: прикиньте количество байт в единицу времени в *информационную-то эпоху*). Как они дошли до такой перверсии? Что за излом судьбы?

Питомники и заповедники

На летней школе девочка мне говорит:

— Вот вы, Саша, совершенно не психолог, я погляжу…

— Не психолог, точно…

— А давайте я вам по почерку погадаю?

— Где-то училась?

— Да нет, я сама. Но обычно сходится.

Потрясающие девочки — в летних школах. И мальчики.

Мир спасут популяции, выведенные в резервациях.

Больше всё равно некому.

Называю это «катакомбной культурой».

В споре

«В споре погибает истина».

С некоторых пор стараюсь держаться этого правила.

Жить стало немного проще.

И совсем чуть-чуть — безнадёжнее.

Но не надо спорить. Человек напротив либо дурак, либо на иной аксиоматике.

К тому же спорить неинтересно. Интересно учиться, или учить, или просто наблюдать. Не способные к первому, ко второму и к третьему — спорят.

Шиза от нормы

Особый вид людей, пришедших в *неадекватность,* лёгкую или полнейшую — от столкновения своей изумительной адекватности и совершенно жутких, диких, неадекватных вещей. Страна и эпоха — к вашим услугам. То есть заточка на нормальные обстоятельства, в условиях провисания *любой нормы* чреватая неврозом, или чем похуже… Таких людей — видно. Иногда они кажутся самовиноватыми («не знаешь, где живёшь?»). Иногда им хочется ставить памятники. По настроению, видимо. Или, как это ни подло, по обстоятельствам: *своим собственным*.

Самоопределение

В учебных целях можно предлагать следующее упражнение: выписать 100 близких вам явлений, и 100 ненавистных. Неважно, что напишут. Тест на самоопределение.

У каждого таких вещей сотни и сотни. Но большинство зависнет с заданием. Всерьёз и надолго.

Не зря давали.

Абсолютное ругательство

Условиться бы о некоем *абсолютном ругательстве*, страшнее которого ничего нет. После которого — *всё уже ни о чём*. Чтобы закрывать им интернет-полемику, и не месить говно в ступе.

Восставшее чмо в морали

Оскорблять, как правило, начинает тот, кто хотел бы пересмотреть текущее положение. «Эй, холоп, подь сюды», — для боярина, легально и легитимно имеющего холопов, это не оскорбление, *равно и для холопа*. Это он просто позвал, как принято. Всё в рамках конвенциональной вежливости и общественного консенсуса. Даже «грязный холоп», если так звать принято, — вежливость и

консенсус. А вот если принято просто обращаться «холоп», а ты зовёшь «поганый вонючий холоп», и тычешь сапогом в харю — уже наезд. Ибо пересмотр текущей конвенции. Правда, зачем её пересматривать — боярину? У него, по конвенции, и так всё хорошо. Начнёшь пересматривать — вызовешь нестабильность — ещё и огребешь.

Начать *кампанию* всегда естественнее для *холопа*. Терять нечего. Был никем. Раскачал стабильность, в худшем случае будешь никем в большей степени, только и всего. А вдруг — выиграешь? Зажмёшь в уголочке барина и изменишь социальные статусы — в конкретно историческом месте-времени, на *минутку-то в уголочке*?

Оскорбление — *восстание рабов в морали*, ницшевски выражаясь. Аморальными технологиями, как водится, оттяпать себе площадку в морали. Но, как правило, *заведомо проигранное восстание*. Я бы сказал, что и львиная доля *уголовной преступности* — заведомо проигранные восстания рабов в морали (типичный преступник, чего бы себе не думал, всего лишь *взвинченно-агрессивный лох*, освоивший некие конфликтные технологии).

Восставая против определённого места, они воспроизводят и сами места. Оскорблять имеет смысл то, что выше тебя. И это высшее место как-то непроизвольно воспроизводится… Обгаживать можно не обязательно свято место, но обгаживание как массовое стратегия, как жизненный стиль — подразумевает, что где-то свято место ещё осталось.

В мире абсолютно подоночном оскорблять было бы абсолютно нечего. И незачем. Там бы все говорили руганью, тыкали бы ножами, устраняли, опускали, разводили, кидали, прессовали и т. п. — но *это не оскорбления*.

Тоска по фанатизму

Стать бы ярым адептом какой-нибудь идеи, чтоб «жизнь за неё». Я серьёзно. Стал бы лучше себя чувствовать. Не мучился бы по пустякам. Но это тяжелее, чем кажется… Было столько идей, или, точнее, у стольких идей был я… «Знающий слишком много богов в конечном счёте становится атеистом». На фиг, на фиг. Иногда даже кажется, что вопрос моей идейности — вопрос физиологический, вопрос выживания… Рано или поздно *диагноз* должен перетечь в *миссию*, иначе абзац. Ну или, скажем корректнее, в *чувство* миссии. Можно ведь и тараканов морить — с чувством, что спасаешь родину.

Невменяемые, но адекватные

Есть такие совершенно *невменяемые* люди, полностью при том *адекватные*. Ни хрена вроде не соображают, но им это не мешает (метафора тут: рок-музыкант — укуренный, бухой, обдолбанный — но ведь *зажигает, и потрясающе*). И масса таких «бытовых Джим Моррисонов». У меня-то всё занудно. Пока не вымучу общее представление, пока не положу туды метод… Человек уже дом построит, пока я согласую чертёж — сам с собой.

Рай постфактум

Рай он какой-то всегда потерянный. Думаешь, например, что он был тебе весной 2000-го или там весной 2002-го. Но самой весной, — если тебя спросить, — было вполне обычно. Всё счастье навешивается постфактум.

Расчётливость психопата

Сумасшедший — самоубийца не насовсем. Он убивает в себе «политическое животное», он схож в мотивах с подлинным самоубийцей… Но более расчётлив и осторожен. «Я пока вышел, а там посмотрим». Поэтому, кстати, не бывает безнадёжных психов: свободное решение можно взять обратно. Но если это действительно с-ума-с-шедшие, то есть они имели то, с чего сошли — а не родились с патологией.

Подлинность врага

Люди вообще различают, что в их раздражении — повод, а что причина? Мы не любим президента, потому что не задалась семейная жизнь — или гоняем домашних, потому что обречены социальным строем? Различие не так просто, как кажется. Может быть целая наука — о подлинности врага. И причинах неподлинности.

Бабло, добро и зло

Странное отношение к деньгам. С одной стороны, я *чувствую*, — а не просто знаю, — что это *универсальный эквивалент*. Я не понимаю тех, кто их «презирает». Всё равно что презирать время жизни… В этом смысле я — мелкобуржуазен до ужаса, до предела. Но идеал: работать не за деньги вообще. Кто в этом идеале — тот свой по стратегии, по жизни. А кто буржуазен на мой манер, тот свой, но в пределах тактики. Вполне же меня поймёт ухитрившийся пожить на оба эти лагеря…

Засунь себе «смысл жизни»

От «смысла жизни» — к её ценности. Не тогда ли мы ценили существование, когда в нём не было ещё — смысла? Детьми? Которые ещё смысл — просто не изобрели, не успели, им не рассказали, или они не поверили. И наоборот: всё может быть очень осмыслено, но хочется-то — в петлю. Я не к тому, что смысл и ценность — антонимы. Просто разное. И второе важнее.

Добрые, но несчастные

Банально, но хорошие несчастные люди вряд ли могли бы состояться в качестве «счастливых подонков», от чего якобы отказались. То есть они могли быть подонками — но совершено несчастными.

И выбрали себя правильно.

А чего тут выбирать?

Мозаика годности

Мы как-то считаем, что хороший человек должен быть хорош во всём. А если слово *хороший* — заменить понятием *адекватный*? Адекватный такой-то роли, такому-то назначению в твоей жизни. Вот с этим — можно в горы идти, с этим — водку пить, с третьим — спать, с четвёртым — детей рожать, с пятым — за Россию говорить, и т. д. И какая разница, почему человек не способен к роли — потому что он гад, или просто потому, что он этого не умеет? Можно без

моралистического: просто ставить прочерк в графе, и всё. Вот с таким-то нельзя идти в разведку — сдаст. С таким-то нельзя играть в преферанс — не умеет. С таким-то нельзя подписывать договор, даже не понятно почему, но лучше не надо.

И тогда вместо *лишних*, *ложных* и *впоследствии болезненных* обобщений — будет что-то адекватное. Эдакая мозаика универсального человека, которую каждый недосложил… Не важно, почему. Его дело.

Твоё дело — не мучить себя и других прорехами чужой картинки. Сразу её увидеть, принять. И определиться — чего тебе с неё? И предъявить свою мозаику — как есть. Нате, кушайте. Сразу оговорив: деликатес на любителя. Каждый из нас — деликатес на любителя. Просто не все признаются. Легче убиваться по универсальному человечку.

Мыслить дорогих людей пазлами — грустно. И опыта требует. И цинизма, кстати. Ну да, как говорится, лучше циником поначалу — чем хрен знает чем опосля.

Негативное счастье

«Несчастье позитивно, счастье негативно» — сходятся почти все религии и философии. Это можно всяко доказывать. Ну, даже на уровне простой стратегии жизни — видно. Борьба с неудовольствием, скорее всего, повысит тебе удовольствие жизни. А стремление к удовольствиям — вряд ли. Особенно в перспективе.

Бестии и декаденты

По ницшевской классификации я, разумеется, декадент.

Как и сам Фридрих Вильгельм Ницше.

А с какой ещё жизни — тянет на философию? Белокурая бестия живёт так, что не испытывает потребности в рефлексии, ибо *у неё ничто не болит*. А не болит, потому что она — погружена в *изначально благоприятную окружающую среду*. И вершит там подвиги за здорово живёшь.

А вот погрузи её сюда… Есть подозрение, что это чудо загнулось бы. С десятой доли тех проблем, что выдерживает сейчас декадент — окультуренный невротик большого города.

Ибо в некоем смысле «бестия» — совершенный ребёнок и невинный дурак.

Апология трусости

«Меня, Саш, лень спасла от многих плохих вещей», — говорит Михаил Успенский. Например, от работы на нтв с Шендеровичем, что, по мнению Успенского, вполне себе плохая вещь.

Меня тоже спасало чёрт знает что. И лень тоже. Особенно же — трусость. Я смелею с годами, раньше-то было — совсем труба… Вот уже осмелел — признался.

Но если бы мне тогда и смелости — бр-р-р. Наворотил бы. Лишнего и ненужного. Всё-таки, чего бы ни писал Ницще, *дикое животное* должно делать *больным* — если это единственный способ… Или самый *экономичный*. Нули всё-таки больше отрицательных чисел, чего бы ни говорила народная арифметика.

Ницше бы сказал: сие точка зрения инквизитора и жреца, или их *паствы*. В общем, да. Любители *поболеть за цивилизацию* — не самое сладкое, что в ней было. Но ведь и не самое худшее?

Стратегия познания

Как научиться и воспитаться — если нигде не учат и тем более не воспитывают? В таком случае: жизнь научит. Формула саморазвития: *пытаться делать карьеру изо всех сил, однако ж не предавая себя*.

Мне скажут — так не бывает. Ясно дело, так не бывает. Это взаимоисключающие требования. Это жуткое напряжение и натяжение в антагонизме. Тут — Сцилла и Харибда. Сорвёшься обязательно. Рано или поздно ощутишь себя либо лузером, либо проституткой. Либо и первым, и вторым сразу.

Так начальная задача и не в том, чтобы сделать карьеру. Или остаться чистым. Реальная задача тут скорее когнитивного плана. Как вести себя так — чтобы что-то узнать? Ибо вопрос знания прежде всего вопрос места, в котором тебе можно знать.

Карьеризм — гедонизм — стоицизм

Гедонист как более высокий тип, нежели *карьерист*: он не путает цель и средство. А *стоик* — более высокий тип, нежели гедонист. Дело не в морали, скорее в логике. Он просто более эффективно решает чисто гедонистические задачи, допустим, убавления страдания. Впадая в язык эдаких диалектических описаний, можно сказать, что *гедонист — это снятый карьерист, и стоик — снятый гедонист*. Где-то поблизости с понятием «снятие» будет «просветление». Карьерист просветился, и пошёл налил вискаря — вместо 15-часовой работы. Гедонист просветился, подвинул вискарь — и начал *служение с отречением*. И торкает оно посильнее, и, главное, плющит поменьше.

Дельвиг и орки

Знакомый ролевик говорит: «Не могу в этом мире. Хожу по улицам, смотрю на всё — не могу. Где я, и где, например, какой-нибудь Дельвиг? А вот когда я лейтенант орков — это ещё не Дельвиг, но уже ближе».

Вредное кино

Одному другу, круто страдавшему несчастной любовью — в каком-то её непорочно-классическом варианте — говорю: «Вот ты цитируешь фильм «Обыкновенное чудо», прямо цитатами… Лучше бы ты порнуху смотрел. Куда меньше развращает». — «В смысле развращает?» — «Приносит несчастье» — «А?» — «Это импринт чувства, которое может быть только несчастным».

Замечу, что к другим фильмам Марка Захарова совершенно нежное у меня отношение. А вот «Обыкновенное чудо» я бы цензурой не пропустил… Нельзя такое — доверчивым советским детям…

И ещё бы запрещал — все саги о героических похождениях алкашей, все эти «Особенности национального бухалова». *Всё совсем по-другому*, и это тот вид иллюзии, который плохой. Байки об

алкогольной удали с завязкой на идентичность — худшее, чем можно угостить русского… «Бухалово как русский бренд» — спаси и помилуй.

Я знаю. На среднесрочной дистанции — недельный загул — я перепивал среднего пьяницу. Срубался на десятой-пятнадцатой бутылке водки… И это, по большому счёту, было печально.

Ещё это бывает смертельно. Не столько даже токсикоз, сколько сопричастные обстоятельства, и трава предпочтительнее хотя бы тем, что меньше располагает к компании.

И не надо про это пафосных комедий.

«Пропаганда секса и насилия» — куда более безопасная штука. Порно и боевики слабее западают нам в экзистенцию, и мало соотносятся с летальной статистикой.

Подручные материалы

Для сексуального маньяка нет Другого (в том смысле, как разумеет его традиция, пишущая именно так). Нет, делезовски говоря, даваемой тебе «структуры поля восприятия», делающей мир возможным к проживанию, срезающей в нём резкие углы, населяющей оттенками… Нет «сексуального партнёра», как его понимает минимальная человечность — а чего есть? Расширенная и жёсткая мастурбация с привлечением подручного материала. Вот где апофеоз того, что человек средство.

Замечу три обстоятельства:

а) эпоха всё менее склонна трактовать человека целью,

б) и сейчас вполне хватает народа, для которого нет никаких «Других», со всеми вытекающими,

в) и да здравствует людская трусость — мешающая всем «актуализироваться».

Огромное число людей застыло в своей латентности. Я сам был некое время заморожен, и замечательно. Я — бывалый аутист: мне не надо было никаких друзей и никакого Другого. С 13 до 17 лет я, кажется, ни с кем даже не разговаривал, разве что по делу, уроки там отвечал… Ещё немного, и влился бы в латентную нелюдь: лишь огромная трусость держала бы потенциал. Маньяки-то — люди смелые, решительные, предприимчивые.

От явного дефолта моей человечности (человекоразмерности, человекосообразности) меня, в конечном счёте, сдержали мышление, тексты и алкоголь. И работа. Всем большое спасибо. Можно конечно, сказать — спасибо теплоте человеческого общения. Но где бы оно было — не случись в своё время мышления, текстов, алкоголя и работы?

«Минус на минус даёт плюс»

Раздражительность мешает раболепию, и наоборот.

Трусость гасит агрессивность.

Злоба лечит безволие.

Лень тормозит суету.

Глупость ослабляет зло.

Тщеславие работает против вредных привычек.

Вредные привычки отбивают конформизм.

Интересно, есть ли такой порок — который не кроется другим?

И есть ли такой, которым нельзя ничего покрыть, как-то «приспособить в хозяйстве»?

Шугать любящих

Я не часто способен на сострадание и мало что делаю, исходя из него. Если это действительно так, то это лучше знать и честно признать. Но вот чего интересно: насколько от *сочувственности* зависит — *хорошее отношение* к людям? Это ведь не *прямая пропорциональность*? Можно ведь очень любить человека и замучить его до смерти. Запросто. Тому масса примеров: у детей, родителей, влюблённых. И можно наоборот. Хотеть чего-то чуждого и приносить благо.

Мне ценнее равнодушный, несущий пользу, чем любящий, несущий хрен знает что. Это *бесчеловечно, и шугает нормальных любящих: им так не интересно*.

Увы.

Куда лезть?

Можете судить меня ещё по *намерениям,* но, пожалуйста, не надо судить по *желаниям*. Целее будем — все вместе. Что касается «вмешательств в частную жизнь» — та же логика. За полную приватность чувств, и полную прозрачность того, что мы натворили.

Наш ответ чемберленам

— Чего ты пишешь? Дневник каких-то *подростковых рефлексий*, — сам себе говорю.

— Угу. В стране, где взрослое население — порченые старые дети. У большинства из них *даже не начиналась молодость*. А они уже — отцы семейств. Отцы города, епт. Отцы нации. Не самое худшее — быть хотя бы подростком.

— А чего такое — молодость?

— Период решительности.

— Ась?

— Когда ты пробуешь себя в ином качестве, отдавая себе в этом отчёт…

Почти японский стих

Устал от себя невротика.
Балдею с себя психотика.
Гадаю, кто я сейчас?

Логика морали

Если человек бьёт себя в грудь и стонет — «какое же я конченое говно» — он ведь не может быть конченым говном? Или всё-таки может?

Сцилла, харибда и брахман

Тезис: жертвовать свободой ради реальности. Встраиваться в схемы, в чужое, что-то значить. Иметь вес ценой отчуждения. *Антитезис: жертвовать реальностью за свободу*. Уйти в фантазию, в бред, в «свой мир». Аутист не значим, но выбрал себе свободу. *Синтез: мышление*. Ты свободен, но не сказать, чтобы совсем уж ноль… В пределе ты вообще — пуп земли: брахман, с которого социум начинается.

Верования не людей

Крайний пессимизм кое в чем совпал бы с крайним оптимизмом: оба производили бы впечатление чего-то жуткого. Допускаю, что какие-то поведенческие модели — находили бы их обоюдное понимание. Допустим, они бы договорилось

в отношении к смерти. К состраданию. К жестокости. И это был бы консенсус, совершенно невыносимый для большинства.

Реальный возраст

Понятно, что календарный возраст не совпадает с реально прожитым. Тебе формально двадцать, но где-то ты на тридцать, где-то на пятнадцать. Но тусовки обычно — всё-таки по календарному возрасту. А как бы, интересно, выглядели *сообщества по реальному опыту*? Например, сообщество политологов, имеющих реальный политический опыт тридцатилетнего, и не больше? Сообщества любителей философии — с опытом мышления двадцатилетних? Сообщество людей с реальным сексуальным опытом — на семнадцать лет? Сообщество людей, имеющих опыт дружбы — на уровне экзистенции пятнадцатилетнего? Сколько бы во всех этих тусах было седых людей? И кто бы, интересно, там всё-таки превалировал?

Любое слово

Если взять любое слово, точнее, любое сочетание звуков, и начать его говорить как характеристику, она довольно быстро обрастёт смыслом. Вас всё равно поймут, даже если вы ничего не имели в виду. Все будут знать, что такое *уплет, бубун, ярпа, диглово, ратительно, небетать* — даже если вставлять их в разговор там, где подскажет генератор случайных чисел.

— Дигловый какой-то ярич… Разве так — стоян небетать?

— Я с вами почти согласен, кроме одного пункта…

Культурные рычаги

Говорят, что Архимед хотел себе рычаг и точку опоры, и мир подвинется. Я бы сказал «дайте мне все рычаги культурной политики — и я изменю сексуальную ориентацию всего населения». На любую по выбору. Хоть нацию педерастов, хоть нацию педофилов, хоть зоофилов… Это к тому, что я понимаю под «культурной политикой». Это великая сила, да. Правда, я толком не знаю, что такое «все её рычаги».

Роскошь в общении

Роскошью духа была бы фраза «он меня презирает, я это знаю, но я им — восхищаюсь». Ни разу не слышал, и сам так сказать не могу. То ли действительно не о ком, то ли я слабак.

Половой вопрос

Тексты Розанова замечательны, но какие-то они… шибко «половые», что ли. И вот чего не могу понять — то ли шибко мужественная манера, то ли шибко бабская. Понятно только, что шибкая. Вроде бы стоящий по тексту член должен указывать на мужественную окраску дискурса, но вот то, как этот член любовно *облизывается* — в том уже скорее женственность мирочувствия. Словно мужик, смотрящий на свою мужиковость глазами бабы, и весь, как-то незаметно, пропитанный бабским. Что не беда. Писал же, кажется, Бердяев, что страна женственная. И лучшим её авторам — а Василий Васильевич, несомненно, очень русский, и очень лучший — вполне к лицу. Так что не беда — констатация.

Более мужественным автором кажется какой-нибудь Кант. Или кто-то ещё, по жизни производящий впечатление импотента.

Но какая разница — чего там по жизни? Мужественность — она ведь, ко всему прочему, в этом безразличии.

2,5 миллиарда

Замечательные бывают цифры. 2,5 миллиарда ударов сердца — вот и вся человеческая жизнь.

Почему ты не самый бедный?

«Если ты такой умный, почему ты не богатый?». Можно представить себе культурный контекст, где звучало бы — «если ты такой умный, почему ты не самый бедный?». Можно, конечно. Взять какого-нибудь саньясина…

Зверство про запас

Подчас жестокость — последнее оружие слабого. Нет избыточного ресурса, чтобы воевать *красиво*. Известна история, как вьетнамские солдаты отрубили руки вьетнамским детям, которым поставили прививку американцы. У вас танки, зато мы звери. Если у вас автоматы и вас десять, а у меня топор и я один… буду отлавливать и рубить ваших жён и деточек. На кусочки. По одному. Жестокость как ресурс — а чего делать-то? Это типически иное, чем жестокость «вообще». Жестокость сильного — цель, в то время как жестокость слабого — средство. У каждого про запас.

Таблицы про динамику

Человек никогда не имеет, но всегда теряет или находит, усиливается или ослабляется — не знаю, писал ли так Ницше, но это его… Мы умеем считать собственность, статус, умения, связи. Но умеем ли мы *так же чётко* мониторить *динамику*? Чтоб сводить в общие таблицы? Чтобы к одному знаменателю? Динамика-то — важнее.

Бытовые эзотерики

Спросили, чего думаю об эзотерической литературе и её магазине. «Если бы оно была правдой, миром давно бы правили завсегдатаи магазинов эзотерической литературы». Это было политическим фактом — всяко. Специально оговорю, что это не ответ, чего я думаю об эзотеризме. Тут серьёзнее, конечно. Тут я не знаю. Ответ был, собственно, про книжную лавку и её авторов.

Суета — суёт первой

Ницше писал, что особенность сильной организации психики — способность *не реагировать*. То есть там, где невротик уже на нервах, а психотик на психах, сильный *ещё молчит*. То есть некоторая «тормознутость»?

Большая часть бытовых конфликтов большого города оформляются на пустом месте за пару секунд. Чтобы ответить, надо вступить раньше, чем понял, что произошло, кто не прав и почему. Гамлетовский такт — «быть или не быть» в миниатюре — пропускается. Можно ли сказать, что

сильный — не может пропустить этот такт? Т. е. он может сотворить ответ любой степени жёсткости, но сначала должен понять. И пока не понял — не действует. Правда, пока он понял, ситуация заканчивается… Или всё-таки отвечать «на нервах»? Или на специально тренированных к тому нервах? Или некоторые нервы — тренированы к тому с рождения? А некоторых — бесполезно учить? В частности — декадентов? И Ницше — писал о том?

Великий отмаз

Из «Воли к власти»: «Ничто воли обращается в волю к ничто». И это хорошо, пассивный нигилизм становится активным — хорошо. Если бы я был наркоманом или совсем уж алкоголиком, всем бы это цитировал… Вы, мол, обыватели — ничто воли… А я — следующая ступень… Лучшее, что вы можете — стать по-моему.

Нормальные герои

Масс-культура понимает под героем не то же самое, что культура. В культуре это человек, попавший в *апорию*, вставший против рока — *обязательно это понявший и скорее всего погибший*. В масс-культуре — обезьяна, развитая количественно, и при том ещё добронравная. Существо волшебное: по жизни не бывает ни такого количества, ни такого добронравия.

Ещё есть пафосно-житейское измерение, там героем готовы считать любого солдата, который *умирал с особой жестокостью*. Но вообще-то умирать — контракт ряда профессий. Которых *кормят не за постоянную работу*, а скорее за то, что они *иногда умирают*. А особая жестокость или нелепость — скорее чьё-то преступление, а не чей-то подвиг. Подлодка «Курск», например, потонувшая на всю страну в 2000 году. Погибшие там в плане их героизма мало отличны от жертв маньяка.

Познанная слабость как сила

…Я бы хотел видеть произведения с такой примерно идеологией: человек слаб, но делится на два подвида. Совсем слабые — которые этого не знают, и менее слабые — это осознающие. Последних, при желании, можно считать героями. Знать, какое ты слабосильное говно, терпеть это, работать с этим. Выносить абсурд мироздания на своих плечах.

К дефиниции суицида

Кто вообще понимает, что эвтаназия или сэппуку — имеют мало общего с самоубийством? То есть они не «отказ от жизни, полной всех её возможностей». С эвтаназией вроде ясно. А сэппуку — скорее ритуал казни. Попробуй самурай не сделай себе сэппуку, когда положено. Его, скорее всего, прирежут, как бешеную собаку. То есть всё равно помрёшь, только не самураем.

Хочешь быть счастливым?

Если счастье где-то есть, то совершенно невозможен пошаговый алгоритм к нему приближения. Если человек откроет вдруг такой алгоритм, и начнёт ему методично следовать, скорее всего, он нырнёт ниже нулевой отметки, и найдёт себя в крутой депрессии. То есть, по крайней мере, один «алгоритм несчастья» в нашем распоряжении.

Двинутые на всю башку

Дурак — это одно, а безумствующий, как сказали бы раньше, или «е…тый на всю голову», как сказали бы сейчас, — другое. И если с первыми делать совершенно нечего, то вторые могут быть людьми симпатичными, интересными. Даже, каким-то чудным образом, дельными… Многое тут зависит от тонкостей, но как вид они в целом выше. Путать эти виды, кстати, может только дурак. «Е…тый» всё-таки достаточно умён, чтобы так не путаться.

Сам себе элита и быдло

После просмотра одного фильма: мне понравился фильм, но не понравился тот я, которому понравился фильм… Так бывает. То ли здоровая реакция организма на классно сделанное, но всё же плохое, то ли духовность-на-понту.

Знаю кое-что

Есть вещи, в которых я понимаю ровно настолько, чтобы понимать — я в них не понимаю вообще ничего. В музыке, например. При этом я маленько горжусь вот этим вот пониманием, и стыжусь этой гордости, а вот непонимания, про которое моё понимание — вообще не стыжусь. И та же самая схема дальше: горжусь отсутствием стыда, но немного стыжусь этой гордости.

«Только без оскорблений»

Человека, ориентированного только на результат и более ни на что, оскорбить вообще невозможно. Ему можно только *мешать*. У лучших агентов, будь то агенты Бога или Дьявола, не бывает чувства собственного достоинства. И задеть его невозможно. Но, целя в него, можно задеть и что-то иное — и получить по полной в ответ.

Зверушки

В Бога не верую, но позволю себе использовать слово «Бог» как некую смысловую фигуру.

Перед Богом люди не делятся на сильных и слабых. На умных и глупых тоже не делятся. И даже на плохих и хороших. Все мы слабые глупые испорченные зверушки.

Но есть зверушки забавные и не очень. Есть прямо-таки совсем не забавные. Это даже не зверушки, а какушки.

То же самое, но высоким штилем: мера твоей ценности перед Вечностью, которая всё сметёт — в силе неповторимости твоей жизни. То есть существование всё равно заранее обречено, а в бытии ценится только это. Иметь не профессию, но такое дело, которое не повторяло бы ничто в прошлом, не копировало бы настоящее, и не будет повторено в будущем. Вот единственное, что осмыслено перед Вечностью. Не похожесть, уникальность, интересность — примерно такой ряд.

Маловажно быть «добрым человеком», «хорошим семьянином», «успешным лидером», «настоящим мужиком» и т. п. Ну, если очень хочется, можно быть. Если тебе от этого кайфно. Только тут нечем гордиться, не к чему призывать. Повторюсь:

все мы глупые и слабые. Это просто понять. Не сравнивайте себя с людьми. Медитируйте на Вечность, на косу, которая всё рвёт и метёт.

Вы же не настолько слабы, чтобы оправдать избегание такой процедуры?

Ну и вот. Зверушка — она зверушка и есть. Если можно чего-нибудь попросить — пусть я буду вконец неповторимой зверушкой, единственной в своём роде.

Отсюда, кстати, следует и некая педагогика. Можно, конечно, пестовать у ребёнка «лидерские качества» и «волевые черты». Можно гнать его палкой в «коллектив», чтобы он «нашёл себя» и «понюхал жизни».

Только на хрен. Жизни всегда успеешь понюхать, никуда от жизни в этом смысле не деться. Чем её, родимую, позже нюхнёшь — тем оно тебе лучше. До некоторого периода в жизни её вообще трогать запрещается. В том смысле, где жизнь ассоциирована с подлостями, трудностями и мерзостями. Лет до 15, до 17 лучше жить придуманной, абсолютно искусственной жизнью. Побольше с взрослыми и книгами, и как можно меньше с подростками, ибо они глупы и жестоки.

Главное, что должно быть вынесено — способность к фантазии и залог некой дальнейшей нетривиальности твоей жизни. Остальное — технологии, воля, знание жизни — потом приложится. Это можно успеть. А вот если пропустить момент с фантазией и мышлением, то, скорее всего, навсегда.

В детстве не мечтал, не читал, не выдумывал — потом времени не будет. А на всё остальное, включая добор знаний и воли, будет.

Мелкобуржуазная сущность

Не люблю буржуазный образ жизни, но понимая, что проникнут им, по крайней мере, в его первой части (протестантская этика накопления близка и очень понятна, хоть ничего особо не накопил, а вот культура потребления, явленная позднее, вряд ли). Не люблю — потому что досыта сыт своими мелкобуржуазными обстоятельствами? Или проникся ими — в процессе нелюбви? Самое забавное, что в период моих либеральных ценностей — не было во мне ничего особенно буржуазного, жил себе как в меру творческий рас…яй и совершенный пролетарий умственного досуга.

Сплавы и сдвиги

Мыслящий как маргинал, но действующий как буржуа — это куда ни шло. Такое можно даже уважать за цинизм, во-первых, за отсутствие классового сознания, во-вторых. Но вот действующий как маргинал, но мыслящий как буржуа — это туши свет. То есть можно любить «лоха», можно простить отдельно взятое «жлобство», но жлобствующий лох — это зоопарк и финиш. Тип, кстати, довольно массовый.

Кубик Рубика

Было бы, наверное, особым кайфом сочетать эффект с эффективностью. Обычно это всё-таки разное. Но вот представим себе, что жизнь вертится, как кубик-рубик, то есть — почти собранная картинка рушится в какой-то видимый хаос, кубик кажется разобранным на фиг, а потом, внезапно для дилетанта, собирается в полный порядок. И весь хаос — был манёвром порядка. Эдакая модель *неожиданной эффективности*. Умеет кто-нибудь так?

Восхищаясь сволочью

Когда человек спокойно и подробно признаётся в стыдном, не ободряемом — «я могу легко предать своих друзей», «меня не волновала смерть моих родителей», «хочу трахать детей и животных», и т. п. — что положено чувствовать к нему «моральному человеку»? Восхищение — честностью и бескорыстием, он ведь абсолютно проигрывает в своём признании? Негодование — самим содержанием признания? А в первую очередь?

Мне кажется, что мог бы позволить себе чувствовать к таким людям — по своему настроению. Или по сумме дополнительных обстоятельств. Но если он точно проигрывает в своём признании, и знает это, и при том не дурак, то, скорее всего, первым чувством будет всё-таки восхищение.

Дефиниция-с

К определению одной из сторон явления… *Цинизм как опьянение трезвостью.*

Следователь небесной прокуратуры

Роль Критика Жизни — не самая, вероятно, скучная роль. Ходить и методично записывать, какое вокруг уродство. Писать этакую Книгу Ненависти, творческую, гуманную и разумную. Некоторые говорят, что я того… «критик по жизни», «толку в ступе свою нелюбовь». Да нет. Если бы я принял такую роль, я бы немного изменил поведенческую модель. Подстроил бы под оптимальный результат — стал бы Идеальной Невинной Жертвой. Был бы абсолютно вежлив, не противился злому, и сам ходил к нему в пасть. Именно таким должен быть Критик Жизни. Он должен, прежде всего, *сознательно подставляться*. И не сильно реагировать, когда его лупят по нарочно подставленному.

В общем, это должен быть по модели — *пассивный святой*. Только *очень злобный*. Точнее, *справедливо озлобленный*. И тогда всё у него получится. В смысле, его работа. Можно считать его следователем прокуратуры бога, устроившим из жизни — перманентный следственный эксперимент. Это у дьяволы адвокаты, а у бога, значит, прокуроры… Творческая, интересная роль. Наверное, востребованная, даже необходимая — для самой Жизни. Грамотно и толково её ненавидеть.

Но я же не такой. Я ленив, труслив и масса ещё особенностей.

Гламурная звезда

— Читайте классику… Знаете, кто самый гламурный в мире? Люцифер! Это же эталон. И внешне, и внутренне. Не Дьявол, не чёрт, а именно Люцифер.

— Это разные персонажи?

— В чём-то даже противоположные.

— А Христос тогда какой?

— А это анти-гламур. Христос, по гламурным канонам, недоразумение, лох и дичь. А уж Будда… А уж Мухаммед…

— А чего тогда гламурье — сплошь люциферское?

— Нет, конечно же. Они же бестолочи, понтовщики. Куда им до своего идеала.

Думать зло, и наоборот

Более всего радуюсь типу людей, думающих крайне озлобленно, даже зло, но действующих корректно, по-человечески… Слушаешь речи — всех ненавидит, всех. Попросишь денег занять — займёт. Пообещает чего — выполнит. Никого, что случается крайне редко, по жизни не насилует, вообще никак. Но человеконенавистник. Как минимум, такой «ненавидит власть», «презирает общество». А ежели образованный, то не стопорится на социалке, и делает онтологические выводы из наблюдённого.

А более всего не приятен — его антипод. «Позитивно мыслящий» тростник, риторически стоящий за любовь, порядки, за любовь к порядкам и порядочную любовь, но… мало сносный в личном обращении. Не вежливый с малознакомыми, например.

Кажется, что это противоречие. Вряд ли. Если твоя позиция «всё вокруг говно», то логично, в целях позиции, не быть говном самому, немного не совпадать с окрестностью, чтобы её понять. А если всё вокруг и так зашибись — хрен ли церемониться, а?

Паразиты имени Достоевского

Не помню, чьё это обвинение, но кого-то известного — как высматривать «русскую душу» у Достоевского, если у него почти все персонажи не трудятся, а русский человек, ну обычный, он всё-таки работает? Но совершенно прав Достоевский, тот факт, что русский человек работает — очень плохо для русского человека (как и для любого другого). Это не даёт ему не то, что подумать, но даже толком пожить. Кроме случая тех умельцев, что превратили работу в продолжение жизни… О работе и работном народе пусть пишут пособия по тайм-менеджменту. Даже такая вещь, как боль жизни, начинается за рамками «менеджмента». А если болит в рамках, то мало того, что боль, это какая-то *боль не жизни*. То есть Достоевский пишет так, как будто бы уже вокруг коммунизм, и проблемы, о которых скулит простой человек, ему решены — и начинаются *проблемы настоящие*.

Пиво, бабы и логика

Бытует поговорка, что, мол, «безалкогольное пиво — первый шаг к резиновой женщине». На самом деле, конечно, наоборот. Если по логике, то это резиновая женщина — шаг к безалкогольному пиву. Если идти по нарастанию степеней суррогатности. Но безалкогольное пиво потребляют чаще резиновых женщин, вот и кажется.

Где тут сволочь?

«Поступай так, чтобы максима твоих поступков могла лечь в основу всеобщего законодательства». Это Кант. Это было сказано на вечные времена, но сказано некоторое время назад. То есть формула, боже упаси, не стареет, стареет мир и люди, и культурный ландшафт. Чего такое максима? Какое, блин, законодательство? Э-э? Так и не просвещённым народам хочется так, чтобы совсем понятно… Можно и не по Канту… Но с ложечки… С вилочки. Можно с ножа.

Я был бы сейчас несколько не по Канту, но с вилочки. Впрочем, моя формула сейчас — тоже предельна пуста по содержанию. Только так и можно. По содержанию «хорошее» и «плохое» никогда не разделятся. Только по форме. Вот так: формула о форме. Ряду моралистов она была бы оскорбительна… Цинизмом, что ли. Или простотой.

Значит, три условия «морального поведения»: **1** решительность, **2** осознанность, **3** честность. И всё. Теоретически я готов признать вполне моральным и жулика, и лжеца, и предателя, хотя практически у них вряд ли получится (но может и получиться, я не исключаю). Сейчас объяснюсь.

Решительность — это просто наличие некоего кодекса, которому следуют в большинстве ситуаций… Любого кодекса. Вообще любого. «Между первой и второй бутылкой водки я гоняю жену топором по квартире». Нормально. Тоже правило. Ему только надо следовать, и желательно точно… То есть не гонять жену в трезвом виде, а между первой и второй — гонять сугубо жену, а не, к примеру, соседа.

Некоторая повторяемость действий, имеющих характер ритуала, не диктуемая *сугубо желанием или приказанием*. «У нас есть такой обычай». Точнее и лучше, конечно — «*у меня* есть такой обычай». И я обычно ему следую, даже если не очень хочется… Не хочется отдавать взятое в долг — отдаю. Не хочется бить морду Игреку — бью. Не хочется вставать с постели — встаю, и т. д. Решение — это когда не только «хочется», «необходимо», «ломает», но и что-то ещё. Понятно, что наркоман в ломке или алкаш в запое вряд ли принимает решения о дозе номер такой-то, но само желание дойти до жизни такой — в некоем роде решение.

И это, конечно, не следование приказу.

То есть первый пункт отсекает две категории — *рабов* и *животных*. «Захотелось поесть», «захотелось испытать оргазм», «захотелось убежать», «захотелось спать» — вся это детерминация-из-нутра, как оную именовал Библер, к решению отношения не имеющая. Решение, это когда можно и не решать. А если хочется есть — как это не есть-то? Надо есть. И вот если только природные нужды, о моральности речь не идёт. А вот «делать гадости» — вполне может пройти этот тест, ибо природной необходимости к ряду гадостей не существует.

Пункт номер два — осознанность. Всего-навсего способность выписать на бумажку свои правила. Те самые — любые правила, которые не суть природа. То есть понимать, как ты функционируешь. Инструкция по эксплуатации самого себя, скажем так. Тест на рефлексию, на минимум оной. Отсекающий *законченных дураков*. Ибо чтобы совершенно себя не знать («ах, я такая загадочная», «ну типа я нормальный пацан, и чего

ещё?», «накатило, ну и это… того») — надо быть законченным.

Главный пункт — третий. *Отсутствие двойных стандартов*. Верность собственному выбору, *каким бы он ни был*. Всё! То есть своё действие ложится на ту же оценочную шкалу, что и действия окружающих. Как к себе, так и к ним.

Вполне могу счесть моральным человека, предающего друга за 100 тысяч долларов — если он считает вполне нормальным такое же отношение и к нему. Типа: «сдал меня Петруха на смерть, ну да кто не сдаст — за двухкомнатную квартиру-то?». Он может после этого не любить Петруху, но *совершенно не осуждает его перед лицом гипотетического третьего-высшего, к чему и сводятся все моральные осуждения*.

Правда, такие стоики — редкость. Обычно предатели будут возмущаться «Петрухой», но убери это возмущение, и всё нормально.

Сатанист, приносящий человеческую жертву, может быть омерзителен эстетически, да. Аморальным же его делает только одна особенность, если она есть — неготовность стать жертвой. Если сатанист группы Альфа, которого сейчас будут резать словившие его сатанюги группы Бета, вполне это принимает как норму, он вполне хороший человек (скажем корректнее — у меня к нему нет никаких нареканий *морального плана*, что, конечно, не исключает не любовь по иным причинам, к морали отношению не имеющим). Морально безупречен будет урка, который после обчистки его квартиры поднимет стопку с пожеланием — «ну, чтобы пацанов не словили!». Я даже готов допустить, что теоретически идеальный сатанюга и идеальный урка где-то водятся. Правда, сомневаюсь в большом количестве их сугубо практически… Ещё раз: вся претензия к этим товарищам сводится лишь к двойному стандарту, и только. Не будь двойного стандарта — всё хорошо.

Любой человек решительный, рефлексивный и без двойных стандартов — хороший. Как бы так шокировать, чтобы было понятно? Ну, скажем, досталась человеку парализованная бабушка. Он попытался её куда-то сбыть — не взяли. Ну, он плюнул, и её уморил. Отравил, например. Теперь вопрос — он морален? Морален в том случае, если, став немощным стариком, первым делом попросил себе яду… *Последовательность и честность* — и всё.

Отсюда примерно понятно, кого я считал бы сволочью. Непоследовательных. Нечестных. Не к людям даже не честных, это-то можно — а к самим себе, наедине с собой и «гипотетическим Богом». Среди любителей морально осуждать окружающих таких будет немало, да ведь?

Что ещё? Совершенно морален шахид, живущий по шариату. И либерал, живущий в обществе потребления. Но лучше им не встречаться на одной территории. Встретятся — подерутся. Два хороших человека (шахид так вообще практически святой). Жалко будет. И непонятно, за кого болеть. Точнее понятно — болеть в таком случае за *своих*.

Ну, а с точки зрения марсианина прав, наверное, будет хозяин территории. Живёшь в Иране — заткнись про атеизм. Живёшь в Америке — не хай колу именем бога. Получается такая довольно скучная вещь, как демократическая диктатура большинства, но всё остальное — ещё более не разумно.

В конце концов, главная задача — найти своих.
Если их нет — придумать, создать.
И не увлекаться поиском аморалки.

Подлинные боссы

Сильный великодушен хотя бы в силу того, что сильный, доброта тут может быть ни при чём. Просто он «может себе позволить». По формуле «чего бы вы тут, дурачьё, без меня-то, а?». С очень большим снисхождением… Дурачьё может себе позволить те косяки, на закрытие которых у сильного, в принципе, всегда найдётся ресурс. Его добродушие — как следствие избытка ресурса. Отливаемое, в случае настоящего босса, в харизматичный фирменный стиль, собранный вокруг этого снисхождения к неизбывному лоховству округи. Стиль же, собранный вокруг понта, гордыни, «да я того знаю», «да это видел» — удел скорее слабого, и по настрою слабого, и по ресурсам, будь то право финансовой подписи, или способность экзистенциального выбора… По-своему, это тест на «прирождённое начальство», «подлинное начальство» — отсеивающее «случайных людей», «ключевых шестёрок», «халифов по доверенности» и прочую шушеру. Подлинное начальство великодушно, склонно к заигрышам в демократизм, и радостно скорее близостью к человеку, нежели удалённостью… ибо, повторяюсь, может себе позволить и не такое, не теряя себя. Утешьтесь, ежели «обижает начальство». Шушера это, а не начальство… Подлинное начальство эксплуатирует человека так, что тот этого особо не замечает. Или повизгивает от радости. Или принимает как закон природы: снег идёт, Пётр Петрович сказал — явления одного порядка.

Несчастливо, но недолго

«Жить мы будем несчастливо, но, к счастью, недолго» — кто это сказал? Я пользую фразу как цитату некоего классика, но есть подозрение, что цитату родил я сам, в каком-то запое.

Загадочные личности

«Что про меня думает вон тот человек?» — спрашивают. Бывает. Периодически. Ну как объяснить, что тот человек, даже если чего-то про тебя и думает, не очень-то понимает, что именно? Не прикольно ему — лишний раз про тебя понимать. Вообще понимать не прикольно. Другие у него по жизни приколы. И его самого понять невозможно. Как там было у классиков? «Как понять то, что само себя не понимает?». Применительно к таким людям вопрос, что он думает, выглядит, по меньшей мере, странно… Описывать их уместнее в режиме стимул-реакция: как он себя поведёт, если ему рассказать анекдот? а если не смешной анекдот? а ежели денежку показать? а две?

К вопросу пришивания аморалки

Один интересный человек всё время ругал «моралистов», я немного не понимал — чего он? Пока не понял тут, что он имел ввиду. Не моральных людей, конечно. А породу, которая с точки

зрения одного адата, то есть содержательных установок, вполне себе произвольных, берётся судить иную традицию, иную конвенцию. «Ах, она изменяет мужу», «ах, он предал друга», «ах, он забыл про мать» и прочее. Мораль — прежде всего существование без двойного стандарта. Рискну огрубить: всё, что без двойного стандарта, уже морально. Моралисты обычно ополчаются на вполне моральных людей, просто иного типа. То есть они, прежде всего, дураки и вредные. Ну вот и зачем — любить вредных дураков-то?

К морали, кстати, подобного типа морализм отношения не имеет. Вообще. Отсутствие или присутствие у тебя двойного стандарта вообще никак не коррелирует с твоей склонностью посудить ближнего своего. Вредный дурак может быть как хорошим, так и плохим, если брать определения в их моральном значении.

Немного спохватился — а как я сам? Вот когда сужу каких-то уродов-то, русского интеллигента колбасой не корми — дай посудить уродов. Чиновников, ментов, бандюков, детей, родителей, кого ещё упустили? Уф. Мне кажется, я всё-таки корректен. Есть уроды-для-меня, и уроды-вообще-по-Канту, я понимаю, что это разные группы, и первая, конечно, много шире. Я это понимаю. И как-то маркирую. Мало ли кого я не люблю… Очень многих хороших людей — прямо-таки ненавижу (они же, ненавидя меня, радуются, что не любят подонка). Я проще. Я просто не люблю многие группы вполне хороших людей. Обывателей не люблю, к примеру. Настоящих мужиков не люблю, и не настоящих, впрочем, тоже, и какие-то типы баб, и 80 процентов молодёжи, и типовых буржуев, и типовых пролетариев, и типовых интеллигентов… Но все они — вполне себе ничего как люди. Хороших людей вообще больше, нежели плохих, вот.

Мимо шли с прибаутками

Некоторая расслабленность, не серьёзность — как признак силы. «Настолько всё под контролем, что можно и так». Байки, шутки, стилистика — «да я тут мимо шёл». «А дело тем временем делается». Признак крутого босса, крутого спеца. И наоборот, предельная серьёзность, насупленность, строгость — как признак некоего не соответствия, напряжения, предела. Ещё немного, и всё порвётся. Поэтому надо насупиться, собрать в кулак себя, всю округу, чтоб все бегали, чтоб… «Мы здесь делом занимаемся, а не в бирюльки играем». Какой-то умопомрачительный пафос. Я не против пафоса, но большая часть бытового пафоса — просто от слабости. То ли как камуфляж, то ли как допинг. Средство, чтобы помогло, когда всё атас. «Важное мы с вами дело, затеяли, мужики, как мужик мужикам скажу», и т. п. Помогает ли? Хорошая мина эффектнее при любой игре, это понятно. А вот как эффективнее, когда действительно всё атас? Когда слабость, и надо спасать ситуацию. Косить под «расслабленного любой ценой», или прыгать Великим Невротиком?

Вопреки Достоевскому

Как-то, сидя со своим работодателем в кабаке, доказывал ему, что он не понимает какой-то там политической философии, а я понимаю, и я ему сейчас расскажу. Так мало того, что он был работодатель — я ещё, в данный конкретный момент, кормился-поился там за его счёт… И он, значит, чего-то не понимает. Ну, и дурак я. Не к тому, что «раз ты такой умный, чего ты такой бедный?», это нормально — бедный сто раз может быть умнее богатого. Я к тому, что нет такой формы, что благополучатель учит жизни благодавателя… Это некорректно, это не работает. Не с точки зрения даже этики, сколько эстетики, что ли. Не знаю, но это форма, и она рулит содержанием.

Это, наверное, не очень христианский подход, Достоевский бы не одобрил. У него-то как раз самая сцена — придти и порвать рубашку на груди… у филантропа. За правду-то. Ну, так не всем же иметь одобрение Достоевского.

«Когда кажется — креститься надо»

Иногда мне кажется, что под словом «любовь» люди договорились понимать некий синтез, не доступный анализу… А иногда мне кажется, что лучше без этих слов — анализ, синтез. Или, тоже иногда кажется, без любви. Всякое мне кажется, вот.

Человек как мотыга и тяпка

Принято полагать, что мораль — это когда «человек нам цель». Вслед за Кантом. Хорошее отношение к людям — это когда они, значит, ценны как цели, сами по себе, и т. п. И любовь тогда — отношение человеку в логике его собственного отношения к себе (давай не что хочешь, а то, чего от тебя ждут).

Но может быть и вполне себе сносный мир, где все люди «средства». Познания, общения, опыта, сексуального удовольствия, много чего ещё… Просто отношение к инструменту — разное. Можно его холить, лелеять, «беречь нашу живую силу», можно — бросить гнить в саду под дождём. У разумного человека отношение к средству будет лучше, бережливее, гуманнее, чем у дурака к его «самоценностям», его дурацким объектам чистой любви. Я бы, к примеру, выбрал чисто инструментальное отношение к себе человека со вкусом и пониманием, нежели любовь дурака. И не только я бы, наверное.

Так что «человек человеку средство» — ещё не ад. Мягко говоря, не ад. Ад — это когда человек человеку бессмыслица и абсурд. Так тоже бывает. Вот сейчас, например, много где именно так.

Девизы на щитах

Классная фраза Грамши: «Пессимизм рассудка, оптимизм воли». Формула тех людей, которыми я бы мог восхищаться… И отсюда же — формула того, кто противен. Наоборот, просто наоборот. «Оптимизм рассудка, пессимизм воли». Быдлоид, искренне полагающий себя рождённым в лучшем из миров, не знающий сомнений, страданий. В амбициях не идущий дальше покупки новых штанов.

«Вот придёт их время»

Из жанра забавной антропологии, типы людей: рождённые слишком рано, слишком поздно и слишком вовремя. И ещё один тип, которому совершенно по хрену, когда родиться. Четыре получается типа. Про всё это, будь желание, можно написать книгу страниц на 700. Можно беллетристику, можно публицистику, можно теорию под научный стиль. Не самая, наверное, умная вышла бы книга… и не самая, впрочем, глупая.

Возлюбить дурака

Любовь к дуракам раздражает более самих дураков… Дурак, которого не любят, не ценят — грустен или смешон. Мы таких вообще любим, если их как-то явственно не любит весь мир. Не знаю, правда, кого тут разумею под «мы». Довольно дурацки с моей стороны, наверное. Ну, хорошо, скажем, «я». Мне не любы любимые дураки. Это не зависть — мне ничего не нужно от людей, которым они симпатичны, мне не нужно даже их нелюбви, это не референтная группа, вообще никак… Это отношение не к дурости в квадрате или кубе, но некое отношение к её квинтэссенции, может быть.

Кто переключит переключатели?

Можно заниматься некой рутинной работой. Постоянной, не меняющейся с годами. Не меняющей тебя самого. Всякий быт… мытьё посуды, протирание пыли.

Можно делать работу второго порядка — ставящее тебя в состояние, когда ты кристаллизуешь опыт, умираешь и воскресаешь.

Можно вывести некое соотношение между временем второго и первого.

На разных жизненных путях — предполагаемое количество «работы второго порядка» разное. Работы, которая переключает тебя.

Но можно взять ещё и третью степень. Работа третьего типа, переключающая тебя с одних переключающих путей на иные переключающие пути.

Работа номер 1 видна сразу. Чем отличается работа номер 2 от работы номер 3 — сразу, полагаю, не очевидно. Но если сильно захотеть, можно формализовать различение. Забить в теорию. Выстроить вкруг того какие-то практики. На фиг тратиться на первое, и *даже на второе* — когда есть третье? Второе всё равно случится как неизбежность, если максимум усилий-времени займёт третье.

«Кто воспитает воспитателей?» Тот, кто расскажет им, как *переключают переключатели.* Ибо первичные переключатели сами воспитатели, если они хоть на что-то годны, понимают и сами.

Можно назвать это мета-переключалкой. Можно — «управлением сценариями», «переключением системы переключений». Много всяких хороших слов.

Замочить во имя когнитива

Не дословно, но по смыслу, из Ф. В. Ницше: «О вы, именующие себя любителями истины и познания, любителями лишь их и любой ценой! Довелось ли вам уже совершить воровство и убийство — чтобы узнать, каково на душе у вора и убийцы?».

А действительно, брал ли кто на себя чего-нибудь «тяжкое» — из сугубо когнитивного интереса? Родиона Раскольникова не предлагать: во-первых, там другая мотивация, он не экспериментатор, он верующий, просто его вера меняется, во-вторых, его просто не было.

Интересны именно живые персонажи. Кто они были? Что совершили? И как? А дальше?

Я, признаюсь, некие грехи брал (правда, то были не уголовные преступления, так что шибко бахвалиться вроде и нечем) *сугубо по когнитиву*. Во мне действительно не много живых страстей, ещё менее добродетелей, если иногда всё-таки присутствует любопытство — пусть уж будет главная страсть. Всё равно из других, будь то добродетели или пороки, ничего особенного во мне не выйдет. Слабоват. Так что назначается любознатство. И тогда уж любой ценой.

Не хватило 200 лет

«Не могу читать курс лекций, пока не воображу, что я сам всё это и придумал, и не пойму, как именно…». Совершенно правильно, да. Только вспоминается фраза Мамардашвили о Достоевском — «ему одной жизни не хватило, чтобы понять». То есть часто бывает, что одной человеческой жизни — ну как-то мало. Двух лет не хватит, чтобы честно подготовиться к курсу лекций, а двухсот, к сожалению, не дают.

Наша смесь — гремит и гремучит

Вот девушка, достаточно сильная, чтобы ломать на себя любой контекст, разговор, заделье… О чём бы ни говорили, разговор всегда о ней. И достаточно слабая, чтобы жутко зависеть от мнения о себе. «А что он обо мне подумал?» И жуткая авторитарность притом. Казалось бы, гремучая смесь, чтобы быть несчастной… Но большую часть времени она в ровном расположении духа, неплохом настроении… То есть смесь всё равно гремучая, с неё гремит и гремучит, но не обязательно ей. У меня же всё — ровно наоборот. Не тяну на себя, но плевать на всех. Кому-то это тоже кажется гремучей смесью. Наверное.

Образ и подобие велосипеда

Велосипедисту, чтобы сохранить равновесие, надо обязательно ехать. Стоя он упадёт. Завидую людям, выстроившим себя так же. Хотя… что тут строить-то? Казалось бы — имманентный закон живого: в покое нет равновесия. Надо просто ему, закону, отдаться. Видимо, закавыка в том, что отдаться правильно — тоже наука.

Дело и деньги

Можно долго пытаться совместить на своей шкуре понятия «делать дело» и «делать деньги». Это тяжко. Можно уверить себя, что это синонимы, но это немного подло. Можно уверить себя, что достаточно одного из двух, но это немного глупо. Видимо, самое разумное — разделить эти цели. И реализовывать каждую по отдельности, удивляясь, ежели оно совмещается. Называется — расчленяй и властвуй.

Типовая трагикомедь

Ты спрашиваешь «и чего я сделал не так? что ты хочешь?», а ему надо лишь, чтобы тебя не было, и всё… Ему от тебя ничего не надо — ему надо пустое место там, где ты был. В отношении людей, и это же в отношении стран, государств. Такое простое непонимание. Такая одноходовая трагикомедь, что, впрочем, не умаляет её масштабов.

Понты на Страшном суде

«Жил так, как будто хотел понтонуться на Страшном суде. Не быть оправданным, а именно понтонуться. Как последний дурак. И это стратегия, весьма далёкая от наших земных понтов…». В плане этическом это может быть, чёрт знает какая жизнь, но в плане эстетическом — любопытно же.

Онтология кроет социологию, или как?

Можно проклинать человеческую юдоль с позиции онтологии, как и делали нормальные гностики. А вот чего больше — показного «да» или показного «нет» — в позиции онтологического оптимизма на фоне социального пессимизма? Мол, онтологически всё пучком, а наше социальное — то ещё дерьмо, да. Но оно будет даже не искуплено, но исправлено — именем онтологического, и мы его сейчас… Онтология-то, чай, круче… Чего от такого больше исходит? Утверждения, отрицания, воли, глупости? Представима ли позиция обратная — онтологический пессимизм, социальный оптимизм? Куда менее. Хотя… взять постмодерн, взять «американского психопата». Там и не такие зверушки будут.

Копать или точка?

Можно копать далее в понимании, а можно цыкнуть — всё, точка. Если мы сейчас пойдём копать, мы не сможем действовать. Лучше иметь немного неадекватности, но иметь, наконец-то, определённость. Всё равно той адекватности, что уже нарыл, хватит на эффективность. Бывает такой выбор — и бывает выбор «копать дальше, и хрен со всем». Видишь некоего человека — и сразу иногда понимаешь, какой выбор он сделал — «копать» или «не копать». Причём самоограниченный может в знании превзойти действующего копателя, почему нет? Речь не о том, чего уже нарыл, речь именно о решении… Об ауре, что ли, которая там исходит… Или человек ещё копает, но ты видишь, докуда ему надо докопать — чтобы успокоиться — уже навсегда.

Слабая сильная воля

Есть такое грустное подозрение, что по-настоящему достойны те дела, которые не вытягиваешь на «чистой воле». Это камни на чистой воле можно таскать, с похмелья на работу переться, и т. п. Когда тело болит, но ещё позволяет. А как ты, мил человек, на чистой воле напишешь *хорошую* книжку? Примешь *правильное* управленческое решение? Отнесёшься к человеку — *по его истине*? В действительно важном — не надо про «силу воли». В действительно важном роляет что-то другое. Роль того же понимания, просто понимания себя, со всеми грехами и потрохами… и то поважнее будет, чем умение переламывать себя об колено. То есть мы не против умения. Просто «сила воли» должна знать место. Не самое царское. Если человек, к примеру, сексуальный маньяк и потенциальный убивец, но пытается излечиться… ой, не ставил бы я на «волю». На рефлексию уж скорее. Маньяк, рефлектирующий себя как маньяк — это ведь и не маньяк уже практически. А на воле — чего? На воле алкаш три дня от бутылки держится…

Чего судить?

Если вы полагаете, что судить надо за деяние, а не за намерение, вы будете не одиноки. С вами будут орды варваров. Знакомый пояснял: «Главное отличие римского права от Салических правд — что судили? Задуманное или совершенное? В Салической правде было 70 статей, посвящённых только краже скота. Потому что за кражу плохой козы — один штраф, хорошей козы — другой. Гражданину Рима это не понять. А варвару не понять, что такое непредумышленное деяние. Поэтому христианство на юге Франции шло успешнее, чем на севере — с римским правосознанием было проще».

Подлые мудрости

Житейская мудрость знает, что в любви сильнее тот, кто менее любит. Он более независим, может манипулировать и т. п. Ещё одна житейская мудрость знает, что в отношениях — любовных, семейных, дружеских — сильнее, кто платит. Банально, платит деньгами. Можно даже синтезировать. Разыгрывается два очка. Если менее любит один, но чаще платит другой, отношения более-менее гармоничны. Или когда 50 на 50 в обоих случаях. Точности ради слово «любит» лучше заменить на слово «привязан», а «платит» на «заботится». Так точнее и менее оскорбительно.

Вавилонская башня слоновой кости

Какое время можно развиваться, игнорируя внешний мир как топливо размышлений? Не выходя в него — за стимулом, общением, впечатлением? Как бы отталкиваясь и отзеркаливая — лишь от себя, точнее, от своих смыслов, уже состоявшихся? Играясь с ними, расширяя, сужая, спаривая, разводя и т. п.? Возможно ли, и сколько? Если да, то с какой критической массы? И не скучно ли? И что, в таком процессе, у тебя сломается первым? Или каждый — надломится на своём? И по кайфу ли? Или каждому — свои кайфы?

Рождение тоталитаризма из пепла

Есть такие суждения, которые, по большому счёту, достояния нашего вкуса или произвола. С ними можно не соглашаться — мы не сочтём человека за дурака. Точнее, его суждение — за дурацкое (судить стоит именно суждение).

Для меня, например, человек, считающий Ельцина лучше Путина, или наоборот, ещё не дурак даже близко. Крутящий белое колесо о том, что «если бы не Октябрьская революция, всё бы

зашибись, но вот отдельные гады», и т. д. — тоже ещё не дурак, но его любовь к пафосной сослагательности уже несёт в себе потенции глупости. И верящий в пролетарскую революцию здесь и сейчас — тоже ещё не дурак, хотя потенции не умности в его прогностическом оптимизме налицо. Но это ещё не полная хана.

А вот есть какие-то суждения, после которых сразу сортируются в «дураки». Приговор, и точка. Или отрицание каких-то суждений. Допустим, человек, возведший единичное случайное наблюдение в социологическую теорию. Или с пеной у рта толкающий мир в ужас коллективных идентичностей: мол, «все русские, как известно», «все евреи», «все бизнесмены», и т. д.

Можно ли было бы составить конвенцию? То есть люди выписывают какие-то суждения как факультатив своей воли, вкуса, личной истории — и те суждения, где они имеют наглость настаивать на всеобщности. Положим, по 100 таких всеобщих суждений с носа. Можно как-то ограничить тему высказывания.

Просто у меня подозрение, что большая часть интеллектуальных разборок, с ненавистью, личной обидой — из-за шелухи, факультативность которой признаётся в тот момент, когда о ней только спросят.

В каких-то вещах разумные люди совпадут процентов на 90. Может быть, это окажутся не самые дорогие им и важные вещи, но тут важнее, что совпадут. Это такой первый шаг, а далее возможно разное. Принцип размежевания ради единения: перестать, наконец, придавать всеобщность чему не надо, не настаивать на эстетическом суждении как на истине, на личной истории и её диктате как на инварианте человеческой юдоли. *Во имя той же самой всеобщности, всего прежде, и перестать ею раскидываться, куда ни попадя.*

В этом есть что-то от утопии, что-то от бреда (те самые «коллективные идентичности», в данном случае «разумных людей»), но и что-то ещё. Вот ради этого «чего-то ещё», которое я даже не именую, я и рискую выписывать некую частично утопию, и частично бред.

Надо же как-то собираться из постмодерна в широком смысле оного слова. С его релятивизмом теории, и следующей из него практической диктатурой смышлёного дурака.

Типовая фраза

— Что, считаешь себя умнее? Самый лучший, да?

— Ты прикольный. Ты считаешь себя глупее меня, и на основании этого хочешь себе больше прав. Да ведь?

Передать или недодать?

Если сомневаешься, была ли против тебя агрессия — надо ли реагировать? Ну, например, непонятно — было ли действие случайным или умышленным, тебя продуманно «кинули», нечаянно подвели, или вообще форс-мажор? Часто это непонятно. Или вот, к примеру, урод на улице, урод кричит «сука, нах!», но не ясно — то ли это он сам с собой, то ли корешу, то ли телефону, то ли тебе, прохожему… Бывают такие невнятные, не часто, но бывают. Надо ли что-то делать? И ещё — какое воздаяние за зло точное: с процентами, с дисконтом, или ровное зуб за зуб? Поставим вопрос так: как бы выглядела *математическая модель поведения, максимизирующая добро и минимизирующая зло*? Кто бы высчитал, тому спасибо.

Я вот полагаю, что: **а.** если есть сомнение, вообще ничего не делаешь; **б.** если сомнения нет, то платишь с процентами (если позволяет ресурс). То есть лучше простить хама и жулика, чем окрыситься на невинного, и лучше передать сдачи, чем недодать. Именно как математическая модель, в которой, на следующем шаге, будет больше порядка. То есть убийца без смягчающих обстоятельств должен *умереть как минимум*. А к человеку, который тебя предал с вероятностью 50%, надо относиться по-прежнему. Хорошо относиться. И вор с долей вероятности 50% — честный человек для тебя. И маньяк-убивец соответственно.

Комплексуем вместе!

Пошлая привычка людей верить в завершение объяснения магическим словом «комплекс». Комплекс, мол, и всё ясно. Чего тут? «Потому что её не трахают», «потому что его били», «потому что его отец тогда», и т. д. Всем всё ясно. «Я думаю, что тенденции…» — «Это в тебе комплекс, Ваня, говорит». Мне вот кажется, что за всем оригинальным, хорошим, умным — обязательно комплекс. Без комплексов дураки. Хотя у дураков, поясняющих мироздание «комплексами», в виде исключения тоже может быть особенный комплекс.

Жадные, но ленивые

— Жадность к деньгам компенсирована у меня леностью ко всем способам их добычи, включая иждивение и халяву.

— Типа гармония?

— Типа да. В сумме ведь норма.

— А представь, какая гармония: равнодушие к деньгам, но расположение к заработкам…

— Ересь это, а не гармония.

«Золотая середина» как свинец и отстой

Приснилась какая-то рожа, и рекла она: «Шибко умных мы не любим, дураков тоже. Лохов держим за лохов, но крутые нам не нужны. Непьющих вообще за людей не держим, но совсем уж алкашей презираем». И ещё чего-то несла за прочую «золотую середину». Вот такую-то рожу — больше всего не люблю, какое-то идеальное лицо антипода. Какая же свинцовая мерзость во всей, мать её, подобной серединности. Если кому пристало нести такое, то надзирателю зоны. Или зеку, который стал надзирать.

Либо ничего, либо так

— Какого умного и славного человека ни встретишь, то окажется двинутый на полбашки… Рано или поздно его уличаешь либо в ограниченности, либо в чём-то смешном, либо в постыдном.

— Так это тест: если в тебе разочаровались, чего-то стоишь. И будем считать, что «полбашки» — максимум человеческого удела. Либо ты «двинутый на полбашки», то есть «в чём-то ограниченный и смешной», либо просто ублюдок и идиот. В таком не разочаруешься.

г. Красноярск

Нина Ягодинцева

Вертикальный ветер

о книге стихов Евгении Изввариной

«Панорамное отражение почти двух десятилетий жизни и работы» Евгении Изввариной, как сказано в аннотации к книге, составило менее 100 страниц поэтического текста, мощно концентрированного, взвихрённого вертикальным ветром, соединяющего по острым, болевым граням страну, историю, любовь.

Пожалуй, самая неожиданная и яркая силовая линия, проходящая через всё избранное Изввариной, — время, которое становится историей и остаётся собой. Его загадка обнаруживается где-то в полдень жизни: в недолгой полуденной паузе вдруг обнаруживается (то есть осознаётся как реальность) исторический контекст своего собственного, личного существования. Эта включённость в историю открывает перед автором колоссальные смысловые пространства. Ужас и восторг нового состояния в том, что открытие совершилось — но оно непостижимо. И поэт идёт навстречу истории, и в его высоком косноязычии соединяется несоединимое:

…народ — не подарок, когда
он — ветер,
он — поезд,
он — птица,
сквозная лазурь по весне,
заставь его Богу молиться —
и Бог чертыхнётся во сне:
«За ум не возьмётесь — урою!..»

А у самого ещё как
не ладится с этой страною,
и слёзы дрожат на щеках…

Книга вся — на болевом пороге восприятия. Поэзия по сути своей немилосердна — и тем спасительна: она сдирает коросту привычки, уверенности, устоявшегося знания о жизни, и открывает живое, родное и страшное ощущение существования на вертикальном ветру, в вертикальном времени, во вздыбленной стране:

Без выбора и без кануна,
под «Яблочко» и «Сулико»
свобода —
торговая шхуна,
все флаги несёт высоко

и прячет по трюмам бездонным
мешки жестяных номерков —
так много под парусом тёмным
сменила она моряков…

Пронзительно острым становится ощущение ближних и дальних близких, словно нервы, связывающие нас в одно целое, натягиваются и звенят:

когда открывались миры
когда накренялись балконы
и с рокотом горние кроны
справляли пиры
бок о бок с балконом твоим
пока заживает до свадьбы

кому бы сказать бы
давайте ещё постоим

И в этом беспощадном мире «с первой попытки приходится жить: / всей первобытностью неисправимой». Но есть ли точки опоры у человека, удержится ли он на вертикали ветра, да и чем удержаться?

Ей-богу, легко ведь,
едва задевая поющую нить,
дышать — чтобы помнить,
лишиться дыхания — чтобы забыть…

Да и там, за чертой, забвенья нет — мир прозрачен, здесь и там — бытие, и это тоже тайна, и силовые линии, уходящие туда, нисходящие оттуда, натянуты так же предельно, как и в мире живых.

С той стороны — то ли нет ничего,
то ли всё разом и каждому поровну…
Дыры дыханья везде твоего —
чёрные окна на здешнюю сторону.

В таком мире человек и вынужденно, и желанно становится сразу всем — иначе не выжить, не удержаться, не разгадать:

Я — пыль, что жадно дождь веков вбирает.
Всех лезвий оселок.
Колчан, откуда стрелы выбирает
неведомый стрелок.

В книге собраны очень разные, иногда не совпадающие по тону и решению стихи. Наверное, это нормальное свойство избранного, и плюс — возможность для читающего собрать «свою» композицию, свою эмоциональную последовательность текстов. В избранном обычно чувствуются временные разрывы между стихами — в книге Изввариной подобные лакуны не ощущаются, возникает иное: разрывы смысловые, разные «ключи» к темам. Хотя поэтика, при явно обнаруживаемом

движении, безусловно, узнаваема, и пристальному взгляду очевиден путь автора, узнаваемы его учителя и соратники.

В качестве одного из ключей обращает на себя внимание трёхстрофное стихотворение, посвящённое Марине Цветаевой и решённое полностью в её поэтике. Такое ученик может позволить себе лишь на расстоянии, лишь отдалившись от учителя и обращаясь к нему понимающе и благодарно:

Над равниною мирскою
месяц — легче лепестка.
Кроме — тёмно:
так с Тоскою
совмещается — тоска.

Над сестричкою меньшою —
брат с крылами, не дыша…
Кроме — пусто:
так с Душою
совмещается — душа.

Под холмом тропу воловью
обняла Христова кровь.
Кроме — чёрно:
так любовью
преступается — любовь.

Узнаваемо? Родственно? Вполне — по разлёту и сопряжению пространств, по выверенности формулы речи, по ритму дыхания… Это родство ощущается во многих стихах: Цветаева, несомненно, — одна из дальних близких Извариной, но Евгения отказывается в стихах от силовой, экспансивной речи, она легко, едва-едва прикасается к вертикальному ветру — и замирает, умолкает, ведь уже одно прикосновение даёт достоверное ощущение невыразимого:

Если к самой воде подойдём,
утки будут — по правую.

…Половина пруда подо льдом,
а они ещё плавают,
чтобы мы, о заглавных долгах
вспоминая по случаю,
эту лень в золотых берегах,
эту темень плакучую
называли несчастной страной,
а любили — как первую…

И когда повернёмся спиной,
утки будут — по левую.

Поэтическая речь Извариной — живая, чистая, переливающаяся многозначностью и многосмысленностью, речь чистой воды. Для неё удивительно органичен любимый цветаевский приём — аппликация синтаксическая, семантическая, метафорическая, смысловые наложения которой зачастую просто вытесняют знаки препинания, заглавные буквы и другие условности письменного текста. И соседство таких текстов с традиционными не вызывает ни удивления, ни протеста, оно естественно и достоверно:

седина не студит лоб
смех морозцем тронут
я люблю тебя взахлёб
как поют и тонут

Не графика выявляет синтаксис, а музыка, и этого более чем довольно.

В целом книга воспринимается не как традиционный авторский монолог, она диалогична. Эта диалогичность — и в открытом вызове тому самому пространству неведомых смыслов, о котором шла речь в начале этой статьи, и в многочисленных посвящениях, где автор говорит с собеседниками на их языке, нимало этим не затрудняясь, с лёгкостью чистого эха. Диалогичность и в том, что каждое стихотворение открыто для читателя — и открывает ему незнакомые состояния, мгновенное замирание или вихрь эмоций.

От книги к книге поэт, несомненно, изменяется. Это можно увидеть не столько в свойствах речи, интонациях и приёмах, сколько в степени дерзости, в выборе тем и задач. С этой точки зрения книга Извариной скорее не избранное, а новое. Её личный поэтический опыт двух десятилетий, которые для России были очередным страшным испытанием, волей-неволей стал прикосновением к постигаемому, но непостижимому…

Пока цветёт в лугах болиголов,
земные узы разорвать не смея,
пойдём и спросим у семи холмов:
с которого из них видны яснее
заутренних созвездий острова
и жизнь —
недорогое самовластье
из воздуха весомые слова
брать на испуг и отдавать на счастье…

г. Челябинск

Евгения Изварина. Голос и ветер. Книга избранных стихотворений 1989–2007 гг. Екатеринбург: ид «Союз писателей», 2007. — 104 с. — (Частная библиотека XXI век.)

Валентина Шафронская

Просто верить

«Дедушка, здравствуй. Пишет тебе твоя внучка. Мне уже скоро будет восемь лет. Я хожу во второй класс. Сегодня нас принимали в октябрята, и теперь на моём школьном платье висит октябрятская звёздочка…» — примерно таким было моё первое письмо деду, пропавшему на войне без вести. Я тогда недавно приехала из сочинского санатория, где прожила полтора месяца. Одну девочку чуть ли не каждый день навещал дед — ордена весело позвякивали на его груди, на другой висели какие-то цветные планки. Всякий раз девочка, гордо проходя мимо, говорила: «Это мой дедушка приходил. Он воевал на войне и побил всех немцев! Вот!», и показывала нам язык. Ко мне никто не приходил, потому что наша семья жила очень далеко, каждую неделю летать никаких денег не хватит. Я молча смотрела вслед девочке и завидовала. Потом уходила в свою палату, ложилась на кровать и думала. Иногда мечтала, что вот наступит утро, распахнётся дверь, и нянечка меня позовёт вниз, потому что ко мне пришёл незнакомый старенький дядя весь в орденах. То-то обзавидуются все! Но ничего такого не произошло…

«Здорово, дед! Слушай, а ты у меня, оказывается, тот ещё герой! Да, ладно, не скромничай, мне мама рассказала, как ты лихачил по юности. Молодец, наш человек! А, правда, что твоя семья за те «вывихи» от тебя отказалась, и что от тюрьмы тебя спасло только артиллерийское училище и моя бабушка? Ты у меня откуда-то с Алтая, вот бы знать точно, вдруг когда-нибудь занесёт туда!.. Мне уже исполнился двадцать один год. Ты в мои годы ушёл на войну, а я вот летаю, порхаю, и плохо представляю, чего хочу…».

Впрочем, нет. Одно важное, помимо других, менее важных, дело тогда у меня всё-таки наметилось. Тайком от родителей я, раздобыв адрес военного архива в Москве, послала письмо с запросом. Ответ, понятно, не пришёл. Но я, не зная об этом, вовсю «готовилась к встрече». Именно готовилась — в одной из телепередач, схожих с давней «От всей души» (ох, и ревела я!), прошёл сюжет о том, что чьего-то отца и мужа тоже считали погибшим, а он выжил и нашёлся. И я тихо поверила в сказку. Мне казалось, что не мама, а я должна рассказать деду о том, что произошло после его отправки на фронт…

«…В 1941 году перед отъездом из Нижнеудинска, 5 сентября, ты оставил бабушке на столе записку: «дочь — Светлана, сын — Славка». Через семнадцать дней родилась дочь, моя мама. Хлебнули они с бабулей, будь здоров. Но выдержали. Тебе есть, кем гордиться, дед. Дочь у тебя получилась — кремень, с огоньком, она и меня вытянула назло всем жутким прогнозам. У бабушки спустя шестнадцать лет родился сын — Славик. То, что от другого человека, не суди, а то разругаемся в пух и прах. Она тебя ждала верно, просто жили очень бедно и худо, надо было за кого-то держаться. Правда, тот, Матвей его звали, вскоре пропал с концами, изредка пересылая мизерные алименты. Бабушка так и доживала одна, и Славка, выросший, стал чем-то неуловимо похож на тебя (и носит родовую фамилию), вот и не верь после этого в причуды генетики. Я очень смутно, по ощущениям, помню бабулю своими пятью годами. По аромату едва испечённого в настоящей деревенской печке хлеба и парного, звонко сцеженного поутрянке в блестящее оцинкованное ведро, молока. Кажется, повей этими запахами слегка откуда-нибудь — тотчас узнаю, ребёнком себя почувствую и пойду, не глядя, как на волшебный манок… А запах кедровых шишек, которые измельчают (потом пошебуршишь руками пахучую массу, ладони к лицу приложишь и вдыхаешь, пока голова не закружится!..), чтоб отсеять коричневые мелкие орешки!.. Ничего вкуснее в жизни не пробовала — зато и тянет меня до сих пор в глухоманную сибирскую деревушку под названием Укар. Почему такие странные ассоциации? — не знаю, но, может, отчасти и потому, что именно она, наша большая сибирская родня — единственная нить, связывающая меня с бабушкой, а через неё — с далёкими предками из польских шляхтичей…».

(Один раз, гуляя по Интернету, я всё же добралась до архива Польши, разбитого на города (в какой заходить — загадка), но… — полное отсутствие знаний по грамматике в написании фамилии и хотя бы приблизительного места проживания своей взбалмошной прапрапра… Одна только примерная дата — 1860-е гг. уже приводит в совершенное смятение — хочется забиться в уголочек своего родного и знакомого двадцатого века и радоваться, что не потерялся окончательно. В общем, увы. Впрочем, спустя ещё пару лет я, освоила два CD с начальным уровнем обучения польскому языку, тут бы порадоваться, ан нет. Теперь до сайта архива не докопаться — такой вот конфуз).

Спустя какое-то время я отправила ещё одно письмо, наивно предположив, что прежнее потерялось. Но ответа тоже не дождалась. Зато из Сибири полуграмотные письма, подчерка корявого и неровного, с одинаковыми до умиления ошибками приходят до сих пор, правда, с новостями, большей частью, грустными — кто помер, кто спился, кто уехал…

Один из институтских сокурсников, работая в поисковой бригаде, свёл меня с главой местной поисковой организации «След Пантеры». Там

меня самым внимательным образом выслушали и сделали официальный — так больше гарантий, что не отмахнутся — запрос в Иркутск, но у нас снова ничего не вышло. Через пару месяцев пришла казённая бумага с отказом «в виду отсутствия точных сведений». Позже — ещё две. И я оставила попытки узнать хоть что-нибудь о возможных родственниках по женской ветви и о судьбе деда.

А потом подумала, что самое верное — пусть редко, но продолжать писать ему или разговаривать с ним, будто бы он где-то очень далеко, но есть, и каждое слово или мысль непременно дойдут до адресата. И верила, что у меня получалось… Может быть так я приучаю себя к будущим неизбежным потерям тех, немногих людей, которые даже не догадываются, насколько они мне дороги и любимы мной всем сердцем, душой. Именно любимы — Господи, как же страшно говорить это вслух! И чем старше становишься, тем страшнее. Но как уютно и безмятежно молчится, когда эти люди рядом.

Дед, прости, за то, что сейчас скажу, но, наверное, хорошо, что ты не дожил до этого времени. Ты ведь пытался представить, каким светлым и радующимся каждому живущему, оно будет? Ты верил в лучшее. Вы все верили, иначе не победили бы.

У нас появилось много тьмы и грязи, они не обошли и меня, но давай я не буду об этом рассказывать. Не потому, что стыдно — да, стыдно, но пусть мои ошибки остаются при мне, так лучше.

Страны, за которую ты воевал, давно нет на карте, она осталась лишь в памяти тех, кто родился и вырос в ней. Зато появились такие понятия как «неофашисты», «скинхеды», по сути, и то, и другое — зло.

В 90-м в Москве, в январе и июле, так уж получилось, на постановочной абитуре моими друзьями были ребята, съехавшиеся, казалось, со всех концов земли — Санджар, Гия, Ляззат, Эрик, Айша, Гиви, Алмат, Кияз, Абдул… Дед, за две недели общения мы настолько прониклись друг другом, что никакая мерзость не задерживалась около нас. Мы стояли друг за друга горой, помогали, утешали, плакали, ругались… Пили горькую на радостях! Знаешь, как здорово — радоваться за своих! Со многими я потом переписывалась несколько лет, мы мечтали когда-нибудь снова встретиться там же, у старой общежитской пятиэтажки…

Но эти проклятые межнациональные конфликты!.. После 95-го мы потерялись, остались письма, фотографии, короткие записи в дневнике… «Невелико наследство!» — хмыкнет кто-нибудь. Для меня оно — на вес золота.

А, знаешь, с чего начиналась моя юность? С повального дефицита всего и вся, с огромных беспросветных очередей сплошь состоявших из людей с угрюмыми, тяжёлыми лицами (попробуй-ка схитри, просочись! — сотрут в пыль на месте, чтоб другим не повадно было). Продукты, хозтовары и спиртное выдавали строго по талонам. А спиртного нам надо было не то, чтобы много, но… Выцаганишь за двойную цену всеми правдами и неправдами у знакомых пару бутылок портвейна «777» или водки и пока предки на даче — в отрыв! Врубишь во всю мощь колонок «Баньку» да под огурчики с картошкой!.. Душа, пьянела не столько от градусов, сколько от хриплого: «Угорю я, и м-мне, угорел-ло-му-у, пар горячий р-развяже-ет язы-ык!..». А наши языки развязывались Булгаковым, Солженицыным, Гумилёвым, Платоновым, Мандельштамом… (Гумилёва и Мандельштама мне посчастливилось читать в 1987 году у музейной дамы, приютившей меня на несколько ночей в Смоленске. Лёжа на полу, в полутьме, я, затаив дыхание, листала ветхие издания начала прошлого века с ятями и ерями, попутно делая записи в дневнике).

Обсуждая стихи и книги, мы трезвели, пьянели, снова трезвели, не глядя на часы. До тех пор, пока какой-нибудь обезумевший от переизбытка децибел сосед не начинал колотить в дверь моей квартиры, срываясь на отборный мат… Мы делали звук потише, но ненадолго. Ну, скажи, как можно слушать и сейчас мною любимую «The Show Must Go On», или «Still Loving You», песни Виктора Цоя, Игоря Талькова — вполуха, шёпотом?! Как? Нет, нам надо было нервы с жилами мощным звуком рвать и смелеть, чтоб ничего не бояться. Мы, моё припозднившееся поколение, «прозевали» подполье «Голоса Америки» и слепые перепечатки «Чонкина», «Одного дня Ивана Денисовича», стихов Бродского и многих, многих ныне известных книг и авторов. Упущенное мы навёрстывали жадно, хищно, порой наивно присваивая себе единоличное право на «открытие» того или иного произведения или имени. В моих приятелях, а потом и друзьях всегда были люди старше на 15–20 лет, и это воспринималось нормально и естественно — почему? Не знаю. Меня никогда не оставляло ощущение того, что я припозднилась, с ровесниками мне и сейчас не о чем говорить, я не умею полноценно общаться с ними, так, по мелочам обывательского толка, не более…

Что ещё было в моей юности? — сторожевание Дома культуры, где в мои дежурства по ночам наши мальчики с «видеосалона» развлекались с местными проститутками — Таней и Юлей (я потом с ними познакомилась — память о «Маленькой Вере» ещё не остыла, да и любопытно было узнать, «что за птахи такие?». Безобидные, не наглые, надо сказать, девчонки лет семнадцати, «радовались» жизни за пару новых колготок и жратву с коньяком (дефицит всего). В первые ночные дежурства я тоже общалась (в меру, дед, в меру) с мальчиками — куражилась, потом надоело. В пять утра меня, мирно спавшую в гардеробе на изъеденном молью, поломанном кресле, будили, я выпроваживала весёлую компанию на улицу и снова закрывалась на все замки — в полшестого приходили уборщицы. В «тихие» ночи я спускалась в один из нижних кабинетов и стучала на печатной машинке (по моей, древней, давно плакала помойка).

Сейчас все наши забавы представляются безобидными выкрутасами постпубертатных щенков, так оно и было. Взрослели мы стремительно, едва ли успевая оценивать и круто меняющиеся декорации жизни, и внутренние, порой разрушительные метаморфозы. И очень часто «начинка» не совпадала с тем, что мы видели, хотели видеть, и что было на самом деле. Отсюда и наша замкнутость, и наша жестокость, и категорическая

непереносимость лжи. Ни в чём, ни в ком. Знаешь, что самое трудное, дед? Видеть, что человек обманывает тебя и делать вид, что веришь; когда в голове пульсирует одна жуткая мысль, что вот это — крах, ещё одно разочарование, ещё одна нелепейшая, бездарная потеря, по которой не бывает слёз, боли, разве только рукой махнёшь. Почему люди забывают о том, что по глазам можно прочесть если не всё, то очень многое, порой самое сокровенное?..

Почему-то отчётливо запомнилось, как однажды, давно уже, в автобусе кондукторша кричала на старика-грузина (медали почти скрывал изношенный плащ), — у него не оказалось денег на билет. Я думала, она его просто вытолкает из салона на очередной остановке, и уже потянулась в карман за деньгами, но меня опередил мужчина. Он заплатил за старика и тихо сказал: «Прости, отец». Дед, я видела в глазах ветерана слёзы, хоть он и отвернулся к окну. Мне было стыдно за себя, за время, в котором я живу, и жаль тебя.

Случалось и такое: на улице меня (а после и других людей) останавливал худющий, одетый в обноски (зима ли, лето, без разницы) ребёнок и просил «дать денег». Всё текло по одному «сценарию». Я предлагала: «пойдём, куплю тебе немного еды». «Нет, — раздавалось в ответ. — Мамка (папка) пьяная, опять бить будет, лучше деньгами…». Денег я не давала. Не потому, что жалко. Да ты же понимаешь, почему…

В марте двухтысячного, я вспоминала о тебе ещё чаще. Что в тот день вывело меня в город? — я тогда сидела без работы (кухня-стирка-полы до смерти надоели), но вот сорвалась, поехала в центр. Автобус перед площадью Ленина остановили гаишники, двери открыли, и я пошла пешком через дорогу, светофоры не работали, народу — уйма. Я не сразу поняла, в чём дело, стала оглядываться вокруг… И в какое-то мгновение лишилась слуха, мир словно накрылся огромным прозрачным коконом, утратив свои обычные звуки, шумы… Лучше бы было остаться дома!.. — мимо меня, совсем близко прошли строем военные, между ними на машинах медленно (страшно медленно) провезли, кажется, двенадцать обтянутых красным материалом гробов с телами наших ребят, погибших в Чечне. Не знаю, как не порвалось моё сердце… Тогда я впервые «вживую» поняла что значит: «сердце кровью обливается», — моё же обливалось болью. Многим из погибших не исполнилось и двадцати лет, некоторые не то, что детей народить, они и женщин, наверное, не познали, не налюбились… Вообще — ни-че-го, понимаешь?.. На митингах говорили, в газетах писали: долг, Отечество, героизм, «мы гордимся»…

Дед, я многого не понимаю, смогу ли когда-нибудь понять *это?!*

Как называть Отечеством страну, в которой режим и «государева» воля под соусом патриотизма — Афган, теперь Чечня, которая будет кровоточить постоянно, затихая и взрываясь с новой силой — посылают на смерть вчерашних мальчиков (наших братьев, любимых, друзей)?.. Страну, в которой наизнанку переписывается История — твоя история, дед. Страну, в которой и сейчас от голода и нищеты мрут старики, твои ровесники. Где детские дома переполнены покалеченными, если не телом, так душой, детьми — почему их не становится меньше? Почему в некогда великой державе, которую я называю Родиной, родное забивается чужим, обедняя нашу культуру, дух, язык?! В нас десятилетиями микродозами насильно впрыскивают инородное сознание, понимание жизни, самих себя в ней…

И этим «мы гордимся»?!

Я знаю, что это уныние, но мне и вправду неинтересно это время, понимаешь? Может, поэтому я ограничила себя в общении и лишь по необходимости выхожу из дома…

Наверное, за мной повторят многие, лишённые нормальных отношений в семье, но с родителями у нас не получилось ни доверительного, ни равного общения. Бытового (отцовского) занудства я не терплю; гиперопека бедной моей мамы отдалила нас однажды и навсегда. Ребёнку, подростку и выросшей, мне вполне хватало книг и кумиров. Портреты последних заполняли всё моё «личное пространство» постепенно, начиная с 11-ти лет. Стены моей дальней комнаты «хрущёвки» были увешаны фотографиями из газет, журналов — Даль, Дассен, Асанова, Тарковский, Высоцкий, Шепитько, Миронов… Позже — Тальков. Мама, изредка заходя в мою комнату, старалась быстрее уйти и каждый раз говорила: «Жуть какая. Как можно жить здесь? Сплошные покойники…». Я же чувствовала себя спокойно, более того, мне казалось, они защищают меня, сберегают, «не пускают» в меня Зло. И до сих пор я верю, что так и было, потому что так — есть и сейчас. И имена тех людей, их лица — в моей памяти, в сердце, и я не могу избавиться от мысли, что они-то по-настоящему и вылепили мою душу. И остались в ней, время от времени проявляясь с новой силой и помогая, выравнивая, поднимая меня, упавшую или разуверившуюся в чём-нибудь главном.

Наверное, всегда я с благодарностью буду вспоминать время учёбы в училище культуры. Именно там я, наконец, осмелилась говорить о своём потаённом, насущном словами моих любимых авторов или героев их книг. Всё началось с монолога Маргариты Мастеру (помнишь — «Слушай беззвучие…»?), — шутка ли, но именно его я читала при поступлении, внутренне купаясь в каком-то дивном свете. Я ещё не знала, что это — Гармония, редкая, счастливая возможность быть в ладу с собою. Интуитивно я стремилась к этому ощущению, позже выбрав для зачёта горький стих Галича «Памяти Пастернака». Немалых трудов мне стоило уговорить куратора нашей группы разрешить читать «мужской» монолог Павла Фарятьева — любимоё моё моно, записанное с телевизора на старенькую аудиокассету. После сдачи экзамена по сценической речи, мне предложили прочесть его на выпускном вечере… Дед, какое же это счастье — ничего не боясь, не стесняясь говорить людям то, чем ты пропитан насквозь… То, без чего тебя уже не может быть, ибо это уже будешь не ты — другой человек. А глаза незнакомых людей, обращённые на тебя?.. Такое чувство, что с меня, вернее, с того, о чём говорю, они, сами того не понимая, «считывали» какую-то важную для собственного будущего информацию… Или

мне показалось? В те минуты я впервые познала объединяющую и созидающую силу Слова, способную и породнить, и исцелить, и открыть Знание. Нужно только верить, просто верить, прежде всего, себе и в себя. Тогда всё получится…

«Ну, вот, дедуль, дождались мы! Твоя правнучка впервые произнесла это волшебное слово «деть», чуть смягчив последнюю букву, как если бы она была с мягким знаком на конце. Ждали всей семьёй больше года: «мама», «папа», «баба» дались быстро, а моему отцу — пришлось потерпеть. Но как он «поплыл…» — надо было видеть его гордый и одновременно растерянный взгляд!.. Вот уж диво дивное — монумент дал течь, и на мгновение проступили черты мальчика — беззащитного, затюканного сверстниками детдомовского пацана, от которого отказалась мать, едва родив его! Ведь он, хоть и взяла потом его на воспитание родная тётя, так и живёт в горькой обиде на всех женщин, выплёскивая её на нас, близких, — и ничем её не вытравить, не избыть, ничем… В нём есть доброе начало, но оно так слабо, так беспомощно, что мгновенно меркнет перед злобой и непрощением. Иногда я ненавижу отца: за себя, за свою дочь, которой не дано узнать, что же такое «дедушка», но которая очень хорошо знает, что же такое «нелюбовь». И, наверное, никогда я не смогу ему простить фразы, брошенной по пьянке: «Эта б… не смогла мне родить здорового ребёнка…». Это он так на людях «сказанул» про маму, угробившую на меня своё здоровье, силы, нервы. Хорошо, что она не слышала. Вот только как мне с этим жить?.. Как?..

Ой-ёй, дедуля, прости, я же не сказала главного — твою правнучку звать Анной, Анночкой, мама говорила, что ты бабулю так ласково называл. Ну, вот, любуйся. Я на неё смотрю иногда со стороны и думаю, как же здорово, что мой ребёнок рождён от любви, даже такой сумасшедшей, какая была у меня…».

…С тех пор к своему отцу я обращаюсь не иначе как «дед». Первое время аж глаза хотелось зажмурить от удовольствия и прижаться к нему, нараспев пробуя незнакомое: «де-е-ед». Прижаться не получилось, дичком как выросла, так и осталась. Знаешь, какие баталии у меня с ним шли?! Хорошо, что не знаешь. Он, видите ли, сына хотел, а получил меня. В общем, коса на камень нашла, да так и затупилась в постоянных придирках. Я отлично знаю, что такое «отец», но что такое «папа», какой он? — только предположения и мечты… Дураки мы, дураки оба: поставь нас перед зеркалом — одно лицо, жесты. Мама вечно причитает: «Ёшкин свет, как же вы похожи, где ж моё-то?». Теперь я ей всегда указываю на внучку: «Вот, твоя точная копия!». А потом сама думаю, глядя уже на них: «Как же похожи! Где ж моё-то?..».

Дедуль, ты не переживай, я на твою Анночку больше похожу, фотография её сохранилась. И твой предвоенный снимок тоже в целости, только пожелтел совсем. Я их забрала у мамы, вдруг затеряет, она стала такая рассеянная.

Уже начало марта и скоро День Победы. Каждый год 9 мая мы ходим на могилу дяди отца — на Аллею Героев в городском парке — больше-то не к кому, а так вроде и поминаем вас всех. Ветеранов становится всё меньше и меньше. Лет пять назад дочка взахлёб рассказывала, как подарила цветы незнакомой бабушке — «вся в медалях и прямоугольнички такие цветные слева…», видел бы ты, как у неё горели глаза… В тот же день в Детском парке мы встретили её одноклассницу с прадедом. Девочка остановилась, и сказало гордо: «Это мой прадедушка. Он воевал на войне…», узнаёшь? — я так и растерялась на месте от такого совпадения. Как же расстроилась Анюта!.. Ей не хватает тебя, слышишь? История повторяется, дед.

Знаешь, когда кто-нибудь начинает говорить: «вот было время…» и пускается в воспоминания о прекрасном, чистом прошлом, а потом начинает ругать наше поколение, обвиняя в равнодушии, грубости, чёрствости, у меня плохо получается смолчать. Да, мы выросли более злыми и жестокими, порой циничными, но это всё маски. Маски, за которыми прячутся от ещё более жестокого, злого и циничного мира. Мира, в котором самые лучшие чувства могут быть осмеяны, растоптаны. В котором романтиков презрительно называют «ботаниками» и показательно вышвыривают «за борт» — что с них взять-то? Мир, где «светлое будущее» без достатка — позорный пережиток, чушь…

Некоторые несчастные заигрываются, маски срастаются с кожей и от человека не остаётся и следа…

Но не всё так ужасно, дед. Да, мы разучились держаться вместе, мы раскиданы поодиночке в блочных квартирках с никудышней звукоизоляцией, и обманчиво самодостаточны. Мы как бездомные котята, позови таких — они головы чуть повёрнут, шагни ближе — они врассыпную, в родную безобидную темень подвалов. А нас даже не окликает никто, и случись беда — некому обнять и защитить. Мы учимся сами себя защищать. Мы стремимся чаще обнимать своих детей, надеясь от них «дополучить» тепла, которым были обделены в собственном детстве. Нам приходится самим искать или придумывать «идею», за которую можно было бы держаться, как за соломинку и жить, всё-таки жить… Мы привыкли быть в одиночестве, там, где собирается больше двух человек, чувствуем себя потерянными и лишними, нам неуютно и хочется поскорей уйти. Мы привыкли быть в одиночестве, но всегда готовы довериться тому, кто разглядит нас и поверит нам. Я знаю это чудо, дед. Такая сила просыпается внутри, такой свет яркий, которых, кажется, хватит на всё-всё, даже на огромный Мир!.. И тогда снова верится, что жизнь не так ужасна, что мы обязательно справимся с наростами порока и не-чести, словоблудия и фальши. Что Будущее неизменно ясно и чисто, и в нём никто и никогда не испытает на себе страх ни за убого доживающих свой век стариков, ни за своих детей рождённых и не рождённых. Ничего, что мы не знаем, когда это случится, может, нам и не нужно знать, достаточно просто верить, иначе мы сойдём с ума.

Я — верю.

г. Псков

Елена Сафронова

Жители ноосферы

Имена (кроме особо оговорённых случаев) вымышлены, совпадения случайны, а персонажи могут показаться кому-либо знакомыми лишь потому, что все они — герои нашего времени! К авторам процитированных в тексте стихов отношусь с глубочайшей признательностью.

Елена Сафронова

Глава I

И вот представьте себе эдакий пердимонокль: я, Надежда Аркадьевна Степнова, корреспондент «Березани синеокой», издания бананово-лимонного цвета, законного, но уродливого отпрыска всероссийского издательского дома «Периферия», выхожу замуж за поэта Константина Георгиевича Багрянцева. Уже смешно, да?

До тридцати лет никакая личная жизнь не перебивала пошлой сентиментальной моей любви к выбранной профессии. В наше безнадёжное дело я втрескалась раньше, чем начала учиться в Воронежском госуниверситете на журналистике.

С возраста полового созревания и первых статеек в классных и школьных стенгазетах. Я и зрела не так, как положено. Вместо чтобы, как доброй, размалёвывать физиономию и жеманиться на танцах с парнями, я таскалась по городу с блокнотом. И на дискотеку сунулась всего один раз за два старших класса — делать репортаж о подростковом отдыхе. А сама в свои семнадцать лет слушала только классическую музыку или великих бардов, в попсе разбиралась, как хрюшка в колбасных обрезках. И ко мне пристали пьяные в хлам пацаны из параллельного класса, стали отнимать блокнот и хватать за места, прикрытые дешёвой «варенкой». Они не церемонились, потому что на их мышиную возню с одобрительной ухмылкой косились совершеннолетние обалдуи со штампом об освобождении. Эта компания периодически заставляла мелюзгу затаскивать девок в кусты, потом являлась сама, а мелюзге оставляли объедки с царского стола. Раз даже очень шумное дело раздулось — изнасиловали не ту, кого можно безнаказанно. И в замшелой Березани творился беспредел бессмысленней и жесточе столичного. А я, самая умная, попёрлась на ту скандально известную дискотеку и не скрыла по юношескому недомыслию блокнот. Диктофона у меня тогда в помине не было. Было только пылающее стремление напечататься во взрослой «Газете для людей», где мне вяло пообещали публикацию, если выкопаю что-то интересное. Нарыла!

Публикация вполне имела шанс оказаться первой и последней и состояться в виде некролога. Потому что от безвыходности я начала хамить мелким козлам, те озверели, пустили в ход руки, а я — длинные ноги. Отвесила пару поджопников и выскочила из-под крыши притона. За мной погнались. Окрылённая страхом, я стрижом долетела до здания Ленинского районного отделения милиции, центрального в Березани, благо близко, и ворвалась туда. Гопники окопались неподалёку от крыльца.

Изнутри оплот общественного порядка был — желтовато-коричневый коридор, вся мебель из пожившего дерева в одинаковой гамме, отчего и люди, попавшиеся мне на глаза, выглядели тоже деревянными. Один сидел за стойкой, другой возле него меланхолично раскачивался на стуле. Созвездия на плечах были для меня тогда китайской грамотой. Но я как-то сориентировалась, что за стойкой находится оперативный дежурный. Сбивчиво пожаловалась дежурному, что произошло на дискотеке, и получила резонный совет дома сидеть, а не шляться по танцулькам и задницей не вилять, чтоб на неё же приключений не наскрести. Удостоилась разрешения позвонить домой, чтобы предки забрали. Потому что этот, со стула, сказал мне, что не видит повода поднимать наряд по тревоге. Из чего я заключила, что он был старшим наряда. Я домой звонить не поспешила, а объяснила про первый в жизни репортаж. Дежурный и старший наряда хохотали до слёз, а я ничего не поняла.

— Тяжела и неказиста жизнь простого журналиста! — утирая слёзы, проговорил дежурный (потом мне сказали — капитан Веселкин). — Мало их бьют, а они всё лезут в газету…

Справедливость требует заметить — тогда в Березани журналистов ещё не били. Да и журналистов-то приличных в городе не было. Да и газет читабельных имелось полторы. Провинция провинцией, застой только что кончился, хотя в Москве уже пятый год перестройка. О том, что в окрестностях Красной площади журналюг, случается, колотят за чрезмерное любопытство, иногда сообщало «Останкино».

— Лучше бы ты, девка, просто пробз…ся туда пошла, нам бы с тобой хлопот меньше и тебе — удовольствие, — философски заметил старший наряда, моложавый, с простоватым лицом и сержантскими лычками. Он не обратил внимания на мои запунцовевшие щёки. — То сидишь тут у нас, как сыч, выйти пугаешься, нам голову морочишь, а то с кавалером бы обжималась…

— Ага. С Рылом, — простодушно подтвердила я. И получила первый в жизни практический урок: правоохранительные органы надо уметь заинтересовать своей информацией! Моя личная безопасность им оказалась до фени — чего не сказать о Рыле. Оба милиционера проснулись.

— Что?! Рыло там? — громыхнул стулом старший наряда.

Виталик Рыло был легендарная по Березани личность, рецидивист, которого знали все. Его узнавали на улице, молодые мамаши пугали им детей, а матери постарше — зреющих дочек.

Хотя было Рылу немногим больше трёх десятков. Недавно он откинулся из колонии строгого режима — говорили, вышел условно-досрочно за примерное поведение — и на перекладных двинулся в город детства. Кто из бывших дружков видел его на улицах, столбенел — Рыло, в свежеотпущенной бороде, коряво рассуждал о грехах: «я, пострадав за преступления свои, пришёл к вере». И мне посчастливилось увидеть человека, сменившего кожу, на криминальных танцульках. Впредь подобное хроническое везение стало моей визитной карточкой…

«Мой» Рыло стал прежним — пугалом для мирных обывателей. Выпил пол-литра из горла, картинно подбоченясь в центре танцплощадки, подхватил ближайших девок, потребовал «поставить Мурку», прибил звукооператора, не нашедшего нужной кассеты, и хорохорился, обещая на всю дискотеку, громче музыки, по-лагерному употребить всю березанскую милицию, начиная с генерал-майора, начальника увд. Те похабные выражения я как раз и записывала, когда ко мне подвалили придурки из параллельного класса. Что осталось в уцелевшей части разодранного пополам блокнота, я старательно повторила стражам порядка. Конечно, они возмутились. Тут же свистнули группу захвата… Поразиться не успела, как молниеносно ожил пустой и сонный коридор отделения милиции, как затопали в нём, засвистели, заругались… Я уж и уши перестала затыкать, решив, что пора взрослеть. В суматохе про меня могли бы забыть, и я сама себе преподала второй урок юного журналиста: нужно переключать на себя внимание!

Когда кто-то крикнул: «По машинам!», я ввинтилась в милицейский «Козлик», вопя, что иначе меня убьют подростки, ожидающие на улице. Подростков шуганули, на меня шикнули, но я выскулила разрешения доехать с ними «до уголочка», потом «до дискотеки». А там уж всем стало не до девчонки.

Рыло взяли. Это было зрелищно, хотя и довольно быстро. Спрятавшись за жёваным гигантской челюстью мусорным баком, начинающий репортёр наблюдала, как его в наручниках вытаскивали из дискотеки, грузили в «воронок», и фиксировала неустоявшимся почерком в остатках блокнота вопли Рыла. В тот вечер я узнала поразительно много новых слов. А потом мне места в машине уже не досталось. Домой, к предкам в предынфарктном состоянии, я бежала по пятнам темноты, заячьими зигзагами огибая фонари.

Назавтра я появилась в ментовке уже на правах старой знакомой. Окрылённый успехом коллектив принял меня хорошо. Даже начальник криминальной милиции соизволил высказать краткие комментарии. Я узнала «по знакомству», что задержанному Виталию Рылову вот-вот должны навесить повторный срок, а двум его приятелям, замаринованным в том же следственном изоляторе, светят свеженькие срока за сопротивление сотрудникам при исполнении. Напоследок эти же «знакомые» настоятельно посоветовали мне переехать из дома, пока не улягутся страсти. И я спряталась у бабки в пригороде Березани. Вовремя: во дворе школы меня пытались подстеречь. Тёрлись у школьного забора парни, упорно косящие под бывалых урок, и с пацанами из выпускного «Б» вели мужской разговор: «Покажите девку, что Рыло сдала!». Узнав о том, на школу я с радостью забила. Логическое окончание затяжного конфликта между мной и системой обязательного бесплатного среднего образования.

Ввиду особых обстоятельств мне вывели несколько оценок по неглавным дисциплинам заочно, остальной аттестат заполнили от балды. На экзамены я появлялась в сопровождении отца, контрольные написала, а вот на выпускной вечер благоразумно не пошла. И правильно сделала — те же урки маячили за школьным забором.

А как только начались вступительные экзамены в вузах, я махнула в Воронеж — на журналистику. С собой везла восемь экземпляров березанской «Газеты для людей» — издания молодого, язвительного, одним словом, демократического. С репортажем «Последние гастроли, или белый танец Виталия Рылова». Про «белый танец» я придумала сама — мол, на злополучной дискотеке пригласила Виталия Рылова на вальс родная милиция, дама дюже строгая.

— А ты молодец, ребёнок, — одобрил стыдливо потупившуюся меня глава оной газеты, «главвред», как он сам себя называл, человек, умевший прекрасно писать политическую публицистику, впадать в запои и выходить из них.

На журфак в вгу меня приняли. Даже с охотой.

В процессе обучения закалились, как булат, ярчайшие черты характера вашей покорной (точнее, непокорной) Надежды Степновой, они же скверные привычки, они же лучшие качества журналиста: ртутная мобильность, ишачья выносливость, дизельная работоспособность, шпионская наблюдательность. Всему, чем позже славилась в Березани, я обучилась в Воронеже. Можно сказать выспренне: «свои университеты» прошла «в людях» без отрыва от практики, без хвостов и академок. И все заповеди журналиста подточила под себя, искренне веря, что не сам факт важен, а человек, стоящий за ним. Оттого я делала блестящие, без ложной скромности, очерки и репортажи. Почему? — может, потому, что всех этих людей я заранее готова была любить, то бишь принимать со всеми их недостатками и слабостями. Представьте — любить героя репортажа, даже если ты его ненавидишь! Трудно? А я любить умела.

Эта премудрость перешла ко мне от прабабки, потомственной небогатой астраханской дворянки, прямой старухи со смуглым, до девяноста пяти лет красивым лицом. Стефания Александровна Изотова, многими чудесами выжившая в гигантской мясорубке ссср, упокоилась в девяносто пять лет, в год окончания мною университета, и в гробу выглядела ещё более значительно, чем при жизни. Прабабка всю жизнь была верующей и не скрывала этого. А ещё сухощавое тело её послужило проводником несгибаемого духа степных воителей, минуя дочь и внучку, к правнучке — ко мне. Прабабкин завет «всеобщей любви» я надумала выполнять в своей циничной профессии.

Общежитие тоже внесло посильный вклад в формирование личности под паролем «Надежда Степнова». Вчерашняя десятиклассница из приличной семьи оказывается одна в Содоме и Гоморре общаги Воронежского гу. Родители уезжают накануне первого сентября, мама — квохча и плача, папа — выбрасывая на ходу из окна поезда малоценные наставления, и я остаюсь в комнате на троих с умеренной суммой денег до первой стипендии и немереными амбициями. И на меня тут же падает глыба социально-бытовых проблем. С первым номером — как себя подать? — я справилась быстро: курить начала, от спиртного отказывалась наотрез, деньги растратила на книги, а не на водку, чем испугала соседок, и они раз навсегда отвяли от меня с предложениями пошушукаться о парнях, покадрить однокурсников, промяться на танцах… Услышав про танцы, я смачно поведала им историю с Рылом. Они поохали и признали за мной право быть синим чулком…

А в быту, оказалось, мне нужно до смешного мало — кусок хлеба и кружка чая, почти чёрного, без сахара. Аскеза первых месяцев учёбы вскоре прошла, оставив мне зачаточный гастрит, но любви к ведению домашнего хозяйства мой организм так и не выработал. Я не стремилась приукрасить казённый быт и не получала на почте мамины переводы. Шлея под хвост. Самостоятельности захотелось. Воронеж — не Березань, газет там уже в начале девяностых хватало. Когда пошли тоненьким, но верным ручейком честные гонорары, мои родители как раз расстались на гребне обоюдного кризиса среднего возраста. Я сходила на почту и по стопке извещений получила домашние переводы. И все их отправила мамочке. Я же сама могу обеспечивать себя!

Из недр девятиэтажного корпуса общаги и выросла диким тюльпаном Надежда Степнова, самостоятельная и самодостаточная настолько, что мужиков в сторону, как взрывной волной, кидало. Плохая хозяйка, зато отличная ремесленница, умеющая жить без воды, света и тёплого сортира под боком, без первого-второго и компота, без маминой опеки и папиных советов, без мужского плеча. Недоверие к этой плывучей субстанции возникло с тех пор, как вывернулось оно из моей раскрытой, доверчиво протянутой, ласково гладящей руки… В миг первой любви мне грезилось замужество. Я даже кулинарную книгу купила и ночью на общей кухне попыталась куриный бульон освоить. Первая любовь кончилась грязненько. Парень оказался сговорённым с детства и должен был жениться сразу после получения корочек. Узнав о том от него и проследив, как мой возлюбленный вытаскивает чемодан в холл, где его ждёт большая дружная башкирская семья и щебечущая скромная невеста, как они рассаживаются по машинам и отбывают в сторону Стерлитамака, я эту книгу в Дону утопила… И тогда же я всей душой постигла закон бытия: мы в ответе за тех, кого приручили. А если не хочешь быть в ответе, то никого и не приручай! И личная жизнь стала для меня суетой и тленом, а смыслом оказалась работа. После журфака я вернулась в Березань и несколько лет работала на «Газету для людей». С главвредом мы стали добрыми друзьями. Моим коньком были криминальные репортажи — сказался журналистский дебют. Как девка одинокая и отчаянная, я лезла в такие дебри, от коих шарахались тёртые журналисты-мужики, смущённо блея: «Нам семьи кормить надо… Мы за детей боимся…» Тогда у меня не было Ленки, мать работала, нам на жизнь хватало, и я не боялась, что меня на перо поставят. Главвред, видно, уважал меня за отчаянность — аж в койку не тянул, а это для него было редкостью, и материалы мои не правил!

Его-то промыслом я и столкнулась с миром поэтов. Главвред Слава послал с заданием на областной семинар молодых авторов. Я было скривилась, но он мне доходчиво объяснил, что журналист не имеет права отказываться от редакционного поручения, и что, хотя криминальная обстановка в Березани оставляет желать лучшего, но порой, для разрядки читающего пипла, надо публиковать материалы и о культуре. Главвред мне психологически грамотно польстил, велев написать о семинаре не в унылом духе протокола, а живо, с огоньком, как про ту дискотеку…

— В Москве начинают создаваться альтернативные союзы писателей, а у нас он один… в поле воин… Ты у них об этом и спроси: делиться не надумали?.. На группировки? Спроси их, как они отнесутся, если им предложат выпустить из своего состава одну-две творческие группы… как эти, помнишь… «Обэриуты»… имажинисты… короче, сообразишь!

И я двинулась соображать в здание областной писательской организации. Первым делом удивилась, что союз писателей изнутри не просто бедно обставлен, а ещё с любовью и знанием дела захламлён. Грустные линолеумные коридоры (беднее, чем в ментовке!) трамвайчиком провели меня в актовый зал с откидными стульями, списанными, наверное, из соседнего кинотеатра, и большими дешёвыми репродукциями портретов по стенам — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Есенин, Маяковский и ещё какой-то хрен. По ходу дела меня просветили, что это первый секретарь правления Березанского союза писателей Мамочкин. Под портретами за школьным столом сидели несколько пожилых граждан, а на откидных стульях в шахматном порядке располагались молодые — надо быть, участники семинара. «В президиуме» разговор шёл странный.

— Да кому это надо?! — кипятился один, чернявый, с чубом на правый глаз, похожий на Петра Глебова в роли Григория Мелехова. — Вот придумали — семьдесят лет был один союз, в него вступить было как за счастье! А теперь, пожалуйста, делиться! Чтобы всех бездарей обилетить, что ли?

— Ну вот, сам и ответил, кому это надо, — степенно отвечал ему пожилой и забавно лысоватый — с круглой монашеской тонзурой на затылке. — Это, Ксандр Палыч, тем и надо, кто до нашего союза дарованьицем не дотягивает…

— Я думаю, что это дезинформация, — авторитетно заявил немолодой красавец в окладистой бороде вавилонского царя. — Пока из Москвы, из правления, не придёт бумага, что позволено формировать альтернативные союзы писателей, мы

не обязаны следовать всяким слухам, и уж тем более — принимать их на веру. По крайней мере я, как ответственный секретарь, никому до сведения не буду доводить эту чушь. Кстати, мы зря этот разговор затеяли при молодёжи…

— Нет, пускай слушают! — вскинулся Пётр Глебов. — Я им об этом скажу — что графоманы в наш союз никогда не проникали, и теперь не проникнут, что бы там ни перевернулось! Даже если бумага придёт…

Я так поняла, что они говорят как раз о том вопросе, на который меня нацелил главвред Слава, и решила вмешаться:

— Если вы о создании второго союза писателей, то вам бумага не придёт, потому что правление союза писателей России к нему непричастно. Просто организуется новая общественная организация, создаёт свой устав и утверждает в управлении юстиции.

Они втроём на меня уставились, как на Ихтиандра в скафандре.

— Это вы, девушка, сказали? — с нескрываемым шоком спросил бородач.

— Я сказала. Мы слышали об организации второго союза писателей в Москве. Там уже третий на подходе. А вы что — против?

— А вы…

— А вам…

— Простите, как фамилия?

— Степнова, — говорю.

— Вы на семинар?

— Да.

— Стыдно, девушка! Пришла учиться, а туда же — от горшка два вершка права качать! — взъярился тип казачьей внешности.

— Ну тихо, тихо, Ксандр Палыч, распугаешь нам молодёжь…

— Кого — их? Их испугаешь! Люди сидят уважаемые, ни «здрасссте», ни представиться, а лезет, — все дураки, она одна умная! Покажи мне стихи свои, умная! Небось, одного Высоцкого любишь?

— Люблю, — призналась и вытащила из сумки свой мятый жёлтый блокнот. — И не стыжусь!

— А стихи на семинар надо приносить в трёх экземплярах, отпечатанные на машинке, а не на таких подтирках! Я их даже и читать не буду.

— Не будете, — подтвердила я. — Потому что это не стихи. Это мой рабочий инструмент. Я вообще-то журналист из «Газеты для людей», Надежда Степнова, а про образование альтернативного союза сказала…

— Прессу мы чтим. Народ должен знать своих героев! — авторитетно встрял бородач.

— Сказала, потому что располагаю информацией. А вы, кажется, не очень. Поэтому мой первый вопрос — почему, по-вашему, полисоюзность — это плохо?

Александр Палыч громыхнул стулом и понёсся вон из тесного зала, фонтанируя стихийными возгласами: «Ходят тут, как генералы!.. Высоцкого им!.. Двух слов связать не умеют!.. Полисоюзность, мля!.. Полипы какие-то выдумали!..»

— Ксандр Палыч, ты далеко не уходи, скоро начинаем! — крикнул ему вслед монах в тонзуре — впрочем, выражение глазок, противостоящих тонзуре, было отнюдь не монашеское.

— Да не могу я так — покоя сердце просит! — проорал из коридора нервный мэтр, вслед за чем гулко хлопнула наружная дверь.

Я сочла за благо сухо извиниться.

— Ничего, Александр Палыч вспыльчив, но отходчив, — сказал бородач поставленным голосом трибуна. — Он не может уйти — семинар, можно сказать, его детище, он ведёт литобъединение для молодёжи при нашем союзе шестнадцатый год, и сегодня путёвку в жизнь получат многие его питомцы. Вы знаете лучшего березанского поэта Александра Семёнова? Лауреат многих премий, хорошо известен и почитаем в Москве, как продолжатель исконно-русских традиций… Автор трёх сборников, выходивших стотысячным тиражом в семидесятые и восьмидесятые, и сейчас четвёртый сборник у него готов, но издать… Издательская система полностью разрушена, никому не нужно настоящее искусство, прилавки заполонила коммерческая проза… Иногда в книжном магазине делается просто страшно — куда катится великая русская литература? Перед вами молодые поэты, — строго говоря, поэты были за мной, так как я стояла лицом к столу президиума, но это деталь, — каждый из которых имеет собственный голос, свою, так сказать, песню, но не может её пропеть — нет возможности опубликоваться… Собственно, в этом и смысл нынешнего семинара — вы записываете? — дать возможность начинающим авторам заявить о себе… По итогам семинара мы составим подборку стихов и начнём работать в том направлении, чтобы её поместили столичные «толстые» журналы… Мы обеспечим возрождение настоящей литературы… А вы говорите, почему мы против альтернативных союзов… Мы не против, но поймите, у нас — традиции Максима Горького, Михаила Шолохова, Александра Твардовского, освящённые десятилетиями, а что у них, у альтернативщиков? Сомнительные «шестидесятники»?..

Я разыгрывала внимание и стенографирование, не забывала кивать, но в голове у меня выстроилась уже первая фраза будущей заметки: «Есть ещё на свете люди, которые считают «оттепельное» искусство сомнительным». Речь красавца длилась минут двадцать. Когда, наконец, секретарь правления отпустил душу на покаяние, я плюхнулась в изнеможении на крайний стул в последнем ряду.

Тем временем вернулся утихомирившийся Ксандр Палыч, и, проходя мимо, обдал меня свежим перегаром. Семинар объявили начатым, вытащили список и стали выкликать молодых авторов по алфавиту. Вызванный должен был выйти к столу и прочесть своё кровное, а комиссия из пяти лиц высказывала веские замечания и выбирали из подборки одно-два стихотворения — для столицы. Столицу представляли два уроженца Березани, счастливо переехавшие в своё время в Москву и теперь покровительствующие землякам. Их фамилии, расстреляйте меня, я не запомнила.

Высокий грушеобразный человек, рыжестью волос и застенчиво-плаксивым лицом похожий на Урию Хипа, а жестами и моторикой — на отравленного таракана, прочитал целый цикл стихотворений о спорте. Секретарь правления одобрительно

заметил: «Правильно, Николай, мы должны нести в массы пропаганду здорового образа жизни!».

На восхитительных строчках: «Уезжаю от тоски я на карьеры городские…» — серьёзную тишину прорезал площадной гогот. Мой.

— Товарищ корреспондент что-то хочет сказать? — добродушно, маяча рукой готовому к новому взрыву Семёнову, осведомился «монах» Евсей Филонов.

— Этой весной в городских карьерах купаться санитарная инспекция запретила — там кишечная палочка, — выдавила я сквозь смех.

— Поэзия не имеет привязки к фактографии, — весомо заметил секретарь правления. — Следовать за фактами — удел, извините, журналистики, а мы умножаем то, что видим, на горячее участие своей души…

На пятнадцатом участнике семинара (а их набежало человек тридцать!) комиссия стала ёрзать, невнимательно слушать, перешёптываться, и замечания бросала вскользь, а потом Филонов, оживлённо блестя глазами, объявил перерыв. Очень кстати — меня уже давно донимал комплекс проблем физиологического характера.

— А где у вас буфет? — спросил человек в резиновых сапогах, по виду — типичный фермер, автор рукописи книги «Родные зори».

— Увы, в настоящее время буфета в нашем здании не предусмотрено! — торжественно ответил ответственный секретарь. — Был до девяносто второго года, но… Финансирование урезано, целое крыло нашего помещения закрыто, и столоваться приходится за свой счёт. К счастью, мы в центре города, в гастрономе напротив неплохой кафетерий. Ждём вас через час.

— А я слышал, им буфет закрыли после того, как пьяный Юрик, ну, Юрий Васильич, Шмелёв, нажрался тут и в банку из-под яблочного сока, что в буфете стояла, напрудил, а из неё потом людям наливали, — вплыл мне в уши шёпот сзади. Я даже про туалет забыла, косо оглянулась. Два тридцатилетних обалдуя поэтического вида, в немытых лохмах и неновых костюмах, скалили зубы. — Видал — его сегодня не пригласили? Ручкин побоялся — опять, говорит, пьяным придёт, всех распугает, всех обхамит, да ещё как бы не облевал тут всё — месяц ведь не просыхает, скоро опять до белки допьётся…

Это была первая информация с семинара, которую я от души занесла на свои мятые скрижали. Однако душа всё настоятельнее требовала и другой радости… А народ уже выходил из зала, и я рисковала остаться со своей бедой один на один. И мне бы остался выход, запатентованный неведомым Юриком — но где найти банку?

— Простите, а туалет есть? — метнулась я вдогон секретарю правления Ручкину.

— Туалет, милая девушка… как вас? — ах, да, Надежда, — туалет у нас, к сожалению, отсутствует, ибо он в том крыле, о закрытии которого административным распоряжением я с прискорбием только что сообщил. Это, разумеется, безобразие, что писатели вынуждены ходить через улицу по столь деликатному делу… рекомендую вам зайти в музыкальную школу, там нашей организации идут навстречу… я намерен записаться на приём к мэру. Такую дискриминацию терпеть нельзя…

— А Шмелёв никогда и не терпит, — опять зашуршали идущие сзади оболтусы, — он, когда банок не стало, лестницу просто поливает. Зимой обо…л её, заснул в этом зале, а утром пошёл домой с бодунища, на своём же поскользнулся и упал, башкой треснулся… Эх, жаль, что Юрика нет — он бы тут устроил маски-шоу!.. Знаешь, как он Ручкину говорит? «Козёл ты, — говорит — со своей бородищей. Я б тебя Карл Марксом назвал, да что делать, если ты не Карл Маркс, а козёл натуральный и есть…» А всем остальным орёт от души: «Графоманы! Стихов писать не умеете, а других учите!»

Следовать примеру Юрика на лестнице я постеснялась. Но я не хуже Ручкина знала центр города. За ближайшим углом располагалась очаровательнейшая разливочная, которую так и хотелось назвать московским студенческим словом рыгаловка, ценная демократичностью нравов и наличием туалета. Там всегда собиралась изысканная публика, научная интеллигенция в основном мужеска пола. Я помчалась туда и… обнаружила Ручкина с коллегами по цеху. Так-так!

Выйдя из отдельного грязноватого, но благодатного кабинета, я узрела всю компанию, включая москвичей, за дальним столиком. Простецкие бутерброды окружали графинчик с прозрачной жидкостью. Поэты как раз сдвигали стопки, неразборчиво провозглашая тосты о литературе. Столик был задавлен их крупными телесами.

По залу маялся давешний пропагандист здорового образа жизни, кидал на комиссию молящие взгляды. Отчаявшись привлечь внимание мэтров, он вынул из кармана жменю мелочи и стал пересчитывать её, шевеля всем лицом. Теперь он ещё больше смахивал на таракана в агонии. Посчитав минуты три, таракан Николай обратился к барышне за стойкой:

— Девушка, а пиво сколько стоит?

— Две пятьсот, там же написано, — с профессиональной гримаской ненависти к покупателям бросила в ответ дебелая буфетчица.

— Ой-ой-ой… А водка?

— Сто грамм — три пятьсот.

— Ой, что делается… Девушка, я — березанский поэт Николай Подберезный. Вы не могли бы мне продать пиво со скидкой?

Королева пивного крана даже проснулась.

— Чего-о? А почему-то именно вам пиво со скидкой?

— Потому, что мы, поэты — генофонд нации…

Вторая запись легла на листок моего блокнота. И тут же третья: слова, что нашла буфетчица, дабы раскрыть перед поэтом Николаем Подберезным всю глубину его заблуждения. Тогда, вздыхая, он сделал выбор между пивом и водкой в пользу пива, постоял с кружкой в показной задумчивости, вроде бы рассеянно подошёл к столику комиссии, о чём-то с ними поговорил, сделав самое жалкое за сегодняшний день лицо, и подсел на краешек скамьи, великодушно освобождённый для него Ручкиным. После воцарения в кругу гигантов мысли его физиономия обрела признаки блаженства.

Тут мне осталось прыснуть и побрести назад. Вокруг здания союза тусовались по стойке «вольно» не приглашённые пить пиво под литературу. Я попыталась собрать с них впечатления о семинаре — но все они слово в слово повторяли вводную ручкинскую речь, и мне даже не пришлось открывать блокнот.

В какой-то миг мне спинной хребет обожгло пламенным взглядом. Я быстро оглянулась. Худощавый брюнет с яркими глазами записного ухажёра — сидел в последнем ряду и до перерыва не успел выступить, но иронически похмыкивал на самых идиотских пассажах — смотрел на меня очень профессионально. Иронически, свысока и зазывно. Но не как на корреспондента, явно. Как на женщину.

Дабы расшифровать точнее его импульс, я подошла, повторно представилась и спросила, что он хочет сказать по поводу семинара.

— Глядя на вас, — заявил этот персонаж, — я хочу сказать многое, но, поверьте, не о семинаре молодых авторов! Вы любите стихи? Настоящие, а не такие, как здесь звучат? Бог ты мой, это ж уму непостижимо, как много бездарей на свете! Но дослушать надо… Вы не останетесь? Жаль-то как… А хотите, попозже встретимся, и я вам стихи почитаю…

Я вежливо улыбнулась такому напору, сослалась на уйму дел в редакции и сочла задание выполненным.

Остаток моего рабочего дня был посвящён рассказам о семинаре. Сотрудники «Газеты для людей» давно так не смеялись. Потом материал написался на одном дыхании — ведь первую фразу я уже придумала в союзе писателей. Видно, эти стены всё-таки дышали творческой энергией!

Ради такого дела мне отвели целую полосу.

Дня через два после выхода статьи главвред вызвал меня в свой кабинет и, хихикая, как заведённый, рассказал о телефонном разговоре с негодующим Ручкиным. Секретарь правления требовал немедленного опровержения «наглой клевете», в чём главвред ему сладострастно отказал. Тогда секретарь выдвинул ультиматум: больше не присылать к нему столь недобросовестного корреспондента, страдающего манией очернить всё святое, иначе он начнёт копать под «Газету для людей», и все их политические махинации станут достоянием общественности!

— Я свой ультиматум выдвину, — взбесилась я. — Больше я к этим пням замшелым не ходок, не ходун и не ходец, или — ищи мне замену! На всё, в том числе и на криминальные очерки.

Полоса криминала главреду была важнее писательских амбиций, и это позволяло мне ставить условия.

Когда самое передовое издание Березани скатилось с позиций рупора общественности на подмостки площадного балагана, я ушла от «главвреда», с сожалением, но бесповоротно, как от возлюбленного, и стала перелистывать вновь возникшие газеты, как «страницы» на компьютере. В свободное от криминала время я отдавала искупительные жертвы своей юношеской страсти — социальной журналистике. За это меня благодарили и оскорбляли. После появления разоблачительной статьи особо ценными комплиментами для меня звучали обвинения в продажности, проституировании и стародевической сублимации. Лучше всех сказала одна директриса школы, где учительница избила ученика.

— Недоё…ная, вот и гоношится! Мужика бы ей хорошего, унялась бы, да кому такая нужна! Конь с яйцами, а не баба!

Самой директрисе в правый безымянный палец вросло обручальное кольцо шириной в сантиметр, а напускной лоск с неё слетел навсегда, после того, как она прочитала всё, что я думаю о современной российской школе.

А в моей жизни появился Пашка.

До тридцати годов моей не слишком монашеской жизни я пробавлялась лёгкими романами по принципу стакана воды: выпил — забыл. От скифских предков моей прабабки дана мне острая способность к мелким бытовым предощущениям. Интуиция подводит меня только в одном случае… то есть во многих… то есть всё же в одном, но нещадно растиражированном… Когда я встречаю нового мужчину.

Говорит мне интуиция: это — твой мужчина, сейчас он подойдёт к тебе… И он плавно перемещается в мою сторону. И начинается флирт разной степени тяжести. Предположим, что тяжесть эта порядочна… Вот сейчас бы подать голос моей хвалёной интуиции!.. Но она внезапно глохнет, слепнет и глупеет, убеждая: всё будет хорошо! Недели через две, естественно, происходит бурное расставание, я за голову хватаюсь: где были мои глаза? Мои мозги? Где, чёрт её дери, отсиживалась интуиция?! Она какое-то время пристыженно помалкивает, а затем… берётся за своё.

Толкает меня под ребро — и выходит мне навстречу из автобуса не красавец, но сильнейшего обаяния человек, буквально пышущий феромонами, и говорит: «А вам в салон не надо!» — «Почему это?» — «Потому что нам следует двигаться в одну сторону, не так ли? Пойдёмте!.». И я, влекомая тёплыми пальцами, иду с ним рядом, начисто забыв, что меня ждут на пресс-конференции в «Березаньэнерго». По дороге я узнаю, что сгусток феромонов называется Пашка Дзюбин, и понимаю, что я готова всю жизнь — и даже после смерти, как Эвридика за Орфеем, — идти за ним, куда глаза глядят. Он уводит меня в сиреневую даль (в его съёмной квартире обои жуткого сиреневого цвета, по стенам наклеены рукописные плакатики типа «Make love not war»), и в этом ностальгическом раю мы три восхитительных месяца дегустируем вкус жизни. А такой беды, что Пашка в одночасье смоется в неизвестном направлении, а через год после того его новая подруга-хиппи… Звать Дашка, восемнадцать лет, с виду — полный унисекс. Унисекс является ко мне в редакцию и заявляет, что беременный от Пашки. А сам Пашка уехал дегустировать вкус жизни в Читу к буддистам. Говорит: «Давай, я тебе своего ребёнка отдам? Пашка говорил, ты детей хочешь, а они у тебя не родятся!». Я её стыжу за безнравственность, матерю за бестактность, с проклятиями и заветом: «Не смей больше попадаться мне

на глаза!..» — выкидываю из редакции. Она узнаёт мой адрес, и в следующем мае я просыпаюсь от детского плача под дверями квартиры. При младенце, копошащемся в тряпье внутри коробки от бананов, две писульки: «Надя, я решила, ей с тобой будет лучше. Назови, как хочешь. Претензий не имею. Беспокоить тебя не буду. Может, ещё встретимся, если это будет по природе, а нет — бай-бай. Мне говорили, нужен отказ от ребёнка. Короче, не въеду, как его писать. Как смогла, так и написала. Адрес твой мне Пашкины друзья сказали. А Пашку я с тех пор не видела».

«Я, Митяева Дарья Викторовна, отказываюсь от своей дочери, родившейся 4 мая этого года. Я хочу, чтобы её воспитала гражданка журналистка Надежда Степнова, отчества не знаю. Обещаю Н. Степновой не мешать и ребёнка не отбирать. Делаю всё сознательно. 13 мая 2000 года». Эти записки до сих пор хранятся у меня.

...подкинет на мой порог Пашкину дочь, интуиция предсказать была не в силах! Особенно того, что мы с мамой решим удочерить — то есть я документально удочеряю, а мама выполняет бытовые функции родительницы — накормить, выгулять, запасти памперсы, — этот плачущий комочек. Ещё до того, как её глазки открылись и глянули на меня шкодливым жёлто-зелёным прищуром. Это были глаза моего любимого, и, столкнувшись с ними взглядом, я поняла, что отдать ребёнка его биологическим родителям — рифмующимся между собой разгильдяям Пашке и Дашке, — я не смогу никогда.

Всё лето 2000 года я бегала по общественным местам города, решая формальности удочерения, похудела так, что могла за швабру спрятаться, и талия моя угрожала переломиться под весом сумки с двадцатью килограммами абсолютно необходимых вещей. В начале сентября я впервые появилась в скверике возле своего дома с коляской. Ради первой прогулки со своим ребёнком я даже бросила курить. Месяца на два. Мы чинно гуляли с Ленкой, отсчитывая шаги и минуты, согласно рекомендациям перинатального терапевта, и шаг в шаг за нами шло общественное мнение: «А Надька-то родила незнамо от кого!»

Когда мы поженились с Багрянцевым, злопыхатели резюмировали: грех прикрыть.

Глава II

Я занялась борьбой за права вынужденных переселенцев из бывших советских республик. Затеяв материал о них, стала искать по городу конкретных страдальцев.

Один знакомый подсказал мне, что в его общежитии обитает русский из Средней Азии. Я сделала стойку русской борзой и метнулась в заданном направлении. По указанному адресу мне навстречу из плохо обжитой комнаты высунулся... тот самый эффектный брюнет с семинара молодых авторов. Он меня тоже сразу узнал. И посетовал, узнав о цели моего прихода, что он сам, как поэт, не был интересен такой очаровательной особе, а как жертва политических игр представляет ценность... Я покаялась: «Работа у меня такая!» И мы нашли общий язык. Хозяин комнаты пригласил меня к холостяцкому столу, угостил зелёным чаем («Привык в азиатчине к этому напитку, чёрный, извините, не употребляю!»), рассказал десять бочек арестантов о своих мытарствах в Узбекистане и на пути в Россию — я, ахая в такт его речи, ибо фактура лилась первостатейная, исписала весь блокнот, — а потом с места в карьер зачитал:

— Что держалось в одной цене —
Перебито ценой иной.
Я был предан своей стране.
Я стал предан своей страной.[1]

— Что это? — восхитилась я, растроганная, а он ведь на то и рассчитывал. Скромно потупился и признался:

— Это мои стихи. Которые вы не захотели слушать...

Ребёнок Пашки Дзюбина обосновался в моём доме, я научилась уже варить кашку четырёх сортов, но так отчаянно её пересаливала, что напрашивались два вывода: «Жри сама такую гадость!» — мамин и «Я всё ещё его, безумная, люблю!..» — мой. Кашу я подъедала, давясь, а Пашку медитативно старалась забыть каждую секунду, как жители Эфеса — Герострата. И очень хотела выбить клин клином!

Треснувшее сердце моё исправно качало по венам кровь и интимные мечты, и свободных уголков в нём оставалось порядочно. Один из них часа за два оккупировали цыганские глаза гонимого поэта. Когда на вычитку материала в редакцию человек издалека явился в благоухании одеколона и роскоши пёстрого платка на шее. Он согласился со всем, что я написала, и вручил сложенную в несколько раз бумагу:

— Прочтите потом, на досуге, хорошо?

Разумеется, я прочла тут же, как за ним закрылась дверь редакции, а потом опустила листок на колени и предалась женским грёзам, глядя в окно. Главный редактор Степан Васильевич обругал меня бездарью и бездельницей, тогда я встрепенулась и потащилась на заседание горсовета, даже не отбрив по традиции «дядю Стёпу». Дядя Стёпа, увы, не был добрым милиционером — он был самым тупым и беспринципным редактором из всех начальников, кого я встречала на своём жизненном пути, но высокий для нашей глухомани оклад и адекватные ему гонорары держали меня в «Периферии», рязанским отделением коей и командовал Степан Васильевич. Мы с ним были как разноимённые заряды.

На листе, который я бережно спрятала в сумку, под лапидарным «Н. С». размашистая рука вывела:

— Ты пока только имени звук,
Только смута промчавшейся ночи,
Только горечь прочитанных строчек,
Только скрытый намёк на испуг...[1]

И ещё три строфы в том же духе.

Они разительно отличались от образчиков «настоящей березанской литературы». И, признаться, мне никогда не посвящали стихов.

1 стихи рязанского поэта Игоря Загоруйко.

Первым воспел мою женскую сущность беженец из Узбекистана Константин Багрянцев.

Я нашла внутрироссийских мигрантов человек пять, и материал удался.

Невозможно было не встретиться с Багрянцевым, когда он через недели полторы после публикации скромно позвонил в редакцию и предложил пройтись — ему, мол, так понравилось со мною общаться, что он хотел бы рассказать мне о себе подробнее… И вообще здесь, под небом чужим, он как гость нежеланный… Тут он, видно, инстинктивно ущучил моё больное место, ибо я тоже не считала себя березанкой. После имевших место в истории нашего рода репрессий, побегов из города в город, выселений в двадцать четыре часа, дальних отъездов на учёбу и распределений на работу изотовские ошмётки под иной фамилией осели в Березани. Чисто случайно. И я не могла заставить себя любить этот город, разительно непохожий на мои степи, реку Валгу, несмотря на созвучие имён, далёкую формой и содержанием от дельты Волги, этих людей, живущих в заторможенном купеческо-мещанском ритме… На почве нелюбви к Березани мы с Багрянцевым и сблизились, а затем и сошлись. Невозможно было после всех откровений в пивных (грамотный кавалер выбирал заведения подешевле, но всегда платил за двоих), обжиманий на лестнице и песен дуэтом вполголоса не впустить его в дом.

Очень скоро после вселения Багрянцев предложил выйти за него замуж.

Потом я, конечно, поняла, и даже не рассердилась — на него, что ли, зуб точить? На себя, наивнячку сладкую! — что Багрянцев, может статься, более всего хотел выселиться из общежития и обрести постоянную прописку на территории жены. Но умён был, собака, тайные мечты свои озвучивал якобы шутки, чем и усыпил мою бдительность…

— Что ж тебе так нравится во мне, что ты и на брак согласен? — поглупев от стихов, кокетничала я.

— Жилплощадь… я хотел сказать, глазки! — с ухмылочкой цитировал довоенную кинокомедию Константин.

Уж не знаю, двухметровая ли моя худоба, или двухкомнатная наша с мамой хрущоба (малогабаритная кухня, санузел раздельный, балкон) пленила его больше. Правда, он покривился на Ленкину колыбельку, но ничего до поры не сказал. Он думал, что я родила незнамо от кого, и девочкой не интересовался. Тем более, что спала Ленка в большой комнате, при маме моей.

Константин Георгиевич преобразил мою маленькую комнату и искривил мою карму — допустил в неё поэзию в полный рост. В комнатке отлично разместился багаж Багрянцева — коллекция расписных кашне, словарь Даля, одеколон «Whisky Blue», пачка зелёного чая и скудный комплект пижонских носильных вещей. Это стал его «кабинет». Писать свои статьи я могла и на работе, — заявил супруг. Ленку мы вскорости сдали в ясли. Мама вернулась на службу. На таких условиях — целый день один дома, за компьютером, хозяин! — Багрянцев был готов приветствовать семейную жизнь. Он предавался литературному труду с бескорыстием обеспеченного прилежной супругой человека. Мечтал найти работу или хотя бы подработку в газете. При том, что его манера коверкать слова устной речи, изощрённо насилуя родной язык, переносилась на бумагу. И я увиливала от его трудоустройства.

А я… на время отказалась от подработок в сопредельных изданиях, чтобы пораньше приходить домой и учиться готовить, вести хозяйство… Чего за мной никогда раньше не водилось. И тщательно — однако тщетно — пыталась не замечать, что Багрянцев действует в вечном диссонансе со мной.

Схлопотала я первый нокаут за пожаренный по венскому рецепту бифштекс.

— Нет, Надька, — покровительственно сказал Константин, его отведав и сложив обочь тарелки вилку и нож, — не угнаться тебе за Вероникой.

Я резонно вопросила, кто это ещё — шеф-повар лучшего ташкентского ресторана «Голубые купола»? Выяснилось, что жительница аула под городом Навои, где Багрянцев провёл свои лучшие годы. «Как кореянки готовят — Бог ты мой, пальчики оближешь! Вот эта самая Вероника… Любила сильно, до умопомрачения, всякий мой приход пир горой закатывала. Я у неё кой-какие рецепты списал. Показал бы их тебе, да что толку… Ты ж готовить только пельмени из пачки можешь…»

— Что ж ты на ней не женился, если она тебя так любила и так вкусно готовила?

— Если на каждой из-за такого пустяка жениться… женилки не хватит! К тому же с ней не о чем говорить было. Что можно, я с ней молча делал… А после того, сама знаешь… поговорить ведь тянет. Начнёшь о стихах, о звёздах… Отвечает: «А у нас дувал оползает». Ну, убожество! Наскучила через месяц… С тобой хоть в беседе можно время провести… Пойдём, покажу, что сегодня написал!

В общем, довольно скоро я, продвинутая журналистка, как и тьмы женщин всех времён и народов, совершившие ту же ошибку — брак с поэтом — по той же причине — помутнение рассудка от упоения обращённых к ним рифмованных строк — разочаровалась в супруге. И была очень близка к тому, чтобы разочароваться в литературном творчестве в целом. Хотя литературное творчество было ни при чём. Не оно же лежало на диване целыми днями, листало в поисках заковыристых рифм словарь Даля, не оно отказывалось от попыток найти нетворческую работу, отрицая возможность возвращения к станку. Не оно задирало меня критикой хозяйских и кулинарных способностей. Не оно морщило нос от пыли на подоконнике, от Ленкиного плача, от предложения погулять всем вместе…

Лоцман-навигатор четырёх браков, все вторые участницы коих, по его словам, до сих пор готовы были принять Константина Георгиевича обратно в одних трусах, с долгами, с высокой температурой, с проказой и чумой, с незаконными детьми и сворой преследователей позади, избалованный вниманием «баб», разучился смотреть в зеркало, и не замечал, что вороные его кудри становятся

бывшими, что следами от моли по ним ползёт седина, что морщины перерезают былую усмешку сердцееда, и что гардеробчик его стильный уходит всё дальше от запросов моды. И не ужасался он разнородным записям в своей трудовой книжке: «слесарь подвижного состава, станция Выжеголо, стаж работы 2 месяца», «зоотехник, совхоз имени Клары Цеткин, стаж работы 1,5 месяца», «водитель автокрана, автобаза № 13, город Навои, уволен по 33 статье ТК РФ»… Березанская строчка там красовалась всего одна — слесарь-ремонтник.

Часто и любовно Константин Георгиевич перелистывал пожелтевшие газетные вырезки и посеревшие бумажки, хранимые в заветной папке из розового картонажа. Там были отчёты о писательских конференциях, семинарах молодых авторов (бэ-э-э!), школах литактива, съездах Союза Писателей Республики Узбекистан и групповые фотографии, где я безошибочно узнавала своего бывшего мужа по блядскому блеску в ретушированных глазах и месту около самой смазливой дамы. Антураж блеклых фото пленял романтикой опереточного Востока — плодовая флора, павлины, ишаки, чадры и платки на смеющихся женщинах, купола мечетей или крупные ножовки гор по линии горизонта… Константин обожал пересказывать подробности тяжеловесно-роскошных писательских съездов в бывших ханских дворцах, с мозаичными бассейнами и пёстрыми, как бы тоже смальтовыми павлинами. По ходу рассказа он обычно раза два-три отводил в сторону глаза и бормотал: «Ну, сама понимаешь…» — когда речь заходила о литераторшах и писательских жёнах.

Неизменное чувство муж питал к зелёному чаю, словарю Даля и пиву «Охота». И к стихам. В дни моих получек он просил покупать книжные поэтические новинки.

— Как можно жить без стихов? — жестом Остапа Бендера закидывая на спину хвост радужного кашне, рассуждал Константин по поводу и без повода.

— Ты лучше скажи, как можно жить со стихами, но без еды? — перебивала я, целясь ему в голову очередным томиком «Поэтической России». Даже если и попадала, это было бесполезно.

Я закрыла глаза даже на то, что Багрянцев единолично построил план продажи нашей с мамой квартиры — с синхронной покупкой однокомнатной и комнаты в коммуналке. Пригласил на дом менеджера из агентства недвижимости «Феерия» и вызвал с работы меня, спровоцировав дядю Стёпу на очередной разнос. Багрянцев был уверен, что молодая семья должна жить отдельно от тёщи и детей. Разменом квартиры он, хитрец восточный, хотел поставить точку в полемике с тёщей Ниной Сергеевной, которая не хотела его прописывать в нашу хатку. Пяти минут мне хватило, чтобы объяснить менеджеру, что ему не видать процента с невозможной сделки. Но с мужем объясниться было куда сложнее…

Охлаждение наших с Багрянцевым отношений накатило, как разлив, по весне, когда вся зимняя сказка половодьем стаяла. Огромная ломаная льдина плюхнулась в чашу моего терпения с попыткой продажи квартиры. Но и она не сразу привела к разрыву. Она ещё скрипела и ворочалась, мучая меня, пытаясь поудобнее улечься в ложе. Мы ещё почти целый месяц после «размена» играли роль супругов. Первым сломался, как ни удивительно, Багрянцев. Вечером, под одеялом, подполз ко мне, лежащей к нему надменной спиной, обнял, стал что-то такое нашёптывать, стихи опять прочитал… И треснула надменная мерзлота, истекла горячим соком самой обыкновенной плотской страсти.

Неизвестно, сколько бы времени я «запрягала», чтобы сорваться с места, на котором мы с Багрянцевым топтались, как пришитые, уже втайне друг друга ненавидя, но связанные хоть недолгой, а привычкой. Если бы не событие, пришедшее в наш дом в сизой форме судебных приставов.

Дверной звонок грянул на рассвете, как обухом пробудив меня. Я писала подработку всю ночь, под дозированное ворчание регулярно просыпавшегося от света настольной лампы и щёлканья клавиш компьютера Багрянцева. Пока я трясла головой, думая, сон ли был громкий посторонний звук, или явь, пока, определив его источник, выкарабкивалась из кровати, пока искала на ощупь халат и дверь из комнаты, мама опередила меня у порога. «Кто?» — истово боясь, спрашивала она, а ей отвечали что-то сугубо официальное. Наконец, сталкиваясь руками, мы с ней открыли дверь, и люди в форме шагнули в наш дом.

— Гражданин Багрянцев, Константин Георгиевич, здесь проживает? — спросил тот из них, что вертел в руках несколько бумажек.

— Да, — испуганно сказала мама. — А что такое?

— Ничего особенного. Служба судебных приставов. Можно его увидеть?

— Костя!..

— А по какому делу? — вылез хриплый со сна Багрянцев, в криво застёгнутой рубахе и с художественным вихром надо лбом.

— По делу о взыскании алиментов…

— Кем? — живо спросил Багрянцев.

— …гражданкой Шиллер Софьей Адамовной! — пристав с бумагами отслюнил от них повестку в контору. — И не советую больше пропадать, — присовокупил. — Долго вас искали, Константин Георгиевич, долго…

— А я и не прятался, Бог ты мой! — фанаберился Багрянцев. — Просто сменил место жительства вместе с семейным положением. И не удосужился ещё, простите великодушно, поставить официальные органы в известность о моей радости… — «радость» он иллюстрировал мимолётным поцелуем в моё правое ухо.

— Радуйтесь на здоровье! — сурово изрёк «бумажный» пристав. — Только о детях своих не забывайте. Переводите им деньги, чтобы они тоже за вас порадовались.

— Я когда в контору вашу явлюсь…

— И не откладывайте! Сегодня приём с тринадцати до семнадцати ноль-ноль!

— …так честно и заявлю, что стабильного дохода у меня на данном этапе моего существования нет, и не предвидится!.. Потому как по состоянию здоровья не могу работать на тяжёлых физических повинностях. А равно не могу устроиться, вслед за дражайшей, например, супругой,

на интеллектуальную службу, потому как образованием, извините, не вышел, и даже аттестат об окончании средней, не самой плохой, кстати, школы города Орла где-то на тяжком жизненном пути посеять удосужился…

Пристав без бумаг — молодой, видно, неопытный, — аж хмыкнул, восторженно заслушавшись. А старший, бывалый и брезгливый, сказал — как отрезал:

— Перестаньте, Багрянцев, паясничать, а приходите по повестке, иначе будете в районное отделение службы доставлены под конвоем. Там разберутся, можете ли вы платить алименты… если докажете свою недееспособность, вам повезёт, — он устрожил насчёт конвоя, но я его понимаю. — И кстати… — его жёсткая рука ещё что-то вынула из кучки официальных бумаг и протянула Багрянцеву, — письмецо возьмите. Искало вас долго, вместе с повесткой пришло на нашу службу — видимо, для вручения. Та же гражданка Шиллер — обратный адресат.

От потёртого конверта пахло тревогой.

— Сонька? — удивился Багрянцев. — Соскучилась, что ли? Ну ладно, товарищ генералиссимус, я вас понял, приказ выполню, в наручники меня брать не надо…

Приставы отбыли. Я разрыдалась.

Гражданка Шиллер была второй женой Багрянцева. Они нажили сына Эдика, которому сейчас катило к восемнадцати годам. Это мне удалось выжать из мужа за двухчасовую дебильную перебранку. Алименты Багрянцев не платил с самого развода: «Они меня выставили из Сибириады своей, куркули немецкие — мол, я мало зарабатываю! А я в их свинячьем городке не мог никуда на работу устроиться! Там лесоповал да шахты — вся биржа труда! Выгнали из дому, лишили возможности с сыном видеться!.. И я ж им, бюргерам, должен свои кровные отдавать?..»

Однако к тринадцати ноль-ноль Багрянцев собрался, побрился, завязал пожалостнее свой любимый шейный платок и отбыл на беседу с судебными приставами. Видать, обеспокоился.

Письмо из Сибири, из пункта с диким именем Щадовка — мама предположила, что это шахтёрский посёлок, названный в честь совкового министра, — небрежно брошенное Багрянцевым, нераспечатанное, белело на уголке книжного шкафа. Несколько раз я прошла мимо, решительно глядя в другую сторону. Потом схватила его и вскрыла, не заботясь замаскировать своё любопытство.

Почерк неведомой мне Софьи Адамовны был каким-то очень немецким: круглый, как в букваре, со строгими интервалами между строк, ровный и… скучный, если бы не та информация, которую несли прописные аккуратные буковки. Софья Адамовна явно больше своего гениального мужа владела литературными способностями. Она прислала ему рассказ страниц на пятнадцать, лаконично и отстраненно описывающий то, что я слышала мельком год назад. В маленьком городке Западной Сибири произошёл взрыв на единственной рабочей шахте, всё руководство шахты отстранено от должностей, несколько человек в ходе следствия взяты под стражу. Недели полторы центральные газеты повторяли на все лады: ах, что же теперь будет с жителями Щадовки, где они найдут работу и, следовательно, пропитание? А потом эта беда забылась…

Полыхал жгучий пунктир: «Ранним утром 28 января мы пришли на работу — я работаю по-прежнему в бухгалтерии шахты «Пролетарская»… Были остановлены у здания шахтоуправления кордоном… Когда прогремел взрыв неясной природы, под землёй, в ночной смене, находилось 28 шахтёров. Среди них — мой младший брат Виктор… Люди, чьи близкие остались под завалами, стояли на улице почти сутки… В середине дня 29 января мы уже знали — взрыв метана… Оборудование, которое не сумели ещё вынести с шахты, не могло работать… Переизбыток под землёй метана тщательно скрывают. Простой никому не выгоден, рабочие не получат денег… Семьи кормить надо… Поднимали на поверхность искалеченных шахтёров… через двое суток после взрыва… Бабушка, проводившая в ту ночную смену своего внучка, принесла внуку горячего чая в термосе… Он был мёртв, а она стояла около носилок на коленях и уговаривала его попить горяченького чайку… Живых среди поднятых на поверхность оказалось всего трое. И те безнадёжно повредились в уме… Две женщины, молодая и старая, затеяли драку над телом мужа и сына. Вдова кричала, что муж её бросил, и пинала носилки ногой: где, мол, я с двумя спиногрызами нового мужика найду?.. Виктора вынули из шахты живым. Но без сознания… Он захлебнулся собственной рвотой… Даже в нашем городе у Вити был шанс найти более чистую работу. Однако он сам попросил, чтобы его взяли отвальщиком на рудник — кормить семью…

Меня очень беспокоит Эдик. В этом году он заканчивает школу. В Щадовке нет институтов. Только техникум горного дела. После него Эдик может пойти работать только на шахту… Эдик очень талантливый парнишка… Я мечтаю отправить его учиться в Новосибирский университет… Боюсь, что Эдик «срежется» на вступительных экзаменах, и тогда его заберут в армию. А он — последнее, что есть у меня на этом свете… Эдик помнит и любит тебя. Ему скоро семнадцать, он вытянулся и стал вылитый ты в юности… Костя, мне очень стыдно тревожить тебя этим письмом. Ты, видимо, сам не в лучшем положении, раз так долго не переводишь алименты… Умоляю тебя, Костя, вышли нам сколько сможешь… Было бы очень хорошо, если бы ты забыл старые обиды и приехал к нам жить…».

Я выпила, покаюсь. Благопристойное письмо Софьи Шиллер с адресом привело меня в душевный раздрай, который не смогла утишить бутылка коньяка под пачку сигарет. Пьяная и злая, по телефону разругавшаяся с дядей Стёпой, я сидела и ждала своего благоверного.

Благоверный вернулся к вечеру, пахнущий пивом и радостью жизни.

— Ну что, Надежда Аркадьевна? Не ожидала? Думала, у тебя супруг — как тот пух — мягкий и тёплый, под кого угодно подстроится? Я всё им объяснил: и про плачевное состояние своего драгоценного здоровья, и про тяжёлое положение молодой семьи, и что скоро ложусь в больницу

на обследование, чтобы мне группу дали… — это была новость, придуманная, видно, перед нашей дверью.

— Прочти! — прервала его я, кидая в наглую морду письмо бывшей жены.

— Надежда Аркадьевна! Тебя мать в детстве не учила, что чужие письма читать — грех великий? Вот я сейчас тёще и выскажу, что на мою частную жизнь идёт беспардонное посягательство!

— Прочти! — зарычала я, сжав кулаки — он перетрусил.

Прочёл. Хмыкнул. Опустил руку с письмом.

— Бездарный рассказ об её несчастьях? А кто обо мне подумал? О том, как я в бане на их немецком огороде жил, чтобы за общий стол не садиться и тепло от их печи не потреблять? Как же, я, видишь ты, деньги в дом не приношу, всё только над стихами корплю, как полоумный! А, по их мнению, все мужики должны на грядках раком стоять от рассвета до заката…

— Костя! — застонала я. Мне стало страшно, как не было страшно за мусорным баком, во дворе враждебной дискотеки. Багрянцев показался мне монстром хуже приснопамятного Рыла.

Неинтересно, что мы сказали друг другу, только талые снега хлынули в водоём обоюдного терпения, и тот вышел из берегов. Упрёки мои в бессердечности Багрянцева возымели обратный эффект — он не проникся, естественно, сочувствием к бывшей жене и (бывшему?) сыну. Зато изготовился к фронтальной атаке на меня. И выяснилось, что жить со мной хуже, чем с Софьей Шиллер. Потому что ни я, ни тёща, ни даже соплюха Ленка его не уважаем и в грош не ставим.

Тут как раз в прихожей зазвякало, захлопало, затопотало и весело закричало:

— Мама, мама, мы п’исли!

Ленка выпалила одной очередью в мой адрес «Мамоська!», в адрес Нины Сергеевны «Ба-ба-ка!», а в адрес насупленного мужа — «Ка-ти́-на!»

Не исключено, что ребёнок просто не мог выговорить «Константин!» Но проговорка удалась на славу!

Мы поговорили напоследок, потом замолчали, живя как соседи — Багрянцев спал на раскладушке, — и через месяц дошли до районного загса — я с новой стрижкой, а Константин при галстуке (вместо кашне).

— Марша не будет? — развязно спросил он у регистраторши, когда та зачитывала нам постановление не считать нас отныне мужем и женой.

— У нас это не приветствуется, — наставительно заметила та.

— А между тем развод отдельно взятой пары в два раза выгоднее государству, чем её же бракосочетание, — прокомментировала я, намекая на стоимость пошлины.

Константин после развода заскочил в рюмочную, выбежал оттуда спиртово-пахучим, догнал меня и тут же затеял собирать вещи. Он так настойчиво нарезал круги по квартире, когда его сумка уже стояла в прихожей, что мне хотелось придать ему ускорение ударом… ну, допустим, кастрюли по башке. Впрочем, на кастрюли он не претендовал, а кое-что из бытовых мелочей прихватизировал. И письмо Софьино забыл на видном месте. Ушёл, отвесив паяцевый поклон:

— Не поминай лихом, Надежда Аркадьевна!

Летом того же года на Краснознамённом проспекте Березани я налетела с разбегу на лирический дуэт: несколько располневший Константин Багрянцев и в дочери ему годящаяся девка вульгарного вида с выпуклым животиком. Объём животика наводил на мысли, что любовь у сладкой парочки случилась ещё до нашего развода.

Багрянцев не отказал себе сразу в ряде удовольствий: представил мне свою новую жену — «Ирончика», ткнул меня округлением своей физиономии и талии («Ты что, тоже беременный?» — «Да нет, любезная Надежда Аркадьевна, просто отъелся на домашних харчах, с любовью да заботой приготовленных…») и спросил, как там судебные приставы, не потеряли ли его? Потому что его новый адрес не нужно знать ни мне, ни судебным приставам. Беседа наша прямёхонько потекла в русло запоздалого выражения обоюдных претензий. В чудесном летнем воздухе отчётливо проявился переизбыток гормонов. Мы скандалили, а Ирончик подтявкивала, защищая своего милого муженька. Я плюнула им под ноги и ушла восвояси.

А на следующий день в городском парке культуры и отдыха, куда мы пришли гулять с Ленкой, я углядела издалека воздвигнутый на центральной площадке помост, обитый кумачом. Это предвещало какую-то народную березанскую забаву, и мы с ребёнком крадучись подобрались к людскому скоплению, но остановились от толпы подальше.

На эстраде шёл концерт березанских литераторов, подогнанный ко Дню военно-морского флота. В списке участников — лист ватмана, пришпиленный к фанерке рядом с помостом — значилось много фамилий, часть из них мне ничего не говорила, часть удалось опознать. Применив дедуктивный метод, я определила: незнакомые — скорее всего, молодые, а это уже интересно.

Возле эстрады суетился известный по Березани поэт, отставной военный, по всем ухваткам. Я вспомнила его комическое имя — Геннадий Тигромордов. Шапочно я познакомилась с ним ещё в год рождения достопамятной статьи — Тигромордов ходил в литобъединение при союзе писателей и холуйски поддерживал любое слово секретаря Ручкина. Потом он несколько раз звонил в редакцию «Газеты для людей», когда уже сам Ручкин отступился, решив позабыть моё оскорбление, представлялся полностью: «Геннадий Тигромордов, прапорщик, Железнодорожный военкомат!» — звал меня к телефону и начинал требовать опровержения, постоянно повторяя, что «жить надо со всеми в мире и в ладу, вот! А не писать такие мерзкие статьи, вот!» Я этого человека бессознательно сразу невзлюбила за его мужицкую готовность «ко услугам» и лакейство. При последней телефонной нотации я его обматерила и бросила трубку.

Тигромордов в строгом костюме с неброским, как у сотрудника спецслужб при исполнении, галстуком, бегал от кучки к кучке людей, всех обнимал за талию или хлопал по плечам, выкрикивал:

«Я вас уважаю!» и раздавал распоряжения насчёт порядка выступлений. Был в своём репертуаре.

Группа, словно пришедшая с вещевого рынка, тусовалась у самой эстрады, покуривала, гортанно переговариваясь. Это были земляки и друзья Магомеда Джугаева, представителя братской мусульманской культуры, гостя из Северной Осетии, вносившего в затхлые струи березанского графоманства терпкий дух графоманства кавказского. В промежутках между выступлениями и изданиями книг за свой счёт Джугаев… правильно, торговал на рынке. Коллеги, судя по всему, создавали ему группу поддержки.

Тигромордов налетел на них коршуном, растопырив крылья. Неужто выгонит? — испугалась я и не угадала. Тигромордов стал гладить братские спины:

— …Я Магомеда уважаю, потому что он пишет на русском языке!.. — донеслось до Надежды. — А его друзья — всегда мои друзья! Ко мне в гости можно приходить в любое время дня и ночи! Если жена скажет «мяу» — возьму топор! Вот на Востоке бабы в домах не распоряжаются, верно ведь? Вот! И у нас пусть не распоряжаются… Так что жду! — на вырванных из записной книжки листах он чёркал адреса и рассовывал по карманам кавказских гостей. Те кивали ему, обмениваясь загадочными улыбками.

Отойдя от магометан, Тигромордов рванул в другую сторону, где под деревьями глотали по очереди водку из горла трое пожилых русских поэтов, приверженцев общества «Память». Тигромордову дали отхлебнуть, и «Я вас уважаю!» зазвучало приторнее.

— И чего притащились? — говорил Тигромордов в этой компании. — Не понимаю! Будто воевали! Мой брат историк ужасный, все исторические книги перечитал. Он говорит, в Закавказье в сорок первом призыва вообще не было, вот! Отсиделись там у себя…

— Хурму жрали, — со знанием дела сообщил один из патриотов, вылитый Собакевич.

— И вино пили! — завистливо подхватил Тигромордов. — Я всех готов уважать, но когда не по заслугам лезут на мероприятие, которое я лично собрал и подготовил — до свидания! Они же, кавказцы, все вырожденцы, вот! — понизил он голос, но мне всё равно было слышно, как через динамик. — Потому что у них в семьях по шестнадцать-двадцать детей. Там бабы не знают критических дней! То на сносях, то рожают! А потом матерям некогда взять младенцев на руки, вот! Они лежат на спинках и пищат. Потому-то у них затылки плоские, стёсанные! А это — признак плохой породы. А у меня затылок круглый, вот! — Тигромордов хвастливо ухватился за названную часть головы. — И у всех русских — круглые! — жестом цыгана, расхваливающего лошадь, он потрепал собутыльников по кру… чёрт, затылкам! Затылки выдержали экспертизу.

Потом Тигромордов полез на сцену — проверять микрофон, а поэты, с ним только что делившие водку, заговорили, не заботясь о конспирации:

— Дерьмо, а не поэт. Но в каждой бочке затычка!

— Молчи! Он теперь член союза.

— Кто ж его туда принял? За какие заслуги, а? Он же бездарь!

— Сам, будто, не знаешь… Генка весь союз споил. Всякий раз, как его обсуждали, водку и консервы приносил. Приняли, не приняли — всё равно поляну накрывал. И то, по-моему, попытки с пятой в ряды членов прорвался. Ручкин, хоть и та ещё тварь продажная, а всё стеснялся его принимать — видит же, что графоман страшенный! «Задницу» с «трамваем» рифмует.

Концерт, наконец, начался. Тигромордов исправно выкликал к микрофону участников. Я без труда уловила иерархию чтецов: первыми вызывались «члены», за ними — нужные люди, за ними — почтенные старцы, а уж после них — все остальные. Не по степени таланта. Хотя таланта, буду справедливой, не продемонстрировал никто. И, стало быть, житейская хитрость Тигромордова удалась.

Выступления официальных лиц я прослушала в благополучном анабиозе. Но по инерции глаза мои обшаривали окрестности, как глаза спящего зайца. Чтобы ещё копошащуюся в травке Ленку не упустить — бегал мой ребёнок быстро… как папа Пашка. Вздрогнула и проснулась я, обнаружив через два куста от себя знакомую фигуру. В стороне от массы, нахохленный, точно ворон, прислонился к липе вековой Константин Багрянцев. Один.

Я мигом вспомнила слова прабабки Стефании: «Что Бог ни делает, всё к лучшему! Коль он тебе что-то показывает, значит, ты не смотреть должна, а видеть!» Но Багрянцева долго не вызывали. Наконец…

— Константин! Дорогой! Предлагаю тебе прочитать стихи! — торжественно воззвал от микрофона Геннадий Тигромордов. — Этого человека я уважаю! — вещал Тигромордов, пока Багрянцев отклеивался от ствола и нога за ногу всходил на помост. — Я уважаю всех, здесь собравшихся! Уважаю всех, кто служит поэзии! Мы не дадим её в обиду! Я считаю, как я всегда говорил, что мы с вами все — родня, потому что идём одной дорогой, и да хранит нас Бог на нашем пути!

— Победа — она ведь делалась людьми, — блеснул новизной Константин Багрянцев. — А люди — это кто? Это и мы с вами… Мы все, мужики, в армии служили. А ребята молодые до сих пор на фронты уходят, и не все оттуда возвращаются. Поэтому я стихов о флоте читать не буду. Их у меня и нет. Нельзя писать о том, чего не пережил, мне так кажется. Но зато у меня есть сын… парень призывного возраста. Ему не сегодня-завтра в армию идти, возможно, голову под чеченские пули подставлять… Я ему стихи посвятил…

Константин Багрянцев принял стойку, списанную с Андрея Вознесенского, кокетливо поиграл кашне и начал:

Призыв.
Отлукавили луга,
отзвенели осы.
Грязь летит от каблука…
Осень.

В местном клубе за ночь свет,
у крылечка ругань.
Принаряжен сельсовет…
Утром

под глазами синяки
(драк прощальных даты) —
уходили сопляки
во солдаты.[1]

Ему хлопали сердечнее, чем другим выступающим. А у меня защемило сердце, когда я поняла, что Константин Багрянцев нашёл компромисс. Стихи, которых Эдик не услышит, были единственным способом возврата долгов сыну. Геннадий Тигромордов заключил Багрянцева в крепкие армейские объятия и троекратно облобызал, а тот слегка поклонился и сделал движение к своему месту.

И на пути триумфатора очутилась безумная я. Не зря потратила полтора часа!

— Костя, отойдём на минуточку, а? — сказала медоточиво, вкрадчиво.

— Поздно, любезная, звать меня обратно в семью! — возгласил Багрянцев, как трибун.

Вокруг зашуршало, зашепталось, замотало головами. Многие только сейчас увидели и опознали меня. Радости им это не доставило. Тигромордов замелькал в гуще народу, с жаром указуя на меня. «Да она же кто? Жена его бывшая! На кухне не доругалась, вот!..» — услышала я. Схватила бывшее сокровище за пуговицу и поволокла в сторону, искоса следя за Ленкой.

С досадливой гримасой Багрянцев отошёл вслед за мной к фонтанчику с питьевой водой. Диалог наш был предельно прост:

— Эти стихи ты Эдику посвятил? Да? Это всё, что ты можешь для своего сына сделать?

— А что ещё я могу для него сделать?

Я вытаращилась — и забыла спич, подготовленный общественным обвинителем в моей голове за секунды, что я добивалась тет-а-тета. Передо мной ухмылялся, как сатир, не пристыженный Багрянцев, а во мне роились обрывки безадресных мыслей. Человек посвятил трогательные стихи сыну, которого оставил десять лет назад. Которого с тех пор ни разу не видел, не писал, не звонил — только виртуозно скрывался от алиментов!.. Я не верю в такую любовь и беспокойство! А если этот индивидуум излил любовь и беспокойство в стихах, значит, он грешит уже не только перед собой и перед своими слушателями — перед искусством! Выходит, расхожий тезис, что плохой человек не может создать в искусстве ничего значительного, ошибочен?! Либо перед нами плохой поэт — но стихи замечательные! Либо, что вероятнее, поэзия творится грязными руками, сплошь и рядом!.. Тогда я против искусства, потому что оно изначально лживо! Тогда я против постулата «красота спасёт мир», ибо эта красоту лепят порочные авторы из своих грехов! Не подлость ли — откупаться от отцовской совести стихотворением, зная, что сын его никогда не услышит?! Но ведь найдётся, кому защитить подлецов, на том лишь основании, что подлецы гениальны!

— Да плевать мне на такие подлые стихи, как у тебя, сколь бы гениальны они ни были! — выкрикнула я.

— Ну, что ж ты позоришься? — ехидно вопросил Константин Багрянцев. — Расписалась при всех, что ко мне до сих пор неравнодушна.

— Ты только в этом контексте всё понимаешь?

— А в каком ещё контексте здравый человек может твои выступления понимать?

— Костя, тебе про аварию на шахте, как человеку, написали, а ты вон как распорядился… от сына стишком откреститься…

— Она, Софья, сама ребёнка хотела от умного мужика — пусть теперь и растит!

Мобильник в сумке вовремя сказал мне: «Let my people go!» — очень символично! Я зачерпнула с земли Ленку и побежала от эстрады, как Чацкий из Москвы в финале своего горя.

На следующий день пошла на почту и отправила Софье Шиллер несколько тысяч рублей — без обратного адреса.

Тремя годами позже Константин Багрянцев сбежал из Березани, бросив жену Ирончика с трёхлетней дочкой Мариной. Поговаривали, что Багрянцев от этой состоятельной и богатой телом женщины, торгующей на рынке, тоже ходит налево. Он уехал то ли в Нижневартовск, то ли в Мурманск — но не под Кемерово. Забрав на дорогу золотые украшения Ирончика. Она гналась за ним до самого вокзала, но не успела — поезд ушёл в буквальном смысле. О трагикомическом финале мне доложил кто-то из коллег, а тому нашептал вездесущий Тигромордов. Больше живым я Константина Багрянцева не видела.

Глава III

А вечером после развода я, сморкаясь нежданным и даже постыдным для себя плачем, заявила:

— Поеду в Москву работать! Иначе мы с тобой Ленку не прокормим…

И на следующий же день написала заявление «по собственному желанию» своему любимому Степану Васильевичу. Прочитав его, тот поразился, — очки его сами собой всползли на лысый лоб.

— Чего это ты надумала? А отрабатывать две недели кто будет?

— Какой прок от моей работы, если я ничего делать не умею и постоянно бездельничаю? — сдерзила я, обрубая концы. Дядя Стёпа зашумел, как буря на море, но я была настырна.

— Я — ваш самый плохой сотрудник, вы меня по тридцать третьей увольнять хотели, я хочу уйти и не портить вам газету, — так что ж вы меня теперь удерживаете?

— А чёрт с тобой, — сдался главный. — Только учти — когда тебя отовсюду погонят, я назад не приму. Ты у меня пожизненно «слабое звено»!..

— А чёрт с ним! — подхватила тон я. — Я назад и не вернусь.

И получила расчёт. Меньше, чем ожидала.

— Я с тебя, Надежда, премию снял. Ты квартала не доработала, и вообще тебя премировать не за что…

---

1 Стихи рязанского поэта Игоря Загоруйко.

…Ах, какой чёрт принёс березанскую журналистку Надежду Степнову в Москву работать?! — каждый день, два месяца кряду, спрашивала я себя, но ответить не могла. Осела у дальней родственницы, промышлявшей сдачей оставшихся ей в наследство квартир внаём. Как раз отошёл к праотцам пожилой дядечка, которого я и в глаза не видела. Странным образом тётка вновь оказалась его наследницей и уже подыскивала жильцов в коммунальную комнату на Сухаревке. И сильно обрадовалась троюродной племяннице: «Наденька, со своими-то спокойнее!». Но цену заломила вполне рыночную. Я выложила ей весь свой расчёт, а потом пристроила зубы на полку и с головой окунулась в дела.

— Вы где работали? — спрашивали меня на собеседованиях.

— Печаталась в «Вечернем Воронеже», «Воронежском курьере», «Молодёжной пятнице», тоже воронежской. Работала в газете «Березань синеокая» издательского дома «Периферия», газете «Березанские вести», газете «Деловое Нечерноземье», женском журнале «Березаночка», березанской «Газете для людей»…

— Рекомендации у вас есть?

— Чего стоят в Москве березанские и воронежские рекомендации?

— Желательно, чтобы они были. Подыщите рекомендации и приходите… ну, скажем, завтра.

Очаровательный японский отказ! А бывало и проще:

— Простите, у вас московская прописка? — интересовались по телефону.

— Регистрация.

— Сожалеем, но кадровая политика нашего издательского дома ориентирована только на москвичей и жителей ближайшего Подмосковья…

Астраханская дворянка зубами скрипела от бессильной ярости. Дело швах! Я знала, что в Москве будет нелегко, но чтобы настолько…

Короткие летние ночи бензиново-знойной Сухаревки проходили в длинных думах свежеиспечённого гастарбайтера. В постели было холодно, а в сердце пусто. Если без мужика я уже привыкла жить, то без дочери, оказалось, — практически нет. И ведь ещё Чехов прозорливо заметил: «Кислород — химиками выдуманный дух. Говорят, без него жить невозможно. Ерунда! Без денег только жить невозможно!». «Дело швах, ах, дело швах!..» — рифмовала я и ворочалась на койке, часто курила в открытое окно, судорожно прикидывая, как быть.

Раз в неделю звонила дальняя тётка:

— Ну, как дела, Наденька?..

Я прилагала бешеные усилия:

— Всё в порядке, тёть Маша. В пятницу, наверное, пойду на работу оформляться…

— Тебе деньгами не помочь? — ударяя на частицу «не».

— Ну что вы, у меня есть, хватает…

Выручил вариант, который я до поры высокомерно отклоняла, желая вступить в новую жизнь. В родном издательском доме «Периферия» устроилась в отдел дайджеста и стала ваять полосы из интернетовских материалов. Не слишком легко устроилась — в отделе кадров помурыжили, спрашивая, отчего уволилась из березанской «дочки». Звонили, судя по всему, дяде Стёпе. Он подгадил, такой-сякой — мне предложили место не писучее. Я… охотно согласилась. Ещё бы неделя безработицы — и назад, в Березань, без позорно растраченных денег и уверенности в своих силах.

Первая зарплата пролилась летним дождём на страждущий газон. Я гордо отнесла тётке сто пятьдесят баксов, остальное спрятала в фотоальбом с дочкиными мордашками и стала экономить. Ела в основном горячие слойки из уличных киосков. Вечерами расслаблялась — пила пиво и тихо плакала. Без Ленки, что ни день, то сильнее всасывала в себя пустота. О личной жизни честно старалась не думать.

К осени я в столице настолько одичала, что стала казаться сама себе скифским кочевником, отставшим от племени. Этот конник на низкорослой лохматой лошадки стал моим alter-ego, я ловила себя на его мыслях, его впечатлениях, его восприятии мира: «Боги, боги мои, где я, что со мной? Что делаю в этом поселении, похожем на гигантский котёл?.». Кочевник, должно быть, изо дня в день понукал коня и отстреливал мелкую лесостепную живность на прокорм. Я же понукала сама себя и хваталась за мелкотравчатые подработки, деньги отвозила домой.

Деньги так назывались, скорее, из уважения. Столичные доходы, о которых так много говорится во всех областных и районных центрах, как о непреложном факте, шли к кому-то другому, но не к березанской журналистке Степновой. Разбогатеть я в первые месяцы не сумела. Порой казалось, что в Березани было сытнее. Стыдно признаться — хотела ездить к дочке каждые выходные, но — то дела не пускали, то пустой кошелёк.

Да ещё и знакомые лица в московской толпе встречались реже, чем заблудшему скифу — знаки человечьего присутствия. Это до жути огорчало. Хорохорясь, я принялась называть себя уж не скифским конником, а степной волчицей. А между прочим, волки — животные парные… Потому в пенале комнатки мне иногда слышались инфернальные голоса, и нередко их перекрывал артистический баритон бескорыстного деятеля искусств Константина Багрянцева. Галлюцинации являлись мне в самой издевательской форме — акапельным пением любимого сольного номера бывшего мужа «А любовь, как сон, стороной прошла…» И ещё — «Ничего у нас с тобой не получится».

Эту песню мы некогда исполняли дуэтом.

В один из последних вечеров сентября я открыла в себе неприятную склонность к депрессиям, пессимизму, ипохондрии, нытью и самокопанию. Озарение пришло внезапно, когда я тащилась с работы через центр. Почему бы благородной даме не пройтись по центру Москвы и не посмотреть, чем здесь живёт народ? — всё развлечение… Только не весело ни хрена.

Невзрачная компьютерная афишка выделялась на рекламном щите, посвящённом культурным событиям ближайшей недели, невинною наглостью — бельмом на глазу огромного портрета Баскова, почти возле его крашеных ресниц.

Я не переваривала Баскова и именно поэтому глянула с интересом — кто решил конкурировать с шансонье?

Литературное кафе приглашало на творческие встречи. Стоп, стоп, двадцать пятое сентября — это ж сегодня! Всё лучше, чем дома сидеть… — подумала я, а ноги сами уже несли меня по указанному адресу, близкому, точно судьба.

Кафе пришлось поискать. Все двери первых этажей переулка со славным историческим названием вели не туда. Замучилась ошибаться. Только упорство скифского конника, отставшего от племени, но идущего по его следу, не позволило отступить и помогло выудить из путаницы дворов невнятный адрес. На белой стене, к которой притулился флигель из дореволюционного романа, красовалось готическое граффити: «Передор». Рядом зияла наполовину открытая дверь, подписанная «Клуб гуманитарного содружества». Из неё в сумеречный двор несло музыкой и густым духом съестного. Должно быть, здесь менестрели развлекали рыцарей Круглого стола. Осмотрительно переступала по щербатым, воистину средневековым ступеням вниз. Дошла без приключений.

Темно… лампы, не столько освещающие, сколько подчёркивающие полумрак… накурено… атмосфера вполне богемная. Столики уютные, небольшие. Посторонние компании вряд ли подсядут. Я взяла пива — за березанскую цену дневной дозы Константина Багрянцева. Сразу же понятно, что ходят сюда люди не случайные, что царит здесь плотно спаянный коллектив. Неприкаянный скифский кочевник набрёл на чужое стойбище, но пока ему не запретили стреножить лошадь и присесть в отдалении от костра. Тем более что в чужом стойбище уже вовсю гудел курултай.

В современной московской поэзии я, вскормленная Серебряным веком и бардовским пением, не понимала ничего. Особенно повеселил неискушённую гостью столицы мрачный рэппер, который провозглашал рифмованные матюки и пританцовывал со свирепым выражением лица. На третьем фрагменте текста я поняла, что речь рыцарь печального образа ведёт о любви, и вроде бы даже платонической. Дождалась аплодисментов и пролавировала между столиками к стойке — за новой порцией пива.

Когда вернулась, меня уже ждали.

Давешний рэппер тяжко дышал и не мог говорить, зато энергично жестикулировал. Я посмотрела на него с состраданием и сунула под машущую ладонь бокал с пивом. Ладонь не промахнулась. Человек выпил, и ему полегчало:

— Добрый вечер! Вы здесь что?

— Я здесь пиво пью, — объяснила я очень глупо. — А что, нельзя? Ещё стихи слушаю. Я ваше место заняла?

— Нет, просто я вас раньше не видел, ну, и решил, что вы от Сотского.

— Я сама от себя. А Сотский — это кто?

— Да если не знаете, неважно. И не от Хивриной?

— Господи милосердный, прямо как в мебельном магазине в период застоя! От кого, от кого… Я с улицы пришла. Мимо шла — и в подвал спустилась! На литературный вечер! Нельзя?

— Можно. Это просто… ну, я думал, от других объединений.

— До чего всё серьёзно! — прониклась я уважением. — Да вы пиво-то пейте, я пойду ещё куплю.

Хотя это пиво первоначально было Ленкиной дубленочкой к зиме. Скорняки на рынке в Березани продавали дивные домодельные вещички. Такую-то я и наметила купить дочке, а теперь честные планы грубо корректировались. Я, право, не мать и не мачеха — так, удочерительница. Ну ладно, — оправдала я себя, теперь уже знаю издания, где можно подхалтурить, авось прорвёмся!

— Вам понравилось? — спросил рэппер, глотая пиво. Будто прирос к моему столику.

— Ну, я бы столько рифм на слово «б…ь» не придумала. Мне в голову лезут только глагольные, — а что я ещё могла сказать, тундра непроцарапанная в сфере высокой литературы?

— И всё?! — даже обиделся человек искусства. — Это всё, что вам понравилось?!

— Я тут новичок. Ничего не понимаю. Может быть, дальше послушаю — пойму.

— Вы вообще кто?

— Я — журналист.

— А-а-а… Писать будете?

Я прикинула в уме. В журнале, где я подрабатывала, заказывали коммерческие материалы — про строителей да про банки. Литературное кафе в этот контекст не укладывалось.

— Думаю, что нет.

— Конечно, вы ведь только по заказу пишете… За бабло.

Я, значит, с ним миндальничаю, а он не церемонится!.. Ну, держись, враг — скифский конник почуял недоброжелательство чужаков.

— Ничего не понимаете, но везде лезете, и потом публикуете страшную чушь, — это я не раз слышала ещё в Березани, от того же Тигромордова или дражайшего Багрянцева, дважды бросавшего литературный институт. Больше всего удивляло то, что помимо стихов рэппер говорил не матом. — Для людей нашего круга слово «журналист» вообще-то ругательное…

Моя ответная реплика — скорее, тирада, — не заставила себя ждать: небось, правда с газетных полос глаза колет, а если сюда журналистам вход воспрещён, так и надо было указать в афише!

— Владислав! Ты чего девушку обижаешь!

— Я не девушка, — в том же тоне выдала я. — Я журналист!

И только потом обернулась.

Человек, возникший за моим левым плечом, на манер беса-искусителя, скорее понравился моей женской сущности, потому что не был похож на Константина Багрянцева. Не тощий, а, скорее, упитанный, не длинноволосый, а стриженый, не в пёстром кашне на кадыке, а с распахнутым воротом. Но это был чужак, а я уже развоевалась.

— Эта девушка сама кого хочешь обидит! — наябедничал между тем рэппер, которому вовсе не шло горделивое шляхетское имя. — Прикинь, она

мне объяснила, что журналисты всегда пишут объективно, а мы их не понимаем.

— Что вы передёргиваете! — возмутилась я вконец.

— И что они все высокие профессионалы, — гнул своё рэппер.

— Профессионализм бывает разный, — глубокомысленно заметил мой новый противник. — Офицеры кгб, вероятно, все профессионалы, но этого недостаточно, чтобы их уважать. Ничто не может перевесить мерзости их профессии…

Короче, мы все трое сцепились не на шутку, и вокруг нас в прокуренном воздухе запахло грозовым электричеством. Бес-искуситель оперировал моральными категориями и напирал на беспринципность журналистики как таковой. Был он подкован — видно, не в первый раз выдерживал баталии на эту тему:

— Вы, барышня, наверное читали повесть Сергея Довлатова «Компромисс»? По глазам вижу…

— Спасибо за барышню, кавалер. Читала, только…

— Не перебивайте, будьте добры! Помните замечательную фразу, характеризующую вашу профессию: «Заниматься журналистикой — значит, любить то, что невозможно любить, и выдавать враньё за правду»? Лучше не скажешь.

— Сказано отменно, только не в этой повести — раз! Довлатов имел право на эту реплику, поскольку жил и умер журналистом — два. А вам бы я не советовала в таком контексте цитировать нашего человека! Вы, видимо, ни разу в газету строчки не написали!..

— Естественно! И не напишу! Но принижать Сергея Довлатова до уровня газетного борзописца — преступление против мировой культуры! Довлатов — это достояние ноосферы!..

Так я впервые после окончания университета услышала слово «ноосфера», но не придала значения. Решила, что это так, речевая фигура.

— Есть профессии, изначально направленные на обман — например, актёрская! — разливалась я соловьём, одна, хрупкая и гневная, против двух здоровенных лбов.

— Лицедейство в чистом виде мы рассматривать не будем, — ответствовал бес. — Оправдывать безнравственность собственной работы тем, что есть ещё более лживые занятия, тоже непорядочно!

Во время этих нападок Владислав пел гимны высокому искусству, которое в загоне, благодаря тому, что журналисты популяризуют в народе всякую лажу. Он и в горячем споре остался странно воздержанным на язык — видимо, лимит ненормативки исчерпал в стихах. Потом утомился, замолчал и не забывал прихлёбывать моё же пиво. Допил с присвистом. Отомстил всей российской журналистике. Пришлось разъяснить:

— У поэтов так принято — у Фили пили, да Филю ж и били?! И спиться народ не боится! Чем не стихи? — и я некультурно указала пальцем на осушенный бокал. — Приятного вам аппетита, мне доставило необыкновенное удовольствие вас угостить. Ответить мне тем же вы не сможете, потому что я больше сюда не приду. С вашего позволения, останемся каждый при своём мнении. Я допью, и вы меня больше не увидите!

Обнявшись со своим стаканом, я крутнулась вокруг оси — свободными остались только насесты у стойки. Я вспрыгнула на один из них, всей спиной ненавидя пару гениев. От немедленного ухода меня удерживали самые меркантильные соображения — уплачено, Ленкина дубленочка ушла, надо допить пиво, хоть тресни!

— А давай девушке купим ещё пива, — душевно сказал под моим правым локтем интеллигентный голос рэппера. — Хоть она нас и обругала, но мы не в претензиях…

— Давай. Кстати, девушка, мы так и не познакомились, — обрадовался у левого плеча непредставленный чужак.

— Когда я не на работе, я знакомлюсь выборочно, — растолковала я.

— Пашка, кажется, она не хочет с нами знакомиться! — удивился рэппер.

— Пашка?! — я вздрогнула.

Пришлось-таки посмотреть в глаза беса-искусителя. Глаза были голубые, шалые, с огоньком бывалого бабника.

— Да, я Пашка, а что?

— Да так…

— А вы?

— Надежда.

— Надя, ты не переживай — среди журналистов тоже бывают хорошие люди.

— А мы, кажется, на брудершафт ещё не пили.

— Так давай выпьем?

Но попытки перевести разговор в мирное русло закончились плачевно. От пива я отказалась. Он развёл руками — мол, как хочешь, — и добавил почти дружелюбно:

— Ты приходи сюда ещё.

— Спасибо, уж лучше вы к нам…

— Ты что — действительно обиделась? Да ну, брось. Всё, что я говорю, лично к тебе не имеет никакого отношения. Это моё личное мнение…

— Журналисты, когда высказывают в статье своё мнение, так и заявляют — я считаю так-то, а вы можете со мной поспорить…

— Ну, ты и поспорила, разве нет?

— Полемические заметки. Переписка Энгельса с Каутским.

— О, журналисты даже Булгакова читают?

— Слушай, — взбеленилась я — скифский всадник взметнул коня на дыбы, — я к тебе не привязывалась! Задавитесь вы все своим чистым искусством! И пивом тоже!

Исход мой произошёл молниеносно.

Губы я красила за пределами негостеприимного дворика, на извилистой улице, под фонарём, и там же закуривала, удерживая зажигалку в дрожащей — то ли от запоздалого гнева, то ли от засевшей внутри пивной прохлады — руке. И когда, наконец, трепетный огонёк впился в бледное тело сигареты, под носом у меня оказалась зажжённая спичка.

— Прошу!

— Ты что — маньяк? — я неприязненно уставилась прямо в светлые глаза. — Ты что за мной ходишь?

— Я не маньяк. Я эстет. Я люблю всё красивое.

— Я не красивое. Я журналист. Я — ваше зеркало. Ik ben u lieden Spiegel.

— Да ты и Тиля Уленшпигеля помнишь?

— Я много чего помню. Дай пройти.

— Улица широкая. Тебе далеко?

— Не такая уж широкая для нас двоих.

Он посторонился и пошёл рядом, чуть сзади моего независимого плеча.

— Далеко ли тебе, девица?

— Дойду.

— И всё-таки, куда я тебя провожаю? — прозвучало через минуту молчаливого шествия рядом.

Я была готова ответить навязчивому эскортёру каскадом лексики, которую так искусно рифмовал рэппер Владислав — но всё-таки его звали Пашкой…

— На Сухаревку.

— Так «Китай-город» в другую сторону.

— Так и иди на «Китай-город».

— А ты куда?

— А я — на Сухаревку.

— Пешком? На таких-то каблучищах? Слушай, я не ошибся, ты необыкновенная женщина!

— Я не женщина, я…

— Уже знаю — ты журналист. Может, хватит споров для первого знакомства? Знаешь, я хотел тебя пригласить на свой вечер… здесь же, через две недели, пятого октября. То есть не мой… В общем, ты, наверное, не знаешь. Кафе «Перадор» относится к Клубу гуманитарного содружества, а я здесь работаю.

— Вышибалой.

— А что, похож? — пресерьёзно удивился Пашка.

— Журналистов здорово вышибаешь.

— Это тебе показалось. На самом деле, сюда приходят корреспонденты нескольких изданий, мы с ними давно знакомы и в хороших отношениях. Пишут про наши вечера — не читала?

— Не имела счастья.

— Да ну, какое там счастье… Пишут далеко не всегда хорошо, но всё-таки популяризуют, а это нам важно… Ты, кстати, где работаешь?

— В издательском доме «Периферия». И сотрудничаю в журнале «Любимая столица».

— Фи, какое пошлое название.

— К тому же у этого вашего содружества денег не хватит заплатить за полосу рекламы в «Столице», так что я тебе помочь вряд ли смогу.

— Ну и не надо. Я просто не думал, что в таком официозном издании работают такие красивые корреспонденты.

Комплимент пролил капельку елея на готовую вновь разбушеваться душу, я хмыкнула и промолчала.

— Так я тебе начал рассказывать о проекте. Это мой личный проект, я его замыслил, а руководство клуба одобрило… Называется «Ангаже». В переводе с французского…

— Предоставление работы на жаргоне деятелей искусства.

— Приятно, когда красивые женщины к тому же и образованные. Да, это — предоставление современным авторам сцены, микрофона, можно сказать, презентация. Один вечер — один ангажемент. До сих пор у нас «ангажировались» только живые поэты, и я решил нарушить традицию. Повод более чем веский. Пятого октября будет вечер памяти одного поэта… Он родился десятого октября и погиб в день своего тридцатилетия. Всеволода Савинского. Может быть, величайшего поэта современности. Он должен был стать величайшим… но не сбылось… Ты бы его, наверное, назвала журналистом. Он действительно работал в газете и погиб, и уголовное дело по факту его убийства до сих пор не закрыто… Все некрологи, посвящённые Севе, называют его корреспондентом «Вечернего Волжанска», и никто не написал, что это был за поэт. Хочу исправить эту ошибку. Придёшь?

Неизвестно зачем, я сказала: «Приду», — хотя и усомнилась про себя — за две недели либо хан помрёт, либо ишак сдохнет.

Всё это говорилось уже у моего подъезда.

Но никто, слава Богу, не помер и не сдох, дома было всё спокойно — мама здорова, Ленка не хулиганит, в ясли меня не требуют прилететь с другого конца света, чтобы доложить, как надо вести себя приёмной матери с ребёнком из группы риска… Можно расслабиться. И поэтому я пятого октября с удивлением отметила, что посматриваю на часы и спешу обработать последний Интернет-материал до шести, ибо до «Перадора», томящегося в паутине Маросейкинских переулков, легче всего было добраться на трамвае, а в эту пору на бульварах образуются часовые транспортные тромбы. Хуже того — я с душевным трепетом поняла, что хочу попасть на вечер памяти неведомого мне поэта и послушать, что там придумал ненавистник журналистики. Конечно, это лишь от того, утешала я себя, что мне одной в чужом городе очень скучно, некуда девать безразмерные вечерние часы, а люди в «Перадоре», кажется, забавные…

Трамвай доставил меня в кафе-клуб за пять минут до назначенного часа, но, судя по суматохе в зале для выступлений, действо откладывалось минут на …дцать. Я без спешки взяла пива и пристроилась за «свой» столик, где сидела первый раз, — в дальнем самом тёмном углу. Два бокала пива опустели, пока дело дошло до обещанного мероприятия. На пустом, крещённом двумя прожекторами месте закончили, наконец, возводить икебану из микрофона, пюпитра с нотами и библиотечной «раскладушки» с портретом. Всеволод Савинский был на фото крепок телом, угрюм лицом, хоть и силился улыбнуться, и на мир не смотрел — надзирал за ним. Лицо его имманентно страдало. Пашка вышел к микрофону и сказал:

— Не знаю, как начать: «Сева, с днём рождения!» или «Сева, ты навсегда с нами!»

Я не узнавала в ведущем своего недавнего знакомца, разбитного, бойкого на язык, благосклонного к женским чарам. Но это были ещё цветочки… По-настоящему страшно стало к середине вечера памяти.

До сей поры Господь меня миловал — не приходилось хоронить товарищей по цеху, ни ушедших из жизни обычным путём, ни вырванных из неё с корнем, с кровью. Даже березанский

Сент-Экзюпери, бывший десантник, специалист по чеченским событиям, из всех своих командировок на Кавказ возвращался невредим и много чего, в том числе и секретного, рассказывал про эту войну, и прорывавшимся бахвальством заставлял верить, что и впредь будет жив и здрав выходить с поля кровавой жатвы… Каждый год пятнадцатого декабря[2] мы с коллегами выпивали, не чокаясь, за погибших ради нескольких строчек в газете. Но имена поминались всероссийски известные, а не свои, не близкие. И тут я поняла, что в декабре адресно выпью за парня из газеты «Вечерний Волжанск», которого нашли на неблагополучном пустыре с проломленным черепом. И зачем он туда попёрся? Не было у него в намётках материала ни про скинхедов, ни про бомжей, ни криминального очерка…

Поведав биографию Всеволода Савинского, который погиб, быв моложе меня, Пашка стал читать его стихи. Был он бел, точно сам уже не живой, а зомби, одухотворённый единой идеей — воздать последние почести брату своему, акыну из волжских степей. Голос его звучал глухо и жутко. И тут нечто необъяснимое произошло со мной — я же говорила о своих провидческих способностях? Зов степного землячества донёсся до меня. Картинка мелькнула перед глазами: «Опасность!» — в алой декорации заката одинокий скифский конник увидел обкатанную временем бабу на кургане и хлестнул коня, сторонясь кровавой трагедии дней минувших.

Клянусь — я не чрезмерно впечатлительна! И от мистических соблазнов обычно, по бабкиному завету, защищаюсь именем Господним! Но сейчас меня втягивало в мир наоборот, где были мертвы все слушатели и жив только юноша с пробитым виском. В висок угодил ему неразгаданный «тяжёлый тупой предмет». И прервал все счёты Всеволода Савинского с жизнью. И в этом простом (увы, и нередком!) событии таилась жуть, природу которой было губительно постигать… Мой конник натягивал поводья, удерживая коня на месте, но властная рука невидимым арканом тянула его в глубины тайны…

Угрюмый Орфей, неузнаваемый… не Пашка уже, а Павел! — вёл за собой целую процессию, а Всеволод Савинский слегка улыбался фотографическими губами навстречу гостям, но улыбка его походила на оскал невероятной муки… Я перестала бороться с его посмертным магнетизмом.

Прикрыла глаза и вникла в странные слова:

«О тех, кто умер, моими губами твердят
голубые статуи в некромантском саду.
О тех, кто умер, скажу теперь,
Играя с тобою в прятки и выключая свет.
А рядом стоит необычный зверь
Настолько близко, что я говорю — привет!»

Чёрт возьми! — степной дух снизошёл до откровения. Кому, думаете? Ну, конечно, земляку. Я внезапно ощутила себя в состоянии диалога. И не с Пашкой, нет, а непосредственно с героем его речи!

«Привет!» — сказал мне покойный коллега. «А попробуй угадать, что произошло на пустыре. Слабо?»

«Прощай, земля, любимая когда-то,
прощайте, травы, знавшие меня,
моей стопою вы примяты
в начале юности и в середине дня
творения, когда сачок учёный
я распускал над рыжей стрекозой…»[3]

— произносил Павел в микрофон с видимым усилием, а я тем временем вглядывалась в лицо Всеволода и придумывала достойный ответ на его задачку. Он звал меня, одну меня из всех собравшихся! Мы с ним говорили на языке степняков. На этих строчках Всеволод отчётливо подморгнул мне. Я вздрогнула. И тут же Павел прервал чтение, сумбурно бормотнув извинения, метнулся к выходу из зала — а девушка из обслуги уже несла ему стаканчик. «Вот спасибо!» — сказал ведущий и жадно выпил. Прошло минуты три, пока ведущий собрался с силами, чтобы выдать заключительную порцию стихов Савинского, и, разумеется, я опять выловила оттуда послание для себя.

«Ты знаешь, — сказала я мысленно собрату по газетной полосе, — а ведь не слабо! Ты мне разрешаешь?»

Потому что именно в этот момент кощунственная мысль поразила меня: а может быть, именно так люди призывают к себе кончину?!

И в голове моей светящаяся нить начертила контуры будущего журналистского расследования. Она вытягивалась, как след падающей звезды, и указывала огненным перстом на пустырь на окраине Волжанска, где я — в этой жизни — точно не бывала. А вот если брать во внимание голос предков, то, безусловно, бывала и живала.

«Я тебе разрешаю — рискни!» — откликнулся некто с пустыря.

— Привет, а я тебя не заметил, извини, — сказали откуда-то извне, из другого мира. Я встрепенулась — Пашка (уже не Павел, практически обыденный, только бледноват) наклонялся над столиком, полумрак не скрывал испарины на его лбу. — Я не в форме, уйму нервов растратил на этот вечер… Но его нельзя было не провести. Теперь мне, наверное, семь грехов простится…

— Да ты присядь.

— Пока не могу — там собралась компания, нужно достойно всё это закончить… Слушай, — он внезапно мотнул чёлкой, в его глазах зажглось будничное, плотское, и он произнёс:

— Побудь ещё здесь, хорошо? Я тебя провожу до Сухаревки.

— Расскажешь мне тогда про Савинского подробнее?

Он не ответил — слинял к аудитории. Я цедила третий бокал пива и слушала, как через два столика направо бурно чокаются и провозглашают здоровье какого-то Грибова, талант какого-то Грибова, успехи какого-то Грибова и процветание его проекта. Что за чёрт, кто этот Грибов — герой панихиды был Савинский, и зачем ему теперь, прости Господи, здоровье и успехи? И как он может оттуда

2 15 декабря — день памяти журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей.

3 Стихи волгоградского поэта Леонида Шевченко, трагически погибшего в 2002 году.

продвигать проекты в центр Москвы? И кто здесь ещё способен его слышать?

— Пашка! Грибов! — заорала некая девица в очках больше лица. — Иди же сюда, талантливая скотина, я вручу тебе эти долбаные цветы, я с ними мудохаюсь целый вечер, пусть теперь они тебе мешают — не могу же я к тебе без подарка явиться, я ж тебя люблю, подлеца, хоть ты того и не заслуживаешь! Ты был великолепен, хоть и не во фраке!

— О! — подумала я сперва — клинический случай речевого психоза.

А потом догадалась, кто такой Грибов. Надо же — догадался Штирлиц — это же мой новый Пашка. Тотчас же Пашка оборотился ко мне и слегонца взмахнул стопариком водки. И даже, кажется, подмигнул…

Тремя секундами позже я порывисто вскочила, метнула на стол сотенную, наспех накось влезла в куртку и рванула к выходу.

— Надя! — крикнули вслед.

Стойка бара располагалась у самой лестницы, и Павел Грибов шёл мимо с двумя пустыми стопками в руках, а я балансировала на третьей снизу ступеньке.

— Ты куда вдруг заторопилась? Договаривались же…

— Я пиво допила, а приличные женщины одни в ресторанах не сидят, — первое, что пришло в голову.

— Так посиди с нами!

— Опять про журналистику ругаться? Спасибо, не надо!

— Какая муха тебя укусила? — он подошёл ближе. — Слушай, я не могу всё бросить и уйти, тут наша компания, после вечеров мы всегда тут остаёмся…

— А под новый год мы с друзьями ходим в баню. Я же ничего не говорю… и тебя не зову… просто мне завтра на работу, а уже поздно…

Пашка Грибов отстранился и прожёг меня ледяным взглядом — если бы детектор лжи представлял собой человекообразного робота, у него были бы такие лампы вместо глаз. То, что детектор лжи высмотрел, ему явно не понравилось. Мне тоже — представляю своё смятенное лицо!

— Ну ладно, извини, не смею задерживать. Спасибо, что пришла. Надеюсь, ещё пересечёмся.

Последняя реплика прозвучала, как «до свидания!» по телефону от тех, кто заочно отказывал мне в работе.

— Счастливо! — ответила я, уповая, что в тон. И бежала по Чистопрудному в сторону Сухаревского, кусая губы, оттого, что меня раздирали противоречивые эмоции — то ли совершенно земная тяга к Пашке Грибову, то ли стремление на потусторонний зов Всеволода Савинского. Два эти персонажа перемешались в душе, как персонажи комедии масок, меняющие обличья. Я гналась по тёмным бульварам, грохоча набойками, и держалась, пока не махнула на всё рукой и не позволила себе всхлипнуть. А раз хлипнула — и залилась плачем, безудержным, как уход живого в смерть.

Почему?

Потому что, сидя в «Перадоре», я подумала: «Мой новый Пашка мне подмигнул». Это было прескверно. Интуиция подсказала мне, что я встретила очередного мужика своей судьбы. А разум тут же прогнозировал, что ничего доброго из романа с поэтом не выйдет. «Мало тебе Багрянцева?!»

Глава IV

Романтический вечер завершился дома чаем со скудной приправой полузасохшего шербета и лёгкой головной болью — наверное, от пива и сигарет. И не очень лёгким раскаянием, что не так себя повела, сожалением, что…

Я обругала себя матом и уговорила спать.

А будничное утро началось неожиданно.

В неотличимую в осенней предутренней темноте от десятков своих товарок минуту меня подбросило на койке. Галлюцинация (в бредовом сне Константин Багрянцев пел всю ночь «Ничего у нас с тобой не по-лу-чит-ся!..») оказалась что-то слишком звуковой. Ошалело повертела головой по углам…

— Надежда! — повторила форточка, как репродуктор.

Я высунула в неё растрёпанную голову.

Посреди сухаревского колодца-двора покачивался в задницу пьяный организатор поэтических вечеров Павел Грибов.

— Надежда! — снова завопил он, и ещё несколько фрамуг отворились с порицающим скрипом.

— Чего тебе? — невежливо спросила я.

— Доброе утро, — объяснил Павел Грибов.

Перевёл дух и продолжил:

— Мы только что разошлись… Из нашего клуба. А потом из круглосуточной блинной… И я решил зайти к тебе в гости. На чашку чая. Ты меня, правда, не приглашала, но чай — это то, на что можно заходить и без специального приглашения. А я очень люблю чай. Только я не знаю твоей квартиры, а ещё у тебя код на подъезде. Как быть?

Весь дом оказался в курсе пристрастий Грибова. Очень мило. Даже если я его прогоню, память о предрассветном визите навсегда останется в сердцах соседей… Не хитри, Надька, ты просто ищешь повод его впустить! Ты хочешь, чтобы он вошёл… и задержался… не хватило тебе Багрянцева, чтобы поумнеть…

— Три-четыре-девять, квартира девятнадцать.

Чай он пил внушительными глотками. Я, наверное, впервые увидела, как люди пьют, лёжа на спине.

— Ещё?

— А? Ещё? Да нет, Бог с ним, с чаем… Знаешь, зачем я пришёл?

— Чаю попить.

— Да брось ты, сердце, это предлог… Понимаешь… Когда ты побежала… Мне показалось, что ты побежала от меня. Послушай! Я очень не хочу, чтобы ты убегала из моей жизни. Есть в тебе что-то такое, что… очень не хочу быть без тебя… Ясно выражаюсь?

Скифскому коннику не оставалось ничего, кроме как… бросить оружие. Подсесть к Пашке.

— Можно, я посплю? — сказал Павел Грибов, лаская мою руку. — Вообще-то я хочу совсем другого… Только у меня сейчас не выйдет, я себя знаю. Ты не рассердишься?

— Ничего у нас с тобой не по-лу-чи-тся, — пробормотала я ночную заморочку.

— Отвратительная песня! — патетически заявил Пашка. — Омерзительный текст, набор бессмысленных слов с претензией на постижение вековечной мудрости!

— Полегче на поворотах — это моя любимая песня!

— Я лично займусь исправлением твоего дурного вкуса, — великодушно обещал Пашка. — Но потом. Сначала я посплю. А потом… нет, ты точно не рассердишься, если я сначала посплю, а самое главное будет потом? Я бы очень хотел сейчас, но… не поднимется. Ты подождёшь?

— Мне на работу, — напомнила я. — И у меня одни ключи. Выбирай — ты будешь спать в другом месте, или я тебя запру.

— Я очень не люблю ультиматумов! — пафосно заявил Павел Грибов. — Не говори со мной в ультимативной форме, пожалуйста. На первый раз прощаю. И вот что… я не могу спать в другом месте. Я вообще ничего не могу делать в другом месте, где не окажется тебя. Поэтому… Запри меня. И приходи с работы пораньше, сможешь?

— Кзот устанавливает восьмичасовой рабочий день, и мне в редакцию ехать час. Я дома обычно к восьми или даже к девяти вечера… А ты всегда приходишь к женщине в пять утра на чашку вечернего чая?

Мне ничего не ответили — гость ушёл в сон легко и естественно. Сладко почивал, смежив веки рассеянно-наглых глаз, и был таким моложавым и милым! Мне же осталось заняться делами — заботой о том, кого приручила… или хотела приручить.

Вечером того же дня выглядела я весьма комично. Я ходила той осенью на шпильках длиной и толщиной с хорошо заточенный карандаш, в кожаной куртке до талии, в облегающих чёрных бриджах. К этому стилю прилагались серебряные болты в ушах, продуманный беспорядок чёлки — и два пузатых пакета «Перекрёсток» в руках, раскорячившие мою поджарую фигуру на весь тротуар. Пашку кормить.

Из-за своей ноши я потеряла мобильность и всё время роняла с плеча дамскую сумку, поднимала её, извиваясь ужом, преграждала людям дорогу. От метро до дома меня пять раз обругали и десять раз отпихнули в сторону, идя на обгон. Перед дверью подъезда я свалила поклажу на асфальт и долго переводила дыхание, одновременно шлифуя в уме, что я ему скажу. Долго ковырялась ключом в замке, ногой придерживая то один, то другой пакет. Особенно ревниво я оберегала тот, что с водкой.

Когда створки моей внутренней филёнчатой двери распахнулись, и я в сопровождении мешков ввалилась внутрь… Едва не наступила на что-то большое, тёмное, крестообразно раскинутое на пороге. Выдала горловой придавленный вопль, похожий на сторожевой клич скифских конников. Пакеты громоздко обрушились на пол.

Большое и чёрное подняло всклокоченную голову — это был коленопреклонённый Пашка.

Он воздел руки и возгласил:

— Явление богини!!!

И со знанием дела притянул меня к себе за талию:

— Спасительница явилась! Спасительница снизошла! Знай — я истосковался по твоему светлому лику!

— Пусти, там водка разобьётся! — забыла от неожиданности отрепетированную речь. Пашка, видимо, того и добивался. Похмелье у него уже, видно, сменилось дурной веселухой, иногда прорезающей долгий запой. Рот не закрывался — намолчался, бедняга, за целый день!

— Водка?! Кто сказал — водка?! Богиня газетной передовицы предстала перед смертным, чтобы произнести великое слово: «Водка?!» Ты — сама жизнь! Ты — прелесть и упоение! Я не зря ждал тебя, как луча света в тёмном царстве! Этот луч не только укажет мне дорогу — пардон — в туалет! Он ещё и принёс мне светозарный напиток!..

Я беспомощно рассмеялась и повела гостя к искомому кабинету.

— И ванна мне тоже нужна, — прозаически сказал Пашка.

— Она рядом. Зубная щётка у тебя с собой? — язвительно спросила я.

— Всегда! — не растерялся Пашка. — В правом кармашке сумки. Принеси, пожалуйста.

Умытый и причёсанный, Павел Грибов выглядел уже не между двадцатью и сорока, как спросонья, но на твёрдые тридцать. Даже на двадцать девять с половиной. Кухня «пеналом» была ему узка в плечах.

Он глянул через моё плечо на банальные пельмени, булькавшие на плите в ковшике.

— Мать Тереза! Пельмени очень кстати. Но знаешь… я же тебя не за тем ждал.

— За водкой, что ли? — сыронизировала я. — Только под пельмени!

— Водка тоже окажется кстати, — дипломатично подтвердил Пашка. — Только я имел в виду нечто другое…

В движении, каким он сноровисто ухватил немаленькую меня за пояс и перебросил через плечо, скрывалась прапамять предка-воина, набивавшего чужим добром заплечные мешки и седельные торока, а напоследок кидавшего поверх луки красивую полонянку — пригодится! Правым локтем «выбил» дверь в комнату, притормозил только около незастеленной кровати, куда и пристроил пленницу. Молниеносно смотался запереть дверь изнутри и встал на колени около койки, возбуждённо дыша:

— Ты что, ничего не поняла? Молчи!.. С тебя станет сказать «нет»! Не поняла, что я в тебя влюбился с первого взгляда, чёрт побери?!

— Надя! — царапалась в дверь бабушка Софья Кирилловна, соседка, ровесница первой мировой. Царапалась давно, деликатно и неотступно. — Надя! Твои пельмени уже давно выкипели! Вода залила газ! Хорошо, что я учуяла запах и выклю-

чила конфорку! Надя, нельзя так невнимательно относиться к делам!

— Спасибо огромное, Софья Кирилловна! — отвечала я слабым голосом. — Спасибо, что выключили газ. Извините за беспокойство. Я сейчас всё приберу. Простите!

Выйти в коридор я стеснялась — казалось, прожгу блудливыми и радостными глазами дырку в обоях.

— Там говорят про пельмени? — зашевелился рядом Павел Грибов, ревнитель высокого искусства и потрясающий знаток искусства любви. — Послушай… я боюсь спугнуть твои блаженные мысли — а что они блаженные, видно по лицу, — но, может быть, настала пора пельменей?

— Ты вообще кто? — спросила я, подпирая щёку локтем, локоть — подушкой, сворачиваясь на разбомблённой постели калачиком и глядя, как ест он — бес-искуситель, эстет, организатор поэтических вечеров, ненавистник пошлости и масскульта, противник журналистики, великолепный любовник, тёзка отца моей дочери. Больше я про него ничего не ведала.

— Я вообще поэт, — исчерпывающе ответил Павел Грибов и схлебнул с тарелки бульон, как купец с блюдца чай. — А ничего нет поесть?

Я немножко испугалась. Приготовила и подала всё, что было в пакетах с продуктами. И повторила свой вопрос.

— Что тебя интересует? Ты что, на работе? Я поэт.

— Голодный поэт, — не удержалась от лёгкой колкости вечно живая во мне журналистка Степнова. — Это всё, что я могу о тебе знать?

— Нет. Ещё ты можешь знать — должна знать — что я тебя люблю.

И два последующих месяца Грибов мне доказывал, насколько сильно он меня любит.

В горизонтальном положении, ничего, выходило убедительно, а в вертикальном… в вертикальном положении при мне Пашка оказывался либо сразу после прихода в гости, либо непосредственно перед уходом. Третьего не дано — он ведь умел кушать лёжа. Уходов Грибова было арифметически столько же, сколько приходов, но мне почему-то казалось, что первых гораздо больше. Потому что гораздо чаще я жила без него, чем с ним. Потому что ритм появлений любовника был прихотлив и не поддавался моим потугам разгадать его. Потому что и в «Перадор» он меня приглашал далеко не всегда. По его словам, он там торчал почти каждый вечер… пардон, не торчал — работал. Но мне на Пашкину работу позволялось приходить лишь с его разрешения. О бабкиной квартире, имении Павла Грибова в Марьиной Роще, я только слышала. В гости меня туда не приглашали никогда. Тем более — не предлагали пожить. А себе, любимому, ко мне на Сухаревку он позволил приходить по своему желанию. Но даже от редкого присутствия Павла Грибова в моей сухаревской коммуналке стало шумно и… волнительно.

Что греха таить — я почти влюбилась в Пашку. Чтобы говорить с ним на одном языке, я бессознательно изменила свою речь — стала чаще употреблять стихотворные цитаты, поминать фамилии великих. На эти усилия Грибов зрел весьма снисходительно, а прочитанные мною строчки оценивал: «Хороший текст!» или, чаще: «Плохой текст!» Ему как раз не нравилось, что я стараюсь приобщиться к поэзии — её он считал своей вотчиной. И, конечно, речи не могло быть, чтобы посвятить мне стихотворение, даже шуточное.

— Я пишу ни о ком и ни для кого. Разве только о себе, — предупредил меня Грибов едва ли не в первую ночь. И всякую встречу возвращался к этой теме. А когда я начитала Пашке кое-что из Багрянцева (мне, любимой), он скривился:

— Слабые тексты. В отдельных местах проглядывает что-то живенькое, но такое чахлое, такое беспомощное… Видно сразу, что не мастер их писал, а так, ученичок… подмастерье, и никогда ему мастером не стать.

— Постой! Возможно, ты знаешь этого подмастерья. Он тоже в Литике учился. Семинар поэзии, руководителя, правда, забыла, зато сам носил платок под Вознесенского…

— Я не могу помнить всех бездарностей, с которыми меня сводила судьба! — величественно ответил Пашка. — Человек, который хочет быть похожим на Вознесенского, не вызывает во мне ни интереса, ни — тем более — симпатий.

Я даже обиделась за бывшее сокровище:

— Не слишком ли мало внешнего признака, типа кашне, чтобы определить степень бездарности человека?

— Наденька, сердце, более чем достаточно! Поэзия не требует подтверждения внешними атрибутами. Она либо есть, либо её нет. Чаще, увы, нет. Тем более — в Литинституте. Не знаю, как плохо нужно писать, чтобы не приняли в Литинститут…

— Ну, мало ли кого туда принимают…

— А что ты так завелась из-за этого Багрянцева? Он тебе кто? — вдруг спохватился Павел.

— Бывший муж! — запальчиво призналась я.

— Ах, сердце, извини, не знал, что ты его до сих пор любишь…

Тут же выяснилось, что писать плохие стихи — гораздо худший грех, по Павлу Грибову, чем — для признанного гения — жить вне рамок обывательской морали и порядка.

— Безумие гения — идиотский обывательский миф, которым толпа отвечает великим людям. Если за норму брать сантехника дядю Васю… или журналистку Надю… то гении, безусловно, патология. Но я предпочту её.

— А то, что все гении безнравственны с точки зрения общепринятой морали? То, что они переступают через своих близких? Примеров сотни: Гоген бросил без средств к существованию жену с детьми, Ван Гог всю жизнь тянул деньги с брата, Пушкин, сам знаешь, ни одной юбки не пропускал, Лермонтов…

— Ты так примитивно рассуждаешь, что слушать тошно. Но тебе, надеюсь, понятно хотя бы, что эти люди запомнились последующим поколениям — и не за их безнравственность, как ты выражаешься, а за то, что они создали.

— То есть ты оправдываешь скверность натуры, если эта натура создала в искусстве что-то значительное?

— Я хочу сказать, что скверный человек не может создать в искусстве ничего значительного — это аксиома! Возможно, что гении не образчики нравственности… по крайней мере, обывательской нравственности, — рассуждал мой возвышенный любовник, выставив босую ногу из-под одеяла и веерообразно поводя пальцами. Совершенно гениальное движение! — Соотношение «плохой человек — хороший автор» типично для средних поэтов. Большой поэт не может быть плохим человеком, вот и всё. Просто обыватель и человек искусства мыслят в разных плоскостях, и ты, сердце, мне лишний раз демонстрируешь, насколько велика пропасть между этими плоскостями. Я уже весь язык оболтал, а тебе впрок не идёт. Поэтому дискуссию считаю закрытой. Займёмся делом, в котором ты подкована, — «Make love not war», вспомнила я плакат из квартиры Дзюбина.

— Паша, но для чего надо это высокомерие? — пресекла я его растущую сексуальную активность. — Ты же не будешь отрицать, что гении часто переносят лишения, отрекаются от бытовой устроенности, мыкаются, как неприкаянные, терпят непонимание… как вот ты от меня… Зачем, Паша? Тебе лично — зачем это?!

— Тебе знакомо такое понятие — «ноосфера»?

Так я второй раз после окончания института услышала слово «ноосфера». На лекциях по философии меня однажды прельстила гениально-изящная концепция оболочки Земли, состоящей из мыслей и чаяний всех, живущих и дышащих под Солнцем. Неуклонно развивающейся, меняющей и оберегающей нас от хаоса и безмыслия Вселенной. Наверное, я поняла Вернадского слишком примитивно… И всё же существовать внутри «мыслящей» оболочки казалось уютнее, чем без её защиты.

Но я никогда не думала, что у философской категории может быть крупное славянское лицо Пашки Грибова.

— Учение Вернадского? Безусловно!..

— Так вот, гении тем и отличаются от пошлой массовки, что живут ради единой цели: чтобы их мысли, их чувства, их дела влились в эту «мыслящую» оболочку земного шара. Пусть это случится через сто, двести, тысячу лет, но мои стихи окажутся в ноосфере, а от большинства моих современников останется тире между двумя датами, и даже могильные плиты к тому времени рассыплются в прах… Моя ментальная сущность уже сейчас пребывает в ноосфере.

— Ты, значит, гений?

— К вашим услугам, мадам. Как можно быть такой непонятливой, чтобы связаться с гением… ну ладно, этот эпитет ко мне станет применим в будущем, лет через пятьдесят, пока — просто поэт высочайшего класса… и не догадываться об этом. И пренебрегать моим предложением заняться, наконец, тем делом, в котором тебе нет равных… я таковых ещё не встречал… дай губы…

— Паша, но зачем же ты со мной, если я такая тупая?

— Ты трахаться умеешь хорошо. Отлично умеешь, сердце! Я сейчас сгорю от желания, пока ты умничаешь, вместо того, чтобы отдаться процессу…

Подозреваю, что он ценил во мне также бытовые удобства. Приходя на поздний ужин, Павел Грибов не интересовался, откуда в тарелке, подставленной ему под нос, появляется еда, и сыта ли хозяйка. Плейбой, истово презиравший журналистику, не гнушался водкой, купленной на деньги с запахом типографской краски. И в долг не стеснялся попросить у меня, безотказной. Эвфемизм «в долг» означал спонсорскую помощь. Мотивировал займы Грибов безыскусно и трогательно, как Карлсон, отнимающий у Малыша банку с вареньем:

— Мне больше не у кого занять, сердце!

И я… вынимала купюры из тощего кошелька либо из бурундучьих тайничков, раскиданных по всей сухаревской коммуналке. Глупо — но хотелось сделать ему добро, чтобы он полюбил меня сильнее! Но отношения склеивались по иной схеме — кособоко, в точности по стихам Константина Багрянцева, не тем будь помянут: «То любовь, то беготня, то покой, то нервы…» Пашка раз перенёс меня через лужу на руках, поцеловал взасос, поставил, как канделябр, сказал: «Сердце, извини, мне пора, увидимся!» — хотя три минуты назад и речи о прощании не было — и рванул через Садовое кольцо поверху, бывалый москвич!

Так и строился между нами роман. А я со своей цепкой памятью, зорким глазом и терпением воина-степняка выжидала, как в засаде, что ещё выкинет житель ноосферы Павел Грибов.

О! За этим дело не стало!

Раз Павел Грибов пропал без видимых причин — не ссорились, не спорили о русской культуре, не квасили вместе до беспамятства, чреватого вопросами «А что вчера было?» и неприятными откровениями. Пропал просто — утром простился со мной жадным поцелуем и возгласом «До вечера, сердце!», сбежал по лестнице, торопясь на раннюю встречу с каким-то приятелем, не пришёл и не позвонил. В тот вечер я тревожилась за любовника чуть ли не больше, чем за дочь.

Самолюбие не позволило мне звонить по мобильным Пашкиных друзей, а его телефона я не знала (!). Компромисс, на который оно, скрипнув, согласилось — на третий день после пропажи любовника придти вечером в «Перадор», угнездиться за своим столиком и послушать разговоры вокруг. Вдруг да выяснится, что Павел Грибов отбыл в загранкомандировку (ушёл в запой, постригся в монахи, скоропостижно женился, попал в тюрьму за распространение наркотиков, тьфу, тьфу, что я несу!).

Публика подобралась — как нарочно, сплошь незнакомые физиономии. Мир — бардак, люди — его сотрудницы, кабачок дерьмовый, кухня плебейская, спиртное палёное… Я вяло выпила порцию пива, ощущая себя засланным казачком, которого не туда заслали. Пиво не доставило желанного расслабления. Вдобавок на сотовый позвонила Ленка — сама набрала номер, бабушка

только её за руку держала! — и стала канючить: «Пиезжай! Сича-ас пиезжай!» От сочетания всех этих факторов я — брошенная Пашкой, бросившая Ленку! — точила слёзы в полную пепельницу и самозабвенно жалела себя. Даже словила за хвост мрачное мазохистское удовольствие: «Вот я умру, а вы все заплачете и поймёте!»

Но умереть мне помешал русский примитивист Василий Сохатый (подлинная фамилия!).

— Надежда, ты?! — негаданно удивился он.

— Разве я так изменилась с воскресенья? — ответила я. И Васька, приземлившись за мой столик, завёл бодягу: отчего я грустная, не болит ли у меня где, не купить ли мне пива, раз уж я с Пашкой поссорилась… Чудо прозорливости пришлось мне не по вкусу:

— Кроме Павла Грибова, в мире нет людей?

— Чего? — оторопел Василий.

— Раз я плачу, то другой причины, кроме Пашки, не может быть? Нет других людей, из-за кого мне переживать?

— Да я думал… — стушевался примитивист. Он был славным, простым и добрым парнем, очень похожим на то животное, фамилию которого носил, и даже послушничество в ордене русской наивной поэзии не испортило его бесхитростную натуру.

— Индюк, — говорю, — тоже думал. С чего ты взял, что мы поссорились?

— Да я, Надь… Пашку сегодня видел, он ничего такого не сказал… Только он пошёл к Сотскому, а ты, гля, здесь…

Неимоверное облегчение затопило грудь: «Жив, собака!»

На радостях я угостила Сохатого пивом, мы заболтались, и почти весело трещали до тех пор, пока он не пристроил лапищу мне на плечо.

— Это что это?

— Ты же мне давно нравишься… — залепетал уже поддатый Вася. — Я ж не Пашка, я ж тебя не обижу, Надюш… — но руку снял.

— Кто меня обидит, тот дня не проживёт, — предупредила я. — Вот ещё, новости. Я тебе что — ресторанная девка?..

— Нет, ну что ты… Ты классная… Я, наверное, для тебя плоховат… А я тебе стихи написал, хочешь, прочту?

В «Передоре» на этот вопрос не полагалось отвечать «Нет!». Героем Сохатого был сельский оболтус, которого хочет женить мать на одной из соседских дочек — а он резко против.

— Она что слово — про невест, что взгляд — на окна их,

> А я дом их обхожу, как яму с лужею.
> Скрипят калитки старые мне вослед:
> «Жени-их!» —
> А я водку пью, мать не слушаю…[4]

Честно сказать, мне, с моим суконным рылом, такая поэзия больше была по нраву, чем эстетический мат Владислава. В чём я и призналась сдуру Сохатому. А у него заполыхали глаза, и рука воровски легла на мою талию.

— Понравилось? Правда? Супер!.. Ты очень классная, Надь!.. Я вот и Пашке говорю — она классная, а ты с ней так… А он, знаешь, чего? — придвинулся ко мне Сохатый совсем тесно. — А он мне сегодня и говорит: если классная, то можешь сам… с ней… попробовать… он не против… А, Надюш?..

Я оттолкнула всё гамузом — Ваську Сохатого, кружку пива, стол — и вскочила, выпрямившись.

— Что-о?!

Где-то внизу кружилось испуганное лицо Василия. Он не мог сфокусировать на мне взгляд.

— Что ты сказал? Повтори!..

— Надя… — он трясся, как пойманный воробей, — Надь, ты прости… Ради Бога, Надь! Это не я сказал, это Пашка сказал… Я ему про тебя — что ты мне нравишься… он говорит, сам попробуй… Не возражаю… Вот и всё, Надь… Ты очень сердишься?

Сердилась ли я? Нет, чтобы выразить степень брезгливости, затопившей меня мутным шквалом, это было слишком бесцветное слово. Для Пашки я не могла подобрать определения… А Василий Сохатый показался мне в ту минуту шакалом Табаки. Я хотела объяснить это недоделанному примитивисту… но махнула рукой и пошла восвояси, кинув возле пивной кружки Лося несколько сотенных бумажек. Расплатилась.

Он подбоченился в дверном проёме, а под мутной лампочкой прихожей подбоченилась его зеркальным отражением я. Выжидала.

Непокорный варяг сломался первым. Но начал, по своему обыкновению, с фанаберий:

— Ты даже не спросишь, где я был?

— Хочешь — скажи.

— А тебе это нужно?

— Тебе, наверное, нужнее…

— Извини, может быть, мне уйти?

— Как пожелаешь.

Он пожелал не уходить. Пожелал традиционных пельменей под водку. Пожелал рассказать о своих достижениях последних дней. Пожелал поведать, что у него готовятся публикации в двух «толстяках», и что его приглашают на какое-то московское радио рассказать о проекте «Ангаже». И — под занавес вступительной части — пожелал признаться, где всё-таки был.

— Наденька, сердце, мужчина — существо полигамное… — началось признание.

— В смысле — производящее много шума? — уточнила я. Этого оказалось довольно, чтобы обойтись без прелюдии.

— Суди меня, как хочешь — я был у женщины. — Пауза. — Надя… Я был у женщины, которую люблю.

Такого я прямо и не ожидала — сердце в горле бултыхнулось, породив боль в грудине. Гулкий отзвук удара по чувствам был мне давно знаком — первая любовь, Пашка, Багрянцев не щадили меня. «Ты же сильная! Ты же выдержишь!» — твердили они разными голосами на один лад. Но за то время, что я была сама по себе, я научилась усыплять даже воспоминание о саднящих любовных ранах. И вот Павел Грибов с ловкостью опытного хирурга сде-

4 Стихи рязанского поэта Владимира Воронова.

лал очень болезненный разрез «оборонительной ткани».

— Есть на свете женщина, которая мне дороже всех благ мира. Я её люблю. Более того — она живёт в моём доме. Она молода и… неискушенна, она верит мне, верит в силу моего чувства… Я не могу сделать ей больно… Не могу, чтобы она разочаровалась во мне… Потому что вместе со мной она разочаруется во всех мужчинах, — Павел пристально разглядывал батарею. Я присела напротив него, механически закинула в рот сигарету — он, обычно куртуазный, забыл поднести зажигалку. Долго и нудно говорил, как запутался в двух своих Любовях и сейчас не знает, как с нами обеими быть. Однозначно, что его девушка не должна страдать от мерзости нашей с Грибовым связи. Но и бросить меня он тоже не в состоянии. «Ещё бы, — злорадно подумала я, — оставляет меня, водку и пельмени про чёрный день». Догадка подтвердилась — Павел Грибов открыл мне, что барышня зарегистрирована в общаге Литика и частенько ночует там, чтобы не вызывать подозрений. Такие ночи он считает по праву принадлежащими ему — то есть, на данном этапе, мне. Зато в другие ночи они с любимой девушкой (Пашка странно заикался. пытаясь назвать её: «Ми…» — а дальше в горле застревало. Милочка? Мисюсь? Мими?) живут у Грибова в Марьиной Роще. На первых порах такая полигамия гения забавляла. А теперь вот стала тяготить. Произнося это всё, он поводил плечами, как в лихорадке. Вероятно, совесть почёсывалась.

Когда признание иссякло, я позволила себе три вопроса. Как в экзаменационном билете — две теоретические выкладки и задачка. Первый оказался лёгким:

— Думаешь, никто из твоих приятелей ещё не проболтался?

— Что ты! Это исключено! Они все люди чести! Поэтому я очень благодарен тебе, что ты не делаешь на публике резких жестов… Скрываешь нашу связь… Надя, поверь…

— Настолько благодарен, что решил подложить меня Сохатому… Это как?

Грибов стал изучать вместо батареи свои носки. Носки требовали штопки. Запинаясь, что совсем ему не шло, он блеял: запутался, пытался решить проблему методом Александра Македонского, зная, что я нравлюсь Сохатому, благородно решил переуступить ему любовницу — «а вдруг у вас с Васькой что-то получится?!» Но когда Сохатый ему передал, как я психанула, устыдился. И более того — испытал облегчение, ибо не выжил бы, если б я согласилась его оставить. Пошёл бы и утопился прямо сейчас в Москве-реке. Нет, в Яузе — она не замерзает.

Задачка нравственного свойства была, на мой взгляд, ещё сложней:

— Предлагаешь мне придумать оправдание твоему положению? Не выхода из ситуации ищешь, а приемлемую, достоверную ложь для своей подруги хочешь состряпать. И чтобы я тебе в этом помогла, да?

А на взгляд Грибова — примитивной:

— Да, да, чёрт возьми! Ты угадала! Я не хочу с тобой расставаться, но не знаю, как быть!.. — Я хочу жить с другими, а спать с тобой. Между прочим… ты можешь не верить, но когда я кончаю со своей подругой… для меня самое главное — не сказать: «Надя!» Потому что в этот момент я всегда представляю только тебя. Ты — моё обозначение оргазма. Высшего наслаждения… Ты очаровательная женщина… Ты такая пикантная стерва в постели… такая огненная, такая ласковая… что я и в самом деле, не могу представить себе жизни без тебя.

— Ладно, я тебя оправдаю перед собой и твоей невинной подружкой! А ты, приняв на веру мои оправдания, опять пойдёшь блядовать! И рано или поздно тебя рассекретят, и твоя девчонка узнает, какой ты сексуальный гигант! Не так?! — нет ответа.

Этот вечер следует считать ключом к нашему с Пашкой разрыву. Естественно, разбег был неизбежен… раньше или позже… Ну, считайте меня слабой на передок, безнравственной тварью, но захотелось задержаться при нём ещё на какое-то время. Думаю — профессиональное любопытство взыграло…

Но Пашка умудрился нанести мне ещё несколько метких ударов.

В разгаре любовного единоборства, приподнявшись на руках, он внезапно взглянул с беспокойством мне в лицо:

— Надя! Послушай… А ты точно… с Сохатым… не того? А то у него недавно находили триппер… Ты… здорова? Надь, я не за себя беспокоюсь, а за другого человека…

И попробуй в таких условиях получить заслуженный оргазм!

А потом, в безмерной неге, забыв ладонь на груди усмирённой (как он думал) любовницы, Павел Грибов размышлял вслух, что я опасный противник, настоящий друг — и потому могу стать настоящим врагом. Вскрытый нарыв в душе спровоцировал его необыкновенную говорливость.

— Надя! А ты хотела бы как-нибудь съездить со мной в Подмосковье, в дальнюю деревню?..

— Чего я там не видела? — искренне удивилась я, провинциалка, лимитчица, штурмующая Москву, та самая: «Понаехали тут! Сидели бы в своей деревне!»

— А вот представь себе, сердце… покой, тишина… аромат садов… сеновалы… дорога, уводящая в лесок…

— Свежий воздух, парное молоко, автобус два раза в неделю — туда — во вторник, обратно — в пятницу, пьяные мужики, дебильные дети, заколоченные дома… — продолжила я, попадая в его мечтательную интонацию.

— Какая ты ядовитая! — скривился и сплюнул он.

— Просто я приехала из паршивой Березани, на деревню насмотрелась, друг мой Пашенька, а твои представления о ней лубочные, откровенно фальшивые. Ты себе мнишь мечту столичного плейбоя — тишина, покой, сеновалы, деревенские красавицы — кровь с молоком и навозом… А на деле деревня — глушь, нищета и отсутствие цивилизации. За редким исключением.

— Слушай, а вот мы в Переславль-Залесский ездили с приятелями на выходные… К одному

другу… Девиц не было, успокойся — чистый мальчишник. На второй день мы нашли на окраине городка крохотное кафе, пивнуху, осенённую берёзами. Пиво там было разбавленным до неприличия, зато атмосфера — потрясающей. Она просто убаюкивала! Мы сели на разножанровые стулья за обшарпанный пластмассовый стол и до отхода автобуса никуда не пошли. Часов пять сидели. Пили пиво и наслаждались сонным царством предместья. Ты знаешь, я там был счастлив, почти как сейчас. И сегодня, мотаясь по Москве, я вдруг вспомнил это кафе и очень захотел снова туда! Провести в нём несколько часов, зарядиться энергией, полюбезничать с продавщицей… Она была совершенная простушка, молодая, но уже располневшая, сильно накрашенная, и всё же миленькая. Такое примитивное кокетство, такие очаровательные передние золотые зубы — по тамошним понятиям о красоте… Я очень хочу. чтобы мы поехали туда с тобой, когда станет тепло, и они вновь вынесут на улицу тот ужасный стол и пару стульев…

— Но что я буду делать, пока ты будешь клеить продавщицу пива?

— Бдить мою нравственность, естественно.

— Следить, чтобы ты не изменил с этой ларёчницей своей любимой и мне?

— Ч-чёрт!.. Я говорил о другом. Я был в Сочи, в Кисловодске, в Клайпеде, даже в Болгарию ухитрился смотаться с делегацией литераторов, но нигде на земле не испытывал такой полноты отдыха! И сегодня, сейчас, обнимая тебя… Ты напряжённая, как струна, что понятно. Я тоже весь на нервах… Ситуация идиотская, верно… Требуется разрядка, иначе мы с ума сойдём! И я вдруг вспомнил Переславль-Залесский — какая нирвана снизошла на мою душу, Наденька, если бы ты знала! Если бы я мог перелить в тебя то блаженство!.. Так явственно представил пивнуху на окраине, затосковал… прямо увидел, как в кино, что мы с тобой сидим за тем колченогим столиком, пьём пиво и смотрим друг на друга… Я написал стихи, сердце. Хочешь, прочту?

Это было революционное свершение. Никогда раньше Павел Грибов не оказывал мне чести первой услышать его новые творения. Они до меня доходили только в «Перадоре», осолидненные микрофонным гулом. И я доверчиво пристроила лицо на плечо Пашки, ушную раковину — к самым губам, приготовилась внимать… и очень пожалела о выбранной дислокации, ибо она не давала смеяться, а меня так и распирало. Не могла я, периферийно прописанная, иначе реагировать на столичные иллюзии Павла Грибова! Они были столь же далеки от реалий маленьких городов, сколь представления народников девятнадцатого века от истинного быта и нравов обожаемого ими народа. Нет, конечно, стихотворение было отчасти ироническое… Мол, хорошо бы осесть в тихом провинциальном городке, обаять богемным шармом продавщицу пива, чтобы она в твою кружку цедила только чистый солод, и на закате читать ей стихи.

На пассаже:

— Чтоб, как Родина, щедро поила меня
Продавщица «Очаковским» пивом…
Пусть бранятся подруги, слезами звеня —
Я в деревне останусь счастливым!.. —

я, грешная, пискнула и свернулась креветкой под одеялом.

— Что с тобой? — недовольно прервал чтение Пашка.

— Судорога ногу свела, — нашлась я. Для вящей убедительности подрыгала ногой, чтобы тряслись не только плечи.

Павел дочитал пивную элегию, но уже без начального задора. Кисло спросил:

— Ну, что, не понравилось?

— Ты — гений! Гений допущений! — яро заявила я, выползая из-под одеяла. Профессия научила меня делать лицо. Потребное выражение, наспех надетое, сидело на должном месте прочно. — Наконец-то я поняла, какая она, ноосфера…

В конце концов, мне было не привыкать к «ноосферным явлениям» — Пашкиным взрывам, резким, как детская неожиданность. И он заслужил от меня щелчок по носу, разве нет?

Гений Грибов сорвался с койки, будто подброшенный пружинами, и, одеваясь, сбивчиво кричал, что все бабы одинаково убоги и не достойны слушать его стихи и постигать его мечты. Я скорбно наблюдала за лихорадочными сборами. Пашка убежал в ноябрьскую ночь, нахлёстанный раненым самолюбием. Как только за ним захлопнулась входная дверь, я дала выход водопаду истерического смеха.

Глава V

Моё alter-ego, скифский конник, устремился в неизведанное. Ему, как всякому фаталисту, вскоре поступил сигнал свыше — «Там дорога!»

Судьбоносная веха выглядела банально: объявление на последней полосе еженедельника «Сейчас», втиснутое между двумя комиксами. Еженедельник «Сейчас» считался жёлтым, как авто «Дэу» корейской сборки, вопреки внешней густопсовой радуге по серой бумаге. Специализировался на нижнем белье звёзд эстрады. Фото сиятельных трусов и бюстгальтеров занимали две трети полос. Статьи походили на подписи к снимкам. Разнообразили безразмерную экспозицию исподнего материалы мистического толка — откровения провидцев, воспоминания воскресших, весёлые покойнички и прочая нечисть — и секс во всех позициях (в том числе в гражданской).

Предпоследний номер «Сейчас» лежал у меня на работе под электрочайником в роли термостойкой подставки, был покороблен, но ещё читабелен. Прихватила его, чтобы веселее скоротать чаепитие. Тут-то мне и бросилось в глаза объявление, восхитительно свежее на фоне комиксов по дореволюционным анекдотам. «Требуются корреспонденты в отделы светской хроники, новостей, политотдела, непознанного… Обращаться по телефону…»

Я допила чай и якобы забыла газету на своём столе. Призыв меня зацепил, но я ещё колебалась и пыталась сама себя обмануть: «Откуда звонить — отсюда, что ли? Миллион ушей…» Но карты мои тасовал сегодня настойчивый ангел, и через десять минут сосед по кабинету, сотрудник «Периферии»,

облечённый правом писать авторские материалы, стал собирать заплечную сумку: пошёл в зоопарк, готовить предновогодний репортаж про обезьян.

Одна в кабинете, только последняя рохля не позвонила бы по тому телефону.

Ответили мне таким тоном, словно звонки были вовсе нежелательны. Потом ещё минут пять переключали. После блуждания по волнам мини-АТС я услышала энергичное сопрано:

— Слушаю вас!

Последовала процедура представления. Я вовремя вспомнила, что пару раз березанская вкладка «Сейчас» брала у меня материалы, чем и козырнула. Козырь не произвёл впечатления на собеседницу — это оказалась замредактора газеты, она, в свою очередь, вылила на меня ушат московского газетного снобизма: работа в региональных изданиях, даже в нашем, ничего не значит. Можно там быть хорошим корреспондентом, а здесь элементарно не потянуть. Желательно приходить к нам уже с готовой агентурной сетью — швейцары в ночных клубах, санитары в моргах, оперативники из милиции. — Приходите в понедельник, часам к девяти… нет, к половине десятого. Принесите свои материалы, я их посмотрю. Отбой.

Галина Венедиктовна была невозможно кручёной бабой от тридцати двух до шестидесяти пяти — эдакой динамо-машиной в безупречной юбке из твида, стильной чёрной водолазке и коллекционной серебряной сбруе. Я чувствовала себя перед ней нахальной школьницей. Чтобы не осрамиться перед прошедшей огни и воды московской журналисткой, я опустила очи долу — на богатые, белого металла, кольца замредактора.

— Да, это неплохо, но мелко… А вот это полная чепуха… А это в Москве даже показывать стыдно, — наманикюренные ногти хищно терзали моё потрёпанное портфолио. — Какую чушь у вас в Березани пишут, страшно подумать… «Сейчас» на местах просто вредит престижу издания… А со звёздами вы работали? Нам не нужны певцы областных филармоний, нам нужны стопроцентно раскрученные фигуры!

В ответах Галина Венедиктовна не нуждалась.

— Нет, мы можем взять вас на испытательный срок. Трудовой договор составляется не ранее чем через месяц работы. Но никаких гарантий дать не могу. Вы представляете хотя бы примерно, чем вам придётся заниматься?

И опять вопрос прозвучал риторически.

— Вы где сейчас работаете? «Периферия»? Знаю, жёлтая пресса…

Тут я едва убереглась от неприличного хохота.

— Да что вы всё молчите, девушка? Мне, что ли, нужно с вами разговаривать? Я, что ли, рвусь на работу, о которой понятия не имею?

В общем, мы с Галиной Венедиктовной возлюбили друг друга с первого взгляда. Так только женщины могут.

— Мне подходят ваши условия, мне нравится ваша газета, я знаю, что у меня всё получится, а первую тему, пока, для пробы, я предлагаю в рубрику «Непознанное».

— Странно, обычно все молодые просят разрешения бегать по тусовкам, — дёрнулась замредактора, — но вольному воля…

— Спасибо за «молодую», я, видно, уже стара, — не удержалась я. — Мне всегда удавались материалы с загадкой.

— Ну-ну, — саркастически хмыкнула потенциальная начальница. — Посмотрим, как вам это здесь удастся. Что за тема?

— Человек, который накликал сам себе смерть. На реальных фактах.

— Не надо тавтологии — слово факт означает реальность, и ничто иное…

— Человек накликал себе трагическую гибель. Он не накладывал на себя рук, не искал опасных приключений, — он писал стихи, в которых призывал смерть, и она пришла.

— М-м-м, не знаю, что из этого получится… Попытайтесь! Мы, во всяком случае, от вашей попытки ничего не теряем. Только не вздумайте злоупотреблять его стихами — широкой публике рассуждения о культуре и тому подобном до лампочки, сами должны знать! Богемные герои массовым читателем воспринимаются отрицательно…

— Я всё же хотела бы рискнуть…

— Чё? Да ради Бога. Сроку вам — неделя, материал принесёте мне, а лучше прислать вот по этому адресу… — Фотографий должно быть не меньше четырёх. Не смею задерживать…

Я рыпнулась было взять в «Периферии» три дня за свой счёт, а меня обязали выписать неделю отпуска. Начала шуметь, но одумалась и приняла эти дни, как дар Божий — внезапно поняла, насколько устала.

Пашка пожаловал в гости на следующий день — я уже была в отпуске и с готовым билетом на руках. Когда я сказала, что ухожу из «Периферии», поздравил. Сообщила, куда ухожу — облил презрением: работа в этой гнуснейшей помойке унижает человеческое достоинство. Предложила помочь мне устроиться в журнал, который возвышает человеческое достоинство — в «Знамя» либо «Октябрь» — снобистски фыркнул: даже меня туда не берут, а ты возмечтала!.. Завершил разговор удачно:

— Продаваться за чечевичную похлёбку в истории рода людского не ново.

К сожалению, Павел Грибов не сообразил, что именно в этот момент я поставила перед ним тарелку супа и положила ложку. Он беспокойно зашарил глазами по кухне, ища что-то родное и необходимое. Конечно, водку. И очень обиделся, что я заметила: этого божественного нектара на гонорары «Сейчас» можно купить больше, чем на оклад «Периферии». Ибо верно почуял, что я намекаю на его, а не на свой аппетит. Даже метнул в угол ложку и сымитировал уход. Но остался, всё съел и выпил.

Как после такой весёленькой беседы можно было сказать Пашке о поездке в Волжанск? Я приняла на вооружение его же метод умолчания главного.

Москва в предзимье выглядела до чрезвычайности мерзкой. Я уныло уповала, что в Волжанске, тысячью вёрст ближе к югу, будет теплее и радостнее, но мечты мои на следующее утро завязли в сером тягучем небе, облепившем белый куб Волжанского вокзала.

В кабинете начальника пресс-службы областной прокуратуры Волжанска меня мурыжили часа два.

— Предупреждать нужно, — говорил тоскливый капитан, вертя в пальцах моё удостоверение члена Союза журналистов России и не глядя мне в глаза.

— Не было времени, — отвечала я, вертя в пальцах диктофон и время от времени включая его с пистолетным щелчком. Капитан от этих бескомпромиссных звуков заметно дёргался. — Командировка на два дня. Проще всё на месте выяснить, чем заводить телефонные переговоры…

Он пытался соврать, что следователя, ведущего дело Савинского, на месте нет. Но всё же с московским журналистом в провинции обходятся лучше, чем со своим. И капитан сдался, позвонил в прокуратуру.

Со следователем Семёновым процедура представления друг другу прессы и юстиции повторилась с точностью до микрона: «Предупреждать надо…» — «Я уже объясняла вашему начальнику пресс-службы… У меня не было времени на прелюдию…» Потом пошли различия чисто технические: «У меня тринадцать дел одновременно в производстве. Четырнадцатое на подходе. У меня в голове к вечеру — каша! Пареная репа, не мозги! Что я могу вспомнить о деле двухлетней давности вот так, с бухты-барахты? Где мне прикажете материалы искать?» — «Обычно они в сейфах лежат в кабинетах…» — «Грамотная, значит? Представляете себе нашу работу?» — «С восемнадцати лет пишу про криминальные структуры…»

Поладили мы неожиданно. Я судорожно зевнула от вчерашней усталости и сказала невпопад:

— У вас в кабинете табаком пахнет. Можно закурить?

Следователь внезапно оживился:

— А я мучаюсь, чтобы даму не задымить… Можно, пожалуйте!

Такими чудесами полна работа журналиста. Братство курильщиков сыграло свою роль, следователь Семёнов прекратил кочевряжиться и перешёл на человеческий язык:

— Очень меня не радует, что вы приехали сюда из-за этого дела! Это не единственный, конечно, «глухарь», но весьма неприятный. Всё же покойный был значительной, по нашим масштабам, фигурой. Опять же журналист… Общественности хочется видеть в нем жертву режима, а данных за это, хоть вы меня застрелите, нет! А волну гонят! А мне прокурор за это — по шапке! Ищи подоплёку! Ну что я — рожу ему подоплёку политическую? Или там криминальную? И вот, когда я уже задолбался найти в этом висяке ниточки, приезжает журналист из Москвы и начинает с меня тянуть то, чего я и сам, хотите верьте, хотите нет, не знаю! Не зна-ю!.. Зачем вы сутки тряслись в поезде из-за нераскрытого дела?

— Я не из-за дела приехала, — с наслаждением закурила новую сигарету — не так в желудке сосало… — А из-за самого Всеволода Савинского. Я уже объясняла вашему коллеге из пресс-службы, что он был значительной фигурой не только в ваших масштабах. Может, вы удивитесь — но это был крупный поэт. Его в московских литературных кругах очень ценили. Вечер устраивали недавно… его памяти… хотели экспозицию делать в литературном музее… — вдруг святая ложь окажется правдой? — Мне не нужны ни доказательства вашей работы по раскрытию преступления, ни криминальная или политическая подоплёка, ни подозреваемого, даже ваша версия не нужна, если не захотите её открыть. Мне нужны голые факты: что известно о происшествии на пустыре. И на этот пустырь посмотреть. И с друзьями его повидаться. С родными поговорить…

— Ну, родных у него — одна мать… Ох, вы с ней поговорите… У меня она в памяти как образцовый человек в ступоре. Просто в коматозе была, когда я у неё пытался элементарные вещи выяснить… Нет, я, конечно, понимаю, что значит сына потерять… тьфу-тьфу… Может, вам больше повезёт…

Из нетолстой папки с протоколами удалось выдоить немного. Нашли Всеволода на пустыре, следов вокруг миллион, но все вроде бы старые, свежие — только его, сильная рана на голове, ушиб мозга, перелом шейных позвонков… Чем нанесена — следствию установить не удалось. Чем могла быть нанесена — некорректный вопрос — от скалки до гладкого булыжника… Не осталось на темени микрочастиц, подтверждающих, что это был, допустим, кирпич. Вообще никаких частиц не осталось. Будто его Илья Пророк молнией поразил… Только от молнии повреждения бы остались явные, а тут — сплошная загадка… Рядом — в луже, дождь ночью моросил, к утру натекло во впадинку — осколки винной бутылки. Никаких чётких «пальчиков». Видимо, смылись, если и были. И вообще, при чём тут эта бутылка, сказать нельзя. Она практически размолота в стеклянную крошку… Может, она там неделю пролежала… Теоретически могла бы ему по черепу навернуть, а практически… Чтоб такой удар нанести, надо бить прицельно с близкого расстояния, а следов рядом не об-на-ру-же-но! Если бы можно было без риска для карьеры убедительно написать, что смертельный удар гражданину Савинскому нанесён бутылкой, прицельно запущенной его конкурентом по газетной работе гражданином Моськиным, Аристархом Селимбабаевичем, я бы это давно сделал и не мучился… Но доказательств этой версии, так же, как и всех прочих, нет.

— Посему дело Савинского до сих пор портит мне репутацию… И всему отделу — статистику раскрываемости преступлений. Если вы мою болтовню запишете, вы мне очень подгадите. Сам не пойму, чего я с вами так разоткровенничался…

Хорошо хоть, я адрес матери Савинского записала.

Две синтетические розы тошно-малинового оттенка касались гофрированными лепестками подбородка нещадно ретушированного лица на портрете. Это была «парадная» фотография Всеволода Савинского надуманной красоты, похожая на плакатного Павлика Морозова. Я натужно отводила от неё взгляд. Тогда глаза наталкивались на осунувшееся лицо матери Всеволода. Глубокие морщины были полны слёз. Женщина их не вытирала.

— Ну, что вам ещё рассказать? Севочка был очень хороший, добрый мальчик… Учился на одни пятёрки…

Я уже прослушала все главы мифа «Жизнь Всеволода Савинского», где фигурировали старушки, переведённые через дорогу, птенчики, подсаженные в гнёзда, собачки с перебинтованными лапами, одноклассники, коим оказывалась помощь в учёбе, лучезарные отметки в четвертях и повальное дружелюбие соседей, приятелей и коллег. Рассказ матери был такой же правдой, как выморочный портрет Всеволода. Я уже понимала, что ничьё мнение не пригодится. Всеволод Савинский был «вещью в себе», непонятой личностью, и как, должно быть, одиноко и холодно брелось ему по пустыне жизни!

С утра я с тем же успехом просеяла без малого три часа времени в редакции «Вечернего Волжанска». Коллеги встретили меня, ощетинившись невнятным подозрением, не смогли удержаться от зависти к столичной журналистке, начали разговор со шпилек, а закончили пустотой. Главный редактор, отвечая на вопросы, пялился в окно и с трудом подбирал слова. Электричество на пустырь так и не провели.

— Раиса Павловна, а вот стихи Севины…

— Да что — стихи! — внезапно вскрикнула мать. — Они-то Севу и погубили, проклятые! Ох, как я чуяла! Ещё с тех пор, как он, маленький, мне стихи про смерть прочитал! Что всё, мол, в мире пройдёт, истлеет…

Горячо! Я подобралась.

— И как я не хотела, чтобы он этой дурью занимался! Нет бы жить, как все, жениться, деток родить — в Литинститут пошёл, прости, Господи, вот уж где клоака! Там его и пить научили! И вовсе с панталыку сбили…

— А можно… — замедленно дыша, попросила я, — можно посмотреть Севин архив, если он остался? И фотографии?

Архив остался. Конечно, его женщина выбросить физически не могла. Но и в «архиве» — толстой кожзамовой папке — наверху, любовно разглаженные, красовались школьные тетради Севы с «проходными» сочинениями, дальше шли первые публикации — извечная для всех начинающих корреспондентов «проба пера» на самодеятельных концертах и творческих вечерах невеликого пошиба. Лишь под этой завалью нашлись сложенные вчетверо развороты на социальные темы — довольно зубастые статьи, написанные с отменным чувством стиля. Стихи хранились отдельно, в папке с позолоченным замочком. На самом дне её покоился листочек с карандашными каракулями.

— Вот! Вот, о чём я вам говорила! Представьте, ночью меня разбудил, чтобы эдакую гадость надиктовать! Вы мне скажите — мыслимо, чтобы ребёночек в одиннадцать лет о смерти думал? О том, что всё пройдёт? Ему бы думать, как четверть закончить, погулять пойти, чтобы мать игрушку новую купила… Я ж его одна растила, но он у меня никогда на содержание пожаловаться не мог! В нитку тянулась, себя что ни день обделяла, лишь бы у Севочки всё было…

«На свете всё подвластно смерти…» — прочитала я, и короткое замыкание звучно щёлкнуло в мозгу — срослись два озарения.

— К сожалению, Раиса Павловна, стихи не спрашивают, к кому приходят…

— Да я считаю — можно и без этой ерунды жить! — запальчиво возразила мать и взяла таймаут на поиск нового носового платка.

В пухлом бархатном фотоальбоме я, наконец, увидела настоящего Всеволода — вихрастого парнишку с очень серьёзным взглядом, задиристого пятиклассника на школьном дворе, голенастого выпускника школы, угрюмо-сосредоточенного журналиста на пресс-конференции, кутилу за накрытым столом, в кругу смеющихся рож — только он смотрел странно — скрытно. Я попросила одну фотографию. Савинская скрипнула, но дала — под обещание выслать сразу же после снятия копии. Когда мать зашлась в новом потоке слёз, я протянула ей свой платок.

— Да вы пейте чай… — промычала Раиса Павловна, загородившись платком.

За окном висела кисельная чернота.

— Раиса Павловна, я пойду, мне пора… Спасибо, извините, спасибо большое.

Прощались и извинялись несколько минут.

Координатами пустыря меня снабдили в редакции. И всё же я с трудом отыскала это гнилое место и остановилась возле «Севиной» скамейки, ощущая холодок в позвоночнике. Пока ещё не мистический, а банально опасливый — одна в чужеродной тьме, полной не только негативной энергии, но и недобрых людей. Редкие шашки окон не горели, а словно чадили.

Ступая всей подошвой по влажному льду, проплыла несколько метров от скамейки и остановилась в полной изоляции от мира. Здесь пошли странности.

Началось с дежа вю — такое же ощущение переправы через Аид овладело мною в «Передоре» при слушании стихов Савинского. Стылый ровный ветер дул в направлении преисподней, грозя снести живую частицу в царство теней. Все пять физических чувств во мне умерли, словно кто-то всемогущий небрежно выключил рубильник, зато ожило шестое, пограничное чувство. У человека есть душа, и чем бы она ни являлась — сгустком энергии, консистенцией мысли или искрой Божьей, но сейчас моя душа трепещет, отчаянно цепляясь призрачными ручками за земной воздух, а его ткань рвётся по ниточке…

Точка, где я застыла, балансируя на скользкой поверхности, была началом тоннеля в параллельное измерение. «На свете всё подвластно смерти…» — прозвучало в голове, и я оглянулась, словно смерть окликнула меня из-за спины. Ничего не увидела. И сзади, и спереди, и со всех сторон царила загробная чернота и молчание, и я испытала то же, что, наверное, выпадает перетерпеть душе, только что вошедшей в иной мир.

Прикрыла глаза, потом открыла и разницы не почувствовала. Но в долю секунды, когда опустились веки, я увидела начертанные на полотнище тьмы огненные буквы, и было их много, много…

Глава VI

…Лет с пяти он худо спал — ворочался и вскрикивал, точно не ребёнок безгрешного возраста, а старик, отягощённый недоброй памятью жизни. Часто просыпался в глухой полуночи, садился в кроватке и панически таращил во тьму круглые невинные глаза. Пялился в темноту и молчал, а голова у него болталась, как у прабабкиного китайского болванчика.

Сева покорно глотал бабушкины сонные средства, козье молоко с мёдом, детские успокоительные микстуры, днём был совершенно нормален, весел, озабочен тысячью детских вопросов — но приходила ночь и будила в нём второго человека. Телу дневного сорванца было пять лет, а тому, кто молча всматривался в черноту, Бог весть, сколько — может, вечность… Утром он отказывался сообщить, что же являлось ему в чёрные часы.

По врачам его таскали, кроткого, смурного и надутого. Впервые увидев врача в халате, он зарыдал в голос и рванулся прочь от матери — насилу она удержала его, а потом ещё долго-долго успокаивала. Дядя доктор, видно, понял — стащил халат, забросил в шкаф — тогда беседа с малышом получилась. «Наверное, его кто-то из медиков когда-то напугал», — озабоченно сказал врач женщине. Плохого диагноза Севе не ставили — розовая мордаха, блестящие глазищи, разговор бойкий — как такого ангелочка заподозрить в червоточинке психики? Проводили тесты: здоров, развитие соответствует возрасту, реакции в норме. А нарушения сна… что ж, бывает. Будем искать первопричину. Но хоть ты застрелись — первопричину не нашли.

Один пожилой, давно уже не практикующий невропатолог, автор едва не десятка монографий, преподаватель медицинского института, порекомендованный по знакомству, никак не мог расстаться с Севой Савинским. Приходил в гости, стал уже другом семьи и толковал с Севой с глазу на глаз. В трёпе ни о чём скрывалась система, и доктор медленно, коршуном, сужал круги. Они с Севой обсудили главную улицу Волжанска, где жили Савинские, детский парк, тир с жестяными слонами и складным клоуном, что потешно дёргался при каждом попадании, преимущества футбола перед стрельбой, несерьёзность дощатого загончика для юных футболистов в соседнем дворе и плавно, по секторам, разбирали родной город. Доктор ударился в воспоминания о пустыре на улице Трактористов, выходящей к Волге, и заметил, как Сева напрягся.

«Что-то у Севы связано с пустырём на улице Трактористов, что-то плохое, — озабоченно объяснял матери врач. — Может, его там собака покусала, может, большие ребята обидели, может, ещё какая-то беда приключилась — но все нити туда ведут. Его бы разговорить! — но он не хочет, всячески запирается, откровенности боится!..»

«Господи, но что?!» — недоумевала мать, вспоминая пейзаж улицы Трактористов — унылую индустриальную окраину в серых кубиках «брежневок», между которыми привольно и уродливо раскинулся рыжий даже в благодатное лето клок неродящей земли, действительно служивший футбольным полигоном для какого уж поколения школяров. Ну, были они там когда-то, ходила Раиса Павловна к своей сотруднице, брала маленького Севу, оставила во дворе погулять — сам попросился! Дождь тогда, кажется, пошёл внезапный… Она выскочила и привела Севку в квартиру приятельницы, чай пили, мальчик сидел тихо, она ещё порадовалась… Что же там произошло?

«Только напрямую не спрашивайте, дождитесь, чтобы сам заговорил! — предостерегал невропатолог, — Может, тот испуг остался лишь в подсознании…»

Сева холодел от того, что старик так близко подкрался к его тайне. «Вся загвоздка в пустыре… А как докопаться, я и не скажу… Тут психотерапевту работать надо… Да не пугайтесь вы так! Не психиатру! Нормальный он у вас абсолютно, здоровее некуда, только вот эта проблемка детская сидит в нём занозой… »

Сева молился про себя, чтобы его не повели к страшному всезнающему психотерапевту. Он ещё не понимал, что к таким врачам советские люди ходить не могут. Потому, что не нашлось гипнотизёра, никто никогда не узнал, что случилось на пустыре, в первые секунды шквального дождя, охватившего четырёхлетнего Севу плотной влажной простынёй.

Можно ли было рассказать кому-нибудь, хоть доброму доктору, интуитивно угадавшему, где собака зарыта? Может, и можно, да она не давала. Всякий раз, как парнишка был готов открыть рот, чтобы заговорить о том самом, она появлялась и опять шла мимо той же стремительной походкой, и глядела на Севу точно с укором: «Я к тебе, как к другу, а ты…»

И как бы это выглядело? Его бы стопудово потащили к психиатру, а там, чего доброго, в дурку бы сдали, а пацаны со всей школы стали бы «психом ненормальным» дразниться — больно надо!

Как такое расскажешь? Осталось в памяти — пыльные носки сандалий, скамейка у подъезда, а у шершавой её ноги целый клад разноцветных стеклышек с острыми краями. Только он занялся сортировкой нежданного богатства, как земля вокруг стала крапчатой. По макушке больно и звонко щёлкнуло. Небо потемнело, ой, как здорово, будто лампу затушили! Какие-то сердитые горошины кусаются в нос и щёки. Схватишь рукой — а там уже не больно, а мокро, и нет никакой горошины. И сандалии уже не серые, а опять красные, лакированные. Это дождь, дождь, ура, я под дождь попал, значит, я уже большой — не только маме приходить в садик и оправдываться: «Сынок, под дождь попала, пришлось в магазине пережидать!»

Она шла прямо к Севе, сидящему на корточках возле подъезда. Белая-белая и высокая — выше мамы, выше дедушки, выше тёти Оли на каблуках, выше телефонной будки, но ниже крыши дома. Что на ней надето — не понять. Целеустремлённо приблизилась, налетела на Севу. Она не страшная, она — как оживший снеговик, только ведь сейчас лето, летом снеговиков не бывает. Если были бы, они бы растаяли. А она не тает. И ещё, она на снеговика лицом не похожа, у снеговиков нос морковкой, а у неё как будто и вовсе лица нет.

Есть глаза, они смотрят, а откуда смотрят, непонятно. Она совсем близко, но всё идёт, дойти не может. Но ей нужен Сева, она несёт ему какое-то слово, оно скрыто в складках белого облака, что колышется вокруг фигуры, в мерной и сильной походке, в порыве навстречу мальчику, в пристальном взгляде…

Мамка выскочила из подъезда, схватила Севу поперёк живота и понесла в дом. Хорошо, что поднималась мама с Севой в руках невысоко — на первый этаж. Сева только поздоровался с тётей, что открыла дверь, и — к окну! Ведь он не понял самого главного — что она ему сказать-то хотела? Ага, счас — будет она дожидаться! Никого у скамейки нет.

Кто нашептал Севе в четыре года и девять месяцев такие взрослые мысли, неведомо, но он знал доподлинно, что белая она приходила именно к нему с важной вестью, и мама не дала дослушать, и теперь она обиделась, и никто не принесёт ему упущенную мудрость.

По ночам белая женщина проходила мимо Севы и вступала в черноту, что воротами распахивалась перед ней. Сева взвивался с постели и глядел следом, но ворота закрывались, и всякий раз был кошмаром от того, что самое главное снова утрачено, а следующей встречи может и не случиться. Испуг неконтакта раз от разу становился горше. Ну, как всё это рассказать большим? Бывает, совсем решишься — вдруг они знают, как её найти, например! — но тут же внутри становится неуютно, будто целую упаковку «Холодка» проглотил. Это уж Севе известно — она рядом и всё слушает. Обижается. Трепло, думает, этот Сева, не скажу ему ничего, пусть до конца жизни ищет мудрость у своих взрослых. Стоит захотеть проболтаться, — и она пропадает на несколько ночей.

Годам эдак к десяти полночные вскакивания стали редкими — раз, много два в месяц. Мать перекрестилась. Доктор счёл за лучшее согласиться. А Сева загрустил, потому что она отступилась.

В школе учился неровно, зато появилась тяга рифмовать слова.

Когда он первый раз слепил фразу «Дождь пошёл — стал мокрым пол», мать обрадовалась несказанно. Похвасталась, видно, спроста классухе, чтобы не ругалась, что у Севы успеваемость хромает. А та — директрисе. Так и вышло, что к каждому школьному мероприятию Севе вручали темы будущих стихов. Сева честно писал… но ему это занятие становилось уже в тягость. А однажды ночью, классе в пятом, проснулся от того, что его распирали слова. Опять подскочил в кровати — и на соседнем диване в панике подскочила мать.

— Что? Кто? Сева! Гос-споди! Сева!!!..

— Стих прёт, — взрослым голосом доложил он.

Строки ему только что приснились, но с каждой секундой яви уходили под тёмную пелену смутных ощущений.

— Что ты, Севочка?!

— Стих прёт! — повторил парень и вдруг заорал на мать: — Неси бумагу, ручку! Стих сейчас забуду!

Трясущаяся Раиса Павловна доставила просимое, и Сева начал диктовать:

— Мечтать о будущем не смейте,
Не много ждёт нас впереди.
На свете всё подвластно смерти,
Как берега песок — воде.
Смотрю вокруг и размышляю:
Стоят дома, растут цветы,
Но упадут дома, шатаясь,
Померкнут лики красоты…

Карандаш выпал из материной руки. Пока она ревела и сбивчиво шептала, что рано ему ещё думать о смерти, мама ему умереть никак не позволит — окончание стихотворения кануло туда же, куда и весь мир канет. Сева усвоил первую заповедь поэта: не делись своим сокровенным с ближними, хуже выйдет!

И классухе, набычившись, заявил на требование написать стихи к окончанию учебного года:

— Не буду больше писать по заказу! Хорошо не получится! А плохими стихами я свой класс подведу.

У классной глаза повисли на ниточках, челюсть на шарнирах. Отдышаться пять минут не могла. Но после уже никогда Севе разнарядку на стихи не всучивала.

Вторая заповедь поэта легла на душу просто и естественно: заказ убивает творчество.

Высокий растрёпанный парень продвигался по засыпающим улицам Волжанска хаотичным маршрутом броуновской частицы. Он направлялся туда, куда добрые люди в такую пору ходят только по большой беде, к пустырю, обрывавшемуся в Волгу с улицы Трактористов. Дурная слава пустыря росла с каждым месяцем, прямо пропорционально кучам бутылок, что коммунальщики вывозили оттуда, и упоминаниям его в милицейских сводках: наркоманы, экстремальные подростки, агрессивные бомжи. Раз в квартал там кого-то убивали или калечили. Жители близлежащих домов спешили в квартиры до темноты, а зимой сбивались в стайки. Писали гневные письма в горсовет, мэру, главе губернии — поставьте фонари на улице Трактористов, жить страшно! Активистам неизменно отвечали, что вопрос поставлен на рассмотрение.

Долговязый гуляка, обозреватель газеты «Вечерний Волжанск» Всеволод Савинский, писал уже третью статью из цикла «Трактористы во мгле», пытаясь выявить хотя бы примерный срок проводки электричества к пустырю. Он пугал депутатов и обывателей жанровыми сценками из быта пустырских маргиналов. А сам приближался в темноте и двенадцатом часу осенней ночи к злосчастному прогалу между типовыми убогими домами. И застыл, как вкопанный, возле покосившейся приподъездной скамейки. Она почти не изменилась с той поры, как малыш в красных сандалетах раскладывал пасьянс битых стекляшек. Всеволод курил около неё долго и пошатывался вертикальным маятником — вперёд или домой. Впереди была темнота, которая не казалась Всеволоду враждебной — напротив, она манила, словно сирена Одиссея, наигрывая на одной струне медитативную ноту. Но жесткоребрые кроссовки вросли в глинистый грунт…

На обратном пути в голове вдруг возник отдалённый звон, потом перестук — эхо надвигающегося состава — и, наконец, состав налетел, громыхая колёсами и задавая неукротимым движением жестокий ритм. Родилась заунывная мелодика, которая и сложилась спонтанно в строчки стихов:

«…Погрузи меня
в пограничное состояние, русский маг,
Скоморохи молчат, но поют медведи.
— Путь фольклора — путь смерти, —
заметил Иван» [5]

Стихотворение, начатое в ночном походе, оформилось потом в целый цикл.

Всеволод вне всяких графиков и закономерностей, ни с того ни с сего, слышал зов — еле внемлемый, однако властный. Днём и ночью, на январском рассвете и в июльских сумерках, во время работы и в часы отдыха, на прогулке с девушкой и в блаженном для корреспондента одиночестве настигал его этот клич, и он, выждав сколько мог, выходил из редакции (квартиры, пивнушки, гостей, троллейбуса, насущных мыслей, повседневной жизни) и шёл, будто перед ним разматывался клубочек.

Знал бы, зачем! Придёт, сядет на скамейку возле подъезда, а коли снег или дождь — то и побрезгует опуститься, будет смолить сигарету за сигаретой и любоваться пустырём! Убьёт так час или два, решительно встанет, рванётся всем телом от границы-скамьи, махнёт рукой да пойдёт назад в город. После каждого посещения этого места Всеволод писал стихи, компонуя в строки странные слова, кем-то надиктованные, и в их сумбуре видел клинопись заклятия, до поры до времени тайного для него. Но с каждым стихом приближался час открытия.

Савинский везде, кроме заветного пустыря, действовал решительно — послал свои творения на конкурс в Литинститут. И даже не удивился, когда конкурс прошёл, позвольте вас на экзамены. Экзамены он, дипломированный преподаватель русского-литературы, спихнул играючи, легко обошёл все рогатки приёмной комиссии и стал называться студентом заочного отделения Литературного института.

Руководитель семинара, поэт настолько легендарный, что при взгляде на него Всеволоду первое время хотелось зажмуриться, почти сразу выделил из толпы гениев лохматого волгаря и во всеуслышание называл парня «надеждой российской литературы». Сокурсники дивились — обычно мэтр был скуп на похвалы, а к мистике, выкормыш соцреализма, относился скептически. Но когда он видел Севку, его словно подменяли, и ласкающим голосом мастер говорил:

— Ну, что новенького написал, дружище? Читай, читай, утешь старика…

До Всеволода дошло окольными путями, что как-то раз в перерывах между сессиями группа ревнующих москвичей потащилась к пожилому светочу с претензиями: почему всё его внимание нацелено на одного Савинского. Кто-то ушлый не постеснялся даже намекнуть на разницу мировоззрений Севки и мастера: мол, что же вы нас за мистику гоняли, а ведь Савинский пишет чёрт-те о чём… Говорят, мэтр пришёл в неистовство, орал площадные слова, топал, замахивался и матерился (хотя инвективку не уважал ещё больше оккультизма). А закончился разнос констатацией факта:

— Вы не в суть вслушивайтесь, остолопы! Вы текст ловите! За его тексты я, старый пень, сердце отдам! Мистикой он к тридцати годам переболеет, а чувство слова у него — от Господа! Боженька над ним пером помахал!.. Он талантливо будет писать, о чём бы ни взялся!.. А вам — стыдно, раздолбаи, лучше бы, чем жаловаться, у Савинского учились слово к слову низать!..

Первые сессии запомнились Севке чередой вспышек и чернот. Провалы в алкогольную тьму после сдачи экзаменов — святое дело. Новые впечатления, новые лица, всероссийские имена стремились в него могучим, сияющим информационным потоком. Блаженная темнота уравновешивала приток острого счастья Приобщения. В каждой новой сессии Всеволоду, неизвестно отчего, чудилась ступень, приближающая его к той самой жданной мудрости. В этих стенах, как и в общежитейских клетушках, его понимали. Люди, с кем преломлял хлеб и разливал водку, говорили на таком же языке догадок и полунамёков.

Раз Всеволод попал в эпицентр запоя, бушевавшего на всём этаже общаги шестой день. Он включился в этот процесс со всем размахом русских просторов над волжской кручей, и сколько-то земного заунывного времени утекло сквозь него, пока душа поэта пребывала в эйфории. Во сне — смутно помнИлось ему — она, белея одеждой, подходила, склонялась прямо к горячему влажному лбу, трогала его сквозняковой ладонью, шептала обнадёживающие слова — и поутру Всеволод лежал без движения, но со счастливой улыбкой на лице, хваля себя, что нашёл верную дорогу к мудрости. Приехав с той сессии, полдня кружил, как заговорённый, возле заветной скамейки. Изредка он поднимал ногу в дерзком порыве вперёд — но что-то его тормозило, словно подошвы ботинок внезапно пропитывались цепким клеем. «И смерть стоит, и тень её колеблет, Она молчит и, без сомненья, медлит» — повторял он сам за собой, в утешение. Медлил, потому что знака (Знака!) ему ещё не подавали. А литинститут подходил для Всеволода Савинского к концу. Оставалось всего ничего — полгода до отчётной весны и дипломного лета.

Десятого октября того года бабье лето задержалось на улицах Волжанска, дуря молодые головы. Золото каштанов бесстыдно шуршало под ногами, а в воздухе носился аромат зрелого вина. Это был прелесть какой удачный день для дружеской пирушки на плэнере! Если б он ещё не выпал на четверг, редакция «Вечернего Волжанска» в полном составе переместилась бы в пригородную рощицу с мангалами, водкой и гитарами, дабы пропить от души звезду «Вечерки» Севку Савинского. Но ввиду сдачи номера гуляшку в полную силу оставили на субботу.

Однако ж по редакции с утра шкодливо разгуливало лихорадочно-приподнятое настроение.

5 стихи Леонида Шевченко

Чуть пропищало по российскому радио шесть часов вечера — а уж товарищи по работе обнесли стол Савинского своими столами, прозрачно намекая: пора! «Покой» накрыли старыми номерами газет, на журналистскую скатерть вывалили кромсанную крупными ломтями колбасу, остывшую варёную картошку, сыр, селёдку, девочки из отдела информации выставили домашние салаты — и жизнь показалась виновнику торжества немудрящим и истинным раем, когда из потайных мест возникли бутылки водки и пива.

Гуляли долго, перебрали все тосты мира. Рядом с Всеволодом сидела, кокетничала корректорша Эвелина — жеманная, как её имя, но далеко не такая красивая. Она усердно оттопыривала мизинчик, когда подбирала закуску с общей тарелки, и морщилась, если кто-то из журналистов отпускал крепкое словцо. И всё время подкладывала Севке «вкусненького»:

— Севочка, давай я тебе вкусненького положу! Севочка, селёдка вкусненькая! Севочка, а сыр с колбаской знаешь, как вкусненько? Давай бутербродик сделаю!..

Эвелина очень хотела замуж. Плотная, с большой попой и крепкими плечами, широкоскулая и склонная к бантикам-рюшечкам, она не пользовалась ошеломительным успехом у мужиков редакции, да и полосы вычитывала не шибко грамотно. Всеволод всегда относился к ней слегка иронически и в будни редко перекидывался словами. Но сегодня она оттеснила пышными бёдрами от Севки весь информационный цветник, прижималась к парню выпуклым боком и упорно ухаживала, не обращая внимания на ревнивые смешки других девушек. Севка в эйфории тридцатого дня рождения перевалил некий условный предел, почуял у своего левого плеча облако жасминного аромата, и ему внезапно понравились духи Эвелины. Он повернулся к ней и заново рассмотрел: какой отменный у Эвелины цвет лица безо всякой пудры, как хороши сейчас её круглые коровьи глаза с поволокой, как идёт ей имидж «купеческой дочки» с картины Кустодиева и облегающее белое платье.

Севку затуманило. Широкое лицо Эвелины несколько раз промелькнуло перед ним солнцем в тучах, и единожды он поймал себя на том, что сжимал в ладонях круглые запястья корректорши и умолял её:

— Нет, скажи! Сейчас скажи! Потом будет поздно! Завтра придёт другой день! — а она уж не кокетничала, а хныкала и пыталась вырваться. Опомнившись, Севка отпустил «возлюбленную», и она, освобождённо охнув, тут же принялась массировать кисти рук. Потом она исчезла из поля зрения пьяного поэта. Гулянка кончилась, но в кармане его оказался черновик старой правки с жирным ученическим почерком поперёк: улица Достоевского, дом 10, квартира 31. Домашний адрес Эвелины!

Севка очутился на улице, один — постоял, обнимая фонарь, и побежал куда-то, думая, что бежит к улице Достоевского. Несколько раз навстречу ему из темноты выплывали женские фигуры, и он радостно кидался на них с объятиями. Нетрезвая память отказывалась хранить слова, которыми его награждали перепуганные дамы. Впереди мелькнула белая тень, и Севка прибавил газу, думая, что это Эвелина в своём обтягивающем платье. Тень обернулась пенсионером в светло-серой куртке, Севка долго путано извинялся, а затем хлопнул себя по лбу и изругал матерно: ведь на улице холодно, Эвелина не может уйти в одном платье! Поверх платья у неё что-то было… пальто… куртка… но какого цвета? Севка сверил адрес на записке с табличкой на стене ближайшего дома и удостоверился, что находится в микрорайоне Мирный, и к Фёдору Михайловичу на поклон идти пёхом полчаса в обратную сторону. Пошёл, решил сократить путь, углубился во дворы, тьмою, теснотой и вонью напоминавшие прямую кишку, пару раз растянулся…

Хмель сошёл с Всеволода, когда он полулежал на какой-то горизонтальной поверхности в неудобной позе. «Дошёл!» — возликовал поэт и огляделся. Но вокруг были не поздние сталинки улицы Достоевского, а контуры каких-то мучительно знакомых пятиэтажек… Подобрав под себя ноги, Севка выпрямился — и узнал пустырь на улице Трактористов, отстоящий от «писательского» района на целый час пешего пути. Он сидел на «своей» скамейке. Во все глаза пялился на пустырь, дышал ночным озоном, слегка дрожал после выпитого — но никогда ещё его голова не была столь ясна, а сердце столь спокойно и ликующе. Знак был подан! Ведь Эвелина не случайно вырядилась в белое! Она об этом не подозревала, но тот, кто утром, при сборах на работу, протянул её руку к белому платью, точно ведал, что настал час открыть Савинскому глаза на тайну его предназначения. Мудрость была совсем близко.

Он протянул руку и схватился за воздух. Встал на ноги и поразился их пружинящей бодрости. Он легко зашагал прочь от черты-скамейки в темноту, чреватую величайшим открытием. Он напрягал зрение — и увидел в клубах мрака другую белую фигуру. Высокая, выше «баскетбольного» Всеволода, выше телефонных столбов и крыш «хрущёвок», она спешила к Севке, она тоже протягивала руки, и в её призрачных ладонях трепетало бледное пламя заветного познания… Она готова была поделиться с Савинским всем, что знала. Она шла навстречу, и теперь уже у неё появилось лицо, знакомое, словно виденное в яслях Господа Бога.

— Иди ко мне! — позвала она, и Всеволод обрадованно зашагал, постепенно переходя на бег. Мудрость в том, что жизни тут надо предпочесть жизнь вот за этой чёрной завесой. Чёрные ворота гостеприимно открываются! Сколько годов потрачено впустую, оставив по себе разве что стихи-предощущения!

— Мудрость даром! — провозгласил Всеволод на весь пустырь, на весь Волжанск, на всю свою непутёвую житуху.

В балке, не видном от города, шобла тинэйджеров после водки пила портвейн. Они бы взяли ещё водки, но общественного достояния хватило лишь на тошнотную «Анапу» в унылом «огнетушителе» 0,7, которым травились ещё отцы их и деды.

— О, бля, — орёт кто-то! Пошли, попинаем?

— Да охота, мля… Пей лучше.

— Да ты, козёл, чего тут пить? Охерачил, бля, всё, пустую суёшь? Обнаглел? Бычки давно в глазах не шипели?!

— У-я, бля, суки, кто портвейн допил?

— Сидор, кто! Х… в пальто!

— Сидор, бл…! Гони за новой!..

— Отсоси! Бабло есть? Нету? Свободен, бля!

— Да я те щ-щ-ас!..

— Э, пацаны, так не договаривались! Своих не бить! Дай сюда бутылку, урод! Условного срока мало, е…?

Зелёный «огнетушитель», кувыркаясь, полетел за спину вожака.

— Мудрость даром! Берите, люди! Я со всеми поделюсь!!!

Невыносимо тяжело ударило по голове долгожданное открытие.

Белесый туман поднимался над Волгой.

— Еб…! Ты куда кидал, сука? Ты слышал, х…нуло кому-то?

— Бомжа зашибли — и х… с ним!

— Петух, мля! Я за тебя сидеть не буду!

— Кто петух?!

— Уроды, мотать надо, мы мужика пи…нули! Бутылкой по черепушке — всё, бл…, готов!

Врассыпную, под привычные переливы мата, под сбивчивые обещания натянуть кое-что коекуда тому жопорукому идиоту, кто метал бутылку, не глядя…

«Сотрудниками Тракторного РОВД г. Волжанска А. Б. Ивановым, В. Г. Петровым, следователем прокуратуры Е. И. Семёновым в присутствии участкового И. К. Дубова и понятых Х. и Р. Произведён осмотр места происшествия — территория участка между домами № 17 и 19 по ул.Трактористов. Тело мужчины 30–35 лет лежит головой на юго-запад… Смерть предположительно наступила между 23:00–00:00… от обширной гематомы, вызванной ушибом головного мозга тупым предметом… В состоянии сильного алкогольного опьянения, 3 промилле… Рядом лежат осколки бутылки ёмкостью 0,7 л., предположительно отечественного производства… Документов, удостоверяющих личность, при пострадавшем не обнаружено…»

На следующий день Савинского безнадёжно искали по редакции. Трясли Эвелину — она краснела и клялась, что не видела его со вчера. Решили, что отсыпается после гулянки дома. После обеда у замредактора прозвонил телефон.

— «Вечерний Волжанск», здравствуйте. Да, да, редакция. Кого? Савинского? Гм… Он вышел… Когда? А вы, простите? Мать? Ма-ать? А что, его дома нет? Да нет, просто… Ну, если честно, мы его сами ищем… Нет, серьёзно. Вчера мы отметили его день рождения в редакции, а сегодня он не пришёл. Мы думали, он… ну, знаете, расслабился, никак не проснётся… Не приходил? Странно! Конечно, позвоним, если появится. Всего доброго. Ребят, что-то странно… Мать в истерике. Говорит, он всегда домой ночевать приходил, хоть к утру, хоть какой…

В пятницу же мать Всеволода Савинского позвонила в милицию с заявлением о пропаже сына, но его у неё не приняли, так как слишком мало времени прошло с момента исчезновения. Весь вечер она листала старую записную книжку парня, звоня по всем телефонам подряд, и глупо спрашивала, когда последний раз видели её Севочку. В субботу она, поседевшая клочками, позвонила в бюро несчастных случаев, и её пригласили на опознание тела. Мать опознала тело…

В понедельник с утра, когда ещё Раиса Павловна не позвонила главному, в редакцию прибежал сотрудник пресс-службы УВД области и бросил на стол информотделу сводку происшествий за выходные. С ней сколота фотография неизвестного мужчины, который с закрытой черепно-мозговой травмой, повлекшей летальный исход, подобран был на пустыре на улице Трактористов. «Опубликуйте, может, кто узнает…» — сказал сотрудник. Нормальный бюрократический бардак — в пресс-службе ещё не знали, что тело уже обрело имя, фамилию и безутешную мать.

Вопль, который испустила самая смазливенькая из сотрудниц информотдела, взглянув на фото, привлёк в их тесный отсек всю редакцию. Так стало ясно, почему Всеволод Савинский не явился на работу в пятницу и после выходных.

Женщина, отдалённо похожая на Раису Павловну Савинскую, сидела в кабинете следователя прокуратуры Е. И. Семёнова. Снятие свидетельских показаний длилось второй час. Следователь уже устал пережидать моменты, когда женщина, щуплая, со встрёпанной неровной сединой устремляла за окно горящий ожиданием взгляд — словно чаяла там увидеть сына. Шёл бесполезный разговор: следователь у матери, мать у следователя пытались выведать, чего ради Всеволод Савинский потащился среди ночи на пустырь. Их обоюдные вопросы так и остались без ответа. Уголовное дело «повисло».

Всё, что происходило со Всеволодом, в виде гипертекста предстало передо мной. И я присела, словно кто двинул под колени, чтобы уберечь голову от бутылки, летящей из внеземного пространства.

Там, за Аидом, шевельнулась двухметровая тень: «Ну что, догадалась?»

«Догадалась!» — послала я ответный мысленный импульс. Теперь я точно знала: смерть пришла за тем, кто её кликал тридцать лет, и обставила уход поэта, как могла, правдоподобно.

Но я не учла, что опасно обмениваться репликами с душой Всеволода — тоннель был открыт, ветер набирал силу, постижение Мудрости должно было быть наказанным, а Смерть никогда не устаёт махать косой…

Я, живая, подчёркнуто плотская, не хотела уходить в чёрный омут, у меня на земле были Ленка, мать, Павел Грибов, любимая работа, и я отродясь не написала ни строчки стихотворной, стремящейся туда… И всё же меня тянуло вперёд. Но бабка завещала мне надёжное средство от мороков: молитву Честному Кресту Господню!

Перекрестилась. «Да воскреснет Бог, и да расточатся врази его…»

Голос бухнул ненормально громко. Зато ощущение перехода в мир иной пропало. Ноги нащупали землю.

В продолжении молитвы я постыдно запуталась, посему произнесла просто:

— Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Всеволода!

Вокруг — посмотреть зрением телесным — ничего не изменилось: темно, холодно, скользко и небезопасно. Прочь, прочь с пустыря! Возле остановки троллейбуса меня прошиб холодный пот, и припадочно заколотилось сердце. Хорошо, гостиница приняла постоялицу безразлично-любезно. Включила телевизор и радио, влезла под горячий душ. С преувеличенным вниманием уставилась в экран, повседневной суетой отгоняя от себя жуть встречи с неведомым и внутренне скуля, точно в карантине — не прилипла ли ко мне зараза? Не потянет ли и меня в чёрную дыру, следом за Всеволодом?

Глава VII

«Сейчас», вопреки моему скепсису, принял репортаж, и хоть с купюрами и правками, но опубликовал. В день публикации я уволилась из «Периферии». Между двумя работами выпадал люфт, дней пять.

Сидя дома, я с нервным оживлением ожидала эффекта, который должен был бы произвести на Павла Грибова сюрприз. Сама любовнику газету под нос совать не хотела, положилась на судьбу. Вдруг он изменит своё мнение о журналистике?..

Дождалась.

Прозвенел звонок у лестничной двери. Открыв, я зафиксировала взглядом два достойных объекта: каменное лицо Павла Грибова и свёрнутый в жгут «Сейчас» у него под мышкой. Избежав ритуальных поцелуйчиков-обжиманий на пороге, Павел мощной грудной клеткой потеснил меня, и в комнату мы втянулись задом.

Ни единого вопроса задать не довелось. Даже выдохнуть я не успела.

— Сука драная, — припечатал Павел, кидая на стол скрученную газету.

Глаза его были свинцовы. Их взгляд давил. Я заметалась, ища помощи, попятилась к окошку, оперлась спиной на подоконник…

— Мразь, — продолжил Павел.

В груди поселилась небольшая чёрная дыра, куда беззвучно улетело всё живое.

— Как ты могла такое натворить?!

Он взял со стола газету и подирижировал ею под лампочкой, давая понять — дело в полосе номер восемнадцать.

Много оскорблений выпадало мне от Павла, но таких я пока ещё не удостаивалась. И никогда в жизни меня никто не ругал столь площадно, не объясняя вины. А из меня чёрная дыра высосала гладкую продуманную речь в свою защиту: в увековечение памяти Всеволода я вложила свою лепту, и смею надеяться, что это не самый плохой вклад, потому что я рисую его человеком, а не только поэтом, и даже постигаю его душу, потому что мне она раскрылась…

— Тем, как ты обошлась с памятью моего друга, ты лишний раз доказала — я для тебя говно! — бросал камнями в грешницу Павел Грибов. — Я очень жалею, что расслабился, сделал себя перед тобой уязвимым! Я ведь чувствовал, насколько ты опасна в ненависти! Но думал, идиот, что человеческого в тебе всё же больше!.. А ты!.. Ты много раз мне демонстрировала… Особенно после того, как я рассказал тебе про Ми… свою девушку… что отношение изменилось! Ты стала меня ненавидеть, при каждом удобном случае кусать! Пока это касалось только меня, я терпел! Но последний случай переходит все границы! Потому что речь идёт о Поэте! Который одним своим поэтическим словом сделал для этого мира больше, чем ты со всеми своими типографскими подтирками! Ты не стоишь мизинца Севки! И ты… ты, дрянь… ты его позоришь, низводишь на уровень обывателя… гнусного совкового пролетария… быдла…

— Но ведь это правда…

— Ты продолжаешь упорствовать?! В своей тупости и подлости?! Ты хоть понимаешь, что и меня ставишь под удар… Ведь если кто поймёт, что с моей подачи ты занялась этой темой… И так её извратила… Ты же с навозом меня смешала! Больше ощущать себя говном я не намерен. Между нами всё кончено! Ты мне не нужна ни в каком качестве! Я тебя видеть не желаю!

Он швырнул злосчастную газету на пол, махнул рукой и пошёл вон. Бежать за ним, чтобы возразить, я не снизошла бы и под нацеленным автоматом.

Две двери пушечно грохнули на пути Павла Грибова. Сам защёлкнулся «дневной» английский замок на внешних вратах.

— Надя! — воскликнула из соседней комнаты Софья Кирилловна. — Попроси своего визитёра, чтобы в следующий раз он хлопал дверями потише! У меня прямо давление повысилось от такого грохота! И косяки у нас слабые, это тоже надо учесть…

— Простите, Софья Кирилловна, следующий раз такого не повторится, — размеренно доложил бабке некий механизм из моего горла.

Больше я его тоже не видела в мире живых. Никогда.

Но мы с ним разговаривали.

Не пугайтесь — я не помешалась от горя. Просто тесная эмоциональная связь наша с Грибовым (а насколько она была тесной, я осознала, лишь когда он жахнул дверью!) не могла уйти сразу в никуда. Между нами продолжался виртуальный контакт. Я по сто пятьдесят восемь раз на дню вспоминала Пашку, цитировала его, мысленно огрызалась ему в ответ, спорила с ним, а то и соглашалась, и порой даже ловила себя на том, что прихорашиваюсь, как будто он меня видит откуда-то издалека. Уверена, что все, пережившие потерю, меня понимают.

Безусловно, то же самое переживал и Павел Грибов.

После разрыва с любовником я прекратила появляться в «Передоре». Как и на прочих литературных нивах, где паслись упитанные тельцы

и важно бродили пастыри от высокого искусства. Хотя меня туда ещё почти год пытался заманить добрый честный примитивист Василий Сохатый.

Он мне звонил раз в три, четыре дня, как на работу выходил (был охранником какого-то магазина сутки через трое). Звал прогуляться, приглашал «посидеть», анонсировал творческие вечера. Он явно ухаживал, метя на то «свято место», которое внезапно оказалось пустым. Но был мне неприятен после идиотского выкрутаса Пашки. И я не церемонилась с Василием, подбирая слова для отказов.

Один лишь раз он порадовал меня — когда, через недели две после исхода Пашки, впервые позвонил мне домой поздно вечером. Примитивист нашёл выпуск «Сейчас» со статьёй «Он так долго звал смерть, что та к нему пришла» и рассекретил автора.

— Надь, классно написано! Интересную ты версию выдвигаешь! И вообще интересно читается! Легко так! И ничего в ней оскорбительного нет для Севки. Я его же помню — он всегда, как не от мира сего… Будто кого-то всё время слушал, помимо нас… Так что ты молоток, никому не верь!

«Слышишь — твои же друзья призывают тебе не верить!» — сказала я астральному телу Пашки, кое явственно колыхало воздух над левым моим плечом. Это не было галлюцинацией! — на загривок мой недобро подуло, аж мурашки побежали — Пашка, отделённый от меня гигантской городской каменоломней, взъярился.

Сохатый, поразительно упорный в своём чувстве, стал для меня «буревестником», изредка приносившим, помимо откровенного мусора, важные новости — например, чёрную молву о кончине «Перадора». Оттуда вынесли книжные стеллажи и аудиоаппаратуру так стремительно после расставания моего с Павлом — какие-то полгода промелькнули, как перелистанные компьютерные страницы! — словно мой негатив разрушил ни шатко ни валко движущийся бизнес. Шутка — скорее всего, просто экономические законы взыграли, и литературное кафе приказало долго жить. Управленческая команда сменилась, новый хозяин перепрофилировал рыцарский замок в шалман для бизнес-класса — со стриптизом и игорным залом.

Рогатый примитивист позвонил мне после одной майской полуночи, задыхаясь, как после марш-броска на пять километров, и жалобно твердил: «Суки! Су-уки! Ну, б…, какие же су-у-у-уки!». Применив всё своё искусство беседы, с трудом, в час по чайной ложке, я выжала из поэта факты, помимо комментариев.

Вася Сохатый хотел, по традиции, завершить удачный для него день в любимом кафе, и, придя туда, на выходе столкнулся с двумя амбалами грузчицкого вида. Мощные хватательные агрегаты грузчиков играючи ворочали фрагмент стеллажа. Углом полки в красивом кульбите едва не задело зубы примитивиста, открывшего от изумления варежку. Его же и обругали за то, что под ногами путается. А на косноязычный вопрос типа «Что здесь происходит?!», Гераклы слаженно и кратко ответили, что происходит п…ц кафе, приходи через неделю, смотри, как бабы будут на шестах кувыркаться. Сохатый произвёл кучу эмоциональных и ненужных звуков, попытался проникнуть вовнутрь и был отброшен второй очередью грузчиков, выносящих на сей раз колонки. Вмиг ставший из примитивиста мазохистом Сохатый назавтра тоже пришёл наблюдать за разорением «Перадора» ордами варваров, наткнулся на одного из владельцев, выпускника Литинститута, от которого и узнал, что высокое искусство в который уж раз проиграло коммерческой прозе жизни. Кафе пришлось продать, пока за долги не закрыли, и вот теперь новый владелец оборудует здесь стрип-бар, а он, бывший пайщик, пока поднакопит деньжат на новое предприятие. Например, сочиняя стихотворные подписи к открыткам. По этому поводу Вася напился на дому и известил меня: мы больше никогда не вернёмся туда, где были столь счастливы. С последним тезисом я бы поспорила… Но пожалела Ваську.

А вот со второй вестью от Сохатого так просто справиться мне не удалось. Ещё бы — она касалась Пашки.

Буду краткой — до сих пор о некоторых фрагментах его биографии мне трудно говорить в подробностях. Да, я ревнива. По сей день неприязненно спрашиваю у того узелка в моей душе, что зовётся Пашка Дзюбин: «Ну, и с кем ты теперь, паразит, пьёшь чашу жизни?.». А уж к девушке Пашки Грибова, которой он боялся принести триппер от своих менее возвышенных соседок по койке, питаю стойкую антипатию. Необъяснимую. Но ядрёную. А то, что поведал мне Сохатый, касалось лишь её.

Милена — вот как её звали. Только тут я поняла, отчего житель ноосферы «мимикал», вспоминая о ней. Была она хохлушка, дочь военного, приехала в Москву учиться в Литике из Великого Новгорода, и Пашка её безумно любил. Потом он встретил меня и безумно любил двух женщин. Потом я предала светлую память Севы Савинского. Пашка вернулся ко мнению о всех журналистах как о продажных тварях и обрадовался — дилемма якобы решалась сама собой. А ещё потом… Грибов загулял с друзьями. Милена, к тому времени осевшая у него в квартире как натуральная жена, в розысках позвонила Ваське Сохатому — а тот был на дежурстве в своём магазине и не квасил с мужиками, спросила, где искать суженого. Сохатый возьми и брякни: «Может, у Надьки?..»

К чести корешей Грибова и моему посрамлению, они и вправду эту инженю берегли от информации обо мне. Так что Вася попал… Из него вытянули всё, вплоть до моего домашнего телефона — да только, сдаётся мне, я в Березани в ту выходную ночь была. А наутро мой номер стал неактуальным. Хохлушка Милена дождалась Грибова, сказала ему, кто он есть, собрала чемодан и ушла от него.

Она забрала из института документы и свалила к предкам в Великий Новгород. А Пашка… продал свою квартиру и уехал следом. Свататься. А Милена его на порог не пустила. И её папа, полковник вдв, вышел в подъезд — по-мужски потолковать с гением. Разговор вышел таким, что матримониальные поползновения Грибов оставил навсегда (я злоязычна — точно ревную!).

Но он не уехал назад. Купил в Новгороде жильё. Остаток денег стал пропивать. И в одном шалмане, в рабочем квартале, встретил свою мечту — золотозубую буфетчицу. «Прислонился» к ней, воплощая в жизнь представления о ноосфере. В купленной квартире, по слухам, и не появлялся — жил с той тёлкой, отгонял от неё слободских ухажёров, помогал ей убираться в «торговом зале» после закрытия и читал ей стихи. Месяца через два такой жизни она опоила его водкой из новой партии. Оказался почти стопроцентный этиловый спирт.

Разумеется, не нарочно. Было шумное уголовное дело. Продавщица получила условно, владелец рыгаловки — реально, производителя зелья найти по адресу, указанному в накладных, не удалось. Из отведавших водочки протошнились с горем пополам в больницах человек шестьдесят, а десятеро скончались. Одним был Пашка.

Продавщица сообщила Пашкиным родителям, вытащив из его кармана московскую записную книжку. Весть дошла до Москвы и распространилась по литературной тусовке чёрным облаком. Самые впечатлительные даже пить завязали. А самые близкие — и Васька Сохатый — поехали на похороны.

Щадя меня, он рассказал всё это месяцем позже — выдал единый блок информации с непривычной для него серьёзностью. Присовокупил, что Милены на погребении и дружеских поминках, кои друзья сымпровизировали в гостинице, сбросив с хвоста искренне рыдавшую златозубку, не было, хотя её и звали.

Услышав это, я мигом приняла решение. Мне захотелось по смерти Пашки умыть эту чистенькую сучку, сделав то, на что ей не хватило духу. Простить она его, видите ли, не смогла!..

Васька долго и путано объяснял мне, как найти Пашкину могилу на Ново-гражданском кладбище Великого Новгорода. Но я и сама видела, где он лежит и страдала от невозможности прямо сейчас смести с подзолистого бугра оспины ржавых листьев. Прошёл год с того момента, как мы впервые сцепились в «Передоре». И уже не было при мне ни того, ни другого.

Я «пробила» два дня за свой счёт и в шесть утра вылезла из московского скорого на новгородский аккуратненький вокзал. Шла к могиле с букетиком лиловых астр, при этом сознавая, что так и не отпустила Пашкину душу на покаяние. А на могиле стоял деревянный крест без фото — откуда у буфетчицы фотосессия Павла Грибова? Но он смотрел на меня, должно быть, из вожделенной своей ноосферы, и я подумала отчаянно, стиснув цветы до появления грязноватого сока: «Ну что, что тебя так манило в ноосферу?! Ради чего ты про…л свою жизнь?! Зачем она тебе так понадобилась, что ты бросил любивших тебя женщин во имя поэзии и инфернальных стремлений?!»

Это было дежа вю — почти то же самое я испытывала на пустыре, где погиб Всеволод Савинский. Открылся туннель, только ветер подул не в него, а в обратную сторону, толкнув меня шага на два назад от скромного надгробия. Пашка не хотел меня пускать в свою святая святых. Мне почудилось — он всё ещё не верил, остолоп, что только я могу его услышать. Но оказалось сложнее: он вышел со мной на контакт, лишь чтобы подтвердить — я не нужна ему. Я, крепче всех с ним связанная, хуже всех его понимаю. «Отойди!» — рявкнул кто-то в ухо. Отошла. Неприглядная листва покрывала холмик над Пашкой, её было много, много, она шевелилась под ветром, который шёл из того туннеля, она крутилась низко-низко над землёй, складываясь в каббалистические знаки, затем — в слова, и, напрягшись, я до боли в глазных яблоках вчиталась… Прочитала всё.

С рождения и во веки веков Пашка руководствовался словом: «Хочу!»

В детсаду. Перед школой. В школе.

— Не хочу в серую школу, хочу в розовую! — заявил Пашка за завтраком. Ему было семь. Благополучную московскую семью — папа инженер, мама учительница, трое детей, двое умных, третий шалопай — естественно, Пашка, — лихорадило от приближения первого сентября. Двое старших без вопросов потащились в соседнюю школу. Пашку отдали туда же, и в первый день занятий первоклашка Пашка Грибов пришёл домой в неурочное время. Через полчаса после того, как мама из-за школьной калитки сделала ему ручкой. Сам. Перейдя две дороги, одна из которых называлась Проспект Мира. Мама чуть в обморок не упала.

— Я хочу в розовую школу, а не в эту!

— Какую розовую?

— Не знаю. Она далеко. У бабушки.

Мать была готова к инфаркту. Бабушка по отцу жила в Марьиной Роще. Чтобы Пашку взяли в школу не по прописке, матери пришлось врать, что парень будет жить у бабушки. А потом ей пришло в голову, что это неплохой выход. И Пашка переехал к сумасбродной старухе Альбине Алексеевне, с которой, всем близким на диво, находил общий язык до самого дня её смерти. Бывшая политзаключённая, освобождённая по амнистии и одарённая правом вернуться в Москву, передала внуку свой непобедимый и вздорный коммунистический характер.

У неё над трюмо висел портрет Сталина, и когда редкие гости с вежливым недоумением косились в ту сторону, старуха заявляла:

— Мне так нравится! Я до смерти останусь гражданкой его страны!

В пятнадцать лет Пашка повесил напротив Иосифа Виссарионовича увеличенное фото Александра Галича и заявил:

— Мне так нравится!

Бабка хмыкнула и отозвалась:

— Говнюк, а сечёт! Этот жид много сделал для увековечивания памяти вождя!

В школу, когда Пашка хулиганил не по-детски, до вмешательства директора, РОНО и вызова родителей (то есть три раза в неделю) вместо отца и матери ходила бабка. Клацала алюминиевым костылём на учителей, кричала надорванным голосом. На угрозы исключить Пашку прозорливо реагировала:

— Статистику себе портить побоитесь!

А на все остальные претензии неизменно отвечала:

— Если б все ваши примерные ученики были хоть на мизинец бойцами, как мой засранец, мы бы не боялись третьей мировой! Мы бы разбомбили америкосов в их логове!

Выходя из школы, бабка жадно затягивалась «Примой» без фильтра, совала и Пашке сигарету:

— Кури, золотая рота! Лучше при мне кури, чем с уркаганами в подворотне!

Примерно так же она просвещала внука и насчёт спиртного:

— За столом — можешь, а за столбом — не смей! Не выживешь! Засосёт!

И до самой армии Пашка пил только за столом с бабкой — в день Победы, в день Октябрьской революции, в день рождения Сталина…

Бабка прописала в свою однокомнатную нору одного внука — Пашку. Оставила завещание, что он в день совершеннолетия вступает в права пользования этой жилплощадью. И когда она скончалась — утром Пашка встал, а бабка, перечитывавшая на ночь сочинения Вождя через лупу, свесилась набок из кресла, приоткрыв сухой уже рот в синеватых губах, выпустив из костенеющих пальцев лупу, но мёртво стиснув томик Сталина, — он поставил на своём: останусь тут жить. Один. Шестнадцать лет было обалдую, и без бабкиного агрессивного заступничества не светил ему аттестат зрелости. Как и профессия.

— Да что ж это такое?! — кипятился на семейном совете старший Пашкин брат, решивший жениться. — Мне, значит, к жене идти, а ему, сопляку несовершеннолетнему, прохлаждаться в отдельной квартире?!..

— Почему нам ничего нельзя, а ему всё можно? — подвывал средний. — Вы говорите, что надо старших уважать! Пашка вас в грош не ставит, вы перед ним пляшете, а мы вас слушаемся, так теперь без квартиры остались. Что — мне отдельно пожить не хочется?..

— Мне нужнее! — кричал старший. — У меня невеста беременная!..

— Дима, Владик, — обречённо сказал отец, — пусть его. Понимаете — у вас всё впереди. Вы… вы нормальные люди. С руками, с головой… Вы себе на квартиры, даст Бог, заработаете, а Паша-то никогда…

Спор закончился тем, что мать подошла к сыну и прошептала ему на ухо:

— Пашка, отчего ты нас так не любишь?

Эффект внезапности сработал — Пашка дрогнул и наставил взгляд на мать. Вопрос его задел, хотя он и отмолчался. Пашка знал ответ: добропорядочные предки и правильные старшие братья не были, по его мнению, личностями. Они были пресны, как диетический хлеб. Полезны и унылы. Он не любил «никаких» людей. Он в свои шестнадцать любил одну лишь свою бабку — стриженную под горшок (лагерная привычка!), грубую старуху, забывшую в зоне все навыки стенографирования, и презиравшую работу за кусок хлеба, ибо ей безбедно жилось на пенсию реабилитированной. Бабка, секретарша какого-то кадра из НКВД, угодила в мясорубку следом за ним. Список «вычищенных» с её фамилией стенографировала и печатала уже другая секретарша другого начальника. Историю отсидки бабка рассказала Пашке в подробностях, заронив в него глубочайшую ненависть ко всем правоохранительным органам.

Почти так же сильно, как «палачей», «карателей», «вертухаев», Пашка возненавидел журналистов. Бабка давала ему почитать газеты тридцатых годов. Передовицы, бившие наотмашь чёрными молниями развенчанных фамилий, столбцы «врагов народа», объявления об отречении от семьи, смене фамилии, расторжении брака из-за политических убеждений, гирлянды «троцкистских охвостий», «промпартийцев», «уклонистов» — и слащаво-патетические тексты о мирном созидательном труде, победном ходе пятилеток, индустриальном марше, и славном Вожде-Учителе. Всё это дышало фальшью даже через полвека.

— Мама, я хочу служить в Афгане.

Все слёзы мать уже выплакала. Она сухо вздохнула и без чувств опустилась на пол.

— Паша, — метался отец возле жены и сына, — зачем же ты так… Видишь, маме плохо! Ты бессердечный, сын! Мы тебя устроим в институт, всё ведь уже договорено… Ты хоть знаешь, чего нам это стоило?! — сорвался он на безутешный крик.

— Не знаю. И знать не хочу. Там — жизнь. А в вашем институте — болото.

На призывном пункте райвоенкомата царил вой и стон, майская жара пекла невыносимо, «погоны» расстёгивали кителя, распаренные штатские обмахивались, чем придётся, падали в обморок от духоты… Среди этого Содома и Гоморры перед пожилым майором стоял неулыбчивый юнец и спокойно повторял:

— Хочу служить в Афгане!

В Афган Пашку не взяли. Служить срочную он поехал в Белоруссию, в танковую часть. Из белорусской деревни, унылый пейзаж которой необъяснимо напоминал о Хатыни, его привезли через полтора месяца, спелёнутого в смирительную рубашку, бьющегося в конвульсиях, точно гигантский червяк, и воющего матом.

— Деньги есть? — спросил прапорщик в поезде.

— Не про твою честь, — отозвался Пашка.

Двое старослужащих, посланных сопровождать призывников, по знаку прапора скрутили Пашке руки. Прапорщик полез во внутренний карман старого отцовского пиджака. Червонцы, скрученные незаметной для гражданского трубочкой, шмыгнули в опытную руку.

— Хорошо, бля, амёба делится… — приговаривал прапор, пересчитывая деньги.

Пашке хватило сил доплюнуть ему до угреватой физиономии. Прапорщик замер. Не спеша утёрся. Сунул деньги в карман.

— Так, салажонок, ты об этом будешь жалеть каждый день службы, понял меня? Чтобы лучше дошло, начнём урок хорошего тона прямо сейчас. Ребя, объясните чмошнику, что он не прав…

Пашке методично, с удовольствием, набили морду и не сразу отпустили — наблюдали, искрясь радостью, как он фыркает собственной кровью из носа.

— Так… так… вот здорово! И поумнеет, и синяков не осталось…

Товарищи по призыву трусливо изучали ландшафт за окном.

— …Ну ты, салага, — сказали ему в казарме после первого же отбоя, — порядок знаешь?

— Не знаю и знать не хочу.

— Чтобы к утру подворотнички были пришиты, а то век будешь очко зубной щёткой драить!

— Ничего я тебе пришивать не обязан.

— Ты как разговариваешь, чмо болотное?!

— А как с хамом разговаривать?

Пашку били все деды казармы, так, что он не смог подняться по команде «Подъём!» Дежурный ротный устроил ему разнос, но, приглядевшись, послал парня в санчасть. Там врач долго пытал Пашку о происхождении синяков, но добился только издевательского: «Споткнулся, упал!»

Били его впредь каждую неделю. Неравно, многие на одного, уже не по злобе, а из садистского любопытства — долго ли ещё пащенок будет скалить зубы? Пащенок утратил один клык и половину верхнего резца, заработал шрам от кастета над правой бровью, на своих двоих, немилосердно хромая, перенёс перелом мизинца левой ноги, но всё равно посылал дедов, куда следовало. Противостояние не могло продолжаться, Пашкино слепое упорство дезорганизовало казарму, прочая молодёжь внезапно прекратила доиться и угождать…

К сумеркам 14 июля деды услышали по радио, что сегодня — день взятия Бастилии. Кого-то из «духов» снарядили в сельпо за одеколоном, и тот приволок по карманам несколько пузырей «Тройного». Выжрав из украденных другим «духом» в столовой стаканов белесое молочко от бешеной коровки, прапорщик Панатюк, оплёванный Пашкой, внезапно изрёк:

— Французы молодцы. Они взяли Бастилию силой. Они сломили сопротивление тирании… Ребя, теперь вы поняли, что надо делать с крепостью, которая не сдаётся?..

— Уничтожать? — вякнул один из «дедов».

— Если уничтожать, крепостей не хватит… А от них ещё может быть польза… Крепости надо — для самых умных повторю — брать силой. Столько раз, сколько сможем. Или захочем. Понятно?

— М-г-му…

— У нас тут есть своя крепость, которая не сдаётся. А крепости должны падать. И вот мы её сейчас…

И как Пашка ни дрался, уже приученный держаться насмерть, двадцатирукое чудовище, отпинав его двадцатью ногами, подтащило к прапорщику Панатюку, что удобно расселся на стуле в «красном углу» казармы. После отбоя он и «деды» были здесь божествами. Им подчинялось, казалось, даже время. Рассветы для «салаг» наступали слишком поздно.

— Маменькин сынок, который не любит делиться с хорошими людьми, ты помнишь, что я обещал тебе? — пел вкрадчивым голоском лисы Алисы двухметровый гнилостный детина, прапорщик по сути, по рождению под знаком двойной маленькой звёздочки. Панатюк несколько секунд ждал ответа, потом носком кирзача пощекотал снизу мучительно вздёрнутый подбородок парня.

— Ты, конечно, помнишь. Стесняешься сказать? Или слишком гордый со мной разговаривать? Зря. Потому что я тебе запишу ещё одну грубость… И за каждую — слышишь, чмошник? — за каждую буду наказывать. И сегодня, и потом… Ну, вы, долбо…, поставьте его поудобнее…

Пашку сложили в коленях, словно заржавевший циркуль, и поставили перед Панатюком в позе смерда, ждущего княжьего суда.

— Маменькин сынок, я сделаю тебе очень хорошо. Я вы… тебя в рот, чтобы ты впредь любил меня и был со мной вежливым. Это тебе за тот харчок, сука. Открой рот!

Пашкин оскал окаменел. Прапорщик Панатюк посмотрел на него, ухмыльнулся, расстегнул ремень и углом пряжки треснул парня по выбитому зубу. Пашка судорожно хватил воздуха, издав низкий стон, и Панатюк заспешил расстегнуть ширинку…

Откуда-то взялись силы, и Пашка разметал державших его, винтом взвившись с колен. Он кинулся в двери, а за ним затопотала погоня. В темноте Пашка заплутал, и тропа беглеца привела его к дальнему углу за хозблоком, где высился бетонный забор. Из-под ног он вырвал старую рессору от армейского «УАЗа» и прижался спиной к забору, выставив перед собой железную дубину. Сколько-то безумных минут он сопротивлялся, готовый уже ко встрече с любимой бабкой… но тут к нему применили встречный приём — лом, который старослужащие и прятали. Рессора, жалобно крякнув, полетела прочь, а Пашку снова стиснули десятки рук. Окровавленного, его снова поставили на колени, и чьи-то жирные пальцы сдавили ему ноздри. И когда от угрозы удушья конвульсивно открылся рот, прапорщик Панатюк привёл своё намерение в исполнение… А за ним, как смутно помнилось Пашке, и другие мучители…

Он захотел умереть — и умер.

Жизнь Пашке вернули в санчасти. Он не хотел брать эту опоганенную жизнь, не хотел дышать воздухом, пропитанным клейким и мерзким запахом, не хотел, чтобы билось его слишком крепкое сердце… Пашка жаждал перестать жить, но тренированный организм не мог умереть. Умереть оставалось рассудку. Ибо в мире, где может произойти такое, нет места разуму. Пашкина душа и Пашкины мозги сговорились, пока он валялся в беспамятстве. Не приходя в сознание, Пашка забился в корчах вместе с привинченной к полу железной кроватью. Язык вывалился через губу, клочья серой пены полетели изо рта… Военврач констатировал: эпилепсия.

Пашку нашли под забором через несколько минут после того, что обесценило всю его предшествующую жизнь. Крики и удары в их казарме не остались незамеченными. Кто-то смелый поднял тревогу. Всех офицеров подняли на ноги. Весть о ЧП дошла до командира полка. В сильно смягчённом виде. Но и того было достаточно. О склонностях прапорщика Панатюка комполка знал давно,

а почему на вид ему не ставил… А чёрт его знает, почему! Теперь вот зато придётся расхлёбывать!

Панатюка и двоих старослужащих закатали на губу, а Пашку оттащили в лазарет. Военная прокуратура приговорила Панатюка к лишению свободы, его подельников — к условным срокам. Но не в её компетенции было приговорить Павла Грибова к нормальной жизни.

Пашке дали «белый билет». Пожизненно. Отпустить его из части одного было бы немыслимо. Почти месяц его сотрясали страшные припадки, каждый из них мог оказаться последним.

Вроде бы пошёл на поправку, начал есть, разговаривать — только не улыбаться, — и однажды увидел в окно лазарета одного из старослужащих, что держали его…

Пашкина кровать вмиг опустела. Военврач принесся из соседней комнаты на шум и обалдел — только что на койке доходил полутруп, и вот она пуста, одеяло на полу, покачивается створка окна… В окно военврач увидел, как его подопечный смертным боем мутузит здоровяка из «дедов», а тот уже и пищать не может, только руками прикрывает голову…

Пашка бил ногами толстого сибирского парня, но ему мерещилось, что он убивает дракона… грифона… огромное фаллическое божество кровожадных язычников… Омерзительные образы множились перед его затуманенными глазами, и по каждому из них Пашка наносил удары, истово жалея светлым краешком сознания, что нет у него меча-кладенца. Потом сказочная фауна сменилась галереей из «Звёздных войн», и Пашка взлетел над поверженным космическим монстром на звездолёте, готовый выпустить на растерзанное тело противника глумливую, как моча, струю жидкого огня из бластера… Пашка парил на своём звездолёте, отчётливо осознавая, что он, небожитель, изнасилованный демонами, никогда не сможет вернуться в свои заоблачные чертоги, что все его запоздалые подвиги напрасны… От безысходности он обернул бластер на своё сердце, чтобы в сквозную дыру улетела вся боль вместе с жизнью…

Но умереть ему снова не дали. Офицеры применили к Пашке боевой захват обеих рук, скрутили и оттащили от жертвы. Жертва, распластавшись по земле, шумно икала. Сразу, как только из поля зрения убрали ненавистное существо, Пашка вырубился.

Комполка очень старался замять дело, и ему это удалось.

А Пашка, даже под действием снотворного в вену, переживал своё изгнание из рая. За ним закрылись блистающие ворота, и он шагал по бесконечной лестнице вниз, поначалу размеренно, затем — ускоряя шаг, словно у ещё невидимого подножия её лежал сильный магнит, который влёк Пашку к себе, и, наконец, он оступался и летел в черноту, а та превращалась в бездну, и посреди полёта у него останавливалось сердце… Стоило душе его расстаться с опозоренным телом, она снова била бестелесной рукой в дверь нестерпимого блеска. За дверью царила Гармония, Пашкину сущность окружал хаос, и он тем горше переживал уродливость своей нынешней юдоли, что знал цену Красоте. «Пустите меня!» — взывала Пашкина душа к поднебесным жителям. «Я же равен вам по рождению! Я же видел Красоту! Я достоин быть с вами!» Но врата молчали. На Пашку веяло холодом неприятия. Потом неведомая сила снова отбрасывала его несколькими ступенями ниже, и он начинал постыдный исход… пока смерть вновь не настигала его на лету.

Отец приехал под Гродно и повёз домой сына, живого, только постаревшего на глазах, потраченного по богатой шевелюре седыми штрихами, как молью.

Родители его устроили в ПТУ, когда (не прошло и года) Пашка стал похож на человека. И были тому не рады, ибо скандал потряс всю Марьину Рощу. Он до сотрясухи избил пэтэушницу, убогую дочь помойкообразных дворов, которая от скуки, а не по злобе, обругала Пашку матом, чем напомнила живо прапорщика Панатюка.

Мать Пашкина стояла на коленях посреди учительской и безнадёжно плакала, рассказывая историю болезни сына. Без повторения этого ужаса никто не желал верить в психическое нездоровье Грибова. Налюбопытствовавшись вволю, педколлектив принял решение: уголовного дела не возбуждать, с семьёй потерпевшей провести разъяснительную работу, если нужно, припугнуть их, потомственных почётных алкоголиков, высылкой в ЛТП, ибо девица сама нарывалась на скандал, и кроме того, была замечена и в других неблаговидных деяниях, Грибова из ПТУ исключить.

Дальнейшие метания Пашки между судорожными попытками предков устроить его судьбу и собственной волей следовать за незыблемым «Хочу!» напоминали колебания некоего субстрата в проруби. Беда была в том, что кукловод, сидящий в Пашкином черепе, и сам растерялся — парень уже не знал, чего ему хочется. Казалось, нет в этом мире ничего, способного заинтересовать Грибова. Всё притягательное таилось в другом мире… но как попасть туда, осквернённый герой пока ещё не ведал.

Безделье грызло крупным неотвязным комаром. В депрессии, балансируя на краешке срыва в «не-жить», он валялся на диване, обводя глазами фотографии бабки, Сталина и Галича, забывая даты, дни недели, пренебрегая пищей и гигиеной. Комар бился возле его уха, зудя что-то непотребное. Чем дальше, тем больше Пашка улавливал в мерном гудении невидимого насекомого явственный ритм, а порой и созвучные пары писков.

Он любил ветреные дни за зрительную имитацию движения, перемены в жизни. И, как-то, глядя из положения лёжа на верхушку тополя, расчищающего в облачном небе прогал над балконом, молодой скучающий человек ощутил в себе зуд непонятного, приподнялся, будто в судороге, напрягся и прошептал:

«Буянит ветер, захмелев,
грозит двору расправой спорой.
Кусты вжимаются в заборы,
и градом пот течёт с дерев…»[6]

6 Стихи «сетевого» поэта Александра Брятова.

Пот градом потёк с самого Пашки. Он чувствовал жар и лихорадку. Первые стихи измучили его не хуже высокой температуры с нутряным кашлем, но, вытравив душу в ещё трёх строфах, посвящённых ветру — пьяному комиссару, Пашка расслабился. Пришёл в блаженный катарсис, рухнул на отполированную до деревянного блеска думку и глубоко, мерно задышал. По всему выходило — внутренний голос, руководящий движениями и поступками тела, придумал новую программу действий. Очень странную программу, если учесть, что Пашка даже в нежном возрасте не рифмовал «пол — стол», «кошка — окошко», «палка — селёдка». И всё-таки генератор стихов заработал где-то в подложечной впадине, и до конца хмурого дня Грибов, трижды настигаемый горячей дрожью, выдал ещё три стихотворения. Напоследок, на пределе эмоций, выдохнулось:

«Под ветром, снимающим стружку с реки,
сбивающим с курса отчаянных чаек,
и мне бы хотелось тотчас же отчалить
с течением жизни наперегонки…»[6]

Лирическое напряжение завершилось приступом. Побившись в конвульсиях на полу совмещённого санузла, облившись до спинного мозга водой из свёрнутого крана, устроив соседям репетицию всемирного потопа и не реагируя на их заполошные звонки в дверь, он пребывал в луже и нирване и счастливо улыбался потолку. Он вдруг понял, ради чего мир надругался над ним — ради того, чтобы ворота Поднебесья открылись не грубой силе и настоянию оружья, а Красоте. Только творение гармонии способно доказать небожителям, что Павел Грибов равен им, что его можно допустить за нестерпимо блещущие ворота!

Пашка очень бы удивился, узнав, что его первые опусы являли собою классические четырёхстопные ямбы, амфибрахии и анапесты. Поэтической премудрости он никогда не учился.

Так за чем дело стало? Пашка по доброй воле поступил в литературный институт, и, как получалось всегда в случаях «доброй воли», весьма прилично его закончил. Родители радовались: пять лет мальчик был поглощён любимым делом. Это сказалось молниеносно — приступы поредели.

И во всех прочих смыслах Пашка стал похож на человека. Литинститутская тусовка, густо замешанная на межличностных отношениях, буквально дышала эротизмом, и младому гению трудно было оставаться белой вороной. Но был нужен толчок в регулярную жизнь — и толчок состоялся…

Левой рукой — правая, сдавив карандашу неровно заточенное горло, писала, — Пашка снял трубку телефона. Женский голос неразборчиво кликушествовал. Пашка послушал секунды три, недоуменно пожал плечами и бросил трубу.

Телефон снова зарыдал, Пашка матюкнулся, рявкнул:

— Да!

— Серый! Серенький! — клокотало в трубке.

— Да не Серенький я! Беленький! Номер лучше набирайте!

— Паша! Павлуша! — крикнул кто-то из телефона. — Беда с Сереньким!

Погиб Пашкин одноклассник, Серёга, которого звали Сереньким — удачливый молодой коммерсант. Разбился на новенькой машине. Его жена, девчонка из их же школы, собрала на похороны всех, кто гулял с Сереньким на выпускном.

Пашка пришёл по указанному адресу и застал отлично убранную «двушку», посреди которой лежал Серенький. Пашке показалось, что успел он к моменту смерти располнеть и посолиднеть. Но смерть сузила и обезличила его. На жёсткой подушечке желтело неизвестное Пашке лицо. Рядом с гробом стояла с бойким малышом на руках Оксана в отличном траурном туалете.

— Павлуша! — сразу узнала она, смахнула слезинку, хотела было обнять визитёра — ребёнок помешал, Оксана повела плечом: — Раздевайся в прихожей, простись…

Пацанёнок вертелся на маминых руках, похныкивал:

— К папе хочу!..

— Т-шш, папа спит… Посмотри на папу! Скажи ему что-нибудь!

— Папа, ставай, посли в парк!

Оксана шмыгнула носом.

— Видишь, Павлуша, горе-то какое…

— А зачем ты… ребёнку его?.. — удивился Пашка.

— А как же? — удивилась, в свою очередь, Оксана. — Отец ведь! Пусть простится…

Пашка застрял в дверях. Глаза его заметались — изголовье гроба, Оксана с дитем, сложенные на животе руки Серенького… Что-то было в этой сцене, посланное специально Павлу Грибову, дабы он понял!..

Но прошло много тягомотных похоронных минут, и только приехав на кладбище, пройдя со всей процессией вместе до свежего раскопа, проследив, как опускают в яму закрытый гроб, а Оксана тетёшкает сына, Пашка сообразил. Внутренний голос нашептал ему: «Нет, весь я не умру!» И Пашка облегчённо выдохнул: Серенький не умер весь, потому что от него на земле остался вот этот карапуз, теребящий мамку в жажде откушать мороженого и покататься на лошадке, а не слушать плохую музыку медных труб!

Инстинкт продолжения рода есть вечное человеческое противоборство смерти!

Безумно циничные штучки выкидывает иной раз житуха. Прямо на Серенькиных поминках Пашка ощутил такой мощный призыв плоти, что вынужден был метнуться в туалет и там долго боролся со своим упрямцем, который нашёл время…

С того печального дня Пашкиным истовым хобби стали любовные похождения. Ложась в постель (прислоняя девицу к стенке, усаживая её на себя, задирая ей юбку сзади, ибо фантазией обладал безмерной) с очередной, Пашка никогда не прибегал к презервативу. Потаённой и жгучей мечтой его было, чтобы какая-то из множества женщин, испытавших крепость Пашкиной физической любви, понесла бы её последствия дальше в этот несовершенный мир, чтобы не умер

на Земле весь Павел Грибов! Лишь бы какая-то из них забеременела, а там — хоть трава не расти!..

Когда Пашке вручили диплом Литературного института, он похвалился «корочками» родителям. Мама, противу его честолюбивых ожиданий, заплакала. То, что сын стал дипломированным поэтом (хотя в документе стояло нейтральное «филолог»), расстраивало женщину больше всего, и она породила единственный в своей жизни каламбур:

— Ты, Паша, не филолог, ты — фил-олух!

За это Грибов мать зауважал.

— Как ты с этим дипломом будешь себе на хлеб зарабатывать? — сетовала мать. Дело было в середине девяностых, голодные и жестокие времена, как на стадо волки, шли на прежде благополучную семью. Не только родители-пенсионеры, но и старшие братья с «человеческими» профессиями не могли обеспечить себе уверенность в завтрашнем дне.

— Как-нибудь, — сказал Пашка. — Бог даст день, Бог даст пищу.

Это он заявил ради красного словца. Грибов был воинствующим атеистом. Он не верил, что Бог, буде он существует воплощением справедливости и мудрости, как о нём говорят, мог бы допустить такое, что сотворили некогда с рабом Его Павлом… Другая религия осенила Пашкину мятущуюся душу. В этом помог институт. Слушая курс лекций по русской философии, он обычно развлекался, сочиняя наперегонки с товарищами буриме с названиями философских концепций. Но однажды из хаоса мёртвых, отвлечённых от Пашкиной системы ценности понятий выплыло имя «Владимир Иванович Вернадский», а далее — округлое и веское слово «ноосфера». И когда оно коснулось жезлом Пашкиного крутого лба, он выключился из эстетских игрищ и забав своих приятелей — весь обратился в слух. Пашка, точно робот, записал дословно всё, что говорил преподаватель.

Теперь он доподлинно знал, что написано на вратах, которые никак не открываются его домогательствам. Он даже знал, отчего они не спешат принять блудного сына ноосферы — в неравной битве с силами тьмы безразумья Пашка растерял слишком много высших знаний и навыков. Их предстоит собирать по крупицам… Чтобы единожды ударить по вратам Ноосферы не кулаком, а словом, ясности и звучности неземной — и вступить победителем в божественные кущи!

Стало быть, предаться поэзии и ничему кроме… Не считая усилий по телесному продлению рода.

Литературным трудом Пашка не заработал бы не только на оплату квартиры, но и на смену белья. Работу «литературных негров» — писать в команде наёмников выходящую под чужим именем коммерческую прозу — он искренне презирал. Каждая халтура отдаляла момент его вступления в ноосферу. Периодические публикации в толстых журналах да ведение каких ни то семинаров (занятия, с точки зрения ноосферы, почтенные), приносили доходы, очень удобные, чтобы прокутить их за один вечер с приятелями и приятельницами в любимой круглосуточной блинной на Таганке. О, это заведение, наследие неискоренимых семидесятых, Мекка поэтических душ! Там выпивали, курили и читали стихи ночи напролёт, а буфетчица и кассирша в условно-белых халатах и «приписанный» милиционер были на «ты» с завсегдатаями. Это место Пашка обожал столь же самоотверженно, как и вычурно захламлённую квартиру в Марьиной Роще. И проводил в нём вторую (а может, и первую!) часть жизни.

В этой славнейшей блинной Пашка нашёл первую любовь — то был не просто ходячий инкубатор для Пашкиного семени, а человек, достойный дозы уважения. Поэтесса из Нижнего Тагила писала прелестные стихи и занималась на «соседском» семинаре. Между ними закрутился пылкий институтский роман, девушка неделями не ночевала в общежитии, и Пашку приятели уже дразнили близкой регистрацией брака, на что он отвечал гордо: «Вас забыл спросить!»… Но внезапно «невеста» делась в неведомом направлении, которое, после судорожных поисков, оказалось уральской железной дорогой. Пашка дозвонился подруге и по недомолвкам её матери уловил грозные признаки…

На билет Пашке скидывались всей семьёй. Возражения держали при себе. Он поехал — туда, суеверно боясь покупать сразу «обратно».

— Нина в больнице, — сказала Пашке суровая женщина, в раскосых чёрных глазах и выпуклых скулах которой таилась кровь коренных уральцев. — Номер пять. Только тебе туда не надо бы…

— Почему не надо?!

— Да потому.

Она была немногословна, как гора Денежкин камень. Пашка скатился с лестницы, по наводкам прохожих нашёл пятую больницу, а там обнаружил вывески «Женская консультация», «Родильное отделение», «Центр планирования семьи» и нескольких встрёпанных мужиков, мающихся по холлу и двору. Это был первый шок.

Вторым оказалось явление Нины — в халатике и тапочках, без косметики, домашней более, чем в общежитейской комнате или на Пашкиной кухне. А третьим — её долгое молчание перед краткими словами:

— Я сделала аборт, Паша.

— Но зачем?! Но почему?!

— Ты ведь говорил, что никогда не женишься, — тихо пояснила Нина. — И даже если бы не говорил… Ты не из тех, кто любит стеснять себя… А мне никак нельзя было оказаться в родном городе с ребёночком неизвестно от кого… Меня бы мама из дома выгнала… А ты бы там, в Москве, не оставил… Выхода не было, Паша… И так уже полгорода в курсе, что я здесь на аборте лежу… Санитарка здесь знакомая работает… Ходит, посмеивается… А если б я родила, в меня бы до пенсии пальцем тыкали…

Пашка не слушал Нину. Он сейчас перелистывал в уме, какую боль причинила ему эта дурочка своим необдуманным ходом. Основная цель здешней жизни оказалась выполненной, Павел Грибов продолжился в своём ребёнке… Но Нина всё перечеркнула, и теперь, когда она осела в Нижнем Тагиле, приходилось всё начинать сначала. Главная

мерзость — что произошло убийство Пашкиного корня здесь, в этой дерьмовой гинекологической больнице, под сенью пыльных фикусов и плакатами «Счастливая женщина — здоровая мать!»

Пашка ударил её.

До вокзала он шёл пешком, путаясь в незнакомом городе и не спрашивая дороги, — хотел в хаотичном движении растерять запал ненависти. Когда впереди загудели поезда и зарявкал селектор, Пашка даже удивился. Он купил билет на электричку до Екатеринбурга, и сразу же — на плацкартное место до Москвы, пересчитал оставшуюся мелочь и ввинтился в подступивший вагон. А в московском поезде не стал занимать своё место — сразу проследовал в ресторан. Там ему хватило на графинчик водки без закуси. Пашка сцепил руки на графинчике и замер в безмыслии и бесчувствии. Изредка он делал по жгучему глотку.

Его разбудил мужик, спрашивавший, свободны ли остальные три места за столиком. Пашка мотнул головой, разрешая. Мужик присоседился, взял водки, закуски и кивнул на сервировку:

— Угощайся. Ты ж, небось, со вчера не ел…

Мягко заговорил: «Что с тобой, парень? Баба?» — и незаметно для себя Пашка вытряс перед попутчиком душу. Когда второй графин пошёл к концу, а Пашке ощутимо захорошело, в вагоне-ресторане появились ещё двое.

— Мужики, не спится? Можно, мы к вам? Или… это, мужской разговор?..

— Ты как, парень? Пустим? — участливо спросил Пашку попутчик.

Пустили. Пашке показалось весело общаться с новыми необязательными друзьями — только до Москвы, а там с баулами уральцев уйдёт весомый кусок горя…

Новые знакомые болтали за жизнь до рассвета. Пашка всё более оживал. И тут из кармана одного плечистого уральца появились потёртые карты.

— Хорошо сидим, мужики! Жаль по купе расходиться. Может, это… на посошок? Сыгранем по маленькой?

Пьяный Пашка сам не помнил, как согласился, как играл в примитивный покер в паре с первым своим собеседником, как со спичек перешёл на деньги… И как, чуть забрезжило над горизонтом уже подмосковное солнце, оказался должен приличную сумму. Зато отлично запечатлелось в памяти, как долго, намеренно томя, раскрывает ладонь — а на ней валяется одиннадцать тысяч мелочью.

— Это что?! — подались вперёд и вниз мужики, будто археологи, нарывшие в отвале пустой породы шлем Александра Македонского.

— Мужики, а у меня больше нету! — чистосердечно признался Пашка, ловя губами глупейшую улыбку. — Я весь пустой… и девушка от меня аборт сделала…

Ни слова не говоря, попутчики хором встали и покинули вагон-ресторан. А когда за ними поплёлся и Пашка, мотаемый от стены к стене на каждом толчке поезда, в тёмном тамбуре его подстерёг отличный удар — «замком» кистей в живот, а затем коленом в пах. От удара Пашка взвыл и реактивно стартанул вперёд — кто-то услужливо открыл ему дверцу пассажирского отсека.

— Лети, голубь!.. Карман пуст — не садись играть, даже по маленькой!

Пашка треснулся лбом о бак с кипятком и слегка обварил шевелюру. На него тут же с удовольствием и знанием дела заорала проводница. Пашка же откусывал ломти затхлого воздуха, давился ими и не мог даже стонать по поводу максимально болезненной для мужчины травмы…

Пришёл в себя Пашка только на перроне Ярославского вокзала. Но так и не соотнёс пощёчину, брошенную Нине, с ударом, вернувшимся от профессиональных шулеров.

Сработал закон компенсации, самый жестокий и неотвратимый из всех законов природы — и Пашка сам не заметил, как, меняя женщин ради — думалось ему — противодействия старости и смерти, попал в зависимость от их лукавого и сладкоречивого племени. Пашка подсел, будто на героин, на фигуры с мягкими формами, на безволосые личики, на сладкие губы и приятственные речи. Не он успел осознать необходимость каждый месяц обретать новую подругу — ему на это указали. Друзья гоготали, мама вздыхала… Пашка рванулся, ан поздно! — он уже был в тисках инстинкта, да не продолжения рода, а банального поиска всё новых удовольствий.

А что параллельно с профессиональной ловлей на живца дочерей Евы житель ноосферы, временно командированный на землю, всё больше втягивался в объятия зелёного змия, — так ведь и сей порок поэтам простителен и даже предписан…

Однажды некие светлые головы, из которых поэзия не вытравила объективного осознания мира, затеяли бизнес-проект — создали кафе-клубы, взяв для образца знаменитую «Бродячую собаку». В этих заведениях для эстетов вместе с люля-кебабами подавали отлично разделанных и поданных под пикантным соусом поэтов, бардов, рок-авторов — с гарниром из художников, театралов, киношников, густо присоленных и приперченных журналистами продвинутых газет и журналов. Там предполагалась постоянно действующая концертная программа. И нужен оказался постоянно действующий (живущий на работе) конферансье. Занятые эстеты с прохладцей отнеслись к перспективе с головой ухнуть в сомнительное на первых порах начинание. Кто соглашался быть ведущим, тот не устраивал организаторов или спонсоров — обычное дело. Так выбор пал на Пашку. Зная его неуправляемый нрав, предлагали работу опасливо… но Пашка с энтузиазмом согласился. Более того — взялся, попробовал и получилось!

«Весь вечер с вами ведущий, поэт Павел Грибов!» Авторский проект «Пикировки» Павла Грибова состоял в парных вечерах маститых литературных львов и подающих заявки гениев. Павел сам пошёл искать гениев по столице, и не смог миновать литературный институт.

…Глаза у Милены были чёрными и приманчивыми — к таким намертво прикипают мужчины. Пашка, забредший полюбопытствовать, каких

подлетков ставит на крыло его пожилой мастер, и затаившийся на последней скамье, ещё не знал, как зовут девушку, сидящую в уголке аудитории. Но охотничий инстинкт повёл его нос в сторону источника дразнящего запаха молоденькой и хорошенькой добычи. Пашка расположился за партой так, чтобы получше рассмотреть девушку, и заключил: то, что надо! — потёр ладони и перешёл в наступление.

Наступление затянулось. Девушке очень понравилось быть королевой вечера, который он («Ой! Сам Павел Грибов? Это вы, да?») учредил в «Перадоре» в её честь. Сразу же после вечера Пашка отметил, что здорово влип — ибо не затащил девушку в койку, а начал планировать новые глупости. Узнав о бенефисе знаменитой поэтессы, живой легенды шестидесятых, в ЦДЛ, Грибов через карман вывернулся, чтобы упросить звезду пригласить молодёжь с поздравлениями, и та милостиво позволила — а возглавила ассамблею «Слово преемникам!» Милена. За «преемников» разгневанная львица в буфете ЦДЛ треснула Пашку зонтиком и сообщила много нелестного, но Пашка, прыгая мячиком, увёртывался от ударов, хохотал и не отбрёхивался — потому, что на него глазела Милена. Её прельстила публикация в «Знамени» и пятиминутка в «Книжной полке» на «Радио России». Не то, чтобы она не понимала, чего ради для неё так старается «сам Павел Грибов», но когда влюблённый клал ей на плечо руку и придвигался губами, девушка делала жалко-испуганное лицо и стремилась освободиться… Больше месяца стремилась, но наконец-то…

Пашка старался не думать, что стена девичьего смущения пала в награду за размещённые в сборнике «Девять отражений» стихи Милены.

И в эту голубиную идиллию томным сентябрьским вечером вторгся дротик, пущенный умелой дланью Провидения. Это я. Милена или Надежда? Глупый вопрос! Конечно, обе!

Два месяца смятения чувств, беготни от одной к другой, то лёд, то пламень в постели, «Пашка, читал — в «Сейчас» про Савинского написали — интересно, кто?..», шорох полосы А3, полприпадка от бешенства, газета летит в красивое недоуменное лицо, подстилка чёртова, Надька, Наденька, Надюха, сволочь, что ж ты натворила?!

— Ничего особенного не натворила, — сказала я ему. — Очень хотела тебя простить, Пашка, но поначалу не могла. Теперь же ты меня прости…

Не смогла удержаться — прочитала ему великое женское:

«За всё, за всё меня прости,
Мой милый, что тебе я сделала!»

Ладонь обмякла, разжалась, и чахлые астры освобождённо упали на землю, прошуршав о чём-то своём с кучами совсем уже выжатой после нашего «спиритического сеанса», окончательно погасшей, разлагающейся на глазах палой листвы.

Глава VIII

Я ничего не говорю о своей работе. О своей профессии, тяжёлой, проклятой, подлой, нежно любимой, единственной и незаменимой журналистике. Что трепаться? Работала, тяжело и упорно, как ниггер. Особо похож на плантацию сахарного тростника был еженедельник «Сейчас», куда я переметнулась после публикации о Савинском, стоившей мне любовника, а Грибову, вероятно, жизни. Каждый день мы пикировались с замредактора Галиной Венедиктовной. Она с первого дня меня обожала неподдельной крупнокалиберной женской ненавистью. Мелкие подставы по службе, придирки к текстам и включённый по мою душу секундомер на проходной были ежедневным оружием Г. В. А коли выпадал шанс ударить побольнее, самый низкий, она им сладострастно пользовалась. Компромат собирался для увольнения, ежу ясно. Я не расслаблялась — снова искала пути отхода.

Мой рассказ отнюдь не о газетчиках, а об атлантах — жителях Ноосферы…

Как-то Г. В. догрызла меня буквально до костей. Сидя за компом, я аж раскачивалась от замаскированной боли. «Дятлов» в редакции было предостаточно, и все они кормились из надушенных ручек Г.В., руководившей редакцией, пока главный развлекался то в Куршевеле, то на Гавайях, то бишь одиннадцать месяцев в году — грех было показать им, как меня зацепили! И пролистала я порталы трудоустройства… И прочие информационные сайты… И снизошло на меня сатори — не иначе, Грибов расщедрился на посмертный подарок! Просто вспомнилось, что год или более он кормился с собственного творческого проекта «Ангаже». Был «Ангаже», может, и не доходен, но престижен…

Тут же, поминутно озираясь, я настучала на компе концепцию литературного субпортала крупного информационно-публицистического сайта, посвящённого забытым или малоизвестным современным поэтам. И даже родила несколько идей коммерческой подпитки этого сайта, не столь наивных, как меценатство. Рассудив так, что я могу это делать единолично за стабильную зарплату, а свободное время подрабатывать рекламными статьями, на коих уже точно собаку съела. Успела скинуть текст сама себе в почту за три секунды до появления Г. В. со словами: «Наша Наденька, точно перезрелая тургеневская девушка, опять мечтает не пойми о чём… Наденька, чтоб твои мечты стали явью, вечером идёшь на мужской стриптиз. Большое фото и три, максимум пять строчек текста. Безо всяких твоих умозаключений — голая фактура! Вход в клуб полторы тысячи, думаю, тебе на это денег хватит…» Я сердечно поблагодарила заботливую начальницу.

Через несколько дней я стояла перед шефом-координатором портала «Ля-русс.ру» — молодящимся, в богемном облачении, с пирсингом на брови: «Слушаю тебя, солнышко! На «ты» не в претензии? С такой пилоткой отчества излишни, без базара!» — и говорила ему, от волнения жестикулируя:

— Ты знаешь, если вдуматься, литераторы — очень несчастные люди. Они ничего не стоят без

нас, журналистов. То есть сами по себе, конечно, стоят, некоторые, но мы формируем общественное мнение. Пресса на сегодняшний день его сформировала единицам. И не факт, что всегда справедливое. И не факт, что мы протрубили, кому нужно… Кто более заслуживал… сми словно прожектор направили в открытое море и осветили верхушку айсберга. Какая глыба там, под водой, никто не знает… Нам же в плюс пойдёт, если мы эту ошибку исправим, этот неверный подход — по верхам — переломим…

— Ты чего хочешь, Надя? — переспрашивал меня шеф, озабоченно потирая под яркой банданой.

— Мы все хотим, чтобы от нас на земле осталось нечто большее, чем тире между двумя датами, не так ли? Я и хочу помочь им оставить след длиннее этого дефиса…

— Да ну? Благотворительный фонд открыть? Дом для престарелых писателей?..

— Да что ты! Не потяну! Страничку на вашем портале открыть хочу… Или самостоятельный портал… Посвящённый незаслуженно забытым и малоизвестным литераторам.

Координатор возражал мне со знанием дела: «раз никто их не знает, то и ты не сможешь», «а они заслуживают внесения в анналы, или только в аналы?», «ты будешь для этой отстойной публики стараться?», и, наконец «кто за них забашляет?» Тут я ему и предложила свой бизнес-план. Он похлопал себя по лбу:

— А тебе-то что от этого?

— Работа нужна! — честно сказала я.

— Почему тебе в «Сейчас» не работается? — первый для любого собеседования вопрос заронил в меня веру в лучшее.

— Большего хочу! — психологически грамотно ответила я. — Самореализации.

— Хочешь создать своё дело? — подсёк он.

— А почему нет? Во всяком случае, хочу набраться опыта собственного менеджмента! Пока — под крылом такой мощной, отлично функционирующей команды, а в перспективе, возможно…

Грубая лесть подействовала. И мой ласковый прищур. И намёк: «Представляешь, как будет здорово, если ты прославишься ещё и меценатством?..»

— Даёшь… кокетка! Ну, раз ты прибегаешь к таким межличностным приёмам… то валяй! Посмотрю, что у тебя получится… Кстати, что вечером делаешь?..

Чего вечером ни сделаешь ради удачного трудоустройства!.. В пассиве у меня был трагический финал любовной истории, чистый паспорт и свободное сердце, а в активе — Ленка, неуклонно переходящая в старший детсадовский возраст, и острая нужда хотя бы в малом московском окладе вместо большого березанского. Приятный вечер завершился тем, что меня взяли в штат «Ля-русса» как модератора культурной страницы, вмещающей проект «Берег реки забвения» (сама придумала!).

Но скептическое пророчество босса вышло правдой! Когда я принялась готовить открытие проекта «Берег реки забвения», оспаривать с пеной у рта выспреннее название, сломив имманентную гордыню, искать спонсоров и помощников-единомышленников из числа потенциальных героев сайта и отказываться от их медвежьих услуг, ибо каждый несостоявшийся в первую очередь предлагал сделать достоянием общественности собственные залежи, шокироваться виду резервуаров никем не востребованной интеллектуальной собственности, — мне полторы тысячи раз приходила мысль послать этих непризнанных гениев подальше! И предоставить им самим заботиться о тёплом месте в ноосфере.

Четыреста пятьдесят два московских соискателя халявы (размещения на портале себя и своих друзей) были удалены с поля боя тут же. Я поняла, что от писателей самоотверженной работы с текстами, кроме личных, не дождёшься, и всё взяла на свои плечи. Тут и стала загибаться. По аське и по мылу связывалась с писательскими союзами, творческими клубами, литературными объединениями, библиотеками, музеями всех областей и просила представить мне списки фамилий «выбывших из игры» литераторов. Поскольку на местах рассуждали так же, как и в Москве, я безумное количество времени только объясняла, что меня интересуют люди, обойдённые жизненным успехом. Пришлось выработать универсальную формулу:

— Вы получили хоть какую-то известность, а я стараюсь для тех, у кого ни строки опубликованной нет!

Посему людей, засветившихся в литературных изданиях, выпустивших книги и читавших лекции, отбривала. Культурная работа за несколько месяцев принесла мне столько недоброжелателей, сколько не порождала вся моя журналистская судьба.

Я немного рассчитывала на приветы из ноосферы — но дудки! Жители ноосферы предоставили мне спокойно разбираться с формальностями, а сами залегли на облака в ожидании лавровых венков. Знак свыше явился мне совсем иначе.

Ценой неимоверных усилий накопилось работ на первый жиденький хостинг. Ваять сайт я засадила молоденького веб-дизайнера из «Ля-рюсс.ру». И подошла вплотную к процессу, слабовольно откладываемому «на потом» — добыть публикабельную информацию о бывшем любовнике Пашке Грибове. Результат превзошёл мои ожидания. Точнее, отсутствие результата.

Верный мой ухажёр Васенька Сохатый при телефонном разговоре «Выведи меня на людей, кто хранит Пашкин архив — хочу поставить его на свой портал» — как-то странно забулькал и открестился от чести быть моим посредником. Ещё не сильно удивлённая, я разыскала бывшего владельца «Передора», который казался мне более деловым человеком, но и тот довольно невежливо отказал мне в помощи, сославшись на занятость. Тут я уже поразилась всерьёз и надавила: не хочешь помочь, так объясни, почему! — он не объяснил, и мы поругались. Я осталась в недоумении.

На следующий день мне в редакцию позвонила некая странная старушка — её голос дребезжал, точно стакан на купейном столике. Потребовала

к телефону составителя сайта «Берег реки забвения». Я решила не заморачиваться на деталях:

— Слушаю вас!

— Слушайте! Представьтесь! Я должна знать, кто ищет стихи этого талантливого засранца Пашки Грибова!

Я поняла, с кем имею честь — с той девицей в огромных очках, что так забавно и трогательно материла Пашку после вечера памяти Савинского. Её имя выветрилось у меня из башки сразу после мимолётного представления. Она, видимо, крепко любила Грибова, посвящала ему жеманные платонические стихи под Северянина и Надсона.

Я представилась. И получила в ответ:

— Так это ты, сучка драная?! Ты, подстилка трипперная?! Шалашовка подзаборная?! И я с тобой, тварью, ещё разговариваю?! И ты ещё смеешь со мной разговаривать?!.

— Эй, полегче на поворотах! — обиделась я.

— Из-за вас, двух дряней, у всей русской литературы проблема! Он свалил в Новгород Великий в зените своей славы, козёл! Съе…лся за этой сучкой Миленой, никогда её терпеть не могла! И у кого теперь спросить, что наш любимый сукин сын Пашка навалял в своём изгнании, мудило, а? У Милены? Или у тебя, гадюка? Одна его увезла в свой долбанный Мухосранск, ей туда и дорога, но Пашку она погубила! Половина его стихов пропала, ети её налево! Другая хочет на его светлом имени делать себе свой сраный промоушн — знаю я вас, журналюг, на чужом горбу да вечно в рай…

— Аккуратнее, я тебе не Милена!..

— А ты, рожа козлиная, давалка дешёвая, журналистская шлюха, чем лучше Милены?! Ты, мерзавка, и думать не моги, что я тебе передам Пашкины стихи! Пусть их лучше вместе со мной похоронят, чем ты их вывесишь на свой говенный сайт!..

Она не могла прокричаться ещё минут десять. Я вспомнила, что поэты шептались по её поводу — системное психическое заболевание, недаром на один её визит в «Передор» приходилось полтора месяца отсутствия. Поразительно, как узнала, что Павел Грибов со мной спал!.. Всё же плохо он маскировался… Выждав пока хватило терпения, я повесила трубку — пусть одуванчик из Божьего сада спит спокойно! Лишний повод убедиться, что поэзия до добра не доводит! Но щёки у меня горели от незаслуженной обиды, как от пощёчин. Ну ладно, отказ поделиться стихами Грибова у его фанатки был явно связан с моей персоной. А у остальных? Бойкот одной из вершин любовного треугольника, погубившего Пашку? Или мелочная поэтическая зависть — «почему он, не я»?

Едва успела успокоиться из-за Пашки, бесславно закончившего свою гордую жизнь и не допускаемого верными друзьями в Интернет-бессмертие, и тут меня рассердили просто небывало. Позвонил один кадр, представился сложным именем, намекавшим на присутствие Батыевых тёмников в ряду предков, и сообщил, что у него «в ходе литературной деятельности» сложились полные подборки стихов лучших поэтов городов Рязани, Касимова и Мурома. Какие красивые былинные названия у этих городков! — умилилась я в начале разговора. И какие там люди сердечные живут! Темник был готов лично привезти архивы порталу «Берег реки забвения», что для него не составляет труда. Я никак не могла взять в толк, зачем ехать за двести километров, когда существует электронная почта. Спросила. Услышала, что ему хотелось бы получить гарантии защиты его собственных интересов. Подписать договор о вознаграждении владельцу исключительных авторских прав десятка рязанских и касимовских авторов. Он соглашался их уступить за умеренную плату. Я ткнула его носом в условия публикации на портале «Берег реки забвения» — работы писателей размещаются на портале без-воз-мезд-но. Для всех сторон. Он сказал, что мы современные люди, и это несерьёзно. Я сказала: лишний раз убеждаюсь, что искусство создаётся грязными руками. Засуньте ваш коммерческий проект себе… в стол. Ступайте в ларёк водкой торговать — доходнее выйдет, чем стихами! Плюхнув трубку радиотелефона в гнездо, задышала учащённо и слепо стала обшаривать себя и стол в поисках сигареты.

— Ну, я ж говорил, что ты паришься зря, — произнесли сзади. Я нарочито долго закуривала, зная — стоит обернуться, и босс по глазам поймёт, что подловил меня.

Но он понял это и со спины.

— На самом деле ты не должна зависеть ни от придурков, ни от сволочей. Они тебя растащат по нитке… А ты мне ещё нужна…

— Спасибо за милый меркантилизм, дорогой.

— Нет, серьёзно, мне тебя жалко. Забей. Я пришёл к тебе с приветом… сказать, что предлагаю тебе должность культурного обозревателя портала «Ля-русс.ру».

— Только не культурного! — всколыхнулась я. Тут до меня дошло. Он смотрел с улыбкой фокусника, доставшего из шляпы вместо мишурного букета банковский чек на миллион долларов. На предъявителя.

— Политика? Общество? Право? Экономика? Красный, жёлтый, голубой — выбирай себе любой! Видишь, как я тебя ценю?..

— Вся редакция уже видит…

— Я человек, измученный законными браками. Трижды разведён и ни перед кем не отчитываюсь. Так какую рубрику ты хочешь? Соглашайся, пока я добрый!.. А «Берег Леты» прикроем, пока он ещё не начал функционировать! Потом с ним разделаться будет сложнее. Замутят кампанию — мол, «Ля-русс.ру» бабки зажал… И про тебя начнут трындеть — середнячка Степнова взялась за гуж и поняла, что не ингуш… Такое большое и благородное дело нельзя доверить насквозь продажным сми… Соображай, пилотка, быстрее, и пойдём уже делом займёмся…

Можете меня осуждать. Но я облегчённо заявила:

— Закрывай! Аффтары, выпейте йаду! Буду заниматься «Обществом»!..

г. Рязань

Владимир Круковер

Фей по имени Вовочка

Где живёт Карлсон

Когда Вовочка был маленьким, его часто называли вредным неслухом. Иногда добавляли — отчаянный. Отчаянный неслух, вреднуля.

Ещё его дразнили, потому что про Вовочку много глупых анекдотов. Дразнили его старшие мальчишки.

Вовочка не был вредным и не был таким уж отчаянным. Он был задумчивым. Или, как говорила мама про задумчивых мальчиков, — мечтательным.

Вовочка любил оставаться дома один. Тогда ему никто не мешал мечтать. Он представлял, как в открытое окно влетает Карлсон, и как они дружатся. Жаль только, что у Вовочки не было паровой машины, и Карлсон не мог её сломать. Ведь все знают, что именно после взрыва паровой машины начинается настоящая дружба с Карлсоном.

Вовочка удивлялся, почему Карлсон никогда к нему не прилетает. Он был упрямым мальчиком, поэтому однажды он вышел из дома и поднялся по лестнице на самый верхний этаж. На самом верхнем этаже была лестница, которая вела на чердак. Детям было строго запрещено лазить на чердак. Но как можно было бы узнать у Карлсона, почему он не прилетает к Вовочке, если не забраться на чердак, а оттуда — на крышу.

И Вовочка полез по лестнице.

Он с трудом открыл тяжёлую крышку люка, для этого ему пришлось упереться ногами в железную ступеньку и толкать крышку; она с грохотом открылась вверх и шлёпнулась там. Вовочка подтянулся на руках, перевалил туловище в пыльную темноту чердака и оказался в таинственном помещении, пронизанном солнечными лучами. Лучи дрожали на пылинках, казалось, будто множество фонариков светят сквозь щели в крыше.

Теперь надо было найти выход на крышу. Вовочка пошёл по чердаку. Сердце его замирало. Чердак был наполнен странными гулькающеми звуками, будто там проживало множество гулек.

Найдя, наконец, дверь, мальчик потянул её на себя и вздрогнул. Какая-то большая птица пролетела рядом с его головой. Вовочка замер, успокаивая дыхание. Он узнал голубя, но его появление было таким неожиданным.

Так вот какие гульки тут всё время бормочут, — подумал мальчик.

И вот, свершилось! Вовочка оказался на крыше.

Под ним лежал его родной город, его было видно почти весь. Далеко-далеко дымились трубы Куйбышевского завода, где делали сложные машины. В другом конце на горе стояла церковь, в её куполах плавилось червонное солнце. Третья сторона была заполнена Ангарой, замечательной рекой, в которой запрещалось купаться маленьким мальчикам. А с четвёртой стороны город превращался в тайгу: там был большущий парк с кедровыми и сосновыми деревьями.

Мальчик ощутил себя очень маленьким на фоне этого простора. И в то же время он чувствовал себя очень большим, ведь этот город принадлежал ему…

Но надо было искать домик пухлого проказника. Вовочка шёл по хрустящей жести крыши, стараясь не оступиться, придерживаясь за конёк и не приближаясь к окраине, ведущей в бездну. Он вымазался в ржавчине, руки горели от горячего металла конька, а домика всё не было видно. Ему казалось, будто он уже много часов бредёт по этой крыше, и конца этой ходьбе не будет. Но тут он увидел приоткрытую дверь и понял, что обошёл всю крышу по кругу. Вернее — по квадрату. Во втором классе ребята ещё не очень хорошо разбирались во всех этих квадратах, овалах, треугольниках и ромбах.

Даже если это был квадрат, подумал мальчик, то он какой-то вытянутый. По-моему, такие квадраты называются простоугольниками. Или длинноугольниками?

Он ещё раз осмотрел свой город. Это был хороший город, так как в нём жили его папа и мама, его старенькая бабушка и его великовозрастные братья. А ещё в этом городе жила Валя Семенченко, которая часто приходила вместе с родителями к ним в гости.

Вовочка вздохнул и начал спускаться с чердака. Он попытался закрыть люк, но крышка была слишком тяжёлая. Потом он пошёл по лестнице вниз, в свою квартиру на третьем этаже. Ему надо было бы подумать о том, какой скандал устроит мама при виде его костюма, украшенного ржавыми пятнами. Но он думал совсем о другом.

О том, что в городе очень много крыш, все их ему так просто не облазить. Поэтому надо поступить по-научному: взять бинокль старшего брата (когда того не будет дома), залезть на крышу и внимательно осмотреть другие крыши в бинокль. И уж потом, найдя нужную крышу, залезть туда и объясниться, наконец, с Карлсоном.

Откуда берутся цыганята

После скандала за его поход на крышу Мама перестала с Вовочкой разговаривать. Он заставила его выкупаться под душем, дала ему чистую одежду и всё молча. А когда пришёл папа, рассказала о Вовочкином преступлении и добавила:

— Это не мой сын. Мой сын не может быть таким бездушным. А если бы он свалился с этой

чёртовой крыши?! Наверное, это не мой сын, наверное моего сына украли цыгане, а этого оставили взамен…

Вовочка видел цыган. Они иногда ходили по квартирам, просили денежку и хлеб. Вместе со взрослыми цыганами ходило много цыганских ребятишек. Они были чёрными, пёстро одетыми и всё время что-то щебетали. А если им дать денежку, то они могли станцевать танец прямо на улице, сами себе подпевая.

Значит я цыганёнок, подумал Вовочка. Вот здорово! А настоящий Вовочка теперь ходит с цыганами, просит денежку и танцует… Мальчик позавидовал настоящему Вовочке, которому так здорово живётся. Ему даже не надо ходить в школу.

А откуда берутся цыганята, возник логичный вопрос.

— Папа, — спросил Вовочка, — а откуда берутся цыганята?

Папа читал газету. Он сидел за столом, ждал, когда мама принесёт обед и читал газету.

— Цыганята? — оторвался он от газеты. — М-да, откуда? А ты спрашивал у мамы?

— Мама со мной не разговаривает, ты же знаешь.

— Не разговаривает… Да-а. Сложная ситуация. Ну, я полагаю, что цыгане своих цыганят находят в лесу.

— Подожди, а как же аисты? Они что, только обычных детей приносят? А цыганские дети растут в лесу?

Папа зачем-то снял и надел очки, пошуршал газетой и ответил:

— Да. Полагаю, что именно так всё и происходит. А почему тебя, так сказать, это интересует?

— Ну как же? Я же — цыганёнок. Меня же подменили. И теперь настоящий Вовочка весело живёт и в школу не ходит. А меня даже на крышу не пускают. И купаться в речке не разрешают. Эх, как я ему завидую!

Папа смутился. Он встал из-за стола, прошёлся по комнате, снова сел. И сказал:

— Это, знаешь ли, вопрос спорный. Это, так сказать, лишь мамино предположение, гипотеза, так сказать. Мне лично кажется, что ты самый настоящий Вовочка, а никакой не цыганёнок.

— Но я же чёрненький, — возразил Вовочка. — А другие ваши дети — светленькие. И Мишка, и Павел. Поэтому, если бы я был Вовочка, я был бы тоже светлый. А я тёмный, ясно же, что я подменённый.

— Ну, — решил возражать папа, — дети у родителей бывают разные. И тёмненькие, и светленькие. Это вовсе не доказательство того, что ты — это не ты.

— Как же не доказательство. А моё поведение. Вы же сами говорили, что я неизвестно, в кого уродился. А бабушка всё время меня гадёнышем зовёт. И всё это почему? — Вовочка торжественно посмотрел на отца, — А потому, что я — это не я. А у нас, цыганят, совсем другие правила поведения. И никто нам не должен запрещать лазить на крышу или купаться. Вот!

Видимо, вопрос, который поднял Вовочка, был очень серьёзным. Потому что мама, которая уже несколько минут стояла с тарелкой супа в руках, забыла о том, что она с сыном не разговаривает.

— Это не играет роли, — сказала она. — Если ты наш сын, то просто обязан вести себя, как сын, а не как какой-то цыганёнок. Может, ты ещё по квартирам пойдёшь деньги на хлеб просить?!

— Вот здорово, — сказал Вовочка. — И тогда у меня будут свои деньги. Только в этой одежде плохо просить, надо совсем другую одежду, цыганскую. Бабушку попросить, чтоб сшила? У неё в сундуке много красивых лоскутков.

Мама чуть не выронила тарелку. Но мама была мужественной женщиной, она поставила тарелку перед папой и сказала:

— Иди к себе в комнату и учи уроки. Я тебя ещё не простила. И выброси из головы всякие глупости!

Вовочка медленно, нога за ногу, ушёл к себе. Это только так говорилось — своя комната. На самом деле своя комната была только у старших братьев: у Мишки и Павла, которого Вовочка звал Лялька. Эта комната называлась «детская» и в ней стояла Вовочкина парта, которую сколотил настоящий плотник. А спал Вовочка в столовой на диване. Ещё была спальня родителей, в ней, рядом с мамой, Вовочка спал, когда был маленьким, и был папин кабинет со шкафами с книгами и красивым письменным столом на львиных лапах. Иногда Вовочке разрешали играть в этом кабинете.

Вовочка медленно ушёл в детскую, сел за парту и стал думать: кто же он есть на самом деле. Быть цыганёнком было заманчиво, но мальчик уже понял, что суровая мама никогда этого не разрешит. Но если его нашли в лесу, он мог быть, кем угодно, ведь в лесу много всяких жителей.

Он мог быть троллем. Хотя тролли очень большие и уродливые. Тогда он мог быть гномом… Нет, гномы маленькие, они носят шапочки с колпачками. Наверное, он близкий родственник фей. Феи такие же, как и люди, только красивей. У них тоненький голосок и большие глаза.

Глаза у Вовочки были большие. Даже очень. С длиннущими пушистыми ресницами. В школе его за эти глаза дразнили, считалось, что такие глаза — девчачьи. Но Валя Семенченко говорила, что глаза у него красивые. И что он сам симпатичный. А Валя была старше его на год, училась уже в третьем классе, и ей можно было верить.

— Да, скорей всего я Фей, — подумал Вовочка, — Не фея, фея — это девчонка, а фей. Поэтому у меня и нет крылышек. Они растут только у девочек. Значит, я немного волшебник, все феи волшебники. Только меня никто не учит волшебству. Конечно, они простые люди, откуда им знать, что фея надо учить волшебству. Как бы мне встретиться с феями, чтоб они меня поучили? Надо идти в лес.

Но один я до леса не доберусь, — продолжал думать Вовочка. — Мне нужно найти напарника. Надо выбрать кого-нибудь из старших мальчиков. Чтоб он довёз меня до леса и подождал, пока я встречусь с феями.

Для этой цели лучше всего подходил Васька Молчалин. Ему было целых 12 лет, про него говорили, что он приёмный мальчик, что родители взяли его из детского дома и усыновили. Васька

был большой шалун. Кроме того, Васька был жадина. И Васька мог гулять, где хочет, его не ругали.

Что же такое дать Ваське, чтоб он меня отвёл в лес, думал Вовочка? Дам я ему ящерицу в спирте, ни у кого во дворе такой нет. Завтра воскресенье, школы нет. Пойду гулять и договорюсь с Васькой. Зато потом, когда феи научат меня чудесам…

Что потом, мальчик представлял себе плохо. Но то, что это будет здорово, он не сомневался.

Лесной шатёр

Когда тебе десять лет, даже маленькие деревья кажутся большими. А большие — громадными. Когда тебе так мало лет, лес загадочен, он похож на сказку.

Вовочка легко уговорил Ваську отвезти его в лес. Васька согласился не только из-за ящерицы, хотя ящерица в спирту была замечательная. Васька и сам был не прочь побывать в настоящем лесу, но один идти туда побаивался. Хотя никогда не признался бы в этом даже самому себе. С малышом Вовкой, о котором надо было заботиться, о страхе думать не было времени. Да и какой может быть страх, если бояться должен этот пацан, сын доктора Верта.

Но пацан не боялся. Ни тогда, когда они ехали на трамвае, ни потом, когда они пересели в автобус, ни даже тогда, когда они сошли на остановке «Грибная поляна» и углубились в лес. Это было странно, но мальчишка не боялся, а, наоборот, радовался, вертел головой и то и дело убегал в самую чащобу.

А потом повёл себя и совсем странно: попросил Ваську посидеть на пенёчке и подождать его.

— Ты че, пописать хочешь? — спросил Васька. — Так писай здесь, че уходить в чащобу?

— Я тебе заплатил, — неожиданно строго сказал пацан, — вот и жди.

Васька хотел дать малявке леща, но потом подумал, что тот действительно ему заплатил. А Васька был хоть и жадный, но честный. Поэтому он только сказал вслед Вовочке:

— Иди, иди, мне-то что, ну съедят там тебя волки, или цыгане украдут…

А Вовочка шёл по узенькой, едва заметной тропинке и не боялся волков или цыган. Волки днём не опасные, а цыгане уже украли одного Вовочку, теперь Вовочка и сам цыганёнок, что ж ему бояться цыган.

Он шёл и шёл, и вышел на небольшую полянку, со всех сторон закрытую соснами. Это был такой зелёный шатёр с травой и цветами вместо ковра и хвойным потолком с щёлочками между иголок. В щёлочки светило солнце, поэтому шатёр был не просто зелёным, а золотисто-зелёным.

Посреди полянки был пень. Он был невысокий, но с таким гладким срезом, будто обеденный стол. Пень стоял на толстых узловатых корнях, уходивших в землю. По правилам не пне сейчас должен был появиться гном в колпачке и курточке. Но на пне никого не было.

Вовочка подошёл поближе. Нет, единственным живым существо на пне был большущий рыжий муравей, который с деловым видом что-то там обнюхивал, шевеля усами.

Вовочка посмотрел по сторонам. Нет сомнений, что этот зелёный шатёр — чей-то лесной дом. Именно то место, где ему положено встретиться с феями. Но феи почему-то запаздывали. Допустить, что они не знали о его прибытии, Вовочка просто не мог. Они же — Феи!

Вовочка постоял, впитывая золотисто-зелёное волшебство леса. Ему казалось, что какие-то прозрачные струны играют невероятно красивую музыку. Играют чуть слышно, для него одного.

Наверное, они сейчас заняты, подумал Вовочка, и будут ждать меня в следующий раз.

— Я приду, — негромко сказал он в сторону пня, — я обязательно приду ещё…

И пошёл обратно.

Васька, увидев возвращающегося пацана, ужасно обрадовался. Ему было очень неуютно одному в лесу. Он чувствовал себя уверено только в городе или во дворе, где всё знал.

— Ну че? — спросил Васька и длинно сплюнул сквозь зубы. — Нагулялся? Едем обратно, что ли?

И они поехали обратно.

Пощёчина

Вовочка очень любил праздники. Потому что в праздники к его родителям приходили гости.

Конечно, если бы Вовочка мог сам выбирать гостей, то он многих из них не стал приглашать. Зачем, например, приглашать Клару Ароновну, которая всегда много говорит, всё рассматривает, будто пришла в магазин, щиплет его за щёку, приговаривая пронзительным голосом одну и ту же фразу: «Это кто же у нас тут? Кто этот юный мужчина? Как мы быстро растём, скоро за мной ухаживать будем?». Кроме того от Клары Ароновны пахло с такой силой, будто она вылила на себя целое ведро духами. И она всегда говорила, что ест, как птичка, что у неё совсем нет аппетита, а сама ела, будто пьяный грузчик. (Вовочка не видел, как ели грузчики, но бабушка, скорей всего видела, и всегда говорила про тех, кто ел много и жадно, что они едят, как пьяные грузчики).

Не пригласил бы Вовочка и доктора Дубовика, высоченного дядьку с бородкой клинышком. Дубовик работал у папы в больнице, в гостях он всегда стеснялся, поэтому много молчал и часто выходил на балкон курить. Он был скучный взрослый и никогда Вовочке ничего не приносил.

Честно говоря, Вовочка пригласил бы только семью Семенченко. Потому что они были единственные, кто приходил с дочкой Валей.

Естественно, что праздники нравились Вовочке ещё и праздничным ужином. Сперва стол покрывали белой праздничной скатертью, потом на скатерть ставили приборы и начинали выкладывать закуски. В круглых тарелках лежали тоненькие кружочки колбас, ветчины, буженины, в продолговатых тарелочках нежились в масле шпроты и сардины. В глубоких мисках горбились разнообразные салаты. Ещё были тарелочки с огурчиками, грибами, помидорами. Между ними выстраивались бутылки с вином, водкой и коньяком. Женщины пили вино, Дубовик пил водку, а папа и Семенченко-отец пили коньяк. Семенченко мама всегда говорила Семенченко-отцу, чтобы он не пил каждую рюмку до конца, «не на поминках»,

мол. Но он кивал ей: «да, милочка»,— и всё равно пил до конца.

Вино или шампанское наливали и детям — Вовочке и Вале. Чуть-чуть, на донышко. И тогда они чокались бокалами и рюмками вместе со взрослыми. Бокалы звенели, как хрустальные колокольчики.

Потом закуски убирали, мама торжественно вносила горячее. Иногда это был гусь, иногда — индейка, иногда — жареное мясо с картошкой и зелёным горшком. Мясо бывало зажарено куском и Вовочка никак не мог научиться отрезать от этого куска маленькие кусочки тупым столовым ножом. И удивлялся, как это получается у взрослых.

После горячего взрослые вставали из-за стола, мужчины уходили курить на балкон, а женщины шли с мамой на кухню. Вовочка же с Валей шли в папин кабинет, рассматривали Вовочкины игрушки или возились, как плюшевые медвежата. Валя была сильная девочка, иногда она ухитрялась повалить Вовочку и сесть на него верхом. Вовочке не было обидно проигрывать, всё же Валя была старше его. И выше ростом, девочки всегда растут быстрей мальчиков.

Потом из столовой слышались звоны чайного сервиза, все вновь собирались за столом, и мама вносила блюдо с тортом.

Мама обычно пекла один из трёх тортов: наполеон, безе или шоколадный. Наполеон Вовочке не нравился, что вкусного в слоёном пирожном с белым кремом, пускай даже это пирожное огромное и круглое. Безе Вовочке тоже не нравился, он не понимал вкуса сахарных яичных белков, из которых делалась большая часть торта. Зато шоколадный торт Вовочка обожал. Это был толстенный торт из нежного бисквита, с тройным слоем крема, а поверх торта лежали неровные куски шоколада.

После чая взрослые начинали прощаться, собираясь уходить. Прощанье обычно затягивалось минут на тридцать, Вовочка с Валей вполне могли ещё поиграть. Возиться после такой сытной еды не хотелось, обычно они тушили свет и рассказывали друг другу страшные истории, держась за руки, чтоб не так было страшно.

Однажды после чая Вовочка с Валей как обычно потушили свет, Вовочка начал рассказ, он давно приготовил эту историю, услышанную во дворе, и всё ждал праздника, чтоб рассказать. Неожиданно свет загорелся, в дверях стоял Семенченко-отец, Валин папа. Он строгим голосом приказал девочке идти одеваться, так как они уже уходят, а когда Валя проходила мимо него, неожиданно ударил её рукой по левой щеке.

Вовочка весь съёжился. Валя молча проскользнула мимо отца, пошла в прихожую, натянула пальто, обернула воротник шарфом, смахнула этим же шарфом слёзы.

А Вовочка сидел в папином кабинете и не мог выйти к гостям попрощаться. У него наворачивались слёзы, и он сглатывал какой-то комок в горле, который никак не сглатывался. А левая щека у него покраснела и горела, будто её прижгли раскалённым утюгом.

Вовочка никому не рассказал об этом случае. Когда мама спросила, «что он тут сидит, накуксившись?», он сказал, что болит живот.

Пройдёт много-много лет. Вовочка вырастет, превратиться во Владимира Ивановича. У него будет трое своих детей, девочек. Он сам станет собирать гостей на праздники, сидеть во главе праздничного стола, любяще смотреть на своих дочек. Но всё равно, вспоминая детство и Валю Семенченко, он будет чувствовать, как у него начинает гореть левая щека.

Музыка и гаммы

Ещё до того, как его принесли, Вовочка знал, что оно немецкое и с чудесным звуком.

Наконец к дому подъехала грузовая машина. Вовочка прилип к стеклу. Нечто огромное, закрытое чехлом выползло из кузова, повисло на верёвках и осторожно стало на землю.

Четыре мужика в телогрейках взяли предмет с четырёх сторон и понесли в подъезд.

Пианино не проходило в дверь, поэтому грузчики сперва сняли дверь с петель, и квартира без двери стала какая-то беззащитная, будто кукла без платья.

Топая, как слоны в посудной лавке, грузчики внесли пианино в столовую и установили его рядом с диваном. Чехол сняли, торжественно засияли канделябры (такие старинные подсвечники) из старинной бронзы приделанные к лицевой части пианино.

Вовочка разрывался между двумя желаниями. Ему хотелось посмотреть как едят пьяные грузчики и потрогать пианино за чёрный лакированный бок. Его ждало двойное разочарование: кормить грузчиков не стали, а просто дали им деньги. И грузчики навесили входную дверь на петли и потопали вниз по лестнице. Трогать пианино тоже не дали, а сказали, что оно должно остыть, отдохнуть.

Расстроенный Вовочка вышел на балкон и стал смотреть на огромный тополь, который доставал верхушкой до третьего этажа. По тополю ползла рыжая кошка, охотилась за голубями. Мальчик шикнул на кошку, она скептически посмотрела на него зелёными глазами и, понимая, что он её не может достать, продолжила охоту. Тогда Вовочка вернулся в квартиру, нашёл на кухне щётку с длинной ручкой, вышел на балкон и попытался этой щёткой спугнуть кошку.

Кошку спугнуть не удалось, щётка была слишком короткая. Зато голуби заволновались и взлетели в небо. Кошка проводила их пронзительным зелёным взглядом. Вовочка тоже проводил взглядом голубей и выронил щётку. Щётка упала на тополь, заскользила между ветвей и стукнула кошку щетиной. Кошка взвилась, как ошпаренная, и мигом оказалась на самой верхушке тополя. Щётка проскользила до второго этажа и застряла в сучьях.

Вовочка пошёл в комнаты. Он был окончательно расстроен. День сулил столько интересного, а в результате ни грузчиков, ни пианино, ни щётки.

В конце концов всё уладилось. Средний брат Ляля спустился вниз и выловил щётку, немного

взобравшись на дерево. Папа сел за отдохнувшее пианино и тронул клавиши. Это было замечательно, все стояли вокруг пианино и слушали, как папа играет.

Когда папа перестал играть, Вовочка спросил:

— А мне можно?

— Попробуй, — сказал папа.

Вовочка сел на крутящийся стулик, который купили вместе с пианино. Папа подкрутил сидение этого стулика, и Вовочка оказался один на один с чёрно-белыми клавишами. И начал осторожно трогать их пальчиками. И каждая клавиша отвечала на это касание.

В восторге Вовочка тронул стразу несколько клавиш. Раздался неприятный звук. Вовочка поморщился, слез со стульчика.

— Я как-нибудь потом, — сказал он, — мне надо привыкнуть.

Теперь, когда дома никого не было, у Вовочки появилось чудесное занятие. Он открывал крышку пианино, подкручивал сидение стульчика и трогал клавиши. Он касался их нежно, как котёнок лапкой. И клавиши дарили ему чудесные звуки, немного похожие на звуки хрустальных колокольчиков. Вовочка пытался нащупать в этих звуках ту мелодию, которая едва слышно звучала в лесу под сводами зелёного шатра, мелодию фей.

С каждым днём клавиши становились всё послушней. Мальчик играл, наслаждаясь и наслаждался играя.

Но однажды мама привела пышную тётку с небольшими усиками на ярко-красными губами. Это была учительница музыки.

Тётка усадила Вовочку на стульчик, сама села рядом на стул и сказала:

— Ты должен правильно держать руки. Сперва мы будем играть гаммы. Гамма — это звуковой ряд, правильный звуковой ряд.

И она сыграла эту самую гамму. Она держала руки над клавишами, будто хирург перед операцией (мальчик видел хирурга в папиной больнице), пальцы у неё шевелились быстро, будто сами по себе. Гамма оказалась отдельными, ничего не выражающими звуками, напоминающими те, которые издаёт палка, когда ей проводишь по металлическому забору.

— Теперь ты, — сказала тётка.

Мальчик попытался держать руки на весу. Ему сразу почудилось, что он собирается вырезать у пианино аппендицит. Потом он начал нажимать клавиши по очереди, как это делала тётка. И подумал, что хорошо бы вырезать аппендицит у этой тётки.

— Не так, сказала учительница, руки должны быть расслабленными, пальцы быстрыми. Не тыкай в клавиши пальцами, это не кнопки. Нажимай лёгким, но уверенным касанием на каждую клавишу. Звукоряд должен быть подробным и равномерным. Нет, так гамму не играют…

Они прозанимались целый час. Вовочка так устал, будто он вместе с грузчиками втаскивал это пианино на третий этаж.

Учительница ушла не сразу. Она пила с мамой чай и громко рассказывала о своей работе. У неё, оказывается, было много учеников, не один Вовочка. И все её ученики уже умели играть гаммы.

— Труд и терпенье, — сказала учительница и строго посмотрела на Вовочку, — терпенье и труд. Великий Паганини в детстве занимался на скрипке по 12 часов в день.

Она ушла. Вовочка посмотрел на чашку, из которой усатая учительница пила чай. На чашке были жирные, ярко-красные отпечатки её губ.

На другой день Вовочка дождался, когда все ушли, открыл крышку пианино и попытался вспомнить прекрасные звуки зелёного шатра, сказочных фей, звуки мечты. Но клавиши отзывались ржавыми одиночными нотами, напоминающими непонятный звукоряд или ту самую гамму.

Мальчик осторожно закрыл пианино, сел на диван, в самый уголок и немножко поплакал. Совсем немножко.

Ярод и Пардыква

Однажды собрались гости, но Валя Семенченко не пришла. У неё болело горло. У Вовочки и самого часто болело горло, так что он Вале сочувствовал. И было скучно. От скуки Вовочка и затеял разговор с дядей Дубовиком.

— Ты всегда такой молчаливый? — спросил он его.

Он нарочно обратился к дяде на «ты», ему интересно было узнать, как Дубовик себя поведёт.

Но застенчивый дядя Дубовик не успел ответить. Семенченко-мама услышала Вовочкин вопрос, хотя в это время разговаривала с другими гостями. Она всегда ухитрялась всё услышать и всё увидеть.

— Как тебе не стыдно, Вовочка, — сказала она. — Разве можно к старшим обращаться на «ты»…

Это был вопрос, на который не надо давать ответ. Взрослые часто задавали такие вопросы. Например: почему ты так себя ведёшь? Нет, даже так: почему ты *так* себя ведёшь? Ну как ответить на такой вопрос? Вовочка, если был в плохом настроении, обычно отвечал — *потому*. А если был в хорошем настроении, быстро извинялся и говорил, что больше не будет. А в глубине души удивлялся странности взрослых.

Сегодня было скучно, не было Вали и вообще, какой-то не праздничный был праздник, хотя гости были почти все. И Вовочка спросил Валину маму:

— А почему нельзя? — И уточнил: — Почему ко мне взрослым можно обращаться на «ты», а мне нельзя?

— Потому что мы — взрослые! — сказала Валина мама громким и удивлённым голосом. — Мы вас кормим.

— Это что ж, дядя Дубовик меня кормит, что ли? — ехидно спросил Вовочка.

— Взрослые кормят детей, — укоризненно сказала Семенченко, — они их одевают, кормят, воспитывают. И дети должны уважать взрослых.

— А взрослые детей? — спросил Вовочка. — Взрослые детей уважают?

— Они их любят, — наставительно сказала Семенченко, — они любят их, если, конечно, они хорошо себя ведут. К тому же взрослые больше знают.

— Вы больше меня знаете? — спросил Вовочка.

За столом стало тихо. Все взрослые прислушивались к разговору Вовочки и Валиной мамы.

— Конечно, — сказала Валина мама., — гораздо больше. Потому что я училась.

— Тогда скажите мне, что такое мюзрик?

— Мюзрик?.. — замялась Семенченко, — Мюзрик?.. Такого слова нет, а если есть, то его дети выдумали.

— А вы можете выдумывать слова?

— Зачем их выдумывать, слов много и я все их знаю.

— Тогда скажите, что такое Флуктуация?

— Ну, это что-то медицинское, а я не врач.

— И вовсе не медицинское, — торжественно заявил Вовочка, — а обычное. Просто вы не знаете. Или вот: что такое этилокситилпараминофенелиндиамин?

Гости смотрели в стол. Дядя Дубовик прикрыл зачем-то рот рукой, из под руки торчала его бородка.

— Это состав цветного проявителя для плёнки, — вступил в разговор старший брат Миша. — Как Вовка только ухитрился его выучить. Этил, кситил, параминофенелин и диамин. Вовка, перестань доставать тётю.

— А что такое синекдоха? — не унимался Вовочка.

— Ну, это я недавно учили, по русскому… — смущённо сказал средний брат Ляля, который на самом деле был Павел.

— Это словесный приём, который позволяет показать большое через его часть. Например, можно сказать: «толстяк» или «борода», обозначив тем самым всего человека.

— Ну и память у тебя, Вовка! — сказал Ляля.

— Вова, — вступила мама, — перестань. Расходился, как горячий самовар.

— Кто самовар?! — возмутился Вовочка. — Не знаете, так и скажите! А что такое дисперсия? Или — интродукция? Никто не знает всех слов.

— Это специальные слова, — попытался остановить Вовочкин напор папа, — тётя может их не знать. Я тоже не всё знаю.

— Так ты же не строишь из себя всезнайку. И не требуешь, чтоб я обращался к тебе на «вы». Хотя ты кормишь и одеваешь не только меня, но и Мишку и Ляльку и маму — всех.

Наступила тишина. Потом покрасневшая тётя Семенченко сказала:

— Ты глупый и грубый мальчишка, я не хочу с тобой разговаривать.

А мама сказала:

— Вова, будет лучше, если ты возьмёшь свою тарелку и пойдёшь кушать к себе в комнату. Тут одни взрослые и нам не интересно тебя слушать.

— Ты тоже не знаешь, — совсем рассердился Вовочка, — ничего не знаешь. А командуешь. Я с тобой разговаривать не буду! Три дня!!!

Миша встал из-за стола, взял Вовочку под мышку и понёс из столовой. А Вовочка брыкал ногами и кричал сквозь слёзы:

— А что такое Ярод? А что такое Пардыква? Не знаете! Тоже мне, взрослые!

Ангина

У Вовочки был хронический тонзиллит. Это значит, что у него часто болело горло. Иногда хронический тонзиллит превращался в страшную ангину. У Вовочки подскакивала температура, горло распухало так, что не только глотать, но говорить было трудно, всё тело начинало болеть, будто кто-то пытается разобрать его по суставам и жилочкам.

Чаще всего злодейка ангина нападала на Вовочку в дни каникул. И, как всё вредное, напрочь проходила, когда надо было идти в школу.

У ангины был один плюс — мальчик болел на папиной кровати, а папа на это время перебирался на Вовочкин диван.

Кровать была широкая и мягкая. В спальне родителей на окнах были деревянные ставни, на время ангины эти ставни закрывали, так как от температуры болели глаза. Дневной свет просачивался в самые верхушки ставень, где они неплотно прилегали к раме, и приносил забавные тени. Иногда это были фигурки людей, сплющенные, как в кривом зеркале. Иногда тени приобретали внешность птиц с широкими крыльями. Такое впечатление, что щель в ставнях загадочным образом вбирала всякие движения за окном и, как волшебный фонарь, раскладывал их на белом потолке.

Вовочка лежал, закрывшись до самого носа ватным одеялом, и часами наблюдал за игрой теней на потолке.

Когда теней не было, он мечтал.

О том, как станет великим врачом и сможет лечить всех от любых болезней. О том, что в пятом классе запишется в секцию бокса и станет непобедимым. О том, что обыграет когда-нибудь папу в шахматы.

Когда температура поднималась очень высоко, это обычно происходило к вечеру, Вовочка бредил. Руки его становились ватными и разбухали до невероятных размеров. В сыром полумраке скользили какие-то существа с мохнатыми ушами. Голова тоже разбухала, занимая почти всю комнату, а в уши кто-то вставлял ватные затычки. Вовочка открывал глаза, пытаясь что-нибудь увидеть, но мохнатоушие существа продолжали скользить, а распухшая голова болталась где-то вверху, далеко от туловища.

Утром температура спадала, Вовочка испытывал только слабость и боль в горле. Мама меняла промокшую за ночь ночную рубашку, помогая Вовочке просовывать руки в рукава. Руки вновь были нормального размера, только очень худые. Ничего, думал Вовочка, когда меня примут в секцию бокса они станут мускулистыми.

Приходил посидеть средний брат, Павел, превращённый Вовочкиной фантазией в Лялю. Но он действительно был похож на Лялю: такой же пухлый, губасты и добродушный. Ляля рассказывал Вовочке разные истории. Он как раз увлекался физикой, поэтому истории больше походили на популярные лекции по физике. Про то, что такое свет, как действует земное притяжение, почему вещи на Луне весят меньше, чем на Земле…

Приходил посидеть старший брат, Миша. Он всё время спешил, а когда делал вид, что слушает Вовочку, на самом деле слушал нечто внутри себя,

глаза его становились прозрачными и безжизненными. Но Вовочка говорил мало, ему было больно говорить.

Приходил папа. Папа приходил после работы, поздно вечером, когда у Вовочки уже поднималась температура. Он клал Вовочке на лоб прохладную руку и мохнатые твари на время исчезали, а распухающая голова становилась почти нормального размера.

Мама не приходила. Она всё время сновала между своими домашними делами и Вовочкой. И постоянно пыталась уговорить его покушать.

— Будешь есть — скорей выздоровеешь, — говорила она.

А Вовочке даже думать о еде было противно.

Но, жалея маму, он делал глоток куриного бульона или брал в руку котлетку, чтоб потом положить её на прикроватную тумбочку.

Один раз пришла Валя Семенченко. Она принесла румяное яблоко и долго рассказывала, как сама болела ангиной. Вид у неё был счастливый, ещё бы — она-то выздоровела.

А потом, в одно замечательное утро, ангина проходила, будто её и не было вовсе. И Вовочка вставал с кровати и начинал одеваться, а мама опять загоняла его в кровать, утверждая, что он ещё очень слаб. Но Вовочка был упрямым мальчиком, а кроме того он знал, что после болезни его не станут сразу наказывать.

Квартира, по которой можно было бегать, балкон с тополем напротив, кухня, где что-то скворчало и вкусно пахло, телевизор, телефон… Вовочке казалось, что он давным давно был лишён всего это, будто уезжал в странный мир влажной темноты с мохнатоушими существами, где нет ни телевизора, ни балкона, ни кухни с её запахами, ни телефона, к которому так здорово подбегать вперёд родителей.

Жаль лишь, что на улицу мама его пока не отпускала. Она тоже была упрямая, мама Вовочки.

Что в имени тебе моём

— Почему меня зовут Вовочка? — спросил Вовочка у папы.

Папа пошуршал газетой, он всегда читал газету во время еды, посмотрел на Вовочку и сказал:

— Ну, полагаю, потому что мы так тебя назвали.

— Неужели нельзя было назвать как-нибудь по другому! — недовольно сказал Вовочка. Есть же хорошие имена: Михаил, Павел, Роман.

— Твоё имя тоже хорошее, — сказал папа, — Владимир. Что означает — Владелец Мира, мировой парень.

— Да? — сказал Вовочка. С этой точки зрения он ещё ни разу не рассматривал своё имя. — Надо же… Вот здорово! А что, каждое имя что-нибудь означает? Или — только моё?

— Видишь ли, — настроился папа на обстоятельное объяснение, — действительно каждое имя что-то обозначает. Вот ты недавно читал книгу про индейцев, там в книге индейские имена даны в переводе: Быстрый Ветер, Ястребиный Коготь, Смелый Барс. Наши русские имена переводить не надо, они и так понятные: Владимир, Надежда, Любовь, Вера, Святослав. Но много имён, которые произошли из других стран: Михаил, Георгий, Марина, Сусанна. Если их перевести на русский, то получится, что Георгий — это Победитель, Михаил — добрый, ласковый, Марина — Морская, Живущая в море и так далее…

Папа посчитал разговор законченным и перевёл глаза в газету. Но он зря так посчитал, от вопросов Вовочки многие взрослые становились нервными.

— Это Мишка добрый, ласковый… — проворчал Вовочка. — Как бы не так, жадюга он.

— Э-э-э, — встрепенулся папа, — я ошибся. Это Павел переводиться, как добрый, ласковый. А Миша переводится по другому.

— Жадный, скупой? — обрадовался Вовочка.

— Нет, зачем ты так на брата? Миша в переводе с одного старинного языка переводится Угодный Богу. Раньше люди верили в Бога.

— Они и сейчас верят, — уточнил Вовочка. Наша учителка Марья Семёновна даже крестик носит. А есть имя — Неугодный Богу.

— Есть, — охотно ответил папа, — это имя Мефистофель. Есть такая взрослая сказка Фауст, там к доктору Фаусту приходит Мефистофель и все его желания исполняет. Когда подрастёшь — прочтёшь.

— А что тогда означает имя Семён? И — Мария. Вот наша мама — Мария.

— Иван да Марья, — сказала мама, входя с тарелкой супа. — О чём разговор.

— Вот, Вовочка топонимикой заинтересовался, — неосторожно сказал папа.

— Чем, чем? — спросила мама.

А у Вовочки аж глаза загорелись, как у кота при виде мышки:

— А что такое топомоника? — вкрадчиво спросил он.

Папа вздохнул и взял ложку:

— Не топомоника, а топонимика. Это такая наука, которая изучает происхождение названий. Ведь любое слово откуда-то произошло. И названия рек, морей, и названия городов, и имена людей.

— Здорово, — сказал Вовочка, — ты ешь, ешь, а то остынет. Откуда же произошло название нашего города?

— Иркутск — это город, который стоит на реки Иркут. Оттуда и название.

— А название реки?

— Ну, я не знаю. Наверное, так её называли древние люди, которые тут жили…

Папа откусил большой кусок хлеба и стал быстро работать ложкой, пытаясь переключиться на газету. Не тут-то было.

— Что за древние люди, разве не мы тут всегда жили, в Иркутске?

— Нет, русские построили город всего несколько сотен лет тому назад. А раньше тут жили охотники и рыбаки, буряты и монголы. Ты бы дал мне поесть спокойно. Вот придёт из школы Ляля, ты попроси его найти в шкафу книгу по истории Иркутска, и вы вместе всё узнаете.

Вовочка задумчиво посмотрел на папу.

— Тогда я пойду гулять, чтоб тебе не мешать?

— Да, конечно, иди.

— Ты скажи маме, чтоб она меня отпустила.

— Маша, — сказал папа просительно, — пусть он идёт…

— Ну хитрец, — сказала мама, — специально заморочил голову отцу, чтоб пораньше на улицу убежать. Ладно уж, иди. А уроки сделал?

— Какие там уроки, — махнул рукой Вовочка, одевая курточку и ботинки, — русский да математика, на пять минут работы.

— А чистописание… — начала было мама, но ответом ей была хлопнувшая дверь. Когда надо Вовочка мог становиться очень стремительным.

На улице гулял один Васька. Другие мальчишки и девчонки ещё делали домашнее задание, а Васька был второгодником и его домашние уроки делать не заставляли.

— Васька, — спросил Вовочка, — ты один гуляешь?

Васька гулял один и ему было скучно. Поэтому он снизошёл до разговора с Вовочкой.

— Чего тебе, мелюзга? — спросил он и цыкнул слюной через зубы. Он недавно научился плеваться через зубы и очень гордился этим.

— Ты знаешь, как переводится моё имя? — сказал Вовочка. — Владимир — Владелец Мира.

— Чего, чего? — удивился Васька. Имена не переводятся, они просто имена.

— А вот и нет, каждое имя что-то означает. И вообще, каждое название. И реки, и города, и человека. Вот имя Павел, например, означает Добрый, Ласковый. А имя Мария — Морская женщина. Или девочка. Есть такая наука об именах, Тонопомика.

— Что тогда означает имя Дарья? — заинтересовался Васька.

Вовка на миг задумался. Что означает это имя он не знал, но не мог же он в этом сознаться.

— Та, которая Дарит, — уверено сказал он. — Дарящая подарки.

— Здорово, — сказал Васька. — А что означает моё имя?

— Васька? Конечно, кота. Рыжий кот — Васька.

Васька не был рыжим. Но всё равно обиделся. А когда Васька обижался, он начинал драться. И он ударил Вовочку жилистым кулачком в ухо. Вовочка попытался дать сдачи, но Васька был на четыре года старше и считался опытным драчуном. Поэтому Вовочка получил ещё пару плюх, позорно отступил и побежал домой, сдерживая слёзы.

Он вошёл в квартиру тихонько и хотел проскользнуть в свою комнату незаметно, но мама его заметила.

— Ты что, уже нагулялся?.. — начала было она спрашивать, но тут увидела синяк, который быстро закрывал Вовочкин глаз. — Кто это тебя? С кем ты подрался?! Отец, полюбуйся на своего сына!

— Что случилось? — вышел в коридор отец, прожёвывая котлету. — Вовочка! Дай-ка я посмотрю… Ну, ничего страшного. Сейчас сделаем свинцовую примочку, заживёт. За что это тебя?

— Из-за тебя, — сказал Вовочка зажатым голосом. Он старался не расплакаться, поэтому у него был такой голос. — Из-за твоей тонопомики.

Ковровый человечек

У Вовочки был друг, о котором никто не знал. Это был маленький человечек, который жил в ковре. Или — за ковром, Вовочка не знал точно, где.

Когда Вовочка ложился спать, он протягивал руку ладошкой вверх и, если в комнате никого не было, человечек выходил из ковра и ступал на ладошку.

С человечком можно было разговаривать. Плохо только, что он умел только слушать. И переступать маленькими ножками, обутыми в мягкие ковровые туфельки. Но слушал он внимательно. И выражал разные чувства, пожимая плечами, сморщивая маленькое личико или улыбаясь во весь рот.

— Это просто безобразие, — говорил Вовочка, — всё интересное нельзя трогать. Представляешь, я хотел посмотреть, как часы делают бим-бом, а мама меня за это наказала. Говорит, что часы старинные и я их сломаю. А я вовсе и не сломал, а только хотел посмотреть.

Человечек сморщивал личико и пожимал узенькими плечиками, обтянутыми мяконькой ковровой курточкой.

— Или эта бабушка. Сидит над своим сундуком, как Кощей Бессмертный. Будто над златом чахнет. А мне посмотреть не разрешает. А у неё в сундуке столько всего интересного.

Человечек пожимал плечами и улыбался, говоря, что, мол, ничего страшного, дело житейское.

— Ну что ты изображаешь из себя Карлсона, — говорил ему Вовочка. — У тебя и пропеллера нету. И дело вовсе не житейское, а просто безобразие — сплошные запреты…

Потом глаза у Вовочки начинали слипаться, рука опускалась всё ниже к одеялу и человечек незаметно уходил в свой ковровый домик.

Как-то Вовочка решил помечать плохие и хорошие дни. Для этого он завёл специальную тетрадь и ставил в ней пометки. Если день прошёл хорошо, то он ставил плюс, а если плохо — то минус. Через десять дней он подсчитал знаки. Оказалось, что плюсов пять штук, а минусов тоже пять.

Забравшись в постель и убедившись, что мама ушла из комнаты Вовочка протянул руку и человечек ступил на ладошку и переступил ножками в ковровых туфельках.

— Представляешь, — сказал Вовочка, — половина моей жизни проходит в неприятностях!

И он рассказал ковровому человечку, как измерял плохие и хорошие дни. И что из этого получилось.

Ковровый человечек пожал плечиками, обтянутыми ковровой курточкой и улыбнулся от уха до уха.

— Тебе что, — сказал Вовочка, — сидишь себе в ковре, никаких забот. А тут вся жизнь наперекосяк. Одни сплошные неприятности.

Ковровый человечек сморщил личико.

— Вот, ты понимаешь, — сказал Вовочка, — поэтому я с тобой и дружу.

Ковровый человечек обрадовался, что с ним дружат, и улыбнулся во весь рот.

А тут Вовочке исполнилось целых девять лет. Он успел окончить второй класс всего с двумя четвёрками — по пению и рисованию, начались

бесконечные летние каникулы, и Вовочка начал ждать свой *день рождения*. Он ждал его и ждал, а день рождения всё не начинался.

— Ты подумай, — говорил Вовочка ковровому человечку, — это какой-то безразмерный месяц, никак не кончается, чтоб мой день рождения начался.

Человечек сморщивал личико, а потом улыбался: не бойся, мол, наступит твой день рождения.

И, когда уже у Вовочки совсем кончилось терпение, мама сказала:

— Ну, дождался. Ложись сегодня пораньше, завтра твой *день рождения.*

Вовочка лёг пораньше, чтоб быстрей наступило завтра. Перед сном он даже не поговорил с ковровым человечком, так спешил заснуть. И утром он проснулся раньше всех и начал ходить по комнатам и будить всех, приговаривая, что они могут проспать его *день рождения.*

И так он дошёл до бабушкиной комнаты, а бабушки там не было. Вовочка пошёл на кухню и увидел бабушку. Она стояла перед печкой, согнувшись. Когда Вовочка вошёл, она закрыла духовку, выпрямилась и сказала:

— Уже вскочил, шалый. Не терпится. Я тут тебе пирог поставила печься, какой ты любишь — с капустой. А пойдём-ка я тебе подарок дам.

Они пошли в бабушкину комнату, бабушка открыла сундук, отошла в сторону и сказала:

— Вот, неслух, выбирай сам, что хочешь. Только один, не больше.

У Вовочки разбежались глаза. Сокровища бабушкиного сундука превосходили сокровища Кащея, который чах над златом. В бабушкином сундуке было не злато, от которого никакого толку. Там были многочисленные коробочки с таинственным содержимым. Там были толстые альбомы с надписью на старинных языках. Там были прекрасные фигурки животных из слоновой кости. Там были куклы, совсем непохожие на кукол нынешних, а похожие на королев и принцесс. Там было всё и Вовочка трогал это всё дрожащими от счастья руками.

Потом, ничего не взяв, он спросил бабушку:

— Ты раньше никогда мне не разрешала тут копаться. А теперь?

— Теперь ты стал большим, — сказала бабушка, — девять лет. Почти мужчина. Ну, выбрал.

— Знаешь, ты сама лучше выбери, — сказал Вовочка смущённо.

— Ишь ты, — сказала бабушка, — какой джентльмен! Ладно, попытаюсь угадать.

Она потрогала одну вещь, другую и, вдруг, достала с самого дна старинную машинку. Машина была, как настоящая, с рулём, шинами на колёсах, гудком и открывающемся капотом, под которым был мотор. Были даже крошечные ручки на дверях. Такие машины Вовочка видел только в кино про старину. Эти машины походили на коляски, которые запрягались лошадьми.

— Ух ты! — сказал Вовочка.

— Бери, бери, — сказала бабушка. — Этой машинкой играл мой младшенький, сорок лет тому назад. Теперь ты играй, не сломай только.

И она наклонилась и поцеловала Вовочку, обдав его сложным запахом ванили, корицы и прочих вкусных вещей. И Вовочка тоже поцеловал её в сморщенную щёку и сказал:

— Бабушка, я тебя люблю.

— Я тебя тоже люблю, неслух, — сказала бабушка и заторопилась на кухню, не упустить пирог в духовке.

Этот день пролетел с бешеной скоростью. Просто непонятно, почему хорошие дни так быстро кончаются. Были гости, были подарки, была Валя Семенченко…

А потом наступил вечер, мама с бабушкой возились на кухне, мыли посуду, папа работал у себя в кабинете, братья что-то делали в своей комнате. Вовочка поудобней подоткнул одеяло и протянул руку к ковру. Но ковровый человечек не появился.

— Ну, что же ты? — сказал Вовочка. — Выходи, я тебе столько всего расскажу.

Ковровый человечек не вышел.

— Ты что, обиделся, что я вчера тебя не позвал? — спросил Вовочка. — Так я вчера торопился спать, чтоб быстрей сегодня наступило. Выходи.

Ковровый человечек не вышел.

Вовочка подождал немного. Он был растерян. Потом уткнулся лицом в подушку и заплакал. Он думал, что ковровый человечек обиделся на него за то, что Вовочка веселился и про него не вспоминал.

Вовочка ещё не знал, что когда становишься старше — это не всегда одни радости и праздники.

Поцелуй

Это было ещё зимой, когда до *дня рождения* было, как до луны. Мальчишки играли на горке: сперва катались, кто на чём. Кто на санках, кто на кусочке фанеры, а кто на собственных ногах. Только устоять на ногах до конца горки было трудно. Васька, так тот запросто скатывался и до самого конца ледяной дорожки не падал. Ему что — он большой. А у Вовочки так не получалось.

Зато на санках он лихо катался, не по-девчоночьи — сидя, а лёжа на пузе и руля ногами.

Потом катались паровозиком: все вставали друг за другом лицом к дорожке, держались друг за друга и так ехали. И, если падали, всё равно было весело.

А девчонки не катались, так как мальчики их толкали. Они стояли возле горки или сидели на санках и шушукались. Шушукаться — это значит сплетничать, говорить про кого-то разные глупости.

— Вовка, Вовка, а подойди сюда, — сказала одна девочка, Марина.

— Ну чего? — подошёл Вовочка.

— А спорим, что ты целоваться не умеешь.

— Как это целоваться? — удивился Вовочка. — Ну, меня мама целует, бабушка… Я их тоже целую.

— Нет, это совсем не то, — замахала рукой в пёстрой варежке Марина, — это не считается. А вот по-настоящему не умеешь.

— Как это по-настоящему? — всё не понимал Вовочка.

— А иди ближе, тогда скажу.

Вовочка наклонился к Марине и она сказала ему на ухо громким шёпотом, так, что все девчонки слышали.

— С девочками. Вот что значит по-настоящему.

И все девчонки начали смеяться, прикрывая губы варежками.

Вовочка посмотрел на них и сказал:

— А ну вас, дуры набитые!

И пошёл на горку, где как раз выстраивался очередной паровозик.

Дома Вовочка спросил у старшего брата:

— Миша, а со скольки лет можно целоваться с девочками?

Мишка выпучил на него глаза и закричал:

— Лялька, пап, мам, идите сюда, Вовка слабым полом интересуется.

— Каким ещё слабым полом, — рассердился Вовочка. Но тут вошли мама с Лялей и уставились на него и на Мишу. А потом вошёл папа и уставился на Мишу, Вовочку, маму и Лялю.

— Ну вас всех, — сказал Вовочка, которому почему-то стало стыдно.

Он махнул рукой и ушёл в спальню, где начал перебирать свои вещи в комоде. И вышел из спальни только через час, когда всех позвали к столу.

Во время ужина никто не заводил разговора о поцелуях, только все поглядывали на Вовочку как-то хитро. А когда ужин кончился, папа вдруг положил Вовочки руку на плечо и сказал загадочно:

— Не переживай, всё само придёт. Со временем.

Вовочка ещё немного поиграл и лёг спать. Перед сном он немного пожаловался ковровому человечку на непонятных старших. Ковровый человечек как всегда пожимал узкими плечами и то морщил личико, то улыбался во весь рот, от уха до уха.

На другой день в школе Вовочка как-то по другому стал смотреть на девочек. Он как бы выбирал, надо с ними целоваться или не надо.

Девочки были такие же, как всегда, вертлявые, писклявые и много из себя ставящие. Нет, с котом и то приятней целоваться, чем с такими вреднулями. К тому же, они же совершенно не умеют хранить секреты, сразу всё всем выбалтывают.

Вовочка подумал о котах, кошках и забыл о девочках. А на уроке рисования учительница дала задания всем рисовать друг друга, кто кого хочет. Это было интересное задание, только не так просто выбрать, кого ты хочешь нарисовать?

Вовочка повертел головой. Те, с кем он дружил, сидели далеко и рисовать их было трудно. А тех, кто сидел близко, Вовочка рисовать не хотел.

Ближе всех на одной с ним парте сидела Лена Застенская. Она с ним сидела с самого начала учебного года, всех мальчиков рассадили в паре с девочками, чтоб они на уроках не баловались. Лена Застенская была спокойная девочка, она ещё была не жадная и всегда делилась с Вовочкой бутербродами, а он делился с ней яблоками. Они спокойно жили вместе на одной парте.

Но Вовочке никогда не приходило в голову рассматривать свою соседку. А теперь, решив, что он нарисует её, Вовочка стал смотреть на девочку внимательно.

— Ты че уставился? — спросила Лена. — Ты меня рисуешь, да?

— Ага, — сказал Вовочка.

Лена почему-то немного покраснела и сказала:

— Тогда я тоже тебя рисовать буду.

И они повернулись друг к другу на парте и стали друг друга рисовать.

Вовочка обнаружил, что у Лизы румяные щёки, полные, будто слегка надутые, губы, густые брови и длинные ресницы. Что обнаружила Лена в Вовочкином лице, сказать трудно, но она всматривалась в него внимательно и, даже, губку прикусила от старания хорошо его нарисовать.

Вовочка нарисовал Ленины волосы, он всегда начинал рисовать людей с головы, нарисовал её длинную косу, которая доставляла Лене множество неприятностей, так как за неё было удобно дёргать. Потом он нарисовал лоб, брови и начал рисовать щёки. Он не пожалел розового цвета, так что щёки у Лены получились, как большие яблоки.

Вовочка перешёл к губам и заметил, что у Лены на верхней губе лёгкий пушок, как у персиков, когда их только купишь на рынке.

Он наклонился поближе, чтоб рассмотреть этот трогательный персиковый пушок и сам не заметил, как коснулся её губ своими губами. Ему стало безумно приятно и он секунду промедлил, прежде чем отпрянуть.

Лена покраснела ещё больше, а ябеда Клавка, которая, как сова, всегда и всё видела, закричала на весь класс:

— А Вовка с Ленкой целуются!

Лена совсем наклонилась к парте, Вовочка обернулся к ябеде, чтоб сообщить всё, что он о ней думает, но тут понял, что он и в самом деле поцеловал Лену прямо в губы. Как взрослый. И это было приятно, хоть и необычно.

Тогда он тоже покраснел и тоже нагнулся к парте.

Так они и сидели, нагнувшись, пока учительница не успокоила класс и не подошла к ним.

— Кончайте кукситься, — сказала она строго, — продолжайте рисовать. Ничего не произошло. А ты, Клава, не сочиняй всякие глупости, лучше рисуй старательно.

Хотя Вовочка боялся, что на переменке над ними начнут смеяться, никто не смеялся. Все показывали свои рисунки, лишь одна Клавка попыталась пропеть: «Тили-тили-тесто…», но Вовочка показал ей кулак и она заткнулась.

А когда Вовочка пришёл домой, оказалось, что родители уже знают о происшествии на рисовании. Им позвонила учительница и всё рассказала. Иначе, зачем бы мама спросила:

— Вовочка, ты дружишь с Леной Застенской?

— Мы на одной парте сидим, — сказал Вовочка угрюмо, — и всем делимся, и бутербродами, и яблоками, и ещё всем.

— Да нет, я ничего не имею против, — поспешно сказала мама. — Что ты наёжился, иголки выпустил? Я к тому, что почему ты никогда не пригласишь Леночку к нам в гости?

— А можно? — обрадовано спросил Вовочка.

— Конечно, — сказала мама, — вот в следующий выходной и пригласи, мы рады будем с ней познакомиться.

— Вот здорово! — сказал Вовочка. — Понимаешь, она хорошая. Я её раньше не видел, а сегодня разглядел!

Цокающий павлин

Когда утро — все заняты. Мама хлопочет на кухне, братья никак не поделят туалет и ванную, папа просматривает какие-то бумаги, а бабушка ещё спит. У бабушки старческая бессонница, она всё время это твердит, поэтому она утром спит.

Вовочка, полусонный, стоит на балконе. Весна тёплая, у второклассников занятия в школе уже начались, а у Миши и Ляли ещё уроки, и скоро экзамены.

Вовочка всё равно встаёт утром со всеми. Ему нравится эта дорожная суета, нравится сесть со всеми за стол, позавтракать. И особенно ему нравиться, что после завтрака он со спокойной совестью может вновь лечь в кровать и досмотреть утренние сны.

Странный звук слышится со стороны улицы. Будто очень большая лошадь цокает копытами по асфальту.

Вовочка всматривается. Тополь ещё не оброс летней широкой листвой, поэтому сквозь узенькие листики улица видна хорошо.

У Вовочки начинает щекотать в животе, а горло пересыхает, как во время ангины. По улице идёт павлин. Это огромный павлин, он легко достаёт головой до балкона второго этажа. Это он цокает, как лошадь, хотя переступает по асфальту лапами, а не копытами. Лапы у этого огромного павлина похожи на лапы страуса, только гораздо толще. И, если честно, это не совсем павлин. Во-первых, таких огромных павлинов не бывает. Во-вторых, этот павлин переливается роскошными цветами, как райская птица. Кроме того, он цокает страусиными ногами и гордо смотрит не по сторонам, а только вперёд.

— Ляля, иди сюда, — сдавленным голосом зовёт Вовочка.

— Ну что там у тебя? — отзывается средний брат. — Я занят, мне собираться надо.

— Миша, — отчаянно зовёт Вовочка.

Старший брат бурчит в ответ нечто нечленораздельное. Ему не до Вовочки.

— Мама, а мама… — безнадёжно зовёт Вовочка.

Мама на кухне, она просто не слышит.

Тогда Вовочка с трудом отрывает глаза от павлина, который уже прошёл мимо дома и удаляется вдоль по улице, ведущей к реке, бежит в комнату и хватает первого попавшегося — Лялю, тащит его на балкон.

— Да пусти ты, — говорит брат, — вот ошалелый… Ну, что ты тут увидел?

«Вот же, павлин сказочный…» — хочет сказать Вовочка, но павлина уже нету, ушёл, так быстро ушёл…

— Да так, ничего, — говорит Вовочка, — листочки на тополе уже распустились, лето скоро.

Брат несколько удивлённо смотрит на Вовочку, переводит взгляд на чахлые листики, вновь — на Вовочку, недоуменно хмыкает, уходит с балкона и тотчас забывает о странном поведении младшего брата. А Вовочка смотрит в пустоту улицы. В ушах его ещё звучит цокот копыт, безумные краски её оперения так и стоят перед глазами. Прекрасная сказочная птица, видением которой он хотел поделиться с родными, всегда будет цокать своими страусиными лапами в его памяти…

Взрослые книжки

Читать Вовочка научился в пять лет сам собой. Наверное, нетрудно научиться читать, когда у тебя два старших брата, которые не только свободно читают, но ещё и Вовочку этим дразнят, вот мы, мол, какие всезнающие.

Сперва братья не поверили, что Вовочка читает, проверять начали, слова ему всякие трудные подсовывать. Ан нет, читает малыш, и ничего ты с этим не поделаешь.

К девяти годам у Вовочки уже скопилась приличная библиотека. Тут были детские книжки обеих братьев, они ими уже не интересовались, были книжки которые Вовочке дарили папа с мамой и некоторые гости, была книжка подаренная Валей Семенченко… Вообщем, много было книжек.

Особенно дорога мальчику была книжка, подаренная бабушкой. Это была большая старинная книжка с очень хорошими рисунками (папа объяснил, что это гравюры известных художников). На рисунках были изображены разнообразные сказочные чудовища. Некоторые были страшные, а некоторые — так себе.

Когда бабушка дала эту книжку внуку, мама проворчала:

— Ничего не выдумала лучше, чем ребёнку давать работы Гойя?

На что бабушка ответила:

— Эту книжку ты в детстве в постель с собой клала…

И мама перестала ворчать.

Поэтому Вовочка любил эту книжку ещё и за то, что она нравилась маленькой маме. Хотя представить себе маму маленькой не мог.

Вообще, из-за книг дома часто возникали споры и ссоры. Например, некоторые книги папа не разрешал читать даже старшим братьям, говоря, как они говорили Вовочке — подрасти сначала. Эти книги стояли в шкафу в папином кабинете и створки этого шкафа запирались замочком, ключик от которого папа носил с собой. Вовочка иногда разглядывал запретные книги и никак не мог понять, что же в них такого опасного для детей? Сами по себе книги выглядели скучновато, переплёты у них были без украшений. Не то что Вовочкины сказки или шикарная книга-альбом бабушки.

Вовочка не зря заслужил прозвание отчаянного неслуха. Он давно выяснил, что дверку в книжный шкаф можно открыть без всякого ключика. Для этого надо вставит в щель около замка ножик и слегка надавить. Чтобы закрыть дверку надо было снова вставить ножик и плотно дверку прижать.

Однажды, когда никого не было дома, Вовочка вскрыл шкаф и стал просматривать книги. На обложках были только имена авторов и номера томов: «Том I, Том II, Том III». Номера были проставлены не привычными цифрами, а старинными, греческими. Фамилии авторов были ещё более

странные. Ну что, например, означают Эмиль Золя, Жорж Санд? Дяденьки это или тётеньки?

Вовочка выбрал автора с наиболее таинственной фамилией — Ги де Мопассан. И стал читать с самого начала.

Это были рассказы. Но, в отличии от рассказов про Вини Пуха или про Дениску писателя Драгунского эти рассказы были длинными. И в них встречалось множество не вполне понятных слов.

Перескакивая со страницы на страницу Вовочка частично одолел один такой рассказ. Там одна девчонка по имени Жаннета часто ездила в город по делам на телеге парня, который возил уголь. И этот парень, управляя лошадью, то и дело на тётеньку оборачивался и подмигивал ей. Зачем он ей подмигивал нигде не объяснялось. А когда они приезжали он предлагал ей: «Побалуемся, Жаннета». Жаннета отчего-то смущалась, она или боялась родителей или просто не умела играть в мальчишеские игры. А ведь баловаться, это так здорово, никто из знакомых Вовочке мальчиков и девчонок, кроме, пожалуй, ябеды Клавки, не отказался бы побаловаться. Особенно во время урока.

Дочитать до конца историю про трусливую девчонку и чумазого парня-баловника Вовочка не смог. Он на всякий случай заглянул и в другие книги, но там были ещё более длинные и ещё более скучные истории.

Он вставил нож, аккуратно прижал дверцу, чтоб язычок замочка вошёл на место и, вздохнув, ушёл из папиного кабинета.

Ему было жалко взрослых, которые вынуждены читать такие неинтересные книги.

Бабушка

Рядом с папиным кабинетом была комната бабушки. Вернее, комнатка. Возможно, эта комната была и большая, но из-за бабушкиных вещей казалась маленькой.

Треть комнаты занимал сундук. Такой сундук, в котором можно было бы жить, если б бабушка разрешила. Сундук запирался фигурным ключом, замок был с музыкой: когда бабушка поворачивала ключ, замок играл «Эх, полна, полна коробочка, есть и ситец и парча…».

Сундук был полон сокровищ. Там была жестяная коробка с сосательными конфетами монпансье, вся разукрашенная, как шкатулка. Там было домино из сандалового дерева: это дерево и всё, что из него сделано, пахло загадочным запахом. Там был альбом, в котором на коленях молодой бабушки сидела девочка с косой — Вовочкина мама. Там была коробочка из-под ваксы, на которой был нарисован чёрт во фраке, изо рта у чёрта выходила надпись: «Мылся, брился, одевался, Сатана на бал собрался». Там были старинные куклы с фарфоровыми лицами, с которыми даже Вовочка не отказался бы поиграть, хотя и не был девчонкой. Там была старинная книга в жёлтом переплёте из кожи, которая застёгивалась на медную застёжку. Бабушка объясняла, что это божественная книга Четьи-Минеи и трогать её нельзя. Там была медная ступка с пестиком, в которой бабушка толкла грецкие орехи к праздничному пирогу. Много чего было в бабушкином сундуке, но Вовочке не позволялось туда лазить.

Всю стену комнаты занимал особый шкаф, который бабушка называла буфетом. Это был настоящий замок, с переходами, башенными шпилями, карнизами и балконами. Всё было резное, а на каждой дверке и дверочке была блестящая медная ручка. На дверках были вырезаны выпуклые виноградные грозди и листья. В буфете у бабушки тоже хранились разные занимательные вещи. Чего стоила, например, пивная кружка из серебристого металла, сделанная в форме толстого человека. Крышкой для кружки служила шляпа этого толстяка. На балконах и карнизах буфета стояли китайские вазы и фарфоровые гномы.

У бабушки болели ноги и она всё время сидела в кресле-качалке с полированными подлокотниками. Кресло было обтянуто розовым бархатом, а на сидение и под головой были подушечные валики. Иногда бабушка вставала, опираясь на клюку и позволяла Вовочке покачаться на своём кресле. Это было здорово.

Сама бабушка была маленькая с громким голосом. У неё было морщинистое лицо, даже нос был с морщинками, а под носом на верхней губе длинные седые волоски. Бабушка была очень старая, но очки надевала редко, только когда читала свои Четьи-Минеи. Папа и мама были гораздо моложе её, но очки носили почти постоянно.

Раньше бабушка сама ходила в магазины и на рынок, но потом у неё стали болеть ноги, она даже по квартире ходила медленно, постукивая клюкой.

В доме бабушка была главная. Её слушались и мама, и папа, и старшие братья. Вовочка не хотел слушаться, поэтому часто ссорился с бабушкой. Тогда она называла его неслухом и говорила, что яблоко от яблони недалеко падает. Под яблоней она подразумевала папу, хотя, с точки зрения Вовочки он должен был гордиться, тем, что похож на папу.

Бабушка знала множество сказок и других загадочных историй. Однажды она рассказала, как дала самому красному командарму Будённому напиться воды из кувшина, когда его конармия проходила мимо их деревни.

— Охальник, — рассказывала бабушка, — попил и давай руки распускать. Я его огрела, конечно, мокрым полотенцем. А сам, когда с коня слез, маленький и ноги кривые, только усы торчат из-под папахи.

Вовочка не знал, как можно распускать руки, но что бабушка здорово дерётся мокрым полотенцем, испытал на собственной спине.

Вовочка не знал, любит ли он бабушку. Но однажды бабушка несколько дней не вставала с кровати, около неё сидела специальная медсестра, в доме часто собирались папины знакомые врачи, которые надолго уходили в бабушкину комнату, а выходили оттуда озабоченные, разговаривая по латыни.

Потом старший брат Миша взял Вовочку с собой в кино на дневной сеанс. После кино они не пошли домой, а пошли гулять в парк, где Миша разрешил Вовочке покататься на всех каруселях и качелях. Домой они вернулись уже вечером. И бабушки уже не было.

Нельзя же было считать, что та восковая кукла с неживым лицом, которая лежала в длинном ящике, оббитом шёлком, — это бабушка.

Потом была печальная музыка, кладбище, где это неживое существо зарыли, и Вовочке сказали бросить в яму горсть земли, и он бросил, стараясь не шевелить почему-то онемевшими губами.

Потом все вернулись в дом, сели за стол и стали есть и пить. Вовочке тоже положили в тарелку его любимые шпроты и буженину, но он не хотел есть. Поэтому он соскользнул со стула и ушёл в бабушкину комнату, где не было бабушки.

Он трогал руками крышку сундука, резные виноградины на буфете, полированную перекладину кресла-качалки, гладил их. Потом поднял с бабушкиной кровати серый пушистый платок, который всегда был на плечах у бабушки, прижал его к лицу.

Платок пах бабушкой…

Никогда не возвращайся

За гаражами было место, куда можно было сбегать пописать. Впритык к загоражному закутку находился кусок забора, отделявшего двор от больницы. Как-то Вовочка, застегнув штанишки, посмотрел в щель этого куска забора и увидел, что там играют двое мальчишек. Один чуть помладше Вовочки, а второй чуть постарше.

Тогда Вовочка залез на этот кусок забора и высунул голову над его верхушкой.

Мальчишки его заметили.

— Здорово, — сказал младший.

— Перелазь к нам, — сказал старший.

Вовочка перелез. И они начали играть, будто были давным давно знакомы.

Они играли в выжигалы, втроём это можно. Они играли в прятки, на больничном дворе было где спрятаться. Они играли в замерь старыми монетками. Потом немного устали, уселись в больничной беседке и стали играть в города.

Вовочка выиграл.

А потом стемнело и мальчишки стали торопиться домой. И Вовочка вновь перелез через кусок забора в свой двор и побежал домой. Где, конечно, получил лупку от мамы за то, что так поздно пришёл и не откликался на её призывы из окна. Не мог же Вовочка объяснить, что он маму не слышал, потому что во дворе его не было. В своём дворе.

На завтра Вовочка собирался снова туда пойти и наиграться от души, но мама в наказание его не пустила на улицу вовсе. Пришлось сидеть дома. Это было не столько скучно, сколько обидно.

Вырасту, думал Вовочка, и никогда своим детям не буду запрещать гулять сколько они хотят.

Лишь послезавтра Вовочка смог вырваться на улицу и сразу побежал в загаражный закуток, вскарабкался на кусок забора и спрыгнул в больничный двор.

Мальчишки были там. Но они не хотели играть. Они сидели под деревом, так что их больницы не было видно, и курили.

Вовочка как-то пробовал курить. Ему не понравилось. К тому же, он был сыном врача и знал сколько вреда приносит человеческому телу курение.

— Курить будешь? — спросил младший.

— Не-а, — сказал Вовочка.

— Что так? — спросил старший.

— Неохота. Недавно курил уже.

— У нас хорошие сигареты, с фильтром, — сказал младший. — В этом фильтре всё нехорошее остаётся, он потом такой жёлтый становится.

— Всё равно не хочу, — сказал Вовочка.

— Нам больше останется, — сказал старший.

Странно, подумал Вовочка, столько играли, а я не знаю как их зовут. А они — как меня зовут.

Он хотел спросить, а потом передумал. Потоптался с ноги на ногу и сказал:

— Я пойду, наверное…

— Иди себе, — сказал старший.

А младший ничего не сказал, только головой мотнул — иди, мол.

Вовочка медленно пошёл к забору. Он всё наделся, что его окликнут. Но его не позвали. Он перелез через забор в свой двор и пошёл домой. Расхотелось ему почему-то гулять.

Кот Буська

Это был не просто кот. Это был котяра, котище. На задних лапах он доставал Вовочке до живота.

У него были великолепные усы, дымчатая короткая шерсть на всём теле, которая на щеках превращалась в длинные бакенбарды. Как у поэта Пушкина на картинке в книжке «Сказки Пушкина».

Когда Буська мурчал, слышно его было во всех комнатах.

Ещё Буська ненавидел собак. Он выходил во двор и принимался смотреть во все стороны, неторопливо поворачивая свою большую голову с блестящими усами и дымчатыми бакенбардами. И, если он видел собаку, то начинал идти в её сторону странной походкой. Он шёл на прямых, пружинистых лапах, как-то боком, а его хвост, раздувшейся, словно полено, бешено бил кота по бокам.

Мало какая собака могла выдержать такую атаку. Папа говорил, что такая атака называется психической. Психическая атака кота Буськи.

Буська никогда не делал свои делишки в доме. Таз с песком напрасно дожидался его визита. Когда Буське требовалось он подходил к входной двери и выразительно говорил: «Мяу-у». Всего один раз. И ждал. Если кто-то из домашних не выходил сразу на его зов, Буська повторял это кошачье слово, только звучало оно немного иначе: «Мя-я-ууу». На этот раз его слышал даже соседи.

Выйдя на улицу Буська сперва проверял двор на наличие собак, а потом уходил в закуток между забором и гаражами. Потом он совершал неторопливый обход всего двора. Он здоровался с людьми, в этом дворе его знали все, высокомерно отвергал попытки погладить, никогда не оборачивал голову на унизительное «кис, кис», реагируя только на своё имя Буся.

Среди других кошек, населявших двор он выделялся, как слон выделяется среди табуна лошадей. И эти кошки всегда выходили его встречать, рассаживались около окошек подвала и подъездов и смотрели на него, как солдаты смотрят на генерала.

У Вовочки с Буськой отношения были сложными. Во-первых, непонятно было, кто из них

старше. На свете кот прожил столько же, сколько и Вовочка, но кошачий год несравним с человеческим, ведь коты живут не больше 12–15 лет. Поэтому, если считать по кошачьи, то Буська был ровесник Вовочкиному папе. С другой стороны, Буська всё же не носил пиджак с галстуком и очки, не имел права поставить Вовочку в угол и не приносил домой зарплату.

Во-вторых, кот относился к Вовочке, если не как папа, то как мамин брат дядя Фадя — строго, но терпеливо. Поэтому Вовочка мог иногда встретить в Буське полное желание играть, а иногда кот отгонял Вовочку одним намёком на свои острые когти. Хотя, дальше угроз дело никогда не шло, и если Вовочка, разыгравшись, продолжал приставать к коту, тот просто запрыгивал на верхушку буфета и оттуда иронично посматривал на мальчика.

Особую симпатию Буська питал к бабушке, хотя старушка ни разу его не погладила, и обращалась к нему без всякого уважения, называя кота бабником и лентяем. (Почему, кстати, кот может быть бабником, Вовочка так и не понял, а узнать у родителей постеснялся, сам не зная почему. Может потому, что после того злополучного поцелуя его тоже звали бабником).

Когда бабушки не стало, Буська долгое время ходил сам не свой, часто просился на улицу, а возвращаясь сразу бежал в бабушкину комнату. Потом Буська пошёл гулять и не вернулся. Его искали по всему двору, кричали, расспрашивали соседей. Кот не нашёлся.

Прошло три дня. Вовочка ходил кислый, вспоминал, как Буська сам открывал двери, повисая на передних лапах на ручке, а задними отталкиваясь от косяка. Как Буська прыгал иногда к Вовочке на диван и ложился на колени (полностью он на коленях не помещался, там располагалась лишь передняя часть кота), позволяя чесать бакенбарды и включая своё мурлыканье, напоминающее работу мотоцикла на холостом ходу.

А на четвёртый день они поехали к бабушке на могилку. Вовочке тоже дали цветы и он положил их в изголовье земляного холмика, туда, где стояла деревянная каланча с бабушкиной фотографией.

И, вдруг, из-за памятника раздалось «Мя-у» и вышел Буська. Он похудел, его бакенбарды как-то обвисли, и усы не торчали задорно, а тоже висели. Но вёл он себя с прежней независимостью: подошёл и сел у маминых ног.

А когда мама наклонилась и погладила его, замурчал, будто заработал мотоциклетный мотор.

Роза из хорошей семьи

В квартиру Роза вошла на цыпочках. Вежливо приблизилась к хозяйке. Кусочек сахара взяла деликатно, одними губами. (Потом мы узнали, что сахар она терпеть не может). Схрумкала его. Легла на коврик. Поблагодарила хвостом и расслабленно прикрыла глаза.

Розу привёл старший брат. Не для себя — мама не разрешила бы заводить собаку, а для учительницы, которая подтягивала Мишу по химии. Он взял её в питомнике для бродячих собак бесплатно, но дарить учительнице тощую, жалкую псину было неприлично.

Самое удивительное, что старый кот Буська, ненавидевший всех собак на свете, Розу признал. Наверное, он считал её особой собакой, домашней, хозяйской, не имеющей отношения к диким собакам на улице.

Уже через месяц, она вошла в тело, шерсть лоснилась от сытости и спокойной жизни, глазёнки стали озорными и доверчивыми. Забот она не доставляла никаких: гулять ходила всего раз в сутки, сопровождения не требовала. Уж чего-чего, а самостоятельности ей было не занимать.

Вовочка одел Розе на шею громадный бант голубого цвета и её на машине отвезли в другой конец города.

А ещё через десять дней Роза вернулась. Замёрзшая, грязная, с чётким скелетом под свалявшейся шерстью, ждала она нас в подъезде. Подползла на животе, умоляя нагноившимися глазами. «Недоразумение произошло, — шептали эти глаза, — вы, наверное забыли меня в той чужой квартире».

Как нашла Роза дом, каким образом запомнила дорогу в стремительной машине, чем руководствовалась, возвращаясь?!

Потом жила Роза с в семье Вовочки долго, много загадок загадала своим поведением, много радости доставила своим существованием. Что-то забылось, что-то помнится.

В маленьком преданном существе было что-то непомерно важное, вырывающее из привычного и заставляющее человека напряжённо думать.

Но взрослые есть взрослые, извечная суета заедает их, задумчиво почёсывая собаку за ухом, они рассуждают о трудном завтрашнем дне, о семейных неурядицах. И только нечто из ряда вон выходящее приковывает внимание к «меньшему члену семьи». Но ненадолго. За пять лет совсем забылось Розино возвращение, а в остальном она вела себя достаточно обыденно.

Потом изменилось многое. Чувствовала ли она надвигающийся переезд или только напряжение в доме? Хуже стала есть, на улицу просилась только по необходимости и сразу бежала обратно. По дому ходила тихо, не шалила, вопросительно заглядывала в глаза.

Уже нашли ей нового хозяина, человека хорошего, познакомили их, уже собирались передать Розу ему совсем, как обнаружили, как пропала собака исчезла.

Искали долго: любили, привязались, хотели, как лучше — не нашли.

А на вокзале перед самым отходом поезда вдруг увидели её и не сразу узнали, не сразу поверили.

Роза стояла в пяти шагах от движущегося поезда. Стояла напряжённо, скованно. Смотрела на узкую площадку тамбура, где взмахивали руками, бестолково гомонили предавшие её люди. В глазах собаки что-то стыло, но что — не разглядеть.

А поезд набирал скорость, маленькая рыжая фигурка таяла, исчезала.

Плакал только Вовочка, потому что ещё не был взрослым.

Познание

Если бы Вовочка знал, он бы никогда не пошёл.

Но он не знал, и поэтому, когда Васька таинственно поманил его в заброшенный сарай, он зашёл туда и начал всматриваться — в сарае после солнечного двора было пасмурно.

Васька звал туда, где громоздились обломки досок и мусор, в самый угол. Из этого угла донёсся странный звук, будто пискнул игрушечный мишка с клапаном на животе.

Вовочка пробрался среди обломков сарая, стараясь не наступить тоненькими тапочками на ржавые гвозди. В углу что-то лежало, из этого что-то торчал лом.

Вовочка чисто механически коснулся увесистой палки лома. То, что лежало, шевельнулось и опять издало тот самый звук.

И вдруг Вовочка понял, что это кошка. И что лом проходит через её тело.

— Кто это её? — спросил он хрипло.

В горле почему-то пересохло, а лицо горело, будто ему надавали пощёчин.

— Подыхает, — как-то выразительно сказал Васька, — не будет теперь мяукать под окнами. Ты не бойся, она ничья, бродячая.

Вовочка попятился. Он пятился, пока не вышел из сарая.

И, когда шёл домой, ему казалось, что он идёт задом наперёд, что он продолжает пятиться, и что этот сарай никогда не кончится.

Дома никого не было.

Вовочка вспомнил бабушку и с какой-то взрослой ясностью осознал, что никогда её больше не увидит. Что она уже умерла.

Потом он решительно прошёл в детскую, в комнату братьев, достал из Мишиного шкафа (куда ему было запрещено лазить) пневматическую винтовку (которую ему строжайше было запрещено трогать), коробку пулек, с трудом согнул ствол, чтоб поршень наполнился сжатым воздухом, вставил пульку и пошёл на кухню.

Окна кухни выходили во двор. Вовочка подставил табуретку, открыл окно, тщательно прицелился одним глазом, прищурив второй, и выстрелил в Ваську.

Он не мог попасть, с такого расстояния лёгкая пулька просто бы не долетела. Да и звук от воздушки был тихий, пукающий.

Но он вновь переломил ружьё и вновь выстрелил.

И он стрелял бы ещё, если бы за его спиной не появился Миша (Вовочка не слышал, когда он вошёл).

Миша растерялся от наглости младшего брата, забрал ружьё, закрыл окно. Потом он посмотрел Вовочке в лицо и растерялся ещё больше. Он впервые видел такое лицо у своего брата, он даже не знал, что у малышей могут быть такие лица.

И Миша не сказал родителям про ружьё и про Вовочку.

Потому что Миша, хоть и был на десять лет старше, ещё не познал, что такое смерть и что такое ненависть.

У него было лёгкое детство.

Красная шапочка

Когда Красная шапочка встретила вместо Волка Вовочку она страшно удивилась.

— Куда идёшь, Красная шапочка? — важно спросил Вовочка.

— К бабушке, — ответила Красная шапочка по инерции, — она заболела.

— Покушать ей несёшь? — продолжил допрос Вовочка.

— Естественно, — сбилась с продуманного ответа Красная шапочка.

— А волков не боишься? — грозно спросил Вовочка.

— Боюсь, — сказал Красная шапочка, — но что делать, так в сказке.

— Сказка — ложь, но в ней намёк, — процитировал Вовочка, — добрым молодцам урок.

— Вы что несёте? — спросила учительница. — В сказке такого текста нет.

— Но он же не Волк, — возмущённо сказала Красная шапочка, — он — Вовка.

— Вовочка, ты что делаешь на сцене? — сказала учительница.

— Я хочу играть в пьесе, — сказал Вовочка. — Только не Волка, а себя.

— Так не положено, — сказала учительница. — И вообще, Красную шапочку играет Лена Застенская, а Волка играет Сидоров. Где Сидоров?

— Тут я, — сказал толстый Сидоров, пряча конфету, полученную от Вовочки за щеку, — мы с Вовочкой поменялись, и у меня зуб болит.

Учительница посмотрела на толстую щеку Сидорова:

— Да у тебя же флюс, тебе к врачу надо.

— Ещё чего, — гордо сказал Сидоров и убрал конфету из-за щеки.

— Теперь нету флюса, — жалобно сказала учительница.

— Не будет тебе Волка, — тихо сказал на сцене Вовочка Красной шапочке. — Глупости всё это, волки не разговаривают. Лучше вместо него буду я.

— Но ты же не можешь меня съесть, — заметила Красная шапочка. — Вовочки детей не едят.

— Как знать, — загадочно сказал Вовочка, — всяко бывает.

— Где твой флюс? — не унималась учительница.

— Какой такой плюс? — отбивался толстый Сидоров…

…Запись в дневнике: «Ваш сын сорвал репетицию спектакля, прошу родителей зайти в школу».

Смешное и серьёзное

Странно устроен человек, когда он маленький. Все смеются, а Вовочке плакать хочется. Бывает наоборот. А иногда, когда он волнуется, слёзы сами текут. Или задыхаться начинает, особенно, если поплачет. Хочет что-то сказать, а вместе со слезами сопли текут и горло что-то сжимает, одно иканье получается.

Так же и со смехом. Нападёт порой смех в такой серьёзной ситуации, что все на Вовочку ошеломлённо смотрят. А он смеётся.

Папа говорил, что это истероидный смех, для разрядки нервного напряжения. Но Вовочка никогда истеричным не был, истерики — это

любимое занятие ябеды Клавки. Как насчёт визжать ни с того, ни с чего. Или рыдать, будто на могилке Неизвестного солдата.

Нет, маленький человек устроен не совсем правильно. И странно. Хотя от этих странностей не только вред бывает.

Попал как-то Вовочка в неприятность. Они с Леной из школы шли, он её портфель нёс. И захотел Вовочка Лене стрекоз показать. В старом котловане, где когда-нибудь построят дом, после дождя получилось настоящее озеро, и над ним летали громадные стрекозы с крыльями из слюды. Они летали совершенно бесшумно, не то что мухи или жуки, и выписывали над неподвижной водой разные фигуры. Как будто фантастические самолётики с махающими крыльями. Махолетики.

И тут у самого котлована их встретило трое больших мальчишек.

Вовочка немного знал этих мальчишек, они водились с Васькой. А Ваську Вовочка не любил, побаивался и, после страшного случая с кошкой, вообще обходил его стороной.

Каков Васька — таковы его друзья. Мальчишки сразу окружили их, дёрнули Леночку за косичку и стали громко говорить всякие гадости.

— Смотри, какой ухажёр, — сказал один, с рыжей чёлкой.

— Этот пацан из Васькиного двора, — сказал второй. — Он что, девчатник?

— Давайте их в озеро бросим, — сказал третий, — там, говорят, сом живёт огромный, а сомы человечину едят.

— Не едят, а сосут, — поправил его с рыжей чёлкой.

Они так стояли и разговаривали, будто были совсем одни и будто не о Вовочке с Леной говорили. И это было очень неприятно. У Вовочки внутри всё сжалось и он испугался, что описается.

И этот испуг всё изменил. Оказалось, что страшней мальчишек, страшней загадочного сома, который сосёт человечину, описаться на глазах у Леночки Застенской.

И Вовочка хотел что-то сказать, даже подраться, хотя как бы он дрался с тремя здоровенными мальчишками, и, вдруг, засмеялся.

Он засмеялся, нагнулся, поднял здоровенный булыжник, так что камень едва в руке поместился, и, продолжая смеяться, пошёл на того, что с рыжей чёлкой.

Смех вышиб слёзы, сквозь повлажневшие глаза Вовочка, как сквозь запотевшее стекло, увидел, что рыжий отступил, и тогда Вовочка повернулся к остальным мальчишкам, смеясь всё громче, до рвоты…

Очнулся Вовочка потому что Лена вылила ему на голову воду из котлована. Вода была вонючая, пахла тиной и чем-то противным. Оказалось, что Вовочка сидит прямо на траве и по-прежнему сжимает в руке булыжник. А мальчишек нет. Убежали.

— Ты их напугал, — сказала Лена, — ты так страшно смеялся, будто Кащей Бессмертный.

Вовочка скосил глаза на штанишки. Нет, всё нормально, они были сухие.

— Какой ещё Кащей? — спросил он.

— Ну тот, из кино, помнишь, про Василису Прекрасную.

— А-а-а, — сказал Вовочка.

И подумал, что всё-таки маленькие люди устроены странно.

И они пошли домой, совсем забыв про стрекоз. И уже у самого дома, когда Леночка помахала рукой и пошла себе, Вовочка окликнул её:

— Слушай, а он что, хороший что ли?

— Кто?

— Да Кащей этот, из кино.

— Нет, что ты. Он противный и страшный. Это я так сказала, для сравнения. Ты не такой. Ты смелый.

Древесный народ

Пришёл Вовочка домой, а там один брат Миша. Сидит, ждёт телефонного звонка от кого-то. Скучает.

Миша уже почти превратился во взрослого, а взрослые или заняты делом и им нельзя мешать, или чего-то ждут, тогда им скучно.

От скуки Миша спросил Вовочку:

— Где был? Что видел?

Миша с тех пор, как стал превращаться во взрослого, мало внимания обращал на Вовочку, поэтому мальчик обрадовался и охотно сообщил: где он был и что он видел.

— А был я, — протянул Вовочка, мучительно раздумывая что бы рассказать поинтересней, — был я в хорошем месте. Там растёт много деревьев, а одно дерево очень большое. И видел я, что у этого большого дерева в стволе большое-пребольшое дупло. И в дупле, если туда заглянуть, целая комната с зелёными шторами из листьев. И живут там маленькие человечки в курточках и колпачках из жёлтого шёлка.

— Гномы, что ли? — спросил брат.

— Гному живут под землёй, — возмутился Вовочка такому невежеству. — Они занимаются ме-тал-лур-ги-ей (он с трудом произнёс научное слово). В смысле, добывают разные полезные металлы и делают из них волшебные вещи. А те человечки, что в дереве, вовсе и не гномы.

— Кто же они такие? — спросил брат.

Вовочка этих человечков только что придумал, но название им придумать не успел. Но времени думать уже не было, брат смотрел вопросительно, поэтому Вовочка сказал уверенно:

— Древесный народ.

— Может, друиды? — спросил брат.

Вовочка беззвучно покатал новое слово на языке. Слово было красивое, имеющее отношение и к деревьям, и к людям.

— Это одно и тоже, — сказал он. — Древесные люди или друиды.

— Здорово, — сказал Миша. — Когда только ты всё это успеваешь увидеть. Я вот столько прожил, а ни гномов, ни друидов не видел.

— Это потому, — убеждённо сказал Вовочка, — что ты очень торопился стать взрослым. А таким, кто болен взрослятиной, маленькие человечки не показываются.

— Болен взрослятиной… — задумчиво сказал Миша. — Ну ты и скажешь.

И посмотрел на младшего брата с неожиданным интересом.

Но тут зазвонил телефон и ему стало не до малышни.

А Вовочка пошёл на балкон. Он хотел посмотреть на гигантский тополь, что рос аж до третьего этажа, — не появилось ли на нём дупло — древесный дом друидов.

Охота на глухарей

— Сегодня мы будем охотиться, — сказал первый мальчик.

— На кого? — спросил Вовочка.

Мальчик подумал:

— На глухарей, — сказал он убеждённо, — это такие огромные чёрные птицы, они глухие и не слышат, как к ним приближаются охотники.

— Вовсе не так, — сказал второй мальчик, — они поют и поэтому не слышат. А когда не поют, то всё слышат. Я вот тоже ничего не слышу, когда пою, даже того, как мне кричат: замолчи…

— Глупости всё это, — сказал Васька. — Глухари — это простые индюки, дикие, лесные. Пошли, у меня рогатка есть.

Каждый вооружился как мог. У первого мальчика был чёрный пистолет с пистонами, у Вовочки — отличное двуствольное ружьё без пистонов, у второго мальчика — сабля, ей можно было разделывать добычу и прорубать дорогу в кустах, а Васька без рогатки вообще никогда не ходил.

Долго шли по дремучему лесу, обошли опасную сторожку лесника (дворника дяди Лёши), прошли мимо водопада (поливальной машины), вышли на поляну, где были дикие птицы.

Голуби клевали крошки под балконами и не подозревали, что они — глухари.

— Стреляем по команде, — сказал первый мальчик, — раз, два, пли! — и выстрелил из пистолета.

Вовочка нажал на спуск и сказал:

— Ба-бах, из обеих стволов, дуплет называется.

Третий мальчик сделал зверское лицо и взмахнул саблей.

А Васька спустил резинку рогатки.

Голуби засуетились и шумно взлетели, сожалеюще поглядывая на недоеденные крошки. Но один голубь не взлетел. Он лежал на боку и тихи шевелил лапками.

— Ты, Васька, что наделал? — сказал Вовочка. — Ты же в него попал!

— Вот и хорошо, — сказал Васька немного смущённо. Он сам удивился от того, что попал, до этого он из рогатки попал одни раз в дворника, за что и получил трёпку. — На охоте и надо попадать. Я — настоящий охотник.

Голубь зашевелил лапками быстрей, перевернулся и встал. Вид у него был немного очумелый.

— Слава Богу, — сказал первый мальчик. — Больше я охотиться не буду.

— Ага, — сказал второй мальчик, — давайте лучше в войнушку.

А Вовочка ничего не сказал, но, перехватив ружьё как дубинку, так посмотрел на Ваську, что Васька спрятал рогатку в карман. Он был гораздо старше Вовочки, но трусость не имеет возраста.

И они пошли играть в войнушку.

А голубь повертел головой, похлопал для проверки крыльями и продолжил клевать крошки. И другие голуби, посмотрев на него с крыши, шумно слетели вниз, на полянку, где недавно охотники чуть не добыли глухаря.

Когда это будет

Когда-нибудь Вовочка станет взрослым. Его перестанут звать Вовочкой, а станут называть Владимиром Ивановичем. Быть взрослым хорошо, потому что можно есть сколько хочешь мороженного, получать зарплату и гулять допоздна. Быть взрослым плохо, потому что нет особого желания есть мороженное, зарплаты всё время не хватает, а допоздна гулять не хочется, ведь утром рано вставать на работу.

Вовочке останется память. Что такое память? Это, когда печалишься, вспоминая бабушку. Это, когда тоскуешь, что взрослые не катаются на санках с горки, не играют в прятки, не целуются с девочками в подъезде. Это, когда отчаяние при виде брошенной дворняжки не вызывает слёзы. Это, когда узнаёшь, что лапта в далёкой стране Америке называется бейсболом и почему-то считается ихним открытием. И, когда понимаешь, что американцы ошибаются.

Быть взрослым трудно, потому что у тебя появляется собственный маленький Вовочка, который не всегда слушается и живёт наполовину дома, а наполовину в стране фей и чудес. А ты уже не Фей, и не проходит под твоим балконом, цокая длинными ногами, страус в цветном уборе.

Быть взрослым легко, потому что твой Вовочка может забраться к тебе на колени, тёплый и любящий малыш, и попросить рассказать сказку.

Но для того, чтоб стать взрослым, надо сначала побыть Вовочкой. И быть Вовочкой не всегда плохо.

Израиль

Ольга Андреева

Русский речь на глобусе Ростова

Ты можешь подвести коня к реке,
но ты не можешь заставить его пить.
Восточная мудрость.

Воскресение. Чайно-ореховый омут
глаз напротив. Как редко играем мы с ней!
Наши шахматы можно назвать по-другому,
потому что Алёнка жалеет коней —
и своих, и моих. Отдаёт, не колеблясь,
и красавца ферзя, и тупую ладью,
но четыре лошадки, изящных, как лебеди,
неизменно должны оставаться в строю.

От волненья у пешки затылок искусан,
в каждой партии странные строим миры.
Я иду вслед за ней в этом важном искусстве,
я учусь выходить за пределы игры.
Надо выдержать паузу, выдержать спину
и подробно прожить откровения дня.
Эта партия сыграна наполовину.
В ферзи я не хочу. Отыграю коня.

Торжество справедливости — странная помесь
пустоты и досады — сквозь пальцы улов.
Выхожу на спираль — если вовремя вспомню,
что *великий квадрат не имеет углов*[1].
Ни корон, ни дворцов, ни слонов, ни пехоты,
перейду чёрно-белых границ череду,
распущу свою армию за поворотом
и коня вороного к реке поведу.

Запах корвалола — как стена.
Стоп. Кирпич. Шлагбаум.
Дальше некуда.
Как ни упоительна война,
вам обоим не закинуть невода
в эту реку.
Истина живой
не даётся,
но живым позволено
становиться ветром и листвой
под защитой звона колокольного.

Кто в песочных часах отмеряет песок
в час, когда акушерка серьёзно и строго
ставит точку — завязывает пупок,
привнося свою лепту в творение Бога?

Когда зажгутся звёзды хризантем
за каждым покосившимся забором,
и за очками и чужим зонтом
от холода и ветра не укрыться,
ты закури. Пока летит тотем —
осенний лист, накрывший этот город,
всё хорошо. Оставь же на потом
привычно покосившиеся лица.

Ты болен осенью. Паршивая болезнь,
при осложненье переходит в зиму —
и всё тогда. За бодренькой рысцой
не спрячешь пустоты своей и страха.
Ты в этот тихий омут зря полез —
забытый долг растянутой резиной
доходит через заднее крыльцо
и с клёна рвёт последнюю рубаху.

Сюда нельзя — моральный кодекс прост.
Туда опять нельзя — шизофрения.
Молчи и жди, когда калека-мост
залечит позвонки свои больные,
и рассосутся пробки в тромбах вен
Садовой, Портовой, и трель резная
стократно повторится в голове,
как Отче наш, которой ты не знаешь.

Это дерево дикое —
выросло на перекрёстке
трёх опасных дорог —
из него ты не выстроишь дом.
Ночью стены белить
и замешивать звёзды в извёстку —
пусть искрятся, поют
над холодным ничейным прудом,
где с трудом, без труда ли —
ни рыбы, ни мяса, ни ила,
только тот, кто пугает енота,
творожит туман
и в печную трубу
пробирается, словно в карман,
чтобы выкрасть огонь,
что и так догорает вполсилы.

---

1 из 道德經 (Дао Дэ Цзин, Книга пути и благодати)

~

Новый лист, изумрудный и липкий, постой, не расти,
я ещё не рассталась с резным, прошлогодним, лимонным,
зацепившим вчера, уколовшим крылом махаона
и мерцанием спутника. Не успеваю, прости!
Мир, постой, пощади этот всё отражающий мозг,
говорящее зеркало — тёплое, слишком живое,
чтобы зеркалом быть. Я хочу быть тобою. Нас двое —
мир и я. В этом столько борьбы. В полный рост
не успею, не выдержит мой метроном. Невод пуст —
ох, мешают колонны и стены плохому танцору!
Не гожусь в музыканты, поэтому, как ни сажусь, —
не поймать эту музыку. Да, не из всякого сора…
Это пламя дрожит и коптит — потому что болит,
потому что живое и ровно гореть не умеет.
Разве можно из каждой перловицы резать камею?
Жизнь целее в мохнатой ракушке на дне. И в пыли
воробей лучше чучела в лаке музейном. Слеза
о спасённых из хаоса строках светла и резонна.
Впереди только море затылков, и зрительный зал
бесконечен, а сцена теряется за горизонтом.

24 октября

Если кто-то берёт твоё сердце и жмёт в кулаке —
не проси его быть осторожнее: он не услышит.
Скоро вы поплывёте по медленной серой реке.
А пока ещё утренний голос смиренней и выше
облаков — только не для тебя, ты идёшь, невесом,
глух и слеп для всего — только камень твой вечно с тобою.
Он ползёт по дороге с твоим потемневшим лицом,
удушая тебя всей своей неподъёмной любовью.

Больше нет ничего, кроме лютой собачьей тоски,
виновато влекущей свой хвост по асфальту и грязи.
Дай мне руку, старик, помоги добрести до реки,
донести до неё свой навек прояснившийся разум.
Отче наш повторяя с инертностью маховика,
соразмерив свой шаг с этим холодом, впрыснутым в вены,
словно пуля, поддетая лёгким движеньем курка,
буду тихо лететь, чтобы чётко впечататься в стену.

~

Вскипело — жердёлы[2] дрожат пузырьками
и розовой пенкой ликуют на синем,
и Моцарт смеётся сквозь листья и камни.
А помнишь, вечор, под лучами косыми —
как плакали скрипки в жилетку друг другу?
Испуганный ангел отвёл мою руку
ещё до скончания долгого века
ростовского доброго грязного снега.

До боли прозрачно, навек однозначно,
очнулась в цвету — и никак не иначе.
И стала серьёзной, покорной и строгой,
почти непритворно поверила в Бога,
почти растворилась под облаком птица,
отчаянно хочется перекреститься
и маленькой стать под твоими руками.
И Моцарт смеётся сквозь листья и камни.

Русскому языку

Язык мой, враг мой,
среди тысяч слов
твоих, кишащих роем насекомых, —
нет, попугаев в тропиках, улов
мой небогат и зелен до оскомы,

и слишком слаб,
чтоб миру отвечать —
когда мгновенье бьётся жидкой ртутью,
косноязычье виснет на плечах —
а значит, ослабляет амплитуду.

Я не могу
поссориться с дождём —
наверно, русский речь меня покинул.
И старый добрый дзэн меня не ждёт.
Шопеновская юбка балерины

не прикрывает
кривоногих тем,
морфем и идиом — но я причастна!
И я, твоя зарвавшаяся тень,
ныряю в несжимаемое счастье.

«Царь-колокол».
«Гром-камень». «Встань-трава».
О, не лиши меня попытки слова,
пока такие ж сладкие слова
не разыщу на глобусе Ростова!

Вступили в реку —
будем гнать волну.
Что ж нам, тонуть? Куда теперь деваться?
Всё разглядим — и выберем одну
из тысячи возможных девиаций —

верней — она
нам выберет звезду.
И полетит сюжет, как поезд скорый,
и я в него запрыгну на ходу
пускай плохим — но искренним актёром.

Питерское

Я привыкаю мыслить островами,
каналами, канавками, мостами,
фонтанами, заливом, рукавами,
я привыкаю долго, неустанно
бродить и растворяться в перспективе,
прозрачно ротозейничать в музеях,
львам расплетаю каменные гривы,
перебегаю новенькие зебры
на красный свет, на свет под куполами,
под своды крыш привычно многолюдных,
под сень того, с печальными крылами
немого ангела, которому нетрудно
держать седое небо Петербурга
так высоко, так низко, так тревожно,
скрепляя хрупкой женскою фигуркой
всё то, к чему привыкнуть невозможно.

2 В Ростове-на-Дону (и в некоторых других городах) так называют абрикосы. Как правило, маленькие абрикосы. Те, что меньше куриного яйца. Больше — уже абрикос. (прим. ред.)

Поезд «Ростов — Москва»

Что ты нахмурилось, лето? Гляди веселей —
рябью запуганной тихой реки-недотроги,
ровным пробором лимонно-зелёных полей,
схваченных узкой серебряной лентой дороги.

Я разгляжу торичеллевую нищету,
мокрые избы и церкви, забытые Богом,
словно в плохой мелодраме — возьму и сойду
где-то на маленькой станции Сбоку Припёка.

Выброшу сборник сканвордов «Реши для души».
Где-то под горкой пронзительно вспыхнули маки.
В этом раю, в обойдённой страною глуши
что-то о вечности ведают даже собаки.

Я разыщу под Рязанью заброшенный пруд,
дрянью заросший — и время замедлит скольженье,
и полюблю монотонный бессмысленный труд —
тот, для которого в мире используют женщин —

надо же что-то любить в этой жизни. Весну,
шок половодья, березки, ромашки, колодцы,
буду грибы собирать, ежедневно тонуть
в сладко-дремучем алёнушкином болотце.

Что-то библейское в лицах людей на заре.
Только меня недозревшее солнце не греет.
Эти леса, заливные снега в ноябре
видно, уже никогда не признают своею,

выбросят — в скорый, грохочущий мимо судьбы,
в рокот метро, формирующий клиповость мысли.
Буду колодцы и маки, пруды и грибы
переключать на экране компьютерной мышью…

Эмигрантское

Смятение — будто бы поезд не твой —
но дверь закрывают, стоянка кончается,
и на горизонте подсолнух качается,
и скатки матрасные над головой,
и ты удивлён, ты напуган и нем,
и странен себе самому, пассажирам,
а поезд летит,
и колёса стучат,
и окна, стоп-кран, подстаканники, чай…

Ты жалкий подкидыш, подброшенный миром
твоим, самым главным —
в какой-то другой,
транзитный, случайно летевший навстречу,
ты — мокрый младенец,
твой путь — самый млечный,
но тучи смыкаются над головой.

…Ты смотришь в окно — там козлёнок пасётся,
тончайшее солнце в кленовой листве
оплавило боль, раскололо на две,
на три, на четы…
ничего, утрясётся…

А поезд несётся.

~

Автобус. Ливень. Кислорода нет —
в подводной лодке окна не откроешь.
Поехали. Четверг, двадцать второе,
плюс аллергия — весело вдвойне.

За что-то мстят мне кофе и вино.
Я в прошлой жизни выбирала пепси?
Букет моих безжалостных рефлексий
сегодня с атмосферой заодно.

Но проступают на деревьях руны —
и очень робко обещает день
не десять соколов на стадо лебедей —
а вещие персты на злые струны.

Иголкой острой протыкаю город
и, вынырнув на этой стороне,
природу Будды, спящую во мне,
сверяю с указаньем светофора.

Кто победил, понятно и ежу.
Что Будда? Он и слова не проронит.
А я уже на площадь выхожу,
готовая к труду и обороне,

к безделью и к побегу в странный день.
Ну, сколько можно — многоруким Шивой?
Теперь одна проблема — похудеть.
Всё остальное как-то разрешилось.

Не передаст мой ломаный язык
всех тонкостей ростовского базара!
Вот так столкнёшься с запахом кинзы —
и улетишь из колеса Сансары

до вечера. Спасёт остатки дня
мимозной крошкой звёздное плацебо.
И вдоль реки воды река огня
безропотно впадает в море неба.

~

Ты прекрасный актёр —
только врать не умеешь совсем.
Подними же глаза,
что боишься увидеть — змею?
Я стою на своём?
Говори же, пока я стою,
ведь уйду.
И кому ты тогда
свой букет хризантем
виноватый, сквозь город
дождливый притащишь,
кому
будешь сбивчиво врать,
рисоваться, под взглядом сникать?
Будут капли тоскливо
по окнам маршрутки стекать
и безликий фонарь
бороздить безответную тьму.

\~

И Дания тюрьма, и здесь — тюрьма
ничуть не лучше. Принц, а ты свободен
теперь? Не перемётная сума
слепой судьбы — а голый нерв Господень?

Офелия, в руках своих согрей
шалфей и мяту в этом горьком поле.
Из нервных клеток выпущу зверей —
пусть хоть они потешатся на воле.

Такая раздражённая пришла
весна — швырнула блики, почки, стаи,
от ветра юбки бьют в колокола
и расцветают яркими цветами.

Живое — прочь, в укрытие, в тепло,
и голосов их на ветру не слышно,
и — пыль столбом — поганою метлой
сметает хлам с лица Земли Всевышний.

Я спрыгнула с обрыва — но цела.
Отвязанность, ты знаешь, — не свобода.
Моя изба — без красного угла.
Лишь тень Отца
порой мелькнёт у входа.

\~

Звездой в ночи — дежурный магазин
с рекламно-сладким суррогатным счастьем.
Ты в улице пустынной — не один,
а некуда идти — так возвращайся.

Его не закрывают на обед,
сюда за хлебом никогда не поздно,
здесь нищенка бормочет вялый бред,
корыстный — но насквозь религиозный.

Пусть бредят. Ты их веры не лишай,
их блажь дороже здравого рассудка,
когда всё то, чем держится душа,
едва-едва дотягивает сутки.

Тебе-то проще — дать ей пять рублей
и воспарить душой в иные сферы,
но это ж не избавит от проблем
евроремонта собственной пещеры.

Всё — суета. Весны паллиатив
отодвигает холод преисподней.
Неизлечимо-радостный Сизиф
опять пойдёт с утра творить свой подвиг,

являя всем натруженным лицом
старательную тупость эпигона.
Старухе нищей не свести концов,
не отмолить зомбированный город.

Спи в позе эмбриона. Ночь темна,
досмотрен фильм по первому каналу,
и нищенка поклоны бьёт за нас —
неискренне, но профессионально.

\~

Мир наэлектризован. Сотни мыслей
слетелись к непокрытой голове,
искрят, трещат, толкаются на входе —
не тут-то было. Не в моей природе
впускать так много. Ну одну, ну две,

а там — чем дальше в лес, тем больше шишек —
давай ты завтра мне перезвонишь?
На скользких сколах раненого камня
заблудшие овечки Мураками, —
мне сосчитать их надо. Извини.

Я ж капитан дырявой нашей шлюпки —
меня на берег списывать нельзя.
В энергосберегающем режиме
так, не любили, а слегка дружили.
Вперёд. Чем твёрже шаг, тем больше пыли.
Оно верней, и ноги не скользят.

Всё хорошо, и я бы попросила
не подставлять мне барского плеча.
Краеугольный камень преткновенья —
период моего полузабвенья.
Теперь я долго буду излучать.

\~

Такси! —
-дермисту закажи мою
фигуру ню а ля мадам Тюссо.
А время убегает сквозь песок
водой —
вода, увы, не друг огню.

Перевернуть песочные часы
и пожалеть уснувшего бомжа.
Потом, покрепче карандаш зажав…
Да ты смеёшься?
Если это — цирк,
обиду я, как шпагу, проглочу.
И выпью леденящий душу квас.
Не стоит зря проветривать слова —
ты знаешь всё, что я сказать хочу.

У вас четверг? А у меня шаббат.
Сижу фанза, пью чай
и жгу мосты.
Игра не стоит свеч. Сгорят листы
пожаром аллергии на губах.

Там, в переулке, дерево-змея.
Там каждый вечер падает звезда.
Её найдёт тинэйджер, а не я,
и скажет восхищённо: «тема, да?!»

г. Ростов-на-Дону

Андрей Баранов

Непонятное поручение

Прости меня, мой сумасшедший век,
за то что я — всего лишь человек,
за то что я не ветер — а ветла,
за то что не из стали — из стекла,
за то, что не поднялся над судьбой,
за то, что не в ладах я с головой,
за то, что сердце кровью изошло
за всё, что не со мной произошло,
за то, что из бесчисленных дорог
я выбрал ту одну, которой смог
идти один неведомо куда —
я не люблю массовок, господа!

Александру Кабанову

Поэт живёт в стихии языка.
Закрыв глаза и затаив дыханье,
Он достаёт со дна, изглубока
Предвечной речи чистое звучанье.

И под его бестрепетной рукой,
Заточенной, как скальпель, как секира,
Мир снова обретает голос свой,
Утраченный при сотворенье мира.

Смерть поэта

Он был когда-то славный малый,
и жизнь текла, как сладкий сон.
В разделе «Светские скандалы»
нередко появлялся он.
От вечеринки к вечеринке
он правил свой кабриолет,
и длинноногие блондинки
ему не отвечали «нет».
Обласканный высоким светом
и пошлой лестью критикесс,
он мнил себя большим поэтом,
навроде Пушкина А. С.

С тех чудных пор промчались годы.
Он очень сильно постарел,
и, с точки зренья новой моды,
он оказался не у дел.
И лишь тогда, под тяжким грузом
забот, однажды по весне
ему во сне явилась Муза
в последнем в этой жизни сне.

Неизвестный поэт

Счетовод исчисляет числа,
Примадонна смывает грим.
Мы, поэты, не ищем смысла —
Мы в реторте его творим
Исступлённо, тревожно, чутко,
То на совесть, то как-нибудь…
Что бы делала незабудка
Без поэтова слова «Будь!»?
Что бы делали эти клёны,
Раскалённые докрасна?
Что бы пел по ночам влюблённый,
Когда снова придёт весна?
Нет, поэты не клуб, не каста,
Не элита, не высший свет —
Где-то в сердце под слоем наста
Неизвестный живёт поэт.
Он упорно не спит ночами,
Сочиняет какой-то бред.
Вы случайно его не встречали?
Передайте ему привет.

Моя эсхатология

Нет, не загробного спасенья,
Не отпущения грехов,
Проси у Бога вдохновенья
Для новых песен и стихов.

Когда придёт кончина света
Стремительно и огнево,
Проблемно будет непоэтам
Проникнуть в Царствие Его.

Поэтам же — довольно просто,
Ведь с малых лет известен им
Плывущий в небе, словно остров,
Небесный Иерусалим.

Бродя по Киеву, Казани,
Или осеннею Москвой,
Они его давно узнали
С его несбыточной красой.

В его небесных переулках
Так хорошо скитаться им!
Звучат шаги светло и гулко
По оснеженным мостовым.

В этом городе ночь
Перепутала все остановки.
Проплывают огни незнакомых пустых площадей,
И громады дворцов, и ограды немыслимой ковки…
Только нет той одной.
Той единственно нужной —
моей.

Я уехал давно и, не зная куда, всё же еду.
Не иначе шофёр перепутал привычный маршрут.
Я уехал давно, может быть ещё в прошлую среду.
Нынче снова среда, а я всё ещё, всё ещё тут.
Что ж ты мучишь меня, бестолковый, безумный водила?
Я стремился туда, свою тяжкую долю кляня,
Где девчонка одна неизвестно за что, но любила,
И известно за что разлюбила позднее меня.
Я стремился туда, где меня ожидали когда-то
Золотые огни мне знакомых до боли квартир,
Где на дальний Домбай собираясь, гудели ребята,
И на Горный Алтай, и на крышу вселенной — Памир.

В этом городе ночь
Перепутала все остановки,
Перепутала год, перепутала страны и век.
Мой водитель заснул на заснеженной дикой парковке.
Я остался один.
Я один — и за окнами
снег.

Фантазия на тему «время»

Нет, время не учит —
Оно нас ведёт
И метит из «Стечкина» в темя.
Ни шагу обратно —
Вперёд и вперёд
За всеми,
За всеми,
За всеми!

Нет, время не лечит —
Оно нам дробит
Прикладом суставы и кости.
И с каждой минутой всё больше обид,
Всё больше беспомощной злости.

Нет, время не судит —
Оно приговор
Выносит без адвоката.
Приходят народы от моря и гор,
И снова уходят куда-то.

Ветшают селенья,
Горят города
И много чего происходит.
А время уходит незнамо куда,
Да всё никуда не уходит.

Непонятное поручение

Всё мне кажется, я не случайно пришёл в этот свет.
Где-то (может, во сне?) мне заданье какое-то дали.
Только я позабыл и пароль, и секретный ответ,
и заветную дверь, за которой меня ожидали.

Я так долго искал эту дверь среди тысяч дверей!
Дожидаясь меня, там за дверью нервозно курили,
подходили к окну посмотреть, не идёт ли Андрей,
только я не пришёл, и они про меня позабыли.

Вот с тех пор и кручусь в толчее незнакомых людей.
Жизнь чужая течёт и несёт меня мощным теченьем.
Но всё кажется мне — вот открою одну из дверей,
а за ней меня ждут с непонятным моим порученьем.

И время протекает сквозь меня…

И выпал снег… Он шёл три долгих дня,
но час придёт — и он, как сон, растает.
Так время протекает сквозь меня
и сквозь меня куда-то утекает…

А я на перекрестье бытия
стою и каждой клеткой ощущаю:
не время протекает сквозь меня,
а я сквозь время тихо утекаю,

как первый снег, что шёл три долгих дня,
как облака, закаты и рассветы…
Как будто вовсе не было меня.
А может был — да позабыл об этом.

г. Москва

Инна Домрачева

Темно умирать

У души есть дыхальца и хватальца,
Ими шарят ощупью в ноосфере,
Если в рюмке налито на полпальца,
Если в доме бродят волхвы и звери.

Их следы уходят в брюшную полость,
И в крови играют, минуя печень.
Пусть грозит Айлыпу Великий Полоз,
Всё равно тому откупиться нечем.

Там, где змий зелёный прополз намедни,
Остаётся тлеть золотая жила.
Я тебе пишу, но такие бредни,
Будто меж болотных огней кружила.

Видишь сад ветвящихся многоточий?
Попадёшься — выбраться не пытайся.
Я не буду больше. Спокойной ночи.
Поджимаю дыхальца и хватальца.

Богу, совести, честному имени —
Больше мы никому не должны.
Всё, что можно купить или выменять,
Остаётся с другой стороны.

Покупая за дружбу — приятельство,
Покупая за преданность — страсть,
Ты своё ощущаешь предательство,
Ты себе позволяешь пропасть.

Это сделано ими — поверь, прости —
Пусть у них и болит голова.
Как окурки и нефть, на поверхности
Остаются чужие слова.

Ты — вода, так с какой к тебе меркою?
Всё равно утечёшь налегке.
Ты должна только Богу и зеркалу,
И вот этой последней строке.

Судьба растёрла палочку чернил.
Пиши. Терплю холодные касанья.
Их узнаёт любой, кто хоронил, —
Приметы пустоты и угасанья.

Как бы песчинка жжётся под ребром:
Чужая смерть, агония чужая.
Проси добром — вернётся серебром,
И бросит, ничего не выражая:

Мол, немота погасит плач и речь,
А рана будет лёгкая — сквозная.
Прошу — и не умею уберечь.
Ни имени, ни адреса не знаю.

Светилом согретый алтарь алтарей —
Из мрамора эта спина.
Я потом солёным с рубахи твоей
Льняной и сыта, и пьяна.

Святое причастие каменных мышц
И пота церковный кагор
Ношу, — как пшеницу по зёрнышку — мышь,
Как шапку горящую — вор.

Вот так кирасиры носили колет,
Носила стрелу тетива,
А всадников тех — кони чёрен и блед,
А гулкое эхо — слова.

Так в 42-м уходили в маки,
Так псы приходили на зов.
Так, если кончалась вода, моряки
Спасались росой с парусов.

Пусти меня к семи ветрам,
К чужой вражде, к чужой заботе,
Ну, хоть в рабочем эпизоде,
Не выходящем на экран.

Ещё раз — крыльями в прибой,
И через море — за оливой.
Я захотела стать счастливой —
И разучилась быть собой.

Улыбку донага раздень,
Кричи на языке растений.
Я не отбрасываю тени,
Но кто отбрасывает тень?

Когда взойдут материки
И антилопы на капоте,
Хоть по несбывшейся свободе
Оставь мне видимость тоски…

Я привезу тебе оттуда
Инопланетного щенка.
Он будет — экая паскуда! —
Трепать ковры и облака.

Фирдоуси, конечно, знает,
Кому живётся на Руси,
Но тяга в сумочке земная
Вся в битых кластерах. Спроси

У Чернышевского: «Que faire, a?»,
Пиши к Геннадию Айги…
А там, — ну, за небиосферой —
Собачий холод и щенки.

А. Пермякову

Кардиологу не плачься на боль,
Вряд ли шпага, вероятней, — шампур,
Для кого-то этот год — карамболь,
Но для нас-то он скорей, каламбур.

Умный мальчик перепишет в тетрадь
Спящий в позе эмбриона вопрос.
В этом городе темно умирать, —
Слишком совестно, что жил не всерьёз.

Ты тихонько улыбнёшься, Андрей, —
Был, когда-то, мол, и я рысаком…
Просто — кровь не побежит из ноздрей,
Если голову держать высоко.

Вариации на тему центона

Она придёт, она не спросит
Ни у менад, ни у харит.
Собака лает — ветер носит —
Звезда с звездою говорит.

Я тоже, кажется, менада,
И строю замки на песке,
Когда последняя граната
Занесена в моей руке.

В глазах другого человека
Стоит египетская мгла.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Я список кораблей прочла…

г. Екатеринбург

Оганез Мартиросян

Мрачный подвиг

Подшипники всех типов.
Дома и пустыри.
Снежок тихонько сыпет,
укажут фонари.

«Продукты» минимаркет.
За Мальцевым не в лом
идти. Проходим арку
и мусорку, встаём.

Славянский рай и рынок.
Товарищ не компот —
фанатский свой напиток
из бэга достаёт.

Электроинструменты.
В детсадовском дворе
поехали. …Зачем ты
наехал на физре…

Фамильные колбасы.
Запели «Перемен».
Когда ж вконец набрались —
махнули с Лаптем к N…

Торговый дом «Поволжье».
На много-много лет
соприкасались кожи,
а что под ними — нет.

ГазпромТрансгазСаратов.
Но близок коммунизм:
как пьяные когда-то,
лечу, а тело из
последних сил солдата
цепляется за жизнь.

«Теперь поехали. Молчи.
Мне плохо», — кутаешься в простынь.
Горят глаза, в глазах — «хачи
вон из России», просто, просто.

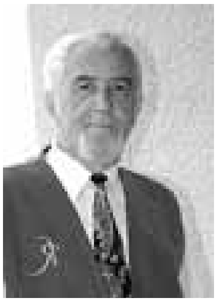
Господь, меня благослови
на жизнь, на смерть, на мрачный подвиг.
Не потопи в своей крови.
Как продолжение любви
не сотвори уродцев мёртвых.

«Меня выносит». По степи
вблизи бендежек и рабочих
бежит вагон, качаясь… Спи,
свет меньше дня, тьма больше ночи.

Играть себя — плохая роль.
Скажи, что нет меня, мой боже,
я всё земное запорол,
нерусский выходец с Поволжья.

Остались — лампочка в сто ватт,
тетрадка, что первосвященна.
Назад нельзя, обратно — вена.
Пропущен поворот, наверно,
и трудно по утрам вставать…

Я говорил, оставьте вздор,
сравните с хижиной Прокруста
дворец, любезный Диодор,
Его величества искусства.



Лев Ленчик

По краю игры

В тиши волны

Тихим солнцем залит Мексиканский залив,
в нём волна шелестит и лопочет о чём-то,
будто душу свою перед кем-то излив,
всё трепещет ещё, словно тело зайчонка.

Изливанье души — изваяние дна,
у поэзии нету иного причала,
разлетелась на брызги и рифмы волна,
а потом собралась — и опять всё сначала.

Ритм стиха и души, и игривой волны —
суть хождение точки по вектору круга,
мы ведь тоже во всём абсолютно вольны,
а за что ни возьмись — повторяем друг друга.

Ничего!.. Кроме круга, волны и стиха!
Чуть за круг — и коллизия, дерзость, изгнанье.
На плечах у волны, что лиха и тиха,
и печаль не трудна, и не трудно сознанье.

Тень Пилата

Распятье, распятье — копаться не стоит,
распятье свершит он и руки умоет,
а нам, бедолагам, слепцам и калекам,
с распятьем остаться сливаться навеки,
а нам, голодранцам, скитальцам, поэтам,
с распятьем срастаться и хлюпать дуэтом,
и вечно носить этот труп обнажённый
в прожжённых умах и сердцах обожжённых,
на шеях, на лицах, на стенах, на сводах,
в зачатиях жгучих, в дремучих исходах…

Беззубого Зевса распятье накроет,
копаться не стоит — он руки умоет,
безжалостный Яхве в подполье уйдёт —
он руки умоет, костры разведёт.

А нам, дерзновенным крылатым уродам,
покоя не знать и рубиться в походах,
касаться распятья румянцем искусства
нам, дьяволам мысли и ангелам чувства,
и грёзу лелеять в сиянии тлена,
и множить распятья, в крови по колена,
и в ней же — слезе и молитве предаться…

Не дотянуться, не докопаться.

Две России

Как ночь бестолкова:
ни спать, ни работать!
Проснулся внезапно в поту и испуге,
взглянул на часы — половина второго,
во сне заворочалось тело подруги.

И мысли, как стаи
стервятников, тут же
по плечи вошли в черепную коробку,
и пёс у соседей зачем-то залаял,
и наш заскулил неохотно и кротко.

И выйдя на кухню,
в окне сквозь деревья
увидел я верную скорую помощь,
мужчину в военной распахнутой куртке
и сталинский ус, рассекающий полночь.

В открывшейся щели
ночного пространства
поплыли кварталы безлюдной столицы,
и в каждой квартире из тёплых постелей
людей поднимали суровые лица.

Людей поднимали,
людей уводили
идейные лица с домашним усердьем,
а где-то безлюдные грозные дали
по ним иссыхали и выли медведем.

На жизни несладкой,
увесистых книгах
на дно опускались высоких понятий,
и все этажи человеческой кладки
насквозь протыкали глазами распятий.

И знали, как надо,
и знали, как верно,
как будто в ноль три позвонить с автомата —
и скорая помощь, пожалуйста, рядом
с сестрой конопатой, с очкариком-братом.

Таится возможность
в ночи, а не выбор,
больной несомненно на грани двоякой,
но утро приходит всегда непреложно,
и так же, наверное, лает собака.

~

А волны всегда на душе, на воде,
в пульсации вечной природа и слово,
едва мы сгораем, как снова и снова
из пепла встают очертания крова
и с ними — качели к добру и к беде.

В такой двуединой, двуликой среде —
единственно где и живёт всё живое,
попробуй изъять из него всё плохое —
волна захлебнётся в смертельном покое
и с нею — качели к добру и к беде.

Но в том-то и благо! Никак и нигде
волну не унять никаким нашим криком,
ни горестным стоном, ни жалобой дикой,
ни бурным деяньем, ни мыслью великой…
И с нею — качели к добру и к беде.

~

Топчусь на евреях, на Боге,
на бедном еврейском Христе,
на разном другом понемногу,
гляжу невзначай на дорогу:
машины ползут в тесноте.

Куда они едут? Откуда? —
ни слова на белом листе.
Кто был этот рыжий Иуда,
содеявший пытку и чудо
для друга на римском кресте?

Иуда — и всё!.. Поволока,
машины, дорога, судьба,
но слышно за шумом потока,
как кто-то кого-то для прока
предать умоляет себя.

~

В России моей снова оттепель вышла из моды,
и, словно в ответ на мерцанье иных позывных,
во имя гармонии чуткое тело природы
иным одаряет нас, словно сирот мировых.

И тройка гнедых снова в завязи снов и метелей,
на царственных мордах клубится отеческий пар,
и важен ямщик, и степенные белые ели
встречают метели как высший божественный дар.

В России моей новогодняя ночь на изломе,
усталая поступь коня, колея и простор,
и пляшет гармоника с жаром и тягой к истоме
во славу зимы и стороннему взору в укор.

~

И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.
Осип Мандельштам

Лишь человек — стихий самосознанье,
всё без него — вне муки измеренья,
не жалкий сор, а нечто вне названья,
вне почести признанья и презренья.

Лишь с ним и в нем — поэзия и пошлость,
надменный взмах теизма и цинизма,
и веточка сирени за окошком
в его глазах лишь — чудо организма.

Исчислил он закаты и восходы,
познал полет измены и геройства —
и понял, что не царь он над природой,
а лишь её загадочное свойство.

~

Нет чудес чудесней чуда
в жизнь прийти из ниоткуда,
прогуляться карапузом,
подрасти, войти во вкус
и назвать арбуз арбузом,
и понять, что значит плюс
или минус, или древо,
дева, чрево, карнавал,
шаг направо, шаг налево,
пуля, выстрел, наповал,
набекрень, на всю катушку,
на растяжку вглубь и ввысь,
то-то ж ушки на макушке,
ай да Пушкин, ай да мысль!
Ай да чудо на болоте:
целый мир в аршине плоти!
А откуда? — Ниоткуда.
Из чего? — Из ничего.

~

Господи, как многому случилось
Научиться нам! Летят года…
Но неукротимы суетливость
И нелепых рвений череда.

И необоримы звоны вёсен,
И печаль осенняя крепка,
И гудит, неведом и несносен,
Мир обычной ветки и цветка.

А когда неверное колено
Выкинет проказница-судьба,
Несмотря на опыт, стынут вены
И к губам невольно льнёт мольба.

США

Евгений Сиднев

Торгуй, Арбат, без меня!

главы из романа

Деревянный ребёнок

Скрипачом я никогда не был и становиться им в ближайшие годы не собирался. И это несмотря на то, что скрипка у меня была! Она досталась мне от старшей сестры — вроде как по наследству. Именно на ней сестрица в далёком детстве пыталась научиться играть, посещая музыкальную школу, только что открывшуюся в нашем крошечном, глухом во всех отношениях городишке, носившем красивое, чисто-деревенское название — Сосновка.

Но… к тайному сожалению немногочисленной приезжей части населения, божественная музыка не прижилась на вятских берегах (сердцам коренных жителей были ближе гармонь и балалайка), а потому плохо посещаемый класс скрипки через два года закрыли. С тех пор ставший никому не нужным инструмент, будучи запертым в душный, тесно облегающий его обводы деревянный ящик, имевший вид обтянутого чёрным дерматином чемоданчика, недобрых пятнадцать лет валялся под пушистым слоем пыли на платяном шкафу. И вспомнил я о нём только тогда, когда услышал одну замечательную песенку, проигранную мне соседом с большой виниловой грампластинки, купленной им по случаю внеплановой ревизии в местных «Культтоварах». Никому неизвестная певичка с чудноватым именем Киршнер под тяжёлые вздохи скрипки, слегка картавя, безжалостно выворачивала себе и своим заочным слушателям душу. Особенно грустными у неё получались припевы, в которых она по нескольку раз повторяла на незнакомом пока ещё мне иностранном языке одну и ту же фразу: «мой славный». А мелодия у песенки была такая, что под неё хотелось плакать, плакать и плакать. А проплакавшись — научиться наигрывать самому. Со временем я так и сделал: ненадолго выпросил у соседа кружочек дефицитной продукции фирмы «Мелодия» и, накручивая его целыми днями на принадлежащем моей семье электропатефоне чемоданного типа «Юность-301», стал разучивать полюбившуюся мне мелодию по системе караоке.

Скрипка была так себе — ширпотреб без особого звука, — но с почти по-человечески музыкальной душой. Когда я вытащил её из футляра в первый раз — она показалась мне созданием настолько необычным, что я невольно стал обращаться с ней, как с живой. Забирая скрипку с её бархатного ложа, я чувствовал себя молодым отцом, впервые собственными руками вытаскивающим из колыбели девочку-младенца на кормёжку. Тросточку с натянутыми между её концов конскими волосами я брал в руки с таким трепетом, словно это был не дешёвый пластмассовый смычок, а увитый драгоценными камнями царский скипетр. Проведя им по струнам задвинутого под подбородок инструмента, я услышал что-то невообразимое, на бумаге выглядящее примерно так: «х-ы-э-э-э!»

Извлечённый из скрипки звук был настолько далёк от музыки и настолько похож на злобное рычание крупной сторожевой собаки, что для того, чтобы не травмировать свой слух и не пугать соседей — я пиликал на ней впоследствии только под маскировкой включённого на всю мощность электропроигрывателя.

Слава Богу, к третьему дню занятий, ещё до того, как протёрлась кожа на подушечках пальцев левой руки, я сумел издаваемый скрипкой рык превратить в более-менее сносное скрипение. Производимые пучком наканифоленного ворса писки на музыкальный эталон, лившийся с виниловых дорожек стали походить только к концу тренировочного месяца.

Вернув хозяину грампластинку, я ещё почти целый год периодически захаживал к нему, чтобы напоминать своей памяти мелодию стирающейся в ней песенки. В итоге, к исходу девятого месяца, мне удалось не только запомнить её самому, но и загнать в чрево «деревянной девчонки». После чего имитируемая моими руками музыка, при довольно непринуждённом вождении смычка, звучала под лакированными фанерками сама собой. И когда это случилось — у меня, трудолюбивого человека, сына эвакуированной во вторую мировую войну из самой Москвы полуинтеллигентки, успевшего (неожиданно даже для себя) ещё до службы в советской армии освоить на сосновском (тоже эвакуированном, только из Ленинграда) судостроительном заводе две рабочие профессии (слесаря и фрезеровщика), появилось маниакальное желание зарабатывать на жизнь музыкой.

Торгуй, Арбат, без меня!

На Арбат я постарался приехать до обеда — чтобы праздно гуляющего народу на нём было ещё мало, а свободных мест для желающих выступать за деньги — много. На этой двухкилометровой концертной площадке я в качестве зрителя присутствовал уже не раз и видел всё, что делалось музыкантами и артистами, выступавшими перед уличной публикой в одиночку.

Сразу от угла кафе «Прага» и дальше, в сторону смоленского метро, начинались выносные торговые ряды. На всеобщее обозрение было выставлено всё, что могло у иностранных туристов ассоциироваться с Советами, их Союзом, его Россией и населяющими её аборигенами: самовары, подносы, матрёшки, лапти, валенки, государственные

награды, монеты, картины с церквями и берёзами, шкуры животных и чучела птиц, и всё, что касалось победившей фашистов армии.

У военных товаров я и задержался — уж больно эта тема за последние дни мне близка стала. Арбатские барыги торговали ими запросто, как сувенирами — мне же они казались вещами опасными, от которых надо держаться подальше, на себя в мирное время не надевать, да и в военные годы, без особой нужды в руки (кроме наград), желательно, тоже не брать. На отведённых под витрины столах были в изобилии разложены каракулевые папахи, меховые шапки, фуражки с околышами всех цветов, десантные береты, морские бескозырки, мягкие шлёмы танкистов и жёсткие — лётчиков, солдатские пилотки, противогазы, кирзовые сапоги, ботинки от парадных до походных, всевозможные погоны, звёздочки к ним любых размеров, разноцветные петлицы, эмблемки на них всех родов и видов войск, кокарды и звёзды на головные уборы, нарукавные нашивки, нагрудные знаки от спортивных до гвардейских, и даже пуговицы имелись. Я молча разглядывал всю эту милитаристскую контрабанду и, не отвечая на вопросы раздражённых продавцов: «Чем интересуетесь? Чего ищем?», в уме прикидывал, какую из них на абсолютно законных основаниях мне скоро предстоит носить? Самые красивые эмблемки были, конечно, десантные! Но таким чахлым, как я, дорогу с неба на землю врачи ещё на первых комиссиях диагнозами перекрывали, так что шансов носить их в армии я не имел. Морские тоже приглянулись, но жертвовать родине три года вместо возможных двух ради блестящих якорьков на форме, мне было бы жалко даже в старости. Остальные, в общем-то, все были ничё, но чуть больше понравились танкистские танчики, перекрещенные пушки артиллеристов, лётные крылышки с пропеллерами, автобатовские крылья на колёсах и общевойсковые звёзды в дубовых венках. Но два вида из продававшихся вызвали у меня полнейшее неприятие, вплоть до отвращения. Это рюмки со змеёй — в цинковые лапы военной медицины мне попасть хотелось ещё меньше, чем в смазанные вазелином руки гражданской, и — бульдозеры военных строителей, выезжавшие на эмблемках из кустов. Эти уж совсем пошло, как мне тогда показалось, на моих плечах-ключицах смотрелись бы. До душевной изжоги налюбовавшись всею этой бедовою мишурой, я отправился проводить рекогносцировку арбатской местности.

Рассуждал я разумно — мне, начинающему трубадуру, встать надо подальше от профессиональных музыкантов. Такое место я нашёл рядом с театром Вахтангова — в его окрестностях соискателей нетрудовых доходов с музыкальными инструментами вообще ни одного не было. Как ещё один плюс я отметил то, что на противоположной стороне улицы располагался огромный ювелирный магазин, над каждым окном которого имелась надпись с его названием, сделанная большими золотистыми буквами: «Самоцветы». Прямо напротив входа в арбатскую гору Сезам я и выбрал место для своей концертной площадки — чтобы сразу бросаться в глаза выходящих из неё богатеньких посетителей. А вот к доходному дому современных продолжателей дела Евгения Багратионовича я встал, по принципу избушки на курьих ножках, — задом, а к своим будущим слушателям, соответственно, передом. Раскрытый наполовину пустой футляр я положил на асфальт перед собой так, чтобы летящие мимо монетки (если они, конечно, вообще будут), стукаясь об внутреннюю сторону его верхней части, ставшей для нижней теперь как бы спинкой, отскакивали точно в «приёмник».

Прежде чем влиться в какофонию играюще-выступающей улицы, я внимательно оглядел ближайшую ко мне территорию. На ней уже спокойно «тунеядствовало» несколько человек: почти прямо передо мной, на самой середине пешеходной улицы, фотограф словами помогал своей обезьянке завлекать жителей каменных джунглей сфотографироваться в компании с ней; чуть дальше рекламная связка летающих шаров безуспешно пыталась утянуть за собой в небо семидесятикилограммовый баллон с гелием — накачанные им резиновые пузыри продавала наряжённая в клоуна толстая тётка; справа от меня, метрах в семи, на переносном мольберте экспресс-художник рисовал портреты тщеславных людей, пожелавших увековечить себя на холсте или ватмане (на последнем дешевле); а левее от места моей стоянки сидевший у небольшого стенда с образцами своих творений пожилой дядечка вырезал из чёрной бумаги профиль голов позирующих ему за рубль прохожих.

Убедившись, что моё присутствие у моих теперешних соседей протестных эмоций не вызывает, более того — никто из них ни разу даже не взглянул на своего нового конкурента, занявшего свободную в их районе творческую нишу, я набрался смелости и, ударив смычком по струнам, сотряс окружавшее их воздушное пространство звуками своей скрипки. «Лучше бы ты этого не делал! Только ненужное тебе внимание людей привлёк!» — воскликнул в глубине души инстинкт моего творческого самосохранения, и тут же дрожавшие в предстартовом волнении руки затряслись ещё сильнее. Начальные звуки у меня получились настолько неудачными, что я слегка запаниковал, а все, без исключения, соседи оторвались от своих доходных занятий, чтобы посмотреть на подозрительного музыканта, не умеющего играть на принесённом им инструменте. Но я-то знал, что как только мышечная память моих натренированных рук совпадёт с мелодией, хранившейся в чреве деревянной девчонки — моя музыка начнёт нравиться всем.

И, вытягивая из себя по струне раба фрезерного станка, я, под изумлённо-насмешливыми взглядами арбатских аксакалов и, проходящих мимо меня бесплатно, его гостей, продолжил в половину скрипичного голоса восстанавливать свою музыкальную форму.

И вожу я это значит по скрипке смычком — а сам внимательно прислушиваюсь. Но не к тому, как у неё мелодия получается, а к тому, как ведёт себя в этот момент мой, непривыкший к публичности организм. И чувствую я, что ноги в коленях уже подгибаются, руки в кистях ходуном ходят, сердце в груди колотится, в ушах пульс бьётся,

лицо, как крапивой ужаленное, горит, глаза никого видеть не хотят, короче — стыдно-о-о, да так, что хоть обратно в свою вятскую деревеньку городского типа через столичный асфальт проваливайся. Ощущение такое, словно я на люди голым вышел и не делом занимаюсь, а самоудовлетворением. Примерно так я себя и чувствовал, пока мне не начали подавать. Но как только первая монетка в футляр упала — всё — я сразу успокоился. «Значит, будет дело», — думаю. А как осмелел, так и играть стал, как дома — с максимально получавшейся у меня в родных стенах громкостью и выразительностью. Даже умудрялся успевать кланяться тем прохожим, что бросали в мой монетоприёмник кругляши белого цвета.

А видок у меня был тогда под стать моей жалобной музыке: куртка мокрая — водяные разводы на белой ткани хорошо видны; шейка из её воротника торчит худенькая; и без того не по-мужски мелкие руки, на фоне расстёгнутых манжет, кажутся тоньше скрипичного грифа; джинсы в дороге пожамканые — в коленях отвисают; ботинки, подозрительно маленького, почти женского размера, до того морщинистые, словно в них играл ещё мой дедушка-аккордеонист; губки тоненькие, как у генетического жмота, — особенно верхняя; от стеснения сощуренные глазки уже, чем у китайского алкоголика; гладкое безщетинное личико юно не по годам, и только огромные, с каплевидными линзами, очки, придавали моей внешности законченный вид несостоявшегося интеллигента. Вдобавок слёзы от жалостливой музыки и одновременной жалости к себе ручьём льются. Прохожих хоть и своевременно жалобят, но наблюдать за полётом кидаемых мне монеток мешают.

Правда, слёзная жидкость, искажавшая преломление очёчных линз, не помешала мне обратить внимание на крупного парня, со стабильностью часового маятника ходившего перед моими глазами туда-сюда с приблизительно одинаковыми пятиминутными интервалами. Я его запомнил по тёмно-синему спортивному костюму с тройными лампасами на штанинах и рукавах и белым трилистником на груди. На его спортивной обуви, с наружной стороны стопы, белел точно такой же суперпрестижный букетик лаврушки. «Кто носит фирму Адидас, — вспомнил я поговорку-заклинание, произносимую моими бедными земляками при виде хорошо одетого человека, — тому любая баба даст!». Произнесённая с искренним презрением, она, как правило, снимала душившие их спазмы зависти. С этой же целью мысленно воспроизводил её и я, каждый раз, как упакованный по высшему классу «спортсмен» проходил мимо моего рабочего места. Он тоже не оставлял мою персону без внимания, но только смотрел почему-то всё больше не на меня, а на содержимое скрипичного футляра. И, что мне показалось подозрительным, с каким-то уж очень затяжным вниманием, словно вновь и вновь пересчитывал все накопившиеся в его отсутствие монетки.

Раз на десятый он всё-таки остановился и, перебирая в руках крупные бусы, стал бесцеремонно разглядывать теперь уже только меня. Я, в свою очередь, тоже получил возможность, не прекращая эксплуатировать скрипку-самобранку, незаметно смотреть на него сквозь неплотно сомкнутые ресницы. Больше всего в чисто славянском лице этого, явно подкачанного анаболиками чувака, мне не понравился нос, который был настолько крив и асимметричен, что даже сечение его ноздревых отверстий имело разную форму и площадь. Когда он вдруг заговорил со мной, я смог убедиться, что и приобретённые им в какой-то из арбатских подворотен манеры полностью соответствовали чертам покалеченной физиономии.

— Слышь, очки, — я перестал играть и своим внимательным лицом дал говорившему понять, что слышу. — Я чё-то тебя вспомнить не могу. Ты чё, первый раз здесь лабаешь, что ли?

Нагловатый тон, с которым этот набыченный человек заговорил со мной, мне не понравился, но я высказать ему своё недовольство не рискнул, второй раз за утро здраво рассудив, что краткость поможет мне побыстрее отвязаться от общества арбатского хама:

— Да, — с видом занятого человека ответил ему я и приготовился играть дальше.

Но кривоносый этого сделать мне не дал:

— Чё — да! Ты чё мне дакаешь? Опусти свою виолончель-то — мы с тобой ещё ни о чём не договорились. Понял, да?

— А о чём нам с тобой договариваться надо? — я подумал: «Может, он песню какую-другую хочет заказать? Так я на неё всё равно не способен!»

— О таксе.

— «А, — врубился в тему я, — Парень потому наверное такой злой, что он любимую собачку потерял!»

— О какой ещё таксе? — я только успел вспомнить, что мимо меня никаких собак, тем более такс, не пробегало, как её хозяин стал со мной знакомиться:

— Так ты чё, лабух, не местный что ли?

— Да, вчера только приехал. — «Ну вот, — думаю, — Сейчас на этой почве и подружимся».

— А-а, ну тогда давай знакомиться! — и точно — мне впору было хвалить себя за редкую интуицию.

Слова: «давай» я за ним не повторил, и, стараясь из вежливости опередить незнакомца, сразу выпалил:

— Жора Павлов.

После моего представления, парень посмотрел на меня *такими* глазами, что казалось, будь я с рождения немым, и тогда бы он не так сильно удивился тому, что я произнёс. Борясь со смехом, кряжистый бугаёк, крутанув на пальце связку бус, назвался сам:

— Арбатский рэкет.

Услышав реквизиты своего собеседника, я задержал дыхание — чтобы успеть похвалить себя за то, что догадался не протягивать ему для рукопожатия руку первым. Двух слов мне хватило, чтобы сообразить, что «такса» — это никакая там не собачка, а та неизвестная сумма денег, которую с меня сейчас начнут стрясать.

Что делают в таких случаях рэкетируемые деятели искусств — я, рабочий-станочник, ещё не знал, и появившееся у меня от этого ощущение без вины виноватого, решил, снять миролюбиво заданным вопросом:

— И чего мне теперь делать?

А делать, как оказалось, было уже нечего, кроме как начинать торговаться.

— Заплати — и делай всё, что захочешь, — рэкетир, как я с отрезной фрезой, с корыстью был на ты.

Но творческая неопытность и рабочая бедность побудили своего владельца искать выход подешевле:

— А просто так нельзя разве поиграть?

— Во даёт, концертмейстер! Ты сам-то чё, бесплатно хочешь играть? Тебе же капустки срубить надо! А налоги кто платить будет? — передразнил моё альтруистское предложение общественный сборщик налоговых недоимок.

— Да мне только на билет бы набрать, и я уйду, — слегка лукавя, даванул я на последнее прибежище нищих и обездоленных — человеческую жалость. Денег я мечтал наиграть если уж на билет, то по цене, как минимум, до Владивостока — чтобы на проводы в армию и на дорогу до неё хватило.

— Так ты можешь прямо щас валить — я тебе только твой концертный реквизит переломаю, — с этим предложением арбатский мытарь протянул свободную от бус руку к моему хрупкому инструменту.

— Не, не надо, я остаюсь, — жалко мне стало, с испуга, сеструхину скрипку.

Парень руку убрал и, упёршись сердитым взглядом в моё лицо, огласил свой окончательный приговор:

— Короче, Страдивари, полтинник — и бренчишь на своей еврейской гитаре дальше. Нет — соришь её обломками и гремишь костями отсюда и до самого метро. Да — нет? Чё скажешь?

Названная им сумма почти лишила меня дара речи.

— А почему так много-то? Вдруг я столько не заработаю? — за такие деньги мне самому в рэкет захотелось — вот только потолстеть надо будет, как следует.

— Ты чё, бурый что ли? Я тебе и так на первый раз двойной скос делаю. Мы здесь с индивидуалов, в край, стоху берём, — продюсер уличных концертов чуть бусы от возмущения не порвал.

Ну, думаю, раз с других сто рублей берут, то значит зарабатывают они ещё больше. И я решил не терять возможность накосить по лёгкому таких огромных деньжищ:

— Ну ладно, чёшь, раз все платят — я тоже заплачу. Но у меня пока ещё только мелочь, — кончиком смычка, для наглядности, я пошурудил в футляре монетки.

— Да я ещё не раз подойду, как наберётся — забашляешь. Ты только, гастролёр, не заплатив, не пытайся слинять, хорошо? А то ведь потом, со сломанными пальцами, только на барабане сможешь буздать. А нам нужны здоровые люди, чтобы могли работать и платить. Мои пацаны со всех сторон тебя пасут — так что ты лучше не дёргайся, — бандитский бригадир загремел бусами — а я услышал, как будут хрустеть косточки моих фаланг в сильных не натруженных руках.

— Да не, я не обману, — его угрозы мобилизовали сразу весь неприкосновенный запас моей рабочей честности.

— По-другому и быть не может! — подвёл черту под нашей с ним договорённостью битюг и пошёл вразвалочку по своему маршруту.

Глядя в его мощный, сросшийся со спиною затылок, я с завистью думал: «Нам бы на завод в бригаду такого способного организатора — все алкаши и без сухого закона пить бы бросили, прогульщики по выходным стали бы на работу проситься, бракоделы личным клеймом бы обзавелись, а сачки норму до обеда бы научились выполнять!»

Пока он мне «наряд выписывал» — народ повалил уже толпой, и я, отдохнувший и воспрянувший духом, продолжил своё моновыступление. И как только скрипка вновь заиграла, звон падающих на дно футляра монеток тут же возобновился и стал с каждой минутой всё чаще и чаще ласкать мой немузыкальный слух. Когда же, к моему меркантильному удовольствию, в воздухе, словно бабочка-лимонница, закружил первый бумажный рубль, я для того, чтобы с точностью до миллиметра проконтролировать его падение в единственно нужное мне место, прекратил водить смычком. Прятать жёлтенькую ассигнацию в карман, как это делают по своей старческой бережливости бабушки-попрошайки, я и не подумал, а оставил её лежать среди мелочи на разживу. Пусть видят, как разбирающиеся в хорошей музыке люди оплачивают труд музицирующего фрезеровщика. Глядишь, и сами так же расщедрятся.

Я как в воду глядел — долго мне ждать богатенького клиента не пришлось. Буквально через несколько минут он остановился у моего чемодана-шляпы вместе со своей спутницей, имея вид одного из тех южных гостей, что в союзной столице чувствуют себя полными хозяевами. Возраст его, как и у всех кавказцев, я мог определить с точностью плюс-минус двадцать лет, а вот его славянофильская подружка в мини-юбке, вряд ли родилась раньше меня. На зависть любому рабочему мужику — фигурка у неё была, словно по лекалу девяносто-шестьдесят-девяносто точёная. Я даже постарался получше запомнить все самые выгодные места её сексуального туловища, чтобы в армии после отбоя перед сном было, что вспомнить. Единственное, что как-то немного успокаивало мою зависть к горному гостю — это не облагороженное интеллектом и не очень удачно скроенное лицо его иноверной спутницы. Тонкие губы, слишком маленький курносый нос, узкие скулы и близко посаженные к переносице глаза, безвкусно разукрашенные яркой косметикой, несколько скрадывали возбуждающее впечатление от созерцания всего того, что было плотно обтянуто немногочисленной одеждой ниже её обнажённых плеч.

Хахаль вытащил из оттопыривающегося брючного кармана разноцветную пачку сложенных в двое банковских купюр, толщиной с кусок туалетного мыла, и, помуслякав те три пальца, которыми христиане крестятся, стал демонстративно небрежно выбирать из денежного пресса кандидатку на полёт в мою футлярную копилку. Продолжая помогать скрипке играть, я неотрывно наблюдал за его финансовыми приготовлениями. И когда он потянул за угол сиреневую

купюру — уменя аж дух перехватило. Получить за имитацию игры на смычковом инструменте сразу двадцать пять рублей я и не мечтал. Но выходец с гор, прежде чем отпустить четвертной в свободный полёт, спросил:

— Ты наше чо нэбудь, кавказское, можишь? Тыпа лэзгинка?

Для ответа мне пришлось остановиться:

— Нет, — сказал я и чуть не захныкал от предчувствия, что мне эту дорогую денежку без знания репертуара кавказских народов заработать не удастся.

Сын гор тоже огорчился:

— Э-э, жалка, да-а!

Но джигитом он оказался настоящим и ни передо мной, ни, тем более, перед своей пассией, смотревшей на его кучу денег с не меньшим азартом, чем я, своим горбоносым лицом в грязь не ударил. Он только ловко поменял уже вытащенную банкноту на красненький червонец, и, небрежно швырнув его в сторону ждавшего прибавки футляра, повелел:

— Ну ыграй тогда, чыво можышь. Толко пагромчэ!

Девчонка подхватила своего щедрого кавалера под ту руку, которой он засунул обратно в карман деньги и, проведя по мне напоследок презрительным взглядом, потянула его за собой — к входу в магазин «Самоцветы».

Я добросовестно проводил интернациональную парочку оплаченной её мужской половиной музыкой, и как только она скрылась за мощными дверями ювелирного заведения, прервался на то, чтобы выудить из футляра и спрятать в кармане куртки самую трудно-поддающуюся подделке из советских дензнаков подделке красную десятирублёвую купюру. После этого ослепительного червонца блёклые рублёвки и даже ярко-зелёненькие трёшки, посыпавшиеся в скором времени к моим ногам, как листья с берёзового веника в парилке, сильное впечатление на меня производить перестали. Но моя радость от их появления была всётаки настолько велика, а желание иметь бумажной валюты побольше было до того неуёмно, что я даже не хотел прерывать своё музицирование для её сбора, пересчёта и «утилизации» в карманах. Имея такую надёжную крышу, какую мне «поставил» (как выяснилось — действительно совсем не дорого) местный рэкетир, я мог за их сохранность не волноваться.

За доходной игрой я даже не заметил, как возле меня оказался целый цыганский ансамбль, состоявший из смуглолицых женщин всевозможных возрастов и их детей-бродяжек обоего пола. Эти кочевые капусты, одетые все сплошь в бесcчётное количество разноцветных юбок, моментально оттеснили от меня простых людей и, взяв мой пятачок в полукруг, сами стали показывать мне фольклорный номер, достойный репертуара их национального театра «Ромэн». Молодые женщины, размахивая руками и полами юбок, кружились в танце; цыганки среднего возраста, среди которых были и беременные, аккомпанировали им своими сиплыми прокуренными голосами, напевая на непереводимом тарабарском языке каждая свою мелодию; несколько живучих цыганских старух, топчась на одном месте вокруг своей покривившейся от долгой жизни оси и тихонько набормачивая себе под нос что-то, похожее на заклинание, били жилистыми руками в разукрашенные цветастыми бантиками бубны; махонькие девчушки, заполняя пустующие пространства массовки, сноровисто лазили между своими матерями и бабушками; а чумазые пацанята, вплотную обступив превратившегося в зрителя артиста, дёргали своими грязными ручонками мою свежевыбеленную белую куртку и на цыганско-русском диалекте нагло канючили: «Парень, дай на хлеб! Парень, у тебя много денег, дай на покушать!» И только я брезгливо отряхивал с себя их чёрные ногти, как они снова вцеплялись ими в стиранный этой ночью хлопчатобумажный материал и продолжали клянчить с меня свой откуп: «Парень, не жадничай! Парень, мы кушать хотим!» Я довольно быстро захотел достать им из напольной копилки мелочи, но они настолько активно наседали на меня, что даже нагнуться мне за нею не дали. Я только смог через частокол их ножек дотянуться до футляра своей ногой и пнуть по крышке, чтобы она закрылась. Сделал я это вовремя, потому как одна цыганка, самая молодая из танцующих, и даже немножко симпатичная, раскорячив ноги в два раза шире собственных плеч, подошла к футляру так близко, что он полностью скрылся под её юбками. Она ещё подняла над головой руки, сцепила их пальцами в кольцо и энергично затрясла плечами. Голый живот её при этом оголился ещё больше, а короткая кофточка постепенно задралась настолько, что из-под неё стали высовываться не защищённые лифчиком груди. Я, как увидел их, так и с трясшими меня за подол куртки степными крабами перестал бороться. Мне за эту цыганочку стало так неловко, что сразу захотелось ей сказать: «Девушка, у вас кофточка сильно задралась». Но тут я догадался, что это может быть отвлекающим манёвром, и пока я пялюсь на нижние половинки её немытых титек, другие танцовщицы попытаются незаметно утащить из-под неё мою концертную копилку. Так что я перестал вкушать неожиданно обломившийся мне кусочек секса и отныне следил за всеми цыганами сразу, готовя себя к броску за любым из потомственных воришек, если увижу у кого-то из них в руках мой волнистый чемодан. Но ничего подобного не произошло, а после крика, оставшегося в моей памяти как таинственное «карэла-марэла» и выделившегося из хорового многоголосья командной интонацией, сексующая передо мной цыганка опустила руки и сдала назад. Оказавшийся нетронутым футляр снова радовал своей чёрной дерматиновой обивкой мои глаза, а цыганская кодла, как-то уж очень резко успокоилась и, быстренько сбившись в организованную кучу, покочевала в глубь арбатской улицы. Цыгане ещё только отходили от меня, а я уже нагнулся, чтобы открыть своим очередным поклонникам путь в элитное искусство через посильное уличное меценатство. Заодно я рассчитывал собрать уже накопившиеся в футляре казначейские билеты и крупную мелочь. Но когда я его распахнул, внутри грудной клетки у меня всё оборвалось — ещё несколько минут назад

«полная коробочка» каким-то невообразимым образом превратилась в пустую. Даже кусок канифоли пропал — за янтарь должно быть приняли.

Вдогонку удаляющимся разбойникам, артистично прокосившим под попрошаек, я кричал почти инстинктивно:

— А деньги куда делись?

Чтобы ответить за всех, обернулась козырнувшая сиськами танцовщица:

— Фокус! — крикнула она на пол-Арбата и засмеявшись во всё цыганское зево, задрала спереди все свои юбки. — Дырка засосала! Иди проверь! Может чё ещё и найдёшь!

Под взглядами своих, творящих искусство на продажу соседей, я, разумеется, никуда не пошёл — мне и с этого расстояния было хорошо видно, что, как и верхнюю, нижнюю часть нательного белья таборная стриптизёрша тоже не носила.

Кроме тёмных пятен, отпечатавшихся от детских пальчиков на белоснежном материале, в память о цыганском концерте на велюровом дне футляра осталось лежать несколько жёлтеньких монеток. Ни забирать их, ни убиваться с горя преждевременно я не стал — для восполнения утраты у меня было ещё полдня. И я только с большей проникновенностью продолжил проигрывать со скрипки свой единственный и любимый сингл. А за денежками я теперь наклонялся после каждого исполненного деревянной шарманкой музыкального дубля.

Во время одного из наклонов за деньгами я заметил пару чёрных ботинок, остановившуюся в метре от меня, и такого же цвета трость, неподвижно упиравшуюся в асфальт между круглыми носками идеально чистой обуви. Я перевёл взгляд с них сначала на брюки, затем поднял его по острым стрелкам до пиджака, и только после него увидел лицо носившего их человека. Аккуратно отпущенные борода и усы, густо-чёрной окраски, и свисавшие у висков из-под сплюснутого, надвинутого до бровей котелка, заплетённые в косички волосы, которые я принял за новомодные бакенбарды, мешали определить возраст их владельца. Из имевшихся на бородаче одежды и вещей не чёрными были только очёчная оправа ярко-жёлтого металла и ослепительно-белая сорочка. Солидно прикинутый дядечка с таким нескрываемым умилением смотрел на то, как я собираю затёкшими непослушными пальцами заработанные моей лакированной напарницей деньги, что я волей-неволей засуетился. На всякий случай, я на этот раз выгреб все до одной монетки, даже копеечки.

Когда я выпрямился, немой наблюдатель первой же фразой дал мне понять, что ни денег, ни проницательности ему занимать не надо:

— Молодой человек, вы не беспокойтесь насчёт меня, я только поговорю с вами. Если можно, разумеется.

Голос говорившего прозвучал так мягко и доброжелательно, что я даже застеснялся перед ним своей скаредной подозрительности. По глухому тембру дядькиного голоса, я смело предположил, что его голосовые связки научились издавать членораздельные звуки лет на сорок раньше моих.

— Можно, — дал я добро на уличный контакт с незнакомцем. Теперь он мне казался безобидным.

— Что вы сейчас исполняли? Какого композитора? — такого бескорыстного вопроса я даже от него не ожидал.

— Да я, честно говоря, и сам-то толком не знаю. На пластинке написано Рубин и Грин какие-то, — отвечаю, а сам думаю: «А вдруг он только пыль мне в глаза пускает? Тётя просила быть поосторожней!»

Вида, что из сказанного мною он практически ничего не понял, профессионально любопытствующий дядечка не подал:

— Я должен вам сказать, что музыка просто восхитительная! Чувств — безбрежный океан выплёскиваете, но техника исполнения — никуда не годится, — заросший волосами москвич, ругая меня, выглядел несравнимо цивилизованнее бритого (и чего меня в школе учителя с завучами все десять лет за длинные волосы ругали?). — Так слабо владеть таким сильным инструментом, непозволительно! Вы где, мой мальчик, скрипке учились?

— Нигде. — «Во, — сокрушаюсь, — влип! И правда, за скрипача приняли».

— Но кто-то же вас учил? — дядя информацию умел выуживать, наверное, даже из немых.

— Нет — я сам дома тренировался.

— Самоучка, значит? — в глазах говорившего, судя по их выражению, мой уличный рейтинг поднялся.

— Выходит, так.

— А не хотите ли в хорошем любительском оркестре поиграть? Заодно и технике подучитесь, — видимо, теоретически я выглядел уже подкованным!

— В каком?

«И чего это вдруг, — гадаю, — незнакомый прохожий ко мне с бесплатным добром лезет?»

— При нашем обществе есть такой, — дядька заговорил шёпотом заговорщика.

— А где оно находится?

«Если, — прикидываю, — в какой-нибудь пирожковой или ресторане, то, значит, из меня не скрипача, а фарш хотят сделать!»

— В Марьиной роще. Я тамошний кантор. Если согласитесь — я вам адрес дам.

Ни о такой должности, ни о местонахождении неизвестного мне общества я ни по телевизору, ни от московской тёти ещё ни разу не слышал, так что мои опасения таким предложением не развеялись.

— Да не. Я же не скрипач, — разоблачил я себя, не желая лазить со скрипкой по подмосковным лесам.

— А играете, — дядька настойчивый попался. Лез в мою душу, как военкоматовский уролог в тело.

— Так я ведь только одну песенку разучил, — до службы в советской армии я ещё мог умереть от скромности.

— Что значит — разучил? — с каждым моим ответом представителю старшего поколения меня — напуганного молодого провинциала — понимать становилось всё труднее.

— По пластинке. Включал на проигрывателе и копировал. За год научился.

— Да вы что? Бывает же такое! И зачем вам это понадобилось? — интерес ко мне у дядечки стал ещё более неподдельным.

— Мелодия очень понравилась, да и подзаработать таким образом захотел, — я честно назвал ему обе причины, рассчитывая на то, что моя оголтелая алчность оттолкнёт от меня бескорыстного любителя струнно-смычковой музыки.

— Ты смотри — такой молодой и такой предприимчивый. Нам такие нужны. Приходите — будем рады вас принять в свои ряды, — дяденька так обрадовался, что мне показалось, будто не только за меня.

«Нет, — успокоил я себя, — я действительно нужен ему в натуральном виде. Даже жалко будет расставаться с ним!»

— Спасибо, конечно, но я через три дня в армию ухожу, — тем, что я ещё и не местный, хорошего человека я огорчать не захотел.

— Да, да, да… — сочувственно закивал он головой. — Военные власти совсем обезумели — даже из институтов служить забирают. Вам, видимо, не удалось бронь получить? Жаль. Ну, как вернётесь — тогда и заходите. Вот вам адрес, — дядька достал из внутреннего кармана пиджака маленький прямоугольник твёрдой бумаги и протянул мне. — Спросите кантора Хазанова, вас ко мне проведут.

— Спасибо большое, — от незаслуженного мною приглашения я отказываться не стал. А говорить о том, что я не то чтобы поступить в институт, но и школу-то из-за математики еле закончил — тем более.

— Ну что, молодой человек? Желаю вам богатых сборов, лёгкой службы и здоровья вашей маме. Жаль, что вас в армию забирают, очень жаль. А так, я вижу, вы — наш мальчик. Наш! Всего доброго.

— До свидания, — попрощался и я.

Мой новый добрый знакомый ушёл, так и не кинув мне на прощание ни одной монетки. Но я за это на него не обиделся — моральная поддержка столичного доброжелателя стоила в моём представлении дороже.

Хорошее настроение, оставшееся от общения с кантором из какой-то общественной конторы, помогло мне забыть неудачу с цыганами и встретить улыбкой вернувшегося по мою душу рэкетира.

— Чё лыбишься? Всё ништяк значит? Бабла за аренду места нарубил уже? Давай — вываливай! — приказал он сразу, как только подошёл ко мне.

Я вытащил из карманов все деньги, что мне удалось в них спрятать, добавил к ним набравшуюся к этому времени в футляре наличку и на глазах держателя уличной кассы, стал пересчитывать.

— Выбирай бумажные и серебро. Медь себе оставь, — против такого пожелания своего куратора я возражений не имел. Медью, копеек двести, мне бы всяко-разно осталось.

Купюр набралось ровно на тридцать рублей, и ещё двенадцать целковых я насчитал белой мелочью.

— Вот, сорок два рубля. Больше пока нет.

— Ты чё, очки. Какие сорок два? Ты сколько уже здесь эфир своей тягомотиной отравляешь? Давай полтяш, и я от тебя отваливаю, — представитель арбатского рэкета сделал вид незаслуженно обманываемого человека.

— Так, а где я его возьму, если нету больше? — ели б были, я бы этой кривоносой пиявке пятёру сверху не пожалел, лишь бы не знать его больше.

— Где, где? Хошь в рифму скажу — где? — он словно видел всё сам.

— Ну правда, нет денег больше. У меня цыгане много украли, — я уж подумал, заплакать для убедительности, что ли?

— Какие цыгане? Ты чё, конь гастрольный, мне своей канифолью по ушам трёшь? — к моему пущему испугу, кривоносый начал терять над собой контроль. — Я б.. буду, если ты их не зашкерил. Ну-ка, выворачивай давай клапана. Сам начну шмонать — хуже будет. Всё, что найду — всё до копейки заберу.

Тут у меня нервы сдали, и я вытащил на божий свет оставшиеся от довезённого до Москвы червонца три трёшки — один рубль я истратил на метро и электричку.

— Вот у меня есть девять рублей, но это мои личные, ещё с дороги остались.

— О, ништяк! И они сгодятся. Давай сюда, — санитар улицы забрал у меня трёшки и отсчитав из сданной мною мелочи пять двадцариков, издевательски торжественно вручил их мне. — На, держи сдачу.

Я уже и этому был рад, и бережно ссыпал рублёвку в джинсовый карман.

— Всё, мы в расчёте. Шармань спокойно и никого не бойся. Если цыганча ещё появится — гони их, на хрен, всех в шею, — за мой же полтинник арбатский босяк надавал мне щедрых, ничем не подкреплённых обещаний, и бесполезных, абсолютно невыполнимых советов, после чего со спокойной совестью удалился от моих дел восвояси.

Когда его след на булыжниках простыл — мне действительно бояться некого стало.

Но выступать спокойно довелось не долго — не прошло и часа, как мне представилась возможность на собственном творчестве узнать, что такое конкуренция по-капиталистически.

Обнаружил я её не сразу, но после того, как пожадневшие вдруг прохожие совсем перестали подкидывать мне за музыку денег, в поисках причины неожиданного банкротства их добродетели я обеспокоенно закрутил головой. Большую группу людей, собравшихся посредине улицы левее от меня метров на тридцать, я увидел сразу. Заметил я и то, что все пешеходы, даже шедшие с моей стороны, завидев разрастающуюся на их глазах толпу, не обращая внимания на остальных деятелей уличных искусств, спешили присоединиться к ней.

Играть только для себя мне не позволила уже появившееся у меня артистическая гордость. Так что образовавшийся в концерте неоплачиваемый слушателями антракт, я решил использовать не только для отдыха, но и для развлечений. Захватив с собой скрипичный чемоданчик, я отправился туда же, куда стекался с близлежащей территории весь любопытный народ.

К моему приходу окружавшая неизвестно кого толпа стала настолько многочисленной, что, даже

встав на цыпочки, я ничегошеньки не смог увидеть. Я уж и попрыгал — не вижу ничего! Перешёл, попрыгал в другом месте — опять никого и ничего! «Ну, — предполагаю, — раз столько народу напёрло, и поверх голов ничего не видно, не иначе, как тараканьи бега или петушиные бои какие-то смельчаки устроили. Поди, ещё ставки принимают — вот никто и не расходится!» Хотя забойная электронная музыка, вылетавшая с центра арены из-за плотно сомкнутых спин, больше подходила для танцев, которые, если это и было так, могли исполнять мелкие дрессированные животные.

Я, психуя от неудовлетворённого любопытства, немного ещё походил вокруг толпы, послушал вслепую магнитофонную аудиозапись, и, когда почувствовал себя вдвойне потерпевшим, а значит, имеющим право на лишившее меня доходов зрелище больше, чем любой из уже любующихся им зрителей, я отбросил украшавшую гостя столицы скромность и со словами «разрешите пройти» — стал плечом прокладывать себе дорогу в центр событий. Люди сначала сдержано возмущались чужой наглости, но увидев в моих руках расчехлённый музыкальный инструмент, принимали меня за артиста, спешащего на помощь своим выступающим товарищам, и пропускали вперёд. Так я и оказался в партере, откуда смог уже спокойно, не напрягая ни близоруких глаз, ни икорных мышц, видеть всё происходящее на «сцене». А ею для моих таинственных конкурентов служили четыре листа двп, сложенных на асфальте квадратом гладкой стороной кверху. И как только я увидел артистов-невидимок, мне сразу стало ясно — почему я не мог достать их глазами из-за пределов очерченного человеческими телами круга. Все они были детьми в возрасте от десяти до четырнадцати лет, и даже самый старший из них не перерос ещё высоту полутора метров. К тому же они сидели с разных сторон деревянного квадрата на корточках, и только один из них выступал в центре него, мастерски танцуя новомодный танец брейк, который я, как, наверное, и большинство тащившихся от зрелища зрителей, видел «вживую» впервые. Среди ждавших своей очереди танцоров грязной оранжевой кофточкой, чертами лица и цветом кожи на нём и руках, выделялся один пацанёнок — он был настоящим живым негром! Только пока ещё ма-а-аленьким. Все люди, имевшие возможность смотреть танцы из первых рядов, время от времени отвлекались от танцующих и переводили взгляд на чудо-ребёнка, выглядевшего как-то уж очень странно, словно в нём чего-то не хватало.

Музыку малолетним танцорам воспроизводил стоявший в углу дэвэпэшной танцплощадки маленький, но игравший, как большой, кассетный магнитофон, имевший на своём пластмассовом корпусе короткую надпись «иж». Перед ним, кверху дном лежала солдатская фуражка с зелёным околышем, но без кокарды, которая, судя по нескольким монеткам, блестевшим на её подкладке, организаторами концерта использовалась для сбора с зевак платы. Заслуженные танцующими детьми пожертвования увлечённые действом взрослые зрители кидать не торопились, но на даваемое им чумазыми человечками представление пялились во все глаза. И, надо признать, пялиться было на что. Дети танцевали так здорово, что многие из толпы смотрели на них не только с восхищением, но и с легко читавшейся на расслабившихся лицах завистью.

При мне первой протанцевала девочка-подросток, очень забавно изображавшая своими движениями человека-робота. Сменила её другая девчушка, чуть пониже и похудее. Оказавшись в центре всеобщего внимания, она так затряслась, не переставая при этом принимать самые замысловатые позы, словно какие-то невидимые электрики-садисты подключили ей триста восемьдесят вольт и не собираются их выключать. Натрясшись до пота, она вернулась на своё место у ног зрителей, а выступление продолжила самая испачканная из имевшихся в бродячем ансамбле брейк-наложниц. А грязнее своих подруг эта юная артистка была от того, что она «верхний» брейк мешала с «нижним» и, делая стойку на руках, «солнышко», сальто или вращения на полу, не только касалась ладонями грязной поверхности древесных плит, но и ложилась на них всем телом. На смену ей выкатился колесом совсем маленький мальчик. Встав на ноги, он стал гнуться и ходить так, будто у него и костей-то не было. По телу и по рукам он такие волны и змейки пускал, что, казалось, они у него не только скелета не имеют, но и суставов тоже. Выгнув из себя всё, что только можно было, мальчиш укатился с центра сцены на её край. Сменил его паренёк на несколько годков постарше и показал совсем уж акробатические трюки, прыгая и кувыркаясь через голову вперёд и назад, с упором и без. Вышедший за ним танцор сразу упал на пол и не поднимался с него уже до конца своего номера. Он прокрутился на голове, животе, спине, боках, ягодицах, ладонях, коленях и потихонечку стал отползать в сторону, уступая танцевальную площадь очередному брейкеру. Вот тут-то, к всеобщему оживлению, и дошла очередь до советского негритёнка.

Он выскочил из-под ног зрителей как чертёнок из табакерки, на удивление проворно выбежав в центр танцевальной площадки на руках. Но голова его при этом не у земли между локтей висела, а торчала, как и у обычных ходоков, из плеч. Бежать на руках, не меняя положения туловища, он мог потому, что передвигаться подобным образом ему ничего не мешало — ног у него не было ни сантиметра! Штанишки — те были, но в них — ни хрена, пусто! Только закрученные до основания и заколотые, чтобы не распустились, булавками штанины болтались под ним при каждом ручном шаге. Туго затянутым, сильно потёртым брючным ремешком серые штаны были пристёгнуты к чёрнокожему ребёнку на привычном для полноценных людей месте — в поясе, но ни остатков бедренных костей в тазобедренных суставах, ни наличия даже самой маленькой попки — под брючным материалом не проглядывалось.

Не видя роста, без ног, труднее, конечно, было определить возраст малолетнего темнокожего инвалида, но, приставив к его ополовиненному туловищу воображаемые конечности, я дал ему полных двенадцать лет.

И что только эти детские полчеловечка не стали вытворять на глазах удивлённых зрителей под невообразимо быструю музыку, под которую и абсолютно здоровому человеку-то танцевать было непросто! Когда негритёнок оказался в центре танцпола, он встал на руки так, как это делают все люди, имеющие ноги, и в такой вот неудобной стойке начал вальсировать. Движения его при этом были похожи на движения танцующего на задних лапах вальс выдрессированного в цирке медвежонка — трудно ему было без ножного балансира долго сохранять равновесие. А коротенькая поясничная часть его туловища в такт танцу гнулась и кивала вперёд-назад, и засученные порожние штанинки колыхались вслед за ней. И зрелище это было не для слабонервных иностранцев и даже не для закалённых дорогой к коммунизму соотечественников. Уж больно противно болтались его грязные портки — прямо аж до тошноты. Одна женщина с первых же секунд не выдержала — зажала ладонью рот и, с места протаранив трёхметровую стену толпы, побежала искать безлюдное место, где бы ей можно было без боязни кого-либо обрызгать руку ото рта убрать.

Закончив своё первое па, негритёнок упал на спину и принялся крутиться на ней точно так же, как это делали танцевавшие до него целые ребята, только раскручивал он своё туловище не махом отсутствовавших у него ног, а руками. Накрутившись на спине, он стал переваливаться с неё через бок на живот и через другой — обратно. В какой-то момент он изловчился и, перекувыркнувшись через голову, снова встал вниз головой на руки. С этого момента он начал прыгать и крутиться на своей единственной паре конечностей, да так ловко и уверенно, словно их у него было двенадцать. Затем он одну ручку прижал к туловищу и то же самое проделал на оставшейся в одиночестве опоре. Потом он опустился на голову, и, оттолкнувшись от настила руками, с такой поразительной скоростью закрутился на темечке, что стал похож на человека-юлу.

И таким вот искусным образом полтанцора собирало с древесных плит всю пыль и грязь, налетавшую за время предшествовавших его выступлению танцев, на свои одежду и лицо. И хоть оно у него было чисто африканского типа, но его мебельного цвета кожа изнутри светилась чем-то светлым, словно под её верхним слоем имелась белая подкладка. Так что тёмный кожный покров грязных пятен и разводов на руках и лице не скрывал, и тому, что негритёнок из участников детского ансамбля магнитофонной песни и уличного танца выглядел самым грязненьким, возмущаться его мама, если такая у него ещё была, права не имела. Не она ли помогла ему инвалидность первой группы заработать, взяв с собой под поезд? Моя мама именно так в своё время, когда меня ещё на свете не было, пыталась удержать своего любимого мужа около себя, когда он надумал её бросить. Только она для этой цели свою дочку использовала, мою старшую сестру. Взяла её на свои тёплые материнские ручки — и на железнодорожную стрелку тихим пёхом товарняк встречать отправилась. Но им обоим повезло — глава разваливающейся ячейки социалистического общества был ограниченным в возможностях советским человеком и согласился остаться в ненавистной ему семье на условиях кота, гуляющего сам по себе. В отличие от бледнолицых подонков, тёмнокожие при советской власти в России не плодились. Так что папочка этого негритёнка мог быть подданным только иностранного государства, возможно, даже цивилизованного, и ему бросить советскую несчастную женщину, родившую от него чёрного ребёнка, было легче. Пересёк двадцати двух тысячекилометровую государственную границу заповедника дешёвых тёлок — и опять ты свободный от всех видов обязательств, ответственности и наказаний, данных, избегнутых и не понесённых на территории населённой белыми, красивыми, влюбчивыми, нежными, ласковыми, работящими, выносливыми, неприхотливыми, нетребовательными, согласными даже на чёрнокожего принца, но наивными бабёнками!

К тому моменту, как полнегритёнка закрутилось на голове волчком, кадыки вверх-вниз ходили уже у доброй половины зрителей, и самые сердобольные начали предпринимать робкие попытки вылезти из толпы наружу, увлекая за собой своих спутников. И почти никто из них за просмотренное представление не платил — фуражка лежала далеко, а кидать деньги прямо на орголитовые плиты мало кто осмеливался.

Видя такое дело, одна из девчонок крикнула:

— Микки, давай фуражку.

Негритёнок тут же перестал крутиться и, встав на руки головою кверху, побежал за головным убором пограничника. Многие из уже уходивших задержались, чтобы посмотреть, как он доставит его девочке.

Оказалось, что это ещё один номер их танцевальной программы, да не простой — а гвоздь! Подойдя к фуражке, Микки снова перевернулся головою вниз, «присел» на руках и схватил её ртом за козырёк. Немного пошамкав губами — чтобы он залез в рот поглубже — малолетний трюкач-инвалид сжал зубы и поднял фуражку с пола. С нею в зубах он и пошёл обходить зрительскую толпу. Тут уж не выдержали практически все — народ стал доставать из кошельков и карманов деньги и рассчитываться — лишь бы уйти на своих ногах с чистой совестью. Самые стойкие ждали фуражку или отдавали деньги в руки девочкам, сопровождавшим негритёнка по всему его маршруту — остальные же бросали свои кровные: и мелочь и крупные купюры, — на дэвпэшный настил или прямо себе под ноги и уходили прочь.

В числе немногих зрителей я остался до конца последнего номера и видел, как та женщина, которая побежала блевать, вернулась и, присев, аккуратно положила на орголитовый лист десять рублей одной бумажкой, стараясь не смотреть в сторону собиравших с пола деньги ребят, и так же быстро снова исчезла.

И если в начале концерта люди стекались к месту танцев со всего Арбата, то теперь они в панике разбегались по улице в стороны от него и подальше. Но для опытных детишек эта ситуация, по всей видимости, уже давно была привычной, и они без обиды на брезгливость взрослых людей, без тени стыда за свои испачканные

трудовой пылью лица, спокойно и не торопясь собрали сначала с древплит все деньги, а затем и сами плиты. Их они оттащили в сторону, поставили к стене дома, постояли рядом с ними минут пять-десять и, когда новые потоки ничего не подозревающих прохожих пошли в обе стороны, — они снова разложили свою скользкую деревянную арену и начали всё с начала. Так они сделали ещё раза три, и все последующие концерты были копией предыдущих. В конце каждого представления неизменно выступал негритёнок, обнося последним номером по кругу фуражку для подаяний, держа её зубами за козырёк. Слабонервный народ сквозь отвращение щедро откупался от чужого горя и расходился в поисках развлечений полегче. Я, лишённый на всё время брейк-танцев собственной клиентуры, продолжать свою игру на скрипке даже не пытался и с удовольствием просмотрел все концерты, отдавая за каждый из них по двадцать копеек из заработанной моей деревянной девчонкой «серебряной» мелочи. И кидал я её не просто абы куда на пол, а именно в головной убор пограничника, когда негритёнок, перевернувшись вниз головой, проходил мимо меня на своих ногах-руках.

Только когда малолетние танцоры перенесли свою разборную танцплощадку в глубь улицы и от театра Вахтангова их стало без очков не видно — я вернулся на своё место и продолжил выступление.

Прохожие больше не отвлекались на брейкеров, и монетки вперемежку с редкими мелкорублёвыми купюрами снова полетели в разложенный перед ними фигурный чемоданчик.

Но и на этот раз богатеть мне довелось не долго — минут через сорок передо мной, как грибы-мухоморы перед муравейником после тёплого дождя, выросли два молодых милиционера.

— Старший наряда лейтенант милиции Козупин! — представился черноглазый и черноволосый.

— Сержант милиции Ломытков! — отдал честь блёклоокий и светло-русый.

На их официоз я никак не отреагировал. Что я мог сказать? Ну не «фрезеровщик же второго разряда Павлов»!

Опустив скрипку и смычок к земле, я безмятежно смотрел в их беспощадные к нарушителям лица. У лейтенантского выражение было городское, а вот у сержанта его лимитное происхождение выдавали не помещающиеся под фуражкой уши, торчащие из открытого рта крупные, цвета слоновой кости, зубы и взгляд готового ради начальника на всё служаки.

— Предъявите ваши документы, — попросил офицер строгим тоном.

Скрипку со смычком я на время вставил между ног и, вытащив освободившимися руками из заднего кармана джинсов паспорт, молча протянул его просителю.

Лейтенант открыл документ сразу на середине:

— Та-ак… Прописка… Ага… Вот! Кировская область, Вятскополянский район, город Сосновка. Приезжий, значит? Гость столицы, так сказать?

— Да, — угодливо подтвердил я представителю власти его предположение.

— И давно прибыли?

— Вчера, — сказал я, и моё собственное сердцебиение стало мне слышно без фонендоскопа.

— Билет имеется?

— Нет, нету, — сердце у меня забилось громче и чаще.

— Как это так. А где же он?

— Так у меня и не было его, — гипертрофированное подростковой гипертонией сердечко теперь уже побежало.

— Пешком, что ли, пришли?

— Нет, я зайцем на поезде приехал, — с этого момента захотелось бежать и моим, уставшим стоять, ногам.

— Билетов, что ли, не достали?

— Да. Летом у нас с ними всегда проблема, — от сердечного стука начало закладывать уши.

— В столицу с какой целью прибыли? Подзаработать?

— Да нет, в основном, в гости к тёте. Заодно вот решил попробовать, — шум крови в ушах стал привычным.

— И как, успешно? Много подают? — как-то уж очень участливо поинтересовался офицер милиции моими коммерческими делами.

— Да вроде ничё. Думал, вообще ничего не получится, — я почти уже адаптировался к присутствию стражей образцового столичного порядка.

— На св-то с рестораном заработали? — лейтенант внутренних дел, как бы радуясь за мои успехи, тихонечко засмеялся.

— Не-е-а! — заулыбался и я. Сердце уже билось по-прежнему спокойно. — Пока на купе только, да и то без чая, — на этой мажорной ноте, надеялся я, разговор с проверяющими и закончиться.

Я уже готовился протянуть руку за паспортом, но вместо того, чтобы вернуть основной документ гражданина СССР его законному владельцу, милицейский чиновник стал нарочито медленно засовывать мою красную паспортижицу во внутренний карман своего серого лейтенантского кителя. В завершение пугающих меня действий он сказал:

— А-а, тогда это хуже. Вам придётся пройти с нами.

— Куда? — сначала я удивился.

— В отделение.

— Зачем это? — потом заволновался.

— Тебе сказали пошли — значит, пошли. Складывай в чехол инструмент и за нами, — сержант оказался попроще офицера и сразу обратился ко мне на ты.

Теперь уже я испугался, но способности вежливо защищаться от страха ещё не потерял:

— А за что? Я же ничего не сделал, — (Не могли же милиционеры забрать меня за то, что я приехал в охраняемый ими город зайцем?)

— Будем привлекать за социально опасную деятельность, не предусмотренную социалистической законностью, — явно закончивший что-то выше средней школы, офицер такое завернул, что я ничегошеньки не поняв, почувствовал себя государственным преступником.

— А чего я сделал-то такого? — к ощущениям я был не прочь добавить юридических фактов.

— Занимаетесь извлечением нетрудовых доходов, — профессиональный правоохранитель,

доступным для неопытного в преступлениях человека языком разъяснил суть предъявленных ему обвинений.

— Почему нетрудовых? — робко возразил я виртуозу милицейского свистка, — Я же сам играю, — (Если бы милиционеры смогли представить себе, как я намучился, пока заучивал свою скрипичную партию, то были бы ко мне снисходительнее.)

— В отделение заберём, тогда и узнаешь — почему они нетрудовые. Паразит ты на теле социалистического общества! Понял меня? — с этой фразой офицер опустился до уровня своего подчинённого, перейдя в одностороннем порядке на «ты». До конца беседы к официальному стилю общения он уже не возвращался.

Сержант, как хорошо выдрессированная собака, изменения в настроении своего начальника почувствовал моментально:

— Таких, как ты, к станкам надо цепями приковывать! — пролаял он, словно сорвавшийся с цепи сторожевой пёс, не представляя себе, что я два года уже, как стоял около одного из них по собственному желанию.

— А их как же? — я осторожно кивнул на соседей. — Им-то чё, можно, значит?

— Ну, значит пока можно, — двухзвёздочный милиционер противно ухмыльнулся.

— А почему? — тут я заподозрил, что эти ребята от того парня, что уже содрал с меня пятьдесят рублей в начале моей премьеры, отличаются только формой одежды.

— А сам-то как думаешь? Мы тебя не торопим — подумай хорошенько. Это тебе ведь надо — не нам, — лейтенант с безразличным выражением лица стал оглядываться по сторонам. — Раз ума нетрудовые доходы зарабатывать хватает — должен догадаться.

— Ну… я… это… заплатить могу, — робко предложил я борцам с преступностью взятку, будучи уверенным, что этого они и добивались от меня.

— Ты смотри, — обратился к напарнику старший патруля, — Соображает!

— А сколько надо? — узнавая размер дани милиции, я одновременно пытался вспомнить, сколько стоит плацкартный билет до моей малой родины.

— По четвертному на фуражку положишь? — названная в виде вопроса милицейская такса сбила меня с панталыку, и я ошибочно подумал, что имею право тактично поторговаться:

— Не-е, для меня это много. Давайте по червонцу, а? — я попытался сбить сумму до соразмерной с моими страшно «нетрудовыми» доходами.

Но испорченный маленьким званием, крошечной зарплатой и большим городом человек, отвечая за своего начальника, скидки мне не дал:

— Ты чё, пацан, с нами тут никто не торгуется. Давай, выкатывай полсотни, пока на свободе, — говоря о чужих деньгах, которым худосочный очкарик мешал стать его, милицейский сержант выглядел злее любого генералиссимуса.

— Так я же уже и так заплатил. Второй-то раз можно поменьше? — за опт я всё-таки рассчитывал получить небольшую скидку.

— Кому ты заплатил? — лейтенант ОВД «Арбатское» изобразил на лице такую тревогу, словно боялся, что я назову в ответ более высокое, чем у него, милицейское звание.

Но я рассказал ему о человеке не в форме:

— Ну, тому парню в спортивном костюме, что ко мне подходил. Он сказал, что я могу теперь спокойно играть.

— А, так это ты бандитам забашлял, а у нас ведь тоже семьи есть, — офицер милиции провёл невидимую грань между дублирующими друг друга правоохранительными структурами.

— И им тоже надо что-то есть, — стихотворной строкой поддержал старшего наряда сержант, потрясая на уровне моих глаз указательным пальцем.

«Во, — возмущаюсь, — наглецы! Врут и не краснеют! Обручальных колец-то на руках у обоих нет! Они чё — такие хорошие дети, что родителей содержат? Может ещё и бабушек с дедушками?»

Меня тоже ждала дома бедная больная мама, и мне очень хотелось вернуться к ней с гостинцами:

— Товарищ лейтенант, а можно я больше не буду сейчас здесь играть, а просто уйду домой? Ну, пожалуйста, а? Мне уже повестка в армию пришла. Я через четыре дня в военкомат должен на отправку явиться, — я ещё надеялся, что службу в армии милиционеры сочтут для уличного скрипача достаточным наказанием, и меня отпустят без выкупа.

Общее мнение о моих ближайших перспективах выразил сержант:

— Вот и будешь за свою жадность и тупость не родину защищать, а парашу таскать, — труд грубо стращать пойманных их нарядом нарушителей, по всей видимости, входил в служебные обязанности младшего по званию милиционера.

— Всё, ты теперь задержанный и просто так только в отдел с нами можешь пройти. Не будем терять времени — пойдём, — не зная, что по гороскопу я лев, офицер положил руку мне на плечо.

Сержант, глядя на своего начальника, тоже перешёл от слов к делу:

— А скрипку, смычок и чемоданчик придётся конфисковать. Ну-ка, дай их сюда.

Я даже если б и захотел свою кормилицу отдать, то и тогда бы не успел этого сделать — так быстро он вцепился в моё личное имущество. Одной рукой милиционер потянул инструмент, другой — приспособление для игры на нём.

— Товарищ сержант, не надо, не забирайте. Я заплачу! — терять я не хотел ни реквизит, ни свободу.

— Так бы сразу и сказал! — летёха убрал руку с моего плеча.

Сержант от скрипки и смычка тоже отцепился и, как я заметил, без видимого сожаления. Скорее — даже с радостью.

— А так всегда бывает, товарищ лейтенант — по-хорошему не понимают. Как незаконными методами нетрудовые доходы извлекать — так все тунеядцы в очередь на Арбат встают, а как отвечать за нарушение закона — так никто не хочет, — понты выпускник милицейских курсов колотил исключительно для пущего запугивания своей жертвы — чтобы не передумала.

Но я и без его наущений безжалостно выгреб из карманов теперь уже всю имевшуюся в них

наличность. Не забыл я ни горсть медных копеек, трояков и пятаков, брезгливо оставленных мне гражданским рэкетом, ни рубль белой мелочью, возвращённый им же в виде сдачи с моих личных средств. Но и этих добавок, до пятидесяти рублей не хватало. Предвидя это, я рубли-копейки пересчитывать не стал и оценил количество бумажных денег на глаз, а металлических — на вес:

— Вот, всё что есть, — пока я думал, как будет выглядеть моё чистосердечное: «Чем богаты — тому и рады!», — если у меня хватит духу это произнести — служители закона делили мои доходы между собой.

Лейтенант взял купюры.

— Ты мелочь пока считай, — отдал он привычную команду помощнику.

Сержант ссыпал мелочовку с моих ладоней в свои и, как ни в чём не бывало, не стесняясь ни многочисленных свидетелей, ни её жалобного звона, принялся пересчитывать.

— Семь рублей тридцать пять копеек, — растерянно сообщил он своему начальнику не удовлетворявшую их запросы сумму.

— У меня тоже только двадцать девять, — лейтенант первое время выглядел ещё растеряннее подчинённого, но более высокая профессиональная подготовка и ответственность помогли ему быстро вернуться к несению службы:

— Так, понятно, остальное самим придётся искать. Вась, обыщи его, как ты умеешь.

Сержант расстегнул на поясе пистолетную кобуру, оказавшуюся пустой, и туда, где по моим представлениям должно было храниться если уж не табельное оружие, то хотя бы, как минимум, закусочный огурец, загрузил всю отобранную у меня мелочь.

Опустевшие руки сыскарь поочерёдно засунул в каждый мой карман. Я был убеждён, что найти он там ничего не мог, но чуткие пальцы практикующего участкового сыщика нащупали и извлекли из плотного джинсового кармана застрявшую в шве копейку. Её он присовокупил к уже имевшимся у него моим «нетрудовым» семистам тридцати пяти копейкам, но на этом не успокоился. Не застёгнутую куртку мою милиционер распахнул широко, как разворачивают на войне знамя части, перед тем, как пойти с ним в последнюю атаку без права на отступление. Осмотрев её изнутри и убедившись, что на подкладке карманов нет — он стал шарить руками по моему телу. В надежде найти под рубашкой подвесной кармашек — сержант похлопал меня ладонями по груди, и в поисках неизвестно чего — под мышками. Затем он засунул руки мне за пояс и провёл по всей его окружности. Не найдя ничего и там, младший наряда спустился ниже и обстукал меня с боков и сзади. Пока он поочерёдно обжимал мои ляжки — я терялся в догадках — что он у меня в штанинах собирался обнаружить? Но когда правоохранитель стал мять мою ширинку со всем её содержимым — я испугался, что это и была его конечная цель. Я, слава Богу, к поискам в этом месте остался равнодушен, и милицейский сержант вскоре выпустил моё хозяйство из своих чувствительных рук. Последним, что он для порядка проверил у меня — это были носки. Низконравственный страж не поленился нагнуться к моим стопам и, оттянув резинку, заглянуть в каждый из них. Обувь, которую я уже готовился расшнуровывать, он снимать меня не заставил.

Лейтенанту, внимательно следившему всё время обыска за моей реакцией, вернувшийся в исходное положение следопыт отрапортовал:

— Всё чисто!

— Ты смотри — честный попался, — в сердцах старший наряда клюкнул головой.

— Ну чё тогда — за остатком попозже подойдём? — сержант то ли спрашивал, то ли подсказывал своему начальнику.

Но тот, вместо того, чтобы ответить на заботу подчинённого, сначала обратился ко мне:

— С тебя, кировчанин, ещё тринадцать рублей шестьдесят четыре копейки! — и только потом к напарнику, — Пойдём-ка в первую очередь вон к той толпе сходим. Там, похоже, опять интернатовские брейкисты людям проходу не дают.

Милиционеры ушли не по-русски — не прощаясь, так что в том, что в независимости от результатов общения с юными звёздами отечественного брейка, они вернутся — я не сомневался.

Но я второго пришествия советских архаровцев дожидаться не стал. Для себя я наигрался до ломоты в пальцах, а зарабатывать фаланговый полиартрит ради обогащения жуликов всевозможных форм организации, как то: табор, банда или отдел — мне перед самым призывом в армию резона не было.

Покидав инструмент в чемодан-футляр, я нырнул в ближайший проулок и через Калининский проспект вышел к станции метро. Пятачка на проезд у меня хоть и не было, но, став голью, хитростью на выдумки я стал обладать неимоверной. Я почти вплотную «прилип» к спине одного из медлительных пассажиров и, не замеченный ни им, ни дежурным по станции, бесплатно прошёл через турникет. Проехать полчаса без билета в пригородной электричке до станции Лобня мне, теперь уже матёрому зайцу-рецидивисту, ни нервов, ни труда не составило.

Оставшиеся до отъезда домой два дня я пролежал на диване перед огромным цветным телевизором «Радуга», перемалывая пока ещё тридцатью двумя зубами самые вкусные в мире тётины пирожки. А денег на билет мне добрая родственница в долг дала. Сказала, чтобы я мать пересылкой ей почтового перевода не беспокоил и, как отслужу в армии, вернул сам. Порядочные люди, мол, для того, чтобы с кредиторами рассчитаться, обязаны хоть откуда возвращаться.

Через пятнадцать лет я увидел в одном из голливудских фильмов тёмнокожего артиста, у которого нет ни сантиметра ног и который дерётся и двигается с точно такой же ловкостью, с какой танцевал тот арбатский негритёнок. По возрасту они тоже совпадают. Дай ему его африканский Бог, чтобы это был именно он!

г. Москва

Михаил Гундарин

Перелёт в монгольскую степь

А

Она плачет, я б тоже плакал, кабы смог.

Как всегда: налоговая, именины у вице-мэра, нужно съездить в Н-ск уволить, наконец-то, представителя, а тут появляется Меркурьев. Неудачник Меркурьев. Пьёт виски — напиток, говорит, неудачников, торчит в моём кабинете полдня. Мне, положим, не мешает, но сотрудники волнуются. А совсем посторонний — что скажет по поводу человека в моём кожаном кресле, с ногами в старых ботинках на виду?

— И что она? — ехидно интересуется Меркурьев. — Молодость права?

Права. Вот в чём ещё дело: я не хочу быть, как он, мой ровесник (стариком, слабаком). Поэтому мне нужна она. И только поэтому! То есть я её, кажется, не люблю.

А вернее так — теперь люблю. Потому люблю, что вложился во всё это по полной. Не деньгами — хотя и деньгами тоже. Жизнью, факт.

Б

— Зачем тебе уезжать, вот что не пойму, слушай, — я беру её за руку, она руку, мокрую от слёз, вырывает. — Ладно, чёрт с тобой, давай расстанемся, но уезжать-то, бросать всё…

— Что всё? Что всё-то?

Как банально. Это она в 18 лет такие истерики закатывает, что же будет в 30. А вот что — мне будет 50 с лишним.

— Я, дорогая, не говорю о себе…

— Конечно! Тебе-то…

— …Так вот, не говорю о себе. Но твой институт…

— За который ты заплатил, конечно…

— …Твоя мать…

— Ага, вспомнил! Она безумна рада, что её образцовая дочь связалась с таким, как ты, конечно! Да у неё шок! Она меня из дома выгоняет каждый вечер!

— Ну, и отлично, у нас есть квартира…

— Это у *тебя* есть квартира, с женой и королевским пуделем. А у меня есть съёмная конура.

— Ну, уж…

— С *джакузи* конура! Ты это имеешь в виду! Всё, всё, я уезжаю!

Боже, боже… Мне хочется плакать. Я не могу плакать, разучился самым глупым образом. Ну да, накатывает такой ком откуда-то изнутри, перекрывая носоглотку. Вот бы грянуть слезам! Ан нет, всё рассеивается.

— Я люблю тебя.

— И я люблю тебя! В этом всё дело! У нас нет никакого выхода! Нет будущего, ничего нет! Кто-то должен это признать и что-то сделать. И это делаю — я. А ты трус, вот и всё, любимый. И это тоже не новость. Я люблю труса, потому что я дура. Очень мило. Мне надоело, понял? Пошёл вон!

Это я пытаюсь её обнять.

В

— А, знаешь ли, — говорит мне Меркурьев, — твоя *любимая* приходила тут ко мне. Слушай, такая приставучая! До ночи сидела.

— И что? — говорю я в ответ, а у самого замирает сердце. Да, я ревную, даже к этому мало похожему на человека типу. И он, похоже, знает это. Пьёт моё виски и глумится надо мной.

— Да ничего. Я ж, друг мой, как-никак поэт. Как и она. Читала стихи, вот они, послушай, тебе — хе-хе — понравится.

Достал из кармана листок стал читать, подвывая, нарочно, издевательски (я потом забрал бумагу):

У него есть жена и собака
Мне не стать ни одной из них
Я ничейный знак Зодиака
Я свечу среди звёзд чужих
Сумасшедшему астроному
Одному только видно как
Я сгораю вдали от дома
Под окном у жён и собак

А вот, послушай, дальше:

Этот город пахнет слезами
Но моих не увидит слёз
Нестолкнувшимися поездами
Отправляемся под откос

Такой перебивчик ритма, симпатичный. Тебе как, друг детства?

Хочется послать его. Но сдерживаюсь. Вот как я изменился. Что же касается моих окон, жён и собак — это поэтическое преувеличение. Мы живём в закрытом посёлке, 35 км. от города. Охрана на месте.

Г

В неё влюблён студент Фурманов. Нелепый человек с длинными руками и длинными ногами. Тоже поэт. Она смеётся, что их близость невозможна по физиологическим причинам: он выше её почти в два раза. При желании и здесь можно быть уязвлённым — я-то с ней, с её крашеными в

рыжий цвет волосами, своей полысевшей и поседевшей макушкой вровень.

А Фурманов страдает, смотрит на меня с ненавистью. Может быть, мне и вправду обиден не её отъезд, а мой проигрыш? Инвестиционный просчёт. Мол, вложился, и зря. Хотя мысль, что она живо найдёт там, куда собирается (автостопом; ну это уж дудки, придётся дать денег, чего уж) себе *друга*, нестерпима.

Иногда она, по обыкновению жизнерадостно, рассказывает мне о своих любовниках. Врёт, поди. Хотя нет, не врёт, и это-то совсем плохо! Лучше бы врала. А может, врёт. Конечно, конечно, молодым девушкам хочется преувеличить…

Преувеличенный кретин, вот кто я.

А потом (теперь) она плачет. Я не вынесу её отъезда, вот что.

Д

В этом климате гаснут звёзды
Этот город страшней вблизи
Я глотаю солёный воздух
И ботинки мои в грязи —

бормочет Меркурьев, когда я выставляю его вон, вежливо, но непреклонно. Бутылка виски пуста. Стихи мне не нравятся, ну, да я не специалист. Меркурьев вон хвалит, хотя, возможно, в расчёте на даровое виски. Фурманов хвалит её стихи тоже, говорит, что хотел бы писать, как она, но не может.

Недавно выехал на окружное шоссе, дождь, стоит на конечной остановке трамвая Фурманов. Я остановился: подвезти? Фурманов глянул зло, сел на заднее сидение, запачкав пол. Вот тогда и поговорили.

— Я хотел бы писать, как она, но не могу. А ты (мы как-то раз, в ресторане, где я угощал всю их тусовку, перешли на ты — думал, он забыл) ты хочешь её купить задёшево. За эту вот фигню, коробки эти железные нелепые (Он ткнул пальцем в потолок. Сам он нелепый).

— Тебе так не нравится моя машина? — спросил я, несколько польщённый. Всё-таки есть и у меня преимущества, вызывающие ревность соперников.

— Ну, RX, да ещё такого позорного цвета — дураков, чтобы понравился, мало. Подростковый вариант. Даже папашин пятисотый GL лучше. Там хоть стиль есть, ну, и покомфортнее будет, да и, согласись, приёмистость не сравнить. Останови здесь.

Он вышел у входа в посёлок Синий Лес — здоровенных ворот, утыканных камерами наблюдения. Посмеявшись мысленно над собой, но и сконфузившись, я поехал дальше. В свою глушь на своём драндулете.

Е

Иногда я как будто всплываю со дна, хватаю ртом воздух и понимаю всё. Очень болезненно. Как, наверное, и настоящий водолаз чувствует — продирает лёгкие до дыр. Я думаю о семье — о своей семье. Ещё о том, что характер её — это не ошибка юности, а залог будущего, бабьего, стервозного. К тем же тридцати — что будет! Во что превратится милая (всё-таки излишняя) ветреность? Знаю я этих меркурьевских ровесниц-поэтесс. Да и сам Меркурьев такой же. И куда она денется от моих денег, пугает только. А мне (а я через десять лет никакой буду, наверное, с такой жизнью, всё на нервах) она и стакан воды не подаст. Живым я от неё не уйду.

А я и не хочу уходить. Один раз я, снова поругавшись, помчался домой, где ещё с тех времён спрятан парабеллум. На полдороге одумался, вернулся на съёмную квартиру, к ней — чтобы поругаться опять. «Наши отношения свелись к выяснению отношений» — говорит она.

Потому что здесь, как во сне, охотно ныряешь обратно. На дно. Что это я, правда, взъелся. Она ребёнок, её можно воспитать. А главное, ведь всё равно не могу забыть: её черты, как бы ещё не сформировавшиеся, её привычку закусывать губу, обиженно. Как она любит качаться на качелях, как рассказывает о своей кошке. Как говорит о любви.

Ж

Мы снова помирились. В самый разгар горячего примирения ей позвонил пьяный Фурманов (я пробил его сразу же, невелика шишка папаша и не по моему профилю — замначальника краевого ГАИ, фамилия только другая). Она всегда берёт трубку, даже в такие моменты — вроде, чтобы не пропустить судьбу. Приподнявшись на локте, она слушала (так, чтобы и мне было слышно) его речи. Убьёт её, себя, меня. Ещё один туда же. Без перехода кричал, что уезжает на археологическую практику куда-то в Монголию, в степи. Зовёт её с собой.

Она пожала голым плечом и с презрительной миной отключилась. Конечно, точно так же она и с моими звонками обходится.

Потом мы всё-таки, об этом поговорив, примирились. Ненадолго.

З

А я подумал, как бы ей хорошо было в степи. Вот они с Фурмановым выходят из палатки. Весна, степь в цвету, пахнет травами. Встаёт круглое, как на картинке, степное солнце. И никого нет вокруг.

И я далеко, как уже не буду никогда.

г. Барнаул

Сергей Габдуллин

Крыса

Корчиков Павел Петрович был обычным преподавателем на кафедре теплофизики. Ростом он был невысок, фигурой напоминал плюшку и носил большие очки, которые делали его похожим на муху. Студенты пренебрегали его предметом, особых научных достижений тоже не было. В общем, все считали Павла Петровича совершенно невзрачным человеком, и никто не знал, что он философ.

Учеников, правда, у него не было и трактатов он не писал, так что его идеи не получили распространения. Но Павла Петровича это не смущало, скорей, наоборот, отказавшись от пропаганды, он полностью сосредоточился на совершенствовании собственной жизни.

Главной его мыслью было: «*Не бороться*». Этот девиз можно было поставить под всеми пятьюдесятью четырьмя годами его жизни и, может быть, впоследствии эту фразу выведут на его надгробии.

Зачатки такого мировоззрения появились у него ещё в детском садике, когда он без боя уступал другим детям свои игрушки и конфеты. Уже тогда можно было выделить положительные и отрицательные стороны такой позиции: у тебя нет конфет, но и тумаков ты тоже не получаешь. Маленький Паша ещё, бывало, проявлял характер, но тяготы взрослой жизни окончательно убедили его отказаться от стремления к конфетам.

Паша не любил активных игр, логических задачек и уроков труда. А любил он только две вещи: лёжа на диване, размышлять о жизни и пить чай с булочками, с конфетами или ещё с чем-нибудь сладким.

Естественно, Пашу Корчикова не прельщали тяготы военной службы, ведь тяжёлая работа вообще противоречила его идеям, поэтому он решил поступать в институт. Конкурсы, суматоха вокруг экзаменов и тяжёлая подготовка очень угнетали его и тоже не вписывались в идеологию, но выход нашёлся. На кафедре теплофизики в тот год был большой недобор, и его с радостью приняли. Там же он остался работать по окончании института.

Ни жены, ни детей у преподавателя теплофизики никогда не было. «Зачем мне это? С женщинами столько хлопот», — говорил он, бывало, словно оправдываясь. Но он лгал. Иногда принимая экзамен у симпатичной студентки, Павел Петрович начинал нервничать, запинаться, краснеть. От девушки словно несло каким-то невыносимым жаром, воздух наэлектризовывался от её резких дешёвых духов. Он старательно смотрел в её работу, отворачивался, глядя в окно, или пытался сделать вид, что задумался, но взгляд так и лип к её ногам, к тонкой бледной шее, к груди. Наконец, получив отметку, студентка весело вскакивала и убегала с простодушной радостью.

«Может, получится как-нибудь само собой», — надеялся Павел Петрович. Но в технических вузах было мало женщин, и само собой почти ничего не получалось. А чтобы добиться чего-то не «само собой», нужно было худеть, тратиться на цветы и обеды, сочинять стихи и заниматься прочей неприятной ему ерундой. Наконец, Корчиков сделал над собой титаническое усилие и решил быть верным своим идеям до конца.

«Надо же, — подумал он тогда, — чтобы отказаться от желания, нужна такая же сила воли, как и чтобы осуществить его».

Советское правительство не любило холостяков и не хотело давать Павлу Петровичу даже комнату, не то что квартиру. А, учитывая его философию, он, кажется, был обречён до смерти жить в общежитии, но… однажды случился пожар, и счастливых погорельцев расселили по отдельным квартирам.

Дом лифта не имел, а подниматься на четвёртый этаж страдающему одышкой Павлу Петровичу было тяжело. Сосед сверху много пил, шумел и нередко затапливал квартиру Корчикова. Но получить другую квартиру или обменять её он никогда не пытался — это бы уже было борьбой. За всю жизнь Павел Петрович ничего не изменил в интерьере своего дома. Спустя тридцать лет на стенах висели всё те же обои, пожелтевшие, с чёрными точками грибка от постоянной сырости, в комнате стоял тот же стол, уже изрядно потёртый, и тот же, столь любимый Павлом Петровичем, диван, просаленный, кажется, насквозь. Но в этой неряшливости, как ни странно, он находил моральное удовлетворение. «Почти как Диоген», — самодовольно думал философ.

Автомобиль казался Корчикову настоящим чудовищем. Множество мелких деталек, непонятно сцепленных друг с другом и норовящих каждую секунду сломаться, необходимость следить за бензином в баке и уровнем масла, сдавать на права и договариваться с назойливыми гаишниками — нет, ужасно, как люди убиваются ради тележки с четырьмя колёсами. К счастью, институт был недалеко, и можно было ходить пешком.

Как и любой философ, Павел Петрович наблюдал за людьми и рассуждал о них. Студентов и своих коллег, преподавателей, он делил на две части: одни (их было большинство) были, в сущности, приверженцами его идей, хотя и не соглашались с ним на словах, а вторые были трудоголиками. Эта категория людей вызывала у него

смесь зависти и сочувствия. Они получали красные дипломы, научные степени, деньги, но платили за это страшную цену: недосыпание, сверхурочную работу и инфаркты. Корчиков чувствовал себя подавленно, слушая про чужие награды, но, видя красные воспалённые глаза и синие подглазицы награждённого, внутренне торжествовал.

Обычный его день начинался с бутербродов и сладкого чая. Затем он шёл на работу, начитывал свои лекции, на которые ходили лишь желающие получить красный диплом, половина вечера проходила за проверкой курсовых, и тут подступала его единственная проблема: свободное время, давившее его скукой.

Само по себе это было довольно странно: он ведь всегда отчаянно открещивался от любой работы, каждый раз старался уйти домой пораньше, задавал более простые расчёты, что бы их было проще проверять, но высвобожденное время не приносило никакого удовольствия. «Интересно, — подумал однажды Павел Петрович, — работа — бремя, но и свободное время тоже бремя». И проблема эта, похоже, носила глобальный характер. «Недаром же была создана целая индустрия уничтожения времени», — рассуждал философ. Но даже философ Павел Петрович задумался об этом всего один раз и больше никогда не вспоминал о глобальной проблеме.

Времени, в общем-то, оставалось не так уж много: несколько часов вечером, перед сном, и воскресный день после обеда. Рассуждать подолгу надоедало, а отдых Павел Петрович признавал исключительно пассивный и способов убить время придумал множество. Он старательно отгадывал судоку, собирал пазлы из пяти тысяч кусочков, играл в шашки с самим собой, читал дамские детективы, до пяти раз на дню обедал, пил чай и, конечно же, смотрел телевизор. Всё это было неинтересно и вместо удовольствия приносило чувство усталости или, опять же, скуки. Время тянулось медленно-медленно, но всё же день постепенно приближался к ночи, и Корчиков мог отдаться любимейшему из своих занятий — сну.

Так проходила его жизнь. Каждый день был в точности таким же, как предыдущий, таким же, как год назад, таким же, каким будет спустя десять лет. Только лицо в зеркале становилось всё более обрюзгшим, а плешка на голове всё росла. Спустя несколько лет он вышел бы на пенсию и, избавленный от необходимости работать, достиг бы своего идеала, целиком посвятив себя философии и разгадыванию судоку, но…

Случилось ли это из-за того, что соседка снизу травила тараканов, или дала о себе знать антисанитария пьяницы сверху, только однажды Павел Петрович, сидя перед телевизором и уплетая булочки, ощутил резкий зуд в левой щиколотке. Инстинктивно, собачьим жестом он нагнулся, чтобы почесаться, и вдруг, к своему ужасу, увидел… блоху.

Мерзкое насекомое испугалось и скрылось, делая гигантские прыжки.

В тот же вечер его укусили ещё несколько раз, и вскоре появилось целое войско блох. Они мешали спать, прыгали точками в ванной и кусали ноги, если он не надевал носков.

Впрочем, справиться с блохами было несложно. Павел Петрович купил целую коробку спрея от насекомых и обрызгал им весь дом. Воздух дыбом стоял от резкого сладковатого запаха, но блохам спрей тоже не понравился, и они исчезли.

Уже казалось, что враг отступил, и Павел Петрович впервые в жизни ощущал моральное удовлетворение победы, когда на него обрушился второй удар судьбы.

Проснувшись утром, Корчиков обнаружил на батоне следы мелких острых зубов. В тот день Павел Петрович своих любимых бутербродов не ел и на работу ушёл голодным.

Эта небольшая неприятность его очень расстроила. Но в обеденный перерыв Корчиков пообедал плотнее, чем обычно, и так победил голод. Таинственного же врага он победил ещё проще: убрал на ночь батон в металлическую хлебницу. И на следующее утро снова ел свои бутерброды.

Однако противник вовсе не спешил капитулировать.

Спустя несколько дней, когда он выдавал проверенные работы, студенты стали возмущаться, что курсовые изгрызены. По краям белых листов действительно была рваная бахрома из следов от укусов. Что ещё хуже, пострадал и купленный недавно детектив. Мягкая обложка и страницы из дешёвой бумаги особенно понравились нарушителю спокойствия.

Подобные следы Павел Петрович стал замечать и на мебели, включая любимый им диван.

Но блохи и погрызенная мебель были не бедой, а лишь предвестниками беды.

Как-то раз, зайдя в туалет, преподаватель теплофизики заметил в углу шевелящуюся тёмную массу. От неожиданности и гадкого звериного запаха Павел Петрович замер.

В замусоренном отсыревшем углу, за унитазом, из кучи грязной свалявшейся шерсти на него смотрели два крошечных, как бусинки, хищных вороватых глаза.

— Ай! — завопил Корчиков женским голоском и, пулей выскочив из туалета, захлопнул дверь.

В сущности, этим неведомым существом был всего лишь маленький крысёныш, но на философа это произвело неизгладимое впечатление.

Долго, должно быть, с минуту он стоял, удерживая ручку, будто боялся, что чудовище попытается проломить дверь. Постепенно, отдышавшись и успокоившись, Павел Петрович решился снова заглянуть за дверь уборной.

Он резко приоткрыл дверь ровно на такую крошечную щёлку, через которую можно было заглянуть внутрь одним глазом, но через которую не пролетела бы даже муха.

Никто не попытался на него напасть. В туалете было пусто. Крыса, видимо, испугалась не меньше, чем сам Корчиков, и юркнула в какую-то щель.

Остаток вечера Корчиков провёл в раздумьях, детектив не читал, курсовые не проверил и в туалет заходил с опаской. Он нервно ходил из угла в угол своей единственной комнаты, сложив руки за спиной. Случилось то, чего он всю жизнь боялся: Философ натолкнулся на проблему, которую не мог не замечать. Павлу Петровичу уже стало казаться, что он достиг совершенной

отрешённости от материального мира, так равнодушен он был сырым пятнам на потолке, к пожелтевшим обоям, к скучной работе, к одиночеству. Но он всегда знал, что есть одна драгоценная для него вещь, от которой ему никогда не отказаться и которая ему дороже всех прочих благ — покой. Ради этого он мог пойти на любые, самые мерзкие и унизительные жертвы, но крыса посягала как раз на его бесценное спокойствие, и, теперь, как ему это было ни противно, Павел Петрович вынужден был вступить в борьбу.

— Кошмар, — говорил он с эмоциональностью, какой у него никто не видел уже два десятка лет, — кошмар, кошмар, — Павел Петрович невидящим взглядом смотрел в пол и тряс головой, — Какой кошмар!

Его голова почти разрывалась от множества мыслей, но в отличие от всего, что было в предыдущие годы, это были не философские, а сугубо практические мысли. «Кошки едят мышей, — подумал он, — значит, можно завести кота». Мысль была проста до гениальности, но тут Корчикову живо представился рыжий с полосками кот, толстый, как он сам, и такой же ленивый. Нет, такой кот быстро наплюёт на мышей и будет вместо них воровать у Павла Петровича пельмени со стола. Не говоря уже о том, что он начнёт метить территорию или точить когти о диван, и что всё будет в кошачьей шерсти.

— Нет, — подумал вслух философ. Он помахал рукой, будто развеивая неприятное видение, и снова отдался своим размышлениям.

Корчиков и не заметил, как самозабвенно и даже с удовольствием погрузился в это дело. Он думал о яде, и о капкане, и о том, чтобы выжить крысу ультразвуком или заколотить туалет и пользоваться одной лишь ванной, и многие другие. К страху и волнению неожиданно примешалось приятное волнение в сердце, он уже хотел достать миллиметровку и чертить придуманный только что капкан… Но вечер клонился к ночи, крыса больше не появлялась, и постепенно ему снова пришла в голову самая приятная для всех людей мысль: «А, может, это как-нибудь решится само собой?» Может, больше не появится это страшное существо, и ему не придётся ничего делать. И хотя где-то в глубине души его кололо понимание абсурдности этой надежды, но она была так проста и привычна, что он с лёгкостью позволил ей себя обмануть.

Павел Петрович поужинал плотнее обычного, чтобы успокоиться, попил чай, тихонечко лёг на свой любимый диван и заснул.

Сначала спалось сладко. Ему снился чудесный мир будущего, где, благодаря достижениям науки, всю работу на себя взяли машины, где автоматы готовят для него обед, поправляют под ним подушечку, вытирают ему рот салфеткой и даже чистят ему зубы. Так прекрасен, был этот автоматический рай. Но постепенно сон стал принимать другой оборот. Он увидел канализацию, тёмную и пропитанную зловонными парами, потоки нечистот и где-то в глубине этого страшного подземелья крысиную нору. Павел Петрович увидел своего врага с первых дней его жизни. Он видел, как почти весь крысиный выводок погиб, и как последний крысёныш отчаянно боролся за жизнь. Как это существо, гонимое всеми и прячущееся ото всех, росло и набирало силы. Всю жизнь крыса проводила в темноте, скрываясь от опасного солнца в подвалах, трещинах домов, в туннелях, в канализации. Она вечно убегала от кошек, от собак и от людей. Каждый кусок пищи стоил ей пота и крови: его нужно было либо подолгу искать на скудной свалке, либо красть с риском для жизни у людей, либо отвоёвывать в драках со своими же сородичами. Каждый следующий день для неё мог стать последним, каждый день был вызовом, борьбой. Но, закалённая непомерно тяжёлой для такого маленького существа жизнью, крыса обладала чудовищной волей. Кажется, в её крохотном тельце было заключено больше силы, чем во всём огромном Павле Петровиче. И вот закалённый в боях солдат встречается со своим врагом — слабым изнеженным человеком. Вот она крадётся ночью по комнате, оставляя грязные следы на паласе. Она крадётся, а ничего не подозревающий человек спит на мягком диване, высунув ноги с нежными пухлыми пальцами из-под одеяла. Крыса подходит и злодейски заносит разинутую пасть над мягким большим пальцем человека…

Павел Петрович проснулся от резкого шума на кухне. Он насторожённо оглянулся и пощупал большие пальцы своих ног. Пальцы были на месте, но на кухне определённо кто-то скрёбся.

Корчиков встал, на цыпочках подошёл к столу и тихонько нащупал массивную стальную линейку и фонарик. Сначала он хотел пойти на кухню босиком, но сон ещё так явственно рисовал ему чудовище, кусающее нежные пальчики на ногах, что он вернулся и надел тапки. С фонариком и длинной, поднятой кверху линейкой Павел Петрович двинулся на кухню, словно средневековый рыцарь с факелом и мечом, готовящийся сразиться с драконом. И сердце его забилось с такой силой, будто ему и в самом деле предстоял бой не на жизнь, а на смерть.

Рыцарь по очереди осветил фонариком каждый угол, посветил под тумбой и под столом, но дракона нигде не было — должно быть, его испугал свет и звук шагов. Корчиков включил свет, чтобы посмотреть получше. Экономная лампочка в светильнике слепила глаза спросонок, а на часах было пять утра.

Павел Петрович достал чайник, чтобы попить воды, раз уж всё равно встал. «Да, — подумалось ему, пока он пил воду, — дело принимает скверный оборот». Проблема не только не исчезла сама по себе, но, кажется, нарастала. Павел Петрович начал было раздумывать над этой проблемой, но думать над ней было неприятно, и он решил подумать с утра.

Он уже выключил свет и собирался снова лечь спать, как вдруг маленькая тень промелькнула у него под ногами. Корчиков взвизгнул и выронил линейку.

Преподаватель теплофизики ещё долго стоял ошарашенный, а линейка звенела и извивалась, как змея, у его ног.

Заснуть он не мог ещё долго. Ноги укрыл одеялом, подоткнул и поджал под себя, но, всё ещё мучимый кошмаром, каждую минуту открывал

глаза и проверял, не подкрадывается ли кто к его большим пальцам. Ему постоянно мерещилось, что на кухне снова кто-то начал скрестись. Между тем на улице начало светлеть, и солнце прокралось в комнату. С приходом света нелепый страх развеялся, но теперь заснуть было невозможно. Павел Петрович укрылся с головой одеялом, потом сунул голову под подушку, но всё равно всюду его настигал проклятый свет. Как назло, на улице начали шуметь, а стрелка будильника безжалостно приближалась ко времени подъёма.

Древний механический будильник зазвенел, как разорвавшаяся бомба. Корчиков не выспался, лекции в этот день читал быстро и нервно, постоянно сбивался, так что даже самые прилежные студенты не могли ничего разобрать.

В столовой у него был такой озабоченный вид, что другие преподаватели стали между собой одобрительно поговаривать: «Какой Корчиков задумчивый, наверно, задумал какой-то проект» И в самом деле никогда ещё он не был так сосредоточен на чем-либо.

Вечером он набрался решимости и принялся действовать.

По пути с работы Павел Петрович зашёл в магазин со скучным названием «Хозтовары» и купил крысиного яда. Яд представлял собой зёрнышки, покрашенные в красный цвет. С ехидным самодовольным видом он насыпал этих зёрнышек на бумажку и положил её под тумбу на кухне. Спать Корчиков лёг настолько уверенным в своей победе, что даже пожалел врага.

Наутро кучка красных зёрнышек уменьшилась. Противник попался на крючок — это была верная победа. Но на всякий случай Павел Петрович насыпал ещё зёрнышек.

На следующий день кучка опять уменьшилась. Враг ещё не был повержен окончательно, но по-прежнему шёл навстречу своей смерти. Корчиков насыпал ещё, и сердце у него сжалось при мысли, что он убивает живое существо.

Но и на третий и на четвёртый день кучка продолжала уменьшаться к утру. Зёрна стали заканчиваться, а в душу Павла Петровича закралось сомнение в качестве яда.

На пятый день, отгадывая вечером судоку, доцент услышал шуршание под тумбой — крыса искала свою привычную пищу.

— Халтура! — не выдержав, возмутился вслух Павел Петрович, заглянув под тумбу, — Какой это яд! Его можно использовать в качестве корма! Да, я на них… — но фразу он не закончил. Подавать жалобы, скандалить, отстаивать свои потребительские права — всё это было против его правил. «С крысой я расправлюсь, — уверенно подумал он, — но в остальном буду верен себе»

Крыса же была совсем другим существом. Она не только не боялась отстаивать своё, но и была готова присваивать чужое. И в последующие дни неустанно доказывала Корчикову своё превосходство, портя мебель и шурша по ночам.

Блохи тоже боролись за право распоряжаться квартирой. Теперь они прыгали по всему дому, и приходилось всё время брызгаться средством от насекомых.

Потеряв немало времени на раздумье, Павел Петрович решился перейти к более решительным действиям.

Хотя магазин «Хозтовары», в котором он всю жизнь запасался нужными вещами, значительно упал в его глазах после случая с зёрнышками, но идти в другой магазин было лень. За непомерную, по его мнению (которым он, впрочем, ни с кем не поделился), цену в «Хозтоварах» была куплена мышеловка. Это чудо инженерной мысли представляло собой металлическую клетку со сложным механизмом захлопывания дверцы. Как представителю технических наук Корчикову эта идея показалась очень интересной.

В ловушку был установлен кусочек сыра. Оставалось только подождать.

Павел Петрович, довольный, лёг спать и ночью слышал, как сработала ловушка.

Проснулся он необычайно бодрым и довольным. Напевая нечленораздельную песенку, прошёл на кухню, заварил себе чай. День выдался солнечным и тёплым. Корчиков предвкушал сладкий вкус победы.

Попив чай, он нагнулся, чтобы вытащить из-под тумбы мышеловку и отнести её на помойку, где он по душевной доброте выпустит побеждённого противника. Но…

Клетка была пуста. Павел Петрович, ошарашенный, схватил её и принялся вертеть в руках, пытаясь понять, где чудо инженерной мысли допустило сбой.

Нет, ловушка сработала идеально. Механизм, надёжный, как швейцарские часы, захлопнул дверцу и намертво её зафиксировал. Вне сомнений крыса в этот момент была внутри. Но весь человеческий гений оказался бессилен перед волей к жизни одного-единственного существа. Один из прутиков был перегрызен.

«Поразительно», — подумал Корчиков. Перегрызть стальной прут — это было похлеще, чем рассчитать электропечь. Должно быть, у грызуна ушла на это почти вся ночь, и он порядочно подпортил зубы.

Павел Петрович, совершенно подавленный, отнёс ловушку на помойку. В очередной раз человек был повержен силами природы.

После этого случая у преподавателя совершенно опустились руки. Была зачётная неделя. Все зачёты и курсовые он принял молча, не глядя на отвечающих студентов и не слушая их. Машинально расписывался в зачётках, не глядя, вручал их счастливым учащимся. Больше он не пытался купить ядовитый корм или ловушки — философ решил убежать и от этой проблемы. Дома он стал заправлять трико в носки, чтобы не кусали блохи, и брызгаться без конца спреем от насекомых. Книжки, курсовые и газетки с судоку прятал в шкаф, еду закрывал в холодильнике. Но крыса всё равно находила корм. Теперь, слыша шорох за тумбой, он уже не пытался её спугнуть, не нагибался посмотреть на своего противника. Но и противник перестал его бояться: если раньше, заслышав шаги Павла Петровича, крыса замирала или тут же пряталась, то теперь она не смущалась и продолжала заниматься своими делами. Несколько раз он видел, как совсем близко от него

вредитель пересекал дорогу и снова прятался под тумбой или за углом. Ходить в туалет Корчиков теперь побаивался и старался, как можно меньше там задерживаться. В квартире воцарилась антисанитария и прежняя, к тому же отравленная поражением, скука.

— Что-то вы плохо выглядите, — стали говорить ему соседи. Павел Петрович и в самом деле исхудал, плохо спал, всё реже брился и мылся. Студенты посмеивались над ним почти откровенно, а прохожие стали принимать за алкоголика.

В очередной раз отказавшись от борьбы, Корчиков вернул в свою жизнь покой, но теперь этот покой был ещё более жалким, чем раньше.

Однажды вечером, вялый и измученный, преподаватель проверял убогие расчёты студентов, когда совсем осмелевшая крыса показалась в углу комнаты. От хорошего питания она выросла, окрепла. Теперь это был уже не пугливый крысёныш, а зверь размером с кролика.

«До чего я опустился», — подумал Павел Петрович и нём вдруг возникло раздражение.

— Брысь, — тихо, но злобно прошипел он.

Враг не шелохнулся. Он продолжал ползать, не обращая на человека никакого внимания.

— Брысь. Брысь!- уже громче пригрозил Корчиков. Лицо Павла Петровича стало багроветь, а маленькие глазки за очками налились кровью.

— Брысь!!!- крикнул он, вставая в полный рост.

— Брысь!! — он топнул ногой, — Брысь!!!

Крыса повернулась к нему, ощетинилась и показала уродливые резцы. Чудовище совсем перестало его уважать. Теперь оно считало, что человека можно и припугнуть иногда.

Павел Петрович и в самом деле поначалу испугался. Он чуть отшатнулся назад, видя её решительность и огромные размеры, и крысе это придало уверенности. Она сделала резкий угрожающий выпад в сторону человека.

Испуганный и разозлённый Павел Петрович схватил первое, что попалось под руку — линейку. Ту самую стальную линейку, тот рыцарский меч, с которым он когда-то обследовал кухню.

— Уть! — многозначительно фыркнул он и замахнулся линейкой.

Крыса линейки испугалась и отшатнулась назад. Этот маленький успех вдохновил Павла Петровича.

— Вон! — он снова взмахнул линейкой, и она снова произвела эффект.

— Вон! Вон! Вон из моего дома! — крикнул он победоносно.

Стальная линейка просвистела в воздухе. Крыса отпрыгнула назад, попятилась и побежала.

— Вон! Вон! — кричал Корчиков ещё более воодушевлённо.

Противник отступал по всем фронтам, и армия-освободитель преследовала его. Крыса побежала в угол, выскочила из комнаты и бросилась наутёк по коридору. Удачным ударом Корчиков вырвал у врага клок шерсти. Зверёныш подбежал к туалету, чтобы скрыться в спасительной трещине стены, но, к несчастью, туалет оказался заперт.

Крыса оказалась загнана в угол. Павел Петрович встал таким образом, чтобы перегородить все пути к отступлению.

Он уже начал думать, что делать с поверженным врагом, но…

Запуганное, пойманное в ловушку существо, понимая всю отчаянность своего положения, решилось на крайний шаг. Не побоявшись ни линейки, ни массивного Корчикова, крыса бросилась в атаку.

Крысиные челюсти лязгнули возле его ноги. Павел Петрович отшатнулся назад, выронил от неожиданности свой меч, и, испугавшись, бросился бежать.

Теперь противник не отставал. Только что почти побеждённый, он теперь жаждал реванша. Крыса, выставив уродливые острые зубки, преследовала мудреца.

— Караул! — закричал Корчиков. Коридор показался ему, как никогда, длинным, а все силы были потрачены на преследование.

Понимая, что в этом его единственное спасение, он прыжком залетел в кухню и захлопнул за собой дверь.

— Фух-фух-фух, — еле дышал Павел Петрович. А чудовище всё ещё поджидало его за стеклянной дверью кухни, демонстрируя огромные жёлтые зубы.

Осада длилась долго.

Наконец человек с учёной степенью признал своё поражение.

Дверь кухни чуть-чуть приоткрылась, и из щёлки вылетел кусок булки. Контрибуции были быстро съедены.

Видя, что противник не удалился, Павел Петрович добавил к этому ещё полбулки. Крыса приняла выкуп и присмирела.

Корчиков осмелился, наконец, открыть дверь. Зверь не бросился на него, но агрессивно пискнул. Корчиков кинул целую плюшку, но и тогда враг не был удовлетворён. Павел Петрович достал блюдечко, налил на него молока и боязливо подвинул крысе.

Крыса принялась пить молоко, а Корчиков, униженный и обессилевший, опустился рядом на пол, чтобы перевести дух.

Спустя полгода, санитарный инспектор пришёл навестить дом Павла Петровича из- за жалоб соседей.

— Корчиков здесь живёт? — спросил инспектор, стучась в тонкую фанерную дверь.

— Здесь, — послышался из- за двери жалкий писклявый голосок. Скрипнули петли, и инспектор обомлел.

Павла Петровича невозможно было узнать. Он похудел, под глазами у него появились синие круги, он был не брит, одна пола рубашки была аккуратно заправлена в трико, другая была предоставлена сама себе.

— Вам чего? — спросил он, покорно пропуская шокированного человека внутрь.

В квартире стояла невозможная вонь. Всюду лежал мелкий крысиный помёт. Всё было грязным, запущенным и замшелым. На кухне крысы бегали, не боясь ничего, и даже попискивали на незнакомого человека. Теперь была уже не одна крыса, а целое войско. Крыса-победительница дала приплод, и теперь всюду были её потомки. Привыкшие к робости и покорности Корчикова,

они считали, что все люди таковы, и совершенно не боялись санинспектора.

Крысы зашипели на людей.

— Вам лучше отойти, — сказал Павел Петрович, уводя незнакомца от опасной кухни, — они есть хотят.

Корчиков боязливо запрыгнул на кухню, быстро налил в блюдце молока и молниеносно выскочил, опасаясь новых хозяев квартиры.

— Вы собственно, что хотели? — спросил он. Казалось, обилие крыс и их власть в доме совершенно не смущали его.

— Да нет, нет, ничего, — инспектор, как можно быстрее, отдалился от Корчикова и от кухни и шмыгнул за дверь.

Выйдя на свежий воздух и отдышавшись от тлетворного запаха крысиной шерсти, он сначала хотел написать отчёт об антисанитарном состоянии проверенной квартиры, но, взяв ручку, задумался.

— Н-нет, — многозначительно сказал он, — это уже дело не санинспекции.

И санитарный инспектор набрал на своём телефоне номер психиатрической скорой помощи.

Корчиков остался верен своим идеям до конца. Он не сопротивлялся приехавшим санитарам, не кричал, что он здоров, а спокойно поехал с ними. И они увезли его туда, где философ, избавленный, наконец, от необходимости что-либо делать, обрёл свой долгожданный рай.

Галина Кудрявская

И только эхо вдалеке

Не допусти опустошенья
Души, и жизни, и земли.
Оставь хоть краткие мгновенья
Надежды, Веры и Любви.
И это призрачное, бабье,
Так затянувшееся лето
Пусть будет неба светлой рябью
Защищено и обогрето.
Пусть будет… и встаёт навстречу
Рябины придорожный куст,
И листья пламенные — речью
Слетают с молчаливых уст.

Всё чужое. Я в этом чужом
Не какая-нибудь иностранка.
Это мой перевёрнутый дом
Ощетинился злобной изнанкой.
Я сквозь хаос и боль продерусь
К его истинному, лицевому.
Пусть твердят, что тебя, моя Русь,
Тем виднее, кто дальше от дому.

Ну что ты, чужое горе,
Зачем ты мне лезешь в душу?
С меня своего довольно.
Не слушало горе чужое,
Теснило да окружало,
Покуда своим не стало.
Теперь уже не прогонишь:
Прильнуло рубахой к телу.

Дивно ли у нас,
Скажи на милость,
Если чья-то жизнь
Не получилась?
Странно ли у нас,
Когда печалью
Сердце переполнено в груди?
Чудно ли у нас
Ещё в начале
Знать про всё, что будет впереди?
Просто знать,
Что будет очень мало
Солнышка на пасмурном пути.
После скажут:
— Жизнь его сломала.
А её и не было почти.

Слово к слову — бликует, мелькает строка.
Велика ли потеря? Да невелика…
Жизнь всего лишь.
Посмотришь — как раз
Ничего нет дешевле у нас.

Чем больше отдаю — тем я богаче.
Лишь поскуплюсь — подступит нищета.
Всё забирайте, люди, а иначе,
Душа моя, как полый ствол, пуста.

г. Омск

Александр Корабельников

Разномастная семейка

Выросший в Приобье, на Крайнем севере, я знал, что существуют одномастные стаи. Ну, волчьи, к примеру, или оленьи. А вот разномастных не было!.. Но, то — у зверей. И впервые с разномастной людской семьёй свела меня жизнь в Сургуте.

Мама моя работала в районной больнице детским врачом. А недоброй памяти отчим состоял в должности главного инженера, самого крупного в Тюменской области, Сургутского леспромхоза.

Жили мы в большом пятистенном доме, разделённом на две половины. За стеной жила семья Алексеевых — Ивановых: дяди Пети и тёти Гели. У тёти Гели, главного бухгалтера леспромхоза, молодой ещё сравнительно, как я сейчас понимаю, женщины, было пятеро сыновей, почти погодков. Из них трое, кроме двух, самых младших, Борьки и Мишки, отпрысков дяди Пети, работавшего механиком в леспромхозе, были от разных отцов и, соответственно, носили разные фамилии.

Старший, Сашка Иванов, по прозвищу «Кулик» (ещё — «Куля») был моим одногодком. За ним шёл Владька. По фамилии Алексеев и по кличке «Смита» (а также — «Сметана», «Серый гусь» или «Беленький грибок»). Третий сын тёти Гели, Вовка, имел фамилию Навротский. И, возможно, потому что фамилия его звучала по-польски, а может быть, Вовкин отец и впрямь был поляк, прозвище у него было «Лях» (он же — «Холя», «Хохол»). Двое же, самых младших, Боря — «Кельма», «Шельма», «Калмык» — и Мишутка — «Медведь», носили фамилию дяди Пети. Белкины, стало быть.

Была ещё в семье Белкиных- Алексеевых-Ивановых фигура центральная — бабушка Алексеиха. Бабуся, с ударением на первый слог, как звали её «милые» разнокалиберные внучата. Бабуся в семье была Бог и царь. Скорее, царица, никогда не выпускающая из рук, вместо скипетра и державы, ремень и тряпку. Только благодаря сим атрибутам власти и поддерживалась в доме железная дисциплина и стерильная чистота. Каждого из тёти Гелиных чад, от мала до велика, держала бабуся в страхе Божием. Даже вечный бунтарь, богатырь Сашка, который не боялся ни Бога, ни чёрта и, учась ещё в седьмом классе, двенадцать раз выжимал одной рукой двухпудовую гирю и был грозой многих сургутских, уже зрелых, парней, и тот признавался: «Ни чёрта не боюсь и бабуси не боюсь, а как она кочергу возьмёт, так боюсь!»

Царица Бабуся, не смотря на свой устрашающий авторитет, с виду была вовсе даже не страшной. Маленькая, чёрненькая, всегда наголо стриженная, подвязанная пёстрым платочком, она походила на проворную суетливую мышку, без устали шмыгавшую из «залы» на кухню, либо хлопотавшую возле большой и жаркой, чисто выбеленной русской печи.

Но, повторяю, это внешнее впечатление от бабуси было обманчивым.

Насколько я помню, разноплеменная орда Ивановых, Белкиных, Алексеевых, Навротских подвергалась экзекуции почти каждый вечер.

Я в это время обычно уже лежал в постели, которая была как раз возле перегородки, разделяющей половины дома, и, признаюсь, не без некоторого злорадства, ждал…

Вначале всё было тихо. Семейство бабуси ужинало в просторной кухне.

Потом из-за перегородки доносился противный вопль.

— Ага, начали с Кельмы, — определял я.

Едва умолкали рыдания Калмыка, как их сменял пискливый рёв Ляха, прерываемый жалостливыми и не менее лживыми причитаниями:

— Ой, бабуся, больно!.. Ой, бабуся, больше не буду!..

Но жалостливей и противней всех вопил при экзекуции Смита. По-моему, даже привыкшие ко всему бабусины уши не могли выдерживать долго Смитиных воплей, похожих больше всего на скрип ножом по стеклу. Чем и объяснялась обычная недолговременность Смитиной порки.

Кода же, наконец, в гробовой тишине раздавалось одно лишь шлёпанье кожаного ремня по мягкому месту, я догадывался, что добрались, наконец, до Сашки. Кулик был единственным из семейки, который переносил избиение молча.

Опыт у него в этом был богатейший. Он всегда оставался непримиримым бунтарём против деспотизма взрослых. Кем бы эти «взрослые» ни были: школьными преподавателями, пьяными мужиками на улице, или собственными родителями.

Наиболее привычной для него, но не очень действенной формой протеста против родительской тирании были побеги из дому, совершаемые каждые два-три месяца в любое время года.

Но, конечно, больше всего Сашка любил уходить в бега летом. То-то ему бывало тогда раздолье. Сашка крал дяди Петин облас, прихватывал из сарая пару сетей, берданку, переделанную из японского карабина, которая иной раз стреляла сама по себе, вопреки желанию охотника. И отлучался недельки на две на один из бесчисленных Обских островов, где и вёл жизнь сытную и весёлую, полную рыбацких и охотничьих приключений, таких милых каждому мальчишьему сердцу.

Но и зимние побеги из дому доставляли ему не меньшее удовольствие. Прежде всего, потому, что они на некоторое время избавляли его от нудного, каждодневного посещения осточертевшей Сашке ещё с первого класса школы.

Зимой Сашка дни проводил у дружков-приятелей: первую половину дня — у того, кто

учился во вторую смену, а с обеда до вечера отсиживался у тех, кто ходил в школу с утра. Там он довольно мило проводил время, резался с хозяевами в карты — на папиросы.

На ночлег Сашка прокрадывался огородами в собственную баню, которая стояла позади амбара и сеновала, и была не видна из дому. В бане он слегка подтапливал каменку и, забравшись на полок, мирно почивал до утра.

Но то, что во время зимних бегов Сашка ночевал в бане, вовсе не значило, что он хотя бы раз в ней умылся. Ещё ночёвки в бане могли быть чреваты тем, что в одно прекрасное утро можно было проснуться от карающих ударов ремня. Такое с Сашкой однажды и приключилось.

— Да, хоть бы разбудили сперва, а потом уж били, — возмущался он, жалуясь мне на несправедливость родителей.

Кормился во время зимних бегов Кулик тем, что, выломав доску на крыше амбара, крал из него запасы рыбы, домашней колбасы и прочей снеди, заготовленной впрок.

Так что и зимой Сашка жил сытно. Хотя и в амбаре он был однажды изловлен и тоже нещадно бит. Второй в коллекции тёти Гелиных сыновей — Вадька — «Смита», «Серый гусь», «Беленький грибок», при благообразной внешности — был коварен характером и лютой ненавистью ненавидел своего старшего братца. Кажется, он и был тем Иудой, который предал в руки семейных инквизиторов забравшегося в амбар Сашку.

Надо сказать, что за эту черту характера Смита не раз был нещадно бит своим грубым братцем.

Помню, как мы с Сашкой только что сделали новые рогатки. Технология изготовления этих рогаток известна всем: выдёргивается жилка из обыкновенной бельевой резинки. На концах её делаются петли. Они надеваются на средний и указательный пальцы левой руки — и рогатка готова. Из неё хорошо стрелять на уроках пульками, скатанными из полосок тетрадной бумаги и для крепости смоченными слюной. Однако со временем какой-то новатор додумался мастерить пульки из алюминиевой и медной проволоки. И такие проволочные пульки оказались намного действеннее бумажных. В этом мы с Куликом однажды имели возможность убедиться на опыте.

Мы только что наделали с ним на кухне проволочных пулек и вышли на крыльцо, чтобы испытать их.

За забором, посреди песчаной дороги, спиной к нам, сидел Смита (он тогда учился классе в четвёртом) и мастерил из песочка домики. О мишени, лучшей, чем беленький Сметанин затылок, и мечтать нельзя было!.. Мы с Сашкой хорошенько прицелились и враз пустили две маленьких и кусачих, как осы, пульки в льняную головку младшенького Сашкина братца.

Сперва мне почудилось, что мы оба промазали. Сметана с полминуты сидел всё в той же позе, на корточках, и никак не реагировал на наш залп. Мы уже собрались повторить обстрел, как вдруг Смита, не поднимаясь, повалился на спину и, обхватив затылок руками, завыл… Сперва чуть слышно, а потом всё пронзительнее и громче, пока не довёл силу воя до свистка пароходной сирены.

На вой из амбара выкатилась бабуся, и мы с Сашкой едва ушли от расплаты, сиганув через высокий заплот и попутно лягнув по разочку начавшего было уже замолкать Смиту.

Третий сын тёти Гели — Володя Навротский — он же «Лях», «Холя», «Хохол» — уже в детстве проявлял артистизм натуры, сочетающийся со стоицизмом.

Уже в то время (он учился, кажется, в первом классе, или вообще ещё не ходил в школу) умел создавать для себя свой фантастический мир, такой живой и настолько яркий, что сам в него свято верил.

В общем, это был великий художник, фантазёр, выдумщик, из которого мог бы вырасти новый Александр Грин, будь у него вдобавок ещё и литературная одарённость.

Это был долговязый худой мальчишка с вечно избитыми, в коростах, коленками и облупленным носом, зеленоватыми, большими глазами, затенёнными длинными, как у девчонки, ресницами.

Всё лето, несмотря на погоду, Вовка щеголял босиком, и единственной одеждой его были серые трусики и голубая, всегда перепачканная чем-нибудь, майка.

Как я уже говорил, был он величайшим фантазёром, свято верящим в свои выдумки.

Бывало, летом мы играем в какую-нибудь деревенскую мальчишескую игру, вроде «попа — гонялы» или в «раздел земли», как вдруг является откуда-то Холя и мимоходом сообщает, что в Бардаковку зашёл военный корабль — миноносец с пушками и пулемётами. Называется корабль так-то. Простоит он на Бардаковке столько-то, и все сургутские пацаны уже давно собрались на берегу. И только мы — дураки всё ещё торчим тут, возле дома, и ни черта не знаем!..

Мы всего час назад были на берегу, и никакого военного корабля там не было, да и никак не мог он (это мы понимали) зайти в мелководную Бардаковку.

Как только с реки сходил лёд, самым любимым у сургутской ребятни становился крутой её берег, возле сельпо. Сюда, к этому берегу, приходили и выстраивались после зимнего отстоя катера всего сургутского флота. Самыми богатыми организациями, имеющими наибольшее число катеров, были леспромхоз с отделившейся позднее от него, сплавконторой, Райрыболовпотребсоюз, или, как его здесь называли попросту — райсоюз, да обладатель самого большого катерного, плашкоутного и неводникового флота — рыбозавод с рыбучастком. Но рыбозаводские катера стояли обычно в другом месте — на рейде, на Чёрном мысу и в Бардаковку заходили довольно редко.

Катера были, в большинстве своём, деревянные, с бушпритами на носах, с которых свисали кованые разлапистые якоря. С непременной пароходной трубой и, особенно у тех из них, какие ходили на «чурочке», трубы эти дымили и пыхтели немилосердно.

Но сейчас, весной, все эти катера, катеришки и мотолодки были свежепросмолены и ярко раскрашены, чуть ли не во все цвета радуги. И, как правило, чем меньше и захудалей был катерок, тем любовней и ярче он был раскрашен.

Мальчишки, завсегдатаи пристани, не только отлично знали, у какого катера сколько сил, но и по одному звуку движка безошибочно определяли, какой из них начинают «шуровать». Знали они также наперечёт и всех членов немногочисленной, правда, команды каждого катера. Часто такая команда состояла лишь из старшины, которого все, а не только мальчишки, именовали почтительно «капитаном», и матроса, обязанности которого, вовсе не редко, выполняла жена капитана. Все члены команды мужского пола, как бы ни крохотно было их судно, непременно носили на головах мичманки, с коротко, чем короче, тем шикарней, обрезанными козырьками. В остальном капитан или же моторист мог быть одет, как угодно, хоть в широченные грузчичьи шаровары, из тех, про какие говорилось, что на Чёрном мысу штаниной зацепишься, а в Сургуте — дёрнет, и красную кучерскую опояску. Но на голове его непременно красовалась мичманка с тяжёлой «капустой» и вшитым белым кантом.

Гордостью пристанских мальчишек, да и самих речников, в ту пору было три катера. И все они принадлежали леспромхозу. Самым старым и заслуженным из них был довольно вместительный и быстроходный катер с длинным, узким металлическим корпусом, оснащённый восьмидесятисильным дизелем. Катер с загадочным, по крайней мере, никому не понятным, названием — «Иска».

Но настоящими богатырями, настоящим чудом техники, считались два новеньких светло серых дизеля по сто пятьдесят лошадиных сил, с лёгкими металлическими корпусами и аккуратными палубными надстройками из узкой корабельной рейки, «Олег Кошевой» и «Спартак».

Ах, как на зависть всем «болиндерам», как называли тут катера, ходящие «на чурочке», с мощным, но приглушённым рыком, моментально, от одного нажатия кнопки, заводились их компактные мощные двигатели, и какие белоснежные буруны взрывались за кормой этих стальных красавцев, когда они давали «полный вперёд».

Катера эти вышли с завода близнецами, но говорили, что «Кошевой» послабей «Спартака». И будто бы произошло это оттого, что однажды его команда, подвыпив, на спор с рыбаками, зацепила буксиром кедр, росший на берегу, и, разогнав катер, выдернула кедр с корнями.

Выдернуть-то выдернула, но двигатель надорвала.

Так мне теперь и вспоминается весенняя Бардаковка. Жёлто-коричневый дом сельпо на горе, рядом с райсоюзовскими складами. Песчаный склон к реке, изрезанный овражками, — следами недавних ручьёв, с нашлёпками серого ноздреватого снега.

По мутной, взбаламученной ледоходом воде неспешно плывут серые, коричневые, голубоватые льдины. Щедрое солнце пригрело стайки мальчишек, удобно устроившихся на брёвнах вдоль берега, и бликами плещется на бортах и надстройках празднично раскрашенных катеров. Время от времени то один, то другой из них оглашается звоном сигнального колокольчика. Труба его начинает дымить, вздыхает, чихает несколько раз подряд, с ведёрным звоном делает неуверенные первые выхлопы, выпуская плотные чёрные клубы дыма. Потом звук работающего движка становится всё увереннее, ровней. Матрос, выскочивший на нос катера, с трудом, наваливаясь всем телом, отталкивает его от берега чёрно-белой полосатой намёткой. Катер даёт задний ход, медленно разворачивается. На миг застывает в серой воде, как бы в раздумье. Опять слышится перезвон сигнального колокольчика. Вода за кормой начинает рябить, вскипает, и катер, осторожно раздвигая носом редкие льдины, выходит на чистую воду.

Так вот, в эту самую Бардаковку, по утверждению Холи и зашёл миноносец.

— Не верите?.. Ну, не верьте!.. — угрожающе — безразлично, говорил Холя и шлёпал босыми ногами по пыльной дорожке к дому.

Но тут чья-нибудь жаждущая впечатлений душа не выдерживала, в неё закрадывался микроб сомнения: «А, вдруг, Холя не врёт?.. Вроде бы, какой смысл ему врать?..»

Мы призадумывались… А может, и впрямь — сходить, посмотреть?.. Ничего ведь не потеряем. Сходим просто так… Искупаться!

— Ну, Холя, — говорил наконец Кулик, — пойдёшь с нами!.. Если наврал, таких пенделей получишь, век помнить будешь!

— Хе!.. Наврал!.. Чё врать-то?!. Говорю, все пацаны там! — бурчал Холя, живописал вид корабля в деталях и, мурлыча что-то в свой облупленный нос, взмётывая босыми ногами пыль, отправлялся во главе колонны старших мальчишек, полных решимости надавать ему обещанных пенделей, если военного корабля в Бардаковке нет.

Никакого корабля там, конечно, не было и в помине.

— Вот, только что был! — невозмутимо говорил Холя. — Видно, ушёл.

Холе щедро отвешивали пенделей, зарекались впредь верить хоть одному его слову.

Холя стойко переносил всё, и не проходило недели, как опять выдумывал что-нибудь совершенно невероятное, и мы ему снова верили.

Однажды, таким манером Холе чуть-чуть не удалось охмурить саму бабусю.

Холя смастерил из полена игрушечный катер (повальное увлечение всех сургутских мальчишек) и, чтобы покрасить его, спёр из амбара банку масляной краски, сберегаемой бабусей для каких-то хозяйственных надобностей.

Красил свой катер он, сидя посреди двора. Сложив калачиком ноги, увлечённо водил кистью по деревянному борту катера и мурлыкал под нос какую-то песенку.

Бабуся, пройдя мимо него, покосилась.

Прошла в другой раз, спросила:

— Вовка, ты какой это краской красишь?.. Не в амбаре ли взял?

— Больно надо!.. — пробурчал Вовка, продолжая мазюкать кистью.

— А где тогда? — не отступала бабуся.

— Где, где… Маляры на берегу катер красили, я у них выпросил.

— Ну, Вовка, смотри!.. Я сейчас погляжу в амбаре, если это ты мою краску взял, я те кожу-то спущу с задницы!

— Да, иди, смотри!.. Не брал я у тебя никакой краски! — возмущённо кричит Холя и, не сдвигаясь с места, продолжает малярничать… Бабуся, ворча, гремит некоторое время в амбаре жестяными банками из- под краски… Ворчание и грохот усиливаются. И, наконец, бабка с криком: «Ах, паразит, чуяло моё сердце, что это он мою краску изводит!», выкатывается из амбара и костлявым кулаком отвешивает Холе такую затрещину, что тот тычется носом в пыль.

— У, бабуся!.. — вопит Холя, бурундуком взлетая на высокий заплот и там, чувствуя, что он для бабки недосягаем, осыпает бабусю проклятиями, с горечью наблюдая, как она топором превращает в щепки его свежепокрашенный катер.

— У, ведьма хромая, я тоже у тебя что-нибудь изрублю! — угрожает он напоследок, спрыгивая с заплота на улицу, и отправляясь на Бардаковку, набираться новых впечатлений и выдумывать новые удивительные истории.

Борька — «Кельма», «Шельма», «Калмык» — и впрямь своим скуластым, с приплюснутым носом, лицом очень смахивал на маленького, злого калмычонка, за что и получил своё прозвище. Это был грубый и дерзкий мальчишка, забияка, драчун — полная противоположность Холе. В то же время Борька был хитёр, как лиса. И почти всегда, свалив свою вину на терпеливого Холю, умудрялся выходить сухим из воды. Его характер непостижимым образом соединял в себе черты двух старших и таких разных братьев, как Сашка и Смита.

О самом младшеньком — Мишке можно только сказать, что это был толстенький, смуглый и очень симпатичный заика, так же, как и Калмык, не лишённый хитрости, но хитрости, пока безобидной, потому как был Мишутка ещё очень мал, и больших пакостей совершить просто не мог.

Однажды летом вся семья Алексеевых, за исключением бабуси и тёти Гели, которая была занята на работе, собралась на покос. Взяли и меня. Покос у Алексеевых, как и у большинства сургутян, был за Обью. Лодки своей у дяди Пети не было, зато был очень ходкий и устойчивый облас, который, однако, всё равно, не мог вместить всю нашу ребячью ораву.

Первыми поплыли в нём четверо — Сашка, Смита, Холя и я. И хотя все мы были ещё по-мальчишьи лёгкими, за исключением разве что очень коренастого и плотного Сашки, облас погрузился почти до края бортов. Ну, пока плыли по Сайме, Бардаковке, даже по Чёрной — всё было ничего. А как высунулись на Обь — пошёл вал. Вода поднималась вровень с бортами. Сашка — кормщик опытный, правил чуть наискосок к валу. Я, сидя в носу, грёб изо всех сил, и в облас вал не заплёскивался. Холя сидел в корме, чуть впереди Сашки и, по обыкновению, мурлыкал что-то себе под нос и был, как всегда, спокоен. Смита же сидел в середине обласа, лицом ко мне, и я видел, как он бледнел, когда мимо бортов стремительно проносилась гладкая водяная гора, вся исполосованная стеклянными морщинками — складками, и разводами — завитками.

— Отцепись от бортов, гадёныш!.. Отцепись, тебе говорят, трус несчастный! — кричал Сашка Смите, мёртвой хваткой вцепившемуся в колеблющиеся борта обласа.

Но проплыли ветровую сторону реки, и вода успокоилась. Обь перевалили благополучно. На берегу, возле ихнего покоса, нарубили таловых жердей, Сашка подкосил травы, изладили балаган и смастерили перед ним лавки, да стол.

В балагане, насквозь пропитанном запахом свежескошенной травы, натянули два полога из цветастого ситца, нарубили сушняку и развели костёр. Подвесили над ним на тагане котёл с водой и стали ждать дядю Петю, который в это время был в отпуске. Он с Борькой и Мишкой должен был приплыть вслед за нами в большом обласе, одолженном у соседей.

На этом покосе мы жили около двух недель. По утрам нас будил частый клик лебедей, гнездящихся на заобских дальних озёрах. Сашка и дядя Петя уходили по росе проверять сети, которые они поставили на карасей сразу же за покосом в длинных и узких, чуть шире канавы, озерках. Мы со Смитой разжигали костёр, чистили картошку и кипятили для ухи воду. Возвращаясь, Сашка и дядя Петя приносили почти полный мешок жёлтых, как самовары, и белых, как серебряные подносы, зевающих, крупночешуйчатых карасей.

Позавтракав, мы пили крепкий чай со сгущёнкой, и гуськом по узкой тропинке, протоптанной мимо сонных, коричневых и чёрных озёр, в зелёном трубчатом пырее и острой, как бритва, осоке, шли косить. Впереди шёл Сашка, за ним, переваливаясь по — медвежьи, Мишутка, потом — дядя Петя. И лишь за ним — все остальные. Литовки были у всех, кроме Мишутки и Борьки. У дяди Пети и Сашки косы были одинаковые, с длинными, до серого блеска отполированными о траву лезвиями. У нас со Смитой — поменьше, «подростковые» что ли, как теперь бывают подростковые велосипеды. У Холи же литовочка была совсем маленькая, как игрушечная, которой, впрочем, вполне можно было косить. Только прокосик после неё оставался узенький, не шире аршина.

Эта Холина маленькая литовка не раз превращалась в яблоко раздора между Вовкой и Кельмой, который не в шутку претендовал на владение литовкой или, в крайнем случае, боролся за право хотя бы нести её до покоса. На этой почве каждый раз утром, когда по росе мы шли косить, между Калмыком и Ляхом вспыхивали кровопролитные (до крови из носу) сражения, всячески поощряемые остальными членами семейства, включая и дядю Петю. Пресекал он драчунов только в том случае, если в пылу боя они сходили, либо скатывались «в обнимку» с тропинки и мяли травы, пригодные для кошения.

Эти «петушиные» бои происходили каждое утро и были прекращены перемирием, наступившим только с прибытием на покос тёти Гели, которая взяла на это время отпуск без содержания.

Косили мы таким образом: впереди, оставляя за собой широченный — в полторы сажени прокос, шёл дядя Петя. За ним успевал Сашка, и его прокос был ненамного уже. За Сашкой шёл Смита. И уже за ним — я и Холя. Мишутка в это время лежал на скошенной уже траве и постре-

ливал чем-нибудь в трубочку, излаженную для него дядей Петей из прошлогоднего тростника.

Я ещё только учился косить и, несмотря на то, что старался нажимать на «пятку», как меня учил Сашка, коса у меня то и дело срезала либо верхушки травы, либо, наоборот — тыкалась носком в кочки, взрыхляя чёрную, влажную землю. И где-то только на второй, или на третий день я научился косить более или менее прилично.

И какое же это было счастливое чувство, когда коса со звоном срезала зелёную, брызжущую росой и соком траву, и та ровным валком ложилась по левую сторону прокоса, а позади, от ног, оставался прямой непрерывный след, похожий на след проползшей гусеницы.

А вот как вспоминается мне тот покос пятнами красок. Изумрудные полосы солнечных лучей в балагане, крытом свежей травой. Чеканные — медные и серебряные «подносы» карасей. Сплошная коричневая стена зарослей из одномерных подростков — берёзок, сквозь которые прорублена узкая тропка, ведущая к покосам. Синее небо, с тяжёлыми слитками облаков. И там, где косили мы разнотравье, — пёстрый, с коричнева, ковёр травы, который скатывался под граблями именно, как настоящий ковёр, — рулоном.

г. Пермь

Николай Игнатенко

О свойствах страсти

Первый снег

Сегодня не узнать родного города.
Всё стало как на чёрно-белом снимке.
От снега или, может быть, от холода
деревья поседевшие поникли.

От лета не осталось даже признака.
Зима ввалилась нагло и навечно.
Нашёптывает снег, он тише призрака:
«Всё в мире, будто лето, быстротечно…»

Морозный полдень —
до чего он ярок.
Вокруг — как бы хрустальные цветы.
Конечно, жить без суеты — подарок,
но как в России жить без суеты?

Как жить в России,
если в ней поэту
до двадцати начертана стезя.
А дальше — всё. Дороги дальше нету
для смертного.
А богом быть нельзя.

Настанет время, и меня не станет.
Смешную верность больше не храня,
любимая, наплакавшись, обманет
ещё недавно жившего меня.
Я одного мучительно не знаю
и никому узнать не суждено:
боль от измены *там* я испытаю
или, увы, мне будет всё равно?

Жить посреди — как этот путь заманчив!
Жить с краю — тоже способ бытия.
Зачем я вам, когда я неудачлив?
Зачем вы мне, когда удачлив я?

Поэтому ни посреди, ни с краю,
а где-то в измерении другом,
я не живу, а тихо умираю
от счастья жить —
не здесь,
не там.
Кругом!

Спать не хочется, но уснуть —
это, знаете, дважды два.
Я вот лучше сниму луну,
разрублю её на дрова.

Печку жаркую истоплю,
не жалея серебряных дров…
Я, девчонка, тебя люблю
и хочу тебе лунных снов

Кто ты есть? —
мной любимая женщина.
Кто я есть? —
твой любимый мужчина.
Нам с тобой
бессмертье обещано.
Жизнь —
его первая половина.

г. Томск

Ирина Левитес

Большой белый слон

Вика чистила картошку. Знаете, есть такие специальные ножики для чистки овощей. Кожура из-под них выползает равномерно тонкая, и кажется, что картошку не чистишь, а бреешь. Получается очень эстетично. И думать при этом можно о чём хочешь. На кухне фоном ворчал телевизор. Вика привыкла не реагировать на изображение, ибо давно для себя решила: если вникать во всю ахинею, пошлость или ужасы, залитые кетчупом пополам с майонезом, можно спятить. Но тут её внимание зацепилось за экран. Там показывали финал областного конкурса «Учитель года». Нарядные учительницы с салонными причёсками и единичные в поле зрения учителя-мужчины получали призы и цветы из рук губернатора. Звучали речи о призвании, подвижничестве, неуклонном росте престижа учительской профессии. Сами звёзды были в эйфории, но интервью всё же давали внятно. Было красиво, как в настоящем шоу, и не верилось, что завтра лак с причёсок смоют, туфли на шпильках поставят в угол до новогоднего вечера, а в классе уже ждут тридцать-сорок обалдуев, жующих, плюющихся и курящих за углом на каждой перемене. И тут Вика вспомнила то, о чём не думала много лет: просто задвинула мысли в угол, как выходные туфли. Ну, было и было. Подумаешь, велик подвиг — Вика тоже участвовала в таком конкурсе, хоть и отчаянно сопротивлялась поначалу. Конкурс был первый в области среди преподавателей техникумов и училищ. Заморского слова «колледж» тогда ещё не было, оно появилось спустя несколько лет и вызвало бурную полемику в местных педагогических кругах: на каком слоге ставить ударение? В неравном поединке между французской и английской версиями победила последняя. Действительно, кому он нужен, в нашем современном американизированном мире, этот локальный французский?

Так вот, был объявлен областной конкурс. Но для того, чтобы выйти на широкую арену, нужно было победить вначале в стенах родного учебного заведения. Перед первой парой к Вике в лаборантскую стремительно влетела завуч Фаина Моисеевна, женщина решительная и бескомпромиссная. Без вступления она заявила свою декларацию:

— Готовится конкурс на лучшего преподавателя. Будешь участвовать.

Слабые попытки Вики отвертеться и явно выраженное недоумение она отвергла сразу:

— Ты у нас одна из подходящих кандидатур. И возраст не то, чтобы девочка, но и не старуха. И выглядишь вполне пристойно. Так что начинай готовиться.

Спорить с ней было всё равно, что букетиком фиалок отмахиваться от танка. Вика начала форсированную подготовку. Первым делом она купила ткань и сделала выкройки из «Работницы». Платье шилось из тяжёлого чёрного шёлка, с заниженной талией и широкой юбкой. Рукава Вика сделала из прозрачного шифона, а застёжку из множества блестящих пуговиц. Туфли удалось по случаю достать тоже чёрные. Самая ответственная часть подготовки была позади. Потом Вика написала стихи для «визитки», приветствия соперницам, зрителям и жюри. Стихи частью были переделаны из «Литературной газеты», частью навеяны Пушкиным: «Я к вам пришла, чего же боле». Да ещё была модернизирована песенка Михаила Боярского про мушкетёров и merci beaucoup. Затем нужно было приготовить фрагмент урока. Вика тогда вела специальную дисциплину — сестринское дело. Не мудрствуя лукаво, она выбрала тему «Клизмы», вяло в глубине души надеясь, что уж теперь-то от неё все отстанут, и с такой непрезентабельной и даже не совсем приличной для постороннего взгляда темой не выпустят на публику. Вика взяла коробку из-под новых туфель и целый вечер красила её гуашью. Получился чёрный ящик из популярной телепередачи «Что? Где? Когда?» В ящик Вика положила резиновую грушу и начала урок с вопроса о том, что находится внутри. Главное в любом предприятии — это интригующее начало. Для участия в конкурсе нужно было пройти тестирование по педагогике и психологии, но с этим у Вики проблем не было — она всегда была «нахватана по верхам». Чуть копни глубже — пусто, но сверху всё было в ажуре. А ещё нужно было написать и защитить свою педагогическую концепцию (слово-то какое! Поневоле сам себя уважать начнёшь), и устроить персональную методическую выставку — нечто среднее между хаотической писаниной и кружком «Умелые руки». Вика всё это благополучно преодолела, тем более, что семья оказывала всяческую моральную поддержку. Муж взял на себя детей и быт, а мама искренне сказала:

— Ты пишешь стихи гораздо лучше, чем Валя.

Валя — это младший брат Вики. Будучи натурой тонкой и профессионально артистичной, он постоянно творил какие-то декадентские строки и даже изредка печатался, что можно объяснить лишь нежеланием редакторов сопротивляться его напору.

Конкурс состоялся. Вика включила всё своё неповторимое обаяние: двигалась легко и грациозно, пела и говорила чарующим голосом, словом, изо всех сил изображала натуру интеллектуальную

и утончённую, которую не стыдно и себе посмотреть, и людям показать. Кстати, коллеги-соперницы были ничуть не хуже, а если судить объективно — гораздо лучше, но не было у них Викиного нахального апломба. Вика заняла первое место.

Теперь нужно было начинать готовиться к областному конкурсу. Все бывшие соперницы Вики самозабвенно бросились ей помогать. Первым делом было заказано платье. Точнее — костюм. То, предыдущее, самостоятельное, было решительно забраковано и отвергнуто. У него подол был кривоват. Спинка морщила. И вообще оно какое-то бабское. Костюм шила портниха. Правда, не совсем настоящая. Она просто подрабатывала машинкой на дому. Портниха Лена имела крошечный рост, ярко-рыжие волосы и очаровательно-некрасивую мордашку сказочного эльфа: нос картошкой, рот великоват, но в целом — море обаяния. У неё был такой же крошка-муж и две малютки-девочки (одна во втором классе, а другая — в девятом). Вся семейка была почти одного роста, невзирая на разницу в возрасте, и имела огненные кудрявые шевелюры всех оттенков красного. В такой обстановке костюм должен был получиться волшебный. Он и получился: в целях максимальной демонстрации всех достоинств своей нестандартной фигуры Вика заставила Лену так обузить вещичку, что не только руку поднять — вздохнуть без последствий не могла. Впрочем, если она стояла или сидела на краешке стула, не касаясь спинки, как и подобает благовоспитанной леди, костюмчик смотрелся очень даже вполне.

Так. Теперь — стихи. Это Вика уже умела. Главное — размер (как и в костюме, впрочем). Но хотелось лучшего, большего. Нужна песня! И тут возник вопрос музыки. То есть ещё пару месяцев назад это не было проблемой: студент Макс для команды квн подбирал любую мелодию на синтезаторе в считанные секунды. Нот он при этом почти не знал, близорук был чрезвычайно, и мелодию подбирал, ложась лицом на клавиши и стуча пальцем у себя перед носом. Из-под носа выпархивали шедевры. Но Макс уже получил диплом и отбыл в неизвестном направлении. Поэтому Вика пошла в драмтеатр. Вику там хорошо знали и сочувственно привечали в память о её авантюрном брате, успешно подвизавшемся на местных подмостках, а потом весьма неуспешно ударившемся в бизнес и бега. Главный режиссёр внимательно выслушал Вику и в полном восторге от того, что она не навешивает на него проблемы своего беглого брата, немедленно познакомил её с местным театральным гением, композитором. Гений был скромен и застенчив, слегка заикался, что было следствием контузии в Афгане. Он стеснялся разговаривать с Викой даже больше, чем Вика с ним. Музыку он подбирал долго. Часами. Неделями. Конкурс грозил начаться и окончиться без Викиных песен. Наконец Викина настойчивость победила, и ей была вручена фонограмма мелодии. Чистые и наивные, понятия «фанера» они тогда ещё не знали, и не догадались на музыку наложить сразу и голос. Даже в голову это не пришло! На следующий день после конкурса Вика включила радио и услышала душераздирающие жуткие звуки, в которых отдалённо слышалось что-то знакомое. Когда Вика пришла на работу, пожилая преподаватель анатомии Антонина Александровна, доверительно взяв её за руку, сказала:

— Деточка! Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты милая, умная и талантливая. Но я умоляю тебя: больше никогда не пой!

В областном конкурсе Вика тоже победила. И это была честная победа. Так далеко влияние Фаины Моисеевны не распространялось. В зрительном зале сидел шумный и внушительный десант коллег Вики. Отдельным эпизодом край сознания Вики задевали страдающие глаза мужа. «Я так не люблю, когда тебя мучают», — объяснил он позже. Наивный! Это были не муки, а её звёздный час! Когда объявляли результаты, зал бушевал. Неистовая Людмила, любительница резать правду-матку в глаза и защитница всех несправедливо обиженных и угнетённых, в экстазе вскочила на стул и оттуда что-то кричала и размахивала руками. После конкурса в Викину тесную двушку-распашонку набилось рекордное количество народа. Откуда-то появились баян и гитара, и народ веселился и ликовал до глубокой ночи. Причём гуляние приобрело широкий масштаб: весь подъезд, населённый Викиным педсоветом, их чадами и домочадцами, пел, плясал и отрывался по полной программе. Самое лучшее воспоминание Вики о том периоде — искренняя радость за её победу, которую все расценили как общую. И это было действительно так. Без народной поддержки у Вики бы просто нахальства не хватило на все эти подвиги.

А тем временем жизнь в родном училище текла неспешная, размеренная. Звонки звенели вовремя, мел крошился в неуверенных руках первокурсников, и кто-то уже получал первые зачёты в преддверии близкой сессии. И как далека была эта настоящая жизнь от той эфемерной и призрачной, в которой теперь парила Вика. Всё чаще она с тоской вспоминала свою педагогическую деятельность, к которой можно было вернуться, лишь завершив никому не нужное представление. Не нужно оно было ни студентам, подкинутым временным совместителям, ни преподавателям, взвалившим на себя, в дополнение к собственным, ещё и Викины проблемы, ни самой Вике, забросившей семью и работу. А работу свою Вика любила. Втайне она обожала наблюдать таинственный процесс метаморфозы, когда из нескладных новичков, не умеющих носить медицинскую форму, первокурсники постепенно превращались в настоящих медиков. Приятно было сознавать, что и она прикасалась к этой трансформации.

Но нужно было ex tempora готовиться к региональному конкурсу. По сложившемуся стереотипу Вика начала с платья. Оно было тщательно продумано на заседании педсовета и заказано в лучшей мастерской города по знакомству нашего методиста с их модельером. Со стихами уже никаких проблем не было — рифмовала Вика лихо. За музыкой она пошла к гению. Купила цветы бульденеж и пошла. Гений был растроган и фонограмму написал в рекордные сроки. Педагогический коллектив паковал багаж полный рабочий

день: методическую выставку и оборудование для урока. Кстати, клизмы были забракованы уже после первого этапа. На областную, а затем и региональную, арену Вика выходила с обучением широких немедицинских масс технике выполнения инъекций, конечно же, на фантомах.

В краевой центр Вика поехала не одна. В качестве группы поддержки, имиджмейкера, личного парикмахера, визажиста и психолога её сопровождала неугомонная Фаина Моисеевна. Если бы победа зависела лишь от её пламенного желания и несгибаемой уверенности в том, что наше дело правое, — Вике бы принесли диплом первой степени на блюдечке с голубой каёмочкой. На этом конкурсе всё было всерьёз и взаправду. Было даже два жюри: одно из мэтров региональной педагогики, а другое, альтернативное, — студенческое. Его Вика боялась больше всего. Председателем у них был очень самоуверенный и обладающий повышенным чувством собственного достоинства молодой человек. Представляете, каково наслаждение судить перепуганных учительниц и важно выставлять при этом баллы! А вот ведущие очаровали весь зал. Это были наши ребята (наши по стилю, по духу, по образу)! Что они вытворяли! На ходу выдумывали, писали стихи, рекламу, песни! И всё это в стиле лучших студенческих капустников. У Вики даже от души отлегло, когда она увидела в них братьев по разуму. И пресс-центр там был замечательный. В целом и организация всего этого шоу была на очень хорошем уровне. Вика быстренько успокоилась и решила хотя бы получить удовольствие. Первые несколько этапов Вика была на коне: петь, острить и выпендриваться — это её хлебом не корми. Одним из конкурсных заданий было решение педагогических ситуаций. Вика вышла на сцену первой и получила свёрнутую в трубочку бумажку, на которой было написано: «Ваш ученик перестал ходить в техникум. Его однокурсники рассказали Вам, что у него серьёзный долг, который он не может отдать. Поэтому он решил бросить учёбу и устроиться на работу. Встретив Вас случайно на улице, он перешёл на другую сторону. Как Вы будете действовать в данной ситуации?» Не успела Вика дочитать до конца, как по диагонали сцены мимо неё уже мчался ведущий, Коля, изображавший ученика из задачи. Он мчался так стремительно, что Вика едва успела крикнуть ему в спину:

— Коля, стой! Ты почему не ходишь в техникум?

— А вам какое дело? — огрызнулся Коля.

— Хочу помочь тебе. У тебя неприятности?

— Хоть бы и так. Вы мне всё равно не поможете. Техникум я бросаю. Работать буду.

— Может быть, тебе нужны деньги? — не зная, как выпутаться из этой истории, спросила Вика.

— Нужны. И много. А вы-то тут при чём? — насмешливо спросил Коля.

— Вика! — раздался громогласный голос Фаины Моисеевны, сидевшей в седьмом ряду. — Возьми уже, ради бога, деньги и дай этому мальчику. Пусть идёт и учится.

На этом решение задачи и закончилось.

Объявили результаты голосования зала и вручили приз зрительских симпатий — Вике! Большого белого слона с розовыми ушами! Викина персональная коробочка была доверху набита бумажными сердечками, которые ей отдали совершенно незнакомые люди! В зале, где единственным знакомым пятном было горящее пламенем борьбы вдохновенное лицо Фаины Моисеевны. Вика в полной мере осознала, что чувствует Мисс Мира в момент надевания короны. В перерыве Вика с Фаиной Моисеевной пылко обнялись и первым делом начали разработку модели платья для Всероссийского конкурса в Москве. Но, увы и ах! В тот же день объявили результаты первых двух туров: Вика вошла в тройку победителей, но впереди были две конкурсантки. Одна, набравшая рекордное количество баллов, вызывала стойкое недоумение и даже иронию: она была явно не леди. Вторая была совсем незаметной — на конкурс опоздала, говорила голосом тихим и невыразительным, внешность имела самую скромную. И тут Вика сорвалась. У неё вообще есть не очень удобное свойство закусывать удила. И тут Вику угораздило пойти красными пятнами и звенящим голосом сквозь слёзы выпалить в лицо одного из членов жюри:

— Этим решением жюри поставило оценку себе! Вы только подумайте, кто будет представлять наш регион в Москве!

Смысл сказанного был вполне ясен. То есть если Вика будет блистать в Москве — это в самый раз, а все остальные, безусловно, недостойны. Рыдала Вика в гостинице до глубокой ночи. Фаина Моисеевна, обескураженная Викиной идиотской выходкой, даже не ругала её, как она того заслуживала. Нужно было собрать силы для завершающего тура и не потерять лица окончательно. Осталось дать открытый урок. На чужих и впервые увиденных студентах из не медицинского (!) училища. Как они друг друга не продырявили шприцами — до сих пор неясно. В переполненном зале, в присутствии радио-, теле- и просто журналистов! И тут — апофеоз! На голову Вики с треском падает гардина, обременённая пыльными и тяжёлыми шторами! Всеобщее: ах! Из-под клубка штор Викин оптимистический возглас:

— Спокойно! Реанимация не понадобится!

И довела урок до конца. Аплодисменты.

Результаты конкурса были предсказуемы: Вика заняла заслуженное третье место. Озадаченное жюри, напуганное Викиными истерическими выкриками, пальму первенства отдало скромной преподавательнице математики. Она должна была давать урок на компьютерах, но за неимением (!) оных дала урок практически на пальцах. О блаженные времена юности компьютерной эпохи! Загипнотизированное одним выражением «компьютерные технологии», любое жюри капитулировало без боя.

Конкурс окончился. Вика за своё третье место получила магнитофон и успела привезти его домой прямо ко дню рождения мужа. Он до сих пор не верит, что магнитофон Вике подарили. Думает, она сама его купила. А большой белый слон с розовыми ушами сидит у Вики на шкафу. Вика его уже несколько раз стирала, и ничего после стирки ему не делается.

о. Сахалин

Привет, городской цветок!

Елена Тимченко

Будка редактора

Уф, ну и жарко сидеть в круглой стеклянной будке, примерно такой, в какой милиционеры раньше на перекрёстках размещались… да ещё на самом солнцепёке… Что? Ты себе не так Будку редактора представляешь? А как? Как собачью будку?! Ну, ладно, пусть будет собачья, в ней хоть не так жарко, как в той, что я описала, тем более, что собак я люблю и ничего не имею против такого соседства…

Что же я собиралась сказать? Ах, да…

Дорогие читатели, дети, вы открываете уникальный выпуск «Детского района». Эта книжка — результат нескольких лет работы автора редактором городской детской газеты «Детский район» и, одновременно, преподавателем мастерской в литературном лицее.

«Детскому району» — 7 лет. Отличный детский возраст. Если бы собаке исполнилось 7 лет, то в пересчёте на человеческие сроки жизни, этой собаке стукнуло уже 49. А если детской газете 7 лет, то это сколько? Много или мало? Сколько вообще живут газеты?

Газеты не принято хранить долго, с ними не церемонятся. Бабушка может завернуть в неё селёдку. Газету могут отдать на растерзание щенку или котёнку. Зловредные родители могут подстелить её на пол, наклеивая обои.

Но ведь с книжкой никто не посмеет так поступить, верно?

И если ты всё-таки читаешь эту книжку, значит, всё получилось, и я говорю тебе: «Привет, «городской цветок»! Как поживаешь? Не скучаешь ли? Достаточно ли возле твоего дома места, чтобы поиграть с пацанами в футбол, покататься на велосипеде, не рискуя попасть под колёса? А в парк тебя родители водили? А в «Роев ручей»? А есть у тебя такая возможность — в фонтане поплескаться? А новый мультик успел посмотреть?»

Как видишь, летом в городе тоже очень даже неплохо. А если погода плохая, дождик, шквальный ветер, чем заняться? Вот, что я тебе предлагаю:

Первое Качать мышцы — мальчикам, вырабатывать талию — девочкам.

Второе Слушать громкую музыку.

Третье Представить, что ты — разведчик. Осваивать компьютер. Тренировать ум, разгадывать всевозможные головоломки, «вскрывать» шифры.

Четвёртое Почитать. Не думай свысока о тех книгах, которые тебе задали прочитать в школе на лето, это хорошие книжки, проверенные временем. И книга, которую ты открыл, тоже, надеюсь, каши не испортит. ☺ Не скучай!

О Тюлькиной землице

(а также о том, что писание рефератов — не бесполезное занятие)

— Лена, а что здесь раньше-то было, до того как возник Красноярский острог? Необитаемые земли?

— Ты имеешь в виду местность, где расположен нынешний Красноярск?

Этот край был уже известен русским в начале XVII в. под названием Тюлькина земля. Называлась она так по имени местного князца *Тюльки.*

— Тюлька — смешной какой! А это была безлюдная земля, или здесь кто-нибудь жил?

— В этих местах, Дениска, жили *татары и арины…*

— Это про которых в фильме про Штирлица говорят «истинный ариец», да?

— Да нет же, не те совсем! Какой же ты путаник, Дениска. Арины — от слов «ар» или «ара», означающее на их языке «шершень» (шмель).

Арины были могущественным народом в древние времена. Но однажды на их землю напало множество змей с человеческими головами, блестевшими на солнце. С этими змеями они сражались, но змеи их победили, и многие погибли от змеиных укусов, остальные вынуждены были покинуть свою землю.

Как и всеми другими кочевыми племенами в Сибири, аринами управляли «князьки» или «князцы». Власть передавалась от отца к сыну. Историки подсчитали, что в 1628 г. аринов было 640 «душ обоего пола». Имена аринов сохранились в местных географических названиях… Остров **Татышев** знаешь?

— Конечно. Туда можно по навесному мостику перебраться…

— Так вот, там были летние пастбища аринов, этот остров и носит имя князца *Татуша*, а имя его сына сохранилось в названии деревни *Бугачево.*

— Интересно, а как они жили, в каких жилищах, какую одежду носили?

— Дениска, а в музей краеведческий сходить слабо? или книжку почитать?

Ну, ладно уж, что знаю, расскажу.

Татары (русские называли их качинцами), стояли на более высокой ступени развития.

Жили качинцы в берестяных и войлочных юртах. Улус имел от четырёх до двенадцати юрт и располагался на берегу реки. На зиму качинцы в укрытых от ветра местах делали полуземлянки, в которые взрослый человек мог проникнуть только на четвереньках.

По религии качинцы были шаманистами. Они поклонялись духам зверей и птиц. Был у них и культ лошади — «изых»…

— А ты откуда всё это узнала?

— Ты не поверишь — реферат в школе писала в третьем классе.

— А… Я тоже буду рефераты писать, когда вырасту?

— Думаю, что этого не избежать.

— Так, значит, Андрей Дубенский пришёл с казаками не на пустое место?

— Нет, Дениска, его встретили хлебом с солью…

— Да ну! Правда, что ли?

— Да шучу я, отстань, липучка, а?..

Городской автобус — как было и как сейчас

Это было в доисторические времена, когда маршруток в городе и в помине не было, а по городу редко, медленно и степенно разъезжали обычные городские автобусы. В ту «домаршруточную» эру попасть из одной точки города в другую было нелегко, зато дёшево, проезд в автобусе стоил всего 6 копеек. Не верите? Спросите своих бабушек и дедушек, они подтвердят.

Так вот. Жил-был такой автобус — №46, он отправлялся с Речного вокзала и через весь город, собирая на остановках замёрзших невыспавшихся студентов, двигался через Студгородок в городок Академический. Студенты ласково называли свой автобус Передвижной Газовой Камерой, потому что полтора часа простоять в духоте, подчас на одной ноге, в плотной упаковке, вроде молекул в кристаллической решётке, было очень изнурительно даже для молодого организма.

Здесь же плечом к плечу теснились хмурые преподаватели вузов и сотрудники Института физики. Разговоры в автобусе велись интеллигентные и чинные, лишь первокурсники непрерывно хихикали от избытка щенячьего восторга, да чокнутые физики громко делились мыслями по поводу трудных задач.

Рассказывают, что на этом маршруте работал один водитель, который через микрофон здоровался со своими пассажирами, а на конечной остановке (ой, не упадите со стула) желал им счастливого дня!

А теперь, дорогой читатель, из века прошлого вернёмся в столетие нынешнее. Автобусы как класс не вымерли, а даже размножились, переродившись в маленькие шустрые маршрутки, шустрые и очень, очень опасные. Каждый день какая-нибудь маршрутка становится героиней трагического репортажа в теленовостях. Кто-то выпал, потому что водитель забыл закрыть дверь. Другой несчастный попал под колёса при выходе, не успев утвердиться на земле, а автобус уже поехал. Маршрутка врезалась в столб…

Большинство жителей Детского района ходят в школу пешочком, не прибегая к городскому транспорту, но ведь есть и такие, которые ездят. Кроме того, многим детям приходится самостоятельно добираться до музыкальной или художественной школы, на танцы, на занятия в спортивные секции.

Ребята, будьте, пожалуйста, внимательными и собранными, за лето вы отвыкли от уличного движения. Помните, что кругом снуют «злые» маршрутки и автомобили, управляемые безответственными взрослыми!

Где закон?

…Люди спокойно стояли на остановке, ничего не нарушали. В них врезался автомобиль. Девочка шла через свой двор в школу. На неё наехал «Камаз». Дети мирно переходили дорогу. На зелёный свет. Их сбил автобус. Где закон?

Бывалые путешественники рассказывают, что есть такие места на Земле — непроходимые джунгли Амазонки или глухая тайга, — где кара за плохой, неправильный поступок настигает человека почти сразу, мгновенно, так что становится очевидной причинная связь: нарушил высший Закон — получи, фашист, гранату! Утром сделал плохое дело, вечером — сломал ногу. Убил ни за что ни про что, просто так, невинное животное — готовься к встрече с бешеным зверем. В этих местах люди боятся даже думать худую мысль! Потому что там… *буквальное соблюдение законов Вселенной есть практический способ выживания.*

Похоже, что городские каменные джунгли не принадлежат к таким местам. Сколько раз нужно нарушить правила на дороге, рискуя чьей-то жизнью, чтобы последовало наказание?..

Рождество

Каждый год мы празднуем приход на землю Света — Рождество Христово. И каждый год верующие заново переживают те далёкие по времени события. А кому-то первый раз предстоит познакомиться с историей рождения Христа, например, детям, которые как раз в этом году достигли возраста разума, или как говорят, «вошли в разум»…

Дело было так.

…Римский император объявил перепись населения и повелел всем иудеям отправляться в те города, где они родились.

Иосиф и Мария направились в Вифлеем. Было уже очень поздно и темно, когда они достигли окрестностей Вифлеема. Марии пришло время родов, а устроиться на ночлег в гостиницу не удалось. Добродушные Вифлеемские пастухи приютили семью, и родился Младенец в пещере. Рядом находился скот — овцы, вол и осёл, и никого не смущало такое соседство, а напротив, все радовались, что всё прошло благополучно. Животные трогательно пытались обнюхать Новорождённого. Младенца спеленали, положили в ясли.

Это событие многократно описано, изображено на полотнах художников, но всё равно удивительна эта простота прихода Сына Божьего.

Ведь не родился же Иисус в семье родовитого вельможи в роскоши и богатстве, а именно так, в окружении природы, животных и людей самых бедных.

Взять, например участника событий — осла. Это животное незаслуженно пользуется славой глупого создания. Замечено, что волки, смело нападающие на крупного оленя, вооружённого страшными рогами, никогда почему-то не нападают на ослов.

Ослик фигурирует ещё в одном важном библейском эпизоде.

У христиан есть такой праздник — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Так вот, в Иерусалим Иисус въехал верхом на ослике, как сказано в Новом Завете. Причём в Евангелии от Марка описывается, как Иисус специально отправил двух своих учеников в селение… «Входя в него, тотчас найдёте привязанного молодого осла, на которого никто из людей никогда не садился…» Как-то это не случайно. И опять та же простота. Ведь, казалось бы — Бог, значит, минимум на колеснице явился, весь в сияющих одеждах, со всякими фокусами. Вечный антипод Иисуса так бы, наверное, всё и обставил…

Но вернёмся назад, к Рождеству.

В те времена Иудеей правил жестокий, кровожадный царь Ирод, до такой степени мерзкая историческая фигура, что день его смерти стал впоследствии для евреев национальным праздником. И вот на территории этого жуткого правителя объявились вдруг чужестранцы (в некоторых источниках их числом трое, в других — больше). Выглядели они и вели себя престранно. Разыскивали царя Иудейского, но вовсе не Ирода. «Где родившийся царь Иудейский?» — вопрошали они, а народ в страхе шарахался от них.

Время было тяжёлое и смутное. Мудрецы пророчествовали, что должен появиться такой человек — Мессия, который спасёт мир, и родится спаситель в Иудее. Ирод эти пророчества страшно не жаловал, поэтому, когда ему донесли о чужеземцах, он крайне встревожился, но виду не подал, пригласил их к себе в гости и давай выспрашивать.

А волхвы, даром, что учёные Маги, простодушно всё ему выложили, что идут они поклониться необыкновенному Младенцу, рождение которого им предсказала необычайно яркая звезда. «Родился царь царей, бог богов, светоч света!».

А Ирод — хитрый, отпустил их, думает, пусть найдут младенца, а уж он потом его погубит. «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдёте, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (от Матфея, гл. 2, 8)

Волхвы, ведомые Вифлеемскою звездою, отыскали скромное прибежище Иосифа и его семейства. Волхвы (или маги, или жрецы) поклонились Ему «и, открывши сокровища, свои принесли Ему дары: золото, ладан и смирну».

Мудрецы, почувствовав опасность, исходящую от Ирода, возвращались домой другим путём, не через Иерусалим.

Когда же они отошли, Ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет». Иосиф всё исполнил и пробыл в Египте всё время до смерти Ирода. Таким образом Божественный Младенец был спасён.

Ирод, когда понял, что волхвы его обманули, поставил кровавую точку в этой истории, повелев истребить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его.

Светлое Христово Воскресение

Не всем людям, тем более детям, понятен смысл этого праздника, хотя это не мешает им радоваться и ликовать вместе с верующими. В этот день всех обнимает любовь Христова. Церкви полны, в это время сюда тянет даже тех, кто относится к вере с насмешкой.

Детям, которые созрели для объяснений, мы решили немного рассказать об этом празднике.

Пришёл на землю сын Божий, чтобы спасти человеческие души. И стал учить простых людей, что нужно делать, чтобы достичь царства добра и света. Оказалось, что это и просто, и одновременно трудно. Главное правило, или заповедь, звучит так: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Все остальные правила поведения для людей на земле вытекают из этого основного.

Люди в большинстве своём не поверили Иисусу, что он Бог. Сильные мира сего испугались, что он просто хочет захватить власть, стать царём. За это его жестоко убили — распяли на кресте. Такой мучительной казни, когда жизнь казнённого вытекает медленно, по капле, подвергали самых отпетых разбойников и убийц. А ведь Иисус был невиновен! На кресте был распят сын Божий, пришедший спасти мир! Так жизнь Иисуса была принесена в жертву за грехи человеческие.

Но распятие оказалось не поражением Иисуса, а его победой — на третий день после казни он воскрес из мёртвых! Вот это чудесное Воскресение с тех пор каждый год заново переживают христиане. Поэтому в праздник Пасхи они приветствуют друг друга словами: «Христос Воскрес!» и отвечают: «Воистину Воскрес!» А потом целуют друг друга. Здорово! До Христа у человечества были жестокие боги, которым нравилось, чтобы их боялись. Для Иисуса важно, чтобы Его любили, чтобы все друг друга любили.

Смерть на кресте из горя и унижения превратилась в надежду и торжество для всего человечества. В этом заключается чудо Пасхи.

Если ты хочешь узнать больше об Иисусе, то лучше всего почитать «Новый завет», или посмотреть фильм — о Христе много фильмов есть. Но мы ничего тебе не навязываем, потому что каждый человек идёт к Богу своими путями…

Маленький Будда

Будда, по преданию, родился на территории современного Непала. Так же, как мы чтим Рождество Христово, в Непале отмечают день рождения Будды — это один из официальных государственных праздников.

Непальцы вместо приветствия говорят: «Намастэ», что означает: «Я приветствую в тебе Бога». Недавно весь мир узнал о том, что в Непале появился новый «просветлённый».

Назвать 15-летнего Рама Бахадура Буддой позволил непальцам тот факт, что удивительный мальчик полгода провёл без еды и воды, непрестанно медитируя. Сейчас он, как и его великий предшественник, сидит под деревом в позе лотоса. Его глаза закрыты, лицо не выражает никаких эмоций.

Как говорят родственники Рама Бахадура, он собирается провести в медитации шесть лет, чтобы достичь наивысшей степени просветления…

Комментарий Алисы Селезнёвой и Лены Всезнайкиной[1]

Алиса У нас в классе есть мальчишка, так он не полгода, а все 8 лет находится в беспрерывной медитации — столько, сколько в школе учится. Я тебе скажу, что пользы от него никакой, сидит, как чурбан, лицо не выражает ничего, никаких проблесков мысли или эмоций, вообще ничего…

Лена Ну, ты сравнила лодыря и соню из твоего класса с мальчиком из Непала. Ваш одноклассник после уроков что делает?

Алиса Да, после уроков он обычный пацан. Но на уроках он именно такой — вне пространства и времени.

Лена А что тебе вообще известно о медитации?

Алиса Ну, это такая работа… как бы сказать… по изгнанию всех-всех мыслей из головы. Остановка сознания, что ли… Зачем только?

Лена Да я тоже не очень-то разбираюсь. Знаю, что полезно для здоровья, что освежает хорошо, помогает спортсменам восстановить силы после изнурительной тренировки.

Алиса Я тоже читала, что люди даже излечиваются от тяжёлых болезней с помощью медитации. Хорошо. А как всё это работает?

Лена В смысле болезней я думаю так: мы болеем потому, что думаем неправильные мысли. Выкинули мысли — разорвали порочный круг — болезнь на время хотя бы ушла. Так примерно.

Алиса Вернёмся к Раму Бахадуру. Где он берёт силы? Чего хочет добиться такой длительной медитацией?

Лена Разве ты не поняла? Достичь просветления, стать Буддой, то есть пробудившимся. Буддисты считают, что мир вокруг нас — иллюзия, а мы все спим. И чтобы проснуться, нужно предпринять гигантские, совершенно не логичные и парадоксальные с точки зрения «спящих» усилия.

Алиса Принц-отшельник Сиддхартхи Гаутама медитировал 6 лет, после чего стал Буддой. Поживём, как говорится, увидим, что случится с Рамой Бахадуром Бамджаном …

Уважение к жизни

В Детском районе живёт девочка Саша Иванова-пятиклассница, она написала нам о том, как спасала домашних муравьёв от злого дедушки. Какие милосердные дети встречаются в нашем городе!

Давным — давно, в детстве, я видела документальный фильм о Тибете. Это было в кинотеатре «Юбилейный» (ныне — «Эпицентр»). Перед художественным фильмом вдруг взяли и показали документальную ленту о жизни тибетских монахов. Невиданное событие по тем временам! До сих пор перед моими глазами стоят кадры из этого фильма — впечатления детства действительно очень сильная вещь.

…Вот завёрнутый в оранжевую тогу худенький монах поднимается по тропинке, старательно подметая перед собой веничком. Голос за кадром объясняет, зачем монах так делает. Оказывается, он расчищает путь перед собой, чтобы нечаянно не наступить на какого-нибудь муравья или букашку, не лишить жизни невинное существо. Для последователей Будды погубить чью-то жизнь, хоть животного, хоть насекомого, всё равно кого, — тяжкий грех, отягчение кармы…

Разговор с подростком

Что творится в душе и голове современного подростка, — взрослые могут только догадываться об этом, да вспоминать, какими они сами был в этом возрасте. Обычно детям просто не хватает слов, мастерства, умения поведать о себе миру…

Из чего же «сделаны» наши подростки? Школьные «заморочки», друзья-подружки, очень много музыки, одинокая душа, ссоры с родителями, ожидание любви — вот он какой сложный, подросток! Прошу любить и жаловать, а главное — понимать.

Весенний разговор с Подростком

В известной песенке Чижа поётся о том, что «кому жизнь — буги-вуги, а кому — полный бред». Понятно, что человек не может постоянно ходить со светлым челом, и неприятности случаются, и настроение плохое. Особенно весной…

Иногда подростки бывают очень уж мрачны без видимой причины. Сейчас даже в моде увлечение мрачно-романтическим стилем — готикой. Огромные подведённые тушью глаза на белом от пудры лице, торчащие во все стороны волосы цвета вороньего крыла и чёрная одежда… Они называют себя готами. Нет, это не дикие племена, предки германцев. Это «люди в чёрном». Они хотят всем показать, что чернота у них снаружи и внутри…

Сбрось ты эту маску, дорогой Подросток, ей-ей, мрачность натуры привлекательна только в Байроне.

Никто не любит? Ах ты, бедненький сиротка! Тебя только родители любят, и брат, и сестра, да дедушка с бабушкой (а ещё тётка). Недавно в новостях был сюжет: маленькую двухнедельную девочку нашли брошенной у обочины дороги. Тебе перед этим ребёнком не стыдно? Ведь ты по сравнению с нею купаешься в любви.

Мечтаешь о другой, неродительской любви? Она обязательно придёт, потерпи немножко. Если хочешь, чтобы тебя любили, дружили с тобой, просто замечали, — тогда надо учиться быть привлекательным позитивным человеком.

Как же справляться с плохим настроением и мрачными мыслями?

Первое. Здоровый образ жизни — тренировки, прогулки перед сном, обливания холодной водой, богатое витаминами питание — выметет из твоей головы всех «тараканов». Проверено!

Второй подход хитрее и как бы противоположен известной формуле «в здоровом теле — здоровый дух». Основан он на убеждении, что мысли вызывают эмоции. Не только настроение полностью соответствует тому, что думает человек, но и его физическое состояние.

1 Здесь автор «раздваивается» на Алису Селезнёву и Лену Всезнайкину.

Если у тебя богатое воображение, то почему ты не используешь его себе во благо? Почему ты «думаешь» негативную мысль, плодя в своём воображении монстров, видя не только себя, но и целый мир в тёмных, ужасающих тонах и перенося это отношение на вещи *реальные?*

А потому, что думать негативно легко — это занятие не требует больших душевных усилий, ведь зло разрушает, а не строит. Но попробуй нарисовать в воображении что-то светлое, радостное… Что, тяжело? Не получается?

Ты ведь можешь выключить телевизор, если там идёт плохой фильм, так тем более не становись режиссёром собственного фильма ужасов. Не цепляйся за отрицательные мысли, а наоборот, подключай позитивное мышление.

Приведу пример позитивного мышления, чтобы долго не объяснять, что это такое.

В книге Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: грани разумного» героиня безвинно попадает в тайскую тюрьму. Обстановка жуткая: грязь, вонь, скученность, насекомые, отсутствие элементарных удобств, плюс к этому её могут казнить, не особенно утруждая себя разбирательствами. И что вы думаете, как она себя утешает? А вот как:

Положительные стороны пребывания в тюрьме:

1. Не трачу денег.
2. Окружность бёдер значительно уменьшилась — потеряла по крайней мере 7 фунтов.
3. Долго не мыть волосы — хорошо на них действует…

Итак, вернусь домой похудевшей, с блестящими волосами и не столь разорённой».

Ищи в жизни хорошее, вытесняй из головы негатив, чем скорее ты этому научишься, тем счастливее, полноценнее станет твоя неповторимая личная жизнь.

И пусть тебя согреют стихи великого Омара Хайяма:

Жизни стыдно за тех,
Кто сидит и скорбит,
Кто не помнит утех,
Не прощает обид.

Что почитать…

Дети часто спрашивают, как я отношусь к книжкам Дарьи Донцовой. «Очень хорошо», — отвечаю я. Эти детективы интересные, смешные, своеобразные, и что особенно подкупает — в них уделяется много внимания домашним животным: кошкам, собакам, а иногда даже жабам и крокодильчикам. Я сама прочитала их не меньше дюжины. Но всё-таки это легкоусвояемое чтение больше подходит уставшим от жизни взрослым, нежели детям.

Почему детям не позволяют объедаться сладким? Всякий знает, что это вредно: и зубы выпадают, и портится вкус, в конце концов, обмен веществ может нарушиться.

Так и с детективчиками. Если вы привыкнете к такого рода чтению, вам трудно будет остановиться, это глупое занятие поглотит всё ваше свободное время, а книжки нетленного образца, такие, как «Три мушкетёра» или «Остров сокровищ», останутся непрочитанными.

Ваши родители, заботясь о вас, следят и за вашим питанием, чтобы в нём было достаточно витаминов и микроэлементов, чтобы вы росли крепкими и здоровыми. Понимаете, романы Дарьи Донцовой очень хороши, но это — чипсы и газировка, т.е. вещь приятная, вкусная, но не слишком полезная.

Позвольте мне, как старшему товарищу, порекомендовать детям 10 — 13 лет книги, в которых содержатся «микроэлементы» и «витамины», необходимые для их развития. Эти книги произвели на меня в детстве неизгладимое впечатление:

Фенимор Купер (все книжки про индейцев), Стендаль «Красное и чёрное», Майн Рид «Всадник без головы», О'Генри (рассказы), Ирвинг Стоун «Муки и радости» (роман о Микеладжело), Артур Конан Дойл (особенно «Записки о Шерлоке Холмсе»), Стивенсон «Остров сокровищ», Даниэль Дефо «Робинзон Крузо», Вальтер Скотт «Айвенго», Дюма «Три мушкетёра», Марк Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна», Толкин «Властелин колец», Стругацкие (особенно «Пикник на обочине»), Рей Бредбери «451 градус по Фаренгейту»…

Дорогие читатели, если среди вас найдётся человек означенного возраста, который уже прочитал все эти непреходящие произведения, просьба — напишите мне! Приятно будет познакомиться.

Что послушать…

Что можно рассказать о планете Земля за две минуты? Тем более, если ваш собеседник — инопланетянин? И на каком языке вы будете с ним изъясняться?

Американцы отправили в космос капсулу, в ней — записанная на диск органная музыка Баха. Наверное, это токката ре-минор — визитная карточка композитора.

Если ты ещё не слышал, как звучит орган, сходи в органный зал. Это потрясающая музыка! Если у Земли есть голос, то этот голос — орган.

Gramotei.ru

Видели мультик про Раиску и молодильные яблочки? Там ещё герой жалуется, что, мол, как увижу эту Раиску, так «блевать и кидат».

Не знаю, как вам… нравится или нет, но у меня эти «медведы» и «преведы» уже в печёнках сидят. Хотя сначала казалось ничего, прикольно, смешно. А теперь, как увижу «чо — каво», «чмоки-чмоки», «споки» и другую интернет-заразу, — так и «кидат», так и «кидат»…

Чтобы в наше время прослыть большим оригиналом, достаточно придерживаться двух правил. Первое — не ругаться матом. Применяйте допустимые ругательства, чтобы выпустить пар. К примеру, у вас постоянно развязывается шнурки на кроссовках. Скажите с сердцем: «Кар-р-рамба! Пускай вас сожрут крокодилы!». И подавятся притом. Или — ответ обидчикам: «Начихать на вас победоносно!». В общем, поняли, да? Кстати, «в общем» пишется раздельно, да и запятую не следует забывать. А вот слова «вообщем» нет в русском языке, стопудово!

Второе правило — выражаться по возможности изысканно, не стыдясь своей старорежимной начитанности. Обратите внимание, что «выражаться» в данном случае, пишется с мягким знаком, а не без. Хотите научу, как быстро определять, нужен «Ь» или нет? О, это так просто, дети мои! Просто спросите себя: что делать? И ответьте: выражаться. В вопросе есть мягкий знак? Значит, и в глаголе он должен быть! Или, например, «она (что делает?) улыбается мне». Здесь мягкий знак *не нужен.* И всё — никаких теперь заморочек, никаких «он мне нравиться», «с каждым случаеться» и «прекратите смеятся»! Ну, поняли, ведь русские же люди?

А вот вам пример «изящной» словесности. Эту формулировку придумал один умник из интернета:

«Скорее всего, я снова в силу своей депрессивности ошибаюсь и гиперболизирую ваши маленькие недостатки, но я решительно остаюсь при своём мнении». Перевожу. Наверное, я уж слишком печалюсь по поводу поразившей нас всеобщей безграмотности и безвкусицы, не так уж всё и плохо, грамота — дело наживное. Но я решительно остаюсь при своём мнении.

Прозвища, и борьба с ними…

…за своё человеческое достоинство.

«Благословляйте проклинающих вас!» — сказано в Библии. Эту мудрость не сразу поймёшь. Очень много нужно пережить, перетерпеть, чтобы дошло, наконец, что развивают нас, подталкивают вверх не те, кто нас хвалит, а наоборот, те, кто ругает. А личностей, которые вас обзывают, вообще следует носить на руках. Сейчас поймёте почему.

«Пиноккио»

У очень милой, доброй девочки Маши, обладательницы длинных пышных волос и дневника с пятёрками был небольшой недостаток — немного великоватый для её нежного личика нос. В классе, где раньше училась девочка, одноклассники относились к ней прекрасно, никто даже внимания не обращал на эту особенность. Но вот, волею судеб, оказалась она в другой школе, где новые одноклассники подвергли её всевозможным унижениям. Это и «жвачка» в волосы на переменке, и оскорбительное прозвище — «Пиноккио».

Маша сначала сильно горевала, даже плакала, не хотела в эту школу ходить, и бессознательно искала выход из ситуации. Но должен же он быть!

Никто не советовал ей, ничего не подсказывал, сработало «шестое чувство». Взяла — и записалась на карате. Три года пролетели незаметно. Здесь, на карате, она нашла такую мощную внутреннюю поддержку и спокойную уверенность в себе, что демонстрировать приёмы обидчикам даже и не пришлось — сами отвязались.

Стройная фигура, навыки самообороны и волевые качества характера на дороге не валяются — они зарабатываются. Спасибо одноклассничкам.

«Булка»

Недавно я познакомилась с девочкой Верой. Темноволосая, невысокая, с яркими голубыми глазами, кругленькая, как булочка. Не отличница, но учится хорошо. Добродушна, открыта, никогда не ябедничает, не строит козни (так воспитана). Вы, может, спросите: «Чем же она удивительна?».

От Веры я узнала, что раньше она очень комплексовала из-за своей полноты. Как вы понимаете, не очень приятно слышать каждый день в свой адрес обидные прозвища «Булка», «Корова», а то и «Жиртрест». Вера полагала, что, если она будет делать лицо угрюмым, строгим и не давать спуску мальчишкам за каждую обиду, то будет казаться более уверенной в себе. Но со стороны её поведение казалось агрессивным, а она — довольно-таки злым и странным человеком, хотя люди, которые с ней общались, знали её как хорошего товарища, надёжного друга.

Вера наверняка попала бы в ряды несчастливцев, которые вспоминают прожитые в школе годы с отвращением, если бы не счастливый случай, повернувший её жизнь к радости.

Вера пришла заниматься в театральную студию. Согласитесь, это очень смелый поступок для девочки, над внешностью которой постоянно насмехаются. Но она собрала волю в кулак, наступила на горло своей застенчивости и пришла на репетицию. Как назло ей досталась роль, где приходилось ползать на животе, кидаться яблоками, прыгать со стульев и делать многое другое, что не совсем совместимо с её комплекцией. Но она старалась. На спектакле зал стонал от смеха, и чем больше смеялись зрители, тем увереннее чувствовала себя юная актриса.

Доброжелательность ребят и руководителя студии избавили Веру от комплексов. Когда она получила роль изящной феи, она просто замечательно справилась с ней. Куда только делась её неуклюжесть: она очаровала зрителей своей грацией и улыбкой.

Вера поняла, что надо принимать себя такой, какая ты есть. Мир, в котором она начала жить, стал казаться интересным, ярким и благожелательным.

Дорогие подружки!

Кукольная красота нужна только круглым дурочкам. Обаяние выше красоты, вот его и следует тренировать. Помните, что вы — особенные, не такие, как все, — Уникальные Создания. Ищите позитив в себе и окружающих. Главными помощниками пусть для вас будут чувство собственного достоинства и юмор.

Одна моя знакомая, обладательница крупного хара́ктерного носа, стоя перед открытым окном на сквозняке, сказала: «Я чувствую, как мой нос полощется на ветру, словно знамя». Нам было весело и смешно, и смех этот никого не обижал.

А подружка у меня самая клёвая, и плевать, какой у неё нос.

О, одиночество, как твой характер крут…

Эта строчка из стихотворения Беллы Ахмадулиной, песенный вариант которого звучит в любимом новогоднем фильме взрослых — «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Песню исполняет Наденька, которую играет польская актриса

Барбара Брыльска, только поёт она не своим голосом — за неё это делает Алла Пугачёва. Как всё запутано, правда?

…Весна. Девчонки стали чаще плакать, а мальчишки чаще драться. И все мечтают о настоящей дружбе, о верной подружке или о друге…

Ощущение одиночества у человека — один из сильнейших стрессов.

Можно быть одному и не быть при этом одиноким и легко быть одиноким в толпе. Психологами замечено, что испытывать чувство одиночества более склонны молодые, нежели люди зрелого возраста. Особенно подросткам тяжело, потому что общества мамы и папы уже недостаточно, а с чужими людьми отношения строить ещё не научились.

Рецепты скорой помощи себе любимому

> «Я пошарил по закромам своей души в поисках маленького благоразумного паренька, который нередко приходит мне на помощь в критических ситуациях. Кажется, его не было дома».
>
> Макс Фрай. «Дебют в Ехо»

Итак, что порекомендовал бы «маленький благоразумный паренёк», будь он дома, при сильных приступах необъяснимой грусти и других нехороших состояниях?

1 Холодный душ, спортивные упражнения, юмор, музыка, конечно, подразумеваются, но остановимся и на других способах, которые, может быть, не приходили тебе в голову.

2 Громко кричать или петь (тоже очень громко) энергичную песню. Например, «Заправлены в планшеты космические карты…», «А-а, в Африке горы вот такой вышины…».

3 Съесть шоколадку, вообще покушать.

4 Принять позу «победителя»: прямая спина, плечи расправлены, грудь вперёд.

5 Можно поколотить подушку или грушу. Попробуй попрыгать, как лягушка, — уж не так далеко ты ушёл от детства, и всё равно никто не видит.

6 Очень полезно пообщаться с животинкой какой-нибудь. Подойдёт всё, что имеется под рукой, любое домашнее животное — от собаки до попугая.Изложи ему свою проблему или опиши словесно, как тебе плохо. Оно, конечно, тебя выслушает. Только помни — мелкий зверёк, типа свинки или хомячка, может и не вынести того ушата негатива, который ты собираешься на него излить, и отбросит копытца или что там у него. Соображай, что делаешь.

7 Сказать себе: «Перешагнули, оп-па».

Если наши советы показались тебе глупыми, то не обессудь… Уж лучше попытаться помочь и при этом сморозить глупость, чем оставить человека без поддержки в сложной ситуации.

Игры, в которые играет друг мой Сашка

Мой друг Сашка — классический мальчишка, он бы вам понравился, я уверена. Две стихии, в которых он чувствует себя как рыба в воде, — это компьютер и собственно вода. Тренировки в бассейне у него каждый день, а компьютеру он посвящает всё своё свободное время, в основном, конечно, играет. Я хочу рассказать одну историю, связанную с его ненасытной жаждой компьютерных игр.

Это было на Озёрах, хорошо известных всем жителям Красноярского края. Мы отдыхали там в августе. Ждали у моря погоды, которая как раз была отвратительная, не покупаешься. Степь, да степь кругом, дождик моросит. Скучно.

Пошла я на почту, хотела отправить электронное письмо подружке. Там мне с вызовом ответили: «У нас Интернета нет!»

Ситуация напомнила миниатюру Ильфа и Петрова: «Бога нет, — грустно сказал учитель. — А сыр есть?»

«Сыр» Сашка отыскал в первый же день — он компьютеры сердцем чует. В неказистом домике без опознавательных знаков, за кособокой дверью, напоминающей замаскированную дверцу в каморке папы Карло, располагался компьютерный клуб.

Вот оно счастье! Понятно, что он там постоянно зависал. Пока погода была плохая — это никого не тяготило. Но вот наступили жаркие деньки, нужно было навёрстывать упущенное.

На двух машинах мы должны были отправиться на озеро, хватились — а Сашки нет, играть убежал. Три часа мы прождали его на жаре, пока он наконец не вынырнул из объятий виртуального мира и с отсутствующем видом человека, который только что встал с постели, но ещё не проснулся, предстал перед честнОй компанией. Вся команда смотрела на него так, словно Сашка был вратарём и только что пропустил два-три гола.

…Уже через полчаса Сашка, надев ласты, серебристой рыбкой плескался в прозрачной воде, отдаваясь этому занятию с тем же энтузиазмом, с каким только что мочил монстров, гоняя их по всем закоулкам виртуальной вселенной.

*Не*формат

И мрачный гот, и ныне дикий панк, и душка толкинист — всё это наши дети. А ещё ролевики, а ещё стритующие, а ещё бегающие по стенам паркуровцы! Много их…

Отгородившись от взрослых наушниками своих плееров и телефонов, подростки умеют беречь свои тайны. Родителям и воспитателям не пробиться сквозь бастионы, охраняющие их миры и мирки…

Эмо

А вот ещё последнее время только и слышишь: эмо, да эмо. Может, это словечко имеет отношение к страусу эму? Может, они, эти люди, называющие себя эмо, прячут голову в песок, когда у них проблемы, и за это их так обзывают?

Да нет, говорят, так называют ребяток, любящих всё чёрно-розовое, цепляющихся за детство и сокрушающихся о несчастной любви. Всё бы ничего, да вот невзлюбили их в молодёжной среде, принялись самоутверждаться за счёт эмо-кидов.

Я сама неоднократно сталкивалась с тем, что презирать эмо и смеяться над эмо-кидами — круто, модно. Справедливо ли это?

Бедные детишки (я имею в виду эмо)! Пытаются жить чувствами в нашем неидеальном мире. Они стараются продлить детство (маечки, фенечки, хвостики и плюшевые мишки), потому что взрослый мир их страшит.

Помните, как Пеппи Длинный Чулок приговаривала: «Не хочу я быть взрослякой»? Но Пеппи была сильной девочкой и ловко расправлялась со своими обидчиками. А эмо-кид, по определению, существо слабое. И не хочет стать «взрослякой» потому, что боится брать ответственность за себя самого.

«Когда человек рождается, он гибок и слаб. Перед смертью — он крепок и чёрств». Это из фильма А.Тарковского «Сталкер». Я думаю, что эмо, со своей чувствительностью, любовью, романтикой, детскостью, во многом более живые люди, чем 14-летние старички, которые уже знают, как они будут строить карьеру, каким образом заработают много денег, и какие экзамены и в какой вуз им нужно для этого сдать.

Не обижайте эмо! Лучше постарайтесь их понять и дайте им время принять мир таким, какой он есть.

Хикки

Впервые слово «хикикомори», что в переводе с японского языка означает «выпавший из общества», запестрело в заголовках японских газет в конце 90-х годов. Этим мудрёным термином известный психотерапевт Тамаки Сайто «обозвал» набиравшее силу в японском обществе явление, заключавшееся в добровольном затворничестве среди подростков. Молодые люди, которым сложно было общаться со своими сверстниками, тяжело выносить высокие требования общества к их поведению, образу жизни, увлечениям, находили самый приемлемый для них выход: они запирались в своих комнатах и месяцами, годами не выходили оттуда. Едой, как правило, таких детей обеспечивали их родители, оставляя её под дверью комнаты своего чада.

Да уж… Эта японская зараза и до нас уже докатилась… Дети-затворники и у нас есть, сидят в своих комнатах — боятся нос высунуть. А родителей-то как жаль! Какая на них нагрузка.

Давайте обратимся к мудрости природы. Вот, например, львицы — замечательные мамаши. Два года львица принадлежит своим детёнышам безраздельно. Кормит, защищает, опекает. А потом, в один прекрасный день, она бросает своё чадо и уходит насовсем, не интересуясь даже его участью. Бедный львёнок-подросток в недоумении, гоняется за матерью, он привык к обслуживанию. «Я своё дело сделала. У меня моя жизнь, у тебя — твоя. Вырос — позаботься о себе сам», — даёт понять жестокосердная мамаша.

Нет, пожалуй, к человеческим детёнышам такая жесть неприменима. И что же делать с бедным хикки? Как вы думаете, читатели?

Алёша и Солнце

Этот мир так прекрасен за секунду до взрыва!
песенка

Ко мне на Лавочку[2] прибежал Алёша Дорохин, он учится в 4 классе гимназии №10.

У Лёши проблема. Где-то он прочитал, что через 26 лет Солнце взорвётся, и мы все, ясное дело, погибнем. Я пыталась его утешить: враки, мол, не верь. Но тема вселенского катаклизма его не отпускает. Волнуясь и жестикулируя, Лёша пытается выразить свои мысли:

«Но как же так? Была революция, голод, разруха… Всё пережили, всё вынесли. Потом война — победили, выстояли, чтобы мы могли жить. А теперь что же: 2033 год наступит и всё погибнет, весь мир, ничего не останется? Так зачем тогда партизаны на войне погибали? Получается, всё это зря? Зачем тогда жить, если всё это зря? Зачем?..».

Действительно, последнее время мы только и слышим: глобальное потепление, глобальное обледенение… В «Роевом ручье» птички птенцов феврале выводить собрались. Морозоустойчивые утки, обитающие в Протоке, вообще перестали на юг улетать — у нас теперь юг. А в дополнение ко всему моя собака в январе решила сбросить старую шерсть — весна пришла, здрасьте!

Я попросила ребят 8–9 классов ответить Лёше, и вот, что получилось: разговор привёл нас к глобальной проблеме — *вопросу о смысле жизни.*

— Лёша, живи!

Многие задаются вопросом: «Зачем жить, если через… лет будет конец света?» Начнём с того, что конца света может и не быть: кто говорит 26 лет, кто миллион лет, так что, скорее нам это вообще не грозит, можешь спать спокойно.

И потом даже за один год ты узнаешь много интересного, может, откроешь что-нибудь, разбогатеешь и будешь в шоколаде. И даже если ты ничего не изобретёшь, можно просто делать добро и наполнять им мир. А за это время что-нибудь изобретут, человечество на другую планету переберётся.

Так что живи, делай добрые дела, а мир и судьба в долгу не останутся!

Дима Федотов

— Лёша, ты слишком рано об этом задумался.

И даже если всё человечество исчезнет через несколько лет, то эти несколько лет нужно прожить так, как ты считаешь необходимым. Не терять ни минуты!

В общем, не пугайся того, что ещё не свершилось, бойся того, что натворил сам. А конец света когда-нибудь да придёт. Но не сейчас. Отнесись к этой проблеме позитивно. Учись жизни, учись любви, учись не задумываться над этим. Верь в лучшее, это всегда обнадёживает.

Аня Гусева

2 У нас в Детском районе есть такая Лавочка заветная, куда сбегаются дети для неформальной беседы. Начальник этой Лавочки — Ляля Мышкина, здесь — автор. Дискуссия о конце света и смысле жизни разгорелся у нас на занятии в мастерской литературного лицея.

— Не надо верить всем учёным, которые так говорят, они могут и ошибаться. Просто живи и наслаждайся жизнью, даже если учёные правы, и мы всё умрём! Ну и что, возможно после нашей смерти будет другая жизнь! Новая! Гораздо лучше, чем сейчас.

Просто живи, будь оптимистом, и если у тебя есть большая, чистая и добрая мечта, то стремись к ней.

Эля Цориева

— Я считаю, что нужно жить, чтобы делать добрые дела. И вовсе необязательно, чтобы эти дела были великими. Можно, например, перевести старушку через дорогу, накормить бездомную собаку или птичек.

Добрые дела — это как монетки, которые попадают в копилку Добра. И когда эта копилка наполнится, мир станет лучше. А ради этого стоит жить.

Витя Кириченко

— Жить нужно! Тебе говорят: «Конец света близок». Чушь! Сколько раз об этом «предупреждали»: на Землю летит комета, или эта дата нехорошая (например, 1999 год). Кометы всегда пролетают рядом. Метеориты по пути сгорают. Даты — вообще отдельная тема.

Успел ли ты сделать что-нибудь хорошее? Помог бабушке или решил мировую проблему?

Всегда надейся и молись Богу! И не забывай наслаждаться жизнью. Короче, *живи!*

Арсений Ковалевич

— Конец света, Апокалипсис, глобальное потепление и взрыв Солнца… Всё это каждый день звучит с экранов телевизоров и «забивает» наши бедные, измученные головы! В Арктике тают льды, и белые медведи голодают; во всём мире средняя температура поднялась на 2–3 градуса… Только на опыте моих 14 лет жизни конец света переносился уже 3 раза. Нельзя этим прогнозам верить. Потепление сменится похолоданием, популяция мишек возрастёт, а самая страшная дата уже позади…

А может и будет конец света, и нас сотрёт с лица земли. Как сказал знаменитый философ, «не есть ли смерть величайшее из благ?»

Лёша, смотри философски, не думай о нереальном и далёком будущем, наслаждайся мигом счастья!

Зоя Боровских

— Козьма Прутков сказал: «Если хочешь быть счастливым — будь им». Почему бы нам всем не следовать этому простому принципу? Не нужно зацикливаться на мелких неприятностях, нужно просто жить, созидать, делать добро и стараться проживать каждый день так, как будто это последний…

Саша Феоклистов

— Зачем, Алёша, жить, если всё равно умрём? Главная причина — сама притягательность жизни. Там, после смерти, будет всё равно: зло-добро, честь-бесчестье… Поэтому надо прожить так, чтобы все удивились и сказали: «А ну-ка, повтори!». Жить ради самого ощущения действия, борьбы, выбора. Это естественно. А думать над вопросом: «Зачем жить, если скоро умрём?» так же бессмысленно, как и искать смысл этой жизни. Надо жить, получая удовольствие от самого процесса.

Ульяна Исаченко

— Лёша, не беспокойся, Солнце взорвётся не через 26 лет, это я точно знаю. Это произойдёт через 5 миллиардов лет, так что тебе пока беспокоиться не о чем.

Я всегда считал, что у человеческой жизни не может быть другой цели, кроме как поддерживать эту жизнь.

Андрей Белоногов

— «Здоровые люди интересуются жизнью, больные — её смыслом», — сказал умный человек. Так давайте, наконец, вылечимся, и может быть, тогда на нас снизойдёт озарение…

Вот сижу на контрольной, думаю над трудной, неразрешимой задачей (такой же, как вопрос о смысле жизни). Ничего не получается. Поэтому я перестаю думать и гляжу в окно. А там интересно! Да ещё сумасшедшие солнечные зайчики по подоконнику прыгают! И сразу мне так радостно на душе становится, тепло, как будто «Х» нашла в пресловутом уравнении… А что если… вот так сделать? Ура! Получилось!

Раз одна задачка решилась, то, возможно и другая решится? Про смысл…

Катя Карепова

Собаки и другие звери

Тащите родителей в «Роев ручей»!

«Роев ручей» — это то место, где душа горожанина размягчается и отдыхает.

Следует отметить, что животные в нашем зверинце не имеют замученного вида, за ними ухаживают, поэтому они сытенькие и гладенькие, но… Всё-таки тоска в глазах некоторых хищников наводит на грустные размышления — неволя, она и есть неволя: по травке не побегаешь, не порезвишься. Жалко их. Но зато кормят досыта. На воле-то за этим кормом ещё погоняешься!

В «Роевом ручье» много интересного, но сегодня поговорим о медведиках, коих в этом чудесном месте скопилось множество. Тут тебе и простые бурые, и гималайские медведи, и медвежата махонькие и «новенький» белый медведь.

Клетку с медвежатами вы определите сразу — возле неё всегда народ с умильными физиономиями толпится, радуется, на игры мелких медвежьих ребятишек любуется. Эти юные друзья все в делах: тазик с водой перевернули, тузят друг друга беспрерывно, довольно крупные камешки таскают — тренируются. А один медвежонок научился высоко взбираться по сетке заграждения. Долезет до верха, цепляясь за решётку, и висит, сверху на всех поглядывает.

— Даша, ты куда забралась! — сказала работница зоопарка и попыталась помочь медвежонку-девочке слезть с решётки. Она протянула руки, чтобы взять шалунишку за талию, но не тут-то было — такой рык раздался, что все поняли, что перед ними будущая медведица, с которой шутки плохи. Тем временем другой медвежонок обхватил «медвежью няню» за ногу и примеривается, как бы половчее укусить её. Такие смешные!

А белый медведь по имени Седов (в честь мореплавателя назвали) — какой артист! Возле его клетки тоже всегда народ дожидается представления. А Седов вальяжно на горке развалился, лапы раскинул, отдыхает, на солнышко жмурится. А потом с разбегу — прыг! — и в бассейн. Брызги во все стороны! Из-под воды то хвостик, то лапа покажутся, то весь Седов — Его Императорское Величество.

Хорошо зверям — хорошо людям!

Блюз бродячего пса

Кого всё-таки у нас в городе больше: добрых людей или несчастных брошенных животных?

Для собаки важнее всего иметь хозяина. Пусть она при этом будет питаться только размоченной в воде краюхой хлеба.

Вот пёс Абрек. Абрек — потому что похож на огромную лохматую, чёрную барашковую папаху. Запасы доброты у этого пса воистину неисчерпаемы, особенно, принимая во внимание обстоятельства его собачьей жизни. Сколько он натерпелся от людей, но не озлобился и даже готов дружелюбно махнуть хвостом в ответ на ласковое слово.

Моя соседка Нина Николаевна два раза освобождала его, измождённого до грани смерти, от удавки. Удавка — затянутая на шее верёвка, не позволяет собаке проглатывать пищу, поэтому он и был страшно худым. Как он был благодарен своей спасительнице, как лизал ей руки и из последних сил вилял хвостом!

Нина Николаевна — святой человек, она не может равнодушно пройти мимо бездомных щенков и собак, попавших в беду. В мороз, зимнюю темень она подкармливает собак, спасая их от смерти. А какое давление она выдерживает со стороны окружающих, которые не понимают такой «ненормальной» самоотверженности!

…Возле дымящегося люка на прогретой земле лежит стая бродячих собак. Свернувшись клубком, положив на лапы грустные морды, они насторожённо косят печальным глазом на прохожих. Но прохожих не интересуют их собачьи судьбы. Они предпочитают не замечать их собачьих проблем, своих хватает. Взрослые «деловой колбаской» прокатываются мимо: идут читать доклады, заседать на педсоветах, торопятся к своей семье, детям.

Другое дело — дети. Милосердие ещё стучит в их сердцах, и они замечают несчастных животных, брошенных на произвол судьбы, жалеют их и не хотят привыкать жить в городе Бродячих Псов.

Как собачка лекции посетила

Группа студентов сидела на семинаре по… название предмета просто ничего детям не скажет, а студентам скажет слишком много, поэтому мы его опустим. На N-ском факультете университета много страшных предметов изучают.

Преподавательница была строга, высокомерна, насмешлива, держала бедных студентов в напряжении, не давая им спуску, и грозилась всякими расправами на экзамене. Студенты обречённо взирали на доску, силясь хоть что-нибудь разобрать.

Вдруг в открытую дверь аудитории не вбежала, нет, чинно прошествовала …собачка. Обыкновенная дворовая собака, довольно облезлая, грязноватая и какая-то удручённая.

Самое интересное, что аудитория размещалась на 3 этаже, и так просто с улицы в неё не попадёшь. По-видимому, жажда знаний у этой собачки была необычайно велика.

Собака деловито обнюхала все углы, не торопясь прошла вдоль проходов.

Студенты оживились, зашумели, захихикали, кто-то перегнулся через соседа, кто-то совал собаке кириешки (от них собака возмущённо отпрянула), но всех особенно удивила преподавательница. Она вдруг обнаружила недюжинный гуманизм, жалея собачку, она засюсюкала, заговорила ласково, не своим голосом: «Бедненькая, ты, наверное, голодненькая» и т. п.

«Ага, собачку так мы жалеем, собачка так голодненькая, а студент, что, не голодный? Его так можно и в хвост, и в гриву», — мстительно думали студенты. Но собаке тоже сочувствовали.

Собака, наконец, нашла себе место — улеглась в проходе, уютно положив морду на лапы.

Собака то спала, то бродила по классу, меланхолично чесалась, потягивалась. Ощутив себя в полной безопасности в миролюбивой студенческой среде, она даже позволила себе поваляться на спине.

На переменке сердобольные студенты по-товарищески поделились с животным сосиской и пирожком. Когда занятия закончились, и студенты потянулись к выходу, собака тоже вышла из аудитории. Как настоящий студент, она проспала положенные лекции и с чувством выполненного долга покинула стены университета.

Граф

Граф был устрашающе красив — огромный, ростом с телёнка, дог с чёрной, гладкой и блестящей шерстью и очень «серьёзным» голосом, он мог бы послужить украшением знаменитой Саутхемптонской трясины. Когда ему приходило в голову полаять, или по всегдашней собачьей привычке повыть на луну, все соседи многоквартирного дома дружно втягивали голову в плечи и вспоминали знаменитое проклятье рода Баскервилей.

Но внешность и у собак бывает обманчивой — у Графа была добрейшая душа. Когда в семье хозяев случилось прибавление — родился маленький внучок, Графа очень взволновала трогательная беззащитность маленького человечка, и он полюбил его всем сердцем.

Однажды ребёнок всю ночь капризничал, просыпался, плакал. То ли у него резались зубки, то ли мучил животик, поди, разбери этих младенцев. Не только родители, но и бабка с дедом не спали всю ночь, бедный Граф, понятно, волновался тоже. Уже под утро измученный беспокойной ночью дед громко сказал дочери: «Дай ты ребёнку поесть, в конце концов, может, он голодный!» Ведь многие молодые родители кормят младенцев по часам, свято соблюдая интервал между кормлениями.

Теперь умному Графу всё стало понятно: младенцу не дают еды, морят голодом! Он ненадолго исчез в своём закутке, где находилось его место, а

затем быстро процокал когтями по паркету в сторону детской. Вскоре там раздался изумлённый возглас молодой мамаши.

Всё семейство собралось в детской комнате вокруг кроватки. На подушке возле лысой головки ребёнка лежала великолепная косточка, которую Граф припрятал на «чёрный день» и которой пожертвовал во спасение от голодной смерти человеческого детёныша.

Динка

У этой истории, происшедшей в одной из пригородных деревень Красноярска, счастливый конец, но начиналось всё страшно.

Динка — это маленький чёрный щенок, помесь лайки и дворняги. Ей не повезло уже вскоре после рождения. «Добрые» деревенские люди бросили её в выгребную яму на бойне, куда сбрасывают кишки, головы, потроха скота после забоя.

Как? Непонятно! Но Динка выбралась из этой страшной ямы и прибежала в деревню. Там её подобрали дети. Они охотно играли с ней, наряжали в одёжки, как куклу, но никому не приходило в голову покормить бедного щенка.

Люба Д. вместе с матерью жила в деревне, у них там дача. Она видела, что дети возятся у плетня с маленьким чёрным щенком, но крепилась изо всех сил. Дома у неё живут две собаки и две кошки, все подобранные. Мама недвусмысленно предупредила, что больше никакой живности в их скромной двухкомнатной квартире она не потерпит: «Или я, или собаки».

Люба мирно пропалывала грядки, когда за забором в зарослях крапивы раздался полный ужаса и боли истошный щенячий визг… Люба вся содрогнулась и вдруг услышала совет «доброго» деревенского дедушки своему внучку Петьке — мучителю собак и кошек: «А ты её молотком!».

Раздумывать было некогда. Люба пулей выскочила за калитку, промчалась босиком по пыльной улице, молча выхватила у изверга еле живую собачонку и умчалась в дом.

Так у неё появилась Динка. Её пришлось выхаживать, у щенка были сломаны рёбра и лапки, избавлять от блох и откармливать. Динка быстро пошла на поправку, жадно съедала свою кашу, неизменно просила добавки и беспримерно полюбила свою спасительницу Любу.

Теперь она бегает, весело завивая хвост колечком, и спит на тёплой подстилочке. Ещё одно бессловесное, невинное существо выхвачено из лап жуткой и бессмысленной смерти, для того, чтобы полюбить человека всем своим маленьким, но преданным собачьим сердцем.

Котёнок

Однажды погожим летним утром рыбак чистил рыбу во дворе. Здесь было всё необходимое для технологического процесса: специальный столик, перед ним пенёк, рядом колонка с водой — очень удобно. Рыбьи потроха и головы рыбак аккуратно складывал в пакет и совершенно был не против, чтобы котёнок, вертевшийся тут же, подкрепился отходами его улова. Но у котёнка были другие планы.

Улучив момент, он стянул уже очищенную, сверкающую серебряными боками рыбку и хищно вонзил зубы в нежнейшую плоть! О, как это вкусно, ребята, мя-у!

Котёнок громко заурчал от наслаждения… и выдал себя с головой. Рыбак обернулся, отобрал рыбку и прогнал котёнка.

Нахохленный, сердитый котёнок уселся неподалёку от рыбака и всем своим видом постарался изобразить примерно следующее:

«Позор жадному человечеству!».

Cool Little Dog

Прихожу я как-то раз из школы и чувствую, что-то не так, а что — не пойму. Ах, вот оно что! Почему-то моя собака не выскочила радостная ко мне навстречу, как это обычно происходит. Тихонько подкрадываюсь к своей комнате, открываю дверь и… вижу такую картину.

По всей комнате разбросаны мандариновые шкурки, конфетные бумажки, валяется истерзанный иллюстрированный журнал «Cool». Моя собака Джеся лежит на диванчике (что ей категорически не разрешается), положив одну коротенькую лапку на другую, и болтает по телефону с соседской собакой Альмой.

Я прислушалась.

— …Алё! Сейчас в моде знаешь, какие духи? «Пёсьи ночи в Париже» называются, я в журнале читала. В каком-каком?! Ты, Альма, совсем уже! В «Cool Little Dog», конечно. Это самый модный журнал, только для крутых собачек. Там такие постеры классные. Помнишь Рекса… ну, из фильма-то про полицию? Да, он — такой красавец. Хочешь, подарю тебе этот плакат? А ты мне… а ты свой медальон в виде косточки… Как съела?! Тогда компьютерную игру «101 далматинец»…

В общем, всё в таком духе. И тут, девчонки, со мной что-то случилось. Я вдруг повела себя так же, как мама, когда я долго по телефону с подружками болтаю — как закричу:

— Немедленно прекрати и учи уроки!

Джеська кубарем скатилась с дивана, виновато завиляла хвостиком и кинулась ко мне в ноги.

Соколиная служба

Если птица, не дай Бог, попадёт в турбину самолёта, то страшной трагедии не миновать. Хоть это и редко бывает, но всё же случается. А как избежать такой беды? Городские птицы не боятся шума, и отпугнуть их от места посадки-взлёта самолётов не так-то просто.

В аэропорту им. Кеннеди с птицами борются природными методами. Целое подразделение соколов разгоняет птиц — голубей, ворон, гусей — в небе над взлётно-посадочной полосой. Соколам гоняться за собратьями по виду очень нравится — в природе они этим и занимаются, а людям так спокойнее — одной возможностью беды меньше.

Вы слыхали, как поют… киты?

Горбатый кит — очень умное и спокойное млекопитающее, сядет себе в уголок океана и «мурлыкает» песни собственного сочинения. О чём же он поёт, на что жалуется, чего хочет?

Когда люди впервые обратили внимание на песни горбачей, доподлинно неизвестно. Но учёные приступили к их изучению только после того, как был изобретён подводный микрофон (гидрофон). Самые ранние записи песен этих китов относятся к началу 1950-х годов. В 70-х годах была записана пластинка с песнями китов, которая разошлась огромным тиражом, сравнимым с записями популярных вокальных групп.

Однако ответить на вопрос, о чём поют киты, специалисты пока не в состоянии.

Американские астронавты транслировали песни горбатых китов на всю вселенную. Что же, может, инопланетяне быстрее нас разберутся в музыке морских гигантов Земли, им, может, песни китов понятнее, чем прозаическая речь человеков.

Учёные, мучаясь тайной китов, даже австралийских аборигенов спрашивали: как, по их мнению, поют киты — сложно, доступно, красиво, дурно? Всё-таки бушмены к природе ближе… Аборигены отвечали, что киты поют хорошо.

Слушая песни горбатого кита[3]..

Чуть ли не с самых первых нот захотелось заплакать… Почему-то мне показалось, что этот кит очень одинок. Как я сейчас. И я почувствовала, что нас с ним объединяет что-то необъяснимое — странно близкими показались мне звуки его песни. Просто… это мои чувства, моя боль, моё одиночество, только в звуках!

Чувствую единство со всем миром…

Настя Сергиенко

Голоса китов очень музыкальные, чем-то напоминают звуки трубы, эхо которой разносится по всему океану. Эти звуки какие-то космические… Представляешь себе далёкую страну, неведомую нам жизнь, невиданных существ…

Звуки доносятся из глубины моря и разносятся далеко. Киты словно с другой планеты, для них нет ни времени, ни дела до нас. Только вечность и их вселенская грусть, им поют они свою песню. Может, они скучают по кому-то, а может… вспоминают о забытой и потерянной родине, где они жили и их почитали. Поют о просторах океана, о его красоте… Захватывает дух и уносит его далеко в небо, в космос, в никуда… В неведомые дали, куда мы не сможем долететь ни на ракете, ни на других изобретениях человечества. Только мыслью, только душой…

Аня Гусева

Сирены, зазывающие странников, превращают своих пленников в слепых китов, которые скитаются по океану и поют. Их песни жалобны и скорбны, потому что рой смутных воспоминаний не покидает их большие серые головы. Их души рвутся куда-то вдаль, в навсегда ушедшее прошлое, где они были другими. Кем? Кем они были тогда?! Нет, им не дано этого вспомнить… Им дано лишь скитаться в широкой темноте морей, слушать звенящую, переливчатую музыку сирен и подпевать им… Им тоскливо и холодно, им страшно и одиноко, поэтому их напевы так печальны и жалобны. Кит как телёнок, потерявший маму. Он один в звучащей тишине океана, где только глубина, страх и жуткое ощущение пустоты…

Катя Карепова

У меня была прабабушка Шура. Она умерла, когда мне было 5 лет. В детстве я гостил у неё, в её старом домике. Она любила прясть на своём веретене. И песня горбатого кита вызывает в моей памяти картинку, как бабушка прядёт на веретене. Я не помню, как звучало её веретено, но песня кита кажется мне похожей на эти звуки и на ту атмосферу добра, которая царила у бабушки…

Витя Кириченко

Музыка напоминает пение морских сирен, в тёмную-тёмную ночь зовущих наивных сладострастных моряков. Медленный, ритмичный плеск волн — кажется, что они шепчутся друг с другом. Звёзды на небе мигают и переливаются, танцуют, меняются местами… Где-то в чёрной неприветливой глубине плачет кит. Он одинок. Он ранен, но не в тело, а в душу. Он плачет.

Мне хочется крикнуть бессовестным звёздам: «Вас много, вы горячие, вы смелые… Но вы злые!!! Загляните под холодное одеяло волн, опуститесь на дно! Вы же слышите эту песню умирающего кита! Кроме вас ему никто не поможет!»

Я крикну, но звёзды равнодушно промолчат. Я плюну с досады и брошусь в волны — умирать вместе с китом…

Лера Васильева

Сквозь листву и стеклянные стены пробивается солнечный свет.

В бесконечности стеклянных коридоров мы давно уже потеряли друг друга.

Здесь слышны голоса тех, кто был до нас.

Когда мы пришли сюда, первое, что мы увидели, — это отражение в тёмной глади воды стеклянного лабиринта…

Ульяна Исаченко

Слушая эту Божественную музыку, я уношусь далеко в своих мечтах. Перед глазами возникает восхитительная картина, полная красок. Здесь воздух чист и свеж… Дует лёгкий ветерок, и по зеркальной поверхности бесконечного океана проходит едва заметная рябь… Посмотришь вниз, в бездонные глубины этой изумрудной воды, и кажется, что она настолько прозрачна, что можно разглядеть каждую песчинку на дне океана…

Есть ли в нашем мире такое место? Но это не важно. Главное, что я это вижу… И теряю счёт времени, забыв про всё на свете, и думаю о красоте…

Настя Скоробогатых

Слоники, берегите хобот!

Маленькие слонята не знают, что делать с хоботом. Он им поначалу не нужен, они ведь материнским молоком питаются. Слоники ещё не умеют управлять хоботом, поэтому выглядят очень смешно, особенно когда бегают — хобот отдельно, а слонёнок отдельно.

Лишь много позже они научатся им управлять. Взрослый слон может поднять с земли копеечку,

3 На мастерской в литературном лицее я поставила детям запись с пением китов и попросила детей поделиться своими впечатлениями. Ребята тоже сказали, что киты поют хорошо. Но, в отличие от бушменов, они ведь еще и написать могут. Слушая запись, они описывали свои чувства и эмоции, а также мысли и образы, посетившие их во время прослушивания.

чтобы поднести её к глазам и хорошенько рассмотреть.

Если хобот травмирован, то слон может даже умереть с голоду. Ведь они хоботом рвут траву и отправляют пищу в рот тоже с помощью хобота. А ртом им до пищи никак не дотянуться, даже если встать на колени.

Сэр Сыр

Это крыс по имени Сыр. Он просто красавец — сам серый, уши и лапки — прозрачно-розовые, а глаза не красные, а голубые.

Сыр живёт у одной молодой пары — Кати и Димы, ребята о нём хорошо заботятся. Можно даже сказать, что он как сыр в масле катается. Этому крысу повезло — его любят. Катя где-то вычитала, что хороший хозяин должен уделять своей крысе не менее одного часа в день, эту норму они стараются соблюдать. Сыр платит им за любовь взаимностью: когда они возвращаются с работы домой, крыс от радости чуть не выпрыгивает из клетки. Катя считает, что это «чистая» радость, не связанная с тем, что его тотчас примутся кормить. Сыр просто рад их видеть, потому что ему скучно без хозяев, которых он обожает.

Как хрупка жизнь

Знаешь ли ты, что панд на земле осталось очень мало? Даже на эмблеме защитников дикой природы изображена именно она — панда. Одна из причин угрозы исчезновения животных то, что их невозможно разводить в неволе. Даже если они содержатся в природных условиях, детёныши панды почему-то не выживают.

Новорождённая панда весит всего 100 грамм, как шоколадка, она вся такая розовенькая, но совершенно не пушистая. И постоянно пищит, наверное, боится, что 90-килограммовая маманя может её, такую крошку, нечаянно задавить.

Но опасается она совершенно напрасно. Мама-панда очень самоотверженная. Она 25 дней не вылезает из пещеры, не ест, не пьёт, не оставляет в одиночестве свою малютку ни на минуту. Выкармливает, обогревает малышку и непрерывно нянчится с ней. Маленькую панду ни в коем случае нельзя разлучать с мамочкой! Представляете, как сложно такой хрупкой малышке вырасти и превратиться во взрослую панду.

Кстати, давай посчитаем, во сколько раз новорождённая панда весит меньше своей мамочки.

90 кг = 90 000 г (потому что в 1 кг — 1000 г).

Делим 90 000 г на 100 г, получится 900. Крошка панда в 900 раз меньше весит, чем её мама!

Интересно, а как у людей? Новорождённый имеет вес примерно 3 кг, а средняя мама — 60 кг. 60 кг разделить на 3 кг, получается 20. Когда ты родился, ты весил примерно в 20 раз меньше своей мамы. По сравнению с пандой это ещё по-божески.

Вместо заключения

«Детскому району» 7 лет.

Белеет наш парус

«ДР» — маленький юркий парусник, который изо всех сил старается удержаться на плаву. Это так сложно, когда в команде одни юнги. А кругом толстые журналы-корабли, блестя глянцевыми боками, свысока поглядывают на наш чёрно-белый бумажный кораблик и задирают нос, прямо как в песне: «Белеет наш парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей»… Но только мы — не одиноки. Мы гордимся своими друзьями. Нас поддерживает городской школьный пресс-центр, а письма приходят не только из Красноярска, но и из отдалённых уголков края, таких как Пировский, Ермаковский районы, из Лесосибирска и Енисейска. И мы очень радуемся, ведь это свидетельствует о том, что наша газета нужна детям.

А мы так стараемся заслужить любовь наших юных читателей!

«ДР» зародился в недрах газеты «Городские новости». За 7 лет мирного сосуществования наши «родители» показали себя с хорошей стороны: разрешают нам делать всё, что захотим, не покушаются на нашу свободу и не досаждают опекой. Благодаря их покровительству мы можем позволить себе иметь необщее выражение лица, быть духовными, романтичными, беззаботно восхищаться звёздами, облаками и зверюшками.

Издательство «Городские Новости» — наш единственный спонсор, и за это им огромное *спасибо!*

«ДР» — дитя XXI века. Мы надеемся, что он не падёт в неравной борьбе с компьютером, телевизором, глянцевыми журналами за детское внимание и расположение, останется для вас хорошим товарищем, вы смело можете доверить нам все свои тайны и секреты, и не сомневайтесь, мы уж раззвоним о них на весь Красноярск и его окрестности. :) Продолжение следует!

Бойцы невидимого фронта

Вот уж действительно, кто не любит привлекать внимание к своей персоне, так эти сотрудники. Все, как один, не любят фотографироваться. Просто, секретные агенты какие-то. Но сегодня-то, в день юбилея газеты, мы их рассекретим. Кто делает всё, чтобы очередной выпуск «ДР» состоялся? А кто за кадром?

Татьяна Квитко, *дизайнер-верстальщик*

Благодаря урокам информатики и связанной с ними повальной компьютерной грамотностью, дети легко могут представить себе, что это за дело такое — вёрстка.

Таня Квитко — повелительница принтеров, сканеров, фея компьютерных программ Draw, Pagemaker и Photoshop. Она, не побоюсь этого слова, гений вёрстки. Попробуйте-ка «впихнуть» тексты и многочисленные картинки в наш непростой макет с улочками, переулочками, закоулочками, чердаками и подворотнями!

— Дорогая Таня, Вам не надоел «Детский Район»?

— Нет, для меня удовольствие переключиться с основной газеты на «Детский Район», повозиться с картинками, почувствовать его особый формат… Это разнообразит, так сказать, моё повседневное профессиональное меню.

— Таня, вот вы по образованию математик, скажите, нужны ли в детской газете головоломки, шарады? А то дети, которые постарше, смеются над ними: что, мол, за детский сад! Вы в детстве любили заниматься разгадыванием всяких ребусов?

— Конечно, мне нравились головоломки, да я и сейчас считаю их полезными — люблю поломать голову над какой-нибудь задачкой.

Людмила Широкова, *корректор*
Ребята, если вы
1 дружите с русским языком и литературой;
2 часто обуреваемы странным желанием: похитить с учительского стола стопку тетрадей и быстро-быстро их проверить, то вы — прирождённый *корректор!*

Корректор вычитывает газету, то есть проверяет текст на правильность названий, фамилий, наличие ошибок и несоответствий. Как учителя сочинения проверяют, примерно так. Хотя журналисты все сплошь народ грамотный, но ведь каждый может сделать «очепятку», согласны? А ещё, ребята, открою вам секрет: на столе Людмилы Леонидовны лежит настоящая лупа, как у Шерлока Холмса, она с ней на ошибки охотится.

— Людмила Леонидовна, как правильно называется Ваша специальность? Может, кто-то из читателей захочет получить Вашу профессию.

— Название специальности звучит так: «Корректирование книг и журналов».

Я 20 лет проработала в типографии, теперь вот — в издательстве, очень люблю свою работу.

Людмила Леонидовна самая первая читает тексты нашей детской газеты. Прежде чем «ДР» попадёт в печать, она изучит его до мельчайших деталей.

— Как Вы относитесь к «ДР»?

— Серьёзно, трепетно и с огромным интересом. Думаю, что детскую прессу надо развивать, и «Детский Район» — показательный пример в этом смысле, ведь это газета, которая объединяет детей и молодёжь города. В таком издании нуждаются не только дети, но и мы, взрослые. Потому что, если взрослые научатся «слышать» детей — то и мир изменится к лучшему. Ведь дети делают и пишут всё искренне и с душой, то есть открыто.

— А если бы Вы в наше время были ребёнком, Вы бы стали читателем «ДР»?

— Не знаю, как ребёнком, но сейчас я его читаю с удовольствием, и всегда радуюсь, когда редактор «ДР» Елена Тимченко появляется в нашем издательстве с материалом следующего номера.

Юные художники

Трудно представить нашу газету без рисунков двух девочек — Лизы Тимченко и Риты Вдовенковой. Обе они учатся в детской художественной школе им. В.И. Сурикова, Лиза -во втором классе у педагога Анны Владиславовны Майстренко, Рита — в третьем, педагог Виталий Фёдорович Янов.

Рита Вдовенкова

Кроме художественной школы, она учится в музыкальной школе и в литературном лицее. А в обычную школу она не ходит — у неё домашнее обучение.

— Так что же тебе нравится больше всего: музыка, рисование или литература? — спросили мы Риту. И она ответила:

— Я никак не могу определиться, мне всё нравится. А поскольку я никак не могу сделать окончательный выбор, приходится ездить в три школы на нескольких автобусах.

Героини её рисунков — феи, дюймовочки, городские девочки, балерины, русалочки — нежные и романтичные, как сама Рита.

Лиза Тимченко (Веточкина)

Большую часть многочисленных собак «ДР» нарисовала Лиза. А также всевозможных ведьм, колдуний, привидений, мальчишек с фингалом под глазом, ёжиков в тумане и ворон — это её профиль.

На лавочке у Ляли Мышкиной

Интервью с редактором «ДР» **Еленой Тимченко**

— Ляля, ты такая серьёзная сегодня. Что это у тебя в лапках? Вопросы? Интервью брать будешь? О! Давай тогда чайку поставим, откроем коробку конфет…

— Елена Владимировна, я не знаю, с чего начать…

— Давай я тебе помогу. Ты ко мне как к редактору «ДР» пришла или как к человеку?

— И то, и другое — хочется и про газету поговорить и про жизнь тоже…

— Чем «ДР» отличается от других детских изданий? И почему вы не всегда реагируете на городские мероприятия, которые у всех на слуху? Карнавал, например.

— Ах, ты на меня «наехала», ну, держись! А почему все издания должны быть друг на друга похожими? Почему должны бесконечно воспроизводить кем-то заданный шаблон? Включаешь телевизор — там по всем каналам одно и то же, обязательный набор тем и новостей, а тут мы ещё — ну описывать, кто в каких костюмчиках шествует. Согласись, что посмотреть карнавал интереснее вживую или по телевизору. И потом, у нас нет профессиональных фотографов, да и приличного фотоаппарата тоже нет, чтобы «освещать» такие события.

Мы не важничаем и не подражаем «взрослым» газетам. Что детей волнует, о том они пишут. Среди наших авторов есть даже учащиеся начальной школы. Детям художественная форма — рассказ, сказка, стихи — ближе и легче даётся. Очерк, интервью, репортаж требуют всётаки более профессионального подхода. Вот мы и учимся беспрерывно. Только ребёнок чему-то научился, глянь — а он уже студент! Студенты у нас в редакции тоже есть.

Главное, что есть такое место, где можно услышать голос ребёнка, подростка, где он может проявить себя творчески, куда, наконец, можно принести свои тексты, рисунки, фотографии.

Это же счастье большое, если тебя напечатают в «Детском Районе» — весь город прочитает, увидит.

— Чего не хватает современному городскому ребёнку?

— Хороший вопрос. Действительно, вроде бы всё у него есть: телевизор, компьютер, сотовый телефон, плеер и т. п. Он пришёл из школы или с

улицы домой, в стандартную городскую квартиру, окружил себя пультами управления от всевозможных технических устройств и… кайфует. Причём по радио он не услышит сказку или «Радионяню», чьи позывные хорошо помнят люди моего поколения, а по телевизору увидеть старый добрый мультфильм про Ёжика в тумане — большая удача…

Не хватает уюта, тепла, чтения — под оранжевой лампой с абажуром. В «ДР» мы пытаемся всё это дать.

— О чём Вы думали в детстве?

Когда я была маленькая, я жила в деревне, и оттуда мне казалось, что если приехать в Москву, то непременно попадёшь к Аркадию Райкину (в то время он был жив и всеми любим) прямо домой, и он рассмешит тебя до полусмерти. Вот такая я была наивная деревенская девчонка.

Сейчас родители первым делом озабочены, как развить ребёнка, чем его нагрузить, кем он будет, когда вырастет, в первую очередь в профессиональном плане. Мне очень вольготно жилось с моей безграмотной бабушкой и очень уютно. Вообще деревенское детство даёт огромный заряд душевного тепла — на всю жизнь хватит. А сколько прочитано книг! Спасибо прекрасной деревенской библиотеке — читала я «полками». Полка «Стендаль», полка «Бальзак», полка «Куприн» и т. д.

— Кто Ваши любимые детские писатели? Любимые книги?

Недавно в «ДР» мы печатали «Феньку» Леонида Пантелеева. Эта книжка из моего детства, обожаю «Феньку». Это же надо так придумать! Маленькая девчушка питается гвоздиками и запивает их бензином!

Туве Янссон и Астрид Линдгрен — очень люблю этих писателей. Обратите внимание, что все знаменитые сказочники живут или жили на Севере (Финляндия, Швеция, Дания). У меня есть на этот счёт теория. Просто длинные зимние дни и вечера у печки располагают к раздумью и сочинению сказок. Городской ребёнок, ты когда-нибудь слышал, как за окном завывает вьюга, стукает ставень? То-то. За пластиковыми окнами ничего услышишь.

…Зимой морозы стояли жуткие. Деревенскую школу закрывали на 1–2 недели. Я целыми днями читала, играла с кошкой, рисовала пальцем на заиндевелом окне, лежала на лавке возле печки — грелась и думала… «о царе Горохе».

Сейчас можно послушать практически любые звуки природы: хоть тропический дождь, хоть песни китов. А вот завывание вьюги, стук ставень и лай собак в ночи, — такой композиции я не встречала. Рекомендую — мечтательным людям понравится.

Да… Ещё к вопросам о книгах. Люблю очень «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Мои дочери почему-то тоже с этой книгой не расстаются — это у нас семейное. Отправляясь на экзамен, младшая Лиза всегда напомнит как бы невзначай, что Холден Колфилд из 5 предметов завалил всё, кроме английского языка.

Для меня вообще существенно, как люди относятся к тем или иным книгам, писателям. Допустим, человек обмолвится, что не любит Толкина, я сразу настораживаюсь.

— Сакраментальный вопрос: а как вы относитесь к «Гарри Поттеру»?

— О, Ляля, какие ты умные слова знаешь! «Сакраментальный» — о-ё!

Да нормально отношусь. Только считаю, что недобросовестные взрослые, поторопившись заработать денег на этой эпопее, не потрудились как следует перевести книжку — на нормальный русский язык, и бедные дети вынуждены читать текст, представляющий собой подстрочник. Я никак не могу дальше первой главы пробраться, скучно… Мне там, правда, сова Букля понравилась, которая разносила почту и была такая старая, что засыпала на лету. Принесёт письмо — и бряк на стол кверху лапами, то ли заснула, то ли померла. Этот персонаж напоминает мне меня саму. :) Наверное, отдыхать не умею, потому что постоянно хочу отдохнуть. Да и работы всегда полно.

— А какие у вас требования к детским текстам?

— Ляля, вот тебе пятиклассник текст принёс, старался, пыхтел над ним. Что ты ему предъявишь? Ошибки исправишь, да и — вперёд. Главное, чтобы искренне и непосредственно написал о том, что его волнует. Главное, чтобы фальши не было. Мы, правда, не всегда подписываем, какой класс, но видно же… К старшеклассникам, конечно, можно «прикопаться». Но всё равно, если текст не графоманский, мысли интересные, оригинальная идея, но слегка коряво написано, то это дело поправимо. Во «взрослой» газете не станут возиться, а мы станем.

Детская газета — это ещё и такая своеобразная педагогическая деятельность.

— А как ребята относятся к редакторской правке? Мирятся?

— В основном смиренно. Доверяют и соглашаются, но бывает и бунтуют. Скажу тебе по секрету, что иногда редактора полезно и послать… куда подальше. Если дело касается принципиальных вещей, то нужно отстаивать свою позицию.

Бывает, редактор возомнит себя господом Богом и кромсает, как ему нужно. Я вот однажды влезла в стихотворение одной девочки (ты её знаешь, это — Риса). Предложила ей отбросить несколько строчек, которые мне показались банальными. На мой взгляд, стихотворение бы только выиграло. Но она меня быстро в чувство привела, сказала: «Или вообще не печатайте, или печатайте полностью».

Стихи — это сложно. Я люблю поэзию, но я же не поэт, поэтому обычно с Мариной Олеговной советуюсь.[4]

Но бывает и так, что нам стихи не понравятся, а дети их «спасают», в их неискушённом сердце они почему-то находят отклик. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать…»

Нельзя обижать поэтов…

— Легко ли работать с детьми?

— Дети — это стихия. Мы, взрослые, привыкли жить чувством долга. А ребёнок — нет, фигушки. Он может пообещать — и не сделать, может тянуть кота за хвост, бездельничать. Приходится терпеливо ждать, когда его посетит вдохновение.

У нас в «ДР» не принято давить на детей. Пишут, о чем хотят. Это-то и интересно, о чём он там себе думает, когда школьный учитель не стоит над ним с дубинкой: делай то, делай это.

В лицее на мастерских мы пытаемся вдохновить их, обсуждая различные проблемы и вопросы. Работать с мотивированными детьми приятно, но и сложно, ответственность большая. И мне кажется, при таком творческом контакте, взрослому человеку нужно соблюдать «технику безопасности» — стоять чуть-чуть в стороне, не давить на своё мнение, не навязывать детям мысли и стереотипы. Иногда приходится иметь дело с текстами, которые носят следы чужого, не детского, воздействия — взрослый поработал. Это сразу видно, и не всегда хорошо. Ты наверняка слышала, как Марина Олеговна говорит о людях, которым в голову «вложили кирпич». Недопустимо, чтобы у лицеистов начал формироваться такой «кирпич».

— Какие качества Вы цените в людях? Что любите, что не любите?

Ценю великодушие и внутреннее благородство, которое не позволяет человеку поступать бесчестно и несправедливо. Вообще-то я люблю людей, стараюсь не осуждать никого, просто утешаюсь мыслью, что все люди стоят на разных ступеньках развития, в том числе духовного, наверное, работа с детьми приучила меня так думать.

Вот ребёнок. Он такой. Он сейчас думает и поступает так, может, нехорошо, неумно, но он изменится, вырастет. Нелепо на детей обижаться, хотя и поощрять неправильное поведение не стоит.

Так и взрослые — все со временем станут лучше, все придут к «облагороженному образу»[5] правда, может, и не в этой жизни. :) Считают же, например, йоги, что человек, достигший совершенства, уже никогда больше не родится на земле.

— А мечта у вас есть?

— У меня много «мечт». Вот одна из тех, о которых не стыдно рассказать людям: очень хочется побывать в Исландии, «потоптать загадочную ледяную мантию».

Во-первых, Север, который я так люблю, во-вторых, справедливое общественное устройство. Людей в стране мало, природные условия суровые, поэтому каждый человек на счету, и государство о своём народе действительно заботится. Например, если человек нуждается в медицинской помощи, то будь он хоть президентом, хоть жителем деревни, он её получит на высшем уровне.

В-третьих, мне приятны романтичные настроения жителей Исландии, у которых два главных увлечения — шахматы и самодеятельный театр. Или, допустим, прокладывают дорогу через холм. Местные жители говорят, что нельзя его трогать — там гномы или эльфы живут. Им безоговорочно верят — и пускают дорогу в обход. Уважают местных духов.

— Я не спрашиваю, чего вы боитесь как человек, наверное, для каждого это слишком личное. Но чего Вы боитесь как редактор?

— Когда-нибудь открыть газету и прочитать «ДР» в переводе Гоблина.

Ну что, Ляля, на все твои вопросы я ответила, или у тебя ещё что-то есть в карманцах? Конфеты кончились — и вопросы кончились. Это как-то взаимосвязано, а?[6]

Муха

фантастическая школьная история

1

Класс мирно дремал на уроке под убаюкивающее жужжание учительского голоса… Мало кому, за исключением двух-трёх ботаников, интересно слушать о практическом применении галогенов и их соединений… О, скука смертная! Кто зевал, кто клевал носом… Вдруг какое-то иное, инородное жужжание прорезало привычный звуковой фон.

Ж-ж-ж-ж!

Крупная, невесть откуда взявшаяся муха низко, медленно совершала облёт класса. Повисла тишина, не только ученики, но и учительница не могли отвести взгляда от сонной, но, без сомнения, живой мухи, кружащей над головами притихших детей. Это было так удивительно — живая муха глубокой-то осенью, когда все букашки и козявки уже попрятались, приготовились к зимним холодам…

То ли эта муха была какая-то не такая, как все, какая-то легкомысленная, то ли просто отогрелась в теплом, согретом дыханием детей помещении и проснулась, перепутав осень с весной.

Ж-ж-ж-ж!

Вдруг муха брякнулась на парту Виталика Федотова, прямо ему под нос, прямо кверху лапками и… захрапела.

Класс взорвался хохотом. Так было смешно, поверьте! Бряк — и храпеть!

Пока народ смеялся, Виталик соображал: надо было быстро спасать муху от кровожадных одноклассников. Мало ли что им в голову придёт сотворить с сонной беззащитной мушкой. Он быстро, но осторожно схватил насекомое и засунул его в пенал, пенал закрыл и положил в портфель.

2

Дома Виталик, приготовившись делать уроки, открыл пенал… и обнаружил там муху, о которой уже забыл за длинный и многотрудный учебный день. Муха мирно спала между ластиком и карандашом, уютно подложив лапку под крошечную головку.

Виталик был добрый мальчик, из тех, что и мухи не обидит. Он взял маленькую коробочку, раньше в ней были мамины тени для глаз, положил кусочек ваты, чтобы мухе было мягко, поместил её туда, а коробочку положил на батарею.

За долгую зиму Виталик только однажды потревожил сон своей необыкновенной приятельницы, он открыл коробочку, чтобы взглянуть: как там муха?

Муха спала. Неожиданно она перевернулась на другой бок, недовольно пробормотав: «Закрой, дует!». Виталик мог бы поклясться, что всё было именно так. Так и сказала: «Закрой, дует!».

---

4 М. О. Саввиных — директор литературного лицея.

5 Даниил Андреев «Роза мира»

6 Открою секрет: Ляля Мышкина здесь тоже я. Это такая игра, называется самоинтервью.

Мальчик захлопнул коробочку. Посидел словно контуженный, потом осторожно перенёс мушиный саркофаг в тёплое место.

3

Только весной Виталик Федотов решил вскрыть заветную коробочку. Муха вылетела из своей спальни, как пуля. Немного полетала и без сил свалилась на стол. Выглядела она неважно. Вся какая-то бесцветная, страшно исхудавшая, с дикими голодными глазами.

— Кушать! — закричала муха. — Пить!

Виталик метнулся на кухню и принёс ей остатки своего обеда. Муха долго, жадно насыщалась, орудуя всеми шестью лапками одновременно. Воду она лакала шумно, как небольшой такой бегемот. Наконец она удовлетворённо откинулась на подушку.

Наевшись, напившись, Муха сразу похорошела. Сытое брюшко давало зелёные отблески, глазки повеселели, крылышки бодро встопорщились.

Виталик оторопело глядел на свою подружку, отметив про себя, что это была очень симпатичная большеглазая муха, не какой-нибудь гадкий экземпляр, нет-нет, её можно было даже назвать хорошенькой.

— Вот теперь можно и поболтать, — сказала муха благодушно. — Во-первых, спасибо тебе, добрый мальчик… Виталик, кажется? Спасибо тебе, Вик, что приютил, обогрел, да что там — жизнь сохранил! За это я тебе послужу.

— Да ладно, чего там, не считай себя обязанной. Я просто… Я ничего такого особенного не сделал. Как тебя-то зовут?

— Зови меня просто Мушаней. Или Мусей.

4

С той поры стали Виталик с мухой неразлучны. Утром Мушаня просыпалась первой и принималась будить мальчика, щекоча ему нос. Дома одна сидеть она отказывалась, поэтому повсюду следовала за Виталиком.

Виталик стал нервным и озадаченным, потому что постоянно тревожился за свою подружку. Знаете ведь, как у нас к мухам относятся — пристукнут машинально и не заметят! Куда бы они ни шли — в обычную школу или художественную, или на каратэ — на первом месте стояла мушиная безопасность. Как заправский телохранитель мальчик обдумывал весь маршрут заранее, стараясь предугадать все опасности.

Пришлось даже отрастить длинные волосы, как у девчонки, Муся в них за ухом пряталась. На практике в художке из-за такой причёски даже смешной случай приключился…

Их класс рисовал на улице старинные здания. Как обычно, юные художники привлекли внимание народа. Некоторые любопытные прохожие заглядывали со спины в этюдники, хвалили или давали советы. Виталик сидел рядом с девочкой Катей. К ним подошёл гражданин, долго наблюдал за тем, как они рисуют «Детский мир» и вдруг сказал Кате, кивая на Виталика:

— А вы с подружкой-то по-разному на мир смотрите!

Весь класс радостно заржал, ну, не над тем, конечно, что ребята «по-разному на мир смотрят» — это понятно, а что дяденька принял Виталика за девочку!

А на каратэ так и вообще муху некуда было девать. Волосы приходилось собирать в хвост, а в одежду вообще не спрячешь. Вик с трудом уговорил Мушаню, чтобы она сидела тихо в тренировочной сумке в специальном кармашке и ждала его.

Да, хлопотное это дело… Вот обзаведёшься таким домашним питомцем — и лишишься покоя навсегда.

5

— Фу, как оскорбительно! Как несправедливо! — возмущалась Мушаня, нервно потирая лапки.

— Чего ты расстроилась? — сочувственно спросил Виталик, отвлекшись от учебника биологии.

— «На лапках у одной мухи — миллионы микробов», — процитировала муха. — Обидно.

— Ну, это же не про тебя, ты же домашняя мушка. И потом — на руках человека знаешь, сколько микробов? — утешительно шептал Виталик. (Шептал, чтобы мама не услышала, она и так подозревала, что он сам с собой разговаривает).

— И ничего я не переношу, никаких инфекций, — Мушаня капризно растопырила лапки и критически их оглядела. — Я очень опрятная муха, чистюля, ведь правда?

— Стопудово!

— Тогда полетели купаться!

— Полетели! Ж-Ж-ж-ж!

Виталик раскинул руки и помчался в ванную комнату. Мушаня, словно маленькая сестрёнка, старший брат которой согласился поучаствовать в её играх, счастливо смеялась. С размаху врезавшись в мыльницу, она стала исполнять зажигательный танец. Когда у тебя не две, а шесть конечностей, то для исполнения ирландской чечётки открываются дополнительные возможности. А Вик пока наполнил чистую половинку мыльницы водой — для Мушани это был целый бассейн, и терпеливо ждал, покуда она наплещется всласть. Потом завернул мушку в чистый носовой платок и отнёс в свою комнату.

— А ты мне перед сном «Муху-Цокотуху» почитаешь? — первым делом задала вопрос Муся, высвободившись из платка.

— Хорошо, только уроки выучу, ты пока картинки посмотри.

Так они мирно жили, как брат с сестрой.

6

Занятия в школе закончились. Наступило лето. Муха завела привычку вылетать в форточку и подолгу отсутствовать. Ей, видите ли, необходимо понюхать цветочки, нектару попить. Виталик так привык к своей необычной домашней питомице, что не на шутку тревожился, когда Мушаня отправлялась на свои прогулки. Он даже пытался её запугивать, рассказывая стр-р-рашные истории про маньяков, которые поймают муху, сначала одно крылышко оторвут, потом другое… Или привяжут за ниточку и не отпускают. Мушаня вся дрожала от таких рассказов, закатывала от

страха глазки, но от своих вылетов на улицу не отказывалась.

— Вот склюёт тебя какая-нибудь птица, будешь тогда знать!

— Ой-ой! Виталик, сшей мне курточку. С капюшоном. Ну, такую — рэперскую, Ё!

— Мушаня, ты рехнулась?

— Представляешь, летит птица и видит меня. В курточке. Говорит: «Ты кто?». А я — ей: «Ну, явно же не муха!!!». Она и отвяжется.

После такого аргумента Виталик ненадолго потерял дар речи.

— Как я сошью такую микроскопическую курточку?! — возмутился мальчик.

— Ну, а как Левша блоху подковал? — находчиво возразила Муся.

Вот ведь, начитанная муха какая попалась!

В общем, не зря говорят: назойливый, как муха. Зудела бессовестная Мушаня долго, пока Виталик не сдался и не стал думать, как ему к этому необычному предприятию подойти. Купил большую лупу, закрепил её неподвижно на штатив над маленьким столиком, разработал выкройку малюсенькой распашонки с капюшоном, предусмотрел три пары дырочек для лапок и крылышек, запасся лоскутком, нашёл самые тоненькие иглу и нитку — и принялся за дело. После долгих и мучительных попыток, перепортив много-много лоскутков, исколов себе все пальцы, он всё-таки сделал это — сшил курточку для мухи!

Мушка радовалась неподдельно! Называла Виталика Левшой и лезла целоваться. Затем сделала круг почёта по комнате, вылетела в форточку, в темноту, торопливо бросив на прощание:

— Спасибо, Вик! Пока, я на дискотеку!

7

Однажды Мушаня заявилась домой не одна. С комаром. И объявила с порога:

— Я замуж выхожу!

Обомлевший Виталик молча разглядывал мухиного избранника. Вид, надо сказать, тот имел наглый. Стиляга. В курточке с капюшоном до глаз. Говорит, растягивая слова. Стоять на месте не может, постоянно выделывает длинными конечностями суетливые движения. В общем, доверия не вызывает.

— Привет, Вик! Меня Дамианом зовут. Музыка есть? Ну, там, рэп какой-нибудь?

Виталик молча включил музыку. Отвёл Мушаню в уголок:

— Слушай, Цокотуха, ты кого домой притащила? Что за тип? Ты — дурочка малолетняя?

— Виталик, я по мушиным меркам уже взрослая. Мне замуж пора.

— Какой замуж?! А жить где будете, на помойке?! Разве он тебе пара? Посмотри на него!

Они посмотрели на Дамиана. Тот, как ни в чем не бывало, в одиночестве творил брейк — выделывался по-всякому: то закрутится на спине, сгруппировавшись и поджав лапки, то замрёт во фризе. Дурачок, в общем.

— Разве тебе плохо у меня было? Я для тебя всё… — Виталик огорчённо замолчал.

Мушаня печально смотрела на мальчика своими большими глазами, собираясь заплакать.

— Как тяжело расставаться, милый, милый Виталик, — прожужжала мушка. — Скажи, ведь ты меня не забудешь?

— Оставайся, Муся. И комара своего приводи. Если хочешь. Пропадёшь ты без меня.

— Нет, мы сейчас улетим. Но ты помни меня… И не упусти свой шанс.

Не успел Виталик спросить, что она имеет в виду, как парочка, муха с комаром, взявшись за лапки, торжественно вылетели в форточку, чтобы никогда уже не возвратиться…

8

Снова наступила осень. Ученики пошли в школу. Виталик тоже пошёл — в девятый класс. Они с месяц уже отучились. И вот, однажды…

Прозвенел звонок на урок. Все, как обычно, ходили на головах, когда учительница открыла дверь в класс. Вошла она не одна, а с хорошенькой девочкой. Большеглазой, с тонкой талией и в полосатой юбочке. Девочка показалась Виталику такой знакомой…

— Ребята, у нас новая ученица, — представила учительница. — Ксюша Мухина, прошу любить и жаловать. Присаживайся, Ксюша, на свободное место.

Девочка уверенно подошла к Виталику, который сидел один, и попросила разрешения сесть рядом… Аккуратно расправив юбочку, она улыбнулась и прошептала:

«Здравствуй, Вик. *Это я!*».

— ?!!

г. Красноярск

В номере

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и Ночь».
Желателен диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и Ночь» обязательна.

Для приобретения номера и размещения рекламы социальной направленности обращайтесь в отдел маркетинга и распространения журнала «День и Ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала www.krasdin.ru поддерживается ООО «КИТ»

ООО «Редакция литературного журнала «День и Ночь».

ИНН
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.
БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а,
офис «ДиН»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Сдано в набор: 20.11.2008
Подписано к печати: 15.12.2008
Объём: 26.46
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала в типографии ООО ИПЦ «КАСС»
Адрес: 66 00 48, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

Фёдоровские чтения

2 **Высокой дружбой похвалюсь…**
Василий Фёдоров

3 **Вечно там пребудем**
Владимир Иванов

6 **Немосковское время**
Сергей Филатов

7 **Музыка пчёл**
Марина Брюзгина

8 **Держа и вздымая друг друга…**
Марина Саввиных, Михаил Стрельцов

ДиН память

10 **По одной колее с народом**
Станислав Божков

79 **Песнь о Гарсиа Лорке**
Николай Асеев

108 **Мальчики играют на горе**
Владимир Луговской

ДиН роман

13 **Пиршество скупых**
Владимир Любицкий

Литературные встречи в Сибирском федеральном университете

80 **Четвёртая встреча**
Сергей Кузичкин

90 **Совершенно неожиданно**
Анна Радышевская

92 **Луна цвета Ю в небе цвета В**
Елена Сорокина

96 **Остановка**
Евгения Казионова

98 **Сказки разбуженной души**
Михаил Дементьев

ДиН публицистика

104 **Голос шаровой молнии**
Юрий Беликов

109 **Нечаянная антропология**
Александр Силаев

128 **Вертикальный ветер**
Нина Ягодинцева

130 **Просто верить**
Валентина Шафронская

ДиН проза

134 **Жители ноосферы**
Елена Сафронова

179 **Фей по имени Вовочка**
Владимир Круковер

ДиН стихи

196 **Русский речь на глобусе Ростова**
Ольга Андреева

200 **Непонятное поручение**
Андрей Баранов

202 **Темно умирать**
Инна Домрачева

203 **Мрачный подвиг**
Оганез Мартиросян

204 **По краю игры**
Лев Ленчик

225 **И только эхо вдалеке**
Галина Кудрявская

230 **О свойствах страсти**
Николай Игнатенко

Библиотека современного рассказа

206 **Торгуй, Арбат, без меня!**
Евгений Сиднев

218 **Перелёт в монгольскую степь**
Михаил Гундарин

220 **Крыса**
Сергей Габдуллин

226 **Разномастная семейка**
Александр Корабельников

231 **Большой белый слон**
Ирина Левитес

ДиН детям

234 **Привет, городской цветок!**
Елена Тимченко